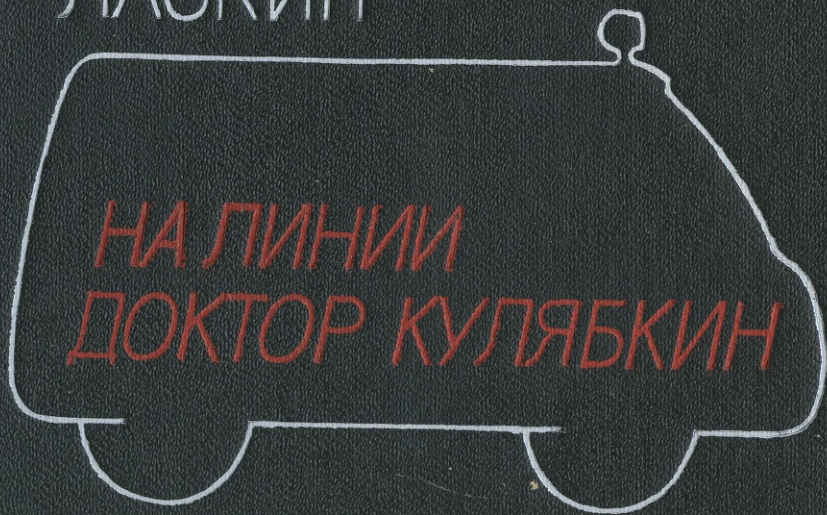


СЕМЕН ЛАСКИН
НА ЛИНИИ
ДОКТОР КУЛЯБКИН



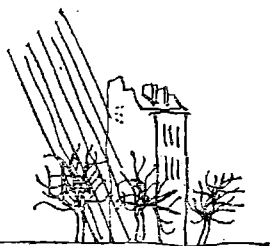
СЕМЕН
ЛАСКИН

НА ЛИНИИ
ДОКТОР КУЛЯБКИН





СЕМЕН
ЛАСКИН



НА ЛИНИИ
ДОКТОР КУЛЯБКИН

ПОВЕСТИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

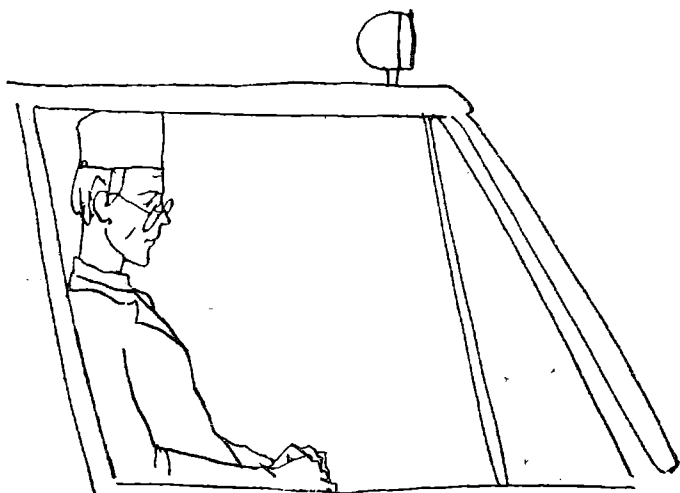
ББК 84.Р7
Л 26

Художник МИХАИЛ БЫЧКОВ

Л $\frac{4702010200-037}{083(02)-86}$ 81-86

© Издательство «Советский писатель», 1986 :

НА ЛИНИИ ДОКТОР КУЛЯБКИН



Отцу

Борис Борисович развязал тесемки передника, повесил его на ручку двери и присел на краешек Юлькиной кровати.

— Понимаешь, — объяснил он, — когда зайцы долго не едят капусту, у них появляются боли в сердце. «Володя, — попросил я шофера, — или мы раздобудем капусту, или заяц погибнет». — «Слушаюсь, доктор Кулябкин!» — ответил Володя.

Юлька рассмеялась, а Борис Борисович продолжал с серьезным видом:

— Он включил зажигание, отпустил сцепление, дал газ. Ж-ж-жи! — и мы в магазине. А там... очередь. «Товарищи, — говорю я, — болеет заяц. Нужна капуста». — «Нет, — говорит очередь. — Мы все спешим».

— Как им не стыдно! — рассердилась Юлька.

— Я так и сказал.

— А они?

— Ладно, говорят, берите, доктор, капусту, раз такое срочное дело.

В дверях появилась Лида, и Борис Борисович замолчал.

— Боренька, — попросила она. — Из-за твоих зайцев я не

могу написать толковой фразы. Что, у тебя других дел нет? Юльке пора колоть пенициллин...

Она повернулась, прислушалась к чему-то, спросила:

— На кухне ничего не горит?

— Каша!

Он пролетел мимо Лиды.

— У, дьявол,— бормотал Кулябкин.— Придется мыть плитку. Совсем забыл про кастрюлю.

— Думала, дадите спокойно поработать,— грустно сказала Лида.— Я так надеялась на библиотечный день...

— Иди, иди,— стал просить Кулябкин.— Я сварю другую.

Он подождал, когда Лида выйдет, отмерил четверть стакана крупы, вернулся к Юльке.

— Будем внимательнее,— сказал он.— Но пока сделаем укол, ладно?— Он вспомнил:— А градусник? Какая жара под мышкой?

Юлька повернулась и стала шарить по матрасу.

— Я потеряла.

Термометр наконец нашелся.

— Тридцать семь и четыре,— огорчился Кулябкин.— Эх, ты! Не могла постараться.

— Я старалась.

Он вошел в ванную, и теперь Юлька слышала, как журчит вода.

Она так и не легла больше, сидела на кровати, расставив тоненькие руки, ждала отца.

— Пер-живаешь?

— Немного.

— Не пер-живай. Сделаешь укол, и я поправлюсь.

Он встал на колени, ухом прижался к Юлькиной спине.

— Дыши!— приказал он.

Она набрала воздух, раздула щеки и медленно выдохнула.

— Лучше?

— Много.

— Вот видишь.

— Все равно,— не сдавался Кулябкин.— Еще дня три поколоть нужно.

— Три — это мало,— успокоила его Юлька.

— Немного,— согласился Кулябкин.

Он поднял глаза: Юлькино лицо было таким напряженным, что у него заныло сердце.

Он раскрыл стерилизатор, стал набирать пенициллин.

— Подставляй!

Она уперлась лицом в подушку, стянула трусы.

Кулябкин взмахнул рукой и легонько шлепнул.

— И все?

— Все.

— Надо же! — похвалила Юлька. — Даже не слыхала. В ее глазах стояли слезы.

В кабинете зазвонил телефон. Лида сняла трубку.

— А, Сысоев, — сказала она приветливо. — Рада тебя слышать... Да, грызу науку, ты угадал... Боря?..

— Мне некогда, — крикнул Кулябкин.

— Боря занят, — сказала она. — Он помнит, сегодня на час раньше. Кто? Профессор Васильев? Господи! Позорище-то какое, Борис не готовился совершенно...

Сысоев что-то еще говорил ей, Лида сказала: «Отлично, заходи» — и повесила трубку.

— На конференции будет Васильев, — сообщила она.

— Я понял.

— Ты даже не сказал мне, что у тебя доклад... Может, посоветовала бы что.

— Ну уж, доклад, — отмахнулся Кулябкин. — Десять минут разговора, четыре случая.

— А Сысоев...

— Мало ли что может наговорить Сысоев.

— Жаль, — разочарованно протянула Лида. — Я думала, ты занялся серьезным делом.

— Где уж мне, — сказал Кулябкин, вытирая руки.

Повесил полотенце и подошел к Юльке.

— Что будем теперь делать?

— Порисуем? — попросила она.

Он кивнул, стал раскапывать кучу игрушек в углу комнаты.

— Папа, — позвала Юлька. — Краски тут.

Она подняла подушку: на наволочку налипла целая гроздь.

Кулябкин быстро поглядел на дверь, смахнул их в ладонь.

— Каша! Горит каша! — из кабинета закричала Лида.

В два прыжка он был на кухне, выключил газ и стал дуть на кипящую, вылезаящую из кастрюльки массу.

Вошла Лида. Молча вылила кашу в раковину, стала отмывать стенки кастрюльки.

— Дай уж мне, — попросила она, — так будет быстрее.

Он подчинился.

Когда каша была съедена, Борис Борисович выскреб дно кастрюльки, собрал остаток и протянул Юльке.

— За мамино здоровье.

— Э-э! — сказала Юлька и погрозила пальцем. — Уже ела... Давай-ка ты...

— Это несправедливо, — сказал Кулябкин, но ложку облизал, поднялся. — Теперь каждый будет заниматься своим делом, ладно?

— Какше у тебя дела?

— Разные. — Он увидел интерес в глазах дочери и объяснил: — Хочу почитать одну книжку.

— Тогда почитай вслух.

— Тебе будет непонятно. Это про болезни.

— Про болезни, — разочарованно протянула Юлька. — Но ты же все знаешь.

— Как это все? — почти возмутился он. — Все никто не знает. У меня был больной на прошлом дежурстве, и я не очень-то в нем разобрался.

— Значит, он умер?

— Нет.

Он сел за стол, раскрыл книгу и стал читать. Юлька следила за ним.

— Не понимаю, — сказала она. — Если не умер, значит, ты его вылечил.

— Вылечил, — согласился Кулябкин.

— Чего же читать?

Он вздохнул, перевернул страницу и что-то подчеркнул карандашом.

— Боря, — окликнула Лида. — У Юльки остался пенициллин на вечер? Придет сестра...

— Нет.

— Ну вот, — сказала она. — Опять мне приходится думать обо всем. Сходи уж, сделай милость.

Он поднялся.

— Двух слов не могу связать сегодня, — пожаловалась Лида, пока он одевался.

Борис Борисович открыл дверь.

— И не задерживайся нигде! — крикнула она вдогонку. — Помнишь, что тебе сегодня раньше на работу?

На улице оказалось прохладно. Резкий ветер погнал с шестящим шумом и хлопаньем газету. Жалобно поскрипывал над Кулябкиным фанерный флажок автобусной остановки.

Несколько человек пенсионного возраста трусцой прогарцевали мимо — «бегом от инфаркта». Кулябкин проводил их ироническим взглядом.

Он шел к Среднему проспекту наискосок, дворами, к маленькому старинному дому-развалюхе, где испокон веков ютилась аптека. «Четыре случая, — думал он, — и вся работа.

Даже неловко. Нужно рассказать, как было. О каждом больном. Я всех помню. Но Васильев, конечно, будет недоволен...»

Он миновал вереницу аптечных окон, зачем-то перечитал рекламу «Пользуйтесь патентованными средствами», пересчитал большие, как пушечные ядра, витамины — они бугафорской горой возвышались в следующей витрине, — раскрыл тяжелую аптечную дверь. «Покажу кардиограммы до и после кислорода. В конце концов, я зафиксировал факт, это неоспоримо. А выводы пусть делают сами...»

Он забыл на секунду, зачем оказался в аптеке. «Если и делать выводы из моих наблюдений, то только один: как мало мы знаем...»

Какой-то мужичок в заляпанной белым рабочей спецовке переходил от витрины к витрине, читал названия лекарств, медленно шевелил губами.

Высокая стройная блондиночка фармацевт стояла в стороне и безразличным потухшим взглядом глядела куда-то сквозь стены.

Борис Борисович протянул рецепт.

Девушка взяла бумажку, наколола ее на металлический стержень, сказала: «Рубль в кассу» — и тут же выложила флаконы на прилавок.

— Мне бы от живота, — пожаловался мужичок. — Сальца поел на ночь. Как утром взяло, так и крутит.

— «Крутит» для меня не диагноз.

— Не болит, — разъяснил мужичок, — а тоскует.

— Возьмите салол с белладонной, — вмешался Кулябкин. — Должно помочь. И рецепт не нужен.

— Можно? — спросил мужичок у девушки.

— Ваше дело, — отрезала она. — Я за чужие советы не отвечаю. Платите три копейки.

И бросила на прилавок картонную коробочку.

Лифт спускался. Показался шланг, потом плавно проплыла кабина.

Дверь открылась.

Борис Борисович поднял глаза и увидел женщину. Из светлого пространства лифта она собиралась переходить к нему, в темноту. Стало тревожно, и он отступил.

Дверь захлопнулась, и лифт плавно пошел вверх.

— Таня, здравствуй, — наконец сказал Кулябкин.

Теперь он различал только матовый силуэт ее лица.

— Боря? А Лида сказала, что ты дежуришь. . .

— Я дежурю, — торопливо подтвердил Кулябкин, — но только позже. . .

Он понимал причину Лидинога обмана и старался быстрее прекратить этот разговор.

— А ты — что? Кто-то болен?

— Папа.

— Конечно, конечно, — сказал Кулябкин. — Я приду, раз нужно. У меня еще много времени. Я сейчас же приду к тебе, не волнуйся. Вот только снесу лекарство Юльке.

— А что с ней? — тревожно спросила Таня.

— Теперь лучше, — сказал Кулябкин.

— Я понимаю, — виновато сказала Таня. — Понимаю, как ты занят. Может, не стоит?

— Что ты, что ты, — он прикоснулся к ее руке. — Я обязательно буду.

— Ой, как неудобно, — говорила Таня. — У тебя дочка больна, а я со своим. . .

— Что с отцом?

Она помолчала.

— Самое страшное. . . Теперь начались боли, дикие боли где-то в печени. . . А он, ты же его знаешь, хочет правды. Приходят врачи, выписывают лекарства, и он им не верит. . . Сегодня приказал: «Сходи за Борисом, он меня не обманет. Я должен знать все. Я буду спокойнее, если мне скажут правду. . .»

Она схватила Бориса Борисовича за руку.

— Боренька, ради бога, не говори ему правды. Скажи что-нибудь. . . Ну, что полагается в таких случаях. . . Ты должен сам знать, что ему нужно. . .

— Ладно, — пообещал Кулябкин. — Я постараюсь.

— Постарайся, — попросила она, и он понял, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. — Папа говорит, что у тебя ответ на лице, что ты слишком бесхитростен, чтобы его проведи. . . Он говорит, что в тебе-то он разберется. . .

Кулябкин молчал.

— Слушай, — нервно сказала Таня. — Если ты не уверен, если думаешь, что не сумеешь, то лучше не нужно. . . Я скажу, что ты болен, уехал. . . Он так напряжен. . . Наверное, зря я пришла. . .

— Я попробую, Таня, — сказал Кулябкин. — Ты не волнуйся.

— Нет, — почти выкрикнула она. — Я волнуюсь. Он на все способен, если и тебе не поверит.

Он погладил Таню по голове, как ребенка, и виновато отдернул руку, потому что снова открылся лифт и их осветили.

— Ну, я пойду,— торопливо сказала она.— Мне нельзя долго. Уйду на минуту— такая тревога... Я даже перешла на полставки, все с ним....

— Иди,— сказал Кулябкин.— Я постараюсь.

— Постарайся,— снова попросила она.— Это так важно, Боря...

Он не стал вызывать лифт, пошел пешком. Постоял в первом пролете, искал Таню глазами. Она шла по двору, и Борис Борисович сосчитал десять ее шагов, ждал: вдруг обернется.

Она и действительно обернулась, окинула их дом невидящим взглядом, скрылась в подворотне.

Он все ещё стоял у окна и вдруг вспомнил себя в школе, давным-давно, в седьмом, нет, в восьмом классе, на маленькой сцене. Он был тогда во фраке, в жабо, в широких поношенных школьных брюках со вздувшимися коленками, с цилиндром в руке.

Таня Денисова читала монолог Татьяны. Сколько пугающей холодности было в ее глазах!

Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Она поднялась и царственной походкой направилась к кулисе. Ах, если бы он мог ее задержать, ответить, сказать свой текст. Но он не мог, не имел права. А у Пушкина, которого они так старательно проходили с пятого класса, не нашлось для Кулябкина нескольких нужных слов.

Он вытянул руки, прошел несколько шагов по сцене и неожиданно для себя произнес:

— Таня!

Она обернулась, удивление возникло в ее глазах — такого текста не было.

— Что? — растерянно спросила она.

— Ничего,— не нашелся Кулябкин.

Он так и стоял в свете маленьких юпитеров, опустив голову, ждал, когда замолкнут аплодисменты.

Борис Борисович открыл дверь, повесил на вешалку плащ, прошел к Юльке.

— Боря? — позвала Лида.

Он остановился около кабинета, она сидела спиной к нему.

— А я, кажется, все-таки нашла фразу. Прочесть?

— Прочти,— сказал он.

— «Усиление ферментных систем,— начала она,— каковое может быть достигнуто введением цитохрома, невольно приведет к изменениям в ионной среде». Правда, хорошо?

— Да,— не совсем уверенно сказал Кулябкин.— Только зачем же «каковое»? Лучше — «которое».

— Почему? — не поняла Лида.

— Да так,— уклонился Кулябкин.— Красивее.

— Какое это имеет значение?

— Никакого,— согласился он.

Он выстроил пенициллиновые бутылочки, как солдатиков, в затылок, поставил рядом пузатый флакон с микстурой, подмигнул Юльке.

— Сми-ирна! — крикнул Кулябкин смешным голосом.— И не разбегаться без моего приказа.

— Отпусти их,— попросила Юлька.— А то они устанут.

— Во-ольна! — крикнул Кулябкин и смешал строй.

Он услышал приближающиеся шаги Лиды, обернулся.

— Мне никто... не звонил? — спросил он.

Она смутилась.

— Звонил? Нет... А разве должны?

Он не ответил, пожал плечами.

— Я ужасно жалела,— сказала она,— что не успела догнать тебя на лестнице: у нас совершенно нет картошки.

Он думал: «Нужно зайти к Тане, она ждет».

— Боренька, дружок, сходи, сделай милость...

Лида приблизилась к нему, обняла и положила на плечо голову.

— Ладно,— сказал Кулябкин и быстро поднялся, точно испугался, что жена его поцелует.

— Большое спасибо,— вздохнула Лида.

Он потрепал по волосам Юльку.

— Папа,— спросила она,— ты зайцев больше не видел?

— Одного.

— Большого?

— Ерунда. Икота.

— А чем лечить?

— Капустрин, такое лекарство.

— Из капусты?

— Возможно. Мне еще не сказали.

Он подошел к двери, но Юлька заговорщицки поманила его пальцем, что-то хотела сказать по секрету.

— К тебе приходила тетя.

— И что же?

— Она плакала. У нее горе. Ты к ней зайдешь?

Кулябкин поглядел на дочку, улыбнулся. Невеселая вышла у него улыбка.

— Зайду,— пообещал он.— Не волнуйся.

Через несколько минут он уже поднимался на третий этаж по старой, обшарпанной лестнице, с железными, изрядно погнутыми, качающимися перилами. Дверная обивка была продрана, торчала серая вата.

Борис Борисович спрятал абоську в карман и только тогда потянул за ручку-дергалку. Тоненькие металлические колокольчики зазвенели на все лады.

Щелкнула задвижка, и он увидел совсем иную Таню: веселую, улыбающуюся, благодарную.

— Боря! — Она говорила слишком уж громко. — А я и не надеялась, что ты придешь. Я же была у тебя. Лида сказала, что ты дежуршь, и я передала папе, что ты будешь только завтра. О, это такой приятный сюрприз для нас. . .

— Я дежурю,— подтвердил Кулябкин,— но позже. . . Во второй половине. . . У меня есть время,— говорил он так же громко, снимая плащ и цепляя его на случайный гвоздь в коридоре.— Вот я и решил: зайду-ка лучше сегодня, раз Иван Владимирович болен. Что это с ним?

— Сам, сам посмотришь,— говорила Таня.— Только что стало полегче, терпимее боли. . .

Иван Владимирович лежал в «детской» — так по-прежнему называлась Танина комната — на узком раскладном кресле.

Впрочем, от детской тут ничего не осталось. Три стены были заставлены стеллажами с книгами, а перед окном стоял письменный стол, заваленный школьными тетрадями.

Иван Владимирович очень изменился. Похудел. Лицо опало, нос заострился, приобрел птичью горбатость, глаза из серых стали желтоватыми, в них появилась тревожная неподвижность.

Борис Борисович кивнул Денисову, сжал его руку: на ногах тоже была желтизна.

— Редко заходишь,— с упреком сказал Иван Владимирович.— Мог бы почаще. А то только и увидишь тебя перед собственными похоронами.

— Ничего себе шуточка,— сказал Кулябкин.— Нет уж, до этого мы не допустим.

— Ну, ну, поглядим, на что ты способен.

Он стал приподниматься на локтях, стараясь лечь выше и удобнее. Кулябкин присел на край кресла и потер руки, согревая их.

— Чего так смотришь? — мрачно спросил Денисов.— Скелет?

— Бриться нужно,— буркнул Кулябкин.

— Я и без бритвы молодец,— сказал Денисов. Он повернулся к Тане.— Выйди-ка. У нас тут свои беседы, мужские.

Он подождал, пока затихнут шаги за дверью, посмотрел на Кулябкина.

— Буду краток: болею месяца три. Температура. Худею. Часто нестерпимые боли. Лежал в больнице, ничего не нашли.

Он как-то зловеще подмигнул и усмехнулся.

— А мне нужно правду, правду, понимаешь? Я сам бы хотел собой распорядиться, понимаешь?

Он неожиданно сел, приблизил лицо к Кулябкину.

— Понимаю,— спокойно ответил Борис Борисович.

Он подождал, когда Иван Владимирович ляжет, поднял его рубаху.

— Вздохните,— попросил он.

— Дави где хочешь,— разрешил Денисов, продолжая пристально следить за Кулябкиным.— Не стесняйся. Мне кажется, если опухоль, то она здесь. Я же не стеснялся, когда отчитывал тебя за записки Тане...

— Это другое дело,— сказал Кулябкин, положил руку на живот и глубоко прошел пальцами: печень была бугристая. Денисов сморщился от боли, закрыл глаза.

— Впрочем,— сказал Денисов, закусывая губу.— Я сейчас очень об этом жалею... Гоняешь от себя хороших людей, а плохие сами ползут, как тараканы.

— Отчего же,— сказал Кулябкин.— Ваш зять — парень что надо. Золотая медаль, диплом с отличием, кандидатская...

— А Танька все же нашла изъянец,— сказал Денисов,— подала на развод.

Кулябкин, видно, не рассчитал и слишком сильно сдавил печень. Денисов вскрикнул.

Помолчали.

— Глупо! — сказал наконец Кулябкин. — Страшно глупо, Иван Владимирович. Да почему рак? А холецистита вам мало? А камни в протоке?

— Ты сядь, сядь, — спокойно сказал Денисов. — Я красноречие уважаю. Но мне видеть тебя нужно. Я уже красноречивых не раз слушал. И более красноречивых, чем ты.

Он подождал, когда Кулябкин сядет, пристально поглядел на него.

— А теперь говори, — приказал он. — И не отворачивайся, если можешь.

— Я вот думаю, — после некоторой паузы сказал Кулябкин, — как помочь вам без операции?.. Понимаете, Иван Владимирович, мы только что получили удивительное лекарство, всего несколько ампул. И результаты разительные. Растворяет камни.

— Как называется? — с некоторым беспокойством спросил Денисов.

— Капустрин, — без запинки сказал Кулябкин.

— Капустрин? — переспросил Денисов. — Из капусты?

— Ко-пустрин, — уточнил Кулябкин. — Сложная литическая смесь. Получаем под расписку. И на каждого больного составляем особую историю болезни, а потом отдаем фармакологам.

— Но я могу через горздрав, — оживился Денисов. — Если это действительно что-то стоящее. А если начнет помогать, то Таня и в министерство съездит.

— Для начала я вам достану, — подумав, пообещал Кулябкин. — Сегодня же. И пусть Таня введет... Только...

— Что?

Денисов нервничал.

— Мы еще не знаем побочных действий. Фармакологи считают, что может быть небольшое сердцебиение, тошнота и даже рвота.

— Ерунда! — отрезал Денисов. — Я перетерплю, если может в главном. — Он вздохнул. — Терплю пострашнее... Если бы ты знал, Борис, как бывает... А за операцию никто не берется, сердце, говорят, не выдержит. Да если оно такое выдерживает, то как же — операцию...

Он опять приблизил лицо к Кулябкину и взволнованно спросил:

— Ты мне не врешь, Боря? Не врешь?

— Нет, — выдержал взгляд Кулябкин. — Вечером вам введет копустрин Таня. А утром, после дежурства, зайду сам, погляжу результаты...

— Не врешь, — скорее себе, чем Кулябкину, сказал Дени-

сов.— Оказывается, есть лекарство. Есть.— Он упал на подушку и крикнул: — Таня!

Дверь открылась сразу.

— Ну,— оживленно сказала Таня,— что обещает профессор Кулябкин?

— Представляешь! — весело крикнул Денисов.— Он обещает мне помочь. Он фокусник, твой профессор.

На Танином лице появилось беспокойство, и она с трудом выжала из себя улыбку.

— Правда?

— Да,— убежденно подтвердил Кулябкин.— Это камни в протоке. А мы как раз получили новый препарат.

— Капустрин,— перебил Иван Владимирович.

— Ко-пустрин,— снова поправил Кулябкин.— Сложная смесь. Я сегодня же выпишу ампулы на работе, а ты сможешь ввести... или я утром...

Она все еще не могла понять, правду он говорит или нет, смотрела с надеждой.

— Боря, это правда? Правда?

— Конечно,— сказал Кулябкин.— Копустрин — удивительное средство. Пока его имеет только «скорая».

— Спасибо, спасибо, Боря...— сказала она.— Я... мы... мы тебе так благодарны...

— Какие пустяки,— сказал Кулябкин.

— Это хорошо, если твой копустрин мне поможет. И без операции. О больнице, Борис, сказали, и думать нечего, да и самому, честно, надоело... А потом — Таня. Ей тоже нелегко. Вечерами — в школе, утром готовиться нужно к урокам. Видал, сколько тетрадей?

Глаза его загорелись.

— Знаешь, когда мне лучше, я без нее все тетради проверю, а она придет, поглядит и только отметки проставит. Раньше я и отметки сам ставил, но завышал. Дотягивал до положительной.

— Как?

Он расхохотался.

— Так. Взрослые же у нее, школа рабочей молодежи, вот и жалел. Для чего им двойки? Бывает, поправишь немного... — Он подмигнул и опять засмеялся.— Человек должен быть гуманным, Боря, Жестокость ему противопоказана.

Он неожиданно спросил:

— Ты уверен, что сумеешь достать копустрин? А вдруг тебе не удастся?

— Постараюсь. Одну ампулу точно. А утром еще...

— И ты видел результаты?

— В том-то и дело.

— Поглядим, поглядим, — скептически произнес Денисов и тут же крикнул дочери: — Таня! Свари Борису кофе, а мне — чаю. И булку намажь селедочным маслом... — Он с сомнением поглядел на Кулябкина: — Можно, доктор? Селедочного страсть захотелось. Они именно селедочного не разрешают.

— Пока чуть-чуть, — согласился Кулябкин. — Для вкуса. А после копустрина можно будет и селедочного.

— Масла чуть-чуть, — крикнул Денисов. — Нет, не нужно! Давай что-нибудь другое. Курицу, что ли.

Он опять лег навзничь, закрыл глаза.

— Да, — спохватился он. — Лекарство стоит забрать сразу, сегодня же. Таня, зайдешь к Борису, возьмешь. Мало ли что бывает. Раздавит, уронит ампулу, нет-нет, ждать до утра нельзя... А потом, ты же говоришь, что Таня сможет ввести сама, профессор, как?

— Конечно, — согласился Кулябкин. — Только на станции меня подолгу не бывает.

— Ничего, — отмахнулся Денисов. — Подождет. Нам спешить некуда.

Он потер руки.

— Да что это я о себе да о себе. Рассказывай! Все, значит, на «скорой»?

— На «скорой»...

— А почему? Каторжная же работа...

— Пожалуй, — согласился Кулябкин, — но мне нравится. — Он улыбнулся. — Результаты видишь. Приехал — помог. Это возвращает в каком-то смысле.

— Понимаю, — кивнул Денисов. — А потом «скорая», говорят, теперь не та: и лаборатории, и кардиография... Наукой-то не занимаешься?

— Нет, — Кулябкин пожал плечами. — Правда, думаю описать четыре случая, нетипичная клиника.

— И отлично, — возбужденно сказал Денисов. — Именно нетипичное интересно. Мы-то ищем закономерности, гоняемся за среднеарифметическими цифрами, а то, что за пределы средних вылезает, выкидываем как случайное. Так ведь?

— Так.

— А если вся суть именно в тех нетипичных, а? Если тут и скрывается истинная закономерность, а? Талдычим одно: средние цифры, средние проценты, а я всегда думал — не выплескиваем ли мы с этими нетипичными случаями истину? Жемчужное зерно...

— Вы устали, Иван Владимирович,— сказал Кулябкин, взбивая подушку и укладывая ее удобно под голову Денисову.

— Нет, не устал,— говорил Иван Владимирович.— Не устал. Я объяснить тебе хочу. Я, Боря, уверен, что все стоящее — случай. И ты — случай. Вот никто ничего не мог сказать, а ты сказал. Убедил. Ты, Боря, врач, а это понятие редкое. Нравственное. Научных работников много, дипломированных специалистов — тьма, а врачей, Боря, нету. Единича. А раз ты, Боря, случай, то уж в процентах тебя не высчитаешь, на средние цифры не переведешь.

Денисов приподнялся на локте.

— Я вот театр любил, литературу, а потом себя испугался, вроде бы и не профессии это. Пошел в Политехнический. Кончил. Работал и, знаешь, кое-что даже сделал, а вот тут,— он провел рукой по груди,— тоска так и не исчезла...

Денисов помолчал немного, думая о своем, и вдруг спросил, почему-то шепотом:

— Дома-то у тебя как? Благополучно?

— Ничего...

— А Танька одна,— сказал он.— Очень за нее сердце болит, Боря. Очень. Ну кто думал, что ваш Антипов такой. А ведь нравился — чистенький, тихий, цветы приносил. Ну что у тебя — двадцати копеек не было цветы на Восьмое марта купить? — Он грустно усмехнулся.

Дверь распахнулась. Таня внесла поднос с чашечками и кофейник.

— А мы тут с Борисом уже о поэзии говорим,— сказал Денисов.— Я, Боря, лежу один, стихи читаю. И, представляешь, многое как бы заново открыл для себя. Вот, Боря, погляди, как прекрасно говорил гений:

Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальный,

Волны, плеснувшей в берег дальный,

Как звук ночной в лесу глухом.

А? И это он в тридцать-то лет. В тридцать! Предчувствия какие-то! Фантастика, Боря.— Иван Владимирович прикрыл глаза:

Но в день печали, в тишине,

Произнеси его тоскуя;

Скажи: есть память обо мне,

Есть в мире сердце, где живу я...

...Кулябкин протянул Тане руку, накрыл ее маленькую ладонь и тут же увидел себя, крошечного, в ее зеленоватых зрачках.

— Папа, можно я провожу Борю? — попросила она.

— Иди, конечно... Сейчас мне легче, — он улыбнулся. — Если от визита доктора больной не выздоровел, значит, доктор плохой.

Он наотмашь, но очень слабо хлопнул по ладони Бориса Борисовича, сказал:

— Я как-то очень в твой копустрин поверил. Очень... Мы все, Борис, немного идеалисты. Умом понимаешь, что чудес нет, а веришь. Еще сильнее веришь.

Она прикрыла за собой дверь, повернулась к Борису Борисовичу и как-то нерешительно, даже виновато поглядела на него.

— Ах, как хорошо, Борька, как хорошо, что ты есть! — шепотом сказала она. — Ты, наверное, даже не представляешь, что ты сделал!

Она прикусила губу — не хотела, чтобы он увидел слезы.

Потом повернулась, порывисто обняла и поцеловала Кулябкина, ткнулась влажными губами в его щеку.

— Спасибо!

Он будто окаменел, стоял неподвижно.

Она всхлипнула и положила голову ему на плечо.

— Если бы ты знал, как я устала...

Он провел ладонью по ее мокрой щеке.

— Не плачь, Таня. Не плачь, — попросил он.

Она благодарно взглянула на него.

— Ты настоящий, Борька, настоящий. Знаешь, — вдруг сказала она, — вот мы почти не встречаемся, не видим друг друга, а я знаю, что ты есть, что к тебе всегда можно обратиться.

— Пошли, — сказал он. — Погуляем. Тебе нужно успокоиться, Таня. Иван Владимирович не должен видеть тебя заплаканной.

Она покорно пошла за ним.

Кулябкин свернул в узкий проулок. Позади, по проспекту, грохотали машины, грузовики встряхивали порожними кузовами на одной и той же выбоине, неслись дальше.

Каменные четырехэтажные дома здесь казались особенно высокими; они так приближались друг к другу, будто тут начинался другой, средневековый город, о котором они читали в учебнике шестого класса.

— Помнишь, — сказала Таня, — мы здесь бродили и раньше. И я показывала тебе записки Антипова и каждый раз советовалась, что ему отвечать.

— Помню, — тихо сказал он.

— Ты был отличным почтальоном, Борька. Верным. Если бы ты был тогда посмелее...

— Что могло измениться?

— Все, — сказала она. — Я мечтала, чтобы ты послал меня к черту, отказался бы выполнить мои просьбы...

— Но я же не мог иначе, — сказал он. — Мы дружили.

— Да, — кивнула она. — Ты и сейчас не знаешь, как по-другому.

— Пожалуй.

— Вот я и вышла за Антипова. У нас не было ни одного приличного дня, Борька.

— Почему же? — оторопело спросил он. — Этого не может быть. Подумай, о чем ты говоришь, Таня. Ты тогда даже не пригласила меня на свадьбу...

— Я не хотела, не могла... чтобы ты был... Да и Лида этого не хотела.

— При чем тут Лида, — сказал он.

— Лида? Она всегда меня боялась. Она бледнела, когда я приближалась к вам. Она что-то чувствовала в тебе такое или даже знала.

Они повернули назад.

— Какие же мы были дураки, Боря! — вздохнула она. — Вот начать бы сначала, с восьмого класса...

— С шестого, — улыбнулся он. — С Жабьего урока, когда она перехватила мою записку...

— Не стоит о ней, — сказала Таня. — Сейчас не стоит.

Они брели по разным сторонам тротуара и все же рядом.

— Ну, у меня не вышло, не сложилось, но у тебя?.. У тебя хоть прилично?

Он не ответил.

— Если бы ты знал, Борька, — сказала она, — какими несовместимыми мы с ним оказались. Ничего общего. Помнишь, какая была у него память! Знал наизусть Блока, музыку любил, а придем в филармонию, и я чувствую: он одно слышит, я — другое. И потом каждый его жест, эта жуткая уверенность во всем, что бы он ни провозглашал. Да, да, он никогда не говорил нормально, а только провозглашал. Ты же помнишь, он и в школе ни в чем не сомневался... Как тебе нравятся, Боря, люди, которые никогда ни в чем не сомневались? Железный человек. Гигант. Только сталь, и никакого шлака. А вот жить невозможно. И самое ужасное, Борька: полная порядочность. Слова лишнего не ляпнет, а противно.

Она вздохнула.

— Бывало, слушаю его: все логично, по полочкам разложено, разбить невозможно, а — ложь! Умом соглашаюсь, а

здесь — нет, не лежит. Знаю, поступи так — и назад не будет дороги, потому что у него только факты, а Достоевский, помнишь, говорил, что и за фактом что-то еще должно быть.

Таня повторила:

— Ты так и не ответил, как с Лидой?

— Хорошо, — сказал он. — Юлька большая, шестой год.

— Шестой! — она покачала головой. — Я знала, что у тебя худо не будет. С тобой не может быть худо. Да и Лида раз уж взяла, то своего не упустит. Иногда увижу вас вместе, отойду. Завидую. Такой ты ухоженный, Борька, наглаженный, чистый. Она кандидат?

— Защищает.

— Удивительно! Лидка — кандидат наук. Везде преуспела. Что ж ты-то отстал?

Он усмехнулся.

— Меня наука не тянет. Я — практик.

— И тут она на высоте. Понимает, что ты без людей не сможешь. Как это раньше мы ее недооценивали?

Она поглядела на Кулябкина.

— А врач, Борька, ты удивительный! Я слышала, как ты с папой... — она помолчала. — Никто не мог, ни один человек не мог, а ты взялся... Да и лекарство, оказывается, есть, это же надо! А ведь ему выписали морфий. Как же так, Борька?

— Я видел, — кивнул он. — Рецепт лежал на твоих тетрадях.

— Да, да, — сказала она. — Они сложили руки, когда оказывается, можно было бороться. Это же преступно, Боря.

— Что ты говоришь, Таня, — сказал он. — Ты же сама меня просила...

— Как?

Ужас застыл в ее глазах.

— Как? Но этого нельзя было делать! Ты же обещал ему лекарство. Копустрин. Он же тебе поверил.

Кулябкин сказал:

— Лекарство ты получишь сегодня.

— Получу?

— Таня, — Борис Борисович взял ее за руку. — Постарайся быть сильной... Теперь вся надежда на тебя, на твое умение держаться... Придешь ко мне на работу, и мы позвоним Ивану Владимировичу, скажем, что лекарство... копустрин...

— Но его же нету?

— Копустрина нет, — сказал Кулябкин. — Но я дам тебе новокаин со стертыми этикетками.

— Боря! Это же не поможет! — почти крикнула она.

— Не поможет, — согласился Кулябкин. — Вводить будешь с морфием.

Она заплакала, Кулябкин шагнул к ней, но Таня его остановила.

— Нет, нет, не нужно, не нужно... Я сейчас... сейчас... Это нервы. Отец прав: чудес не бывает...

Она вытерла слезы.

— Будь мужественной, Таня, — сказал Кулябкин. — Это даст ему надежду, даст силы. Я буду приходить...

— Спасибо, — едва слышно сказала она. — Спасибо, Боря. Мы знали, что ты нам поможешь.

Он торопился домой, а сам невольно думал то об Иване Владимировиче, то о Тане. «Нелепо-то как... Носил Антипову записки, а он хорошо знал, чего это мне стоило».

Он вздохнул тяжело — сердце шемило — и махнул рукой, прогоняя ненужные мысли. «Нет, — подумал Кулябкин, — к смерти привыкнуть невозможно...»

Бессмысленно поглядел на какую-то маленькую старушку с авоськой, вслух сказал: «К черту! К черту! Помогаешь тем, кто и без тебя бы выздоровел, а вот тут... Ничего совершенно, хоть вой. Бухгалтер, регистратор несчастный, поп, а не врач».

Старушка остановилась, удивленная.

Кулябкин растер ноющую грудь ладонью, пошел быстрее.

Он механически нажал на кнопку звонка и только тогда вспомнил, что ключи у него в кармане.

— А где картошка? — спросила Лида.

Он не понял жену.

— Какая... картошка?

— Та самая, за которой ты ушел полтора часа назад.

Тревожное подозрение промелькнуло в ее глазах.

— Только не говори, что ты простоял в очереди и тебе не досталось...

— Я не был в магазине, — сказал Кулябкин. — Я был у Тани. Почему ты не передала, что она приходила?

— Господи! — тихо сказала Лида. — Ну что за наваждение такое! Неужели опять она? Боря, — почти взмолилась Лида, — подумай, у тебя ребенок. Тебя достаточно поманить пальцем, и ты понесешься к ней снова...

Он резко сказал:

— У Тани болен отец.

— Болен отец, — повторила Лида. — Но разве нет «неотложки»? Участковых врачей? У тебя тоже больна Юлька, разве Таню интересует это?

Лида вдруг заплакала, увидев его мрачный, насупленный взгляд.

— Я даже в этом ей не верю. Она способна на все, если ей станет нужно...

— О чем ты?

— Я ее не люблю, ненавижу... Я ее боюсь... — сквозь слезы повторяла она.

— Глупо, — сказал Кулябкин. — Страшно глупо, Лида. Я тебя не понимаю...

— Нет, — говорила она. — Понимаешь. Ты очень хорошо понимаешь меня.

Он повесил наконец плащ.

— Ну пускай так, пускай действительно болен... Но разве ты можешь больше других? Нет, нет, что-то у нее еще, что-то ей от тебя нужно.

Она внезапно спросила:

— Что, разводится с Антиповым?

Он промолчал.

— Ну да, конечно... Я так и знала. Я поняла, как только открыла ей двери.

— Но это же подло! — крикнул он. — У Тани погибает отец. Я только что видел обреченного человека.

— И ты собираешься помочь... обреченному? — будто уличая, спросила она.

— Да! — в запальчивости крикнул Кулябкин.

— Почему ты меня обманываешь? — всхлипнула Лида. — Разве я мало делаю для тебя и для Юльки? Разрываю между домом и работой...

Он прошел в комнату, присел на край Юлькиной кровати, повернул к себе рисунок. Грузовик с красным крестом вез капусту.

— Помнишь, — сказала Юлька, — давным-давно, может завтра, ты мне обещал сказку про вежливого удава?

— Это грустная сказка. — Кулябкин покачал головой. — И я расскажу ее тебе, когда ты станешь побольше.

— Но я уже большая.

— Недостаточно.

Лида подошла сзади, обняла за плечи, прижалась щекой к его щеке.

— Первый час, — ласково сказала она. — Ну, не обижайся... Я же так... я не хотела...

Он услышал, как она открывает дверцу шкафа, оглянулся. Лида доставала его черный костюм.

— Зачем? — спросил он.

— У тебя конференция... Будет профессор... Я хочу, чтобы ты выглядел красивым.

— Но мне будет неудобно работать.

— Неудобно? — возразила она. — А разве удобнее — неряхой?

Положила костюм на кровать, потом белую рубашку и галстук и вышла.

Юлька дотянулась до его коленки, погладила.

— Папа, — попросила она. — Послушайся маму. Надень галстук и туфли.

— Почему?

— Если ты не наденешь, то мама обидится и будет заставлять меня есть кашу.

Он рассмеялся.

— Это причина, — сказал Кулябкин. — Ладно, надену. Раз дело обстоит так серьезно.

— Очень серьезно, — вздохнула Юлька.

Он поправил перед зеркалом галстук, застегнул пиджак и подошел к Юльке.

— Красивый, — похвалила она.

Он улыбнулся.

— Как ты думаешь, — спросила Юлька, — еще не пора рассказывать сказку? Ну хоть сколько, ну самое-самое...

— Все тебе мало, — пожурила ее Лида и поглядела на мужа. — Вот теперь другое дело! Настоящий ученый!

— Душит немного, — пожаловался Кулябкин и приспустил галстук.

— Никоим образом! — Она подтянула галстук на место, обняла Бориса Борисовича и попросила: — Завтра сразу домой. Мне к девяти на работу. Юлька будет одна.

— Чуть подождет, — сказал Кулябкин. — Я должен зайти к Денисовым, сделать укол.

Ее лицо будто постарело.

— Нет... Я тебя прошу... Ты же знаешь, мне неприятно... Может быть, я... Давай я к ним зайду, раз нужно. Я тоже могу ввести лекарство.

— Но Денисов ждет меня, — попытался объяснить Борис Борисович. — Я там нужен...

Она повернулась, резко хлопнула дверь.

— Папа, — напомнила Юлька. — Ты же хотел...

Он поглядел на часы и начал:

— Один кролик...

— Твой знакомый?

— Да. Вместе учились.

— Так.

— Один кролик встретил в лесу вежливого удава и пригласил его к себе в гости. Это был красивый удав. Стройный, гибкий, в пенсне и галстуке, который так и назывался: удавка.

Юлька рассмеялась.

— ...И вот в назначенное время удав приполз на ужин, а на столе уже стоят три тарелки и в каждой — морковка.

— Три? — переспросила Юлька. — Разве еще гости?

— Да, — кивнул Кулябкин. — Ждали доктора.

— Тебя.

— В том-то и дело, — вздохнул Кулябкин. — Они не знали, что я дежурю.

Он помолчал.

— Итак, ждут они доктора, а его все нет. «Я очень извиняюсь, — говорит удав, — но мне хотелось бы что-нибудь съесть. Я совершенно не могу переносить голод». — «А вот берите морковку, — предлагает кролик, — у меня ее много». — «Но я ем только мясо», — вежливо и достойно объясняет удав. Кролик ужасно огорчился. «У меня нет ни кусочка, — воскликнул кролик. — Что же нам делать?»

Лида вошла в комнату, положила на стул портфель Бориса Борисовича.

— Здесь завтрак.

— Спасибо, — сказал Кулябкин.

Он поднялся и, прихрамывая, пошел к дверям.

— Туфли жмут, — пожаловался он Юльке. — Не знаю, сумею ли в них работать.

— А сказку? Ты должен досказать сказку.

Он покачал головой.

— «Я очень извиняюсь, — сказал удав, — но тогда я вынужден буду съесть вас». И он тут же проглотил кролика. «Большое спасибо, — поблагодарил удав. — Все было удвительно вкусно и мило. А главное, культурно». Он вытер салфеткой рот, поправил удавку и вышел.

— А почему же он вежливый? — после некоторого молчания спросила Юлька.

— Вежливый потому, что всегда говорил «спасибо», «пожалуйста» и вовремя приходил в гости.

— Ага, — не сразу кивнула Юлька.

Она поглядела на Кулябкина, пожала плечами и со вздохом сказала:

— Все равно ничего не понимаю.

Борис Борисович ехал в автобусе на работу, глядел в окно. Погода наконец разгулялась, вышло яркое солнце, и город сразу помолодел — и дома, и люди.

На остановке гоготали студенты — может, спихнули главный экзамен, кто знает, — и Кулябкин, заглядевшись на них, чуть не проехал.

Он выскочил, когда двери уже закрывались.

На переходе горел «красный».

Борис Борисович постоял вместе с толпой, поглядел на часы и повернул к магазину «Игрушки».

Через минуту он снова был на переходе с плоской коробкой в руке.

Мимо прошла «скорая». Красивый молодой доктор Сысоев, в лихо сдвинутой белой пилотке, приветливо помахал ему рукой.

Борис Борисович ответил.

Во дворе стояло несколько машин «скорой» и «москвич» без красного креста — видно, на станцию приехало начальство.

Борис Борисович вошел в вестибюль, поздоровался с диспетчером, показал на закрытую дверь кабинета заведующего.

— Началось?

— Да, — сказала диспетчер. — Там пока выступает Васильев, но вас спрашивали дважды.

— Не мог, — Кулябкин развел руками. — Позвали к больному.

— Жуткая у нас профессия, — сказал Сысоев. Он уже сидел за небольшим письменным столом, кончал историю болезни. — Мало того, что на работе гоняют в хвост и в гриву, так еще и дома.

Он поднял голову и воскликнул:

— Господи! Боря! Да что у тебя, сольный концерт сегодня?

— Все из-за тебя, — улыбнулся Кулябкин. — Настроил Лиду. «Доклад! Профессор!» Вот она и пристала... А доклад-то на две минуты.

Сысоев расхохотался.

— Дело не во времени, — утешил он. — Эйнштейн всю теорию относительности уложил в школьную тетрадку.

— Я не Эйнштейн, — сказал Кулябкин.

— Первый раз слышу, — серьезно ответил Сысоев.

Кулябкин потоптался на месте:

— Не знаю, как буду работать. Туфли жмут.

— Зато красиво! Профессор тебя оценит.

— Иди ты... — беззлобно сказал Кулябкин.

Врачи сидели вдоль стенок со скучающими, безразличными лицами и грустно смотрели на маленького, лысого, похожего на кактус профессора Васильева. Он монотонно говорил что-то свое. «Бедные, — подумал Борис Борисович, глазами здороваясь со знакомыми и приваливаясь к дверному косяку. — Заставили прийти после ночного дежурства. Им сейчас нет до этого никакого дела». Он уловил все же слово «инструкция», вздохнул и тут же спрятал руки за спину: профессор и несколько врачей разглядывали его яркую коробку, на которой были нарисованы хохочущие гномы.

— Дадим слово опоздавшему, — с осуждением сказал Васильев. — Хорошо, что у меня было небольшое сообщение, а то вас пришлось бы ждать.

— Меня вызвали к больному, — объяснил Кулябкин. — Так уж получилось.

Хромая он подошел к свободному стулу, огляделся, поставил коробку с гномами к стене.

Врачи заулыбались.

— А можно сидя? — попросил Кулябкин. — У меня жмут туфли.

— Как вам угодно, — сказал Васильев нетерпеливо и поглядел на часы.

— Сейчас, — сказал Кулябкин. Он достал из портфеля кардиограммы, поднялся и положил их перед профессором. — Тут четыре случая, — разъяснил он. — Мне непонятных.

— Мы ждем вашего доклада, сообщения, чтобы вместе разобраться, а вы... — Васильев развел руками и поглядел на застывшего заведующего — тому, видно, было неловко за своего врача.

— Что же я могу сделать? — сказал Кулябкин. — Думаю, и вам тут придется поломать голову... Я был поражен, когда это впервые увидел...

Ироническая улыбка вспыхнула на лице Васильева и погасла, вроде бы стерлась.

— И вы утверждаете, — через минуту спросил он, все еще разглядывая кардиограммы, — что это снято у одного и того же больного?

— В том-то и дело, — развел руками Кулябкин. — По две пленки у каждого, до и после кислорода. С интервалом в один час.

— Но этого быть не может! — воскликнул Васильев, и Борису Борисовичу показалось, что профессор бледнеет. — На всех первых пленках есть инфаркт, а на вторых — нету. Выхо-

дит, что у вас исчезал зубец, который считается необратимым?

— Вот это и меня смущает, — согласился Кулябкин. — Но раз он все же исчезает, значит, те неправы.

— Кто «те»? — едва не крикнул Васильев. — «Те» — это все.

— Все, — опять согласился Кулябкин. — Все неправы.

Васильев встал из-за стола, прошелся.

— Тогда расскажите, что вы применяли. Чем лечили этих больных?

— Ничего нового. — Борис Борисович пожал плечами. — Вернее, что и всегда. Только, может, давали больше кислорода, до тысячи литров. Происходило это так: приезжали, снимали кардиограмму, давали кислород в течение часа, а потом снова снимали кардиограмму.

— Просто и неправдоподобно, — сказал Васильев. — Слишком просто для такого открытия. Или вы что-то еще забыли.

Кулябкин подумал.

— Разве одно, — сказал он. — Мы приезжали к больным в первые минуты инфаркта, в первые полчаса. Возможно, омертвление сердечной мышцы наступает позже. — Он подумал. — Сегодняшние инфарктные бригады видят этих больных в более поздние сроки... А мы имеем кардиограф на линейной машине... Вот и все, — сказал Кулябкин. — Другого я ничего пока не мог придумать.

— Мистика!

— Да уж, — согласился Кулябкин. — Я-то понимал, что мне сразу не поверят.

Васильев поглядел на ленту, потом махнул врачам.

Заскрипели стулья. Кулябкин схватил «гномов» и тоже стал придвигать стул, но места около профессора уже не было.

Он походил со стулом по кабинету и поставил его позади всех.

— Мистика! — повторил Васильев. — Значит, — сказал он, — если приблизить кардиографическую службу к больному, то можно иногда избежать омертвления сердечной мышцы. Открытие, открытие... Такого еще никому не удавалось...

Он поднял глаза, медленно оглядел кабинет.

— А где же Кулябкин?

Борис Борисович вздрогнул.

— Я здесь, — сказал он из-за стульев.

— Борисыч, — уборщица Анна Тимофеевна поплевала на горячий утюг. — Я тебе халатик готовлю. Будешь еще красивше.

Она рассмеялась своей шутке и тут же припечатала утюгом, как вальком, по неглаженному.

— Надевай!

Он стоял у окна. Только что из гаража подъехала машина, водитель Володя Корзунков елозил по стеклу тряпкой, навел марфет. Юраша и Верочка пронесли через двор баллоны с кислородом, уложили в машину и пошли назад, мирно о чем-то беседуя.

«Бригада сегодня что надо, — подумал Кулябкин. — И шофер ничего, при необходимости и сто выжмет...»

Он залез в рукава халата, повернулся к Анне Тимофеевне.

Она полюбовалась на Кулябкина, сказала вроде сама себе:

— Хорош! Копия — мой покойник, когда был еще на Доске почета.

— Вы, кажется, со мной сегодня? — спросил у фельдшеров Кулябкин.

— С вами.

Юраша оторвал взгляд от кардиографа.

— А вы на уровне, Борис Борисыч.

Верочка повернулась к нему, одобрительно улыбнулась.

— Вам очень черное с белым идет.

— Туфли жмут, — пожаловался Кулябкин. — Надел неразношенные. У тебя какой размер?

— Тридцать девятый.

— Жаль. Малы будут. Я бы поменялся.

Он хотел идти, но Юраша спросил:

— А что, из газеты придут или иностранцы?

— Почему ты решил?

— Вид у вас необычный.

— Нет, никого не будет. Это я так.

— Жаль, — вздохнул Юраша. — А я уж подумал: в газету попадем. Что ни говорите — героический труд.

— Зачем тебе в газету? — удивилась Верочка.

— Как зачем? — переспросил Юраша. — Через два месяца в институт, а это как бы рекомендация...

— Из молодых, да ранний, — сказала Верочка.

— А чего хорошего, что ты поздняя. Мужа удержать и то не могла...

— Ду-рак! — отрезала Верочка.

— А это мы еще поглядим в августе.

— Так будешь дурак с дипломом.

— Это уже почетнее, — сказал Юраша. — По крайней мере смогу такими умными, как ты, командовать.

Верочка подбросила кубик, приподняла глиняного гномика и отсчитала четыре клетки.

— Тринадцать!

— Гномик попадает в мышиную норку, — прочел Кулябкин, — и начинает игру сначала.

Он откинулся на спинку стула и счастливо захохотал.

— Прекрасная игра! — сказал он. — Юлька будет в восторге.

— Вам везет, — сказала Верочка, возвращая гномика к началу доски.

— Зато тебе в любви повезет, — утешил Кулябкин.

— Вам что, не везло? — в шутку спросила она.

— Не везло, не везло, а потом вдруг и повезло, — засмеялся он.

— Это бывает, — сказала Верочка.

Она вдруг спросила:

— А вы кого-то любили, да?

— Любил, — признался он. — Да как-то робко любил, Верочка.

— Это на вас похоже, — сказала она. — А вот я... я бы своего не упустила...

— Что-то давно вызовов нет... — сказал Кулябкин. — Скоро четыре.

— Плюньте через левое плечо! — закричала она. — А то ночь будет адская!

Он подвинул кубик, отсчитал клетки и опять заглянул в правила.

— Улитка ползет очень медленно, гномик пропускает четыре хода.

Верочка захлопала в ладоши и тут же прикрыла игру крышкой. В комнату вошел Сысоев.

— Маэстро! — сказал он, усаживаясь рядом с Кулябкиным. — Ты хоть сам-то понимаешь, что доложил?

— Понимаю, — сказал Кулябкин.

— Нет, — Сысоев покачал головой. — Ты не понимаешь! Ты просто не в состоянии этого понять! Слушай и записывай: ты напоролся на жилу! На золотую жилу. И здесь не только кандидатская, здесь докторская, если не лениться с экспериментом. Ты хоть следил за лицом Васильева? Старый болван, а все сразу понял. Нюх при склерозе не уменьшается, хотя с головой и хуже...

— Зачем ты так, — нахмурился Кулябкин. — Я не люблю. А статью об этих случаях я напишу... ты же слышал.

— Статью! — Сысоев воздел руки к небу. — Какую статью?! Несколько случаев из практики? Четыре страницы текста? Ты опупел, что ли? — Он подтащил ногой стул; сел против Кулябкина. — Борька, не будь дураком, включайся сразу в работу, иначе возьмутся другие, такими вещами не бросаются...

Он передохнул.

— А потом тут нужен научный подход. Статистическая достоверность, новые наблюдения... Три года, всего три года, если ты хочешь вырваться отсюда, стать человеком, уйти со своей таратайки...

— Но я не хочу тратить три года на то, что уже сделано... Мне будет неинтересно. Пускай другие...

— Подумай, что говоришь! — упрекнул Сысоев. — Может, это лучшая мысль в твоей жизни. Твой Клондайк! А потом, раз уж мысль высказана, она все равно не погибнет. Подхватят. Оторвут с руками, а о тебе если и вспомнят, то мимоходом, мол, нечто похожее видел врач «скорой помощи» Кулябкин. Правда, то, что он видел, к науке никакого отношения не имело.

— Я же сказал, — хмуро повторил Кулябкин, — что статью напишу, а дальше пусть разбираются другие. Я практический врач, и статистическая разработка мне неинтересна. Да и некогда...

Сысоев всплеснул руками.

— Я понял: ты — сумасшедший. Честное слово, сумасшедший. У тебя есть возможность сразу хорошо заявить о себе. Нельзя же век куковать на «скорой». — Он молитвенно сложил ладони: — Пресвятая дева! Дай мне отработать эти три года!..

Он неожиданно обнял Кулябкина и весело сказал:

— Мне бы на такую мысль напороться, я бы свое не упустил. Даже со «скорой» бы не ушел, пока материал не собрал. Такая штука кое-чего стоит.

— Ну так занимайся, — предложил Кулябкин.

— Нет, — сказал Сысоев. — Я человек благородный и чужих открытий не беру. Я, Боря, хочу сам. Это, возможно, мой единственный маленький недостаток. Как-то неудобно всю жизнь потом сознавать, что ты снял чужие пенки, это меня будет угнетать, Боря. — Он засмеялся. — Но ты не волнуйся, найдутся обязательно «изобретатели» твоего открытия. И тогда ты начнешь кусать локти, говорить о человеческом неблагородстве...

Он прошелся по ординаторской, высоко и торжественно поднял правую руку.

— Я понял, Боря! — воскликнул Сысоев. — Отсутствие честолюбия, как и его излишки, самый страшный человеческий недостаток. Ты, Боря, обязательно умрешь от скромности.

Он сложил руки, воздел глаза к небу и пропел:

— А-аминь!

— А гномы живые? — спрашивала Бориса Борисовича Юлька. — А почему глиняные? А можно по телефону? Ой, — закричала она, — мама просит трубку...

— Ну, как доклад? — спросила Лида. — Был Васильев?

— Был, — подтвердил Кулябкин. — Сказал, неплохо.

— Поздравляю, — сказала Лида. — Очень, очень за тебя рада. Я даже не видела, когда ты занимался... — Она попросила: — Только не задерживайся утром. Я буду ждать. Не хочется оставлять Юльку одну.

— Но я обещал зайти к Тане, — снова объяснял он.

Лида молчала.

— Это мне назло? — спросила она тихо. — Ведь у тебя тоже болен ребенок.

— Выслушай меня, — сказал Кулябкин. — У Ивана Владимировича рак. Он безнадежен. Я обязан, я должен быть там...

Он удивленно поглядел на гудящую трубку и положил ее на рычаг.

— ...А я вот как считаю, — с вызовом сказала Верочка: — Если уж отношения, так на равных. Если я тебя уважаю, то и ты меня уважай. Чтобы без этого самого, без эгоизма.

— Надо бы сходить к диспетчеру, — перебил ее Кулябкин. — Взять рецепты.

— У меня есть, — отмахнулась Верочка. — А вот я знаете как поступила? Он еще только начинал куражиться, я ему тут же дверь настежь. Чеши, говорю, и чтобы духу твоего рядом не было. Я вам, Борис Борисович, вот что... с полным авторитетом: без мужчины, конечно, не жизнь, но и с таким, как мой, тоже не праздник. Еще подумаешь, когда хуже.

Кулябкин поднял кубик.

— Гномик испугался жука, — сказал он, — и отступил на пять клеток... Не каждый может начинать игру с первой клетки, когда уже столько пройдено.

— По-разному бывает, — Верочка подкинула кубик. Он упал на край стола, перевернулся и покатился по полу. — Шесть! — сказала она и заглянула в правила. — Гномик за-

сыпает крепким сном и должен ждать, когда все игроки перегонят его. Ну вот, — разочарованно сказала она.

Хотела что-то прибавить, но по селектору объявили вызов.

— Поехали, — с некоторым облегчением сказал Кулябкин. — А я подумал: давно что-то не было. . .

— У тебя какой размер туфель? — Кулябкин повернулся к Володе.

— Сорок первый.

— Да ну? — обрадовался он. — И у меня. Может, обменяемся? Я в своих работать не могу, неразношенные. А тебе все равно сидеть.

— Чего же надели? Думать нужно было.

— Доклад мой на конференции, — он отчего-то показал на галстук, — вот жена и настояла. . . Неудобно, говорит, в старом. . .

— А если мне не подойдут? — спросил Володя.

— Тогда уж я потерплю, — пообещал Кулябкин.

— Ладно, — сказал Володя. — Меряйте. Только без этого: снял — надел. До утра, если в порядке. . .

— О чем говорить, — пообещал Кулябкин.

Он взял стоптанные, покривившиеся туфли, надел их, пошевелил пальцами и блаженно вытянулся.

— Другой разговор.

— Можем совсем махнуть, — предложил Володя.

— Я бы рад, — засмеялся Кулябкин, — только жена не поймет.

Он поглядел в ветровое стекло, кивнул в сторону дома:

— Заезжай здесь. Там чего-то роют, не проехать.

Они медленно поднимались по лестнице: Борис Борисович впереди, за ним Верочка и Юраша. Родственник больного здорово отстал, в нижних пролетах слышались его шаги.

— Ух, вышотища! — сказала Верочка, приваливаясь к стенке. — Как девятый, так обязательно лифт не работает. Руки-ноги за это пообрывать управдому. . .

— Поменьше булки есть нужно, — посоветовал Юраша. — А то всю прыгучесть потеряла.

Верочка что-то хотела сказать, но Борис Борисович предостерегающе покашлял: болтливости и несобранности он не любил.

— Еще чуть-чуть, — сказал он, забирая у Верочки врачевную сумку. — Три этажа. Не задерживайтесь.

Кулябкин снял кепку, хотел положить ее на тумбочку, но передумал: вышитая, накрахмаленная дорожка показалась ему неприкосновенной. Он огляделся и закинул кепку на вешалку.

Верочка и Юраша стояли сзади, не хотели проходить раньше доктора.

На лестнице послышалось громкое дыхание, в коридор вышел мужчина.

— Извините, товарищи, — устало сказал он. — Сам сердечник, быстрее не могу.

Одет он был странно. На ногах теплые дамские тапочки с помпонами. Воротник пиджака поднят на манер кителя, запахнут. У шеи пробивался край шерстяного платка.

— Разве вы к себе вызывали? — спросил Юраша, оглядывая мужчину.

— Нет еще. Пока не к себе, к родной тетке. — Он медлил, хотел что-то прибавить, но не решался. — Из деревни приехала, — извиняющимся тоном произнес он, — так что не знаю, как вы на это посмотрите, не прописана у меня.

— При чем тут прописка? — удивился Борис Борисович.

Племянник повеселел, повернулся в сторону кухни.

— Дуся! — закричал он. — Оказывается, можно и к непрописанным.

— Ну и хорошо, — отозвалась та, кого он назвал Дусей.

Она вышла в коридор, крупная, басовитая, с черной полоской усов на верхней губе, расстелила на полу тряпку.

Борис Борисович удивленно поглядел на блестящий паркет, вытер ноги.

В столовой оказалось по-музейному чисто.

Он быстрее прошел к следующей двери, невольно слушая, как скрипит под ногами пол, звенит хрусталь в серванте.

Он вздохнул, оказавшись в более темной спальне, — здесь был даже некоторый беспорядок.

За изголовьем широкой деревянной кровати громоздились мешки то ли с яблоками, то ли с картошкой. Больная лежала на раскладушке.

— Тетя Нюся, не спишь? — спросил племянник.

На Бориса Борисовича смотрела не старая еще женщина с бледным, точно пергаментным, цветом лица. Глаза у тети Нюси стеклянно поблескивали и были почти неподвижны, как у игрушки, и вот этот-то блеск сразу насторожил Бориса Борисовича: он выдавал сильную боль.

— Зачем людей потревожил? — слабо сказала тетя Нюся.

Борис Борисович присел на край раскладушки.

— Болит что-нибудь? — спросил он.

Пульс был слабый, едва сосчитывался.

— Болит-то болит, — призналась она, — только, может, поболит да перестанет. Чего по телефонам звонить.

Верочка и Юраша остановились за спиной Бориса Борисовича, ждали указаний.

Племянник сидел в уголке, поджав ноги, безразлично глядел в пол.

— Митя? — будто бы проснулась тетя Нюся. — Ты бы яблочками всех угостил...

— Ничего не нужно, — сказал Кулябкин.

— Свои же, непокупные. Еще зимние.

— Потом, потом, — успокоил ее Юраша.

— Вы лучше скажите, болит что? Сердце? — спросил Кулябкин.

Она пожала плечами и как-то неуверенно показала рукой на живот.

— Теперь уже все болит. — И прибавила: — Почему же вы яблочков не хотите?

Борис Борисович улыбнулся ей одними глазами и стал осторожно поднимать фланелевую рубашку.

— Я вам нужен, товарищи? — спросил племянник.

— Нет.

— Тогда я в другой комнате буду, одну минуточку полежу. — Он поднялся. — Телефон на улице, лифта нет, пришлось побегать. А здоровьишко никуда.

— Что у вас со здоровьем? — поинтересовалась Верочка. — Вы же совсем молодой.

— Молодой, да гнилой. Чего только у меня нету, — он даже рукой махнул. — Давление, центральный нерв раскочан, ремонта требует. Все швы видать.

Он прошел по комнате на цыпочках, осторожно прикрыл дверь.

Юраша перешел на его место, достал из кармана халата учебник физики, стал читать.

Борис Борисович положил руку на живот тете Нюсе и слегка придавил его пальцами.

Пот градом покатил по ее вискам, крупные капли стекали на подушку, озерцами заблестели у глазниц. Мученическая улыбка запеклась на ее лице.

— У вас племянник сапожничает, что ли? — поинтересовался Юраша. — Чего это у него «все швы видать»?

— Нет, — отозвалась тетя Нюся. — Он в пошивочной, директор.

— А-а-а, — удовлетворился Юраша.

Борис Борисович надавил сильнее, отмечая про себя, как суживаются от боли зрачки тети Нюси, и внезапно отдернул руку.

Острая, как нож, боль ударила вверх, в диафрагму, и тетя Нюся закричала от неожиданности.

В приоткрытую дверь заглянула Дуся, покачала головой, исчезла.

— Прободение? — Юраша запихнул учебник в карман, пошел к Борису Борисовичу.

— Похоже.

— Дайте я.

Борис Борисович посмотрел на больную: в ее глазах было полное смирение и готовность.

— Нет, — сказал он решительно. — Хватит одного.

— Ну ладно, — безразлично сказал Юраша. — Я только так.

В трельяжном зеркале за изголовьем тети Нюси была видна вся комната. Юраша стоял у горки, разглядывал портреты в тяжелых каменных рамках. На одном была Дуся, худее, чем сейчас, глаза озорные, губы бантиком, в белом колпаке и халате. Внизу виднелись черные верхушки нарисованных букв, но слова прочесть было невозможно.

Юраша огляделся и осторожно, двумя пальцами, начал приподнимать карточку.

— «Лучший зоотехник», — прочел он с удивлением.

— Сходи-ка за носилками, — приказал ему Борис Борисович. — Госпитализировать будем.

Тетя Нюся перевела взгляд на Кулябкина, промолчала. Это получилось вроде согласия с ее стороны, и Кулябкин пошел в другую комнату предупредить родственников.

Володя Корзунков сидел на скамеечке около дома, а по обеим сторонам от него разместились две пожилые дворничихи в белых фартуках, чем-то похожие на пингвинов, и с огромным интересом ловили каждое его слово.

— Он вроде бы щупленький такой, а в работе бывает зверь, — говорил Володя про Кулябкина. — Я, когда в его смену заступаю, всегда наперед могу сказать: дело будет.

— Какое дело? — переспросила та, что сидела справа.

— Разное, — сказал Володя, как само собой разумеющееся. — Может оживить, а может и не оживить, но уж попотеть придется.

— Как это «оживить»? — с недоверием переспросила первая. — Из мертвых, что ли?

— Ага, — сказал Володя очень спокойно, — клиническая смерть. И тут, я тебе скажу, главное — не растеряться, главное — чтобы все тебе в рот смотрели и в нужном направлении двигались. Дефибриллятор требует. Значит, дай ему дефибриллятор через секунду, шесть тысяч вольт тока пропусти через сердце.

— Шесть тысяч!

— И не меньше. Чтобы сильнее любой смерти было, чтобы покойник умирать передумал, вот какой должен быть ток.

Дворничиха поглядела друг на друга.

— Да такого и тока-то нет, — сказала она. — Врешь, наверно...

Она приподнялась и крикнула проходящему мимо мужичку в ватной фуфайке:

— Ваня! Шесть тысяч ток бывает?

— Зачем тебе? — спросил Ваня оторопело.

— Для оживления организма, — дворничиха пальцем показала на Володю, объяснила все.

— Нет, — уверенно сказал Ваня. — Врет он.

— Лапоть! — обиделся Володя. — Пошли, я тебе шкалу покажу.

Он встал, чтобы идти к машине, и тут же увидел Юрашу. Фельдшер не спеша подошел к «рафу», выкатил носилки через заднюю дверь.

— А он говорит, нет тока шесть тысяч вольт, — обиженно сказал Володя.

Юраша с презрением скосил взгляд на мужчину.

— Да если и есть такой ток, — стал защищаться Ваня, — то никакой человек его не выдержит. Тут и двести двадцать трахнет, любую мать вспомнишь.

— Выдержишь, — спокойно сказал Юраша. — Захочешь жить — выдержишь. Да еще спасибо говорить будешь...

Он взвалил на себя носилки и пошел назад, даже не взглянув больше ни на мужчину в ватнике, ни на дворничих.

Племянник тети Ньюси лежал в столовой на диване, дремал. Борис Борисович постоял над ним в нерешительности, тронул за локоть.

— Ночь спал плохо, — стал оправдываться племянник. — Она все ходила. Засну на минутку и просыпаюсь.

— Что же тогда «скорую» не вызвали? — упрекнула Верочка.

— Так ночь... — как само собой разумеющееся ответил племянник. — А днем она все угрозила, что само пройдет.

Борис Борисович что-то хотел сказать, но передумал.

— В больницу придется, — холодно сообщил он.

— В больницу? — удивился племянник и тут же сказал: — Что ж, нужно так нужно.— Он поинтересовался: — А что, серьезное у нее?

— Очень. Придется оперировать.

— Надо же! Вчера еще совершенно была здоровая.

— Всегда так.

— Вот и я болею, — сказал племянник скорее себе, чем Кулябкину. — Сорок четыре, а здоровья нет.

Он поглядел на Бориса Борисовича, попросил:

— Доктор, а нельзя ли мне смерить давление?

Кулябкин хотел отказать, но племянник смотрел на него с такой тоской, что Борис Борисович невольно согласился.

Он принес аппарат, наложил манжетку.

— Нормальное.

— Надо же, — удивился племянник, — а я думал, теперь подскочит.

Вошла Дуся, осмотрела полы, нашла все же след от ботинок, стала елозить тряпкой.

— А у тети Нюси серьезное заболевание... — осторожно, точно боясь испугать, начал супруг.

— Подумайте! — Дуся приложила ладонь к щеке. — Да она только что здорова была, по дому помогала.

Борис Борисович не ответил. Он хотел вернуться в спальню, но Дуся спросила:

— И надолго, как вы думаете, болезнь?

— Месяца на полтора.

Глаза Дуси испуганно округлились.

— В больницу берут, — с грустью сказал племянник. — За носилками пошли.

— Так что же у нее: сердце или другое? — с сочувствием спросила Дуся.

— Другое, — резко сказал Борис Борисович.

Тетя Нюся лежала на спине, как прежде, и неподвижно глядела в потолок. Верхний свет был потушен, и теперь ее лицо освещало только настенное бра.

Свет был слабый, и оттого, что на половину лица падал более яркий луч, а лоб и глаза оставались в тени, впечатление было устрашающим, точно они не заметили и как-то проморгали смерть.

Борис Борисович подошел ближе, испытывая жуткий, невольный страх, наклонился. Он так и не мог понять: дышит она или нет.

— Яблочки-то не забудьте, — напомнила тетя Нюся.

Вера стояла у стола, держа перед собой клочок не то обоев, не то оберточной бумаги.

— Можно вас?

Борис Борисович поглядел на часы — госпитализировать нужно было быстрее, а Юраша все не поднимался.

Он взял у Веры бумагу и долго разглядывал ее, повернув к свету.

На клочке оказались буквы, только они так скакали по строчке и имели такую причудливую форму, что он не мог сложить первое слово.

— За-ве-ща?..

Вера кивнула.

«Завещание», — понял он, ощущая внутренний холод.

Он снова приблизил бумагу и, щурясь и напрягая зрение, прочел остальное:

«Дуся и Митя что ба вы дружна жили. Нюся».

Борис Борисович положил бумагу назад и торопливо отступил.

— Везти нужно скорее, — шепнул он. — И главное, боль нельзя снимать, смажем картину.

В столовой наконец загрохотал носилками Юраша, позвал Верочку.

— Одеяло дайте, — командовала она.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Двери оказались широко раскрыты, и было слышно, как Дуся что-то ищет в диване, ворчит на мужа.

— Дуся! Дуся! — теть Нюся даже приподнялась на локтях. — Зачем одеяло? Постелят ватник, а сверху застегнут.

— Может, и правда? — поддержала Дуся. — Теперь почти лето, да и для больницы удобнее.

— Для больницы все равно, — сказала Вера.

— Мне-то не жалко, — объяснила Дуся. — Только и впрямь — ни к чему. Ищи потом. Ну, — прикрикнула она на мужа. — Чего вцепился, отпускаяй.

Хлопнула крышка дивана, и тут же тяжело заскрипели пружины, видно, племянник присел.

Передохнуть решили на четвертом. Теть Нюся была не тяжелая, но пролеты на лестнице оказались настолько узкими, что каждый раз Юраша и Борис Борисович тихо, сквозь зубы, чертыхались.

Верочка успевала всюду. Она первая спускалась на пару ступенек, подхватывала носилки у Кулябкина, давала ему выйти из лестничного тупика.

— Передохните, — каждый раз настанвала она. — Хватит, Борис Борисыч.

Он упрявился, хотел пронести половину.

— Ничего, еще немного, — говорил он.

На шестом они все же здорово выдохлись и теперь, не сговариваясь, поставили носилки на пол.

— Ну как, тетя Нюся? — спросил Кулябкин, тяжело переводя дух и невольно встряхивая затекшими пальцами.

— Я бы и ногами могла, — сказала тетя Нюся.

— Лежите, лежите, — улыбнулся Кулябкин. — Мы тут начальники.

Краем глаза он невольно видел стоящих около племянника и его жену, но что-то будто бы мешало ему поглядеть на них прямо. Нет, это было не раздражение, не неприязнь — просто хотелось скорее расстаться с ними.

Он услышал, как Дуся сказала:

— Тетя Нюся, пожалуй, Мите дальше идти ни к чему.

— Да, да, идите.

Она выпростала из-под ватника руку.

Дуся наклонилась к ней, послышалось чмоканье.

— Давай быстрее поправляйся, — бодрящим голосом сказал племянник, — ты нам еще ух как нужна.

— Поправлюсь, поправлюсь, — пообещала тетя Нюся.

Борис Борисович присел, не сомневаясь, что и Юраша делает то же, поднял носилки.

— Чего тебе в больницу-то принести? Слатенького?

— Не нужно, ничего не нужно.

— Так хоть яблочков?

— И этого не хочу.

Племянник что-то гудел сверху. Тетя Нюся закрыла глаза: слов было не разобрать.

Борис Борисович пнул ногой выходную дверь, подождал, когда она перестанет качаться, вынес носилки на улицу.

Верочка и Володя перехватили ручки, колесики закрепили по металлическим пазам.

Юраша иронически поглядел на Кулябкина.

— Ну и сродственнички, — сказал он.

Борис Борисович не ответил. Он внезапно вспомнил Таню, их разговор у лифта, ужас и страдание в ее глазах и тот вопрос, крик, боль: «Он тебе поверит, поверит...»

Юраша распахнул дверь, подождал, когда сядет Кулябкин, залез сам.

«Раф» тронулся.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кулябкин у тети Нюси.

— Хорошо, — торопливо отозвалась она.

Машину подкинуло на ухабе, и тетя Нюся вскрикнула. Она отвернулась, но Борис Борисович успел заметить, как маленькая слезинка выкатилась из ее глаза.

А потом был приемный покой крупной больницы, место, чем-то напоминающее вокзал. Все здесь было так же: и прощание с родственниками («Только не простудись у окна!», «Пиши письма!», «Счастливо!»), и хождение по длинному, как перрон, коридору, и даже поезда-носилки, на которых фельдшеры и санитары увозят больных.

Борис Борисович подошел к столику, на котором стояла табличка «Только для «скорой», присел с краю и стал заполнять историю болезни.

Верочка встретила подругу, заговорила с ней, Борис Борисович улавливал обрывки фраз.

— Да ну его к дьяволу! — отмахивалась Вера.

— Как же, как же, — возражала подруга. — Парень у тебя, парень, отец ему нужен.

— Не было мужа, и этот не муж, — говорила Вера. — Воспитаю.

Юраша уже дважды поменял место, пересаживался с одного стула на другой, но физику ему читать не удавалось: всюду была толкотня и разговоры.

Веснушчатая девушка-фельдшер, главное лицо приемного покоя, отбирала у приехавших врачей направления, окидывала каждого критическим взглядом, задавала один и тот же вопрос:

— Родственники есть? Пусть подойдут с паспортом.

— Не помешаю? — около Кулябкина остановился Сысоев. Борис Борисович подвинулся.

Сысоев присел рядом, вытасил историю болезни.

— Потрясающий фокус, — сказал он Кулябкину. — Работа достойная Великого Эскулапа!

Борис Борисович поглядел на него. Сысоев откинул в сторону ручку, повернулся к Кулябкину, глаза его поблескивали веселым, радостным блеском.

— Приехали, понимаешь, на последние подвздохи. Дед, думаю, лет ста. Квартирка старинная, как он сам. Гравюры какие-то, передвижники всякие на стенках, Поленов, эскизы Репина, стол девять квадратных метров, можно целую семью

поместить, — одним словом, какой-то титан мысли кончается. Поглядел на него, на бабушку, которая тут же суетится, и сразу, понимаешь, в такую вот веночку попал. А фельдшеры мои тоже вдохновились. Кислородиком его потчуют. А он все это скушал, глазки открыл, поглядел выразительно на меня и спрашивает: «Я разве заболел, доктор?»

Сысоев захохотал.

— ...И так, Борька, мне захотелось ему объяснить, что было с ним — совсем пустячок! — побывал он в преисподней, но мы его как-то вернули с половины пути, и вот теперь он, лежа в постельке, может продолжать любоваться своим Рециным..

— А сам небось рад, — сказал ему Кулябкин.

— Рад — не то, Боря, слово. Потому что спасли мы его или нет, это вопрос сложный, лучше говорить: представление, или — точнее — преставление по техническим причинам переносится на другой день.

Сысоев замолчал, потому что к ним подошла старушка в черной кружевной шали.

— Ах, доктор, — плача говорила она. — Мне даже не верится, что он жив... Я вам так благодарна, так благодарна, доктор...

Сысоев выразительно поглядел на Кулябкина.

— Успокойтесь, — мягко и сочувственно сказал он ей. — Теперь опасность много меньше. Да и в больнице прекрасные врачи.

— Спасибо, большущее вам спасибо... Я даже слов не могу нужных сказать...

— Зачем слова, — немного торжественно, сдерживая улыбку, сказал Сысоев.

— Да, конечно, — сказала старушка. — Понимаете, он, видно, перетрудился за последнее время, кончал книгу воспоминаний.

Она оглянулась, увидела, что каталку, на которой лежал муж, повезли по коридору, торопливо спросила у Сысоева:

— Я хотела у вас узнать, как здесь с пропуском?

Он развел руками.

— Пока ваш супруг в палате наблюдения, пропуска, думаю, не будет. Туда нельзя проходить.

— Но, может быть, как-то? — виновато говорила старушка.

Сысоев вздохнул, повернулся к Кулябкину.

— Нельзя, а все равно хочется. Таков человек... — Его взгляд оживился, он снова повернулся к женщине, доброжелательно улыбнулся: — А вы скажите в проходной, что идете

в морг. Да, да, — кивнул он, и его глаза стали удивительно наивными. — Всегда пропустят.

— Нет, — шепотом сказала старушка. — Так я не хочу.

— А иначе не выйдет, — сокрушенно сказал Сысоев.

Он опять взял ручку. Чернила подсохли. Сысоев уже несколько раз обводил одно и то же слово.

— Годы теряю на ерунду, — зло сказал он. — Как это меня раздражает. Смотраться бы отсюда скорее...

— Страшный ты тип, — сказал Кулябкин и отвернулся.

— Не понравилась моя шуточка? — иронически произнес Сысоев. — А ведь подумай: дедушке девяносто! Де-вя-но-сто! Пришло время, вот в чем дело. И все наши манипуляции — это всего-навсего спорт, глупая работа! Ты же сам это прекрасно видишь.

— Страшный ты тип, — повторил Кулябкин, — если сам в это веришь.

— Я? — переспросил Сысоев. — А во что же мне, прости, верить еще? Где другое? Вот ты считаешь — цинизм? А я двух пьяниц утром свез в вырезвитель, ты бы на их битые хари поглядел — это не цинизм? — Он вздохнул. — Мимо зоопарка проезжали, и, знаешь, мне так захотелось заехать, уговорить служителя, чтобы он в клетке их подержал, рядом с обезьянами. Только обезьян стало жалко. За что? Они же не пьют, не матерятся, «скорую» к себе не требуют — вполне культурные существа.

Ручка опять не писала. Сысоев встряхнул ее над листком бумаги, оставил целую дорожку клякс и принялся что-то подчеркивать в истории болезни.

Юраша захлопнул дверцу «рафа».

— Пора бы поест, — сказал Володя Кулябкину.

— Дали станцию.

— Ну и прекрасно! — Юраша просунул голову в кабину, оказался рядом с Борисом Борисовичем. — Сейчас пожарим пельмени. — Он поцокал языком, стараясь передать, как это будет вкусно. — Я их особым способом готовлю. Кладу сырыми на сковородку — и в масле. Пирожки выходят — пальчики оближете, Борис Борисыч.

Машина обогнула новое здание больницы, впереди притормозил сысоевский «раф». Какая-то женщина едва выскочила из-под колес. Тюк с одеждой выпал из ее рук, развалился на асфальте. Женщина опустилась на колени и, уже не обращая внимания на кулябкинскую «скорую», стала соби-

рать вещи. Черная кружевная шаль сползла ей на глаза и мешала, женщина несколько раз отодвигала ее на лоб.

Сысоев выехал из больничных ворот, его водитель дал сирену.

— Есть хотят! — улыбнулся Володя и прибавил газ.

— Стой! — тихо сказал Кулябкин. — Да останови же!

— Что же мы, рыжие, Борис Борисыч? Нам тоже поесть не вредно.

— Останови, — решительнее повторил Кулябкин и вдруг крикнул: — Человек же!

— Я его не давлю, вашего человека, — обиделся Володя. — А подвозить не имею права. Я не такси.

— Узнаю сысоевские замашки. Ты в следующий раз с ним работай, два сапога — пара.

— А вы не оскорбляйте, — сказал Володя и дал задний. — Вам куда? Метро устраивает? Мимо поедем.

— Да, да, конечно, — благодарно закивала старушка. — Там и стоянка такси...

— Садитесь! Некогда нам дискутировать.

А потом была станция «скорой», кухня, на которой Юраша и Верочка жарили пельмени, колдовали, принохивались, чувствовалось, с какой серьезностью относятся они к еде.

Борис Борисович подошел сзади, положил руку на Юрашино плечо.

— Много прочел физики?

— Норму, — солидно сказал тот. — Я каждый день норму читаю, хоть кровь из носу.

— Молодец, — похвалил Борис Борисович. — Кончишь институт, сам будешь решать, чем тебе заниматься.

— Я уже решил, — сказал Юраша.

— Ну?!

— Ага. Наука меня интересует. Я на такой работе не останусь.

— Не нравится?

— Нравится, почему же. Только что это за работа?

Верочка отобрала у него нож, помешала, убавила огонь в плите.

— Ты нас, ученый, без еды оставишь.

Юраша даже не оглянулся.

— Я вот о чем вас хочу спросить, — осторожно начал Юраша. — Почему вы столько лет потеряли на «скорой»? Давно бы за это время диссертацию сделали...

— Защитил бы, — согласился Кулябкин. — А что дальше?

— Как — «что»? — переспросил Юраша. — Диссертация —

это знаете какое... — Он не мог найти нужное слово. — Она бы вас, Борис Борисович, сразу человеком сделала.

— Да ну? — Кулябкин улыбнулся. — Значит, ты не считаешь меня человеком?

— Вы меня не поняли, — огорчился Юраша, — я не в том смысле.

— Жалко мне тебя, — с грустью сказал Кулябкин.

Юраша вытаращил глаза.

— Да если я человек, то и с диссертацией, и без нее человеком останусь.

— Да я фигурально, — оправдывался Юраша.

— А я буквально, — сказал Кулябкин.

Верочка, Володя и Кулябкин уселись за стол, а Юраша поставил перед ними большую сковороду с пельменями.

Первым взял пельменину Кулябкин как старший, зажал ее в зубах и торопливо подышал, остужая. Потом стал быстро жевать.

— Ну, как харч? — поинтересовался Юраша.

— На высоте, — одобрил Кулябкин, обжигаясь.

— Хорошо, что горячие, — сказала Верочка. — Остынут — в рот не возьмете.

— Типун тебе на язык, — сказал Юраша, усаживаясь рядом.

Он взял вилку, выбрал самую крупную пельменину, приготовился пронзить ее, но тут же глубокое огорчение отразилось на его лице. Над ними захрипел селектор.

«Семьдесят вторая, доктор Сысоев, и сто третья, доктор Кулябкин, — кричал диспетчер, — на выезд!»

— Тьфу, — разозлился Юраша. — Болеют без передышки. Даже поесть не дадут.

Сысоев получил листок направления, прочел своим фельдшером:

— «Упал на улице». — Он поднял указательный палец. — В переводе на русский язык означает: пьяный не в состоянии дойти до дома. Ну что ж, отвезем. Вручим беспокойной супруге ее счастье.

— Можем и в приемный покой свезти, — улыбнулся фельдшер. — Тепло и чисто.

— Именно! — поддержал Сысоев. — Там тепло и чисто, а на улице холодно и сыро. И главное — жестко: асфальт!

Кулябкин подошел к диспетчеру, попросил:

— Если ко мне придут, передайте, чтобы подождали.

— Мужчина? — поинтересовалась диспетчер.

— Женщина.

— Хорошо, — пообещала она и протянула листок Борису Борисовичу: — Плохо с сердцем. Вечерняя школа на Сергиевской.

— И там плохо, — услышал Сысоев. — Боря, — крикнул он от дверей, — возьми ведро валерьянки! Вас ждет несчастная любовь. — Он расхохотался и прибавил: — Подумайте, еще нет семи вечера, первый урок только кончился, а уже «скоро» вызывают. Продуктивно работают, черти.

Он распахнул дверь, его возмущенный голос слышался с улицы:

— А платили бы из собственной зарплаты за каждый такой вызов, и на улице бы не валялись, и в школу бы вызывать сначала хорошо бы подумали.

Юраша просунул голову в кабину, повернулся лицом к Кулябкину.

— И не поели, и человека не дождались, невезуха какая-то. И вызов сейчас, конечно, будет ерундовый, это уж Сысоев точно сказал. — Кулябкин не ответил, и Юраша поинтересовался: — А к вам важное лицо придет?

— Очень важное. Друг.

— А мне показалось, вы говорили — женщина.

— Что же, если женщина, то и другом быть не может?

— Не знаю, — признался Юраша.

— А разве у тебя никогда не было такой дружбы?

Юраша вспоминал.

— Честно говоря, нет, — сказал он. — Всегда как-то иначе выходит. Вроде бы любовь.

Борис Борисович открыл дверцу «рафа», сполз с неудобного высокого сиденья.

Юраша и Верочка еще не вышли, сидели в кузове.

— Скорее, скорее, — поторопил их Борис Борисович, — нас ждут.

— Сейчас, — отозвалась Верочка. — Баллон заело, не перезарядить.

— Пускай Юраша...

— Ему никак... Он слабосильный. Может, вы попробуете?

Кулябкин распахнул дверцу, хотел было прикрикнуть на фельдшеров, но передумал. Он ловко наложил гаечный ключ и, чуть крикнув, потянул его на себя.

— Так вы сильный, — немного обиженно сказал Юраша. — А мы и вдвоем не могли.

— Нужно не физiku читать, а по утрам зарядку делать, —

язвительно заметила Верочка. — Доктор настоящий мужчина, не чета тебе.

Она встала рядом и будто бы случайно прижалась к Кулябкину.

Он почему-то остро подумал о Тане, быстро оглянулся и пошел к дверям.

Верочка вздохнула и двинулась следом за доктором.

В вестибюле школы сидела нянечка с вязанием, поглядела на вошедших, потом поискала глазами кого-то вокруг.

— Люба! — нараспев крикнула она. — Приехали!

Откуда-то выскочила девушка, маленькая, плотненькая, подтянутая, поклонилась уважительно Борису Борисовичу, потом фельдшерам.

— Ждем с нетерпением, — сказала она. — Придется подняться на третий этаж, в учительскую.

— Что там у вас? — спросил Юраша солидно, подтягиваясь и преображаясь перед девушкой.

— Нам трудно сказать... Не старая еще... — Она перешла на шепот. — Только нервная — жуть.

— Понятно, — засмеялся Юраша. — Что и требовалось доказать.

— Тс-с, — попросила его девушка. — У всех, кроме нашего класса, уроки...

— И часто с ней так? — спросил Кулябкин.

— Бывает, — отмахнулась девушка. — Мы сначала пугались, а теперь — ничего. Привыкли.

— Что же вы своих учителей доводите, взрослые люди, — осудил Юраша.

— Да разве мы? Разве мы, — повторила девушка. — Ей путевку в санаторий не дали. В прошлом давали и в позапрошлом, а теперь у нас математик более нуждается, так она все равно требует... Вы знаете, как ее в школе зовут? — Она взялась за ручку двери с надписью «Учительская» и шепотом произнесла: — Жаба.

И опять приложила палец к губам.

— Жаба? — удивился Кулябкин. — Странно. У нас в школе тоже Жаба была.

— Вы пожилой человек, у другой учились, — сказала девушка.

— Какой он пожилой, — обиделась за Бориса Борисовича Верочка. — Глаз у тебя нет, что ли?

Но дверь уже была раскрыта.

По кабинету ходил директор школы, нервничал.

— Не знаем, что делать, — расстроено сказал директор, останавливаясь против Кулябкина. — Валидол не помогает, боли держатся около часа. Может, инфаркт?

Больная лежала на боку, лицом к стене.

Кулябкин пожал плечами, шагнул к дивану.

Директор подхватил стул, подставил Борису Борисовичу.

Кулябкин взял руку больной: пульс был спокойный.

— Раз, два, три, — считал Борис Борисович. — Семнадцать на четыре... Шестьдесят восемь. Ну, что же, — сказал он. — Отлично. — Потом наклонился вперед и мягко попросил: — Вы на спину не ляжете? Я осмотреть вас хочу.

Она не ответила.

— Что с вами? — спросил он.

Она опять не ответила.

— Оставьте нас, — попросил Кулябкин директора.

— Конечно, конечно.

— Что с вами? — в третий раз сказал он.

— Я не врач, — неожиданно басовито сказала больная. — Вам виднее. Откуда я знаю, что случилось.

Она зарыдала в голос и стала медленно поворачиваться на спину. В какую-то секунду Кулябкину показалось, что это ЕГО ЖАБА, — но он тут же увидел лицо совсем незнакомой женщины.

— У меня болит, — рыдала она. — Тут. А что это такое, я не знаю... Помогите, помогите мне, доктор!

— Вы не плачьте, успокойтесь, — говорил Борис Борисович, наклоняясь над незнакомой ему учительницей. — Что с вами? Где же болит? Как?

— Тут, — показала на грудь учительница. — Болит постоянно. Двадцать лет я отдала народному просвещению, мои выпускники далеко пошли, а благодарность? Разве дожدهшь-ся благодарности за это?

Он вынул стетоскоп и стал ее слушать. Потом померил артериальное давление.

Верочка хлопотала около врачебной сумки, наливала валерьянку.

— Выпейте, выпейте, — приговаривала она.

Учительница приподняла голову и, прикусывая зубами мензурку, выпила лекарство.

— Вы такой добрый, — благодарно сказала она.

...Кулябкин закончил писать записку, осторожно сложил ее вдвое, вчетверо, еще и еще... Потом пристроил бумажный шарик на краешек парты.

— Таня! — шепотом окликнул он девочку и показал пальцем, что шарик предназначен ей.

Таня опустила глаза и тут же перебела взгляд на доску, где учительница что-то писала крупными буквами.

— Предупреждаю, это материал трудный, — сказала Жаба, — и я хочу, чтобы вы сейчас были предельно внимательными. Перепишите слова в тетрадку, — приказала она и остановилась над Кулябкиным.

Мальчик замер. Ладонь Жабы почти прикрывала шарик-записку, и от постукивания костяшкой пальца по парте шарик качался.

— Никогда, — диктовала она всем, — нигде, ниоткуда...

Замолчала, с удивлением разглядывая кулябкинскую тетрадку.

— О чем ты только думаешь, Боря, уму непостижимо! Слитно, слитно, а не раздельно, об этом же правило.

Она повернулась к доске и пальцем стала показывать туда, где уже были написаны эти слова.

Кулябкин торопливо взглянул на Таню и кинул ей записку.

Жаба шагнула назад и, не оборачиваясь, на лету поймала бумажный шарик.

— Спасибо, — сказала она. — Поглядим, что за мысли навешают тебя во время урока.

Она стала осторожно раскрывать закатанную бумажку, точно препарировала бабочку.

— Это не вам! — сдавленным голосом крикнул Кулябкин.

— А кому? — удивилась она.

— Отдайте! — крикнул он.

— Успокойся, — попросила Жаба. — Возьми себя в руки.

Она надела очки, отодвинула от себя бумажку. На ее лице выросло удивление, потом — радость.

— Ну-с, — сказала она с явным удовольствием. — Займемся грамматикой. Выходи-ка к доске, попробуем разобратся.

Он встал, но из-за парты не вышел.

— Стесняешься, — поняла Жаба. — Тогда пусть другие.

Она обвела класс глазами, поглядела на Таню.

— Федоров, к доске, — попросила она. — Перепиши. Только, сделай такую любезность, не исправляй кулябкинскую грамматику.

На доске выросла странная фраза:

«Ни знаю что со мной. Ни могу про тебя не думать. Боря».

— Прекрасно, — похвалила Жаба. — Проверь, чтобы ты не добавил своих. Так. Теперь давай искать Борины ошибки, а

потом все вместе разберем сочинение Кулябкина по членам предложения. Кто знает, нужно ли такое количество «ни» в этом тексте?

Класс изнывал от хохота.

— Погляди, Кулябкин. Лес рук. Неловко не знать этого правила...

Больная лежала в кислородной маске на диване. Дыхательный мешок аппарата наполнялся и освобождался, будто бы учительница пыталась забрать весь запас кислорода.

— Лучше? — спросил директор, заглядывая в учительскую.

— Хуже! — крикнула она. — Сделайте, пожалуйста, доктор, укол кордиамина. Мне это всегда помогает.

Кулябкин подумал и кивнул.

Учительница отодвинула маску, поглядела на Верочку и Юрашу.

— Шприц, надеюсь, стерильный?

— Надеюсь, — сказал Юраша.

— Удивляюсь, — шепотом говорил Юраша. — Как это у Бориса Борисовича хватает терпения ее слушать. Плюнул бы да уехал.

— Что ты, — сказала Верочка. — С ней хлопот потом не оберешься. Жалоба будет быстрее, чем мы доедем до станции.

— О чем шепчутся ваши фельдшера? — подозрительно спросила учительница. — Покажите ампулу. Я хочу знать, что мне вводят.

— Покажи, — приказал Кулябкин.

Она взяла ампулу, повертела перед глазами.

— Правильно, — успокоилась она. — Только, пожалуйста, в руку.

— Нет, — решительно сказал Юраша. — Вам придется перевернуться.

Она вздохнула и начала медленно поворачиваться на живот.

В учительскую снова заглянул директор.

— Закройте дверь! — крикнула ему она. — Меня лечат!

Она сморщилась, ожидая укола.

— Ой! — вскрикнула учительница и тут же произнесла: — Жаль, молодой человек, что вы не у меня учились.

.. Уже все кулябкинские ошибки были исправлены, «ни» зачеркнуты, а сверху стояли необходимые «не».

— Теперь, — попросила Жаба, — давайте дадим характеристику второму предложению. Кто хочет?

Все стихли.

— Может, ты что-то скажешь, Филенков? Исправляй двойку.

— Это простое, распространенное, повествовательное, полное...

— Еще?

— Определенно-личное! — с места крикнул Федоров.

— Хорошо сегодня работаешь, — похвалила Жаба. — Давай так дальше. Теперь, если хочешь пятерку, разбери по членам.

— Подлежащего здесь нет, — уверенно начал Федоров. — Оно подразумевается. Сказуемое — могу.

— О-о! — застонала Жаба. — Ты испортил себе отметку. Кто поможет? Селезнева? Давай, умница, давай, хорошая.

Маленькая солидная Селезнева затараторила:

— Сказуемое — «не могу не думать». Составное глагольное, взятое в отрицательной форме. «Про тебя» — дополнение. Косвенное, потому что предлог «про».

— Правильно, — согласилась Жаба. — Про кого? Про тебя. Так, Денисова? ..

— Вам легче? — спросил Кулябкин.

— Очень болит, — пожаловалась учительница. — Ваш мальчик совсем не умеет колоть.

— Ну и мымра, — забормотал Юраша.

— Да уж, — согласилась Верочка.

Она приняла кислород от больной, закрыла врачебную сумку.

Кулябкин поднялся.

— Вы меня не отвезете домой? — спросила учительница.

— Вам нужно еще полежать.

— Я вызову такси, — поторопился директор. Он опять вошел в кабинет. — Я вас провожу...

— Видали? — сказала учительница. — Вначале издеваются над человеком, потом вызывают «скорую помощь», а теперь хотят увезти на такси.

Она приподнялась на локте.

— На такси я могу уехать и за свой счет. Позаботьтесь лучше о путевке.

Она упала на диван и несколько секунд пролежала неподвижно, скорбная, с «печатью смерти» на лице. Потом открыла глаза и торжественно произнесла:

— Езжайте, товарищи!

Они возвращались на станцию усталые, молчаливые и будто бы разобщенные своими мыслями. Особенно грустным казался Кулябкин.

— Противно, — сказала Верочка. — А попробуй не полюби, больной всегда прав, такой лозунг.

— Прав Сысоев, — сказал Юраша.

— И это противно, — сказала Верочка.

— Противно, если и теперь нам не дадут съесть пельмени.

— Разве это будут пельмени! — вздохнул Володя.

— А я теперь, пожалуй, съел бы и сырые, — признался Юраша.

Машина развернулась во дворе. Володя выключил зажигание, поглядел на неподвижного, задумавшегося Кулябкина, сказал ему:

— Приехали, Борис Борисович.

Верочка и Юраша уже выскочили из машины, подходили к дверям.

— Ко мне должны прийти... — виновато сказал Кулябкин, останавливая Володю около двери. — Так если пришли, то, может, я возьму у тебя туфли... ненадолго.

— Ну, это уж издевательство, — возмутился Володя. — То надень, то сними, сами же обещали...

— А в таком виде разве удобно? — спросил Кулябкин.

— Главное, чтобы ногам было удобно, — уверенно сказал Володя.

— Вас давно ждут, — сказала диспетчер Кулябкину.

Он вздохнул, поискал глазами шофера, но Володя повернулся спиной.

Борис Борисович потоптался в нерешительности, махнул рукой и пошел наверх.

Сысоев сидел против Тани и почтительно слушал ее.

— Боря, — сказала она, — а я боялась, что не дождусь... Хорошо, что твой друг был так любезен...

Сысоев едва заметно улыбнулся и встал.

— Ну? — спросил он. — Каков вызов? — И тут же расхохотался, заметив смятение в лице Бориса Борисовича. — Что? Давал валерьянку?

Он прошелся по комнате, повернулся к Тане:

— Вот, Татьяна Ивановна, иллюстрация к нашему разговору.

Он заговорил с жаром.

— Я не устаю об этом думать, потому что мне жалко себя. Три года! — сказал он. — Три года выброшено на свалку! За эти три года я мог бы горы свернуть...

— Но ведь у вас бывают и серьезные случаи, — растерянно сказала Таня.

— Бывают! — повторил Сысоев. — Но это золотая рыбка, которую мы вылавливаем в мутной воде потребительства и хамства. Вот сегодня ваш Борис доложил благородному собранию врачей четыре замечательных случая, четыре еще не сработанных алмаза. Я ему говорю: хватайся двумя руками, делай науку, вырывайся отсюда, но он, видите, принципилен...

Сысоев резко повернулся на каблуках, пальцем указал на Кулябкина.

— А я вижу в этом лень, да, лень ума. И если человек на «скорой» не хочет идти вперед, не желает вырваться из этой... — он искал слова, но никак не мог найти приличного и подходящего и спокойнее закончил: — То он для меня обречен, бесперспективен...

Сысоев раскинул руки и склонил голову.

— Извини, Борис, это так. Я говорю правду, как другу...

Кулябкин подошел к окну, сцепил за спиной руки, не отвел.

Наступила долгая тишина.

— Ну, я пойду, — сказал Сысоев. — Забыл, что мне нужно еще к диспетчеру...

Он вышел.

Кулябкин повернул стул, сел на него верхом, положил подбородок на спинку.

— Как папа? — спросил он.

— Знаешь, он воспрянул духом, — грустно сказала Таня. — Ждет копустрин. Твой товарищ уже говорил с ним, сказал, что ты оставил лекарство.

Она раскрыла ладонь, показала Кулябкину ампулы.

— Давай сотрем надпись, — сказал он ей.

— Уже стерли, — сказала Таня.

— Вот и все, что мы можем, — сказал Кулябкин.

— Спасибо и за это...

Они замолчали, сидели друг против друга, и Борис Борисович почему-то взял Танину ладонь, в которой были зажаты ампулы, и осторожно подышал на ее пальцы.

— Страшно все это, Боря, — сказала она. — И невозможно смириться.

Он поднял голову.

— Ты должна быть мужественной, Таня, — сказал он. — Только сильный, уверенный человек сейчас ему нужен.

— Я смогу, — пообещала она. — Я выдержу, не сомневайся. Ты даже не понимаешь, сколько для меня сделал. Для нас с папой.

— Если бы только можно было что-нибудь сделать, — вздохнул Кулябкин.

Он вздрогнул — зазвонил телефон, — поднял двумя пальцами трубку, будто тут же решил ее повесить, подумал и приложил к уху.

— Боря! — он услышал необычно возбужденный веселый голос Лиды. — Ты все едешь. Я звонила дважды. Тебе не передавали?

— Нет, — сказал он. — Что случилось?

— Ничего, — засмеялась она. — Просто с тобой хочет поговорить Юлька...

Свет в его глазах стал мягче. Он подождал немного, строго сказал:

— Десятый час ночи, а ты не спишь.

Она будто бы не услышала.

— Давай с тобой разберемся, — сказала Юлька. — Вежливый, я думаю, был кролик. Ты, папа, что-то ошибся.

— Нет, — сказал Кулябкин. — Кролик заставил голодать удава, сколько они ждали доктора, а?

— Вот доктор и был невежливый, — сказала Юлька, напрягая всю свою логику.

— Возможно, — сказал Кулябкин. — Только я тебе советую не спешить, завтра поговорим обо всем. Спи, ко мне пришли...

— Папа, — закричала Юлька, — еще что-то хотела мама...

Он вздохнул.

— Объяснил? — так же весело спросила Лида и, не ожидая ответа, сказала: — Я все устроила, Боря. Завтра иди домой, а не к Денисовым. К ним придет медсестра из поликлиники, сделает укол. Зачем ты будешь туда ходить, как мальчик?

Кулябкин молчал.

— Я их там, в поликлинике, страшно напугала, — смеялась Лида, но голос ее звучал натянуто. — Сказала: говорит кандидат наук... Они очень этого боятся.

— Послушай меня внимательно, — сдержанно и тихо сказал Кулябкин. Он бросил взгляд на Таню: она думала о своем. — Завтра в половине девятого тебе нужно исправить свою ошибку.

— Нет, — сказала она.

— Да, — сказал Кулябкин. — Ты сделаешь все, что я прошу.

И он положил трубку.

— Это звонила Юлька? — спросила Таня с улыбкой.

— Да, — сказал Кулябкин. — Я ей рассказал днем сказку, а ей никак не разобраться...

— Ты все такой же, Боря. Не изменился.

— Такой же, — махнул он рукой, — что со мной станет.

— Дружишь с дочкой?

— Не разлей вода, — похвастался он.

— А сказка, наверное, грустная?

— Веселого в ней мало, — согласился Кулябкин.

— Не рано ли ребенку? Вот сам говоришь — не может разобраться.

— Кто знает, — вздохнул он. — Рано ей или нет.

Он улыбнулся.

— Но ты не думай, Таня, что сказки у меня только грустные. Я иногда рассказываю и очень веселые.

— Очень? — не поверила Таня.

— Да, — подтвердил Кулябкин. — Жил да был, например, одуванчик, рыжий-прерыжий, похожий на солнце. Он был влюблен в стебелек, который рос рядом, но одуванчик никак не мог объясниться в любви, не решался. То был дождь, то морось. Что-то мешало. «Вот прояснится, — думал он, — и признаюсь». И он дождался хорошей погоды, поглядел в лужу и вдруг заметил, что он совершенно седой. «Ничего, — успокоил себя одуванчик, — седина — это модно. Подует ветер, причешет волосы, и тогда... я объяснюсь». И он дождался ветра, поглядел на себя в лужу и увидел, что стал... лысым.

Борис Борисович обернулся. — в дверях стоял Сысоев.

— Ты что, не слышишь? — сказал он, протягивая Кулябкину листок. — Дважды уже вызывали... В гараж. Очередной раз «плохо с сердцем». — Он махнул рукой. — Ну что может быть «плохо» в сорок лет? Не успел, видно, опохмелиться. Возьми бидон нашатырного спирта.

Кулябкин вскочил.

— Ну ладно, — сказал он виновато Тане. — Я поеду. До завтра...

Сысоев загородил ему дорогу.

— Спокойнее, спокойнее, доктор. Ничего там быть не может. Знаете, — сказал он Тане, — мои прогнозы по поводу больных более точны, чем прогнозы бюро погоды. Я еще не ошибался.

Он отступил в сторону, сам открыл Кулябкину дверь. Борис Борисович оглянулся, встретился глазами с Таней, кивнул ей.

— Утром ждите, — сказал он. — Около десяти...

— Спасибо, — сказала она ему. — Спасибо... за сказку.

Ворота автобазы раскрылись, как по мановению волшебной палочки, и «скорая», лавируя между постройками, ангарами и рядами самосвалов, подошла к крыльцу с красным медицинским крестом и надписью «медпункт».

Несколько шоферов в грязных рабочих комбинезонах толпились рядом, и, когда врач, а за ним и фельдшера вышли из «рафа», они замолчали и недружелюбно оглядели медиков.

— Человек чуть концы не отдал, а они все едут, — сказал пожилой рабочий вслед Кулябкину.

Борис Борисович только пожал плечами.

— А вы бы шли к нам работать, — взъелся Юраша.

Борис Борисович вошел в коридор амбулатории, пропустил Верочку, пальцем поманил Юрашу к себе:

— Предупреждаю, будешь пререкаться — сниму с машины.

— Так они первыми начали, — оправдывался Юраша.

— В таких случаях меня арифметика не интересует, — отрезал Кулябкин.

Маленькая девушка-фельдшер выскочила из кабинета, бросилась навстречу Борису Борисовичу.

— Только не верьте ему, доктор! Это сейчас он такой храбрый, — застрекотала она. — Жуть что было!

Девушка передохнула.

— Сижу в кабинете, радуюсь: ни одного больного, почитать можно. И вдруг — он. Белый как простыня. «Дядя Сережа, — кричу, — что с тобой?» А он молчит, рукой грудь трет. Я ему раз — камфору, раз — кордиамин, раз — кофенин. Правильно?

— Вероятно, правильно.

Девушка вдруг заплакала.

— Он меня за медика не считает... Он меня с таких лет знает, с отцом еще работал... Не верьте ему, доктор, возьмите в больницу, он больной, честное слово, больной...

— За медика не считает, — скривился Юраша. — А другие считают?

Девушка с вызовом поглядела на него, вытерла слезы.

— Считаю, — сказала она. — У кого хочешь спроси.

Она смерила Юрашу уничтожающим взглядом, сказала только Кулябкину:

— Говорит: пройдет, отсижусь немного. Я уж с диспетчерского телефона вас вызывала, из кабинета не давал, — зря, мол, людей беспокою.

— А он, случаем, не того? — Юраша щелкнул себя по подбородку.

— Да как вы можете! Вы еще и больного-то не видели.

— Не видел, — согласился Юраша. — Но нужно быть бдительным.

Больной водитель сидел на топчане и держался за его край, будто боялся упасть. Лицо его было бледным, даже синюшным, и, когда бригада зашла в кабинет и расположилась вокруг него, он поднял голову и устало оглядел каждого — Верочку, Юрашу и, наконец, остановился взглядом на Кулябкине. Понял: доктор.

— Что с вами случилось? — спросил Борис Борисович.

— Сам не пойму, товарищ доктор. Вступило сюда, — он показал на грудь, — не передохнуть. А теперь уже лучше. Я Наталье говорю: не вызывай, само пройдет.

Кулябкин кивнул и присел рядом.

— Вы бы подробнее о самом приступе, — попросил он и взял руку водителя, чтобы сосчитать пульс.

— Неудобно-то как, по ерунде беспокоим, — он помолчал. — А вообще-то я колбасу съел. Незадолго. Другого, товарищ доктор, не было.

— А раньше случалось?

— Зажмет иногда. Но чтобы так — ни-ни. Тут аж клещами. Был бы столб, в столб влетел бы.

— Понятно, — сказал Кулябкин. — Ложитесь.

— Да мне хуже лежать, — признался водитель. — Дышать не дает.

Юраша тихонечко подошел сбоку к водителю и стал прихихиваться.

— Да вы что, молодой человек, — обиделся водитель. — Я за рулем, как можно.

— Я ничего, — сказал Юраша, отступая под холодным взглядом Кулябкина.

— Принесите, Михеев, кардиограф, — сказал Борис Борисович.

— С удовольствием, — сказал Юраша.

— Ну, — с иронией шепнула Верочка. — Унюхал?

— Нет, — тоже шепотом признался Юраша. — Это они умеют, чай жуют. — Он махнул рукой. — А для Кулябкина — все больные. Увидишь, прикажет этого хмыря еще на носилках нести.

— Сейчас будем госпитализировать, — объяснил больному Кулябкин. — Юра, нужны носилки.

— Какже носилки, товарищ доктор! Сделайте укол и отпустите.

— Дядя Сережа! — прикрикнула фельдшер. — Я тебя до работы все равно не допущу!

— А ты помалкивай! — обиделся водитель. — Твое дело десятое.

— Как же десятое! Я, между прочим, медик.

— Медик! — передразнил больной. — Я этого медика недавно на горшок сажал. Зазналась больно.

— Видали, как разговаривает, — сказала девушка и тут же бросилась к дверям, замахала руками на ввалившихся шоферов. — А ну, марш отсюда! Нечего вам тут делать, болеет человек.

— Да я здоров! — крикнул водитель. Он стал торопливо снимать электроды. — Видали? — говорил он товарищам. — Везти меня в больницу решили. На работу не пускают, запутали всего!

Его смех был стеклянным, дребезжащим.

— Ложитесь, ложитесь, — уговаривал его Кулябкин. — Нельзя так. Это же сердце...

— Перестаньте, товарищ доктор, — еще более возбуждался больной. — Зря беспокоитесь.

Он стал механически, почти бессмысленно рыться в карманах, нашел бумагу, сложенную вчетверо, протянул тому пожилому водителю, который еще на улице обращался к медикам.

— Путевку, путевку, Коля, возьми...

Повернулся, но не к выходу, а влоборота, к фельдшернице...

— Дядя Сережа, — сказала она растерянно.

Он оглядел всех.

Кулябкин шагнул к нему, вытянул руки, но тот вдруг рухнул назад, навзничь.

— Юра! — крикнул Кулябкин. — Дефибриллятор!

Он уже сидел на полу, торопливо расстегивая, разрывая рубаху, обнажил грудь с морской татуировкой и, сдавливая ребра, начал закрытый массаж сердца.

— Все выйдите из помещения! — крикнул Юраша.

— Он умер? Это смерть?— спрашивала потрясенная фельдшерница.

Кулябкин не ответил.

— Это смерть, доктор?— повторяла она.

— Выйдите, не мешайте работать!— рывкнул Кулябкин.

...А Юраша уже разматывал провода дефибриллятора. Вера снимала ленту, включала и выключала кардиограф. И только девушка-фельдшер, как вратарь, стояла в дверях, ожидая возможных приказаний.

— Намочите электроды, — приказал ей Юраша.

Она пронеслась по коридору, пролетела мимо испуганных, подавленных увиденным водителей.

— Он мертвый, мертвый... я его предупреждала, — плакала девушка.

Кулябкин массировал сердце. Пот стекал по его лбу, по вискам, скапливался на верхней губе, и он языком слизывал эти капли.

— Мы ему не дадим умереть, — говорил Кулябкин в такт. — Мы этого не допустим... Так просто у нас не умирают.

— Кардиограф, — приказал он Верочке, и она тут же протянула ему конец ленты. — Ага, фибрилляция, — сказал он, — набирайте.

Он взял электроды — две круглые зеркальные металлические пластинки — и приложил их к обнаженной груди водителя.

— Сколько на шкале? — спросил Кулябкин у Юраши.

— Три, четыре... пять...

— Мало.

— Шесть тысяч вольт.

— Приготовиться, — сказал Кулябкин. — Импульс!

Ток огромного напряжения прошел через мертвое тело, подбросил человека над полом.

— Кардиограф, — сказал Кулябкин.

Они поменялись с Юрашей местами, и теперь фельдшер массировал сердце, а Кулябкин подключал кардиограф. Пошла лента.

— Хорошо работаешь, — похвалил он Юрашу. — Так и держи в этом ритме.

— Что там у вас? — спросил Юраша.

— Фибрилляция.

Кулябкин вытер пот, скинул пиджак, бросил его на топчан. Галстук валялся на полу, и теперь Кулябкин топтал его, не замечая.

А стрелка вольтметра на дефибриляторе ползла по шкале вверх, минуя цифры: три, четыре, пять...

— Семь тысяч, — доложил Юраша. — Даю до упора.

— Готов, — сказал Кулябкин, вновь прижимая электроды. — Разряд! — приказал он.

Новый удар подкинул тело.

Теперь Верочка начала массаж.

— Ритмичнее, — попросил Кулябкин. — И сильнее.

Они снова подключали кардиограф.

— Фибрилляция! — с отчаянием сказал Юраша. — Кажется, мы его теряем.

— Будем в третий раз, — решил Кулябкин.

Они уже все были без халатов, в рубашках с засученными рукавами.

— Неужели не сможем запустить сердце? — точно сам себе сказал Кулябкин.

— Умер? — фельдшерица опять оказалась рядом с Кулябкиным.

— Что? — не понял он и вдруг разозлился. — А ну, за кислородом!

— Шесть с половиной, — устало сказал Юраша.

— Вера, готова?

— Да.

— Давай!

Он опять был на массаже. Верочка «рыжимала» мешок с кислородом, Юраша подключал аппарат.

— Ритм! Синусовый ритм! — почти шепотом сказал Юраша.

Кулябкин поднялся.

— Уменьшите кислород. Давайте с воздухом... Сколько у нас на манометре?

— Еще сто атмосфер.

— Ну, — вздохнул Кулябкин. — Прилично.

Потом они все расселись — Кулябкин на подоконнике, Верочка на топчане, устало и почти безразлично глядели на больного.

Юраша придерживал пальцем маску. Дыхательный мешок сокращался.

Дверь распахнулась. Напряженные сзади водители втиснули в комнату девушку-фельдшера.

— Все? — едва слышно спросила она.

— Чего — все? — пожал плечами Юраша. — Жив он. У нас так просто не умирают, профессор.

Издаലെка было видно, как раскрываются впереди ворота автобазы. Володя поплевал на руки, натянул почти на глаза кепку. Машина мягко сошла с места.

Вскрик сирены пугнул ночную тишину гаража. «Раф» выкатился на шоссе.

— Так и дави, — приказал Юраша. — Теперь твоя работа. На милиционеров внимания не обращай.

— Не учи ученого, — огрызнулся Володя. — Моя «машка» не первый день замужем. Как там кореш?

— Нормально, — сухо сказал Юраша. — И давай уж без этого, без лишних слов...

Верочка нажимала на зуммер рации, вызывала диспетчера.

— «Рефлекс», «рефлекс»! — кричала она. — Восемнадцатая станция, сто третья машина. Больной после клинической смерти. Предупредите реанимацию.

— У Кулябкина после клинической, — повторила кому-то диспетчер. Потом полюбопытствовала: — А сколько больному лет?

— Сорок.

— Ба-тюшки!

— Ну и трепачи, — сурово осудил Юраша.

Кулябкин следил, как ритмично наполняется мешок кислородного ингалятора. Пиджак и халат лежали у него на коленях, а галстук торчал из кармана. «В больнице снимем повторно кардиограмму, поглядим результаты». Потом он подумал, что, наверное, в приемном покое уже заземлен лифт и все врачи в сборе.

— Как пульс? — перебил его мысли Юраша.

— Девяносто.

— Так держать, — немного торжественно приказал Юраша.

Володя дал снова сирену, и машина, мягко шурша, пролетела под красный.

— После такой работы, — мечтательно сказал Юраша, — я бы молока давал за вредность или прибавлял бы день к отпуску.

— Будешь министром — прибавишь, — сказал Кулябкин.

— Возможно, — согласился Юраша.

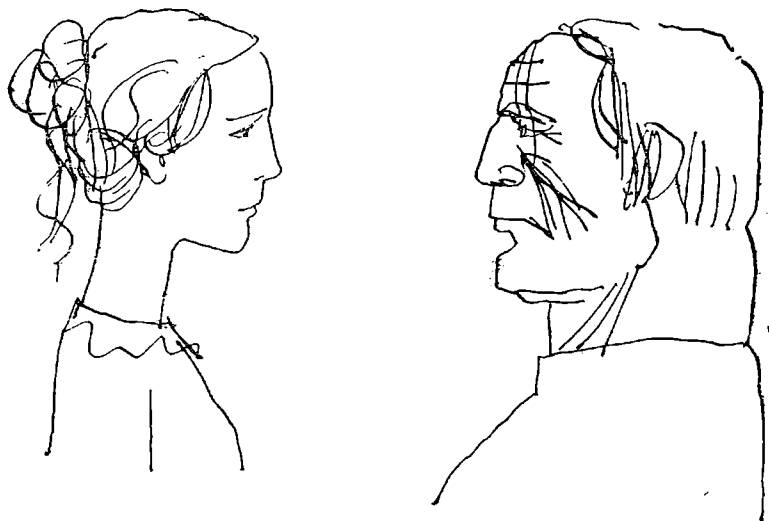
— А я, — вздохнула Верочка, — хотя бы два часа на вызов не посылала, дала бы отдохнуть людям.

— Мелко мыслишь, — сказал Юраша. — День к отпуску лучше. Тем более я еще не устал.

Он приподнял руку, дождался встречного фонаря и осветил в окне циферблат своих часов.

— Ого! — поразился он. — Двенадцать ночи! Вот видишь, — сказал Юраша Верочке. — Осталась ерунда, каких-то девять часов до конца дежурства.

АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ



Глава первая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

— Внимание! Внимание! Граждане пассажиры, — похрипывает под потолком вагонное радио, — наш поезд идет с двухчасовым опозданием.

Мой молчаливый сосед иронически улыбается. «Ну конечно же, опаздываем», — как бы подтверждает его многозначительный взгляд.

В течение всего утра он не произнес ни слова, но у меня такое ощущение, что это самый разговорчивый человек в купе. После каждой фразы, сказанной кем-нибудь из попутчиков, он ухмыляется, поджимает губы, выражая свое несогласие.

Первым не выдерживает немолодой, коротко подстриженный седой мужчина с красным, видимо когда-то обожженным лицом. Он тяжело поднимается и, припадая на левую ногу, выходит в коридор, где у окна стоит мой девятилетний сын.

— Покурим? — Мужчина озорно подмигивает Вовке.

— Можно! — радостно соглашается тот.

Они, кажется, подружились, потому что устраивают подобные совещания не в первый раз.

Дверь остается приоткрытой, и я невольно слышу их разговор.

— Значит, мама — учительница? Чему же она учит?

— Всему.

Оба так смеются, что я невольно завидую им. Как легко завести знакомство моему сыну, и как трудно — мне. Видно, сказываются долгие годы моего деревенского отшельничества.

— А вы воевали?

— Слегка.

— И вас ранили?

— Чуть-чуть.

— А ордена?

На стыке рельсов дверь захлопывается, и мы остаемся вдвоем. Стараюсь не смотреть на соседа. Может, выйти?

— Да, да, — наконец произносит молчаливый первую фразу. — Заберите ребенка. Как бы этот тип не научил его курить.

Дверь снова ползет назад, и я вижу седого мужчину. Сидит на откидном стуле в проходе вагона, одна нога неестественно вытянута, на другой, согнутой, восседает мой сын.

— Значит, в гости? — спрашивает мужчина.

— И работать, — дополняет Вовка. — Там мамыны друзья: тетя Люся и дядя Леня.

— Как ты сказал: дядя Люся?

— Нет, нет! — Вовка хохочет.

И опять дверь захлопывается. Смотрю на часы. Конечно, Люся и Леонид не будут сидеть на вокзале два часа и ждать нас, но я все же начинаю чувствовать себя виновницей их испорченного дня.

Вровень с поездом движется грузовик, сворачивает, и сразу же за окном возникает серый от пыли цементный комбинат. Это значит — до Вожевска уже не так далеко.

Даже не знаю, рада ли я возвращению. Сказать «да» — сфальшивить. Я уверена, что лучше, чем в Игловке, мне не будет нигде. Но Вовке нужен город. Перечитываю письмо Леонида Павловича. Пожалуй, оно и решило этот мой бесконечный внутренний спор.

«Дорогая Мария Николаевна! Ждем не позднее двадцатого августа. О квартире для Вас договорился, но пока придется пожить у нас. Работать начнете в моей школе, надеюсь, жалеть не будете. С уважением Прохоренко».

Письмо показалось сухим. Но убедить меня могла только такая категоричность. Дала телеграмму: «Еду».

До самого последнего дня никто в Игловке не верил в наш отъезд. Утром, когда мы ждали машину, зашел Андрей Андреевич, маленький, седой, борода клинышком, снял шляпу и скорбным взглядом, точно присутствовал на похоронах, осмотрел тюки и чемоданы.

— Уезжаете?

А ведь вчера сам подписывал мою трудовую книжку.

— Да.

— Ну что ж, насильно, говорят, мил не будешь.

Повернулся и, не прощаясь, пошел к дверям.

— Андрей Андреевич! Зачем так... Вы же знаете, мне нелегко.

Я заставила его сесть. Он обвел глазами комнату, такую, оказывается, большую, с оголенными окнами, — сколько света забирали шторы! — с раскрытым настезь пустым платяным шкафом.

— А книги?

Я сказала, что книги уже в пути.

В купе заглянул проводник и предупредил, что Вожевск — следующая остановка. Промелькнули одиночные железнодорожные вагоны с занавесками, товарняк, груженный песком, одноэтажная улица окраины, затем — каменные дома.

— Какой городище! — поразился Вовка.

Сверкнула витрина магазина, громадная парикмахерская — девять лет назад здесь ничего этого не было. И все же кое-что я узнаю. В просвете улицы появилось желтое здание педагогического института, купол церкви — это уже на берегу Прокши. Правее, хорошо помню, городская больница.

А ведь я когда-то давала себе слово сюда не возвращаться. Уехала, решила, что порвала с прошлым. А вот не получилась...

Вовкин приятель помогает нам вынести вещи. Оказывается, он тоже выходит в Вожевске.

— Надеюсь, встретимся, — прощается он.

— Встретимся, — подтверждает Вовка.

В зале ожидания полно народу: едят, разговаривают, дремлют. Кашляет и заикается репродуктор — понять ничего нельзя, но люди вскакивают, хватают узлы и чемоданы, спешат к выходу.

Как изменилась привокзальная площадь! Большой гастро-

ном, а рядом, в витрине магазина «Одежда», два учтивых манекена приветствуют покупателей.

Невольно вспоминаю игловский сельмаг, где за одним прилавком продавались телогрейки, за другим — банки с бычками в томате и развесное повидло.

Рядом останавливается «Волга» с шахматными клеточками на капоте. Город здорово разросся, если здесь кому-то требуется такси.

И тут меня окликают. Узнаю Люсин голос и боюсь обернуться. Это длится секунду, меньше. Мы уже бежим друг к другу. Обнимаемся. Наши лица становятся мокрыми, слезы сами текут по щекам. Черт, вот уж не думала, что стану такой сентиментальной!

— Девочки, поберегите немного эмоций на вечер.

Понимаю, это Леонид Павлович, но Люся еще крепче прижимается ко мне.

— Не волнуйся. Эмоций у нас хватит на всю жизнь.

С интересом смотрю на него. Высокий. Крупный. Большой нос, четкая линия рта, тяжелый подбородок. Моя ладонь тонет в его руке.

— Ну как? Симпатичный?

— Разве я рискну сказать правду о директоре...

— Тем более сегодня, когда вы опоздали на два часа.

И Люсин муж мне уже кажется давно знакомым.

— Где же Вова? — спохватывается Люся. — Где ты оставила Вовку?

Тревожно оглядываюсь. Вон он, недалеко. Стоит с каким-то железнодорожником в красной фуражке, ведет беседу.

— Вова! Вова!

Идет неторопливо, Люся подбегает к нему, тискает и кружит. Женская несдержанность претит Вовке.

— Пустите! — отбивается он.

— Да это же Витька, вылитый Витька!

На секунду мне становится больно. Я вижу недоумение в глазах сына. Витька? Почему? Его зовут иначе...

Леонид Павлович пытается сгладить неловкость, кладет руку на Вовкино плечо, и мы всей компанией направляемся к площади. Там стоит их «москвич». По привычке наблюдаю за сыном — он что-то охотно рассказывает Леониду Павловичу, — а сама с грустью думаю о том, что Вовка так тянется к мужчинам.

— Смотри, они, кажется, нашли общий язык, — прерывает мой раздумья Люся.

Вовка влезает в машину, дает длинный сигнал.

— Зачем? — одергиваю его.

— Это я Дмитрию Александровичу.

— Кому? — удивленно спрашивает Леонид Павлович.

— Вместе ехали, — говорит Вовка. — Вон идет.

Люся и Леонид Павлович переглядываются, им будто уже что-то известно об этом человеке.

— Между прочим, — говорит Люся, — это твой будущий коллега.

— Неужели? А мы с ним даже не поговорили.

— Ну и хорошо. Поверь, обогатиться от общения с ним было бы трудно.

— Надо же! А мне он показался таким милым.

— Ты уж нам доверься на будущее, кто тут милый, а кто нет. В Вожевске есть люди, которых нужно объезжать за десять километров.

— Странно. Даже не подумала, что это учитель. Да еще из вашей школы...

— Увы! Он чертежник, — говорит Люся. — Работает на полставки, а крови всем портит на полный оклад.

Уму непостижимо, как изменился Вожевск! Иногда даже не узнаю улиц! Судя по протяженности маршрута, Леонид Павлович совершает для нас «круг почета». Проезжаем окраины, мчим по шоссе, останавливаемся у большого современного здания.

— Моя школа! — показывает Прохоренко.

Мне нравится его гордая интонация.

Обходим пришкольный участок. Площадки для игр, даже теннисный корт.

Заходим в здание. В кабинете литературы много цветов, на стенах портреты Толстого, Чехова, Горького, в углу — таблицы по русскому языку.

Присаживаюсь за стол. За свой будущий учительский стол.

— Нравится?

Молчу. Только улыбаюсь. Разве я могла в Игловке представить, что скоро буду работать в такой школе?

Домой едем через центр. Оказывается, в Вожевске есть «новый» и «старый» город. Центр — «старый», окраины — «новый».

Погода незаметно мрачнеет. Небо набухло, стало серым, чуть светлее асфальта.

На ветровом стекле появляются первые оспинки, их становится больше и больше, пока не начинает рябить в глазах. Леониду Павловичу приходится включить «дворники».

— Останови! — просит его Люся. — Это Вениамин!

Машина прижимается к тротуару. Короткий гудок. Замечаю недоумение на лице прохожего, затем — радость, и вот уже некто в мокром плаще грузно опускается на сиденье рядом со мной.

— Ты послан мне богом! — кричит мужчина.

Забавный! Полиэтиленовая шапочка сползла на глаза.воротник плаща поднят, упирается в пухлые щеки, цепкие, хитрые глазки смотря на меня с любопытством.

Я узнаю его: Венька! Венька Шишкин, наш однокурсник, один из самых активных деятелей факультетского профкома. Вот уж не предполагала встретить его!

— Одно благородное дело вы сделали, — тарыхтит Венька, — осталось второе. Могли бы познакомить с очаровательной дамой...

— Какой ты галантный! — Люся смеется.

— Он жуткий ловелас! — подхватывает Леонид Павлович.

Я тороплюсь прийти на помощь Шишкину:

— Веня, мы с тобой знакомы уже тысячу лет.

Он смотрит на меня с удивлением, и вдруг счастливая улыбка начинает расплзаться по его лицу.

— Маша! Ну да, Маша! Да ведь это же я вызволял тебя из деревни!

— Машенька, осторожно, Веня — большой начальник! — предупреждает Люся.

— Какой я начальник! — отмахивается Веня. — Ефрейтор педагогической службы. А вот он — генерал.

— Не верьте ему. Вениамин — старший инспектор гороно, а я всего лишь бедный директор школы, одна из карточек в его картотеке.

— Карточка?! Ты, Маша, еще не представляешь, кто это! Тебя везет Великий Прохоренко!

Мне нравится их озорной разговор.

Машина останавливается. Венька чмокает меня в щеку, открывает дверцу и мчит к подъезду.

— Совсем распустился! — вдогонку кричит Люся. — Все расскажу жене.

— Она меня поймет, как только познакомится с Машей! — Тяжелая дверь захлопывается за ним.

— Какой милый! — говорю я.

— Действительно милый, — соглашается Люся. — На этот раз ты не ошиблась.

Рабочий день Прохоренко начинается чуть свет. Утром сквозь сон слышу, как негромко, будто бы издалека, жужжит,

затихает и вновь жужжит его электробритва. Едва она замолкает, как опять раздается жужжание, но теперь более пронзительное — это мелется кофе.

Больше не засыпаю, но и не встаю. Утро в семье Прохоренко полностью принадлежит Люсе.

С двенадцати часов Люся ждет телефонного звонка Леонида Павловича. Ее напряжение передается нам с Вовкой. Сын забирается на подоконник и сигнализирует обо всех событиях на дороге.

Если Леонид Павлович не приходит, то обедать садимся в два. Стол накрывается на троих, но место хозяйна священо — он незримо присутствует здесь.

Справа от его стула Люся ставит свою тарелку, слева — мою, Вовка сидит напротив. Такое ощущение, что если бы Леонид Павлович сейчас снял шапку-невидимку и оказался рядом, то это никого бы не удивило.

Честно говоря, Люсю я иногда просто перестаю узнавать, хотя внешне она изменилась мало. Конечно, стала солиднее; вместо толстой косы, когда-то вызывавшей зависть подруг, модная стрижка; но улыбка, манера говорить, смех — легкий, заразительный — ее. Еще в Игловку она писала, что школа ее утомляет и она подыскала работу радиожурналиста. Правда, в штат устроиться не удалось, но это даже лучше. Две-три передачи в месяц ей всегда обеспечены.

Невольно думаю: могла бы я так? Раствориться в делах и планах своего мужа? Кто знает... Наши судьбы сложились по-разному.

Впрочем, одного я, наверное, никогда не смогу принять в их семье — бездетности. Сколько раз я замечала, что Люся подолгу смотрит на Вовку. Хотела спросить ее, почему у них нет ребенка, но побоялась — мало ли может быть причин.

Неожиданно она сама разговорилась об этом.

Мы растопили колонку в ванной. Вовка залез в воду прямо в трусиках, и мы, сколько ни уговаривали его раздеться, не смогли. Он так и стоял под душем, держась за резинку трусов, и, когда мыльная пена попадала ему в глаза, орал благим матом, но рук не отпускал.

Люся неумело намыливала его волосы, приговаривая:

— Вот как я тебя. Вот как! — Потом призналась: — Ну и привыкла я к тебе за эти дни. Укатите от нас — и мыть будет некого.

— Чего же вы оплошали?

— Тут возможно одно из двух: либо школа, либо свои дети.

Я возразила:

— Почему нужно ставить одно в зависимость от другого? Я тоже люблю работу.

— Любишь. Но у Лени это не только любовь.

— А что?

— Все. Его огромное, давно задуманное дело. И, значит, главная цель в жизни.

— Не понимаю.

— Увидишь своими глазами и поймешь.

Помолчали.

— Знаешь, Маша, — неожиданно сказала она. — Я вот, бывает, листаю педагогические журналы, читаю статьи разных теоретических умников, сравниваю с тем, что делает Леонид, и меня охватывает трепет, что ли — даже не знаю, как это точнее назвать, — от ощущения его личности. . .

— Молодец! Я бы так не могла, — призналась я. — Мне кажется, чем ближе был бы ко мне человек, тем критичнее и требовательнее я бы к нему относилась.

— Конечно. Если бы ты могла так, то Витька Лавров сейчас находился бы не в Москве, а в соседней комнате. — Она обняла меня, видимо подумав, что обижает. — Что-нибудь знаешь о нем?

Я с тревогой посмотрела на Вовку и отрицательно покачала головой.

Мы вышли из ванной. Люся принялась что-то искать на книжных полках в кабинете Леонида Павловича.

— На, погляди.

Она подала синий томик, на обложке которого я прочла знакомую фамилию.

Я хотела сказать, что Лавров меня не интересует, но будто забыла произнести эти слова вслух.

— Чуть-чуть гибкости, даже не хитрости — этого тебе взять негде, — а гибкости, и Витька был бы с тобой. Он же отличный парень, Маша!

— Прошу тебя! . .

— Не сердись. Потерянное не вернешь.

Люся подмела комнату, поправила ковер и вдруг с возмущением сказала:

— Нет, не могу, не могу понять! Почему! Почему ты порвала с ним?

— Я не хочу об этом думать, тем более жалеть. Что было, то было и былшем поросло.

И все же я открыла книгу Лаврова. С первой страницы на меня смотрела фотография Виктора, Вовкиного отца. Щемя-

щая боль сжала мое сердце. Да, это был уже не тот мальчик, которого я знала девять лет назад. Вместо привычного полубокса он отпустил челку, дань новой моде. В углу рта — папироса. Я хорошо помнила это выражение разочарованности, которое он любил напускать.

А ведь я видела эту книгу в Игловке, на прилавке передвижного киоска-автобуса, но не взяла ее в руки.

Я думала о Викторе: прошлое, наверное, будет напоминать о себе постоянно...

Вечером я оставила Вовку на Люсино попечение и пошла в город. Хотелось побыть одной.

В центре горели неоновые рекламы. Одна, над витриной кафе, то вспыхивала, то гасла, вырывая из темноты будто неживые, голубоватые лица прохожих.

Возле кинотеатра толпились мальчики в расклешенных брюках, девочки — в мини. Неужели эти ребята сядут за парты в моих классах? Смогу ли я с ними?

Потом я спустилась к реке. Дорога была знакомой, будто я бродила здесь только вчера. Перешла мост. Теперь нужно идти выше, через маленький ельник, метров двести отсюда — наша кривая сосна.

Вот и она! Ствол изогнулся, прижался к земле, как седло, и снова изгиб. Когда-то, сидя на ней, мы готовились к сессии.

А может, Люся права и это я во всем виновата? Раз такие мысли возникли, пора разобраться...

Что же было там, в моем прошлом?

Знакомство. Дружба. Любовь. Разговоры о свадьбе. Потом... непрерывные ссоры.

Приближался наш отъезд в деревню. Все только и говорили, что о работе, а мы с Виктором перестали понимать друг друга.

В его голове вдруг начали громоздиться нереальные планы, невероятные надежды. Он писал короткие информации в местную газету. Я знала, его хвалили за быстроту и четкость.

— Маша, — сказал он как-то, — а если мне... предложат остаться? Газета — это же так интересно...

Я молчала.

— А потом, — сказал Виктор, — я же пишу... Отправил рассказ в московский журнал. Вдруг напечатают. Представляешь?.. — Он весь светился от возможного счастья, шел ко мне, раскинув руки, но я увернулась.

— У тебя странно затянувшееся детство, Виктор, — сказала я резко. — Иллюзии — это мило, но пора подумать о жизни.

Он разозлился.

— Тебе бы юмора, Маша... С юмором у тебя худо...

— Да, — кивнула я. — У меня с юмором худо, зато у тебя — избыток.

Я была раздражительной, нервной, придиралась к каждому его слову. В двадцать лет, вероятно, трудно в самой себе разобраться. А было не так уж и сложно. Я дурнела. Нос и губы припухли. На щеках появились желтые пятна. Однажды при нем возникла рвота.

— Что с тобой? — испугался Виктор, но я отмахнулась.

— Так, — сказала ему. — Устала.

Я почему-то никак не могла решиться сказать о беременности. «Нет, нет, — думала я, — он должен сам увидеть, понять... Еще решит, что этим я хочу его удержать...»

Он снова спросил:

— Ты нездорова?

Я хотела крикнуть: «Неужели не замечаешь, у нас будет ребенок!» И промолчала. Только пожала плечами.

А он успокоился, как обычно, стоял у окна и говорил о своем:

— Съездить бы в Москву хоть на месяц, повертеться в журналах. Знаешь, главное, говорят, личное общение...

Я делала вид, что ищу в тумбе стола конспекты, нагибалась все ниже и ниже, а в голове было одно: «Все кончено. Скатертью дорожка... И если уж рвать, то теперь... Дальше станет труднее...»

И тогда я сказала:

— Знаешь, дружок, твои визиты мне в тягость.

Ночью я взяла его книгу. Открыла первую страницу, прочла первую строчку, потом еще и еще и будто услышала его голос.

Это была исповедь человека, которому стало необходимо рассказать о себе. Шел, шел по земле, ни о чем не думал, жил легко, и вдруг стало непросто, пришлось о многом поразмыслить...

Пожалуй, это была история нашего с ним прошлого; вспоминая то одно, то другое событие, я внезапно почувствовала одиночество Виктора.

А если это не так? Можно ли художественную правду смешивать с правдой реальной жизни? Не писал же он книгу только для того, чтобы когда-нибудь я усомнилась в своей правоте.

Да, я пошла на разрыв. Не сказала ему о ребенке. Взяла все на себя. Но даже если я была неправа, то сейчас поздно жалеть.

Спать! Погасить свет и спать. Лампочка мешает Вовке — он вертится в постели. Одеяло сползло. Нужно подняться, поправить. Если я и виновата перед кем, то только перед сыном. Выходит, я слишком просто распорядилась его судьбой.

Встаю. Гляжу на Вовку. Копня Лаврова. Лучше не думать о прошлом, не думать. А ведь в деревне я еще ждала писем Виктора, хотела сделать аборт, но не сделала. Решила, пусть будет ребенок. Должен ведь и у меня быть кто-то, кому я необходима.

В который раз поднимаюсь, чтобы прикрыть окно.

Слышу шаги. В коридор вышла Люся.

— Маша? — спрашивает она шепотом. — Не спишь?

Не отвечаю. Жду, когда Люся уйдет в спальню.

И тогда начинаю реветь. Мне жалко себя и Вовку. Зачем нужно было читать эту книгу, ворошить то, что ушло и забылось...

Сегодня Леонид Павлович пришел домой раньше обычного. Выпил кофе и закрылся в кабинете.

Не успели мы примоститься на тахте — Люся с вязаньем, а я с книжкой, — как послышались его шаги.

— Может, погуляем?

— Конечно. Мы тоже не выходили.

Жара на улице начала спадать. Последние дни августа оказались на редкость душными, каменные тротуары нагрелись и теперь будто дышали, отдавая тепло.

Решили идти к старой церкви, на другую сторону Прокши.

Было около девяти. Вожевск словно вымер. Да и у реки оказалось пустынно. Спокойная, ровная гладь поблескивала чернью. Только длинные тени деревьев тянулись с обоих берегов друг к другу и перекрещивались на середине, как гигантские шпаги.

— Хорошо! — Леонид Павлович раскинул руки. — Спешу, тороплюсь, хочу больше сделать. Дурак, какой я дурак, девочки! — Он подкатил ногой камень, сшиб его в воду. — Ну что может случиться с делами, если вот так гулять каждый вечер?

— А я тебе что говорю? — Люся вздохнула.

Рядом послышались шаги, к нам приближались двое: подросток лет тринадцати, белобрысый, с застывшим, немного одутловатым лицом — такое бывает у детей больных и мало-подвижных, — и мамаша, еще молодая женщина с копной курдюков на голове.

Женщина первая заметила нас, дернула мальчика за руку.

— Здрась! — крикнул подросток. Он не знал, куда деть руки, вытянул их по щвам, потом сунул в карманы и тут же вытащил, сцепил за спиной.

— Здравствуй, Сережа. Через несколько дней в школу. Со-скупился?

Пауза затянулась, и мать сказала:

— Очень. Очень он у меня соскучился, Леонид Палыч.

— Я и не сомневаюсь. — Прохоренко подождал, когда они отойдут, повернулся ко мне: — Это ваш будущий ученик. Завьялов. Трудный парень, мягко говоря, малоспособный.

Я поглядела им вслед. Интересно, что думала эта женщина о своем сыне? Конечно, считала умным, хорошим, добрым. Почему учителю не всегда удается смотреть на ребенка такими глазами? А какой учительницей была бы я, если бы не стала матерью?

Завьяловы скрылись за мостом.

— Странное лицо, — подумала я вслух. — А кто мать?

— Мужа нет, а детей двое!

Наверно, и обо мне говорят с такой же иронией...

— Табу! Накладываю табу на все разговоры о школе! — спохватилась Люся.

— Жаль, Маша, что вы не приехали в Вожевск хотя бы на месяц раньше. И не поработали в нашем пионерлагере. Во-первых, вы бы не чувствовали себя новичком в коллективе, а во-вторых, это помогло бы вам лучше понять истинный дух, атмосферу нашей школьной жизни.

— Какая она?

— Мажорная. Макаренко признавал только один нормальный тон в школе: бодрость. Никаких сумрачных лиц, готовность к действиям, веселое настроение.

— Вот что, братцы, — сказала Люся. — Вижу, с вами не договориться. Придется брать штраф.

— Тогда уж лучше заплатить сразу, чем подвергаться гнусным вымогательствам.

Он вынул рубль и протянул жене. Потом снова обратился ко мне.

— Неужели Люся еще ничего не рассказывала о нашем эксперименте?

Люся вспыхнула и неожиданно забеспокоилась.

— Я хотела, чтобы ты сам...

— Ну вот, — Леонид Павлович едва заметно улыбнулся, — деньги забрала, а теперь сама просит, чтобы я рассказывал о школе. Типично женская логика. Ладно, знаю, что вам интересно. Слушайте внимательно. Чего мы добиваемся? Детской активности, самостоятельности и, главное, вовлечения макси-

мального числа учащихся в игру. Принцип ее старый, как мир: школьное самоуправление. Открытия в этом нет, и все же мы называем происходящее экспериментом.

Люся прижалась к Леониду Павловичу. Он нахмурился, отодвинулся от нее.

— Маша должна понимать цели и задачи. Ей предстоит многое сделать для школы.

— Ты Машу не знаешь! Ее внутренней силе и целеустремленности можно поражаться.

— На Машу я очень надеюсь. — Леонид Павлович задумался. — Не знаю даже, с чего начать.

— Пожалуйста, с первых своих шагов...

Леонид Павлович вздохнул, хлопнул себя по коленям, поднялся.

— Даже рассказывая, волнуюсь. Так вот... Начали, как я уже говорил, с несложного, но, по-моему, достаточно точного расчета. Чтобы разбудить сонное, неактивное, безразличное царство — школу, а именно такой была та, в которую я пришел в прошлом году, нужны дрожжи, то есть сильные, энергичные ребята, заводилы во всех школьных делах. Где же можно было найти таких? — Леонид Павлович поглядел на меня с таинственным видом. — На улице. Среди тех, кто отлынивает от учебы. Конечно, в школу я их сразу привести не мог, тем более в середине года. Эти ребята нуждались в предварительной обработке, своеобразном воспитании, в методике, которая совершенно не подходила для любого обычного школьника. Для этого я решил взять их сначала в наш летний пионерский лагерь. Еще весной я обошел детские комнаты милиции, познакомился с большинством подростков, составил список возможных кандидатов на ту важную роль, которую я заранее приготовил одному из них. Я искал среди этих отпетых озорников одного-единственного, нужного мне, — вожака. В любой уличной компании всегда есть вожак. Силой своего организаторского таланта, энергией и скрытым, но в действительности огромным честолюбием такие ребята умудряются подчинить себе всех остальных. Да, я мечтал отнять у нашей улицы «голову», руководителя. И такого парня я отыскал.

Прохоренко прошелся вдоль скамьи: глаза счастливые, веселые.

— Ехать в лагерь он, конечно, не хотел, мура это, по его понятиям. Но тут милиция мне помогла. Потом он стал торговаться, чтобы и нескольких его дружков взяли. Я согласился. После этого я поехал в воинскую часть, к шефам, привез оттуда списанные портупен, ремни, гимнастерки и от-

дал новичкам. Чуть-чуть выделил их из общей среды, вроде бы подчеркнул, что именно на них собираюсь опереться.

— Но выделять одних — не значит ли это создавать некую элиту?

Леонид Павлович согласился.

— Вы правы, Маша, и я это знал, но... не боялся. Видите ли, я очень большое значение придаю внешним атрибутам. Еще в армии я понял, что забывать о них никак нельзя. Через внешнее к внутреннему, как у Мейерхольда. Вы никогда не читали его работ? А зря. Так вот, он говорил, что внешнее способствует установлению точного внутреннего рисунка роли. Роли! А я заранее определил для каждого из них какую-то роль.

— У Лени собственная богатая юность, — сказала Люся. — Когда-то он был вроде этого мальчишки Щукина.

— Да, юность у меня была действительно не бедная. Но мне помогла армия. И должен признать, что организованность, постоянная подтянутость, аккуратность мне тогда уже сослужили хорошую службу. Ну, об этом еще будет время поговорить, давайте пока о школе.

— Мне, Леонид Павлович, все интересно.

— Видите ли, Маша, я думаю, что у педагога в нынешних условиях нет времени на воспитание одного человека. Учитель — не бонна, не гувернер. «Парная» педагогика, как это у нас называют, душевспасительные беседы только расслабляют ребят, порождают духовное потребительство. — Он почувствовал мое несогласие, но уверенно продолжал: — Так вот, вскоре выяснилось, что тот уличный вожак не только хочет остаться вожаком, но любыми средствами решил добиваться этого и в лагере. И тогда я сообразил, что если Щукину дать почувствовать, что его и мои желания близки, то у него не останется оснований находиться в оппозиции. Вы видите, как логически просто мы начали свою работу. Да, доверие. Да, знание характера и психологии. И, если хотите, некоторый компромисс!

— Пожалуй, я бы побоялась сразу давать ему власть.

— Вы не поняли. Я только сказал, что он хотел получить власть. Я прекрасно знал, что мне еще только предстояло одержать победу над Щукиным, заставить его безгранично меня уважать.

Мы поднялись на взгорок, лес был ниже нас, а где-то впереди Прокша разделялась на два рукава.

— Первые дни в лагере Щукин вел себя нагло. Обложил ребят данью: брал компотами. Курил даже в присутствии воспитателей. Подхожу к нему, спрашиваю: «Куришь?» —

«Курю». А вокруг ребята стоят. Это значит — сейчас или его авторитет покачнется, или мой.

«Не хотите ли, Леонид Павлович, хорошую сигаретку?» — «Нет, — отвечаю. — Боюсь». — «Чего же?» — «Вредно». — «Ах, перестаньте, директор! Это все лабуда. Табак даже успокаивает нервы. И потом взгляните: вот я курю, а ростом выше и сильнее любого из них». — «Выше — факт. Потому что старше. Но сильнее — сомневаюсь. Ты просто запугал ребят. Но вообще-то организм у тебя дряблый». — «Зря обижаете, директор! Могу с двумя потягаться, с любыми». — «А со мной?» — «В каком смысле?» — «Пошли на охоту. Выдержишь — сообщу всем, что ты действительно сильный, тогда кури открыто, не выдержишь — опозорю». — «Ну что же, по рукам».

И вот, Маша, на следующее утро повел я его в лес. Сколько мы с ним прошли, теперь и сказать трудно, но, честно признаюсь, парень оказался упрямым. Ташу его за собой — колени у него дрожат, а он молчит. Я песни пою, с пригорка на пригорок перескакиваю, сам бы присел, а нельзя. Погляжу осторожно: идет, зубы стиснул, чертенок, а идет. «Давай, говорю, рюкзак. Устал ведь». Только головой качает. В какой-то момент я уж подумал: не возвратиться ли? И тут он вдруг говорит: «Сядем, Леонид Павлович. Не могу больше». Раскинул я на земле брезент, вытащил консервы, набрал воды из ручейка, перекусили. Полежали немного молча, и тогда я спрашиваю: «А как ты думаешь, Юра, не возглавить ли тебе лагерную дружину?» — «Мне?» — «А что? Авторитет у тебя большой, будешь моим заместителем». Он смутился, но глаза засветились. «Какой же авторитет, говорит, если вы меня на утренней линейке опозорите?» — «Нет, не опозорю. Но только одного от тебя потребую — курить брось сейчас же». Подумал немного, кивнул. «Добавку будешь получать как все». Опять согласился. «А авторитет свой постарайся укреплять иными способами: все на колхозное поле — и ты с ними, у всех соревнования по плаванию — и у тебя тоже». — «Ладно, говорит. Я вас не подведу».

И представьте, Маша, не подвел. — Леонид Павлович удовлетворенно вздохнул. — Кстати, Щукин теперь будет в вашем классе. У меня большая надежда на вашу помощь, очень большая. В лагере не имело значения, как учился ребенок, в школе будет иметь.

Леонид Павлович замолчал.

— Другим на такое потребовались бы годы. Леониду — месяц, — сказала Люся с гордостью.

— Бывало, взгляну в окно, и сердце поет. Идет Щукин. Хозяин. Шаг стремительный, быстрый. На линейке приказы

коротки, энергичны. Что ни поручишь — все выполняется. Стал другим человеком, да и друзья его тоже. Конечно, таких еще мало, но будет больше, будет. Ну? — спросил он. — Не очень-то все это похоже на заурядные уроки? Я ведь до школы в институте работал. Бывало, придешь домой, сядешь в кресло, и невыносимая тоска навалится на тебя. Что сделал за день? За месяц? За год? Вот я диссертацию писал, крутил три года на арифмометре, выводил среднестатистические цифры, тонну бумаги исчеркал, а кому это нужно? Кто меня за такое «созидание» знает, а тем более уважать будет? Сорок пять стукнуло, жизнь идет, а след, какой-нибудь след я оставил? Плюнул я тогда на все и пошел в школу. Зато теперь если я и сделаю диссертацию, то иначе. Стыдно за нее не будет. — Он засмеялся. — Думаете, карьерист? А я, Маша, на этот счет иначе мыслю. Не важно, как тебя назовут, а важно, что ты сам считаешь. Я верю, что польза от дела не одному мне, и поэтому ставлю на свою идею, как на верную лошадь, крупно ставлю — всю свою прошлую жизнь. Выиграю — победитель, все, все окупится, проиграю — сам виноват, и поделом.

— Не проиграешь, — сказала Люся. — Столько уже сделано.

Леонид Павлович отмахнулся.

— Да ничего еще не сделано! Пришел в школу с середины года. Нужно было приглядеться к учителям, понять, кто с тобой, кто против. Некоторые летом уже перешли в другие школы. Я не задерживал. Нагрузка ожидается огромная, я людям покоя не даю, бездельники для меня перестают существовать вообще. — Он вздохнул. — Итак, Маша, начинаем. На вас, самого близкого к нам с Люсей человека, я бы, признаюсь, хотел опереться особенно. Вы очень, очень мне нужны! Очень!

Люся взяла меня за руку и легко сжала ладонь.

— За Машу я, Леня, головой ручаюсь. Ты даже не представляешь, какой она человек. . .

— Ну уж, — смутилась я. — Обыкновенный человек.

Сегодня мы проснулись в половине седьмого, но Леонид Павлович уже собирался уходить. Он подошел к Вовке, подбросил его, еще вялого и сонного, к потолку.

— Ну, ученик, поздравляю с Первым сентября. Желаю стать директором школы.

— Протестую! — Люся засмеялась. — На старости лет мы никогда не сможем заставить его дома.

— Ладно, — уступил Леонид Павлович, — желаю тебе стать человеком.

— Что же я, не человек? — теперь обиделся Вовка.

— Человек, человек. — Леонид Павлович вынул из кармана красивую шариковую ручку. — Это тебе. Держи.

Застрелять мы сели втроем, а вернее — вдвоем. Люся ухаживала за нами, сновала между столом и плитой. Она поставила перед Вовкой любимые пирожные, заварные, с желтым, пахнущим сливками и ванилью кремом, густое клубничное варенье, а потом вынула из духовки запеченные яблоки, облитые сиропом.

По радио не переставая играли марши, затем старенькая учительница дрожащим голосом заговорила о первом уроке.

Люся вынесла новый пиджак, заторопила Вовку, — она была рада, что провожать его в школу придется ей. Подвела к зеркалу. Вовка сбил челку набок, сурово поглядел на себя.

Без десяти восемь мы разошлись. Чем начнется для меня сегодняшний день? Не осрамлюсь ли?

Дорога была запружена школьниками. Мальчишки-малыши были, как всюду, в костюмах, купленных навыrost, с не гнущимися в коленках наутюженными брюками, в нескладных, топорщащихся курточках. Девочки выглядели аккуратнее — эдакие важные, хорошо причесанные дюймовочки с пудовыми букетами флоксов и георгинов.

Вчера на первом педсовете Леонид Павлович представил меня учителям, сказал излишне много хорошего. В этом была его тактическая, что ли, ошибка. Уважение в коллективе нужно завоевывать самой, а не получать в виде директорских рекомендаций.

Правда, большинство учителей довольно благожелательно поглядывало в мою сторону, и все же один иронический взгляд я уловила. Это был тот, вагонный Вовкин приятель, наш спутник.

После педсовета мы с ним столкнулись в дверях. Он будто шутя бросил:

— Так вот кто такой ваш дядя Леня...

Я смутилась.

— Леонид Павлович — муж моей институтской подруги.

— Я это понял. — И опять ироническая искорка, такая многозначительная и обидная, промелькнула в его взгляде. — Ну что ж, давайте хоть теперь познакомимся.

Он назвался то ли Константиновым, то ли Костомаровым.

Неприятное ощущение долго не покидало меня. Бог мой, как бывает! «Милый, симпатичный» — совсем недавно, а теперь — бр-р! — не хочется вспоминать.

...Я даже не заметила, как подошла к школе. На стенах — кумачовые плакаты, стенды с фотографиями, возле ко-

торых весело шумели ребята. Перед входом на главную лестницу замерли часовые. Они были в военной форме с деревянными ружьями. Малыши буквально столбенели перед ними.

В учительской я обратила внимание на полную седую женщину. Она поглядела на меня долгим неподвижным взглядом, точно обдумывала, стоит ли отвечать на мое «здравствуйте». Наконец слегка наклонила голову.

Загудело школьное радио, и мальчишеский голос объявил:

— Пятым, шестым, седьмым и восьмым классам построиться в актовом зале.

Я вышла из учительской. Старшие теснились, толкались, ссорились из-за мест.

Рослый паренек с большими голубыми глазами, длинными черными, будто подведенными, ресницами, в военной гимнастерке, затянутой на худенькой талии широким солдатским ремнем, подошел к Леониду Павловичу, спросил о чем-то.

— Председатели советов отрядов и командиры лагерных отделений, встаньте перед своими классами. Смирно! — Голос Прохоренко сразу заставил всех стихнуть.

Паренек повернулся — четко стукнули каблуки.

— Товарищ директор! Рота летнего пионерского лагеря, а также ученики школы по вашему приказанию построены. Командир роты Шукин.

— Вольно.

— Во-ольно!

Леонид Павлович неторопливо прошелся вдоль строя. Голова опущена, руки за спиной. Остановился. Несколько раз едва заметно перенес тяжесть тела с пяток на носки. Послышался скрип половиц.

— Нынешнее первое сентября для всех нас — день особого значения. — Леонид Павлович медленно обвел зал глазами. — Здесь я вижу ребят, знакомых друг с другом только по школе, немало и таких, кого объединил в дружный коллектив пионерский лагерь. Я думаю, мне нет необходимости рассказывать о летних делах. Большинство их знает. Я хочу только прочесть одну короткую телеграмму. — Он вынул из кармана бумагу. — «Благодарим за прекрасную работу. Точка. Колхоз перечисляет на счет школы две тысячи сто рублей восемьдесят семь копеек. Точка. Правление».

Леонид Павлович поднял руку и минуту стоял так, ожидая когда утихнет гул.

— Деньги заработали, — сказал он. — А теперь проблема потяжелее: как их истратить? — Он подождал, когда стихнет смех, и опять прошелся вдоль строя. — Впрочем, вы правы,

это не самая главная проблема. Меня волнует другое. В лагерьном самоуправлении выявились замечательные организаторы, вот такие, например, как Юра. — Он положил руку на плечо Щукина и тут же убрал ее. — Но разве имеем мы право закрыть глаза на тот факт, что некоторые из ребят попали в школу после большого перерыва? Их школой долго была улица. Я не боюсь говорить об этом, потому что знаю, как много они поняли летом. И жизнь покажет, сумеют ли они так же хорошо учиться теперь, как они работали в колхозе. — Леонид Павлович приблизился к маленькому белесому пареньку, пристально поглядел на него. Мальчишка вздрогнул, вытянулся перед директором. — Скажи, Петр Луков, правильно ли сейчас рекомендовать тебя или Щукина в совет дружины?

— Нет.

— Значит, вы обязаны доказать школе, что можете учиться не хуже, а даже лучше многих.

— И даже лучше! — весело подтвердил мальчик.

Опять смех.

— Смирно! Внести лагерное знамя!

Раздалась барабанная дробь, и в образовавшийся проход торжественно вошли знаменосцы.

— Пока существует знамя, — говорил Леонид Павлович, — существует и полк. Поэтому мы должны поклясться, что будем хранить знамя как зеницу ока. — Он оглядел ряды школьников. — У нас сражение не только позади, но и впереди. Да, сражение, которое предстоит, тяжелое. До начала лета продлится оно, день за днем девять месяцев. И это сражение — учебу — мы должны выиграть без потерь. Предлагаю двоечников считать бесславно павшими. И в лагерь на следующий год их не брать.

— У-у-у, — не то одобрительно, не то настороженно отозвался зал.

— Так поклянемся же, что будем отлично учиться, помогать друг другу, ничем не опозорим славного имени Второй вожевской школы.

Прохоренко опустил на одно колено, поднял край алого полотнища и поцеловал его.

На лбу у Щукина выступили капли пота. Он подождал, когда директор отступит, и тоже припал к знамени.

Не знаю отчего, но я неожиданно вспомнила детдом, где прожила несколько послевоенных лет. Как там все было непохоже на это! Комната — клетушка в деревянной избе. Четыре койки. Учительница стоит в дверях — пройти невозможно,

держится за косяк, вот-вот упадет. Мы, малыши, глядим на нее и плачем...

— Несколько слов хочу сказать о Шукине, потому что он особенно хорошо показал себя летом. Мне будет больно, если среди жертв учебного года окажется он. Но если мы воюем, то пусть все будет как на войне. Убит так убит. За живой водой не поедем, не ждите.

Я успела заметить, как преданно смотрит подросток на директора.

— Не упускай времени, Юра. Нагонять трудно, а потерянный день даст тут же себя знать. — Леонид Павлович повернулся к нему и приказал: — А теперь встать на место рядовым. Председателю совета дружины принять командование!

Я приподнялась на цыпочки. Круглолицая бледенькая девочка с косичками пошла на сцену, остановилась рядом с Леонидом Павловичем.

— Дружина! — выкрикнула она.

Голос ее сорвался, пискнул, и мальчишки захохотали. Девочка откашлялась и повторила команду:

— Дружина, смирно!

Я чувствовала себя неуверенно до того момента, пока не вошла в класс. После линейки меня словно бы преследовала мысль, что я впервые начинаю работать и ничего не знаю. И за плечами не десятилетие в школе, а в лучшем случае небольшая студенческая практика. Но моя неуверенность тотчас же исчезла, как только я подошла к учительскому столу.

Оглядываю ряды парт. В глазах ребят любопытство: какая она, новенькая? Повезло им с ней или нет?

Раскрываю журнал. Начинаю переключку. Фамилии сразу не запомнить, но лица — проще.

— Боброва!

— Я.

— Горохов!

— Здесь.

Отмечаю про себя реакцию: как поднялся, громко ли ответил, как поглядел. Но главное, пытаюсь больше «считывать» с лица: что думает? Первый урок есть первый урок, но и сегодня мне хочется хоть что-то узнать о ребятах.

— Завьялов!

Оглядываю класс, никто не встает.

— Я-а...

С последней парты поднимается ученик. Сразу узнаю его. Это тот мальчик, которого мы встретили у реки. Смотрит не на меня, а в сторону, будто хочет проверить: не ослышался ли?

— Садись.

Теперь он стоит.

— Ты всегда такой... быстрый?

И сразу понимаю, что допустила ошибку. Класс хохочет. Наверное, он мишень для постоянных шуток.

— Он такой от рождения, — нашелся остряк. — Мама выронила из коляски.

Завьялов садится, я успеваю заметить его враждебный взгляд.

Маленький белесый шутник крутится на скамейке, как воробушек. Я его видела на линейке, это к нему обращался Леонид Павлович. Мальчик действительно похож на птенца: хохолок, худенькая шейка, остренький носик и совсем белесые из-за бесцветных ресниц глаза.

— Как твоя фамилия?

— Я по списку дальше.

— Некоторых можно и без очереди.

— Это инвалидов, что ли?

Класс, слава богу, забывает о Завьялове. Нужно быть осторожнее.

— Луков моя фамилия.

— Вот и отлично. Считаю, что я тебя запомнила с первого взгляда.

Обстановка в классе свободная, но я этого не боюсь. Пусть. Когда будет нужно, я заставлю их слушать.

Узнаю среди своих и ту девочку, председателя совета дружины. Ее фамилия Семидолова. Встает быстро, смотрит с доверием.

— Мне кажется, — говорит она, — что Лукову лучше сидеть одному.

Чувствую: на меня смотрят тридцать пять пар глаз. Ждут, как ступит учительница. Я знаю категорию таких детей, как Семидолова. Тип службиста: хорошо все то, что нужно старшему. Их долг — предупредить.

Ругаю себя, потому что, возможно, неправа. Еще рано ставить Семидоловой «диагноз».

— Спасибо. Если найду нужным, обязательно пересажу.

Луков облегченно вздыхает. Он что-то рисует на бумажке и передает Семидоловой. Могу представить, что там изображено...

Семидолова разворачивает листок и показывает мне луковский шедевр: кукиш.

Последний по списку — Щужин.

Смотрит на меня спокойными голубыми глазами. Трудно

представить, что три месяца назад он был отлично известен в милиции.

— А теперь, — я закрываю журнал, — остается представиться мне. Зовут меня Мария Николаевна, фамилия — Струженцова.

— Как, как?

Поворачиваюсь и пишу на доске. Слышу, сзади что-то происходит. Скрипят парты. Пытаюсь понять: уж не перемещение ли это? Краем глаза замечаю, что боковые ряды парт почти наезжают на меня, берут в клещи. Шаг назад — и я спиной упрусь в них. Ну и класс! Может, я сама виновата? Поддержки я Семидолову, и, может, они побоялись бы поступить так? Теперь даже она молчит, не зная, как я буду реагировать на ее подсказки.

Тишина. Ребята хотят поглядеть на выражение моего лица... Ждут моего крика. Представляю: уже одно это выживание вызывает их радость.

Медленно стираю написанное.

— Запомнили?

— Угу.

— А сейчас я буду считать до трех, и парты окажутся на месте. Ра-аз!

Понимаю, они разочарованы. Скандала не получилось.

— Два, — мой голос становится категоричнее.

Ага, поехали.

— Три!

Оборачиваюсь: все, как было.

Чувство маленькой, но все же завоеванной победы подбадривает меня. Отрадное начало! Как у боксеров на ринге. Приглядываемся друг к другу, нащупываем слабые места. Ничего, я не боюсь.

Кое-кто посматривает на меня трусливо: мол, они-то не виноваты. Впрочем, пугаться им нечего: весь класс серьезно не накажешь. Наверняка решение о путешествии вокруг учителя было принято до урока. Организация сработала на славу. Молчу. Молчит и класс.

Ребята ждут привычных нотаций. Им хочется, чтобы я «разорялась», «лезла в бутылку», тогда можно будет повеселиться.

Но я знаю: самое худое, когда не даешь себе остыть.

Спокойно спрашиваю:

— Вы изучаете литературу. А вот может кто-нибудь из вас ответить: для чего нужны книги?

Тишина. Боятся попасть впросак — или другое: они ошеломлены мирным поворотом событий.

Оглядываю класс. Жду. Удивление у некоторых в глазах так и не проходит, у других — наглость. Торопиться с воспитанием не стоит, проиграю больше.

Вон девочка с косичкой, Боброва вроде... Опустила глаза, тербит промокашку, страдает.

— Ну, как ты думаешь?

— Я?

Ищет ответ на потолке, блуждает по стенам глазами — знакомое выражение.

— Смелее, смелее, — обращаюсь я к классу. — Вы же доказали, что не трусы.

Это сразу разряжает обстановку, вроде бы своим заявлением я простила их, оценила их шутку.

— Книга учит жить.

— Точнее...

— Думать.

— И еще.

Молчат.

— Можно добавить? — это спрашиваю я.

Смеются. Оценили, одобрили мое поведение окончательно.

— Мне кажется, что книги учат людей понимать друг друга. — Я прохожу мимо притихших, но все еще не доверяющих мне ребят. — Представьте, что у каждого из вас есть трудности, радости, свои удачи и неудачи, но вы не можете с ними ни к кому обратиться. Мир словно очерствел. И каждый в этом мире думает только о себе. — Я обвожу взглядом класс. — Вы не поймете меня, я не пойму вас. Люди перестанут думать друг о друге. Кто-нибудь из вас слышал о Корчаке?

Мне не ответили.

Тогда я сказала:

— В какой-то момент мне понадобилось решить: что же такое доброта? И я стала читать. И нашла ответ. Добрый человек, ответил мне в своей книге Януш Корчак, это такой человек, который обладает воображением, понимает, каково другому, умеет чувствовать то, что чувствует другой. И вот сегодня мне кажется, что вам это еще не всегда удается. Так ведь?

Я посмотрела на них, и каждый, с кем встречался мой взгляд, опуская глаза.

Тогда я стала рассказывать им об этом польском педагоге, писателе, враче, человеке. Я говорила о его жизни, о доме сирот, который он создал в Варшаве, о немцах, приказавших старику педагогу доставить детей на вокзал и там погрузить

их в фашистский эшелон, идущий в Трелинку — лагерь смерти.

— Он накормил детей, одел их и причесал. Потом построил парами. И повел по улицам. Он держал на руках двух малышей, старый доктор. И когда какой-то фашист узнал в нем известного писателя и предложил остаться, Корчак спросил: «А дети?» — «Дети поедут». — «Ошибаетесь, — сказал Корчак. — Не все люди негодяи». И вошел в вагон.

Настороженная тишина, которую я застала, войдя сюда, и та тишина, которая была за моей спиной, когда я писала на доске свою фамилию — шкодливая, а может, и подлая тишина, — ничего общего не имела с наступившей. Я проходила вдоль рядов парт, останавливалась, вглядываясь в лица мальчиков и девочек, с которыми мне теперь предстояло работать.

Иногда то, о чем я говорила, казалось мне слишком сложным, слишком серьезным для них, но стоило взглянуть на эти лица, как я успокаивалась: понимают. Сложность и серьезность разговора с ними — в этом я убедилась за десять лет работы в школе — ребята приравнивают к уважению и доверию.

А ведь был момент, когда я считала, что в школе реальна только власть. Каким простым все казалось тогда. Нашалил мальчишка — вызвала отца. И думала, что воспитываю.

Луков расстегнул пиджак, откинулся на спинку парты. Семидолова и Боброва сидели не шелохнувшись.

Что-то чертил Горохов. Его голова была чуть наклонена, рот приоткрыт — так сосредотачиваются дети.

Я прошла мимо. Остановилась. На листке был нарисован фашистский солдат. Он стоял в воротах концлагеря, огромный, в каске, надвинутой глубоко на лоб. За колючей проволокой толпились дети. Их было много, но все почему-то одного роста, одинаковые, как опенки, с огромными, кричащими от голода и горя глазами.

Холод пробежал по моей спине, когда я увидела, что один из детей лысый.

Я наклонилась к Горохову и спросила:

— Корчак?

Он кивнул.

— Подари мне рисунок.

Мальчик не удивился, отвел свою руку.

Я положила листок на учительский стол, распахнула окно. На школьном дворе шелестели деревья. Они были еще зелеными, но в их кронах пробивались желтые листья, как первая седина у человека — сигнал приближающейся осени.

На мгновение я забыла, что нахожусь в вожевской школе.

Я опять была в Игловке, среди своих. Казалось, повернусь к классу и увижу знакомые-знакомые лица. И вдруг острая боль в виске заставила меня вскрикнуть.

Какие-то секунды я смотрела на класс: в лицах ребят было недоумение.

Тогда я опустила глаза — на полу лежала бумажная пулька.

— Кто это? — Я сказала так тихо, точно вопрос предназначался мне одной. А может, я только подумала, но не произнесла этих слов?

Ребята молчали. Тогда я медленно обвела взглядом класс от парты к парте. Кто из них? Кто?

Семидолова с ужасом поглядела на меня.

— Кто стрельнул? — она будто перевела на понятный им язык мой шепот.

Я села. Сцепила пальцы рук так, что они побелели в суставах. Меня разрывало желание выплеснуть на них досаду, но я мысленно приказала себе: нет, только не кричи. Но как, как я должна вести себя с ними? Считай. Ладно. Сто. Девяносто девять... Даже трудно вспомнить следующую цифру... Девяносто восемь. Девяносто семь. Девяносто шесть. Нельзя поддаваться вспышке. Сначала заставь себя думать логично. Ну и словечко же ты отыскала — логично... Девяносто пять. Девяносто четыре...

Я свободнее вглядываюсь в детские лица. Шукин смотрит прямо, спокойно. Луков повернул голову, ищет виноватого. Может, он-то и стрелял? А Завьялов? Что-то чертит на парте.

— Урок продолжать не буду, пока не узнаю, кто стрелял.

— Завьялов! — Луков осуждающе качает головой. — Ну что мы из-за тебя сидим? Так было интересно... Сорвал урок.

Тот растерянным, беспомощным взглядом обводит класс, но большинство отворачивается от него.

— Значит, ты?

Куда исчезает мой гнев? Если бы он смотрел нагло, отказываясь, я бы поговорила с ним ипаче. Но Завьялов опускает голову.

— Да, — произносит он чуть слышно.

— Пестой и подумай, а мы продолжим урок.

Вижу руку Горохова, но спрашивать не хочу. Тогда парнишка приподнимается, а руку тянет так, что его нельзя не спросить. И выражение лица у него решительное.

— В чем дело, Горохов?

— Это не Завьялов! — Мальчик поворачивается к Завьялову и со злостью говорит: — Что же ты молчишь? Не ты же стрелял...

Мне неприятен острый взгляд Щукина. Он наклоняется к соседу, что-то шепчет.

— А кто?

— Кто — я не видел, но не он. А ты, Луков, как был, так и остался сволочью.

Горохов садится. На его скулах нервные желваки. При всем желании что-то сказать ничего не могу придумать. Не о доброте же и нравственности теперь говорить. Я вспоминаю о Завьялове.

— Садись, — говорю наконец. — Только жалкий трус, ничтожество может прятаться за спину другого.

Кажется, на меня пристально смотрят. Поднимаю глаза и встречаюсь с жестким взглядом Щукина.

— Я стрелял.

Гляжу на него и не верю. Почему он? Чем я ему помешала?

— Это я стрелял, — повторяет Щукин.

Значит, действительно он.

Короткая судорога бежит по его лицу, превращается в ядовитую усмешку. Я вижу: ему страшно. Он не понимает меня, а значит, боится. Он не может представить, как я поведу себя дальше. Трус больше всего боится тех, кого не может понять.

— Рогатку на стол!

Он выходит из-за парты враскачку, с нарисованной, чужой, вроде бы независимой улыбкой, но в глазах его — страх.

— Будьте любезны, — он кривляется перед классом. — И пульки.

Я гляжу на его спину. Почему? Почему он стрелял? Что это? Неприязнь? Случайность? Мальчишеская выходка?

Бросаю рогатку в сумку, защелкиваю замок.

Тяну время, жду, когда сядет Щукин, а сама боюсь выдать голосом или жестом свою растерянность.

Хлопает дверь. И весь класс с шумом поднимается из-за парт.

— Садитесь, — Леонид Павлович подходит ко мне. — Ну, как дела?

Он подает мне руку, будто бы мы не виделись сегодня, и, улыбаясь, спрашивает:

— Подружились?

Мне нестерпимо хочется пожаловаться ему. Вытащить Щукина к доске, и пусть бы он сам рассказал о своем поступке. Но я молчу. Смотрю на Щукина, он — на меня. Я думаю: если скажу, то многое потеряю в глазах класса.

— Мы только еще знакомимся, — говорю Леониду Павловичу.

Поезд приближался к Вожевску. Лежа на животе, я глядел в окно.

Проехали какую-то станцию — даже не успел прочесть названия — и сразу будто бы оказались в тоннеле: лес подступил к насыпи, застил свет. Потом потянулось раскопанное картофельное поле с желто-зелеными холмиками ботвы, пруд, прикрытый наполовину облетевшими листьями. Поезд загрохотал по мосту: проскочили узкую, как ручеек, речку, и опять — лес.

Я пошел покурить: мне хотелось подумать. И если в Москве существование Вожевска казалось далеким прошлым, то теперь, когда до вокзала оставались считанные километры, прошлое становилось реальностью, а Москва отодвигалась в былое.

Что же было в моем московском прошлом?

Рита!

Имя жены, она сама возникла в памяти, и тут же колеса на стыке рельсов затарахтели четкое «Ри-та, Ри-та».

У меня не осталось к ней, пожалуй, ничего, кроме привычки. А ведь когда-то все казалось иным.

...Представить себя таким, каким я появился в Москве семь лет назад, сейчас почти невозможно. В чемодане, кроме белья и путевки в Институт усовершенствования учителей, лежала папка с вырезками моих статей из районной газеты и двадцатью стихотворениями, перепечатанными на старинном совхозном «ундервуде».

Боже, какой яркой показалась мне тогда Рита! С ней я словно попал в иной мир, в другое измерение. Имена, которые были для меня священными, она произносила свободно, будто все эти знаменитые Вити и Жени — ее братья. Нет, не корысть двигала моим восторгом, хотя, не скрою, мне было лестно внимание ее отца, известного журналиста, его благожелательное отношение к моим стихам.

После свадьбы я работал в газете. Рита — ассистентом на кафедре патанатомии одного из медицинских институтов. Прекрасно помню то веселое возбуждение, которое тогда владело мной. Я много писал, брал дальние командировки, но одновременно я уже мечтал о другом — в моих блокнотах появились наброски повести.

Я решил написать о первых шагах учителя. Тут придумать не приходилось: я писал о себе.

Книгу я издал сравнительно быстро. И вот тут-то я и решил, что обязан сразу же писать новую вещь, утвердиться в литературе. «Должен, должен», — повторял я, но о чем писать — не представлял.

Я стал нервничать. Придумывал ходульные схемы, подстегивал себя. Герои новой повести не хотели жить, но я заставлял себя писать, приставлял фразу к фразе, старался не думать о результате.

Первый удар отрезвил меня. Позвонил редактор и голосом, в котором были одновременно скорбь и соболезнование, сообщил, что наконец-то получен отзыв на мою рукопись от рецензента.

— Что же он пишет? — спросил я.

— «Если в первой повести, — начал читать по телефону редактор, — была, наряду с биографичностью, и какая-то самобытность, то этого нельзя сказать о новой вещи Лаврова. Писатель выбрал путь, проторенный другими. Вымученность, надуманность, ученическое копирование видны на каждой странице. Только у Лаврова и беднее, и бледнее. Как говорится, труба пониже, а дым пожиже. Кому нужно такое?»

— Ну, а вывод? — спросил я, чувствуя всю нелепость своего вопроса.

— Вывод? — удивился редактор. — Так это же и есть вывод.

За окном проплывает желто-серое гигантское здание цементного завода, так напоминающее своими куполами древнеазиатский архитектурный ансамбль. Серый пепел — точно пыль веков.

Надо собираться: поезд в Вожевске стоит три минуты. Впрочем, успею. Моя поклажа не из тяжелых, а до вокзала осталось не менее получаса.

Внешне мои отношения с Ритой были неплохие. И все же в эти годы между нами медленно, но верно назревал разрыв.

Мне вспомнился случай. Мы пошли навестить Ритино деда, больного, почти беспомощного в последние годы. Дед был известным в Москве искусствоведом, и мне нравилось бывать у него, слушать его рассказы о живописи.

В тот раз старик показался бодрее обычного, говорил о Ван Гоге. Вернее, о дзен-буддизме и его последователях в европейской культуре.

— Даже теперь он пытается отдавать... — сказала Рита, когда мы возвращались домой. — А ведь ему осталось... максимум месяц.

Я вздрогнул.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что знаю.

— Что? — заорал я. — Что можно знать об этом? Ты ведь даже не врач, а патологоанатом.

Она улыбнулась.

— Но зато я хорошо знаю, чем кончаются такие болезни. . .

Мне стало неудобно. А она уже пыталась говорить о другом, но разговора не вышло.

А через три недели дед умер. Я стоял у гроба почти чужого для меня человека, слушал то, что говорили о нем, а сам думал о Рите.

Она была заплаканная. Я старался не смотреть на нее, такой театральной казалась ее печаль.

Среди учеников и друзей деда, сменявших друг друга у гроба, я узнал Конитина. Однажды я брал у него интервью. Конитин подошел к гробу и долго скорбно молчал. И пока он молчал, я вспомнил, что сказал мне дед, прочтя то мое интервью: «Вы сделали худое дело, Витя. Вы рекламируете прохвоста. Сколько прекрасных статей не увидели света по его вине, если бы вы знали. . . — Он тяжело вздохнул и совсем уже тихо прибавил: — Когда-нибудь разберетесь. . .»

Я думал и о Конитине, и о Рите, на какое-то мгновение они слились для меня в одно лицо. По известной поговорке, я должен был, как говорят, съесть с человеком пуд соли, а я доедал еще первые щепотки, впереди было так много, и мне становилось страшно от мысли, что разочарования только начались.

Приближался отпуск. Мы стали собираться на юг. И тут пришло письмо от мамы. Она писала, что этой зимой не сможет к нам приехать, лучше бы мы с Ритой погостили осенью у нее.

Я прочел письмо Рите, заранее зная ее реакцию.

— У меня был слишком тяжелый год, — сказала она, — чтобы ехать в деревню; кроме того, мне нужны ванны, я чувствую себя в последнее время хуже.

И опять это была ложь.

Мне необходимо было сменить обстановку, побыть одному, разобраться во всем. И меня вдруг потянуло домой, к прошлому. . .

Вожевск возник внезапно. За окном появились садовые участки, за ними потянулась старая улочка с одноэтажными деревянными домами.

Вокзальную площадь обрамляли высокие каменные здания. Мама рассказывала об этом, но все же было удивительно попасть в такой неузнаваемый Вожевск.

Вспыхнул огонек такси. Я подумал: девять лет — срок немалый даже для города. Как же изменился я сам за эти годы!

До Енюковки, нашей деревни, можно было добраться только рейсовым автобусом, который отправлялся через три часа. Я сдал чемодан в камеру хранения и не спеша пошел в город.

Гостинный двор в центре не изменился, даже витрины остались прежними. Я свернул направо и увидел колышущееся скопление народа — базар. Через него можно было пройти к реке.

Я миновал прилавки, за которыми торговали молоком, курами, игрушками из бересты: куклами, туесками, корзиночками.

На реке все было привычным, как на знакомой старой фотографии. За лето Прокша обмелела. На ее середине выступил островок песка. Недалеко в лодке сидел неподвижно, будто бы спал, сгорбившийся рыбак. Мне захотелось засвистеть, крикнуть, заставить его обернуться.

Такой оглушающей тишины я не слышал давно.

На том берегу стояла церковь, маленькая, выложенная из красного кирпича, без колоколов, с пустыми провалами звонниц, с ободраным шатром, так что теперь на меня глядели прутья переплетений, напоминающие макет атома...

Пора было возвращаться, чтобы не опоздать на автобус.

Я начал подыматься по тропинке и остановился как вкопанный: навстречу шла Маша с ребенком. Такая же худенькая, как много лет назад, почти девчонка. Ее каштановые волосы спадали на плечи, голова была чуть наклонена — я хорошо помнил этот ее поворот головы.

Я стал торопливо думать, что сказать ей.

Когда женщина приблизилась, я понял, что обознался.

Рейсовый автобус повернул у леса, проехал мимо остановки у сельсовета — я успел заметить растерянные лица ожидающих пассажиров — и затормозил возле маминной амбулатории.

— С доставкой на дом. — Водитель улыбнулся. — Привет Анне Васильевне и пожелание ей здоровья.

Енюковка не изменилась. Одна улица километра на четыре, ровный ряд домов, только здание сельсовета выступает на дорогу своим роскошным «барским» крыльцом. За огородами — лес, справа речка, почти ручеек, но мы и здесь умудрялись купаться и плавать. Я подумал: хорошо, что мама меня не ждет. Уже волновалась бы...

Виделись мы редко, не чаще раза в году, зимой. Мама

приезжала в Москву на неделю и с первого дня начинала говорить, что торопится назад. Больные, хозяйство — какие только дела не ждали ее в деревне!

Я поставил чемодан на землю, постучал в окошко, подождал.

Мама, вероятно, не было. Показалась незнакомая девушка в белом халате, скрылась.

Во дворе на крылечке сидели, греясь на солнце, старик со старухой. Я поздоровался. Дед нехотя повернул голову, уставился на меня.

— Приехал какой-то, — доложил он старухе, будто бы никого не было рядом.

— Это же Анютин парень.

— Чьей Анютки, нашей? Витька, скажешь?

— Он.

Теперь и я узнал их. Бабку звали Ниной. Она с утра до вечера бегала по деревне, только пятки сверкали. Мало что осталось от бывшей Нины, разве глаза да голос.

Дед — колхозный бухгалтер. Правда, он уже давно не работал. Славился своим садом — каких только чудес там у него не выросло!

Мы с ребятами как-то залезли в этот сад, дед так пальнул из ружья солью, что я был не меньше недели.

— Что же ты такой старый? — спросил меня дед.

— Да и ты не новый. Десять лет назад был моложе.

Это, кажется, понравилось деду. Он с одобрением сказал бабке:

— Сам-то справный. Ишь как там наряжают.

— Шишка! — сказала бабка. Видно, что-то слышала обо мне.

— Шишка, — кивнул дед. — Для такой одежды денежки нужны большие.

Я спросил:

— Мама больных принимает?

— Кабы мама! Приехала вот из Миглощев Верка. Понимает ли что в болезнях, нет — не знаем.

— А мама?

Они переглянулись.

— Твоя-то?

Мне стало страшно.

— Уже давно неможется ей...

— Болеет? Что с ней? Она не писала.

— А кто знает, — сказал дед спокойно. — Говорят, рак.

Я повернулся и пошел, побежал по грядкам, через огороды.

Картофель не был убран, пожелтевшая, переросшая ботва стелилась по земле. Яблоки осыпались, падалица валялась по всему саду.

Мой глаз замечал все, к чему не притронулась мама, а ведь она любила хозяйство.

Дверь оказалась закрытой. Я подергал ручку, прислушался. Узнал неторопливые шаги.

Света в сенях она не зажгла, ничего не спросила. Ударила по крюку ладонью — не сбила, снова ударила. Крюк стукнулся о дерево, закачался.

Ко мне из темноты потянулись руки. Я шагнул, обнял маму, прижал к себе, чувствуя непривычную легкость ее тела, острые углы лопаток, старческую шершавость кожи.

Я терся щекой об ее щеку и боялся взглянуть в глаза. Скрыть свой испуг было трудно. Так, обнявшись, мы и вошли в комнату.

— А почему без Риты? — спросила мама. — Один? Вы же общали вместе. Ну дай скорее поглядеть на тебя, Витя.

Она говорила весело, а я страдал. Что с ней стало? Худоба. Желтизна глаз... И это всего за год. Нет, меньше. Она приезжала к нам в марте.

— Кажется, немного похудела? — спросила мама.

— Нет, не вижу...

Я врал, понимая, что на моем лице другое; захочет — прочтет правду.

— Не видишь? Старые юбки не надеваю: падают. — И рассмеялась.

У меня — мороз по коже.

Потом мы говорили о разном, много о дядьке и его делах — он директорствовал в енюковской школе. Но мысли мои были только о маме. Ни о чем другом думать не мог.

Наконец она пошла на кухню, оставила меня. Я сидел за столом, сжав голову руками, и не знал, что делать дальше. Бежать к дядьке, ехать в больницу?

Оглядел комнату. В одном углу горела лампадка — раньше этого здесь не бывало.

— Да ничего у меня не болит, — сказала мама, расставляя тарелки. — Только слабость. Представляешь, убрать огород не смогла.

— А что же дядька?

— Занят. Сам знаешь, какое время для них сентябрь.

— Ничего, — бодро пообещал я, — уберу за день.

— Куда торопиться.

Я ходил из угла в угол, привыкал к своему дому. За этим столом я всегда делал уроки. Моя чернильница жила прежней

жизнью, в ней даже были чернила. Я покачал непроливайку, фиолетовый пузырек вздулся, засверкал, точно мыльный, лопнул.

Обмакнул «восемьдесят шестое», написал «мама» и зачеркнул.

На полочке, где раньше стоял репродуктор, была выставлена моя единственная книга. Снял. Открыл первую страницу, поглядел на фото — стою самодовольный, сытый, жую папиросу.

Рядом с полкой — другой мой портрет. Я, ученик третьего класса, стриженный под «нуль», прижимаю к груди учебник «Родная речь».

— Знаешь, — сказала мама, — когда ты долго не пишешь, я всегда читаю твою книжку и вроде бы слышу твой голос...

Я подумал: завтра с утра поеду в Вожевск. Нужно поговорить с врачами. Неужели нельзя ничего сделать?

И тут я сорвался и закричал:

— Ты же медик! Фельдшер с огромным стажем. Ты же могла сто раз показаться в больнице!

Что-то вроде улыбки мелькнуло в ее глазах и погасло. Она будто сказала: «Теперь уже поздно, сынок. Поздно приехал». А вслух она произнесла бодро:

— Витя, зачем о болезнях? Ты ничего не говоришь о Рите. Она не возражала, чтоб ты поехал без нее?

— Нет, конечно.

И тогда мне вспомнилась наша свадьба.

...Устраивали ее в ресторане. Тестю нужно было позвать сослуживцев, теще и Рите — друзей, мне — «деревню». Мои родственники не обсуждались, их принимали как неизбежность. Только раз теща спросила, сколько их придет. Я ответил: двое, мама и дядька.

«Ну, это не так страшно. — Теща вздохнула и повернулась к тестю: — Гостиницей, надеюсь, их обеспечишь?»

Маму на вокзале встречали всем семейством. Видно, она здорово готовилась к свадьбе, была хорошо одета.

Тесть полез лобызаться, тут же заговорил о моих успехах, буквально оглушил маму и дядьку приятными словами. Подвел всех к редакционной машине, распахнул дверцы, маму усадил с шофером.

«В гостиницу, Петя. — И, обращаясь к маме, прибавил: — Витя считает, что там вам будет лучше, спокойнее...»

«Да, да, — согласилась мама. — Спасибо».

Я раскладывал на столе подарки. Платье мама не надела. Новый халат висел на ней безобразно. Она подошла к шкафу, взглянула в зеркало и тут же сняла его.

— Зачем ты потратил уйму денег? Не износить мне.

— Износишь, — сказал я бодро.

Тоска меня не отпускала, это уже было сродни сиротству, я понимал, что теряю самое дорогое. Вакуум, пустота, незаполненное пространство окружили меня: исчезала опора...

В тот вечер я выкопал часть картошки. С непривычки болели мышцы, но я работал.

Пришел дядька. Сидели за столом и говорили обо всем, кроме маминой болезни. Наконец мама ушла в кухню. Он спросил:

— Ну, что делать?

— Ты ее проморгал! — сказал я резко.

Желваки появились на его скулах. Вошла мама, и мы замолчали.

— Такие дела, Нюра, — сказал дядька. — Вот приехал Виктор, он все изменит. Хороший сын, тебя любит.

— Хороший, очень хороший, — слабым голосом, будто сомневаясь, подтвердила мама.

Ночью я не мог заснуть, хотя телу было удобно, оно легко вспоминало бугры и кочки старого матраца — была, оказывается, и такая память.

За стеной дремала мама. Я прижался ухом к дощатой стенке, ловил ее дыхание, и боль за нее не исчезала.

Никто никогда в жизни не будет любить меня так, как любит мама, думал я. Кто, какой мудрец сказал, что страдания обогащают? Бред! Нелепость! Я отказываюсь от такого богатства, если за него отдаешь самое дорогое. Я, только я виноват. Молчал месяцами, ни разу не приехал — дела мне казались важнее. Радуемся, что нас любят, думаем, мать не изменит, и забываем другое: если любовь материнская действительно не уходит, то мать может уйти.

И еще я подумал, что был для мамы всем в жизни. Мужчина в доме, маленький бог, един в двух лицах.

Никогда, сколько себя помню, имя отца у нас не произносили.

В детстве — мне было тогда лет восемь — я только раз решился спросить маму об отце. И вдруг лицо мамы сделалось совершенно чужим. Никогда больше я не повторял своего вопроса.

И все же в доме жила память об отце. Был у нас солдатский тесак, которым мама колола лучину для растопки. Сколько раз, когда она бывала на работе, я вынимал тесак, гладил его, потом бежал по нашему огороду, махал им, как саблей, рубил лопухи. Мне казалось, что тесак оставили специально для меня. Человек сделал вид, что кинул его за печку, а сам наверняка подумал: если родится сын, то эта штука ему пригодится.

Я слез с кровати, тихонечко добрался до печки. Присел. Холодное, в заусеницах, лезвие обожгло мне палец. И вдруг что-то будто бы сместилось во мне. На короткую секунду мама и я стали как бы едины, это оказалось таким достоверным, что я почувствовал ее боль.

Я застонал, отдернул от тесака руку. Холодный пот выступил у меня на лбу.

— Что с тобой? — спросила мама.

— Ничего.

— Спи.

— Сплю.

— Я тоже. Сегодня мне лучше, Витя...

Чуть свет я собрался в Вожевск. Придумал какой-то звонок в газету, но цель была, конечно, другая. Хотел повидать докторов.

— Что ты на меня так смотришь, Витя? — спросила мама.

Я поцеловал ее.

— Сегодня ты выглядишь лучше. Глаза ясные, цвет лица стал мягче.

Она поглядела на меня долгим умным взглядом, вздохнула.

— Кажется, я скоро начну радоваться, что заболела.

— Почему?

— Увидела, что сын меня любит.

Я бодро спросил:

— А раньше сомневалась?

— Бывало, и сомневалась, — сказала мама.

Глава третья

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«Дорогой Андрей Андреевич!

Оказывается, мы послали письма друг другу в один день, поэтому я решила не ждать ответа, посылаю новое.

Не волнуйтесь, те мои книги, которые остались в школе, я прошу Вас взять себе. Это будет мой подарок. Еще в Игловке собиралась просить Вас об этом, но не решилась. Знала: закричите, руками замашете, мол, и самой пригодятся — не возьмете. А теперь прошу — не откажите. Пусть стоят у Вас и напоминают обо мне. Да и нужнее они Вам.

У меня под руками великолепная (не преувеличиваю) библиотека Леонида Павловича. Есть собрания Шацкого, Макаренко, Блонского, тома Песталоцци, Герберта (очень интересно) — раньше читала о нем только в учебниках. Книги Корчака.

Жизнь моя постепенно входит в нормальную колею. Привыкаю к ребятам. Да и они ко мне. Не все, правда, еще хорошо и гладко.

Особенно тревожит Шукин, тот самый «стрелок». Постоянно сталкиваюсь с его молчанием, угрюмым отказом признать меня, с его злой иронией. Ничем не могу объяснить это, кроме ревности, кроме его нежелания разделить с кем-то в классе свою власть.

С Леонидом Павловичем объясняться на эту тему не тороплюсь. Хочу лучше понять парня.

Жаль, конечно, что я не была в пионерлагере и мало знаю об их легкой жизни. Но от одного не могу освободиться: там, мне кажется, процветал культ силы.

Помните, я писала о Завьялове? Тот мальчишка, который взял на себя шукинскую вину? Что им тогда руководило? На взаимовыручку это было непохоже. Значит, страх? А ведь Завьялов рисковал многим. Он двоечник, вялый по характеру, да и в лагере всем доставил изрядно хлопот — дважды бежал оттуда. Так что как бы ни были малы его способности, он не мог не понимать, какая опасность ему грозит.

Кроме двух седьмых, веду еще и восьмой. Школа новая, пока восьмилетка, но со следующего года будет девятый класс.

Ребята в восьмом серьезнее. И все же при первой встрече с ними обнаружила картину достаточно грустную. Все, что было пройдено в прошлом году — «Капитанская дочка», «Мцыри», «Ревизор», — вызывает у них при одном только упоминании зевоту и скуку в глазах. Не любят. Неинтересно. Отвечают казенно, «для отметки». Только и слышишь: «образы», «характеристики», «темы»...

Пробовала вызвать ребят на откровенность. Спрашиваю:

«Пушкин нравится?»

В глазах вижу: «Что в нем хорошего», — но кричат неуверенным хором: «Нравится!»

Выбираю самую активную.

— «Объясни, что тебе нравится у Пушкина?»

Поднимается. Смотрит в потолок, чтобы не встречаться со мной взглядом, и шпарит по учебнику:

«Мне нравится «Капитанская дочка». В этой повести Пушкин вывел образ Пугачева. До девятнадцатого века фамилию Пугачева почти не произносили. А когда позже заговорили о нем, то называли только убийцей. Пушкин нарисовал его образ как заступника угнетенных масс...»

А вокруг такие постные лица, словно каждый получил по ложке рыбьего жира.

«Ладно, — останавливаю. — Но тебе самой все нравится в повести?»

«А можно? В прошлом году нам двойки ставили, если скажешь «не нравится».

Вот, Андрей Андреевич, и город, и директор умница, а такого (!) не заметили.

«Конечно, — прошу, — говори только то, что думаешь».

«Не очень... он нравится... Не Пугачев, а сам... Пушкин. Скучный».

Вот те на!

А тут я прочла на днях любопытную статью — редкий, пожалуй, случай в педагогике. Великолепная учительница преподавала сразу два предмета: математику в одном десятом классе, литературу — в другом. Имела два диплома. И после окончания школы те ребята, у кого она вела математику, пошли в педагогический на математический факультет, а те, у кого она вела литературу, — на литературный. Целиком, всем классом. И знаете, Андрей Андреевич, это вызвало у меня неожиданный протест. Я поняла, что не была бы рада, если бы так поступили ребята моих выпускных классов. Возможно, я не права, но увидела в этом недостойный учителя эгоизм. Ведь из семидесяти поступающих, может, у десяти это — истинное, а остальные? Пройдут годы, разочаруются в специальности, не найдут себя и будут тяготиться каждым прожитым днем...

Вот написала об этом и подумала: не мои это мысли — Ваши. Ну и ну!

Из-за школы совсем не занимаюсь квартирой, хотя Леонид Павлович успел оформить ордер. Квартирка — игрушечка. Однокомнатная. Но есть глубокая ниша, куда думаю поставить Вовкину кровать. Повешу шторы, будет вроде детской. Думаю, пора переезжать.

Учится Вовка прилично, говорят, знает даже чуть-чуть больше, чем его одноклассники, так что наша с Вами школа не подкачала. Он Вас крепко целует и приглашает к нам в гости.

Передавайте огромный привет всем. Буду ждать ответа.

Ваша Мария».

Середина сентября, а я почти ничего не знаю о своем классе. К сожалению, старые учителя мне мало чем помогли. Называют активистов, отличников. А остальные? Что я успела узнать о них?

Буквально по крупичкам собираю впечатления о каждом. Даже дневник завела, чтобы ничего не упустить, не забыть. И благодаря дневнику вижу, как иногда ошибочны были мои первые представления.

Однажды был у меня любопытный разговор с Константиновым. Я догнала его на улице, пристроилась рядом; он вроде бы не сразу заметил меня, был занят своими мыслями.

Не зная, с чего начать, я довольно глупо спросила:

— Куда-то спешите?

— В соседнюю школу. Пол-оклада здесь, половина там. Вот и совершаю кроссы...

— Это очень неудобно.

— Зато удобно тем, кому я мешаю.

В его словах была язвительность и, несомненно, предвзятость. Я сделала вид, что не замечаю этого, заговорила о другом.

— Я хотела посоветоваться с вами. В моем классе не все благополучно.

Он спросил:

— Что же или кто вас тревожит?

— Несколько человек. От Семидоловой...

Ироническая улыбка пробежала по его лицу.

— Даже Семидолова?! Кто еще? Горохов? Боброва? — Он специально называл лучших учеников.

Я неохотно сказала:

— Щукин.

— Щукин? Любимец Прохоренко?

— Да. Я хочу поговорить с Леонидом Павловичем о нем. Подумав, Константинов спросил:

— А факты у вас есть?

— Фактов мало.

— Нужны факты, чтобы говорить с Прохоренко. — Он неожиданно улыбнулся. — А вы все же удивили меня, Мария Николаевна. Я стал привыкать, что сподвижники Прохоренко, как в старом анекдоте, если и имеют свое мнение, то с ним не согласны.

Прошло несколько дней, и я предложила ребятам пойти в лес, «попрощаться с осенью», как любил говорить Андрей Андреевич.

Луков тут же вставил:

— Придем. Только мне лично нужно вначале попрощаться с тетей.

Он завертелся, стараясь прочесть на лице Щукина похвалу.

На следующий день в скверике, как я и предполагала, собрались одни девочки. Последней прибежала Лена Семидолова, и мне в первую секунду показалось, что она похудела за день, — таким усталым и бледным было ее лицо.

— Я пришла предупредить, — сказала она, — чтобы меня не ждали. Папа заболел...

Она повернулась и, едва попрощавшись с другими, пошла к дому.

Все затихли. И меня обрадовало сочувствие ребят.

Надо признаться, что если с девочками мне становится проще, то о мальчишках сказать этого я, увы, не могу. Когда разговариваешь с каждым поодиночке, то кажется, что я многого добилась, но в классе все еще существует холод, неприятная для меня стена недоверия.

Пытаюсь не спешить с выводами, но все больше и больше думаю: это влияние Щукина. Все мои старания будто бы разбиваются о его злую волю. В момент неудач я встречаюсь с ним взглядом, вижу злорадный блеск его глаз. «Ну что, — словно бы спрашивает он, — не выходит? И не выйдет, будьте уверены, пока этого не захочу я».

Теперь я поняла, что через Щукина, говоря фигурально, мне не перешагнуть. Значит, или сдаться, показать, что я признаю его власть над ребятами и его силу, или продолжать держаться своего.

Операцию «Щукин», как я шутя назвала свой план, решила начать с визита к нему домой. В конце концов, что я знаю о нем? Вступила в борьбу со следствием, но причина, корни болезни мне неясны.

Дом, где живет Щукин, я отыскала легко. За палисадником были видны желто-зеленые кусты сирени, вытоптаный цветник, а дальше — двухэтажный сруб, обшитый почерневшими от времени досками.

Около дровяников стояла компания подростков.

Может, они из нашей школы? Такое чувство, будто они знают, кто я... Пошла к крыльцу.

В темном подъезде мне встретилась женщина в клеенчатом забрызганном переднике, с мокрыми от стирки руками.

— Мне бы из Щукиных кого-нибудь...

Она вывела меня на лестничную площадку и показала вверх.

— Бабушка, должно быть, дома, — сказала женщина и откинула тыльной стороной руки прядь волос со щеки.

На облупившейся, давно не крашенной двери было два звонка без подписи. Один — вертушка, другой — медная ручка с прямым металлическим тросом и какими-то сложными старинными передачами. Я подергала ручку, и в коридоре зазвенели разными голосами колокольчики. Послышалось неторопливое шарканье, дверь открылась, и на пороге появился старик, лысый, с желтоватым лицом, с седыми, подпаленными густыми усами. Он молчал, пристально глядя на меня, точно пытаюсь узнать во мне кого-то из знакомых.

— Щукины дома?

Старик шире распахнул дверь и отступил.

— Прошу, — сказал он. — Не учительница ли Юрия?

— Да.

— Провинился? Или иные причины?

Он говорил равнодушно, как посторонний. И я невольно спросила:

— А вы ему кто?

Он шел впереди, в темноте коридора проступала его сероватая пижама.

— Сосед, но всегда принимал некоторое участие в воспитании. Юрий успеваает?

— Да, вполне.

— Любопытно. — Старик удивился. Дойдя до высокой двери, он включил небольшую лампочку и предупредил: — Бабушка глухая.

В комнате было чисто. На небольшом квадратном столе — скатерочка с вышитой цветами дорожкой. У стены — старин-

ный дубовый шкаф с резными дверцами; две металлические кровати с никелированными шариками на спинках. У горки, спиной к нам, стояла седая старая женщина, худая и высокая.

— Заходите, не стесняйтесь, — сказал старик, — она все равно не услышит, пока в ухо не скажешь. — Он рассмеялся. — Я буду в некотором роде переводчиком, если позволите. Юрия нет, да при нем бы я и не помог вам. Отношения, в некотором роде, разорваны, поддерживаю только с бабушкой...

Он подошел к ней, крикнул:

— Прасковья Васильевна! К вам гостя.

Старуха вздрогнула, повернула ко мне свое лицо, маленькое и усталое. В ее глазах застыло удивление.

— Учительница Юрия.

— Да, да, — крикнула она, — а что, опять вишневый? Напроказничал?

— Нет. Пришли познакомиться. — Старик взял стул и подвинул его ко мне. Он старался все делать учтиво. — Прошу садиться. У нас квартира не совсем обычная. Если не считать Юрия, средний возраст — семьдесят восемь. Умирать готовимся все сразу. Кстати, — он расправил усы, — я на два года старше этой сударыни, а и силы еще есть, и слух, и выгляжу, как считаете?

— Хорошо выглядите.

Он был доволен, прищурился и положил обе руки перед собой на стол, ожидая, когда заговорит старуха.

— Так вы вдвоем с Юрой живете? — крикнула я.

Она вновь удивленно поглядела на старика, потом кивнула в ответ, показывая, что поняла.

— Все время. Он теперь лучше, а раньше чуть не по ему, — ломает что есть. Да я и не касаюсь его. — Она будто отмахнулась. — Накормлю, постираю да постель приготовлю. Нынешние родители, они какие? Деньги присылают, а сами носа не кажут. Родили — и конец, все бабка. А какая я? Вот он скажет...

— Не слышит она давно? — спросила я соседа.

— С войны. После контузии.

— А мальчик всегда с ней?

— Да. Примерно с годовалого возраста.

— И мать не появляется?

— Ни мать, ни отец. Впрочем, последнего я даже не видел. Может, его и не было в некотором роде. — Он поднялся, чувствуя себя, видимо, обязанным проявить какую-то заботу обо мне, и предложил: — Чаю хотите?

— Нет, нет.

Пора было уходить: обстановка меня тяготила. Я встала.

— Вот ремонт бы нужен, — обратилась ко мне старуха. — И дров мы не напасли. Деньги дочка присылает, а кто похлопочет? Юрка все шастает, а сосед... одним языком только и умеет.

— Прасковья! — Старик обиделся.

Та даже не повернулась.

— Нельзя ли похлопотать через школу?

— Я поговорю с директором.

— Ага, — кивнула старуха, провожая меня к дверям. Она так же безразлично смотрела на меня, и не успела я переступить порог, как повернулась и пошла к окну.

Старик проявлял прежнюю учтивость. Он зажег в коридоре свет и взял меня под локоть. С обеих сторон по стенам висели на гвоздях корыта, кастрюльки, даже хомут как-то сюда попал.

— Видите, сударыня, в какой несовременной обстановке живем. Гнетущая обстановка. А юноша предоставлен себе. Чего можно ждать от человека, которого растит глухая старуха? Понимаете, уважаемая? Человеческого тепла Юрий не знал, ласки не видел. Слово «мать» не произносил. — Глаза старика загорелись, он будто вспомнил главное. — Один. Один в первые десять лет. Ни сверстников, ни взрослых. И я не могу оказать на него должного влияния. Мы в ссоре. Бабка, изволили видеть... — Он постучал себя по лбу и развел руками. — Хорошо, что готовить может и постирать. Так-то у нее силы есть. Раньше она и мое стирала, но теперь я решил носить в прачечную. Дешевле. — Он попытался вспомнить, о чем говорил, покашлял, но так и не вспомнил. — Заходите, — сказал, раскрывая дверь. — Будем рады.

Я спустилась вниз. На улице было так светло и столько воздуха, что у меня закружилась голова. Подростки все еще были во дворе, но теперь среди них появился Луков. Он держал короткую веревку, на которой висел живой цыпленок.

— Здравсь, Марь Николаевна! — крикнул Луков.

— Развяжи сейчас же, — приказала я.

— Так ведь убежит, — сказал Луков и наивно поглядел на меня.

— Какой ты живодер, Петя! — Отодвинув плечом высокого рыжего парня, вперед вышел Щукин. Он натянул Лукову кепку на глаза. — Цыпленку же больно. Ты разве забыл, что такое доброта? Это когда ты понимаешь цыпленка, а он понимает тебя.

Я пошла, не оборачиваясь. Было тревожно. Может, пора поговорить с Леонидом Павловичем? Я вдруг отчетливо представила, что если зятю, не расскажу Леониду Павловичу обо

всем, что уже случилось, то в классе обязательно произойдет беда.

Остановилась перед домом Прохоренко, постояла немного и пошла дальше.

С чем я приду, что скажу? Учится Шукин прилично, а ведь в прошлом году он школу бросал. История с рогаткой уже давняя, а за последнее время прямых нарушений дисциплины не было. Семья? Но что можно плохого сказать о семье? Баба бьется, стараясь вырастить внука.

Нет, я не могу ничего доказать. Тогда, может, пойти к Константинову?

Я тут же испугалась этой мысли. А если чертежник использует все это против Прохоренко? Я помнила о предупреждении Люси. Нет, только не к нему!

Оставалось одно: разобраться во всем самой.

В школе я не была с четверга: переезжала. Леонид Павлович все утряс с расписанием, так что у меня оказались свободными четыре дня. Работали мы с Возкой не покладая рук. Вчера вечером, повесив гардины, я уселась на пол и заявила сыну, что больше не поднимусь.

Утром болели мышцы. Пока я добиралась до школы, казалось, будто у меня скрипят суставы.

В учительской было оживленно. Звенел, как обычно, голос Нелли, преподавательницы физкультуры, самой молодой и жизнерадостной среди нас. Она заметила меня в дверях, закричала:

— Пришла, чтобы сразу получить все наши призы!

— За что? Меня не было четыре дня в школе.

— Слыхали?! Она делает вид, что не знает.

— Да что за призы?

— За макулатуру. Ваши собрали столько, сколько целый район не собрал. И все Шукин. Клянусь, граждане, если бы ему на каких-то десять лет больше...

— И был бы он чуточку лучше... — пробурчали сзади.

Это была Павла Васильевна Кликина, учительница математики, грузная старуха, почти всегда чем-то недовольная. Рядом с ней, как обычно, стоял ее муж Николай Николаевич Кликин, географ, «то же самое число, — как о нем злословили, — но с обратным знаком», человек мягкий, немногословный и тихий.

— Нет, нет! — сказала Нелли. — Вы, Павла Васильевна, не видели. Он великолепен!

Кликина еще что-то проворчала и отошла в сторону.

— Баба-яга, — шепнула Нелли и громко сказала: — А погода сегодня, кажется, будет отличная.

До начала уроков оставалось несколько минут, и я пошла к Леониду Павловичу. Вчера они с Люсей заехали ко мне, увидели, что творится в квартире, и быстро ретировались. Теперь я собиралась отчитать его: ни словом не обмолвился о классе.

Кабинет Леонида Павловича напоминал кладовую магазина игрушек. На стульях громоздились мячи, коробки с играми, на столе валялась обезьяна, задрав ноги. Это была развеселая обезьяна, казалось, она сотрясается от беззвучного хохота.

— Как же так? — набросилась я на Леонида Павловича. — Неужели вы думаете, что мне безразличны дела нашей школы?

Он вышел из-за стола, перенес игрушки из кресла на стулья, а меня усадил.

— Не обижайтесь, Маша. — Взял обезьяну и наклонил ей голову. — Да разве можно было вчера с вами говорить? Я думал, вы и в школу-то не придете.

— По правде сказать, я и сегодня еще еле хожу, так устала.

— Значит, прощен? Ну, отлично. Но зато я вам расскажу удивительную историю. Согласны?

— Конечно.

— Ваш класс не только собрал больше других макулатуры. — Прохоренко помедлил. — Ребята сами решили поработать дополнительно за отсутствующих! Сами, сами, дорогая Маша. Ну, как вам это нравится?

— Нравится.

— Вот вам наконец и осуществление моей теории на практике!

— Я очень рада, Леонид Павлович.

Он рассмеялся.

— Нет, это они меня порадовали. Помните, я говорил: нужно не давать ребятам передышки, загружать, загружать их делами, вырабатывать положительный рефлекс на работу. Вот, бывало, мы в армии злились, когда нас в свободные часы посылали шишки собирать. Для чего? Кому это нужно? Бессмыслица! А смысл был. Мы были заняты, а кроме того, учились подчиняться, выполнять любое задание.

— В школе это иначе, — сказала я.

Он согласился.

— Иначе. И все же если бы мы не задавали такого ритма

нужных, положительных действий, то, думаю, не возникло бы и замечательной идеи. Тут, Маша, вам сказать нечего, а?

— Пожалуй...

Мне показалось, что Леонид Павлович теперь похож на восторженного, счастливого своей работой пионервожатого.

— Весь день думаю, как использовать их начинание для общего нашего дела. — И пояснил: — В школе ожидаются выборы в совет дружины, и, согласитесь, сегодняшний факт мог бы основательно укрепить авторитет организаторов нашего штурма, как я люблю говорить. Я уверен, что детская стихийность всегда может быть использована опытным педагогом с огромной выгодой для коллектива.

— Да, ваша новость замечательная! — сказала я. — Но я хотела...

Леонид Павлович возбужденно перебил меня:

— Да, чуть не забыл о газете. Совет дружины решил выпустить в каждом классе экстренный номер. Помогите ребятам, постарайтесь, чтобы газета получилась поярче. Художник в классе есть?

— Есть.

— Отлично. И пусть больше пишут о себе, хвалят друг друга, не стесняются. — Он улыбнулся. — Энтузиазм, Маша, следует подогревать изнутри.

Зазвенел звонок.

— И, пожалуйста, отпустите с урока Щукина и Лукова, им поручено распределение призов.

Класс дружно встал. Я открыла журнал, достала тетради с первыми в этом году домашними сочинениями. Настроение у меня было отличное. Да и утро сегодня казалось особенным. Солнце, на всем было солнце — на детских лицах, на партах, на доске, на кусочке мела.

Я обвела ребят глазами — замечательные, открытые лица! — и засмеялась, сама не знаю чему. Они тоже ответили смехом.

— Как давно вы не были в школе! — сказала Люба Боброва.

— Всего четыре дня. Я переезжала на новую квартиру.

— Нужно обмыть, — сострил Луков.

Класс грохнул.

— Лимонадом, лимонадом! — поторопился он, заметив мое строгое лицо.

— Ладно, обмоем, — пообещала я. — Если будете умными.

— А мы и так умные! — крикнул Завьялов.

Он удивил меня. Сейчас в нем не было той угрюмой замкнутости, которая чаще всего казалась забитостью. Впрочем, еще дома, проверяя сочинения, я со страхом подумала, что

совсем не знаю его. В стопке тетрадей, которую я только что положила на стол, было сочинение, помеченное грифом: «Совершенно секретно. В классе не читать!»

А ведь сколько раз я пыталась вытянуть из него хоть одну мысль! Сидит, на всех смотрит безучастно. Как-то Луков во время переключки за него ответил:

— Он здесь, и его нету.

Я раскрыла первую тетрадь. Обстановка в классе была непринужденной, и я невольно порадовалась, что нет Лукова и Щукина, при них, вероятно, все выглядело бы иначе.

Я протянула Семидоловой тетрадь.

— Возьми. Отлично.

Девочка поднялась. Она по-прежнему казалась усталой, во взгляде не было никакого интереса к моим словам. Я спросила:

— Как папа?

— Плохо.

— Он дома?

— В больнице.

— Можем мы чем-нибудь вам помочь?

— Спасибо. Ничего не нужно.

Она села, показывая, что больше говорить об этом не хочет.

— Горохов!

Мальчик подошел к столу, я протянула тетрадку.

— Молодец!

Он весело поглядел на меня.

Я назвала Стрельчикову. Валя испуганно поднялась, зацепилась за край парты, охнула.

— И тобой я довольна.

Девочка недоверчиво глядела на меня.

— В твоём сочинении всего шесть ошибок, а помнишь, в первом диктанте было четырнадцать. Если так пойдет, то по русскому ты можешь рассчитывать на твердую тройку.

Она вернулась на место, торопливо перелистала тетрадь — там было написано: «Так держать!» — и улыбнулась.

— А ты, Люба, огорчила меня.

Боброва побледнела.

— Две описки, и нет запятой. Можешь работать внимательнее. Пришлось поставить четверку, хотя ошибки-то пустяковые. Жуков!

Лева будто решал, брать ли ему сочинение.

— Четыре. Впрочем, в другой раз поставлю тройку. Буквы смотрят в разные стороны, на одной строчке крупные, на другой — бисер. Это несерьезно.

Кажется, у Жукова было одно желание: скорее вернуться на место.

— Завьялов!

Мальчик подался вперед. Какой странный! За этой его поразительной вялостью и безразличием, видно, скрывалась очень нервная натура.

Я взяла тетрадь и еще раз пролистала сочинение. «Пугачев не имел права казнить Мироновых, это его непоправимая ошибка. От такого человека ждешь особой справедливости...»

Я положила тетрадку к нему на парту.

— Там есть ошибки, пришлось поставить четверку. А вообще умница, хотя мысль о «праве» Пугачева более чем спорная. Подумай еще раз почему!

Он смутился, покраснел и быстро нагнулся, словно ему срочно что-то понадобилось в парте.

В класс вошла нянечка, за ней тихо проскользнул Луков.

— Коровкина к директору, — сообщила она.

Я не успела сказать, что Женя Коровкин в седьмом «Б», как Луков крикнул:

— Он в другом стаде!

Хохот перекрыл мой голос. Нянечка погрозила ему кулаком и ушла.

Дел в школе за четыре дня у меня накопилось столько, что я не заметила, как затих шум в коридоре, и опоздала на линейку. Нужно было выставить ребятам оценки в дневники, да еще в шкафу лежала стопка непроверенных тетрадей.

В актовом зале я вошла в половине третьего, тихонько прикрыла дверь и спряталась за спинами ребят. И все же Леонид Павлович увидел меня, укоризненно покачал головой.

Отряды были построены буквой «П», лицом к сцене. Прохоренко и Шукин стояли у стола, на котором лежали коробки с играми. За столом сидели мальчик и девочка из восьмого «Б».

Мой класс занял место у сцены. Луков кивнул мне и показал красивый, желтой кожи футбольный мяч, на нем что-то было написано белой краской.

Только теперь я увидела Константинова; он был в двух шагах от меня, привалился к подоконнику и с той же знакомой мне улыбкой, то ли доброй, то ли иронической, глядел на сцену.

— А этот приз, — Леонид Павлович поднял обезьяну, и вздох восторга вырвался у девочек, — совет штаба передает тому, кто собрал самое большое по школе количество макулатуры.

Он выждал, когда стихнет гул.

— Награду получает Лена Семидолова! — Он рукой остановил аплодисменты и весело крикнул: — Против ее фамилии стоит внушительная цифра: двести сорок пять килограммов бумаги! Это раз в пять превышает ее собственный вес.

Он опять подождал, когда стихнет шум.

— Неплохо, если Лена расскажет нам, как это ей удалось поставить такой рекорд.

Наступила тишина.

— Ну, что же, Лена, ребята просят тебя поделиться опытом, — повторил Леонид Павлович.

Он будто бы шутил, но девочка то ли не хотела понимать его шутку, то ли совсем иначе воспринимала его слова. Она молчала.

— Это ошибка, Леонид Павлович, — сказала Лена. — Я не была в школе, не собирала.

Я поглядела на Константинова. Он выпрямился и как-то по-петушину вытянул шею. Обожженное лицо его пылало.

— Не была? — удивился Прохоренко. — Тогда, может, класс объяснит дружине, откуда взялась такая поразительная цифра?

Я разгадала его замысел. Прохоренко хотел, чтобы ребята сами рассказали о своей инициативе.

— Можно мне? Можно, Леонид Павлович? — закричал Луков.

— Слушаем тебя, Петя.

— Понимаете, — сказал Луков, — мы собирали макулатуру, а когда закончили, посчитали ребят, а Семидоловой одной-единственной нет из всего класса. Вот кто-то и сказал: давайте за нее. . .

— Молодцы! — похвалил Прохоренко. — Значит, весь класс работал сверхурочно, а собранную бумагу записал на счет Семидоловой? Это по-пионерски! — Он первым стал аплодировать, и мы все присоединились к нему.

Константинов сунул палку под мышку, улыбался и что-то весело говорил своим соседям, мальчишкам из шестого.

— Ну, а ты, Лена, не пришла по какой причине? Болела?

Луков крикнул:

— Она, Леонид Палыч, не болела. Ее на улице видели. Даже когда собирали — видели. Просто белоручка эта Семидолова!

Леонид Павлович поглядел на Лену с осуждением, покачал головой.

— Как же так — ты гуляла, когда все работали? — спросил растерянно Леонид Павлович.

— Я не гуляла.

— Ну, а что же будем делать с этим подарком, кому вручим приз?

— Ей и вручим, — сказал Луков. — Пускай берет.

— Подойди сюда, Лена, — попросил Леонид Павлович.

Я наконец увидела ее. Она поднималась на сцену медленно, глядела вниз, под ноги, будто бы боялась споткнуться. Шукин взял обезьяну, хотел вручить Лене, но та не брала. Тогда она с силой отвел локоть девочки и сунул обезьяну ей под мышку.

— Приз за безделье, — сказал он под смех зала.

— Но я же не могла!

Казалось, она не понимала, что происходит.

Меня кто-то тронул за плечо. Я повернулась. Константинов стоял рядом.

— Почему она не была?

— Отец в больнице. . .

— А Прохоренко знает?

— Н-нет.

— Вы понимаете, что говорите?! Вы классный руководитель. Исправляйте ошибку, пока не поздно.

Я сложила ладони рупором и, стараясь перекрыть шум в зале, крикнула:

— У нее болен отец, Леонид Павлович! Лена не могла прийти!

Мои слова потонули в ревящем гомоне.

— Ну, как вы решите с наградой? — спросил Леонид Павлович у ребят. — Я не хочу вмешиваться в ваше решение.

Девочка шагнула к столу, чтобы вернуть обезьяну, но Шукин преградил ей путь. Тогда Лена повернулась и побежала по сцене. Она держала обезьяну за руку, так что игрушка волочилась по полу, будто бы пыталась удержать Лену. Глаза у обезьяны стеклянно поблескивали.

— В следующий раз она и «Москвич» так может заработать! — выкрикнул Луков.

Это опять многим понравилось.

— А может, «Жигули»?

Лена бежала к выходу. Какой-то пятиклассник подставил ей ножку; она споткнулась, но не упала.

— Кухтарев, что ты делаешь?! Зайдешь ко мне после линейки! — крикнул Леонид Павлович.

Я взглянула на Константинова. У него было злое лицо.

— Ищите Семидолову! — приказал он. — Идите к ней сейчас же. Вы в этом виноваты.

Он сразу же стал пробираться к сцене, а я бросилась к дверям.

Как все худо вышло, как худо! Можно, да и нужно было наградить класс. А что вышло?! Унизили, оскорбили девочку...

На этаже Лены не было. Я спустилась в гардероб. Хотела снова подняться, но услышала, как за шкафом кто-то всхлипнул. Это была Лена.

Я подошла к ней и обняла.

— Успокойся. Не плачь.

Она рванулась в сторону, но я ее удержала.

— Давай поговорим с Леонидом Павловичем. Объясним ему все. Он же не знает, что у тебя болен папа...

Захлопали двери, в коридоре послышались детские голоса.

— Пойдем к Леониду Павловичу, — просила я. — Это недоразумение. Он умный человек. Разберется во всем и исправит.

Я гладила Лену по голове, а сама думала: вот чего может стоить педагогический просчет.

Ребята шумели, толпились у гардероба. Мы прошли мимо них, никто не обратил на нас внимания.

Леонид Павлович подходил к своему кабинету вместе с Константиновым. Оба хмурые, видно, что-то уже произошло между ними.

— Мы к вам, Леонид Павлович, — сказала я.

— Придется подождать, — ответил он, проходя мимо. Но у дверей обернулся к Лене. — У тебя, оказывается, болен папа? Я узнал об этом случайно...

Он ничего не сказал больше и пропустил Константинова в свой кабинет.

Чертежник пробыл у Леонида Павловича недолго. Вышел рассерженный, проковылял мимо нас.

— Идите, — буркнул он. — Вас ждут.

Мы вошли. Леонид Павлович ходил по кабинету, думал.

— Так что же, Леночка, с папой? — наконец спросил он.

— Болеет, — сквозь слезы сказала она.

— Ладно, ладно, — успокоил Леонид Павлович. — Все у вас будет в порядке. А на ребят не обижайся. Они хотели сделать лучше, я уверен в этом. Верно, Мария Николаевна?

Я не ответила.

— Вот видишь, Мария Николаевна согласна.

Он обнял ее за плечи, прижал к себе и тут же легонечко подтолкнул к выходу.

Кто-то постучал. Лена остановилась. В дверях показался Луков.

— Вот, — сказал он. — Жаконю нашли в помойном ведре. Прохоренко взял обезьяну и положил на стол. На ее го-

лове вместо шляпы красовалась прилипшая апельсиновая корка.

— Иди! — приказал директор Лукову. Подождал, когда затихнут его шаги, сказал мне: — Ребята всегда чувствуют, когда к ним относятся свысока, без уважения, пренебрежительно. Они подарили обезьяну от чистого сердца, а вот Лена... — Он поглядел на Семидолову с осуждением и прибавил: — Подумай об этом серьезно,

Некоторое время мы сидели молча. При Лене я не могла, да и не имела права говорить с Леонидом Павловичем, но теперь мне нужно было сказать ему все.

— Если бы вы знали, Маша, — пожаловался Леонид Павлович, — как мне нелегко! Каждый мой шаг в школе встречает самое ярое сопротивление. Вот Константинов... Чуть что — лезет со своим «особым мнением». А что стоит за этим его «особым»? Зависть. Высшего образования не имеет, не успел окончить институт до войны, и вот весь мир у него оказывается плох.

Я не ожидала такого начала и мучительно думала, как бы перевести разговор на другое.

— И главное — не уволишь. Часов у него немного, хоть это меня спасает. Но он и на полставке умудряется так навредить, что я потом месяц исправляю. Секретарь! Железобетонная личность! — И Леонид Павлович постучал по спинке стула.

Зазвонил телефон. Он снял трубку, устало сказал:

— А, это ты!.. Вот привет от Маши. — Потом вздохнул. — Настроение подпорчено. Ну конечно же, Константинов. Улыбнулся, положил трубку.

— Ступайте, Маша. Инцидент, как говорят, исперчен.

Я поднялась, но тут же подумала, что все же должна сказать ему свое мнение; позже в этом не будет никакого смысла.

— Все, что случилось сегодня, — большая травма для девочки.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Бросьте, Маша. У ребят это ненадолго. Они остро чувствуют, но быстро успокаиваются. Поверьте, уже сейчас Лена больше страдает от того, что огорчила нас с вами. Но, кроме всего, дети бесконечно благодарны взрослым за внимание. Вот вы обняли ее, приласкали, а я поговорил добро, поохал, даже пожурил — и она наша. Это же воск.

Я насторожилась.

— Впервые вижу, как коллектив унижает личность. Это

было страшно, Леонид Павлович. А потом, Лена — председатель совета дружины.

Он устало сказал:

— Ну так ее больше не выберут.

Вышел из-за стола и, что-то обдумывая, прошел до окна и обратно.

— У меня нет и не может быть, Маша, секретов от вас. Так вот, школе теперь и не нужен такой, как она, организатор. Лена — хорошая девочка, замечательный исполнитель, а нам нужен вожак. Когда вы до конца разберетесь, что я затеваю, то поймете, в какой степени я был прав.

— Кто же должен возглавить дружину, по вашему мнению?

Леонид Павлович развел руками.

— А кто их знает? — И рассмеялся. — Как вы насчет Щукина?

— Нет, нет, только не его.

— Почему, разве мальчиш не умен?

— Нет, неглупый.

— Может, не успевает?

— И не в этом дело. Он учится даже лучше, чем можно было бы ожидать. Он умеет слушать, довольно четко формулирует, и все же...

Леонид Павлович перебил меня.

— Тогда остается одно — его организаторские способности. А в этом вопросе, прошу, доверьтесь мне.

— Не делайте этого! — почти взмолилась я. — Не ставьте Щукина во главе дружины.

— Чем же он вам не нравится?

— Это жестокий, холодный, властолюбивый человек. Поглядите на класс. Щукин снисходителен только к тем, кто ему преданно служит.

— Подумайте, Маша, что вы говорите! Не хватало, чтобы мы с вами ссорились.

— Нет! — Я волновалась, и это мешало мне быть убедительной. — Вы не знаете. На первом же уроке Щукин выстрелил в меня из рогатки, а вину фактически приказал взять на себя Завьялову.

Леонид Павлович поморщился.

— То, что стрелял, — ужасно, слов не нахожу. А вот если Завьялов взял вину на себя, это только делает ему честь. Почему вы видите в этом принуждение и страх? А если это уважение? Разве солдат, который грудью прикрывает своего командира, делает это из страха перед ним?

— Ну, тут другое!

— Это ваши ощущения.

— Нет, уверенность. И если вы поддержите Щукина, то будет беда.

— Беда?

Я повторила:

— Щукин — жестокий, мстительный человек. Я была у него дома. Он не знал детства, воспитывался у глухой бабки, речи человеческой не слышал. Такого, как он, могут изменить только доброта и осторожность. Торопиться с ним нельзя. Ему многое еще придется понять, Леонид Павлович.

Прохоренко нетерпеливо отодвинул кресло.

— И все же не знаю, чего бояться? Есть мы, учителя. Будем, в конце концов, следить за ним. А потом подумайте, Маша, и о другой стороне. Парень, у которого в прошлом году было два привода в милицию, не только принят в пионеры, но и поставлен во главе дружины. Это же событие!

— Это будет удача внешняя, — не сдавалась я. — Внутренне Щукин не изменился. Он мыслит так же, как мыслил год назад.

Кажется, я все же разозлила директора.

— А меня не интересует, как мыслит Щукин. Режиссер — я, а не он. И только я могу знать, как он должен думать. Поймите, Мария Николаевна, мне неприятно объяснять такое, но с вами я хочу быть откровенным. Вы очень близкий нам человек, а в голове у вас — только не обижайтесь — каша. Можно утонуть в безбрежном море таких понятий, как «добро», «задушевность», «чуткость». Надо иметь концепцию воспитания, а не махать крыльями над детьми, как квочка над цыплятами. Вашим методом можно воспитать одного, но коллектив — никогда. — Он говорил подчеркнуто спокойно. — Вы толкуете о постепенности. Но имеем ли мы право ждать, не торопиться? В классе по тридцать пять — сорок человек. Сколько вы можете охватить своим «добрым материнским взглядом»? — Он покачал головой. — Нет, у нас всего один путь — воспитывать весь коллектив, а через коллектив — каждого в отдельности. И еще, Маша, одно, между нами: дети — это только материал, глина. Вы предупреждаете: Щукин! А я уверен: Щукина пока нет. Есть основа того, чем он станет. Помните, папа Карло взял полено и вытесал из него толкового парня Буратино? А у нас с вами материал более пластичный. И стыдно нам, учителям, не вытесать из него кого хотим: ангела, черта... В данном случае мне нужен вожак. — Прохоренко вздохнул. — Устал я сегодня, — и протянул мне руку. — Вы очень хорошо вели себя при Константинове. Он ведь так и ждет моего промаха. — Глаза Леонида

Павловича вдруг стали холодными, он будто перестал меня замечать. — Как они хотят помешать, как хотят! — Улыбнулся, кивнул мне: — Счастливо, Маша! Постарайтесь запомнить главное из того, что я говорил. Это вам еще пригодится.

Я вышла на улицу. Солнце клонилось, и его желтый холодный луч будто бы запутался в телевизионной антенне.

Ветер в школьном саду гонял листья, швырял их по лужам.

Леонид Павлович стоял у окна.

— Приходите с Вовкой! — крикнул он в форточку.

Я сделала вид, что не расслышала. «Что же произошло сегодня, что же произошло?» — спрашивала я себя.

Я невольно вспомнила Андрея Андреевича. «Не могу назвать себя добрым, — как-то сказал он мне в первый год работы, — но кричать на детей мне неприятно. Легче прощать, чем наказывать. Доверять, чем подозревать. Я никогда не помню обиды, хотя могу впасть в гнев. И если мне, учителю, нужна власть над ними; то разве та, что дает их уважение и любовь».

Было четыре. Брать Вовку из «продленки» было еще рано. Но сейчас мне нестерпимо хотелось, чтобы сын был со мной.

Глава четвертая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Из больницы я вышел немного успокоенный. Правда, не все получилось так, как хотелось. В отпуске оказался Калиновский — заведующий хирургическим отделением, главный вожевский бог. Но зато остальные врачи буквально напали на меня.

— Да почему рак? — волновалась молодая рыжеволосая докторша, заменяющая Калиновского. — Разве других болезней не бывает? Привозите маму. Положим, обследуем. Уверена, что ваш диагноз не подтвердится.

— Когда же нам приехать?

— В любой день, — она пожала плечами. — Завтра. В четверг. Или в понедельник — чего горячку пороть.

Она с возмущением повторила:

— Что за напасть такая! Все научились диагнозы ставить. Вот и лечили бы сами, раз много знаете. Сознайтесь, ведь считаете, что разбираетесь во всем не хуже нас, грешных?

Мне стало чуточку легче. Действительно, почему рак? Кто-то что-то сказал, а мы сразу в панику. Кстати, утром

мама и выглядела лучше. Пропала землистость лица, глаза посветлели, да и худоба показалась не такой уж страшной.

Нет, нет, может, и обойдется. В такие минуты легко становишься суеверным. Жаль, конечно, что в отпуске Калининский, но и эти доктора мне понравились.

До обратного автобуса оставалось время. Я прошелся по центру города, остановился около исполкома и вдруг подумал: не заглянуть ли в горно? Может, встречу кого с факультета?

В мрачном узком коридоре было безлюдно. Я перечитал таблички на дверях, остановился около одной: «Инспектор по кадрам Шишкин В. М.».

Дверь распахнулась, я отступил на шаг, из кабинета стремительно вышел молодой, но уже лысеющий круглолицый мужчина. Он быстро с подозрением оглядел меня и пошел по коридору дальше. Из соседнего кабинета вышла худая высокая женщина в очках, что-то зашептала инспектору на ухо. Он морщился и все поглядывал на меня: вначале на туфли — у меня были великолепные английские туфли, Ритин подарок, предмет острой зависти московских модников; потом его взгляд прошелся по костюму, замер на секунду на уровне лацкана.

— По какому делу, товарищ? — осторожно спросил инспектор.

Голос был знакомый, и я наконец вспомнил. Конечно! Это был не просто Шишкин — никто на курсе так его не звал, — а Венька Шишкин, растолстевший вдвое, славный малый, тихий и безобидный казначей институтского профкома. Ни особо близкими с ним, ни врагами мы не были.

Мне стало весело, что я узнал его, а он, конечно, и не ожидал меня здесь увидеть.

— Я хотел... по поводу работы...

Он взглянул на женщину, будто обратилась к нему она, а не я, пожал плечами.

— Странно. Где же вы были месяц назад? Школы укомплектованы. Какой предмет?

— Черчение, — наугад сказал я.

Он живо взглянул на меня, кивнул в сторону кабинета.

— Зайдите в мою комнату и подождите минуту. Я скоро освобожусь.

Кабинет выглядел солидно. На полу — ковер, вдоль стены — стеллажи с книгами, на столе — два телефона. Я снял трубку — один не работал. Я улыбнулся: «Венька, Венька, большой начальник!»

Распахнулась дверь, Шишкин решительно подошел к столу, подписал какую-то бумагу и с нею вышел.

— Ну, — сказал он, снова возникая в дверях. — Теперь я вас слушаю. Где работали? Почему с таким опозданием? Видите ли, место чертежника как раз ожидается. У нас в одной школе есть человек, который не возражал бы перейти. Но с ним еще нужно утрясать, я пока ничего обещать не могу. Покажите документы.

— Трудовую книжку я не захватил, — виновато сказал я. — У меня с собой только удостоверение.

— Удостоверение? — удивился Шишкин.

Я вынул коричневую книжечку и, едва сдерживая улыбку, протянул ему.

Шишкин положил на стол удостоверение и внимательно стал читать. Впрочем, читать там было нечего. Видно, он хотел выиграть время, что-то обдумывал.

— Ну что же, — Шишкин сложил книжечку и вернул ее мне. — Как я понимаю, вы сюда зашли не без дела, товарищ корреспондент.

Он говорил с достоинством:

— Что вас интересует? Постараюсь ответить.

«Ах так, — подумал я. — Тогда посмотрим...»

— Что заставляет журналиста ехать в другой город? — сказал я. — Жалоба.

— Интересно! Уж не потому ли вы представились чертежником? У нас есть «чертежники», для которых черчение жалоб — любимое занятие.

— Не скрою, именно так. — Я не мог сдержать улыбку.

Шишкин прошелся по кабинету.

— Кажется, Виктор Михайлович?

— Да.

— Так вот, Виктор Михайлович, начну не с объяснения, а с вопроса. Вы ответьте, отчего это так: год только начался, люди делают первые шаги, а корреспондент уже едет по жалобе? И какой корреспондент — союзной газеты! — Он покачал головой. — Впрочем, я рад, что вы приехали. Посмотрите, разберитесь сами.

— Считаете, товарищи жалуются напрасно? — Я прикусил губу, чтобы не рассмеяться.

— Напрасно! Вот ответьте на другой вопрос: отчего так — чем талантливее личность, чем шире размах и нужнее деятельность, тем больше раздолья для всяких демагогов? Боже мой, как трудно начинать! Тут не жалобу разбирать, а, может, книгу, прекрасную книгу писать придется!

Я сказал:

— Ладно, хватит дурака валять.

Он неприязненно поглядел на меня.

— Я вас не понимаю. Подозреваю, что даже такое, — он подчеркнул последнее слово, — удостоверение не дает вам права разговаривать со мной грубо.

Я рассмеялся.

— Вения, — сказал я. — Ну неужели не узнаешь?

Он долго удивленно смотрел на меня и вдруг затрясся от смеха.

— Витька! Витька! Бог мой! А я же всерьез все принял, всерьез.

— Ну тогда ты молодец, — смеялся я. — Я поражался твоей стойкости...

— Стойкости! — Венька уже хлопал меня по спине. — Тут потрясающее дело делается! Только после об этом. Ну, покажись, покажись, писатель! А ведь самое забавное, мы тебя не забыли, только, надо же, никто и не предполагал, что ты как снег на голову...

А он действительно рад мне, и это приятно. Ходит по комнате, размахивает руками, вздыхает.

— Ну и прекрасно, что ты приехал, прекрасно! Надо же! Корреспондент! Такой газеты! Писатель! Ах ты, здорово-то как! Ну-ка, дай я тебя рассмотрю. — Он снова обнимает меня. — Черт те что со мной происходит! Кажется, одни бумажки начинаю видеть. Да как же я мог тебя не узнать?! Нет уж, нет, пора мне намыливаться отсюда, пора. Дело есть, интересное, настоящее педагогическое дело.

Он наконец садится в кресло и со счастливой улыбкой смотрит на меня.

Какой-то посетитель осторожно стучится, заглядывает в кабинет.

— Я занят! — начальственно кричит Венька. — Позже! — Потом опять обращается ко мне: — Ну, а теперь рассказывай, зачем пожаловал?

— Приехал-то в отпуск, — говорю ему. — Но отпуск вроде не получается.

— Почему?

— Дома худо. Больна мама.

— Что с ней?

— Трудно сказать, она даже не обследовалась. Вчера я совсем приуныл: похудела, осунулась. Жутко стало.

— Да, да, — раздумывал над чем-то Шишкин. — Нужно в больницу. Здесь Калининский работает, замечательный врач.

— Слышал, — сказал я. — Но он в отпуске.

— Доброе, домашнее выражение сочувствия не сошло с Венькиного лица.

— Я, Виктор, обещать ничего не могу, но завтра ты позвони мне часов, скажем, в одиннадцать.

— Хорошо.

— Тогда и поговорим. — Он вдруг улыбнулся, будто бы попросил меня не думать больше о плохом. — Водку ты пьешь?

— Несистематически.

— Надо же! — Он засмеялся. — Как я тебя не узнал сразу, товарищ корреспондент. Так можно и инфаркт схлопотать.

— Ну, до этого бы я дело не довел.

— Да и я бы все-таки не умер, — сказал Шишкин. — Тут мы великий эксперимент затеваем! Поверь, о Вожевске заговорят, если только одно дело удастся.

— Какое?

Зазвонил телефон. Шишкина куда-то вызывали. Он стал собирать бумаги.

— Ну, так в одиннадцать завтра позвони. И обязательно. Попробую тебе помочь.

Я поблагодарил его. Появилась уверенность, что Шишкин не обманет, что он действительно что-то сделает.

Мама сегодня выглядела бодрее, голос стал звонче.

На столе меня ждал отличный пирог с яблоками, теплый, румяный. И воздух в комнатах посвежел. Пахло ванилью, как в детстве.

— Ма; — сказал я как можно беззаботнее, — тебе нужно бы съездить к врачам, обследоваться. Кровь, рентген, ну и все такое. Вчера ты не очень-то мне понравилась.

Она улыбнулась.

— Для этого и ездил в город?

— Что ты? Просто встретил кое-кого. Сказали, приезжайте. Анну Васильевну можем, мол, положить в любой день.

Я проговорился.

Мама стояла у печки, внимательно и немного грустно смотрела на меня.

— Не поеду, — сказала она твердо. — Так решила. Да и Калиновского сейчас нет, к нему бы легла. А вот через месяц обязательно покажусь, обещаю. — Она подошла ко мне, обняла. — Я совершенно не хочу думать о плохом. Ты приехал — значит, мне уже повезло. Повезет и в другом.

Эту ночь я спал без снов. Окна в моей комнате были зашторены. Когда я поднял голову, то оказалось, что в щелочку между портьерами пробивается тонкий луч света,

Я окунул руку в этот пучок, разглядывая циферблат: половина восьмого.

Мама давно поднялась, за стенкой слышались ее тихие шаги.

— Проснулся? — удивилась она.

— Да.

— Чего же в такую рань?

— А ты?

— Я? Да вот постирать захотелось. Знаешь, мне уже два месяца не хотелось стирать.

Я подумал: может, действительно теперь все пойдет на лад?

На столе пыхтел самовар. Я налил заварки, нацедил кипятку и стал вприкуску отхлебывать из блюдечка. Я чувствовал себя счастливым.

Мама угадывала каждое мое желание. Едва я закончил чаепитие, как в комнате появились мои старые, основательно стоптанные кирзовые сапоги. Сколько было исхожено в них по енюковскому лесу! Сапоги стояли против стола и будто бы ждали моего решения.

— Может, действительно сходить, проверить прежние места? — спросил я у мамы. — Только найду ли?

— Найдешь, — сказала она убежденно. — Лес подскажет.

Через калитку позади огорода я вышел на полузаросшую тропинку, нахлобучил кепку, вздернул повыше «молнию» на куртке и неторопливо затопал к лесу.

Подберезовики пошли сразу. Я снял черноголовик, отрезал ножку, выкинул ее, а шляпку аккуратно положил на дно корзины. В наших местах не крохоборничают.

Какой, к черту, юг мог сравниться с такой тишиной и покоем!

Я проходил несколько шагов, останавливался, оглядывал полянку, взгорок, канаву и тут же отмечал глазом несколько верных мест, а потом шел наверняка «брат» гриб.

Белых не было. Но я знал, скоро начнется бор.

Первый белый торчал на открытом месте. Стоял самодвольный и, видно, глуповатый толстяк в коричневом берете, глазел на меня. Я срезал его, почистил ножом, положил в корзину. Вслух сказал: «Открывай счет».

Он дохнул на меня грибным запахом.

Хорошо! Как хорошо, черт побери! Я раздвигал кусты, стирал с лица тягучую паутину, шел дальше. Неужели я был тот же человек, на которого вчера, казалось, обрушились все беды? Нет. Не может быть!

Корзина становилась тяжелее. Я переносил ее с руки на руку, наконец снял ремень и повесил ее на плечо.

Потом присел на пень, достал мамин завтрак — два ломтя хлеба с салом — и замер: у ног стоял огромный белый. Красавец! Гигант! Я нагнулся и буквально вывинтил его из земли. Хватит, хватит, больше ни одного!

С дороги, около сельсовета, видна наша деревня на все четыре километра. Людей нет, работают. Впереди, вроде бы около амбулатории, а значит, рядом с нашим домом, «Москвич» на дороге. Уж не Венька ли?

Я вдруг вспомнил, что обещал позвонить ему около одиннадцати, а теперь минимум половина второго.

За рулем сидел незнакомый человек лет сорока пяти, широкоплечий, спортивный, с сильным, волевым лицом и тяжелым подбородком. Я хотел пройти мимо, но он так пристально следил за мной, что я невольно остановился и спросил: не к Лавровым ли кто приехал?

— К Лавровым.

— А кто?

Мужчина глядел на меня с прежним любопытством.

— Калиновский.

Я бегом бросился к дому, чувствуя, как колотится сердце.

На залитом солнцем крыльце сидел Венька, грелся. Ворот его рубахи был расстегнут, рукава закатаны, пиджак лежал рядом. Он увидел меня издали, помахал рукой.

— Загораю без хозяина, — добродушно сказал он. — Что же ты не позвонил утром?

Я начал оправдываться:

— Маме стало чуть лучше, и она попросила никого не тревожить. Да и я вдруг поверил, что все обойдется. Но, главное, Калиновский...

Венька был доволен.

— Раз нужно — так нужно. Привезли с дачи.

— Я тебе так благодарен...

— Хватит, — он остановил меня нетерпеливым жестом. — Не говори больше об этом.

Я подошел к окну, заглянул в комнату. Калиновский — худощавый черноволосый мужчина в очках — сидел на краю кровати, разговаривал с мамой.

Я поздоровался. Он сдержанно кивнул мне.

— Ну, так договорились? — спросил он у мамы, видно заканчивая разговор. — Другого выхода нет.

— У меня сын приехал... в отпуск... — сказала мама. Она подняла голову, поискала меня глазами, как бы спрашивая совета.

— Ждать некогда, — категорически повторил Калиновский.

— Витя, — попросила мама. — Проводи Марка Борисовича помыть руки. Полотенце возьми.

Только теперь я заметил, что держу корзину. Какая-то жуткая усталость навалилась на меня. Да что усталость — безысходность.

Калиновский вышел хмурый. Повертел головой, точно шею сдавливал воротник рубашки, расстегнул пуговицу.

Я показал, куда идти, и двинулся за ним следом.

Калиновский остановился около умывальника, взял мыло, покрутил его в сухих руках, ударил по крану.

Я глядел на руки Калиновского и ни о чем больше не думал. Он наконец взял полотенце и стал тщательно вытирать палец за пальцем.

— Только медики так относятся к себе, — буркнул он. — Могла обратиться сразу, еще два месяца назад.

— Значит, совсем худо?

Он пожал плечами.

— До операции этого никто вам не скажет. Возможно, опухоль не злокачественная. Хотя, честно говоря, мы отвыкли от таких крупных доброкачественных опухолей. Теперь они все малигнизируются раньше.

Он не заботился о том, понимаю я или нет его ученый язык.

— И все-таки?

— Конечно, мы обязаны надеяться. По крайней мере откладывать операцию нельзя. Процентом двадцать шансов у нас есть.

Я едва подавил в себе противное чувство тошноты. Всего двадцать процентов!

Я брел за Калиновским и никак не мог вспомнить, что же еще должен спросить у него.

— Что сказать маме?

Он не обернулся.

— Она знает. Сама поняла.

— Как? Она была так спокойна...

— Не хотела огорчать вас. Боялась испортить сыну отпуск. А потом... — он помолчал, — считала, что безнадежна.

Шишкин, видно, уловил что-то в моем лице, сжал на ходу локоть, сказал: «Держись». Я был благодарен ему за сочувствие.

Мама хлопотала около стола, расставляла тарелки. Она даже не подняла голову, когда я вошел.

— Принеси самовар, — сказала мне. — И позови того человека, что остался в машине...

— А кто это?

— Приятель Шишкина и Калиновского. Марк Борисович сказал, что только тот человек и смог уговорить его бросить рыбалку...

— Тоже врач? — я старался расспрашивать маму о чем угодно, но только не о болезни.

— Нет. Директор школы.

Я наконец решился спросить о главном:

— Калиновский говорит, что ты согласилась в больницу?

Она кивнула:

— Да. Марк Борисович считает, что это необходимо.

— Может, еще посоветоваться?

— Если Марк Борисович считает, то зачем же... Значит, шансы еще есть.

Я молчал.

— Вить, — мама внезапно обняла меня, — да брось ты расстраиваться. Вот если бы Калиновский сказал, что мне лучше побыть дома...

Мы ехали в Вожевск, подавленные таким быстрым и неприятным поворотом событий. Вениамин чувствовал наше настроение и старался быть веселым, буквально не закрывал рта. Он рассказывал какие-то местные сплетни, старые анекдоты, засыпал нас историями про охотников. Впрочем, тут помешал ему Калиновский: охота была его страстью.

— Талантливый человек всюду талантлив, — сдался Вениамин. — Марк Борисович не ошибается ни на рыбалке, ни в лесу, ни в операционной.

Шутка не получилась. Все вдруг замолчали, и стало слышно, как шумит мотор.

Калиновский покашлял.

— Я вас сразу же отвезу на дачу, — вмешался приятель Вениамина. — Да и дальше, если только потребуется, буду привозить и отвозить.

Пожалуй, это была его единственная фраза за все наше сегодняшнее знакомство. Только у больницы, когда мы стали прощаться, я смущенно сказал, что нас так толком и не познакомили.

Он протянул мне руку и крепко, по-мужски сжал ее.

— Лавров, — пробормотал я.

— Прохоренко, — представился он.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

На следующий день я осталась в школе после воспитательского часа. Почти все разошлись, а мне еще нужно было выставить оценки в дневники за прошлую неделю.

Я устроилась на последней парте, потому что стол был занят, за ним трудились Женя Горохов и Люба Боброва — члены только что выбранной редколлегии.

Неожиданная тишина заставила меня поднять голову. Я увидела перед собой высокую седую женщину. Прическа узлом, худое смуглое лицо с большими карими глазами. На ней был элегантный шерстяной костюм, белая гипюровая блузка. Посетительница выглядела бы даже молодо, если бы не беспокойный, растерянный взгляд.

Я поднялась.

— Вы Мария Николаевна? — не сразу спросила она.

— Да.

Я перебирала в уме всех учеников: чья же это бабушка? Женщина подняла руку, пригладила волосы, и этот жест мне напомнил Леву Жукова.

— Я бабушка Левы Жукова.

— Я догадалась. Садитесь, пожалуйста. — Я показала на соседнюю парту.

Она села. Сцепила кисти рук. И вдруг ее длинные пальцы побежали по парте, запрыгали, как по клавишам, и что-то очень тревожное почудилось мне в этой беззвучной гамме.

Уж не случилось ли что слевой? Избили мальчика, попал под машину...

— Ради бога, — не выдержала я. — Лева только что ушел домой.

— Нет, нет, в этом отношении ничего, — поняла она. — Он, конечно, уже дома. И вообще он, кажется, у вас благополучный?

— Вполне, — подтвердила я. — Кругом «четыре».

— Вот видите, благополучный.

Она спустила голову, по-старушечьи сгорбилась.

Женя Горохов осторожно покашлял и вопросительно показал на себя и Любу. Женщина заметила его жест.

— Нет, нет, останьтесь, — попросила она. — Класс все равно обязан узнать об этом... Я сейчас расскажу все, только нужно собраться. Понимаете, это очень давняя история, даже не знаю, какой год можно считать ее началом: сорок второй или сорок пятый... По крайней мере помню, что девятого

мая, в День Победы, мы с дочкой так радовались и веселились, что моя мама, а ей тогда было за семьдесят, крикнула нам: «Тихо! Не к добру это!» — «Что может быть теперь не к добру?» — спрашиваем мы. «Гогочете так, — отвечает мама, — будто уже ревете».

Женщина опять замолчала. Я украдкой взглянула на ребят: они сидели не шелохнувшись.

— В тот день я вынула из своего тайничка бутылку шампанского, у нас еще с довоенных дней осталась бутылка — купили, знаете, а выпить так и не успели, — и поставила на стол. Да, — вспомнила она, — я не сказала, что Лева получил свое имя в память деда, моего мужа. Понимаете, какое это для меня имя?

Ее взгляд стал неподвижным, а я опять подумала: что же случилось?

Внезапно она заговорила о другом.

— Я всю войну работала хирургом. Вы, наверное, плохо представляете, какой ад эта работа. Мы простаивали по трое суток в операционной. У нас был специализированный фронтовой госпиталь. Ранения в голову. Бывало, падали от усталости, особенно в периоды наступлений. Но ничего. Час-другой поспишь — и опять за скальпель. Никто не знал, откуда берутся силы. У меня была медсестра, ростом с нее, — и женщина показала на Любу, — так та вообще могла работать без передышки. Вздремнет минут десять — и опять за работу... Впрочем, мы так могли потому, что все это казалось пустяком по сравнению с фронтом. А как у них было — я знала. Видела. Когда поступали с ранениями в череп, то я, наверно, лучше всех понимала, что такое война. Слепые. Обезображенные. Представляете, четыре года я вглядывалась в лицо каждого поступившего, я боялась найти среди них Леву. И только постоянное чудо возвращало мне равновесие.

— Чудо? — переспросила Люба.

— Да, девочка. Этим чудом были Левины письма. Сто тридцать писем моего мужа. Он писал их почти каждый день. Иногда письма не доставлялись вовремя; иногда поздние письма опережали те, что были написаны на несколько дней раньше; иногда мы получали по нескольку сразу. У нас дома был такой уговор: без меня не читать. И вот придет письмо от отца, а дочь не читает его сутки, а то и двое, ждет меня. Это был наш праздник. Мы радовались и плакали над каждой строчкой...

Она потеряла виски. Мне показалось, что в эти секунды она что-то рассказывает себе. Там, вдалеке, в самой глубине

ее сознания, пробегали бесконечные картины военных лет — то прошлое, которое беспрерывно продолжается в нас.

— Не помню, говорила я вам, что мы так и не выпили довоенного шампанского? Дочка сказала: давай подождем, пока придет папа. Но мы так никогда и не выпили ту бутылку. Пришло извещение, что муж убит. Погиб уже после войны. Подорвался на mine. Понимаете, для меня как хирурга война еще продолжалась лет десять; сколько человек подрывалось на минах, особенно мальчишек. Минам было безразлично, что люди уже не воюют. О чем я? О шампанском... Мы тогда совсем забыли о бутылке и вспомнили только в пятьдесят пятом, когда у моей дочери родился мальчик. Мой внук. Лева. И тогда я достала бутылку шампанского, ту, что нам так хотелось распить с дедом, и стала открывать пробку. Помню, какими торжественными все были. Я вытерла бутылку, стала медленно поворачивать пробку, но она сломалась, рассыпалась в моих руках, и из бутылки пошел легкий дымок и запахло кислым. «А мы все равно выпьем», — настояла зять. Я разлила рюмки и пригубила. Нет, пить это было невозможно. Вместо шампанского я разлила уксус... Мы много плакали с дочкой, читая Левнины письма. Он был в них как живой, и в каждой шутке или фразе оставался его жест и его голос. Понимаете, я старела, а он никогда уже не старел — все те же тридцать пять, — и я в такие минуты начинала думать, что и мне не больше...

Она спросила:

— О последнем письме я говорила? — И прибавила: — Такой сумбур в голове. Все смешалось. Письмо пришло после извещения. Лева писал, что везет нам подарок: двести моих и дочкиных писем. Много позднее их нам доставил его товарищ...

Женщина распрямила плечи, откинула голову и, как-то сурово глядя мне в глаза, с горечью сказала:

— Никто и не подозревал тогда, что сын моей дочери, названный именем деда, через двадцать семь лет своими руками снесет эти письма в макулатуру.

Люба заплакала, а Горохов вытянулся, пораженный. Он стоял бледный, и желваки гуляли по его скулам.

— Мария Николаевна, — я увидела, как он метнулся к окну, — там еще летают какие-то бумажки — может, что осталось?

— Нет, — женщина покачала головой. — Я пересмотрела все. Там нет.

— А если обезжать ребят? — крикнула Люба. — Все же

рядом. И из других классов. Мы можем всей школой разгрести макулатуру. Мы найдем.

— Нет, — женщина остановила ее. — Не стоит. Сегодня вторник, а макулатуру отвезли в субботу. Я была там. Говорят, бумага сразу же пошла в переработку. — Она помолчала. — Как это мы его проморгали?

Не знаю, сколько мы просидели молча: на улице вроде бы стало темнее. И тут я решила.

— Завтра, — сказала я ребятам, — мы должны будем очень серьезно поговорить об этом в классе. Подумаем вместе, обсудим. Мне бы хотелось, чтобы выступил каждый.

— Выступим, — кивнул Горохов.

— «Молнию» выпустим сейчас же, — сказала я. — И хорошо бы, если бы в класс пришли бывшие фронтовики.

— Я попрошу дедушку, — сказала Люба. — Он не откажет. Я ему расскажу все, и он придет, даже если будет очень занят.

В кухне у Прохоренко горел свет. За шторами не было видно, кто из них дома.

Мы поднялись по лестнице, Вовка обогнал меня и, подпрыгнув, нажал кнопку звонка.

Послышались шаги. Дверь открыла Люся. Улыбка осветила ее лицо, она раскинула руки. Вовка влетел в ее объятия.

— Вот и прекрасно, что пришли, прекрасно! — повторила она, целуя Вовку. — А у нас твой любимый пирог.

— С вареньем?

— С яблоками.

Вышел Леонид Павлович, широко, наотмашь хлопнул по Вовкиной протянутой ладони, шутя сказал ему:

— Беги в кабинет, там тебя что-то ждет.

Вовка нырнул в дверь и тут же выскочил с «конструктором».

— Спасибо, дя Леня! — кричал он. — Спасибо.

— Зачем вы его балуете? — сказала я.

— Да полно, Маша! — Леонид Павлович отмахнулся.

— Хватит объясняться, — прикрикнула Люся. — Садитесь за стол. Леонид только что проехал половину земного шара. Я боюсь, что он с голоду начнет грызть мебель.

Вовка захохотал:

— Кстати, — спросила Люся, — тебе не хочется узнать, куда ездил Леонид?

Я все время думала, как рассказать о Леве Жукове, и невольно перебила Люсю:

— В школе случились неприятности.

— В школе? — Я увидела, как Люся изменилась в лице.

Леонид Павлович сосредоточенно смотрел на меня. Он не шевельнулся, когда я назвала фамилию Жукова, и только одна бровь его удивленно поползла вверх. Он так и сидел неподвижно, когда я рассказала о фронтовых письмах, которые мальчик снес в макулатуру.

— Леня, что это за парень? — с ужасом спросила Люся, когда я кончила свой рассказ. — Как он мог?

Леонид Павлович думал о чем-то и, мне показалось, даже не услышал вопроса жены.

— И-а-ах! — с болью выдохнул он. Поднялся. И опять сел. — Что за парень? — переспросил он. — Благополучный, домашний парень. В лагере не был. Не отпустили. Дача, видите ли, лучше. Учится тоже прилично. Дисциплинированный... И все же как мало мы их знаем, Маша, как мало! А ведь я мечтаю работать иначе. Хочу понять, на что способен каждый. И не только степень полезности хочу представлять, но и границу худого. Нет, я вас не обвиняю. Что можно понять меньше чем за месяц? И все же на будущее это урок всем.

Он ходил по кухне.

— Понимаете, меня огорчила не только вопиющая безнравственность этого парня, но и другое... Такой случай может дискредитировать наше дело. Поставить под сомнение все, к чему я стремился. Обязательно найдутся дураки, которые начнут тыкать в нас пальцами: вот к чему способна привести бесконтрольность и так называемое самоуправление.

Он приблизился ко мне.

— А вы думаете, все заинтересованы в моем эксперименте? Отнюдь! Он мешает. Выбивает из привычной будничной жизни. Это же бревно в глазу!.. Когда, Маша, я переходил из института в школу, меня предостерегали: не зарываться, не лезть на рожон — чего только не говорили. Я вынужден был хитрить, осторожничать. Я, Маша, готовился к лагерю. И вот тут мы показали, что значит четкая, хорошо продуманная мысль. Как мы работали! Пожалуй, это были самые интересные дни в моей жизни. Ведь я действительно на блюдечке с золотой каемочкой принес им потрясающие результаты, и тогда все повернулись ко мне. Теперь-то я знаю истинную цену слову «заговорили». Вы даже представить не можете, что для них значили две статьи в областной газете. Вожевский эксперимент! Наше начинание! Поверьте, я готов был бы работать тихо, без всякой рекламы и шума, но эти статьи заткнули рот сомневающимся, они создали атмосферу

уважения вокруг дела — вот что мне нужно было от них. Только теперь у меня появилась возможность выступить с открытым забралом. Я получил кредит, в котором нуждался. И тогда все полезли сюда, всем захотелось встать рядом. А я все трудился. В поте лица. Не спал ночами, страдал, если что-то не получалось. Вот вы вчера огорчились из-за Семидоловой, а я, думаете? Но мне это нужно, нужно для общего дела. Я вынужден соблюдать в первую очередь интересы коллектива.

Его глаза лихорадочно заблестели, и мне стало немного не по себе от этого непривычно взвинченного разговора.

— Я постоянно боюсь за дело. Думаю, как убедить того, как доказать этому. Мне одному необходимо все предусмотреть, и я пугаюсь, что меня не хватит, что я поскользнусь, сделаю ошибку. Если бы мне настоящих помощников — преданных, убежденных! Но их нет. Конечно, будут, но пока я один. И вот я стал бояться своих неудач. Мне стало казаться, что каждый промах вернет меня к началу, что мне придется заново строить все здание...

Он неожиданно спросил:

— Думаете, нет таких, кто ждет моего провала? Только не считайте, что я подозрителен. — Он говорил с иронией, словно расставляя над каждым словом несуществующие кавычки. — Они скажут: дисциплины, знаний, слепого подчинения — вот чего он мог добиться таким сомнительным путем, но не нравственности. Где это нравственное начало, если мальчишка, хороший ученик, ради рекорда сжигает прошлое своих близких? Разве они поверят, что это частный случай? «Это типично!» — закричат они.

Он помолчал.

— С Жуковым говорили?

— Не успела. Бабушка пришла после уроков. Я зашла за Вовкой — и к вам.

— Парню нельзя давать передышки, — предупредил он. — Его следует взять в оборот.

Люся, какая-то огузшая, отяжелевшая, сидела на табуретке, положив руки в подол юбки, глядела в одну точку.

— Мы уже решили с ребятами поговорить завтра же. Я хочу, чтобы каждый в классе высказался. Вот вы, Леонид Павлович, вспоминали о нравственности, а какой урок нравственности можно будет преподать детям! Мне хотелось бы использовать этот случай для большого разговора, заставить ребят самих разобраться во всем.

— Нет, нет! — перебила Люся.

Он жестом остановил жену.

— Понимаете, Маша, — сказал Леонид Павлович, — скажу честно: мне бы не хотелось, чтобы эта история стала теперь достоянием города. При гласном же разборе она станет. Вы, видимо, не хотите мне поверить, что многие только и ждут нашей осечки.

— Но если мы сами... открыто... кто станет?!

— Кто? Вы хотите конкретно? — Он стал загибать пальцы. — Константинов, Кликина, родители, недовольные лагерем...

— Понимаете, Леонид Павлович, чего я боюсь... Если будет разговор в классе, то он коснется каждого, а недоговоренность, даже замалчивание...

— Вы не хотите понять, — резко сказал Леонид Павлович. — Я не могу согласиться на это. Мы испортим все. — Он замолчал и долго смотрел в черное окно, покачиваясь и раздумывая о чем-то. — Да, да, я боюсь развенчать своими же руками нашу приподнятость, атмосферу энтузиазма, которая уже царит в школе. Неужели вы не чувствуете этого? Когда я открываю двери вестибюля, да что двери, еще на улице, когда я гляжу на веселые, светящиеся лица ребят, то мне не хватает дыхания и я каждый раз думаю, что наступил нескончаемый праздник.

Я все еще надеялась уговорить Леонида Павловича.

— Понимаете, такое классное собрание, о котором думала я, коснется сердца каждого, даже таких, как Щукин...

— Леня мне сказал, что Щукин выстрелил в тебя из рогатки. Мы не могли понять, как это произошло. Ты молодец, что не пожаловалась тогда на него в классе. Поверь, это здорово подняло твой авторитет среди ребят.

— Леонид Павлович, — осторожно начала я, — а не кажется вам, что ребята еще не готовы к самостоятельному управлению?

— Нет, не кажется, — уверенно сказал он. — Но даже если бы вы и оказались правы, то, поверьте, у меня нет сейчас нескольких лет, как у Песталоцци в девятнадцатом веке, да и нравственные задачи другие, чем у него...

— Почему Песталоцци? А Макаренко?

Наступила неприятная пауза. Люся покашляла.

— Ладно. — Леонид Павлович вздохнул. — Давайте вернемся к истории с Жуковым. Я прошу ограничиться разбором его поступка у меня в кабинете. Могу сказать, Маша, что я не только ценю ваше мнение, но и радуюсь ему. Однако в данном случае, — он подчеркнул, — как друг, прошу: помогите.

Я вспомнила ребят — Любу Боброву, Женю Горохова, — сколько мы проговорили сегодня об этих письмах и о том, что

разговор с классом необходим. Как я объясню им свое новое решение? Ничто, я уверена, не портит ребят так, как лживость и фарисейство учителя.

— Маша, — сказала Люся, — ты же самый близкий нам человек.

Я беспомощно объяснила ей:

— Но ребята хотели пригласить фронтовиков. Я обещала им. Я была уверена, что Леонид Павлович меня поддержит. Они снова переглянулись. Это было неприятно.

— Понимаю, — сказал он. — Этическую сторону я возьму на себя. Не волнуйтесь.

Вбежал Вовка. У него не свинчивалась какая-то железка, и он полез к Леониду Павловичу с вопросами. Люся снова спросила:

— Так ты выполнишь нашу просьбу?

— Да.

Она повернулась к плите и весело крикнула:

— Батюшки-светы! А пирог-то сгорел.

Глава шестая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Гостиница оказалась рядом с больницей, эдакий семиэтажный вожевский небоскреб.

Над окошком администратора — и тут! — традиционная табличка: «Мест нет». На стульях около стен меланхоличные командированные.

Я вынул корреспондентское удостоверение и протянул в окно. Марка газеты сработала безотказно, и через минуту я проходил мимо проснувшихся командированных, закрылся в лифте и взмыл на седьмой этаж.

Номер оказался не хуже столичных. Довольно большая комната, письменный стол с красным телефоном, над кроватью несусветная стряпня местного живописца «Букет сирени».

Из окна виден почти весь город. Черные и серые деревянные дома с цинковыми и шиферными крышами, высокие каменные здания-коробки. Вдалеке — заводы. Красные сигароподобные трубы с фитильками дымов.

Я развесил в шкафу вещи, полистал телефонный справочник, коричневыми корочками похожий на меню ресторана, и почувствовал безысходное одиночество. Что делать? Как

жить эти несколько недель? Вокруг меня была пустота и нарастающая, щемящая тоска.

Сидеть в номере казалось невыносимо. Нужно куда-то пойти, что-то сделать, с кем-то поговорить... И я решил позвонить Рите.

Я схватился за эту мысль как за спасение. Там, далеко, в Москве, был человек, который должен был меня понять в такую минуту. И я вдруг подумал, что наши разногласия с ней, может быть, преувеличены, не все ведь было плохо, сколько хороших дней незаметно забылось.

Я заказал Москву. Стоило бы пойти на почту, потолкаться среди людей, в номере время шло изнурительно медленно.

Наконец телефон часто и коротко зазвонил. Я снял трубку и тут же услышал удивленный голос Риты:

— Что случилось, Виктор? Ты вроде бы и доехать еще не успел?

— Заболела мама, — торопливо начал я. — Понимаешь, истощена, землистое лицо, смотреть страшно...

— Ты хочешь привезти ее в Москву?

Меня остановила холодная интонация Риты. Это был голос практичного, трезвого человека. Пока я произносил первые фразы, она успела высчитать все возможные варианты последствий.

Я замолчал, и она опять поняла мое молчание по-своему.

— Хорошо, поговорю с главным. Только хочу предупредить, что положить ее у нас будет очень трудно: из деревни! Нет московской прописки. Не обнадеживай пока что.

— Не нужно говорить с главным, — перебил я.

— Почему? — в ее голосе было недоумение.

— Мама уже в больнице.

— А-а-а...

Мне ничего не стоило представить утомленно-скептическое выражение ее глаз.

— И какой диагноз направления?

— Опухоль.

— Это очень плохо.

Боже, разве я сам не знал, что опухоль — плохо! Неужели и тут у нее не нашлось иного слова? Насколько теплее и ближе оказались чужие люди!

— Ты дай телеграмму, как только прооперируют, — сказала она. — Я послезавтра должна вылететь в отпуск. Или лучше пиши до востребования в Сочи. В телеграмме все равно много не скажешь.

И все. Не предложила отменить поездку в Сочи, приехать, чем-то помочь...

Наверное, к ней подошла теща, потому что Рита стала объяснять: «Представляешь, у Анны Васильевны рак».

Хотелось крикнуть, что это не так, что опухоль, возможно, и не злокачественная, но я молчал.

— Алло, алло! — Рита повысила голос, когда пауза затянулась. — Черт, — пожаловалась она матери, — вечно эта междугородная! Алло, Виктор! — Она снова дула и чертыхалась. — Ладно, — наконец сказала она. — Перезвонит, если захочет.

Я услышал короткие гудки и положил трубку.

Вот и поговорили, а ведь я знал, все знал наперед.

Я открыл окно — на улице было прохладно, прилег на кровать и, наверное, час пролежал неподвижно.

Темнело, и мне начинало казаться, что я уже давным-давно в Вожевске — таким бесконечным был сегодняшний день.

Я вспомнил о рукописи, оставленной дома. И впервые подумал, что ведь, пожалуй, рецензент прав. Все это хлам, вымученный хлам, и я никогда, никогда больше не стану писать понаслышке — о том, что узнал из вторых и третьих рук. Только почему же раньше нельзя было признаться в этом?

Вот первая книга была моей. В ней жили люди, которых я знал, любил или не любил, наконец там был я сам со своими сомнениями и поисками. Первая книга вызревала годами, со второй вещью я спешил, не дал ей, говоря фигурально, развиться в себе.

Я подумал, что в писателе должно присутствовать женское начало. Ощущение зарождающейся жизни может возникнуть как случайный проблеск. Это только мгновение — писать еще рано. Должны пройти месяцы, год, иногда несколько лет, чтобы вещь дозрела.

А потом это придет, как приходят к женщине схватки, только не боль, а беспокойство: именно сейчас и пора писать. И тут очень важно не поспешить, не взяться за перо до этого толчка, но и другое страшно — переносить в себе.

В одном случае жизнь книги может быть слаба, как недоношенный ребенок, в другом — засушена и безжизненна, как неполитое растение.

Почти год я рожал и хоронил своего недоноска, приставляя предложение к предложению, страницу к странице. Герои были картонными, ходили на несгибающихся ногах — фантомы, а не люди. Нужно было признаться себе в неудаче, а я не мог.

Где-то далеко зазвенел телефон — похоже, что в соседнем

номере. Я безразлично прислушался к его настойчивой трескотне.

И вдруг сообразил, что это звонят мне, вскочил с кровати и долго не мог нашарить в темноте трубку.

— Виктор? — Я узнал голос Шишкина. — Хотели к тебе заехать.

Я сказал: «Заезжай» — и сразу же подумал, что Венька, наверно, придет не один. Наверняка с супругой. Это в Москве женатые друзья лезут из кожи, чтобы выглядеть независимыми, а здесь мне все время придется иметь дело со счастливыми семьями.

Я бросился в буфет — к чаю ничего не было. Тогда, надевая пальто, я побежал на улицу — магазин был рядом.

Я надеялся, что приду первым: надо успеть застелить кровать, но коридорная сказала, что гости только что прошли ко мне.

Я распахнул дверь и прямо перед собой увидел женщину. Это была красивая женщина. Она глядела на меня с загадочной улыбкой и молчала.

Ей было лет тридцать. Лицо казалось бледным — возможно, из-за слишком яркой помады на губах и больших темных глаз.

Венька стоял позади. Но я почему-то подумал, что вряд ли это его жена.

— Витя, не узнаешь? — с обидой сказала женщина.

Я ахнул: Люся!

Я обнял Люсю и расцеловал.

— Люська! — говорил я, искренне радуясь этой встрече. — Как я рад! Да ты же красавицей стала! Прекрасная дама!

Я усадил ее в кресло.

— Ай да Вениамин, — говорил я. — Он сегодня мой ангел-хранитель. Сколько добра сделал! Спасибо, старик! А ты, — я снова обернулся к Люсе, — наверное, мать пятерых детей: такой высокой моралью от тебя веет.

Она засмеялась, и ее смех, легкий и свободный, показался мне очень знакомым.

— Да и ты изменился. Я даже оробела, когда ты вошел. Вот и седина, и волос стало меньше, — Люся все смотрела на меня, — но я бы даже на улице тебя узнала сразу — это только Шишкин не мог.

Венька развел руками.

— Ну давай рассказывай о себе, — наставвала Люся. — Женат? Дети? Венька ни на один вопрос мне ответить не мог, а еще кадровик.

— Женат, — я улыбнулся, — но уже хочется разводиться.

— Что так?

Я отмахнулся:

— Не стоит об этом. У меня есть беды и покрупнее.

— Знаю, — она сказала это едва слышно. — Но, может, еще обойдется. Старайся думать о хорошем. Да и Калиновский говорит: есть шансы. А он, Витя, впустую не обнадеживает.

— Дай бог.

— Ну, рассказывай о себе, — приказала Люся.

— Да что рассказывать! Работаю в газете, пишу.

— Мы читали твою книгу. Нам с мужем она нравится.

А мы кое-что, надеюсь, понимаем.

Шишкин чему-то рассмеялся, но комментировать не стал.

Я наблюдал за Люсей. Удивительно, куда только делась ее скованность. Раньше многие на факультете считали, что Люси как самостоятельной личности не существует. Была Маша. Ее ум, характер, обаяние, а Люся — это бледная копия с оригинала.

Теперь я видел, как все ошибались.

Видимо, мысль о Маше появилась у нас обоих.

— Да! — вспомнила Люся, и в ее глазах что-то засветилось. — Здесь Марья.

— Я тоже сейчас о ней подумал.

— Хочешь встретиться? — Лукавство в Люсиных глазах нарастало. — Выглядит Машка прекрасно.

— Замужем?

— Нет.

— Только что вернулась из деревни, — вставил Венька. — Люся вытребовала.

— Было жалко ее, — объяснила Люся. — У нее растет ребенок.

Я не знал, что ответить. Нет, подумал, встречаться не стоит. К чему? Да и не до Маши сейчас: болеет мама. Я так и ответил.

— Как хочешь, — сказала Люся. — Я ей пока ничего не сказала о твоём приезде. Решила спросить у тебя.

— Вот и отлично. Давай об этом не будем. Да и Маша, если я только правильно представляю ее характер, встречаться со мной не захочет.

Мы замолчали. Напоминание о Маше растревожило меня. Странное дело! Разное случалось у меня за эти годы, кое-что я повидал, со многими встречался, но какие бы плохие люди ни появлялись на моем пути, какие бы поступки они ни совершали, всегда было важно сознавать, что я знаю человека

бескомпромиссного, чистого, и он, тот человек, скорее причинит вред себе, чем сделает худо другому.

Как говорится, нужно было сменить пластинку. Я повернулся к Шишкину.

— Не пора ли? — спросил он.

— Пора, — отозвалась Люся. — Мы решили тебя сегодня не оставлять одного, поедешь с нами.

Шишкин подошел к окну и долго что-то разглядывал на улице.

— Карета подана, — наконец сказал он. — Надеемся, не откажете навесить друзей.

Я накинул пальто, запер дверь, отдал ключ коридорной.

— Сейчас познакомлю тебя с мужем, — немного таинственно сказала Люся.

Я пошутил:

— Первый раз вижу женщину, которая так настойчиво рекламирует своего супруга. Ты давно замужем?

— Девять лет.

— Ого? — удивился я. — И не надоело?

Метрах в пятнадцати от гостиницы стоял «Москвич»; сидящий за рулем человек читал газету.

Только подойдя вслед за Люсей к машине, я понял, что это опять мой утренний спутник.

Прохоренко улыбнулся мне как старому приятелю, сложил газету, засунул ее за щиток и пригласил садиться.

— Мой муж, — представила Люся. — Вы, по-моему, уже знакомы.

— Так вот, оказывается, кому я должен быть благодарен за маму?

— Мы ничего особого не сделали, — возразила она. — Просто в Вожевске Леня многих знает, ему проще. А я действительно хочу, чтобы у тебя все было хорошо. . .

Венька тяжело опустился на заднее сиденье, ждал меня.

— Леонид Павлович, — сказал я, — что же вы не поднялись ко мне? Люсин муж! Да это же двойной сюрприз.

Прохоренко покачал головой:

— Зачем? Я отдыхал, читал газету, так что не жалеите. А потом, — Прохоренко улыбнулся, и я заметил, что улыбка у него мягкая, приятная — такая бывает у открытых людей, — к чему мешать встрече старых институтских друзей?

— Прошу слово «старые» больше не произносить, — заметила Люся. — Лучше — «давние».

Машина мчалась по асфальтированной, неплохо освещенной улице, потом свернула в темный проулок и сразу же запрыгала среди выбоин.

— Леня, ты не узнал у Калиновского, сколько времени будут готовить к операции Анну Васильевну? — спросила Люся.

— Недели две.

Прохоренко приспустил стекло.

— Витя, — сказала Люся и незаметно положила ладонь на мою руку — наверно, хотела меня утешить, — если будет нужно, я смогу подежурить.

Мне хотелось кричать от обиды. Чужие люди так близко принимают мою беду. А жена?!

Прохоренко включил фары. Свет полыхнул по дороге, вырвал из темноты забор, переломанный штакетник, столб. От обочины к середине дороги метался маленький человек, махал руками и что-то кричал.

Прохоренко дал длинный сигнал.

— Задавись! — выкрикнул Шишкин.

Человек отскочил в сторону, погрозил нам кулаком.

— Я решил, — передохнул Шишкин, — что сегодня буду давать показания следствию.

— Ну, задавить его я не мог, — спокойно сказал Прохоренко. — Он же не стоял на дороге, а метался.

Прохоренко поднял стекло: дуло. Разговор оборвался.

— Как вы думаете, — внезапно спросил Прохоренко, — от чего зависит победа гроссмейстера в сложнейшем шахматном матче?

— От удачи, — сразу же ответил Венька.

— На таком высоком уровне везение — это несерьезно.

— Тогда подготовленность.

— И это ерунда. Разница в знаниях может оказаться ничтожной.

— Здоровье?

— Почти угадали. Шахматный матч в первую очередь — это соревнование нервных систем. Побеждает тот, у кого крепче нервы. В жизни, кстати, то же самое.

— Тогда ты давно должен бы стать гроссмейстером, — вставил Веня. — Крепче нервной системы, чем у тебя, я еще не видел.

Я с интересом наблюдал за ними.

— Шахматы мне никогда не нравились, — засмеялся Прохоренко. — Не тот у меня темперамент. Вот гонщиком я мог бы стать. Но, увы, никто не обратил внимания на мои наклонности.

Леонид Павлович затормозил около трехэтажного дома.

— Не все же должно исполняться из того, о чем мы мечтаем, — возразил Шишкин, выходя вслед за мной из машины. — Я, например, мечтал быть дворником.

Мне показалось, что Прохоренко вот-вот скажет колкость, острота явно висела у него на языке, но он притянул Веньку к себе.

— Веня, ты хороший человек, но не подначивай меня на остроту. Если хотите, то все, все должно исполняться. Взгляните на любую выставку детского рисунка даже у нас в Вожевске. Это же сплошь одаренные художники. Каждый из них точно впервые увидел мир. А дальше? Где эти гении и таланты? Куда сгинул их дар?

Он весело поглядел на меня. Мы двинулись за Люсей.

— Теперь вы пропали, — сказала она. — Прохоренко садится на своего конька.

— Могу и помолчать.

— Нет, нет, — торопливо сказал я, — мне очень интересно.

— Все дело в педагогах, в их подготовке и культуре, в их умении проникнуть в мир ученика, как это умели делать Макаренко или Корчак. Добиться дружбы, доверия, полной откровенности ребенка, а тогда уже можно начать помогать ему укреплять веру в себя, определять его призвание. Согласитесь, не так уж много учителей готовы к решению такой задачи, а ведь, если говорить откровенно, это проблема нашего будущего.

— Конечно, — согласился я. — Но что можно сделать?

— Готовить педагогов, предельно повышать их общий уровень. Для того чтобы определить настоящее призвание, помочь ученику найти себя, нужны философы и тонкие психологи. Поглядите, Виктор, что происходит сейчас. В одной семье ребенку торопятся купить пианино, а у их сына, оказывается, совершенно нет слуха. В другой во время ремонта квартиры мальчик помог родителям выбрать обои, удачно подобрал колер, и вот взрослые начинают ждать от него блестящих достижений в живописи.

— Вы хотите сказать, что именно тогда-то они и прошли мимо его настоящего призвания — это мог быть прекрасный маляр, краснодеревщик, замечательный строитель, но не художник? — Мы уже стояли около двери их дома. Я сказал: — Леонид Павлович, я невероятно восприимчивый человек. Невольно начинаю примеривать вашу философию к себе. И действительно, кто ты — художник или маляр?

— Примеривать не мешает каждому, — согласился Прохоренко. — Но вам можно не волноваться. Да и путь ваш

в литературу не был простым, не так-то легко вы к ней пришли.

— Вашими бы устами, Леонид Павлович, да мед питы!

Дверь нам открыла румяная, пышущая здоровьем, полная, как кустодиевская купчиха, молодая женщина.

— Знакомься, — сказал ей Вениамин. — Мой друг и однокурсник Виктор Лавров.

Я поклонился.

— Варвара, — представилась она, раскатывая на языке букву «р».

— Моя супруга, — объяснил Веня.

Судя по энергичному и решительному взгляду женщины, в Венкиной семье царил матриархат, и я сразу подумал, что все кадровые дела горono утверждаются на семейном совете.

— Как Севуля? — спросил Веня. В его голосе слышалось занскивание.

— Тебя это, по-моему, не интересует.

— Кха, — кашлянул Веня и, смущенный, отошел в сторону.

Прохоренко повесил пальто, помог раздеться нам. Женщины ушли в кухню — оказывается, Варвара оставалась у Люси дома, что-то доваривала.

— Пойдемте в мою обитель, — пригласил Прохоренко.

Кабинет был просторен. У окна письменный стол с красивой старинной лампой, по обеим стенам стеллажи с книгами, кожаные кресла с ампирным барельефом на спинках.

— Странные люди бабы! — Веня был расстроен и поэтому старался выглядеть этаким бодрячком. — Обязательно выламываются при людях, а, глядишь, дома — другой человек.

Я подошел к стеллажу. Несколько полок в два ряда заставлены книгами по философии и педагогике: Ушинский, Герберт, Платон, Кант, Песталоцци, тут же Павлов, Сеченов, Бехтерев... Интерес Прохоренко к физиологии меня несколько удивил, я потянулся за томиком Павлова, раскрыл наугад страницу.

Нет, книги не пылились здесь. На полях были заметки, некоторые строчки подчеркнуты: видно, что хозяин кабинета основательно работал над всем этим.

— Кажется, недоумеваете, зачем мне эти мудреные труды? — Прохоренко улыбнулся. — А я считаю, что глубокого знания физиологии как раз и недостает даже самым лучшим современным учителям. Иногда я очень жалею, что не мог окончить медицинского института. Врач и педагог — идеальное сочетание для настоящего учителя.

Он заглянул в открытую страницу, взял у меня книгу.

— Вот, пожалуйста: «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение: он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас». Ну не превосходно ли? А смысл? Вдумайтесь, тут продолжение прерванного нами разговора о малярах и художниках.

Прохоренко захлопнул книгу и сунул ее на полку.

— Рефлекс цели, здоровое начало — как хотите, так и понимайте, неважно. Но за этим стоит огромное: устремленность к победе, уверенность в себе. Этот рефлекс цели, убеждение в своем назначении как личности обязан развивать в ребенке учитель.

— А вы допускаете, что тот маляр мог бы стать художником, но не стал, не сложились обстоятельства?

Прохоренко отрицательно покачал головой.

— Слово «везение», скажу честно, мне не нравится. Расслабляющее душу слово. В нем мне слышится надежда на случай, на какие-то не зависящие от человека причины. За долгие годы учебы ребенка у педагогов достаточно времени, чтобы убедить каждого школьника в том, что он обязан стать незаурядной личностью, и этой моральной уверенности ребенку должно хватить на всю жизнь.

— Те-ория! — протянул Веня.

— Нет, — решительно отверг Прохоренко. — Конечно, сейчас уровень учителей таков, что возлагать подобные задачи на них еще нереально. Но кое-что можно сделать уже теперь, и мы, кажется, делаем.

Шишкин перебил Прохоренко:

— Витя! У меня есть замечательная идея! Напиши о Леониде. Когда ты помотришь, что у него делается в школе, — ахнешь! Я тебе сразу об этом сказал.

— Венямин, о чем ты? Сейчас, когда у Виктора столько дел... И вообще это совершенно не нужно.

Венямин обиделся. Я молча обнял его и подумал, что если у мамы все обойдется благополучно, то о таком человеке, как Прохоренко, я действительно с удовольствием напишу. Вот где выдумывать не придется, все есть: и размах, и глубина, и значительная проблема.

Люся приоткрыла дверь, позвала нас к столу. Мне было жалко прекращать интересный разговор, но Прохоренко категорически заявил:

— Есть хочу!

Он пошел в ванную вымыть руки, а я остался в коридоре.

— Осознал, что за фигура? — шепотом спросил Шишкин.

— Любопытный человек, — согласился я.

Люся закричала из столовой:

— Вы скоро там? Леня, ты заморочил всем голову!

— То, что говорит твой муж, очень интересно.

— Вот-вот, — подхватил Шишкин, — поэтому я уговариваю Виктора написать о Леониде.

— Прекрасная кандидатура, — шутя сказала она. — Титан мысли! Если писать, то, конечно, только о нем. — Она подхватила меня под руку. — А вот если ты с голоду упадешь в обморок, Витя, отечественная литература мне этого не простит.

Стол был организован на славу. Прохоренко наполнил бокалы шампанским.

Люся поднялась, но Варвара стала требовать, чтобы первый тост произнес я.

— Пусть писатель говорит, писатель! — кричала она.

— Может, для тебя он только писатель, — сказала Люся. Она стояла с поднятым бокалом. — Но для меня Виктор — прежде всего друг юности. Я хочу выпить за Анну Васильевну, за ее здоровье, за то, чтобы у вас все, все обошлось хорошо.

Я отдыхал после тяжелого, напряженного дня. И невольно надежда стала вселяться в меня. Казалось, что в Вожевске, где я окружен такими людьми, мне не может не повезти.

Я поднялся. Прохоренко спокойным, умным взглядом следил за мной. В Люсиных глазах были доброта и нежность. Длинно говорить было незачем. Я посмотрел на всех и сказал:

— Если бы я мог отплатить таким же добром за ваше добро к нам с мамой!

Глава седьмая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

В эту ночь я почти не спала. Лежала с открытыми глазами и ждала, когда наступит рассвет.

Я думала о сегодняшнем дне, о том, что скажу ребятам. Я обращалась к ним, шепотом произносила фразу и с тревогой прислушивалась к своим интонациям: репетировала разговор с детьми. Если бы Возка проснулся, то решил бы, что в квартире есть кто-то еще, кроме нас.

И сколько я ни повторяла доводы Леонида Павловича, спокойнее мне не становилось.

Но, может, поступить иначе? Прийти в школу. Дождаться Горохова и Боброву. И если у них готова газета, то

сразу же повесить ее в классе. Нет. Я не чувствовала в себе силы выступить против Леонида Павловича.

Значит, есть одно-единственное решение — делать то, что он просит. Дружба, в конце концов, требует компромиссов и уступок.

Итак, все. Решила — и больше не думаю об этом! Ну вот, стало легче. И отпустило в груди. Главное — не колебаться. Я брожу по комнате, придумываю себе работу. Времени уйма. Нахожу Вовкнну рубашку, стираю. Как же быть? Прийти в класс, сказать ребятам, что Леонид Павлович сам во всем разберется? А почему? Получится, что я чего-то испугалась.

Вешаю рубашку в ванной. Еще нет семи. Кипячу чайник и иду будить Вовку.

Как же быть? Как поступить?

Вовка одевается еле-еле. Моется еще медленнее. Ест — едва шевелит губами. Я нервничаю, боюсь закричать на него. Меня раздражает медлительность.

Потом он, вялый и полусонный, идет по улице, а я смотрю вслед, жду, когда он перейдет дорогу.

А вдруг Леонид Павлович понял, что я права? Неужели мне не придется лукавить ребятам, изворачиваться перед ними?

...В моем классе кто-то уже побывал. Список учеников был перевешен на другую стенку, но доска для стенгазеты оказалась пустой. Я спустилась вниз и увидела Женю Горохова. Он стоял возле кабинета директора.

— Женя?

Он вздрогнул.

— Мария Николаевна! А Леонид Павлович забрал нашу газету. Он говорит, ее нельзя вешать. И что вы тоже не разрешаете.

У меня запылало лицо.

— погоди, Женя, — я заторопилась, стараясь не встречаться с ним взглядом, — пойдем в кабинет литературы, давай разберемся вместе. Помнишь поговорку, — я еще пыталась шутить, — не лезь поперед батьки?

Он побрел за мной.

Я закрыла дверь на задвижку, для чего-то ее потрясла. Горохов сел. Насупись.

— Вчера, Женя, я была дома у Леонида Павловича и рассказала ему эту ужасную историю с Жуковым. — Фраза прозвучала слишком торжественно, и мне показалось, что я начала читать какое-то стихотворение. — Поверь, он был потрясен и убит поступком Левы... — Я внезапно забыла

слова, которые столько раз повторяла сегодняшней ночью. — Как бы тебе сказать... дело, начатое в школе, очень важное и значительное, но если мы признаемся, что первая же игра кончилась таким проступком, то это сразу запятнает весь коллектив.

— Что же, скрывать тогда?

— Нет, ты меня не хочешь понять, Женя! И не хочешь понять Леонида Павловича. В школе начато интересное дело!..

В его глазах отразилась скука.

— Большое дело, — уточнила я. — И вот из-за этого Жукова, из-за его безнравственности (ага, все же нашла слово!) это дело пойдет насмарку. А Лева все равно будет наказан. И директором, и мною. Так скажи, имеет ли значение, будет сбор или не будет?

— Конечно, с Левкой могли бы поговорить и вы, — согласился Женя. — Но понимаете, мы все были виноваты. Весь класс. Я бы сказал на сборе об этом. Честное слово. — Его взгляд блуждал по классу, не хотел встречаться с моим. — У нас было такое... рекорд, рекорд, обязательно рекорд! Мы уже дней десять эти рекорды обсуждали. И о подарках знали. Что куплено, за что дадут. Ну конечно, всем хотелось получить. И Леве хотелось. А потом, когда начали штурмовать, так вообще не разбирали: увидим — хватаем.

Наконец раздался звонок. Оказывается, я все время ждала его. Я бросилась открывать дверь.

— Мария Николаевна, — остановил меня Горохов, — так сбора не будет?

Я смешалась.

— Позже поговорим, на перемене подойди ко мне.

Он хотел еще что-то спросить. Я подняла руку, точно защищаясь от вопроса, и толкнула дверь от себя. Влетели ребята, захлопали крышки парт.

— Женька, ты чего здесь? — кричали они.

Я взглянула на парня, мысленно прося у него прощения. Вбежала Люба Боброва, бросилась ко мне и заговорщицки зашептала:

— Дед придет. К концу пятого... Я уговорила.

— Садись, садись, — попросила я. — Пора начинать урок.

— Женька, — вертелась Люба, — а «молнию» не повесил?

Он даже не повернул головы в ее сторону, стал выкладывать на парту тетради.

Я отметила отсутствующих, против фамилии Жукова поставила точку: он, возможно, был у директора и еще вернется в класс.

— Ну что же, — устало сказала я. — Пора начинать. Откройте тетради с домашним заданием.

Я боялась идти к Прохоренко. Дважды спускалась на первый этаж, подходила к кабинету и снова возвращалась. Как с ним говорить? Вчера дала ему слово...

К Жукову я тоже не подходила. В класс он пришел ко второму уроку и сидел, как сказали мне ребята, заплаканный.

На большой перемене директора в кабинете не оказалось, и я обрадовалась этому. Оставалось два урока, четвертый и пятый, а там... Я помнила, что придет Бобров.

Перед четвертым уроком я все же зашла в кабинет. Прохоренко что-то писал и, когда я подошла ближе, предложил мне сесть.

— Ну и устроил я Жукову головомойку! Запомнит надолго.

Я открыла портфель, закрыла, потом снова открыла. Мне нужна была какая-то вещь, но я не могла сообразить — блокнот, ручка, платок? Ах да, платок. Вынула. Торопливо вытерла сухие руки.

Леонид Павлович встал, подошел ко мне.

— Вы не больны, Маша? Сходите-ка к медсестре. Или переутомились? — И неожиданно спросил: — В классе порядок?

— Да.

— Ну и хорошо. Идите, работайте. У меня масса дел.

Я встала, шагнула к двери, но остановилась.

— Я хотела... — На моем лице выступила испарина. — К нам фронтовик придет. К концу пятого урока.

Страшная нерешительность овладела мной.

— Вы не говорили об этом раньше.

— Я забыла.

— Вчера забыли, а сегодня?

— Я приходила, но не застала вас. (Господи, что это — я как ученица перед ним!)

— Слушайте, Мария Николаевна, давайте без хитрости. Неужели мы не заслужили правды? Я же, как только вы вошли, понял, что у вас приготовлен какой-то сюрприз.

— Нет, нет, — оправдывалась я. — Я сделала, как мы договорились. Но ребята считают, что сбор нужен. Они даже говорят, что виноват не только Жуков, а все... И это будет несправедливо, если...

— Как «не только Жуков»? — Прохоренко спросил почти испуганно. — Кого пригласили?

— Боброва — своего дедушку.

— Ах дедушку!

Я почувствовала на себе невероятно холодный, непрощающий взгляд Леонида Павловича.

— Вы позвали только дедушку Бобровой? Это же замечательно, Мария Николаевна. Остроумнее трудно придумать. — Он прошелся по кабинету, стараясь успокоиться, и резко сказал: — Вы ловкий человек, Мария Николаевна. Константинов, надеюсь, тоже будет? Секретарь партбюро должен, обязан узнать об этом. Вы успели, конечно, сказать и ему...

— Больше я никому не говорила. И вообще... Я не понимаю...

— Не понимаете? А то, что Бобров — председатель Вожевского исполкома, вы не знали?

— Нет.

Он, кажется, почувствовал, что я не вру, опустил голову и долго над чем-то думал.

— Ладно, — вздохнул он. Засунул руки в карманы и покачался на носках. — Пускай будет по-вашему, Мария Николаевна. Только не собрание в классе. Не душевспасительная проповедь. А настоящий пионерский сбор. Сбор дружины.

Леонид Павлович сдержанно улыбнулся.

— В конце концов, нам скрывать нечего.

Я невольно вспомнила войну, когда по школьному радио зазвучали позывные важного сообщения. Растерянность появилась на лицах ребят.

— А что это?

— В чем дело, Мария Николаевна?

— Случилось что-нибудь?

И тогда густой и торжественный голос Прохоренко, усиленный микрофоном, перекрыл голоса тридцати семи человек.

— Внимание! Внимание! Совет дружины объявляет чрезвычайный пионерский сбор. Отрядам построиться в актовом зале.

Заиграл горн. Его тревожная мелодия, как нарастающая волна, подняла класс, а пожалуй, и всю школу — послышалось хлопанье дверей и топот бегущих ног.

Я пробивалась через эту всклокоченную, возбужденную, встревоженную гурьбу детей к сцене — там, как обычно, строились мои.

Справа, у стены, сидел пожилой человек с густой, падающей на лоб седой шевелюрой.

Лева Жуков стоял на левом фланге последним — так вышло из-за его роста, — но теперь казалось, что это было

сделано специально. Он прижался к поместу, упираясь в него рукой, стоял понуро, опустив глаза. Красные пятна горели на его щеках.

— Смирно! — Голос Лены Семидоловой едва достиг первых рядов.

— Смирно! — повторила учительница физкультуры. — Внести знамя дружины.

Грянула барабанная дробь.

И вдруг все стихло. Я повернула голову в сторону двери и увидела Прохоренко. Он шел четким шагом к сцене. На нем была фуражка и военная гимнастерка, перепоясанная портупеей. И когда Леонид Павлович стал подниматься по ступенькам помоста, то скрип его сапог буквально пронзил тишину зала.

Я невольно вытянула руки по швам и замерла.

Леонид Павлович остановился у знамени — щелкнули каблук — и повернулся к строю.

Он был удивительно красив. Я даже забыла в ту минуту о своей обиде.

— Я собрал вас, — начал он тихо, — я собрал вас, — повторил он, — в минуты огромного несчастья, которое произошло в нашей школе.

Нечто вроде зыби всколыхнуло ряды.

— Я надел военную форму потому, что когда оскорблена память о войне, то каждый бывший солдат, чем бы он теперь ни занимался — учителем или работает на стройке, — вновь чувствует себя солдатом. Он не может не чувствовать себя солдатом, потому что есть святая святых, то, что никогда не сотрется, — память. Я надел военную форму, потому что готов защищать наше прошлое, поруганное вашим товарищем.

Скорбь вспыхнула в его глазах. Он глотнул воздух, и его волнение передалось всем.

— Я надел военную форму, — продолжал он чеканить каждое слово, — потому что в этом зале сегодня незримо присутствуют миллионы погибших за ваше счастье. Это ваши деды. Отправляясь в бой, тогда еще молодые, они помнили о великой ответственности перед будущим — перед вами.

Он опять замолчал, и тишина стала невыносимой.

— Четыре дня назад ваш товарищ, ученик седьмого «А» класса пионер Жуков, сдал в макулатуру сто тридцать фронтовых писем своего погибшего деда. Он снес в макулатуру двести писем, которые послали на фронт его мать и бабушка. Триста тридцать писем на фронт и с фронта снес в макулатуру пионер Жуков. Я не знаю, — продолжал Прохоренко, — поймете ли вы, что такое сто тридцать писем с фронта и двести

писем на фронт, не знаю. Капитан Жуков был убит через несколько дней после окончания войны, он подорвался на mine. Боевые друзья нашли в его вещах письма жены и дочери и отвезли их назад, семье. Они думали: пройдут годы — и внук капитана Жукова многое узнает из этих писем, и вот тогда рано погибший дед будто протянет ему руку из прошлого, сможет стать таким же мужественным и честным, каким был сам. Пионер Жуков знал все это, когда нес письма в макулатуру.

Я невольно взглянула на Леву — его лицо казалось совсем взрослым, даже постаревшим. Он стоял закрыв глаза, и мокрые ниточки бежали по его щекам, и он кончиком языка слизывал скопившиеся капли.

— Пионер Жуков, два шага из строя!

Лева посмотрел на ребят и точно измерил всю пустоту между собой и ими.

Я испугалась. А может, моя беда в том, что я не переношу чужой боли? Я же сама настаивала на сборе, нервничала, что Леонид Павлович, не соглашался. . . Но разве такого разбора мне хотелось? Умный, серьезный разговор — вот что было необходимо. А не судилище, не арена. . .

— Два шага из строя! — приказал Прохоренко.

Как поступить? Вмешаться? Получится еще хуже.

— Жуков, понимаешь ли ты свою вину? — спросил Леонид Павлович.

— Понимаю.

— Громче! К тебе обращаются твои же товарищи.

— Понимаю.

Иногда мой взгляд встречался с глазами учеников. Луков был счастлив — кажется, лучшего дня не было в его жизни. Горохов хмуро глядел перед собой. А Лена стояла рядом с Прохоренко, руки по швам, тоска застыла в ее взгляде.

— Как случилось, что ты, пионер, совершил такой поступок?

Мальчик молчал. Ему трудно было говорить, он глотал слезы.

— Твоего ответа ждут не только товарищи и учителя. Твоего ответа ждут фронтовики. В конце концов, этого ждет твой дед, капитан Жуков.

— Не знаю.

— Громче.

«Что он делает?» — с ужасом думала я.

— Не знаю.

— Мы ждем твоего объяснения. Дружина должна решить, имеешь ли ты право оставаться пионером.

— Мы сдавали макулатуру, — начал Лева. — И седьмой «Б» тоже. А всем показалось, что у них больше. А те и правда хором кричат: «У нас больше! У нас больше!» Шукин и командовал: «По домам! Всю бумагу на бочку». Я прибежал домой, мы же рядом. Схватил какую-то пачку. Я забыл, что это письма. Честное слово забыл.

— Ты сейчас поразил меня, Жуков, еще больше, — возвысил голос Прохоренко. — Оказывается, тебе хочется, чтобы весь класс нес кару. Ты сваливаешь свою вину на класс. Так я тебя понимаю, Жуков?

Мальчик опустил голову. Тогда Леонид Павлович холодно обратился в зал:

— Решайте сами. Вы — коллектив, вы — сила.

Кто-то крикнул:

— Выгнать из пионеров!

— Исключить!

— Может быть, есть другие мнения? — спросил Прохоренко.

— Леонид Павлович! — крикнула я. — Можно мне?..

Он сказал недовольно:

— Пусть решают сами ребята.

Из-за спины Стрельчиковой, самой высокой среди девочек, вышел Женя Горохов.

— Леонид Павлович!

— Что, Горохов?

— Леонид Павлович, конечно, Левка подло поступил, но, правда же, все виноваты. Все орали. И седьмой «Б» надрывался больше других. Вы не были, когда макулатуру сдавали, а жутко, что творилось. Тащили — не разбирали: и книги, и бумаги какие-то...

— Вот что такое ложная дружба, — перебил Леонид Павлович.

— Так я говорю: он виноват, но и мы все...

— Выгнать Жукова, выгнать! — перебил Луков.

— Этого требует класс?

— Выгнать!

— Этого хочет дружина?

— Выгнать!

Если бы я могла не слышать этого крика... Я опять попросила слова, но Леонид Павлович только махнул рукой...

Нелли, учительница физкультуры, о чем-то переговорила с Прохоренко и подошла к Семидоловой.

— Снять галстук с Жукова, — нерешительно сказала Лена.

Тревожно застучали барабаны, все было как на эшафоте. Шукин вышел из строя и стал развязывать галстук. Он

торопился. Галстук был повязан узлом, и Шукин, видно, потянул не за тот конец, узел только затянулся. Тогда он дернул. Лева крутил головой, точно раненый зверек, в его глазах была боль.

Я подбежала к нему, но меня оттеснила женщина — я увидела ее расширенные, злые глаза и не сразу узнала бабушку Левы.

— Не троньте его, — сказала она. — Я вам запрещаю.

И тогда раздался гневный голос:

— Стойте!

Бобров шагнул к нам, раздраженно поглядел на Прохоренко, на меня и положил руку на плечо Левы.

— Только один мальчик нашел в себе силы сказать правду. — Он вздохнул. — Исключить товарища просто. Наказать — очень просто. А вот до конца разобраться в том, что произошло, нет ли здесь вины каждого, — это сложнее. Подумайте. Разберитесь в классах, да не так, как сейчас, а серьезно, с полной ответственностью друг перед другом, не зло. А Жуков, я уверен, запомнит случившееся на всю жизнь. И все же справедливость может восторжествовать только тогда, когда вы все, каждый присутствующий на сегодняшнем сборе, поймете долю своей вины.

Он замолчал. Постояв в полной тишине, пошел к выходу. Но через несколько шагов остановился и повторил:

— Да, да, подумайте еще, что же случилось в вашей школе, пожните со своей бедой.

«Москвич» остановился около исполкома. Бобров стал прощаться.

— Жаль, что вышло так нескладно. А можно было бы добиться многого. Мальчишка-то, кажется, совсем не плохой.

— Хороший мальчишка, — сказала я.

— Одного человека можно наказать и в кабинете, да еще с большей пользой, а вот заставить задуматься всех — это задача.

— Именно этого мне и хотелось, — сказал Леонид Павлович. — Но я был, видимо, слишком взвинчен. Меня потряс факт.

— Понимаю, — Бобров кивнул. — Война — это такой кусок жизни! — Он задумался о чем-то своем. — Я год назад в Ленинграде был, рвался туда много лет. Так вышло, что я там полгода раненый пролежал на Суворовском проспекте, в госпитале, а города так и не пришлось увидеть. Выписали — и опять на фронт. И это было у меня как мечта: съездить,

поглядеть. И вот в первый же день в парке на Островах присел на скамейку, вижу — детское ведро валяется, поднял, а в нем что-то побрякивает. Сунул руку, а там медаль «За оборону Ленинграда». Честное слово, я от боли никогда не плакал, мне осколок в медсанбате без анестезии вынимали, а тут вздохнуть не могу, так сжало. Хотел уехать. Как же так, думаю. Пусть ребенок эту медаль потерял, но ведь дали-то ему ее взрослые. Кому-то она безразлична стала. А потом, что с этим ребенком дальше будет, да и с другими детьми, которые с ним рядом...

— Неужели сегодня у нас так худо вышло? — смущенно спросил Леонид Павлович.

— Плохо, — подтвердил Бобров. — Очень плохо. Вы бы посмотрели, как умно и глубоко работают с детьми в Седьмой или, скажем, в Четвертой школе. Музей памяти погибших, походы по боевым местам, встречи с фронтовиками. — Он вспомнил о чем-то. — Как-то пришел я в Четвертую школу — меня попросили рассказать о партизанских боях — и вдруг вижу своего старшину, он механиком теперь работает под Вожевском. Столько лет прожили рядом, а увидеться не приходилось. Стал он что-то рассказывать, а я говорю: «Ваня! Иван Васильевич! Товарищ старшина!» Он поглядел на меня — и онемел. Стоим в обнимку перед детьми и плачем. И они притихли. Вот мне потом директор школы и говорит: «Это и есть патриотическое воспитание. Да если бы вы ничего больше не сказали — эта встреча запомнится детям на всю жизнь».

— Да, — повторил Бобров задумчиво. — А у вас сегодня вышло нехорошо. Человека унизили. Униженным нельзя достичь ничего путного. И еще меня огорчила та карающая функция, которую вы предоставили детям. Роль судей не дает им возможности задуматься о своей вине. — Он улыбнулся. — А Горохов у вас замечательный парень. Когда он рвался со своей справедливостью, я гайдаровского Тимура вспомнил. Вот таких традиций терять нам никак нельзя! А вы если энергию ребят обернете к добру, то горы своротите. Пусть берут шефство над инвалидами войны, стариками. Пусть больше отдают. Помните: щедро дающий...

— Щедро и получает! — закончил Прохоренко.

— Да разве мне вас учить! — Бобров захлопнул дверцу «Москвича».

Я наклонилась вперед и в водительском зеркале увидела почти испуганные глаза Прохоренко. Ну что же, подумала я, рано или поздно, но ему нужно было понять это.

Машина остановилась. Но Прохоренко даже не повернулся ко мне.

— Извините, — сказал он, — я не могу отвезти вас домой.

Я вышла. Машина проскользнула вперед. Только теперь я почувствовала, как безумно устала. Я шла по дороге и, кажется, ни о чем не думала. И вдруг увидела Жуковых: бабушку и внука. Они брели рядом.

Я остановилась на мгновение, еще не зная, что сказать им, но тут бабушка подняла на меня глаза — ее рука, будто чужая, согнулась в локте, механически дернула Леву.

Мальчик повернулся, и бабушка торопливо повела его на другую сторону улицы.

«Дорогой Андрей Андреевич!

Я очень виновата, что задержалась с ответом.

Мальчик, который сдал письма в макулатуру, выздоровел. Была у них дома, разговаривала с мамой и бабушкой.

Я, кажется, писала в прошлом письме, что Лену Семидолову не выбрали председателем совета дружины. Правда, Леонид Павлович напомнил ребятам о ее заслугах, и ее оставили в совете.

Во главе дружины — Щукин. Деятельность новый совет развил бурную.

Поймите меня правильно, я бы полностью разделяла энтузиазм ребят, но тревожит слишком возбужденная обстановка в классе да и во всей школе. На урках летают записочки, приказы, бумаги на подпись. Так трудно, пожалуй, никогда не было.

На педсовете сказала Леониду Павловичу: игра, говорю, игрой, но давайте и об учебе подумаем. Он воспринял мое выступление как новый выпад.

«Значит, не умеете заинтересовать», — сказал он.

Кстати, тут же на педсовете Леонид Павлович придумал «экспромт», предложил мне в ближайшие дни провести открытый урок, на который придут не только учителя, но и представители гороно. Почетное начинание — так он оценил свою мысль. Но я-то поняла это «начинание» как первое, говоря фигурально, серьезное предупреждение. Поживем — увидим.

Странная вещь, Андрей Андреевич. Хотя с того раза мы с Леонидом Павловичем ни о чем не говорили, но отношения наши из дружеских незаметно превратились в подчеркнута вежливые, да и Люся

ведет себя иначе. Ко мне больше не приходит, а когда я ей звоню по телефону, отвечает скороговоркой. Раньше она много расспрашивала о школе, о моих делах, теперь это будто перестало ее интересовать.

Вот какие дела, дорогой Андрей Андреевич. А что, если в другую школу перейти? Впрочем, штаты уже укомплектованы, уйти не просто, да и к ребятам привыкла. Беспокоюсь за них постоянно, все время кажется: уйду, а у них что-то произойдет, случится непоправимое...

Впрочем, ерунда это, хандра. Нашло что-то...

Огромный привет всем нашим.

Меду, ради бога, не присылайте. Мы еще старый не съели.

А вот лечитесь ли Вы? Недавно получила письмо от девочек, жалуются: Вы два дня в школу не приходили. Зная Вас, испугалась. Наверное, совсем было плохо?

Поберегите себя, Андрей Андреевич, очень Вас прошу.

*Ваша
глухая Маша.*

Да, открытый урок все же придется провести. Решила поговорить о поэзии. И это в моем полунепроницаемом классе! Но зато ва-банк!

М.».

Я накинула пальто, вышла на улицу — почтовый ящик висел на соседнем доме, — и вдруг издали донеслись до меня звуки военного оркестра. Я стояла, прислушиваясь к его могучей, всегда радостной мелодии, к этому захватывающему ритму, и невольно вспомнила наши военные игры в Игловке. Бывало, идем строем по единственной, но зато бесконечной деревенской улице, чеканим шаг. Открываются окна, вылезают удивленные деды и бабки, качают головами, бегут маленькие ребятишки, пристраиваются к нам. Трубит горнист, бьют барабаны. А рядом со знаменосцем идет Андрей Андреевич — будто бы выше, чем всегда, веселый, с орденом Красной Звезды и медалями.

Я вернулась домой. Сколько раз я еще буду вспоминать вас, милый Андрей Андреевич! Помню, как-то мы говорили об абсолютном слухе у музыкантов... Так и в педагогике, сказали вы мне, — если у учителя нет абсолютного педагогического слуха, то будет фальшь...

Об открытом уроке Леонид Павлович предупредил меня больше недели назад. Я решила готовить тему: «Что такое поэзия?»

На первом же уроке после педсовета я задала ребятам выучить любое стихотворение, на свой выбор.

— Только не из учебника, — попросила их. — Я в эти дни вас проверю.

— И отметки будете ставить?

— Обязательно.

— А если мое вам не понравится?

— На отметке это не отразится. В крайнем случае мы поспорим.

Мне хотелось провести урок, как говорится, с блеском. И не потому, что у меня особое учительское самолюбие, — нет, я понимала, что первое знакомство или утвердит меня, или опрокинет в глазах учителей.

Было и еще одно соображение — Леонид Павлович. Каждый раз он чуть быстрее проходил мимо в школьном коридоре, чуть сдержаннее здоровался в кабинете. Я поняла, что разговор о Семидоловой и о Жукове, а затем мое выступление на педсовете он принял как объявление войны.

.. Уже к следующему уроку несколько человек сообщили мне, какие стихотворения они знают. Люба Боброва решила прочесть «Гренаду» Светлова; Тася Курочкина, тихая, замкнутая, флегматичная, из разряда «неактивных», предлагала стрывок из «Думы про Опанаса».

— Ты сама выбрала? — поразила я.

Она испугалась.

— А разве нельзя?

Мне стало спокойнее. Появился актив. Правда, «в подполье» существовала оппозиция, и я понимала, что она еще может поднять голову.

Лена Семидолова посоветовала завести листок, в который каждый бы записал, какое стихотворение он выучит. Оказывается, подозрения мои были не случайными. «Трактора» — стояло против фамилии Щукин. «Травка зеленеет» — Луков, а против фамилии Завьялов — явно не существующий в природе поэт Александр Сушкин: «Про лошадь».

Я решила не переубеждать их. В какой-то степени мне даже выгодно иметь на уроке такую группировку. Конечно, печально, что среди них был Завьялов.

Теперь на меня смотрели тридцать шесть пар глаз. Если бы я даже не видела учителей на последних партах, Леонида

Павловича и инспектора горно, помощницу Шишкина, то я бы догадалась о комиссии по сосредоточенным лицам ребят и той необычной беззвучности, именно беззвучности, а не тишине.

— Садитесь, — сказала я, раскрывая журнал. — Кто дежурит? Ты? Подай список...

— Сегодня пришли все.

Неожиданное нашествие, кажется, совсем парализовало ребят. Я читала это в неестественно напряженном выражении их лиц. Луков и Щукин оказались на первой парте, перед моим столом. Видно, их пересадили.

— Сегодня мы проведем не совсем обычный урок, — начала я.

— Потому что комиссия? — не улыбаясь, спросил Луков.

Леонид Павлович нахмурился, покачал головой. Инспектор поглядела в окно — она будто ничего не слышала.

— У нас будет разговор о поэзии. Попробуем разобраться, что же такое стихи?

— Стихи — это вещь! — Луков подмигнул Щукину, но тот не ответил. Сейчас, когда Прохоренко сидел за спиной, Щукин был молчалив и серьезен.

— Договоримся так, — предложила я, — читайте, что вам нравится, а потом мы вместе разберем стихотворения. Кто хочет?

Я обвела глазами колонки: руку поднял один Луков.

— Еще? ..

— Я, — Щукин тоже поднял руку.

Третьим оказался Завьялов. Как договорились, подумала я. Хорошие или растерялись, или боялись начинать и теперь перешелтывались со своими соседями, рылись зачем-то в портфелях, но рук больше не было. Я кивнула Щукину.

Он поднялся, откашлялся.

— К доске?

— Можешь не выходить...

— Это не новое стихотворение, — сказал Щукин.

— Читай, читай.

Я увидела школиво-радостное выражение его глаз.

Покрыта легким паром весенняя земля,
Мы тракторы выводим с рассветом на поля.
Стальные наши кони бегут, не отстают,
Ребята-трактористы о доблести поют.

— Достаточно. Это, видимо, ты учил давно?

— Порядком.

— Отчего, Юра, то, что ты прочел сейчас, называется стихами?

— Ну-у, во-первых, складно...

— Рифма?

— Да. Во-первых, рифма.

— А во-вторых?

Он замялся.

— Тогда попробуй пересказать эти слова прозой, без рифмы, по-своему.

Он кивнул.

— В стихах говорится о трактористах. Они выходят на поля рано утром на своих машинах, которые называются стальными конями.

— И поют о себе, какие они герои, — подсказал Луков. Все засмеялись.

— Вот видите. То, что Юра прочел, он назвал стихами. Но мне думается, что его пересказ даже более интересен, с юмором все же. К чему же тогда писать стихи, если даже лучше можно сказать — прозой? Видимо, что-то еще должно появиться в стихотворении?

— Можно? — закричал Луков.

Он вскочил с парты.

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка весною
В сени к нам летит.

— Против этого стихотворения возражать трудно. Пожалуй, мы о нем еще вспомним. А других не знаешь?

— Знал, — сказал Луков. — Про цыпленка. Хулиганы привязали его к палке, и он умер. Сильное стихотворение. Все плачут.

— Что ж, прочти.

— Забыл, — буркнул Луков и сел, недовольный, что план провалился.

— Что-то пока у нас неудачно...

Не хотелось обращаться к девочкам, чтобы все не выглядело подстроенным. Пусть как будет...

— Завьялов, давай, — приказал Шуккин.

Мальчишка робко поглядел на меня и так же нерешительно стал поднимать руку. Нет уж, хватит, подумала я. Теперь я жалела, что не поговорила вчера с девочками, не предупредила их. «Ну что же вы, давайте вырубайте...» — мысленно просила я их.

Карандаш Леонида Павловича так стучал по листку, что даже мне было слышно. Завьялов осмелел, приподнялся, тянул руку. И тут я увидела, что хочет читать Семидолова.

— Пожалуйста, Лена.

Девочка встала. Она была, как обычно, нетороплива. Поглядела на меня и нараспев, как читают сами поэты, начала...

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Она чувствовала стихи. И читала отлично. А мне показалось, что она действительно в тот момент слышала, как выла за окном вьюга, шуршала солома на обветшавшей лачуге, и видела одинокую старушку — няню поэта.

— Ну, кто взялся бы пересказать стихотворение?

Луков поднял руку.

— Попробуй.

Он завертел перед собой кулаком, как штопором.

— Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как ребенок...

Класс грохнул. Даже Леонид Павлович и инспектор улыбнулись друг другу.

— Вот вам другой пример, — сказала я. — Оказывается, не каждое стихотворение сохранится, если его попробовать пересказать своими словами. Луков чуть-чуть изменил текст — и стихотворение исчезло. Куда только делась его ритмика, музыкальность, стройность. Кто хочет еще?

В классе началось гудение, и я чувствовала — сейчас прорвется. Теперь вверх тянулось минимум десятков рук.

— Мария Николаевна!

— Можно?

— Вы обещали...

— Раз вас так много, то читайте подряд, а потом поговорим...

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский...

— Это из «Думы про Опанаса». Очень хорошо. Ты? Горохов склонил голову, поглядел на меня и начал:

Россия... Родина моя, Россия...
Я с каждым днем люблю тебя сильней.
Любая неказистая осина,
Звенящая среди болотных пней,
Ветла какая-нибудь у дороги
Да и сама дорога впереди
Мне так близки, что только сердце вздрогнет
И разольется нежностью в груди.

Леонид Павлович перестал писать, слушал. Я не могла понять, нравится ли ему то, что я делаю, — впрочем, теперь это меня уже перестало тревожить.

Из новой волны шума я уловила голос Завьялова. Стоит ли? Теперь, когда все наладилось, вновь возвратиться к началу урока?

— Я хочу! Спросите...

— Читай, — неувренно сказала я.

Он вскочил, необычно для него резво.

— Про лошадь, — сказал Завьялов. — Стих Александра Сушкина.

— Стихотворение — поправила я, холодея из-за своего легкомыслия.

Мальчишка несколько раз кивнул, словно шел в упряжке.

Я решила прервать его сразу же и обратилась в слух. От страха он мог натворить больших бед.

Завьялов поднял грустные глаза и как-то обреченно посмотрел на меня.

— Если передумал — садись, — выговорила я.

— Нет.

Я подняла руку, призывая к тишине. И он стал читать стихотворение неизвестного Сушкина:

Шла замученная,
Шла усталая,
Шла по улице
Лошадь старая.
Прямо — вперед,
Не разбирая дорог.
Шла, куда прикажут,
Не выполнишь — накажут:
Только вперед.
Всю жизнь так.
— Лошадь идет! —
Дети кричат.
Что им за дело,
О чем она думает.
Главное — лошадь...
А лошадь идет.

Он замолчал. А мне по той неожиданно беспомощной концовке, по потерянной рифме в конце стихотворения, по какой-то особой, присущей только детям и большим поэтам достоверности чувства становилось ясно, кто такой поэт Александр Сушкин. Это было неожиданностью: Завьялов пишет стихи! Что там, за этими еще беспомощными, но такими искренними строчками? Неустроенность? Большая обида?

Я ничего не знала о парне.

Но уже тот факт, что Завьялов, самый тупой, по мнению Леонида Павловича и, может быть, многих здесь, ученик, читал такие стихи, был для меня фактом замечательным. Даже если я ничего больше не добьюсь, то уже достаточно случившегося.

— Хорошо, — похвалила я мальчика. — Очень хорошо.

Он пообедал и сел, спустив глаза.

— Что же такое поэзия, ребята?

Наступило молчание. Даже Щужин и Луков не острили.

— Тогда иначе: какие стихи вам показались сегодня хорошими?

— «Буря мглою...»

— «Дума про Опанаса»!

— О Родине...

— Пожалуй, вы ответили на мой вопрос, так как перечислили лучшие стихотворения. Но чем они вам запомнились?

И опять тишина.

— Ладно, — улыбнулась я. — Кое-что перед тем, как читать, я вам подскажу.

На меня напряженно, но не так, как в начале урока, а совсем иначе, смотрели ребята. Как мало я их знаю! И как просто о них думала! Вот и приоткрылись они сегодня еще одной стороной...

— Какие разные стихотворения прочли вы сегодня! Одни насыщены мыслью, полны героического или лирического содержания, как «Дума про Опанаса» Багрицкого. Слова в них будто пришли прямо из жизни, с улицы, с поля боя, как мелодия, которую вы слышали и еще долго потом несете в себе. Другие стихотворения похожи на живопись, на картину, и, прочтя несколько строчек, вы невольно чувствуете, что действительно сверкает солнышко, зеленеет трава, в гости к нам летит ласточка. Только большой поэт может экономным мазком, точным сочетанием слов передать так много...

— А я что говорил, — сказал Луков.

Я засмеялась со всеми.

— Я тебе очень благодарна, Петя, за эти замечательные стихи. А вот послушайте, что говорил такой прекрасный поэт, как Николай Заболоцкий...

Я взяла бумажку, где выписала давно одну его мысль.

— «Смысл слова — еще не все слово. Слово имеет звучание. Художественное звучание возникает лишь в сочетаниях слов... Сочетания... где слова трутся друг о друга, мешают друг другу, толкаются и наступают на ноги, — мало пригодны для поэзии...»

— Это «Трактора» шукинские, — сказал Горохов.

Я читала дальше:

— «Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать хоромы, они должны петь, трубить, переключаться, словно влюбленные в лесу, подмигивать, назначать тайные свидания и дуэлы». — Я положила листок. — Я могла бы вам читать сейчас разные стихотворения. Одни полны музыки, грусти, вспомните хотя бы «Буря мглою небо кроет...», другие точно рисунок — черный карандаш на бумаге: «И, как обугленные груши, на ветках тысячи грачей», третьи радостны и многокрасочны, подобны детской картинке. Но, кроме того, в настоящей поэзии всегда присутствует сам поэт, его правда, его переживания. И чтобы вы восприняли эту правду, поэт работает всем своим существом: сердцем, умом, душой.

Я следила за классом: не сложно ли? Слушают серьезно, внимательно.

— А какого удивительного мастерства достигли поэты! Почитайте Пушкина, Лермонтова, вслушайтесь в них. Они умеют передать и звук колокола, и голос вьюги, и вскрик птицы, и запах Родины. Поэт может передать даже тишину, движение времени, ощущение зимней стужи, летнего оцепенения, цвет глаз, оттенок сумеречного неба, освещенность пространства.

Я нарочно сделала паузу — никто не пошевелился.

— Настоящий поэт щедр и открыт для каждого. Мудрость, зрелость свою — все вкладывает он в слова. Он научит вас чувствовать, понимать боль другого как свою собственную боль, удивляться жизни, делать поразительные открытия. Каждый вечер, гуляя, вы смотрите на небо, а поэт увидел вот что: «Я гляжу на небо робко, там впадет и невпадет, как по спичечной коробке, чиркал звезды звездопад...»

Ребята заулыбались. Константинов что-то шепнул Кликиной.

— А теперь я хотела бы спросить вас... О чем стихотворение, которое прочел классу Сережа Завьялов? Скажи, Лена.

— О лошади. — Девочка морщила лоб, искала более точную фразу. — О том, как лошадь устала, а никому нет дела до этого...

— Ну а ты, Сережа, что скажешь?

Завьялов пожал плечами, он, видимо, не хотел говорить.

— Для меня это стихотворение в первую очередь о людях. Вот вам еще одно свойство поэзии... Настоящие стихотворения многомерны, каждый может воспринять их, как и музыку, по-разному.

Я подумала, что теперь должна обязательно что-то прочесть классу. Дома я выбрала «Письмо к матери» Есенина, но сейчас мне показалось, что я должна завершить урок несколько иначе. Энергия надвигающейся поэтической строки придала мне уверенности и даже силы. Я откинула со лба упавшую прядь и начала читать:

...Я песней, как ветром, наполнил страну
О том, как товарищ пошел на войну...

Раздался звонок, но никто не пошевелился.

Ветер революции — ветер молодости — будто бы ворвался в класс, мелодия площадей, народной стихии, энтузиазма подчинила ребят, засветила в их глазах огоньки радостной гордости.

— Мы бросили шпалеры по столам,
Мы дружбу ломали напополам!
Ветер — лавиной, и песня — лавиной...
Тебе половина, и мне — половина!
Мы здорово хлопнули по рукам.
Четыре тумана встают по бокам.

Неисчерпаемая бодрость прокофьевского стиха передалась детям, я понимала, что завладела классом окончательно.

Леонид Павлович поднялся. Прошла мимо Кликина, сжала мне локоть, буркнула:

— Молодец. Большое спасибо.

Проковылял, опираясь на палку, Константинов, неожиданно улыбнулся мне, сказал:

— А я и не думал, что вы такой учитель! — и показал большой палец.

Остальные учителя стояли рядом, но не решались говорить раньше директора.

— Ну что ж, — Прохоренко обвел всех взглядом. — Думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что урок удался. Поздравляю. И все же, — прибавил он и поглядел на часы, — не могу понять, как вы, опытный педагог, могли задержать ребят после звонка.

Он повернулся, взял инспектора под руку, направился к дверям. Я шла сзади.

— Нет, — громко говорила помощница Шишкина. — Сумбурно. Путаю. Где четкие выводы? Я совершенно не уверена, что ребята поняли все, о чем им толковали...

Прохоренко покачал головой:

— С этим я никак не могу согласиться.

Он повернулся и поглядел на меня:

— А вы, Марья Николаевна, идите на следующий урок, не расстраивайтесь. Я постараюсь доказать Вере Федоровне, что она не совсем права.

Ребята ушли на физкультуру, а у меня пустой урок. На улице уныло и мокро — несколько дней шли дожди. Прохожих мало. Отчего-то больше мужчины, спешат, воротники подняты, нахлобучены шапки. Листьев на деревьях нет, только кое-где между ветвями дрожат случайные желтяки.

Последнее время часто думаю о взрослом сиротстве. Сколько раз взрослый человек переживает это чувство! Чем старше, тем труднее с друзьями, и каждая измена, каждая потеря ощущается как внезапная пустота. Может, оттого, что отношения с Леонидом Павловичем и Люсей стали совсем холодными? Мудрый Андрей Андреевич, что скажете вы на это? Я мысленно обращаюсь к нему, но он молчит...

«Как быть, Андрей Андреевич?» — «Быть, Маша, самой собой».

Выписала из классного журнала оценки Завьялова. Хорошего мало. Пятерка по литературе, остальные тройки и двойки. Особенно математика. Понимаю, без помощи учителя не обойтись.

И опять — как? Как уговорить Павлу Васильевну Кликину, взбалмошную старуху, у которой все зависит от того, с какой ноги она встала... Правда, после открытого урока Кликина вроде бы потеплела ко мне, но кто знает, что будет через минуту?

По расписанию у нее тоже был пустой урок. Я спустилась на первый этаж, заглянула в столовую. Кликина сидела у окна, спиной к двери, тугой седой узел ее прически был уложен будто бы раз и навсегда. Она казалась почти квадратной. Черная широкая кофта спадала с ее плеч, такая же юбка, длинная, низко закрывавшая толстые больные ноги.

Я попросила у буфетчицы стакан чаю и пошла к Павле Васильевне.

— Можно?

Она подняла на меня смуглое, с глубокими морщинами лицо, кивнула.

— Стылый чай, — сказала она и повернулась к буфетчице: — Татьяна! Что, чай подогреть не могла? Холодным торгуешь.

Буфетчица вышла из-за прилавка и, постукивая сапожками, на которых болтались не по возрасту легкомысленные кисточки, сгребла оба стакана — мой и Кликиной, — а на их место со стуком поставила другие.

— Вечно недовольные...

— А ты была бы довольна?

— Да не капризничала бы.

Кликина отхлебнула.

— Другое дело. А то бурду продает. — И повернулась ко мне: — Кстати, голубчик, я про урок ничего вам тогда не сказала, а ведь неплохо вышло, честное слово, неплохо. И держитесь вы отлично, как говорят, без страха.

Она вздохнула и отклонилась на спинку стула.

— И все же послушайте старую стреляную воробиху... Вы очень, по-моему, рисковали. — Она опередила мой вопрос. — Да, рисковали, играли с огнем. Кто же, голубчик, начинает с Лукова, Завьялова или Щукина? Ну какую поэзию вы могли ждать от них? «Генерал» не дурак, не зря Прохоренко на него молится, но стихи!.. Понять не могу, откуда он про трактора-то знает.

Она помешала ложечкой, зазвонила по всей столовой.

— Впрочем, память у него хорошая, я много раз убеждалась. И слушать умеет, когда в настроении. Способности есть. Это не Завьялов.

— Мне хотелось, чтобы весь класс работал.

— Победителей не судят, но риск был. Да и позже вы чуть не просчитались. У меня даже сердце защемило, когда Завьялов стал головой крутить. Александр Сушкин! И где он его выкопал?

— Ему и копать не пришлось, это его стихи.

— Я их не слушала, но Сушкин... так он Сушкин и есть, с него взятки гладки.

— А стихи хорошие, — улыбнулась я. — Может, мы этого парня недостаточно знаем?

— Вы, вероятно, не знаете, а вот я — знаю.

— Но, Павла Васильевна, не бывает же так, чтобы один человек оказался и тупым, и мудрым?

Кликина иронически поглядела на меня и стала подниматься, опираясь руками о стол.

— Пора идти... к вашим дарованиям. — Повернулась к буфетнице: — А за чай, Таня, спасибо. — И снова ко мне: — Да если вы, голубчик, скажете, что Завьялов — гений, то и это меня к нему не расположит. Взгляните в журнал, что у него творится!

— Видела. И особенно по математике.

— Может, я не объективна?

— Нет, — сказала я. — Но мальчик мог отстать...

— Мальчик! Бросьте эти институтские штучки. Парень он, взрослый человек, и за свои дела обязан нести ответствен-

ность. А если может учиться, так еще хуже, что не учится. Вам, голубчик, наверно, кажутся странными мои разговоры, жестокими? — Она прищурилась: — А сколько вам лет, если не секрет?

— Тридцать три.

— Ага. Так вот, когда вы родились, я уже думала над всеми этими делами и тогда пришла к странному, непонятному вам выводу: мы, учителя, тоже люди. Да, да, и не смотрите так удивленно. Мы имеем право на любовь к ученикам, да и на нелюбовь к ним. На нелюбовь к комарам вы же имеете право? А они — кровопийцы куда меньшего размера, чем ваш Завьялов.

Она передохнула на первом марше лестницы.

— А потом, он ли пишет? Фантазируете, Мария Николаевна. Чудес не бывает. Ничего ваш преподобный Завьялов написать не может.

— Ну ладно, — отмахнулась я. — Его стихи или не его, я и действительно не знаю. Так показалось. Но что же с ним делать? Может, индивидуально попробуем?

Она возмутилась:

— Думаете, не пробовала? Да если бы не я, то он седьмого класса в жизнь не видел бы. Мать мне его жалко, а нужно было бы тогда себя пожалеть. Как из-под палки ходил, а уроки делал безобразно. Но я решила: дотяну, и дотянула. А вот теперь — увольте. Я его и в прошлом году предупредила: «Сережа, последний раз помогаю, дальше на себя пеняй».

— Павла Васильевна, — отважилась я. — Не сердитесь только, может, попробуем еще раз? Я сама послежу.

— Вот те на! Опять двадцать пять. Да у вас, голубчик, веревки, оказывается, а не нервы. Да что скажет Завьялов, если он действительно умный? Он на дополнительные-то не придет. Зачем ему? Марии Николаевне нужно.

— Жаль, — расстроено сказала я. — А мне объясните?

— Что?

— Уроки, математику... А я ему попробую.

— Голубчик, это у вас чисто нервное.

И пошла по коридору.

Завьяловы жили в маленьком покосившемся флигельке рядом с новым кирпичным домом. Вход во двор был каменный, высокая арка вела и во второй двор, но во дворе все было неустроено, грязно. Мы прошли с Вовкой по тропинке,

обошли штабель досок и щебень, а затем вернулись назад. Я была не уверена, что иду правильно.

В окне первого этажа открылась форточка, и в нее боком просунулась старушечья голова. Кожа у старухи была желтая, морщинистая, лицо маленькое, длинная, в гармошку шея. Она то втягивала голову в форточку, то вытягивала ее, точно черепаха из своего панциря.

— Завьяловы здесь живут?

— Издесь. Во флигельке:

Она так и не ушла, следила за нами до тех пор, пока мы не скрылись за дверьми флигеля.

В коридоре было темно, тянуло откуда-то шами. Загремело. Это, оказывается, Вовка зацепился за что-то железное и испугался.

Дверь распахнулась. И в неярком кухонном свете появилась женщина в косынке.

— Завьяловы здесь?

Женщина качнула головой вправо, где из темноты выступала еще одна дверь, обитая гранитолем.

— Шура на работе. Дети одне: Серега и Леша...

Она вернулась к плите, зачерпнула деревянной ложкой дымящиеся щи, подула на них и стала пробовать, вытягивая губы и шумно засасывая жидкость.

— А муж?..

Она рукой махнула:

— Был, да весь вышел. — И бросилась к печке: там что-то бурлило и двигалось в чугушке. — А вы учительница будете?

— Да.

— Новая? — Она перешла на шепот: — Я давно Шуре говорю: отдавай парня в ремесленное. Чего зря терзать, пускай к делу приспособится. Так не хочет.

Вовке надоело стоять, он дернул меня за руку.

— Да ты погоди, — сказала соседка. — Все им некогда. А про Серегу чего еще? Ну, молчаливый, конечно, это уж так. И нервный. Если что не по нему — нагрубит. Вот только что вышел посуду помыть, а сам молчком, молчком, как хорек. Я ему: «Серега, ты чего такой?» А он: «Какой?» — «Смурной». А он: «Вы бы в цирк сходили, там все веселые».

Она приподнялась на цыпочки, опасливо взглянула через мое плечо.

— Матери начну жаловаться — защищает. Ты, скажет, Фрося, к нему не приставай. Он сам знает. А если знает, спрашиваю, чего плохо учится? — Она ждала моего сочувствия. — Другие мальчишки к отцам тянутся, а этот — за мать. Шурка-то мягкохарактерная. Мужик ейный, когда от-

резвеет, дак и неплохой был. Совестьливый. А бабе, сами знаете, ласка нужна. Простит. А он завтра напьется еще хуже. Про ее мужика-то слышали?

— Нет.

Фрося от удивления приложила ладонь к губам:

— Так его весь город знал. Говорили, в Москве в институте работал, да начал пить. Там и семья, и квартира — все развалил. Как его Шурка отыскала — никто не поймет. А говорун, говорун какой! Ну, конечно, если под этим делом... Выйдет на кухню и складно так читает: ды-ды-ды! ды-ды-ды...

Она сдвинула кастрюлю с огня.

— Вначале они без росписи жили. Конечно, маялась, но все же терпела. Потом, значит, Серега родился — расписались. Остепенился. Галстук надел. На работу устроился. Я даже позавидовала. Только недолгая была зависть — запил хуже прежнего. Бывало, до того дойдет — все спустит, неодетым явится. А уж когда Серегину форму пропил, тот его сам выгнал. С кулаками на него кинулся.

— А Леша?

— Этот от Котьки. — Фрося взяла дуршлаг, пошла к раковине. — Котька женатым был. Не знаю, на что надеялась. Серега совсем озверел, свихнулся. Гонит его, да еще и Котькой зовет. Тот на него: «Зови отцом!» А чего он отцом будет звать, когда никакого уважения этот Котька не заслужил! — Она вздохнула. — Да они с Котькой недолго жили. С полгода. Котька на семь лет младше был. Влюбилась, да так — ни к чему. След, правда, оставил — Леху...

Скрипнула дверь. В коридор вышел Сережа — что-то белело в его руке. Из темноты разглядывал меня. Потом неуверенно шагнул вперед, все еще не понимая, как я оказалась в его квартире, и бросился по коридору.

— Дикий! — объяснила соседка. — Да еще с горшком застали, стесняется.

Она пошла за ним и тут же вернулась.

— Убег. Теперь не ждите...

В комнате у Завьяловых было неуютно, накидано, но не бедно. Деревянная кровать и шкаф полированный были еще новыми. Правее окна — буфет, за стеклом которого был расставлен красный сервиз в горошек. По всей комнате валялись рейки, колеса от детского велосипеда, кубики. Среди этого беспорядка на шерстяной подстилке сидел, поджав ноги, маленький человек с серьезным лицом. Леша, догадалась я.

— Селеза, смотли, какое лузье я сделал...

— Разве это ружье, — возразил Вовка. — Обыкновенная палка.

Леха обернулся, вытаращил глаза и вдруг завыл, как гудок.

— Сейчас, сейчас придет твой Сережа, — я погладила мальчика по голове.

— Ты кто?

— Учительница.

— А тот, лызый?

— Какой же он рыжий, он — черный.

— Давай я тебе построгаю, — предложил Вовка.

— Нет.

— А я корабль могу...

Леха думал.

— И поплывет?

— Еще бы.

Я осмотрелась. Половики были скомканы, под столом валялась швабра. Я собрала палки — как-то неудобно сидеть в таком хаосе, — сложила в угол. Потом села за стол и закрыла глаза. Мне показалось, что кто-то стоит за спиной, я обернулась — Сережа.

— Прости, — сказала ему. — Вошла без разрешения. Не ругаешь?

Он промолчал.

— Мне хотелось поговорить с тобой...

— О чем говорить-то? — ироническая улыбка пробежала по его губам.

— О тебе...

— А что обо мне? Про меня все известно, спросите у директора...

Он не хотел разговаривать и искал возможность нагрубить. Я сказала спокойно:

— Давай-ка о деле. Я поглядела твои отметки. Знаешь, сколько у тебя двоек?

— Не считал.

— А напрасно. В этой четверти будет три: по алгебре, геометрии, физике. Возможно, четыре — и по химии. Я разговаривала с Павлой Васильевной. Оказывается, ты в прошлом году ходил на дополнительные.

— А что толку?

— Ты сейчас говоришь назло. Я давно за тобой наблюдаю. Вначале ты мне не понравился. Понимаешь, о чем я?

Он опустил глаза.

— Это была трусость. А трус — ничего, кроме брезгливости, вызвать не может. Но когда ты прочел свои стихи...

— Какие стихи?

— ..когда ты прочел свои стихи, — повторила я, — то я поняла, что, может быть, ошибаюсь...

Он молчал.

— Как ты смотришь, — спросила я, — если мне попросить девочек, Семидолову или Боброву, — они бы с тобой позанимались...

— Нет, я не буду...

— А Павлу Васильевну?

Он покачал головой:

— Она не станет.

— А если я все же уговорю ее?

Сережа отвернулся и промолчал.

Я сняла с гвоздя Вовкино пальто, надела свое. Уже открыв дверь, я внезапно решила сказать главное:

— У меня к тебе просьба... Дай почитать твои стихи?

Он наклонился и стал что-то собирать с пола.

— Нет, нет, — глухо ответил он. — У меня нет стихов. Мне нечего вам давать.

На улице совсем стемнело. Я стояла на крыльце, нащупывая ногой ступеньку, — нащупала и наконец сошла вниз. Глаза постепенно привыкли, и теперь я различала едва заметную серую утоптанную тропинку, по которой мы шли сюда. Правее был каменный дом, я примерно рассчитала, где должна быть арка.

Мы прошли с Вовкой шагов пять или семь и сбились: лезли по кучам щебня и досок. Нужно было вернуться и попросить Сережу проводить нас. Но не успела я повернуть, как рядом тявкнула собака. Вот кого я панически боюсь с детства! Меня сразу же бросило в пот. Я остановилась и дернула сына за руку, прижала к себе.

— Песик, песик, свои...

Собака не унималась.

— Хозяева есть? — стараясь быть грозной, крикнула я. — Уберите животное!

Собака подошла совсем близко, и теперь я увидела ее лисью вытянутую морду и мохнатую спину. Если кинется, буду кричать...

Минуту мы смотрели друг на друга. Собака села и теперь, видимо, ждала, когда мы пошевелимся, чтобы наброситься. Чем больше я на нее смотрела, тем более крупной и черной она казалась. Ее глаза светились зеленым светом.

— Пошла прочь, — неуверенно сказала я, все еще не решаясь сделать первый шаг.

Собака повернула голову, мне было отчетливо видно, как поднялись ее уши. Это был грозный сигнал.

Рядом хлопнула дверь. На крыльцо флигеля кто-то вышел.

— Тут собака, — жалобно сказала я, — вы не можете ее прогнать?

Никто не ответил.

Половицы на крыльце заскрипели, кто-то все же там был.

— Помогите! Тут собака. Мы с ребенком боимся...

— Кто?

Это, кажется, был Леша.

— Собака, — сказала я. — Лешенька, это ты? Сбегай за Сережей. Она нас держит...

— Кто делзнт?

— Собака. Да позови же Сережу...

Собака повернула голову, завилыла хвостом, взвизгнула и побежала к мальчику.

— А где собака? — спросил мальчик, он все еще не понимал, кого мы так испугались.

Снова хлопнула дверь.

— Леша! — я узнала голос Сережи. — Зови Шарика. Нам пора за мамой.

— Салик твою учительницу чуть не съел, — доложил Леша.

— Мы тут заблудились, не можем найти тропинки, да и действительно немножко испугались.

Сережа засмеялся.

— Шарика бояться нельзя, он как игрушечный... Вы, Мария Николаевна, подождите. Я посвечу. Тут хоть глаз выколи.

Он бросился назад и почти сразу же выбежал с фонарем. Вспыхнул свет, и мы с Вовкой благополучно перешли на тропинку.

— А теперь сюда. — Он шел впереди, светил под ноги, то слегка удаляясь, то поджидал нас с Вовкой. — А Шарика вы зря испугались. Он даже понятия не имеет кусаться. Мама его так воспитала. Собаки, знаете, такой характер имеют, какой у них хозяева вырабатывают. А наш Шарик уж слишком добрый.

Он будто старался меня утешить. Я никогда не слышала от Завьялова такой длинной речи.

— Да, — сказала я, — собаки часто имеют характер своих хозяев, это я поняла в детстве...

— Вас кусали?

— Не кусали, но боюсь именно с того времени...

Шарик попрыгал около нас и бросился к Вовке и Леше, которые стояли уже на дороге.

Мы вышли из-под арки. Улица была освещена. Сережа погасил фонарик и спрятал его в карман.

— Я знаю про собак много историй, — сказал Сережа, — но это больше хорошие истории. Я, пожалуй, даже не знаю о них плохого. Правда, говорят, что некоторые действительно кусаются, но, я думаю, это больные. А здоровой собаке чего кусаться — человек ей только добро делал.

— Ну, а если у собаки хозяин — плохой человек, ты же сам говоришь?

— Этого я не видел, — сказал Сережа. — Я только так думаю.

Он замолчал. Мне казалось, ему хочется спросить, что же было в моем прошлом, но он стеснялся. А я сама еще не знала, нужно ли рассказывать. Я не любила эту историю. Стоило ее вспомнить, как детство, такое далекое, будто бы приближалось ко мне.

— А зачем вы собрались к маме?

— Так она вроде вас — жуткая трусиха. Правда, собак она не боится, но, если где-то что-то заухает или заурчит, домой прибежит без памяти.

— Ты молодец, что так к маме... — Я чувствовала его плечо, линию неподвижно вытянутой руки, точно он нес в ней что-то. Я помнила: человек, который идет, не размахивая руками, то ли нервный, то ли замкнутый, это такой признак.

И вдруг поняла, что сейчас, безо всяких, расскажу ту историю. Это было давно, в сорок третьем, в год маминой смерти. Мы жили в деревне, недалеко от Вожевска. В начале войны, когда папу взяли на фронт, мы, чтобы прокормиться, уехали к маминой тетке, там жить было немного легче.

Мама работала в колхозе, да еще приходил аттестат за папу, но, когда его убили, и особенно в год маминой болезни, нам пришлось туго. И вот тогда мама стала брать папины вещи, которые хранила все это время, и уносить к Спекулянту.

От него мама никогда не приходила пустой, приносила не только муку и картошку, но, бывало, и масло. Я всегда ее просила: возьми меня к Спекулянту.

И вот однажды мама меня взяла.

Помню, как я радовалась, когда мы шли по деревне. Я пела песни и скакала.

Мы остановились около двухэтажного дома, где жил продавец сельмага Семенych. Мама огляделась и постучала три раза.

— Это ты, Струженцова?

— Я, Семен Семеныч, — заискивая, сказала мама.

— Одна?

— С дочкой.

Он открыл дверь и отступил. Рядом с ним стояла собака. Я сразу узнала ее, потому что в деревне много о ней говорили. Она сторожила сад, и, хотя Семеныч никогда ее не пускал за калитку, никто из самых смелых мальчишек не решался лезть к нему за яблоками. Это был зверь побольше меня, наверное, на голову, глядел на нас безразлично и даже звал — кажется, мы с мамой его разбудили. Раззевавшись, зверь открывал огромную пасть, обнажая черные десны, скручивая в трубочку свой длинный и красный язык.

— Зачем с девчонкой? — хмуро сказал Семеныч.

— Поможет. Что-то все немогу последнее время. Без нее санки не довести.

— Только держи язык за зубами.

Он повернулся к собаке и сказал ей, как человеку:

— Антип, пошли. . .

И собака пошла. Впереди Семеныч, потом собака, дальше мама и я.

— Санки оставь здесь, — сказал Семеныч, а Антип повернулся и подождал, пока мы их оставим. Потом пошел не спеша, повиливая хвостом, будто подзывая нас. И трудно было понять, кто здесь главный, Антип или Семеныч.

В чулане мы встали у дверей, Семеныч принял у мамы вещи.

— Пальто принесла?

— Принесла, — сказала мама. — Оно совсем новое. Коля его не носил. Мы справили его в мае — весной всегда меньше заказов, а в июле Колю уже взяли.

Семеныч развязал узел, погладил воротник, потом поднял к свету и долго смотрел на него.

Чего только не было в чулане! Мешка три муки, на крюке кусок свинины, масло, сахар.

Голова закружилась. Я схватилась рукой за маму. Антип оскалил зубы.

— Сейчас, сейчас, — сказал Семеныч. Он не обернулся, а взял с окна нож, отрезал кусок свинины и бросил туда, где стоял Антип. Пес поймал сало, щелкнув челюстями.

Тогда Семеныч встряхнул пальто — он, кажется, был им доволен — и стал одеваться.

— Ну и мужик у тебя был складный, все лезет.

Он так в пальто и отвесил нам сахар, но потом снял пальто, завязал в узел и стал откладывать сала, муки, крупы.

— Разбогатела ты, — говорил он маме.

Глаза у мамы стали такие, что я испугалась. Семеныч вынес все из чулана, привязал к санкам, а пакет с салом дал мне в руки.

Мы дошли до калитки, но не успели выйти, как Антип подбежал сзади, встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи. Я онемела.

— Он выкуп просит, — объяснил Семеныч, — иначе не отпустит.

— Убери собаку! — крикнула мама.

Антип все стоял на задних лапах, а я шаталась от тяжести, но не выпускала сало.

— Собака слов не понимает. Дай ей кусочек сала. Там есть довесок.

— Я салом лечусь, — сказала мама. — И девочке оно нужно...

— Подумаешь, довесок. Довеском не спасешься.

Антип оскалил зубы и толкнул меня к забору. Я упала. Тогда он бросился к пакету, дернул бумажку и выхватил довесок, точно знал заранее, что этот кусок предназначен ему.

— Паразит, — всхлипнула мама. — Подавись нашим салом.

— А где же Спекулянт? — спросила я маму, когда порядочно отошли от дома.

— Спекулянт — Семеныч.

И тогда я разревелась...

— А что же дальше, Марья Николаевна? — спросил Сережа, когда я замолчала.

— Дальше? Мама умерла. Помню, у нее горлом пошла кровь, и, пока мы с теткой бегали за фельдшером, ее не стало. В ту зиму я ходила в первый класс. Школа была на другом краю деревни, и мне каждый день приходилось идти мимо дома Семеныча, которого в ту самую зиму арестовали. Антип стал бесхозной собакой, бродил по деревне. И вот, представь, он узнал меня и стал требовать выкуп. Проследил, где я живу, и, только я отходила от дома, он откуда-то появлялся и ждал, когда разойдутся люди, а затем требовал выкуп.

— Выкуп?

— Да. Тетка давала мне в школу кусок хлеба или картошку, и Антип не отходил, пока я ему все не перекидаю. Да еще не верит. Из сумки-то пахнет хлебом. Подойдет, сунет голову в сумку, убедится, что больше нет, а тогда уходит. Так и кормила всю зиму.

— У нас Шарик добрый. Он с голоду умрет, но не просит.

— Так ты же и говоришь: смотря какой характер у хозяев.

— У нас Шарик добрый, — повторил Сережа.

Он сделался грустным и на меня не глядел. Не знаю, может, и зря я ему рассказала о себе? А может, нет... Мы мало знаем о детях, но ведь и дети ничего не знают о нас.

— А что было потом?

— Летом меня устроили в детдом как дочь погибшего фронтовика.

Мы свернули за угол и увидели ярко освещенные окна.

— В этом магазине работает мама.

Со мной разговаривал мягкий и тихий мальчик, и было странно, что несколько минут назад он отвечал мне грубо.

— Может, зайдете?

— Нет, я ведь действительно шла к тебе. — Мы остановились. — До свидания, — я подала ему руку. — Так поговорить с Павлой Васильевной?

Он опустил голову.

— Или давай иначе, — осторожно сказала я. — Завтра же, не откладывая, подойдем к ней вместе... Для нее важно, чтобы ты сам...

— Как хотите.

Мальчик не отходил. Казалось, сейчас он что-то мне скажет. И вдруг тетрадка — я ощутила рукой бумагу — ткнулась в мою ладонь. Я зажала ее в кулаке. Завьялов повернулся и бегом бросился на крыльцо.

— Только никому, Мария Николаевна!

Дверь в магазин захлопнулась. Я полистала тетрадь — там были стихи, написанные его рукой. Мы прошли с Вовкой улицу, остановились около фонаря.

Первая строчка удивила меня. Я перечитала ее снова, потом стихотворение целиком.

Птицы прячутся за домами
в щелях и желобах.
А кот из-за угла на это смотрит
и кусает лапы от голода.
А мне его как-то жалко,
потому что он голоден.
И не жалко,
потому что он живодер
и разоряет гнезда птиц.
...Сосна упирается в небо,
покачивает ветвями.
Облака опустились на землю
и спрятались за камнями.

Пусть лучше кошки помирятся с птицами
и птицы с кошками станут друзьями.

Я не знала, радоваться или огорчаться, что этот ребенок открылся мне. Как быть с ним дальше? Чем помочь ему?

Я понимала, что сегодня добилась большего, чем могла предположить.

Глава восьмая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Все эти дни я почти не отходил от мамы. Она прогоняла меня, требовала, чтобы я чем-то занялся, но я не мог. Даже с Прохоренко я виделся только в больничном дворе или в палате. И Люся, и Леонид Павлович приходили ежедневно, всегда с пакетами, и я в шутку говорил, что об их приближении догадываюсь по запаху яблок.

В ночь перед операцией я несколько часов пролежал с открытыми глазами, закинув руки за голову, и с каким-то озлобленным глядел на «Букет сирени». Я раздумывал о безымянном маляре, который взялся не за свое дело.

Мысль Леонида Павловича преследовала меня постоянно, и теперь я невольно думал о хирурге, которому придется завтра оперировать маму. Художник он или маляр? Маляр или художник? Нет, нет, говорил я себе, я не имею права плохо думать о Калиновском.

Неожиданно для себя я приподнялся на локте и перевернул натюрморт лицом к стенке. Пусть так!

Потом надел ботинки, свитер и вышел из номера. На улицу! Скорее на улицу. Больше не могу здесь. Душно...

— Не спится что-то, — сказал я коридорной, когда она удивленно поглядела на меня.

...Ночью Вожевска будто бы не существовало. Дома за палисадниками были размыты, как на картинах импрессионистов. Черные стены едва угадывались сквозь тьму.

Иногда, через большие промежутки, возникали фонари. В их тусклом свете я чувствовал себя неловко, будто актер самодеятельности под юпитерами.

Я сворачивал в маленькие улочки, в узкие переулочки, туда, где не было тротуаров, и мои шаги стали совсем беззвучными на мягкой земле.

Тишина окружила меня. И в какую-то секунду мне показалось, что я сливаюсь с ночной пустотой моего городка.

Что я знаю о маме, в который раз спрашивал я себя за эти дни. Почти ничего...

Ей скоро пятьдесят три, а много ли хорошего случилось в ее жизни?

Прошел однажды солдат мимо нашего дома, забыл вернуться...

Потом вырос я, но оказался не лучше солдата. Семь лет не был дома. Уехал в Москву, нашел место под солнцем. Разве помнил я мать в эти годы?

Приезжала, боялась стеснить, ходила боком. Угла, дивана, раскладушки не нашлось для матери у ее единственного сына.

Как я мог! Как я мог!

Неужели только теперь, перед лицом катастрофы, я сумел понять маму?

А раньше? Где был я раньше?

Даже не знаю, как оказался я на берегу Прокши. Далеко от моста, от главной дороги. Ободранный шатер церкви едва просвечивал в темноте, и сквозь него были видны круглая луна и звезды.

А если пойти к больнице? Постоять у окон маминой палаты? Нет, нельзя. Увидит, расстроится. Надо вернуться в номер.

Швейцар в гостинице долго гремел ключами, потом что-то бурчал мне вслед.

Я включил лампу, постоял около перевернутой картины.

По всей поверхности холста была растянута паутина. Несколько секунд я разглядывал геометрическую правильность и красоту паучьей работы, подумал: «Вот это настоящий художник...»

И потушил свет.

Только в кровати я почувствовал страшную усталость, вытянулся и как будто провалился в бездну.

Все утро мы просидели с Люсей в больнице.

Я словно окаменел в эти часы, сидел покорный, готовый ко всему.

Около часа дверь распахнулась, вошел Калиновский.

Мы встали. Это был суд, от его приговора зависело все.

— Ну-с, — Калиновский покопался в карманах, искал зажигалку, циркнул.

Я тупо разглядывал его. В колпаке и халате он был почти неузнаваем: энергичный, крепкий, худощавый парень, его годы бесследно исчезли.

— Ну-с, — повторил он с улыбкой и затянулся дымом. — Нам с вами повезло...

Я показал на папиросу. Он протянул мне пачку.

— Опухоль очень большая, но по всему — доброкачественная. Конечно, мы обязаны перестраховаться, я послал срезы на гистологию, но думаю, нового они нам не скажут.

Я сел на стул.

— Значит, жить будет?

Я еще не мог радоваться. Неужели правда?

Потом мелькнула мысль: нужно бежать на почту, дать телеграмму Рите.

И тут же: зачем? И куда телеграмму? В Сочи?

За эти дни я получил от нее две открытки с описанием южной погоды, цен на фрукты, а в конце обязательное: «Как мама? Волнуюсь».

Нет, только не ей, не в Сочи. Придет с пляжа, безразлично возьмет бланк, пробежит глазами.

Я знал все, что будет, представлял каждый ее жест, — это было так знакомо.

И вдруг я невольно подумал о Маше. Вот кто понял бы все, что сегодня случилось. Она же здесь, рядом. Может, пойти, сказать: знаешь, сегодня спасли маму, я все эти дни думал, что она на волоске от смерти. Как это страшно, когда узнаешь, что человек обречен...

Маша, Маша! Нет. Ни к чему это.

Люся взяла меня за плечи, притянула к себе.

— Витька, теперь выходим ее, не сомневайся.

— Спасибо. Спасибо за то, что вы есть.

— Марк Борисович, сейчас придет Леонид и отвезет вас на дачу.

— Я, пожалуй, ей больше не нужен, — сказал Калиновский. — Врачи все знают, я предупредил.

Он пошел к гардеробу.

— Устал, — пожаловался он какой-то сестричке из приемного покоя. — Пришлось основательно повозиться. Редкое чудовище, хотя и доброкачественное. — Повернулся к нам: — У нее можно дежурить.

Я поднялся, чтобы идти к маме.

— Витя, — попросила Люся, — сегодня лучше мне побыть с ней. От женщин в таких случаях больше проку. — Она кому-то улыбнулась.

Я обернулся.

В дверях стоял Леонид Павлович и трéвножно смотрел на Люсю.

— Все благополучно. — Она опередила меня. — Анне Васильевне ничто не угрожает.

Прохоренко шагнул вперед, сжал ладонь Калиновского двумя руками:

— Марк Борисович, спасибо...

Я тихо вошел в палату и остановился возле маминой кровати. Мама была еще под наркозом.

Я наклонился над ней, прислушался к дыханию. Все, кажется, хорошо. Только бледна, лицо без кровинки.

Губами я прикоснулся к ее лбу.

— Миша...

Я огляделся. В палате больше никого не было.

— Миша, — позвала она снова.

Теперь я видел, что мама пристально смотрит на меня.

— Это я... Виктор...

Она глядела на меня не мигая.

И вдруг я понял: мама назвала имя моего отца. Имя, которое ни разу не произносила раньше.

Я попятился, спиной открыл дверь и вышел.

Калиновский был уже одет, ждал меня.

— Ну, как она?

Я был так ошеломлен, что не сразу понял вопрос.

— Как мама? — переспросила Люся с испугом.

— Мама? — Я словно очнулся. — Она еще спит.

Через полчаса мы возвращались с Леонидом Павловичем в Вожевск. Пожалуй, только теперь я начинал сознавать всю значительность происшедшего. «Жива! Будет жить», — про себя повторял я.

Прохоренко ехал не спеша. Объезжал рытвины, бугры, ямы. Несколько раз я поглядывал на него. Он казался озабоченным и усталым, и я невольно подумал, уж не случилось ли чего у него на работе.

— Леонид Павлович, — сказал я. — Мне бы хотелось написать о вас очерк. То, что вы и Шишкин рассказывали о школе, мне кажется чрезвычайно интересным.

Он не удивился, но возразил:

— Эксперимент только начат. Пока не все идет так, как хотелось бы. Спотыкаешься на тех местах, на которых, казалось, и споткнуться-то никак невозможно.

— Тем более. Очерк в газете только поможет вам укрепиться, создаст общественное мнение.

Я чувствовал, с какой жадностью он слушает мои слова и все же не может почему-то решиться.

— Я должен все хорошо обдумать. Критерий у меня один: не помешает ли ваше выступление делу.

— Да чему? Чему может помешать? Разве у вас нет недоброжелателей? Статья, очерк о вас только закроет рты маловерам.

Он пожал плечами.

— А потом, мне и самому выгодно было бы привезти из отпуска очерк. Да что выгодно — необходимо для новой командировки. Понимаете, Леонид Павлович, — я готов был открыть ему все карты, — я мечтаю о новой книге...

Он взглянул на меня.

— О документальной повести. То, что вы делаете, это же бесконечно важно и интересно...

Прохоренко нахмурился.

— Спасибо, — сказал он. — Скрывать не хочу, обстоятельства складываются так, что я не могу отказаться от вашей помощи. — Он тяжело вздохнул. — Я знаю, что каждое дело начинается трудно, но пробивать новое в педагогике — особенно. Вы не все представляете, Виктор. Впрочем, никто, даже Люся, всего не представляет.

Взгляд его становился острым и непрощающим.

— Меня не смущают ваши противники. Даже интереснее писать, если есть с кем спорить.

— Нужно все взвесить, — сказал Прохоренко и улыбнулся. — Впрочем, поговорить нам никто не мешает. Сама идея написать о нашей школе мне нравится.

Глава девятая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Я подошла к Завьялову на большой перемене. Он стоял у окна и внимательно глядел на улицу. Там шел первый, совсем не по времени, снег.

Снег падал медленно, крупными, точно взлохмаченными, хлопьями, нансось пересекая в школьном саду деревья. У самого окна, защищенного карнизом, снежинки кружились и будто бы поднимались немного вверх.

Дохнул ветер, взметнул белый хвост, смахнул, как метлой, все, что собралось на подоконнике, оставил ржавый лист железа.

Завьялов взглянул на меня.

— Надо же, — сказал он, — начало октября, а зима.

Я обняла мальчика, притянула к себе за плечи.

— Пойдем к Павле Васильевне...

Он побледнел.

— Боишься?

— Боюсь.

В учительской было накурено. Открыли форточку, но и это не помогло. Учителя не ходили, а будто плавали в дымке. Ближе всех ко мне стояла Нелли, учительница физкультуры, и кокетничала с физиком. Физик был широкий в кости, с плоским, приплюснутым, как у боксера, носом. Седой, плохо выбритый. Нелли рядом с ним выглядела семиклассницей.

Завьялов втянул голову в плечи. Он знал этих людей друзьями, а точнее, вообще их не знал. Его не замечали. Вошел — значит, нужно.

— Мария Николаевна, может, не сейчас?..

— Держись, — сказала я и слегка сжала Сережину руку.

— Павла Васильевна, мы к вам, — начала я бодро.

Кликина безразлично сказала:

— Неужели? Вот повезло!

Достала пачку сигарет, вышибла щелчком одну и покрутила ее своими толстыми малоподвижными пальцами. Сигарета лопнула. Она выбросила ее, взяла другую.

— Хотели поговорить?..

— О чем же?

— Видите ли... — я все еще надеялась, что Сергей заговорит сам. — Он попросил меня...

Завьялов поднял удивленный взгляд, но сразу потупился. Однако этого было достаточно. Кликина ухмыльнулась.

— Наверстывать захотелось... — сказала она так, что стало понятно: хорошего от разговора ждать нечего.

— Да.

— Интересно... А как, прости, ты собираешься это сделать? Можно наверстывать, когда отстал на один день, на два, на неделю, а ты отстал на месяц, плюс самые ничтожные знания прошлого года. А ведь я с тобой занималась.

Она поджала губы и укоризненно поглядела на меня.

— Мария Николаевна, я вам на днях объясняла, почему не верю ему. Вы не первый год преподаете, а все еще считаете любого лоботряса жертвой.

Учителя одобрительно зашумели.

— А жертва — учитель. Сколько я занималась с ним в прошлом году... А результат? Сказать нечего, Завьялов. Молчишь. Глаза спрятал. Так я сама напомним: два месяца оставляла его после уроков. Понимаете, себе, а не ему доказать хотелось, что любой это может осилить, любой! И что, спрашивается, доказала? В этом году запустил еще хуже прежнего. Нет уж, милый человек, на твоём месте я бы сюда не приходила, если, конечно, у тебя еще есть совесть.

Сережа молчал.

— Я вижу, Мария Николаевна женщина душевная, сердечная, — говорила Кликина, — ей всех жалко. А ведь я до-словно могу пересказать ваш разговор. Стыдила часа полтора, мамой увещевала — вот, мол, как тяжело ей, бедной. И ты согласился. — Она выпустила изо рта кольцо дыма.

— Так и было, — с вызовом сказал Завьялов.

— Сережа, зачем же...

Отступать я не могла. Не сейчас — значит, никогда. Я повторила:

— Павла Васильевна, а если все же попробовать еще? Я обещаю...

— Вы? Так разве вы не в ладу с алгеброй? Ну, это другое дело. А я все о Завьялове думала...

Я сделала вид, что не заметила ее иронии.

— Я обещаю, что сама буду контролировать его.

— Ага. Это уже не так обидно. Значит, не я одна буду терять время, но и вы? Прекрасно. А что, если попросить еще Прохоренко? И завуча не мешало бы. Тянуть так тянуть.

Мальчишка что-то буркнул, но не пошевелился.

— Нет, вы подумайте, обиделся! Не так с ним разговариваем! Нужно обрадоваться, поклониться. Спасибо, ваше величество, снизошли, изволили...

Сергей сжал кулаки и бросился в сторону, между учителями, точно боялся, что его задержат.

Я не успела даже сообразить, что делать, как Кликина властно — такой силы я в ней не подозревала — приказала:

— Стой!

Он замер.

— Подойди.

Она больше не повторяла, ждала. Завьялов побрел к ней.

— У тебя сегодня сколько уроков?

— Пять.

— А у меня шесть. — Она подумала. — Подождешь. А теперь иди.

Сняла с подоконника сумку, достала тетради и стала перебирать их.

Хлопнула дверь.

Я хотела идти в класс, но Кликина усталым жестом остановила меня:

— А ведь это вы виноваты, милая барышня. Кто же так действует?

Я махнула рукой.

Днем основательно грело солнце. Ранний снег стаял, и только вокруг деревьев да неглубоких канав и рытвин еще лежали серовато-белые полосы. Играть во дворе из-за грязи стало трудно, и Вовка с ребятами убежал на дорогу. Ему пора было возвращаться, уроков он не делал, и я уже несколько раз собиралась позвать его.

На улице смеркалось, и потускнело в комнате. Я походила из угла в угол, оглядела стопку тетрадей, но, вместо того чтобы взяться за дела, прилегла на диван.

Было чертовски одиноко. Тоска, как правило, приходит у меня внезапно, ни с того ни с сего. Так же, как сейчас, приближается вечер, и я вдруг замечая, как разрастается пустота вокруг.

Я поглядела на часы — нет, пора звать сына. Встала, включила свет в коридоре и тут услышала, что кто-то трет ноги около двери. Вовка позвонил бы сразу. Видно, не ко мне.

Я вернулась, но короткий звонок заставил меня вздрогнуть.

Успела взглянуть в зеркало около двери: боже, как растрепалась! Провела по волосам расческой, но когда спишь — разве уложишь...

С удивлением разглядываю незнакомку. Выше меня и, пожалуй, старше. Лицо круглое, полные губы, из-под платка — кудряшки.

— Вам кого?

— Марию Николаевну Струженцову.

— Проходите.

Показываю, где раздеться, и все не соображу, что ей нужно.

— Может, я сниму туфли?

— Нет, ни к чему.

Она все же снимает и идет в комнату в чулках.

— Не знаю, как и начать, — говорит она. — По дороге слова были, а пришла — растеряла. Вы поняли, наверно, меня прислал Серега...

— Кто?

— Да вы были у нас дома. Я — Завьялова Шура, его мама.

Я даже всплескиваю руками.

— Как замечательно, Шура, что вы пришли сами. Мне давно хотелось поговорить с вами.

Я гляжу на ее кудерьки, на ее полные губы и щеки, и она кажется мне милой.

— Работы много, а теперь заболели двое, приходится в две смены. Ну, конечно, понимают, что у меня дети, отпу-

скают, когда нужно. Вот и сегодня отпросилась. Говорю, делайте что хотите, а к учительнице я сходить должна... Вы чего же вчера с ребятами не зашли ко мне в магазин? — Шура вздыхает. — Сережка-то мой очень хороший. Идешь на работу — спокойна. И Лешу накормит. И обед доварит. А в школе — беда. Не хулиган, а учителей всех против себя поставил. Сама не пойму, то ли не хочет учиться, то ли не может. Раньше даже бить пыталась. Сбежал из дому. Приду с родительского собрания — ног не чую, схвачу ремень, а размахнусь — самой больно. Начинаю плакать. Он молчит, смотрит. Брошу ремень, сяду. Думаю: будь что будет, сколько ни поучится — все польза. Сама забирать не стану.

Она рассказывает о себе:

— Живем-то мы без отца. Был муж. Пока пил в меру, не хуже людей жили. И зарабатывал неплохо. Я его пить не боялась. Скажет: купи маленькую — купишь. А потом озверел. Напьется — личность теряет. Пропил Сережкину форму, тот его сам и выгнал.

Она затихает — видно, думает о своей жизни.

— А он, мой Сережка, не безнадежный? — И, не дожидаясь ответа, прибавляет: — Сегодня после дополнительных у меня был. Говорит, Павла Васильевна похвалила.

— Этого я еще не знаю.

— Похвалила, — повторяет Шура. Она смотрит на меня с сомнением, будто не решается что-то спросить. — Мария Николаевна, только честно... Парень у меня нормальный?

— О чем вы спрашиваете, Шура! Конечно...

Она достает платок и вытирает слезы.

— Только вам скажу... — и плачет. — Пишет он что-то ночью. С вечера ходит угрюмый. А потом крутится на кровати, вздыхает. Я притворюсь, что сплю. А он встанет, почиркает бумажку — и назад. А бумажку с собой возьмет. Повернусь к стенке и, пока подушку не проплачу, уснуть не могу. Другой раз найду бумажки-то эти, а там одни каракули. Слов не разобрать. Понимаете, Мария Николаевна, пока отец с ним был, я не боялась. Тот поговорить мог. Они часто о чем-то... А теперь...

Я обняла ее.

— Вы зря беспокоитесь, Шура. Он мне вчера эти бумажки показывал.

— Сам?

— Конечно. Это стихи. Очень хорошие стихи пишет ваш сын, Шура. Только прошу, не мешайте. Да еще не проговоритесь, что я сказала...

— Нет, что вы...

Она затихла и долго глядела в одну точку. Потом поднялась. Задержала взгляд на Вовкиных игрушках.

— Мальчишка?

— Да.

— А муж?

— Не было.

Кивнула.

— А я, дура, сколько за каждого держалась! Думаешь, думаешь, как одной? А вдвоем-то бывает тяжелее. Ну их, — махнула рукой. — Такого добра — моргни глазом, да только вот ребята... — Она вздохнула. — Тут недавно понравился человек, а прийти куда? Так и не решилась...

Зазвенел звонок. Влетел Вовка.

Шура вышла со мной в коридор и стала обуваться.

— Может, и неудобно такое... Но я от всего сердца. Если вам что из промтоваров нужно — пальто или костюм, — скажите. У нас сейчас есть.

Мне действительно было многое нужно. То, что казалось приличным в деревне, тут выглядело старомодным, на первом же педсовете я это почувствовала. Но, с другой стороны, никогда мне к родителям ребят не приходилось обращаться.

Она все поняла.

— Да вы не беспокойтесь, Мария Николаевна. Ничего незаконного не будет. Только что получили товар, все равно пускают в продажу.

— Прямо не знаю...

— Да чего же — не знать? — возмущается Шура. — Придете, как все. Примерите и заплатите в кассу.

Я молчу.

— Станный вы человек, — смеется Шура. — Не с черного ведь, не из-под полы.

— Спасибо, — все же соглашаюсь я. — Костюм мне бы действительно хотелось...

Я надеваю костюм в маленькой квадратной примерочной. Зеркала расставлены со всех сторон, и хотя пройтись невозможно, но я отлично вижу, как хорошо он сидит.

Шура рядом. Она покачивает одобрительно головой, причмокивает даже. Да и мне самой вещь очень нравится.

— Не морщит?

Выхожу из примерочной и иду к кассе. Все головы повернуты ко мне. Директор одобрительно кивает, улыбаются продавщицы. Кажется, такие минуты приятны и для них. Еще бы! Сделали человека красивым.

Хорошо, что все оказалось так просто. Даже с директором Шуре не пришлось шептаться, костюмы уже лежали на прилавках.

— Вы переоденетесь?

— Нет, не буду. Заверните старое.

Накидываю пальто. Прощаюсь с Шурой и выхожу.

На улице стемнело. Идти домой? Нет, лучше всего к Прокше.

Спускаюсь к мосту. Невольно думаю, что когда-то по этим же местам разгуливала одна очень серьезная девчонка.

Интересно, что она думала, вот бы вспомнить. У девчонки, говорили, было не совсем хорошо с юмором. Думала так, как читала.

Она, вероятно, рассуждала о смысле жизни и, уж конечно, — о любви.

Кто не мечтает об этом, когда двадцать.

Любовь промелькнула. Жизнь? Жизнь выгибалась такой спиралью, что на ее витках и поворотах не всегда легко было удержаться.

Впереди идут трое: женщина и двое мужчин.

Люсю узнаю по голосу, потом — Леонида Павловича. Третьего не знаю. Уходить поздно.

— Маша! Ты? — удивляется Люся. — И это называется подруга! Целый месяц не была у нас... — Она представляет мужчину. — Познакомься, Марк Борисович Калиновский, великий исцелитель Вожевска.

И, улыбаясь, прибавляет:

— А это Мария Николаевна, моя подруга. Марк Борисович, нельзя ли ее сделать чуть теплее?..

— Медицина все может, — шутит доктор. — Но лучше пусть Мария Николаевна исправится сама.

— А не исправитесь — уволю, — шутит Леонид Павлович. — Правда, как директор я могу уволить только из состава друзей, больше не разрешат профсоюзы.

— Молчи, законник! Пусть Маша отчитается о Вовке. Как он? Нас вспоминает? Леонид постоянно говорит о нем. Чтобы в субботу у нас были. Обещаешь?

— Будем.

Нужно что-то сказать еще, но слова исчезли. Стоим, как актеры у суфлерской будки, ждем, не подкинет ли кто фразу.

— Вот что, — говорит Люся. — Мужчины пускай идут дальше, а нам нужно о своем, о бабском...

Она берет меня за руку и тянет к фонарю.

— Что у тебя там зеленеет? — спрашивает она и приот-

крывает полу. — Ого! Новый костюм! Слушай, где ты достала такую прелесть? Уму непостижимо. Не костюм, а праздник.

— Только что купила.

— Где?

— В универмаге, — как-то неуверенно говорю я и скипаю от своей неправды. Сама не пойму, отчего не говорю так, как было.

— Но сегодня я заходила в Центральный.

— Нет, на Ленинградской.

— Там есть какой-то магазин, но универмага...

— Да, в магазине. Зашла случайно...

Люся грозит пальцем:

— Понимаю, по благу. Ну и блазмейстерша, оказывается, ты, Машка! А мне не можешь?

— Я краснею. Не очень-то приятно слышать такое, если это даже и шутка.

— Я же сказала где.

— Ладно, схожу, только вряд ли что выйдет.

Люся смотрит на меня со странной улыбкой, будто не может решить: открыть или нет какую-то тайну.

— Не знаю, надо ли об этом, но чтобы потом ты не сказала... Здесь Виктор.

Невольно оглядываюсь. Впрочем, ерунда это. У меня ничего не может быть общего с Лавровым. Все в прошлом.

— Успокойся!

Пытаюсь взять себя в руки.

— Слушай, — умоляю ее. — Только ни слова о Вовке. Ни слова! Я не хочу! Понимаешь, не хочу! Прошло девять лет. Лавров не должен знать об этом.

— Перестань. Неужели ты думаешь, что я могу сказать без твоего разрешения? А потом...

— Что потом?

— Он сам не хотел тебя видеть.

— Вот и отлично, — бормочу я. — Отлично.

Леонид Павлович и доктор уже далеко, что-то кричат Люсе.

— Ну успокойся, — просит она. — И пойдем погуляем с нами..

— Нет, нет, — говорю я, — только не сейчас, Люся. Дела у меня, Вовка...

Я вышла из дому немного раньше. Сегодня сбор металлолома.

На улице горели фонари, но из-за тумана свет их казался неярким. Я не люблю эту пору. Не поймешь, утро на дворе

или вечер. И первый урок не люблю. Дети точно еще не проснулись, безразлично глядят на тебя. Их улыбки, ответы, движения — все как в замедленной съемке.

Но сегодня было иначе. Около школы шум, хохот, крики, а у дверей толчея. Какой-то карапуз стоял в стороне и плакал, на него даже не смотрели.

— Ты что? — наклоняюсь я к нему.

— Не пу-у-ускают.

— Кто?

— Ча-асовые. Я забыл пропуск.

— Пропуск?

— Да. Дома у нас уже все закрыто, папа и мама на работе.

Я обняла его за плечи и стала проталкивать к двери. Теперь и я увидела часовых. Это оказались мальчишки из восьмого, рослые и сильные. Они стояли с деревянными ружьями в дверях, и каждый ученик, проходя мимо, накалывал на штык свой пропуск.

В гардеробе Кликина снимала боты, но это, видимо, было непросто. Рядом стоял ее муж, Николай Николаевич, держал туфли.

— Ноги отекают, — пожаловалась она. Стянула один ботинок, передохнула. — Вот теперь другое дело. Иди, Коля. Мы с Марией Николаевной поговорим немного.

Мимо прошел Леонид Павлович, развел руками, показывая, что спешит, не может остановиться, и взбежал на второй этаж.

— А я думала, вы вчера к нам зайдете, — сказала Кликина.

Я извинилась.

— Хотела, но не смогла. Не обижайтесь.

— За что же обижаться, голубчик? — удивилась Павла Васильевна. — Я вам очень благодарна.

— Вы?

— Да, за урок. — Она вздохнула. — Страшное дело, голубчик, привычка. Учишь десять лет, тридцать, и тебе начинает невольно казаться, что ты понимаешь ребят чуть ли не с первого взгляда. Вот хвалишь себя: другому нужны годы, а мне час, чтобы оценить ребенка. Но не так это, не так, голубчик. Оказывается, ты стала чуточку черствее, безразличнее. Чуточку, оказывается, меньше их любишь, а себя чуточку больше. И в этом вся причина...

Мне неожиданно захотелось сказать ей о стихах Завьялова. Может быть, я нарушала слово, но Павле Васильевне я могла доверить.

— Хочу вам открыть не свою тайну.

— Не свою? — она поглядела на меня с сомнением. — Может, не стоит?

— Стоит.

Я вынула из портфеля завьяловскую тетрадку и протянула ей. Она открыла страничку, кивнула.

— Сам дал?

— Да, — проговорила я с гордостью, как победительница.

На лестнице нас обогнали Щукин и члены совета дружины. Луков шел рядом с начальником, почтительно выслушивал его указания. Меня окликнул Прохоренко. Я оглянулась. Рядом с Леонидом Павловичем стояла инспектор горно.

— Вот Мария Николаевна как раз из тех учителей, — будто шутя пожаловался Прохоренко, — кто еще не до конца поддерживает и понимает наше начинание.

— Что же вас не устраивает? — довольно резко спросила инспектор.

Леонид Павлович за меня объяснил:

— Мария Николаевна не может понять, как это мы решились дать детям такую власть.

— Да? — Инспектор кивнула, и усмешка пробежала по ее тонким губам. — Для такого эксперимента требуется недюжинное воображение.

— Скажем, не воображение, — поправил Леонид Павлович, — а смелость.

По коридору под барабанный бой пронесли знамя.

— Мария Николаевна, — попросил Прохоренко, — предупредите учителей, что занятий не будет. Дадим звонок на урок и сразу же объявим сбор в актовом зале.

Учителя готовились расходиться по классам, когда я объявила, что уроки отменяются.

— С Завьяловым, что ли, позаниматься? — предложила Кликина. — Думаю, что у них ничего не случится, если один человек не будет участвовать в игре.

— Спасибо, Павла Васильевна.

Она холодно поглядела на меня.

— Слушайте, что вы все: спасибо да спасибо? Я никакого одолжения вам не делаю. Я занимаюсь с учеником, который очень отстал. Вот и все. Это моя обязанность, и прошу категорически — без реверансов.

Весь класс внимательно смотрел на черную коробку радио. Голос Леонида Павловича звучал тихо. Видимо, он был уверен, что ребята слушают его.

— На сегодня вся власть в школе передается вам. Ни директор, ни учителя не будут вмешиваться, давать советы, опекать вас. Мы оказываем вам такое доверие, потому что совершенно убеждены в вашей сознательности. Операция разработана всем штабом, коллегиально. Руководить будет Щукин. Противник — прежний, и вы имеете опыт борьбы с ним: это металлолом. — Он замолчал, понимая, что сейчас в классах смеются над его шуткой. — Правда, ваша борьба напоминала раньше стихийные налеты отдельных отрядов, сегодня же на штурм пойдет регулярная армия сознательных бойцов. Вы взяли на себя большие обязательства — постарайтесь их выполнить.

Я обвела взглядом ребят — какие серьезные лица!

— Щукин только что познакомил меня с планом. И уполномочил рассказать об этом. Вашими командирами отрядов заготовлены карты районов, где вам предстоит действовать. Запрещается переходить из своего района в другой, в противном случае собранный металлолом будет передан целиком тому отряду, на территории которого он был собран. За выполнение заданий лучшие бойцы и командиры будут награждены.

Зазвучал горн. Захлопали крышки парт. Завьялов побежал вместе со всеми, но я позвала его.

— Павла Васильевна хочет с тобой позаниматься.

Он беспомощно поглядел на Лукова.

— Чего ты?

— Вот, — сказал Завьялов. — На дополнительные.

— Нельзя, сегодня должны все, — сказал Луков. — Я тебе приказываю...

Завьялов как-то виновато поглядел на меня, но повторять я не хотела. Он опустил голову и промолчал.

— Эх ты, мямлик, — с сожалением сказал Луков и бросился по коридору догонять класс.

Глава десятая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Я ходил по комнате, обдумывая все, что увидел за последние дни.

Леонид Павлович почему-то не звонил, хотя шел двенадцатый час. Я начинал нервничать, нужно было еще черт знает

сколько успеть до вечера: и побывать в школе на сборе металлолома, и часа в три забрать маму из больницы. Хотелось засветло приехать в Енюковку.

Из окна гостиницы я видел взгрустнувший Вожевск. Крыши домов опять были припудрены снегом; последние дни то таяло, то начинались легкие заморозки.

Я отошел от окна, остановился у натюрморта. Картина больше не раздражала; к любому уродству постепенно привыкаешь.

До конца отпуска оставалось четыре дня — пора было бы начать очерк. Хотелось показать черновик Прохоренко.

Я искал сюжетный ход и вдруг понял, что герой может оказаться вот так же, как я сейчас, перед подобной мазней, и ему придет мысль о маляре и художнике. Это была находка. На моей стене висел реализованный тезис Леонида Павловича.

Я решил использовать картину несколько раз, как движущуюся метафору. Сколько оттенков сразу же почудилось мне в этом названии! Записанные в последние вечера рассказы Леонида Павловича о школе давали колоссальную пищу для раздумий.

Да и название очерка — «Художник и маляр», — по-моему, удачно отражало философскую суть проблемы.

На столе лежал блокнот с моими записями и чистые листы. Если бы знать, что Леонид Павлович задерживается, то можно было бы сесть за работу, но только сосредоточиться — и тебя прервут, зайдет Прохоренко.

Вот и прошел отпуск, думай я. Тяжелый, страшный и одновременно такой удачный месяц! Я вспомнил о рукописи, оставленной в Москве, и почувствовал, что стал безразличен к ней. Нет, нужно все начинать сначала. Не выдумывать несуществующее, а делать только то, что хорошо знаешь, чувствуешь. Я журналист, и мой жанр — очерк, документальная проза. Вот здесь — моя сила.

Я встал у стола, перелистал записанные страницы. Беседы с Леонидом Павловичем, с Шишкиным, с учителями, с ребятами в школе...

Я испытывал настоящее нетерпение: скорее, сейчас сесть за стол.

Школа Прохоренко на первый взгляд ничем не отличалась от других школ. Чуть спокойнее было в коридорах, чуть больше порядка в кабинетах.

Особое впечатление на меня произвел гараж — тут стояло четыре мотоцикла — приобретение школы после трудового лета.

Леонид Павлович объяснил:

— Так захотела дружина. Я не был согласен, но настаивать на другом не стал. Коллектив имеет право принять решение.

Я напомнил Прохоренко о главной, как он говорил, мечте детства — стать гонщиком. По крайней мере тренером гонщиков он мог бы теперь стать.

Леонид Павлович признался:

— Клянусь, Виктор, когда я в роли старшего смотрю, как они гоняют на мотоциклах, то у меня холодеет кровь. Невольно начинаю чувствовать себя их отцом, матерью и бабушкой одновременно.

С ребятами Леонид Павлович держится отлично, выглядит скорее их старшим товарищем, а не педагогом. Перед тем как познакомить меня с несколькими мальчишками «из своих», он рассказал коротко их предысторию:

— Те, что придут, — моя гордость. У каждого в прошлом по несколько приводов в милицию. Зато теперь один из них школьным плебисцитом, как в Риме, выбран председателем совета дружины.

— Щукин? — вспомнил я. — О нем мне рассказывал Венямин.

— Да, — подтвердил Леонид Павлович. — Перед пионерским лагерем я не очень-то надеялся на него; меня пугали в детской комнате милиции. Сказали: просчитаетесь, этот экземплярчик обработке не поддается.

— На что же вы надеялись?

— На гипертрофированное честолюбие. Обычный психологический расчет. Я рассуждал так: раз уж эти молодцы захватили власть на улице, стали вожаками, то организаторские способности у них есть. Значит, моя задача не очень сложна: направить их энергию в нужное нам русло.

Леонид Павлович порылся в своих бумагах, протянул мне телеграмму председателя колхоза.

— Заработали две тысячи рублей! — ахнул я.

— Да. И, учтите, ребят в лагере было меньше ста человек. В этом году я собираюсь взять вчетверо больше.

Он спрятал телеграмму.

— Впрочем, не это, конечно, главное. Теперь мои мальчишки стали полноправными членами здорового коллектива, вот что отрадно.

В дверь постучали. Я с любопытством разглядывал вошедшего мальчика. Маленький, беленький, с некоторой рыжиной. «Подсолнух», — подумал я.

— Петр Луков, — серьезно представил его Леонид Павлович. — Деятельный, энергичный человек, моя опора.

Луков оказался непоседой. Бухнулся в продавленное кресло. Смутился. Вскочил на ноги.

Он еще не сказал ни одного слова, но характер мальчишки был ясен. Он пристально следил за директором, будто бы ждал для себя какого-то важного приказа.

Второй мальчик пришел несколько позже — это был антипод Лукова: высокий, стройный, с голубыми глазами и длинными черными ресницами. Взгляд прямой, неподвижный, холодный, пожалуй. Улыбка сдержанная. Щукин будто бы боялся себя распустить, кривил уголок рта.

Леонид Павлович взглянул на часы, спросил:

— Я вам, надеюсь, не нужен? Ребята смышленые. Все сами расскажут.

Я подождал, когда за ним закроется дверь.

— Вы познакомились с Леонидом Павловичем в пионерском лагере?

Луков хотел ответить, но не решался. Видно, между ними еще существовала уличная негласная субординация.

— Да, — сказал Щукин.

Дверь приоткрылась, и Прохоренко заглянул в кабинет.

— Юра, — обратился он, — я забыл предупредить: Виктор Михайлович — мой друг, будьте с ним откровенны.

Он исчез.

— Можно, я? — Луков поднял руку.

Я рассмеялся от его непосредственности.

— Конечно.

— Мы с ним в милиции познакомились.

— И он вам сразу понравился?

Оба прыснули.

— Очень! Юрка тогда сказал: «Мы у этого хмыря машину разуем. Пусть кузов на плечах носит, полезно для здоровья».

— И разули?

— Нет, — улыбнулся Щукин. — Скорее, он нас разул.

— Расскажите что-нибудь о лагере...

Я боялся спугнуть ребят, не вынимал блокнота.

— Хоть два кило, — согласился Луков. Он взглянул на Щукина.

— Рассказывай, — кивнул тот.

— Про что?

— Про курево, можешь про побег...

— Так это же ты лучше...

— Рассказывай, — повторил тот. Сел поглубже в кресло, сложил руки на груди и с какой-то забавной начальственной

невозмутимостью приготовился слушать знакомую лагерную историю.

— Можно, я кое-что запишу? — спросил я их.

— Хоть два кило, — повторил Луков.

Зазвонил телефон. Я снял трубку, думая, что это наконец Леонид Павлович, но на другом конце провода оказалась женщина. Ее голос дребезжал, как у молодых актеров, которым приходится играть стариков.

— Попросите, пожалуйста, корреспондента газеты.

— Да, — удивился я.

— С вами говорит учитель математики Кликина из Второй школы, — представилась она.

Я на всякий случай черкнул фамилию в блокноте.

— Слушаю вас...

Она молчала, а я пытался вспомнить, не была ли она среди тех, с кем меня успел познакомить Прохоренко. Нет, математика я не видел.

— Вы были вчера в нашей школе?

— Да.

Мне не понравился ее тон: какая-то чересчур категоричная, почти прокурорская интонация мало сомневающегося в себе человека. Я старался отвечать предельно благожелательно.

— Мне необходимо встретиться с вами. Думаю, и вам это будет полезно.

— К сожалению, сегодня я уезжаю в район.

— А вернетесь?

— Не раньше среды.

— Хорошо, — сказала она. — Давайте в среду.

Мы назначили место и время. Опыт журналиста подсказывал, что нет ничего ценнее, как встретиться не только со сторонниками своего героя, но и с его противниками. Это придает материалу настоящую остроту и полемичность.

Я ничего не знал о ней, но подумал, что она наверняка из тех, с кем Леонид Павлович вынужден воевать всерьез. Ну что ж, интересно понять аргументацию и недругов бесспорного для тебя дела.

Только обидно, если ее аргументы окажутся склокой. Вот, мол, имела тридцать лет безупречного стажа, сотню благодарностей в приказе, а пришел мальчишка и сразу полез в наставники, пытается доказать, что учить нужно иначе.

Опять зазвонил телефон — на этот раз Прохоренко.

— Куда вы пропали? — налетел я на него. — Мы через час обещали быть у мамы... Теперь со школой не выйдет.

Он подтвердил:

— Да, в школу мы уже не успеем. Можно после, когда вернетесь из Енюковки.

— У него был очень усталый голос.

— Идите к маме, а я приеду в больницу, как только освобожусь. Это будет часов в пять, в половине шестого.

— Так долго?

— Да, раньше не успеть.

Он подумал и предложил:

— Нет. Лучше я позвоню в отделение и попрошу передать Анне Васильевне, что мы задерживаемся, заедем позже. А вы, если у вас есть дела, занимайтесь ими...

— Можно и так.

— Отлично, — бодрее сказал он. — Я заеду. Ждите.

Он повесил трубку, будто куда-то спешил. Что-то у них там случилось, подумал я.

Стало грустно, что и такой человек, как Леонид Павлович, не может спокойно заниматься своим делом.

Я открыл блокнот и в который раз перечитал самые интересные свои записи. Материала для очерка было с избытком. Я подумал: если хорошо пройдет первая статья, возьму командировку и приеду вторично. Нужно набрать больше фактов с расчетом на книгу.

Глава одиннадцатая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

На этаже ни души. Школа будто вымерла. Я прошла по коридору — где-то тут в пустом классе занимается Завьялов. Хотела заглянуть, но не решилась: могу помешать.

Против лестницы — доска объявлений. Газета «Пионерская правда». «Молния»: «Все на сбор металлолома!» Самодельная карта Вожевска разделена на районы. Каждому классу — район.

Ищу кварталы, где «воюет» мой седьмой «А». Вот, покрашено зеленым. Каждый день я проходила тут, но ни мастерских, ни заводов не видала. Откуда взяться металлолому?

Вышла на улицу. Пересекла маленький грязный сквер, в центре которого стоят скамейки с выломанными досками. Сыро. Под ногами вода. Она выступает из почвы, обволакивает грязью сапоги, чавкает и хлюпает при каждом шаге.

Где-то рядом мои. Позернула налево, заглянула в ближай-
шие подворотни. Беспокоюсь чего-то. «Да бог с ними, —
говорю себе. Но тут же: — И все-таки нужно поглядеть!..»

Задержалась у автомата. Может, позвонить Люсе? А за-
чем?

Прохожу вдоль деревянного забора, за которым высится
опустевший четырехэтажный дом с облупившимися стенами
и черными, как после артобстрела, провалами окон. Его не-
давно поставили на капитальный.

Во дворе что-то ухнуло и зазвенело. Раздался знакомый
мальчишеский голос:

— Порядок! Сильнее! Эх, мазины! Толкайте сильнее!..
Это кто-то из наших.

Я вошла в подворотню. Напротив, на горе щебня, стоял
маленький Луков, размахивал руками, командовал. Забав-
ный человек. Все время в кого-то играет. У меня в Игловке
был похожий на него Костя Капитонов.

— Э-эх, мазины-раззявы! Каши мало ели. Кидайте же,
кидайте!

Заскрежетало железо. Я высунула голову и тут же отсту-
пила назад. Прямо надо мной, раскачиваясь, висела газовая
плита.

— А ну взяли! Все вместе!

Опять заскрежетало. И плита вместе с листом железа,
прикрывавшим подоконник, рухнула, обдирая штукатурку.
От грохота у меня заложило уши, и я секунду стояла оглу-
шенная, как после взрыва.

— Давно бы так, — сказал Луков и вытер лоб, словно
сам работал. — Забирай, — приказал он кому-то, кто стоял
на лестнице, — да поживее!..

Я наконец вышла из укрытия. Луков без всякого удивле-
ния поглядел на меня.

— Отойдите, Мария Николаевна, а то испачкают. У нас
черная работа.

С тачкой подъехали Иванов и Чижиков, к ним подбежали
еще трое. Плита была сплющена от удара о землю, и из нее
торчали размозженные железяки.

— Давайте грузите! За ножки, одним махом!..

— Там есть еще плиты? — спросила я.

— Сколько угодно, нам рекорд обеспечен. Считайте сами:
дом тридцатидвухквартирный, да еще батареи снимем, если
удастся. — Луков рукавом вытер нос. — Ломать вот трудно.

— И много уже успели?

— Ерунда. Всего пока штуки четыре. Но сейчас пойдет
веселее, мы теперь знаем, в каком месте бить ломом. —

И Луков улынулся, как взрослый, удовлетворенный своим значительным делом. — Первый блин всегда комом.

— Я погляжу, что там у вас творится, а ты пока попроси ребят, чтобы не кидали.

Луков подумал и согласился.

— Эй, там, на верхотуре! Перерыв на две минуты. Марья Николаевна хочет подняться.

Я подошла к двери, но Луков вдруг решил:

— Подождите, я с вами.

На первом этаже никаких следов разрушений не было. Зато на третьем и четвертом лежали содранные батареи, снятые бачки от туалетов, вывинченные дверные ручки. Я остановилась надо всем этим потрясенная. Вот чего я боялась! Боялась варварства.

Чего стоили все мои половинчатые предостережения на педсовете? Нужно было смелее говорить с Прохоренко, доказывать. Как теперь исправлять ошибки?

Я снова услышала скрежет железа, и в пролете пятого этажа показалась эмалированная спинка плиты.

— Перестаньте сейчас же ломать! — крикнула я.

— У нас нет времени, — объяснил Луков. — Больше мы ждать не имеем права.

Я сказала как можно тверже:

— Сейчас же собери класс, понял?

Он не ответил, пришлось повторить снова.

— Ладно. Только быстрее. — Засунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. — Прекратите работы, идите сюда, тут Марья Николаевна что-то хочет...

Я ждала, когда соберутся ребята. Перемазанные и вспотевшие, они окружили меня. Я спросила:

— Как вы думаете, что сейчас здесь происходит?

Семидолова удивленно поглядела на меня, не понимая вопроса. Лева Жуков покраснел и, потупившись, ответил:

— Собираем металлолом.

— Это?

Я показала на разбросанные батареи.

— Да.

— Согласна. Но когда это стало металлоломом? Теперь, после того, как вы их сломали.

— Но дом идет на капитальный. Тут все равно привезут другие плиты и батареи.

— Скажи, — я повернулась к Лукову, — когда у тебя разорвется ботинок, ты и брюки выбрасываешь? Ты же носил их одновременно. В доме будут менять полы, возможно,

крышу, но плиты! Тридцать две хорошие плиты и сотня батарей — разве они кому-то мешали?

— Но что же теперь делать, Мария Николаевна? — Лена с ужасом поглядела на меня.

— Прекратить...

Это взорвало Лукова.

— Дом идет на капитальный, все равно выбросят. — Он повернулся к мальчишкам. — Сейчас же по местам, иначе потеряем рекорд. Мы сегодня учителям не подчинены. А вы, Мария Николаевна, идите к Щукину и с ним говорите.

Ребята стали расходиться. Я видела гордость в их глазах: они были довольны своим командиром. Не каждый сможет так сказать учителю. Я закричала:

— Сейчас же прекратите работы! Я запрещаю вам, появля!

Все повернулись не ко мне, а к Лукову.

— Как это запрещаете? Вы нам не начальник. Идите в штаб и там договаривайтесь. По местам и за работу! — крикнул Луков. — Иначе будете иметь дело со штабом.

Я осталась одна. Сверху опять доносились глухие удары — видно, ребята сбивали чугунные батареи. Нужно было спешить.

Первый телефон-автомат проглотил две копейки, на втором трубка была срезана, теперь до школы оставалось не больше квартала. Нужно немедленно привести сюда Прохоренко. Это убедительнее всех моих возражений.

Пробежали с веселым гиканьем восьмиклассники. Весь отряд был впряжен в тачку, на которой громоздился железный бак для мусора. Рослый Мальцев, их председатель, стоял на нем и размахивал кнутом, подгонял бегущих.

— Мария Николаевна, садитесь! — крикнул он. — Такси сработано еще рабами Рима!

Отчего так все вышло?

Прохоренко сделал ставку на честолюбие, жажду власти — на худшее, что было в ребячьих главарях.

Я опять думала об Игловке, о наших военных играх. Как увлекались ребята! И бои были, и разведка. За десять километров проникали в тыл противника, доставляли любые сведения.

Я невольно вспомнила такой случай. Как-то ранним утром влетел ко мне Андрей Андреевич: проснулся, а его участок, почти двенадцать соток земли, вспахан и засажен картошкой.

— Это возмутительно! — кричит. — Было решено помогать фронтовикам, инвалидам и пенсионерам.

— А вы; — спрашиваю, — разве не подходите по этим пунктам?

Он так саданул дверью, что чашки зазвенели.

Да, мы играли, думала я, но, кроме игры, было и другое. наше «Игловское бюро добрых услуг», пострянная помощь людям... Прав был Бобров, когда говорил о Гайдаре...

Не раздеваясь, я вошла в канцелярию, но меня не пропустили.

— Подождите, Мария Николаевна, — попросила секретарша, — у Леонида Павловича инспектор.

Я взмолилась:

— Но хотя бы предупредите, что я здесь. Дело не терпит.

Она пожала плечами, но все же встала и скрылась за дверью директорского кабинета.

— Просил подождать, — сказала она сухо, села и тут же стала печатать на машинке.

Я ходила из угла в угол, стояла у окна, разглядывала с болью, как подъезжают один за другим «добытки» из разных классов. Подвезли сломанные плиты, сгрузили.

Двое, раскрасневшиеся от работы, волокли чугунную крышку от люка. Они то тянули ее по земле, то поднимали и несколько шагов пробегали по двору, а затем бросали, изнемогая.

Минут через пять Прохоренко вышел из кабинета и извинился:

— Простите, Мария Николаевна, — сказал он. — Мы не могли прерваться. Но что случилось?

Я волновалась.

— Леонид Павлович, — без обиняков начал я, — нужно срочно остановить ребят.

— То есть?

Он хмурился.

— На Ленинградской. Они орудуют в доме, который поставлен на капитальный.

Его возмутило это слово — орудуют.

— Трудятся, хотите сказать вы?

— Разве это труд?! Они ломают газовые плиты, батареи, краны, тащат мусорные баки. Взгляните в окно — те двое только что приволокли крышку от люка...

Прохоренко метнул взгляд на инспектора.

— Не будем пороть горячку, — совершенно спокойно и тихо, будто бы пытаясь успокоить меня, больную, попросил он. — Думаю, все не так страшно. Вот, Вера Федоровна, типичный пример демагогического подхода к делу. Штаб готовил операцию, серьезно ее продумал. Мы рассчитывали,

что работа дружины окажется большой помощью строителям. Я не поехал туда специально. У меня нет оснований не доверять ребятам.

— Но взгляните, как они действуют! Только ломать, рушить, и ни одной мысли, что это может еще пригодиться кому-то...

— Конечно, надо посмотреть, но я убежден, что вы преувеличиваете, как обычно.

Я могла понять желание Прохоренко все сгладить, но теперь, мне казалось, не до дипломатии. Нужно было действовать, а не говорить комплименты друг другу. Тем более что многое еще можно исправить.

— Вы сколько еще будете здесь заняты, Вера Федоровна?

— Минут пятнадцать, а потом и я бы с вами подъехала...

— Прекрасно. Тогда я попрошу вас, Мария Николаевна, подождать немного в учительской или в своем классе...

Я поднялась и нерешительно пошла к двери, все еще опасаясь, что выезд затянется.

— Да не волнуйтесь вы, дорогой мой учитель, все окажется в полном порядке.

...В коридоре я столкнулась с Павлой Васильевной Кликиной. Она шла в сторону восьмого класса и, заметив меня, остановилась.

— Попробовала дать Завьялову легонькую контрольную. Если решит, так и быть, поставлю ему в четверти тройку. — Смерила меня взглядом и спросила: — А вы что — заболели?

— Нет, здорова.

— А ведь самое забавное, что еще утром думала выставить ему двойку, а вот начиталась его стихов и размякла... — Она погрозила мне пальцем. — Ну и хитрющая вы, голубчик. Знали, чем разжалобить старуху. Талантлив, очень талантлив. Мы с ним о многом уже говорили. — Она улыбнулась. — Про стихи я ему сказала, но не беспокойтесь, он принял с полным доверием.

— А тетрадь?

— Вернула.

Мы разошлись, но не успела я дойти до учительской, как Кликина позвала меня.

— Вы это можете объяснить? — сказала она, стоя у раскрытых дверей своего класса.

Я подошла. Парты были сдвинуты. Окна распахнуты настежь. В классе гуляла стужа.

— Один бы он такого не натворил, — буркнула Кликина.

Я поглядела на нее с ужасом, но она опустила глаза. Я подумала, что она о чем-то догадывается, но боится проинести это вслух.

На полу валялся портфель Завьялова. Сквозняк перебирал грязные листы затоптанных тетрадей. Одинокий листик подлетел к моим ногам. Я взяла бумажку. «Шла замученная, шла усталая, шла по улице лошадь старая...»

Я повернулась и бросилась по коридору.

Шукинский штаб находился в физкультурном зале. Я сбегала вниз. Дверь оказалась запертой.

Я постучала — мне не ответили. Я с силой потрясла дверь. И опять молчанье.

— Нет, вы откроете, — повторила я, с ожесточением налегая на дверь. Если бы у меня хватило сил, я бы сняла ее с петель.

А может, они в другом месте? Может, на чердаке? Нужно куда-то бежать, искать их. Но тут я улавливаю шепот... Я даже узнаю Шукина. Нет, я все же заставлю их открыть дверь. Заставлю. И сил у меня достаточно.

Я так дергаю, что дверь выгибается дугой. Только теперь там держат. Тогда изо всех сил я бью каблуками. Гул и грохот сотрясают воздух школы.

— Откройте!

— Что вам нужно?

— Откройте сейчас же...

И задвижка щелкает.

Шагаю через порог. Стена. Живая стена. На лицах решимость. Нет, они ни за что не пропустят меня дальше.

И тогда я иду на них. Я наступаю на эту живую стену и прохожу сквозь нее.

Они сзади. А я в пустом зале. Беспомощно оглядываю брусья, маты, коней — все как обычно. Фанерный лист у стены. Может, там? Шагаю туда и спиной чувствую, какой напряженной становится тишина.

Откидываю лист фанеры и вздрагиваю. Завьялов сидит у шведской стенки, прижимается к ней и затравленно глядит на меня.

Мы смотрим друг на друга, и я не знаю, что сказать.

— Вставай, вставай, — протягиваю ему руку.

Но он не встает. Я не могу ничего понять. Я сажусь на корточки и тогда замечаю, что руки его связаны.

— Они тебя били?

Молчит.

— Вы его били? — кричу. — Били?!

Стучит в висках.

И тут я вижу на его голове выстриженную лесенку, от самого лба и до макушки. Гады, гады!

Я должна быть злой и жестокой; такой же, как они, а я веду себя худо. Встала, как первоклассница, и размазываю слезы. Я ненавижу себя за это.

— Чуть-чуть постригли, — улыбается Шукин. — И то, Мария Николаевна, не сразу, а когда он стал плевать. Понимаете, школа работает, все как один, а он не выполняет решения нашего штаба. Тогда трибунал приговорил... Нет, нет, мы его не трогали, что вы... Мы ему почитали, чтобы не было скучно с нами сидеть.

— Что — почитали?

— Стихи. Стихи, Мария Николаевна. Понимаете, Сушкин — это же, оказывается, он сам. Вот в чем дело.

Шукин берет из рук приятеля блокнотик, хорошо знакомый мне блокнотик, и начинает листать его.

— Тут много, — объясняет он. — И главное, хорошенькие стишки. Мы же теперь понимаем, какие стишки хорошие, а какие — нет.

Завьялов так сжал веки, что морщинки образовались на его лице. Я шагнула к Шукину и вырвала стихи.

— Зачем же так грубо, Мария Николаевна?

Я развернулась и ударила Шукина по щеке. Его глаза округлились, и он несколько секунд с недоумением смотрел на меня.

— Вы за это ответите! — дрогнувшим голосом выкрикнул он.

— Возможно. Но никогда не пожалею.

Мне стало легче. Я приказала ему:

— А теперь развяжи.

Он оглянулся на всех, но они молчали. Тогда Шукин пошел к Завьялову. Присел. Дернул за веревку. Я увидела красные полосы на руках.

— Идем, — сказала я.

— Тут еще стихи...

Шукин торопливо поднял несколько листков и протянул мне. Я забрала их бросилась по коридору за Сергеем.

— Подожди...

Он провел рукой по голове, будто убеждаясь, что случившееся с ним — правда, и вдруг крикнул:

— Ну что вы хотите? Что? Добились? Это же вы все устроили! Вы!

Он кинулся к двери, я — следом. Он бежал большими прыжками, высоко поднимая ноги, точно боялся, что его схватят.

Его необходимо было догнать. Но надо предупредить Прохоренко.

Я рванула дверь и оказалась в кабинете.

— Шукки с дружками линчевали Завьялова.

— Линчевали?

— Да, остригли, связали руки...

— Успокойтесь, — попросил Прохоренко, — Вера Федоровна бог знает что вообразит о нашей школе. Вначале — погром. Хорошо, решили съездить на стройку, поглядеть вместе. Теперь — линч. Да вы подумайте, что говорите. — Он обратился к инспектору: — Извините, пойду взгляну. Идемте, Мария Николаевна, идемте.

Он открыл дверь, посторонился и пропустил меня вперед. Остановился у кабинета физики, отпер дверь ключом и попросил:

— Зайдемте...

Я вошла — он повернул ключ, в упор поглядел на меня.

— Что вы хотите?

Я не поняла.

— Вы ненавидите нас с Люсей, ненавидите за добро, которое мы сделали для вас. Есть такие: за тепло — злоба, за ласку — гадость. Вы не можете нам простить свою неустроенность, вас все раздражает, и вы ищете повода, чтобы нас испачкать.

Я молчала.

— Какое вам дело до газовых плит, до бачков от туалета, до этого Завьялова, в конце концов? Вы только играете в принципиальность, а на самом деле все много проще. От вашей принципиальности, простите, не тем пахнет. Мы сделали для вас все. Вынули из дыры, достали квартиру, поселили у себя дома. И что же?

Я сказала:

— Откройте!

— Не волнуйтесь, я выпущу вас, — сказал он спокойнее. — Но запомните одно: вы зря надеетесь помешать моему делу. Я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило.

Он распахнул дверь, я бросилась к выходу.

Школьный двор бугрился от металлолома. Лежали батареи, ванны, плиты, замысловатые механизмы, трубы. Казалось, все городское железо, нужное и ненужное, валялось здесь. А к школе волокни и волокни трофеи. Я больше не могла думать об этом, я спешила. Перед последним поворотом моя тревога стала такой острой, что я побежала.

Выскочила из-под арки и остановилась: перед флигелем Завьяловых стояла «скорая помощь». Я ухватила рукой за штатетник и больше не могла сделать ни шага.

Двое фельдшеров вынесли носилки и вкатили их в кузов. Хлопнула дверца. И тогда я закричала, замахала руками. Но было поздно. «Скорая» с воем промчалась мимо.

Я поплелась к флигелю. Дверь была открыта. На крыльце толпились соседи, я отыскала глазами Фросю и бросилась к ней.

— Что с Сережей?

— Отравился...

Я закрыла глаза, чувствуя, что у меня подкашиваются ноги.

— Да не пугайтесь. Сказали, что не опасно, все будет, сказали, в порядке. Хватил уксусу стакан. Хорошо, что вовремя увидела. Зашла, а он не дышит...

Я повернулась и тут увидела Шуру. Она бежала без пальто, простоволосая, с безумными глазами.

— Живой? — выкрикнула она.

— Живой, сказали — не опасно.

Шура поглядела удивленно на Фросю, потом узнала меня. И с плачем ткнулась в мое плечо.

Глава двенадцатая

ВИКТОР ЛАВРОВ

Прохоренко больше не звонил. Я ходил пообедать, потом без всякого дела долго бродил по комнате.

Из больницы позвонила мама. Я поговорил с ней и решил сесть за работу.

Приход Леонида Павловича застал меня за столом.

Прохоренко спешил, казался необычно нервным, говорил торопливо, отрывисто, даже — мне показалось — избегал прямого взгляда.

Я спросил, уж не случилось ли у них чего с Люсей. Он удивился.

— Нет. Все прекрасно. Просто сегодня очень тяжелый день.

Я собрал бумаги, положил в портфель.

У администратора никого не было. Я расплатился за номер, поглядел, нет ли писем на мое имя, — оказалась открытка от Риты. Сунул ее в карман — прочесть можно будет потом.

По дороге я опять невольно подумал, что Леонид Павлович чем-то встревожен. Машину он вел плохо, то и дело переключал скорости. У светофора просто рассвирепел — ему показалось, что слишком долго не дают зеленый.

— Да, — неожиданно спросил он, — я видел в вашем блокноте фамилию Кликиной. Не ошибся?

— Звонила незадолго до вашего прихода. Просила аудиенции.

— И вы согласились?

— Когда вернусь...

— Предупреждаю, — сказал Прохоренко. — Это злобная старуха. У вас останется неприятный осадок. Я бы на вашем месте отказался от этой встречи. Впрочем, как хотите. Боюсь, что вы поймете меня превратно...

— Слушайте, Леонид Павлович, — сказал я, — неужели вы думаете, что меня так просто переубедить? Разве я не встречал склочниц? А потом... — Я почувствовал, что сейчас его нужно как-то успокоить. — Я еще не знаю, пойду ли. Может, и действительно нет необходимости с ней встречаться, тем более что очерк почти написан.

— Ну вот и приехали, — сказал Леонид Павлович. Он открыл мою дверцу. — Не торопите Анию Васильевну. — И уже вдогонку крикнул: — Привет Калиновскому!

...Мама была одета, ждала меня в приемном покое. Она поправилась, как будто даже помолодела, румянец появился на ее щеках. Такой возбужденно-счастливой я ее просто не помнил. Она говорила без умолку, обращалась то ко мне, то к Прохоренко. Весь мир она любила сегодня, и когда вспомнила о Рите, то сказала, что очень хотела бы ее увидеть.

— Что-то у вас не так, Виктор, — сетовала она. — Вот приеду, разберусь, да и выпорю вас обоих, чтобы дружно жили.

Я вспомнил об открытке, и мама сразу же вцепилась в нее, стала читать вслух.

Рита, как всегда, писала по-деловому. Просила, когда вернусь в Москву, позвонить ее шефу, что она выйдет на неделю позже: в Сочи у нее был грипп, теперь она хочет до конца использовать свой отпуск.

Единственно, чего не хватало в письме, — это вопроса о маме. Я сразу заметил, какими неподвижно-сосредоточенными и грустными стали ее глаза.

— А помнишь, Витя, — неожиданно спросила мама, — у тебя была замечательная девушка в институте? Маша. Она мне так нравилась! Ах, какой это был милый человек, Леонид Павлович, если бы вы знали! Прямая, немного резкая,

но честная до вреда себе, есть такие натуры. Я ей во всем верила. Как-то по-женски чувствовала, что такая не обманет. — Мама мечтательно улыбнулась. — Я тогда чуть ли не молпла, чтобы ты женился на ней.

Я повернулся к Прохоренко.

— Леонид Павлович, вы говорили, что Струженцова в Вожевске?

Он не ответил.

— Что было, то было, мама, — сказал я. — А человек она действительно редкий. Только в юности мы мало что видим.

— Нет, — не успокаивалась мама, — тебе нужно с ней встретиться. Ну хотя бы перед отъездом. Не знаешь, она замужем?

— Кажется, нет.

— Значит, и у нее не сложилось, — вздохнула мама.

Только мерный шум мотора нарушал наступившую тишину. Прохоренко неотрывно глядел вперед, — я видел, как напряженно его руки сжимают руль. Каждый думал о своем. Мама кивала каким-то своим мыслям, а я снова, в которой раз, думал о нас с Машей. Да, могло бы выстроиться все в жизни иначе, могло бы! Прошное настигало меня, никогда, как бы я ни старался уйти от него, не оставляло совсем.

Встретиться, думал я. А зачем? Глупо ворошить старое, у каждого из нас своя жизнь...

Я решил перевести разговор на другую тему и предложил прочесть кусочек из очерка. Дорога была хорошей, и машина шла ровно.

— Правда, — сказал я, — это не в моих правилах. Я никогда не читаю незаконченных вещей. Боюсь сглазить.

— Витька, да ты суеверный! — Мама засмеялась. — А ну читай. Я хочу знать, что ты написал про Леонида Павловича.

Ей не терпелось сделать что-то особенно приятное для Прохоренко.

Я достал листы. Маме нравилось все, что я успел написать. Леонид Павлович долго молчал даже после того, как я закончил.

— Вы не представляете, Анна Васильевна, — как-то беспомощно пожаловался он маме, — сколько у меня недоброжелателей.

— А вот напечатают Витин очерк, — пообещала она, — и все сразу стихнут. Да еще извиняться приползут.

Я рассмеялся, крепко обнял маму и поцеловал. Какое счастье, подумал я, что мы едем в Енюковку, что все страшное позади.

- По секрету, мама, — шепотом сказал ей, — это только первый шаг. Я мечтаю написать о Леониде Павловиче книгу. Она обрадованно всплеснула руками:
- Неужели?
- Клянусь! — торжественно произнес я.

Глава тринадцатая

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Суббота оказалась такой длинной, что превратилась в бесконечность. Неужели все случилось сегодня? И история с Сережей? И разговор с Прохоренко? И то, что сказал доктор...

Я бродила по комнате, перебирала книги, сметала пыль с полок, а сама мысленно возвращалась к одному и тому же.

Мы стояли в детской больнице, в приемном покое, и старались не мешать сестрам. Проходили врачи в халатах, брали истории болезни, шутили, предлагали друг другу завтрак, наливали горячую воду из титана и исчезали, оставляя за собой запах эфира. Ни меня, ни Шуры, ни Прохоренко они будто не замечали. Но я знала: когда Сереже станет лучше, они скажут.

Прохоренко сидел согнувшись, локти упирались в колени. Со мной он старался не встречаться взглядом. Иногда он поднимался и уходил куда-то по коридору. Шура вздрагивала и тревожным взглядом провожала его, пока дверь за ним не закрывалась.

Возвращался Прохоренко такой же мрачный — видно, ничего утешительного там не говорили.

Появился врач, почти юноша, в халате, надетом на голое тело, с закатанными рукавами, с папиросой во рту, которую он жевал и, перед тем как сказать слово, перегонял ее из одного угла рта в другой.

— Вот что, мамаша, — сказал он Шуре. Мы встали. — Думаю, обойдется. Теперь мы за него отвечаем.

Шура заплакала.

— Ну будет, будет, — сказал он сухо.

— Идите, Александра Михайловна, — обратился Леонид Павлович к Шуре. — Я хотел поговорить с вами.

Шура нерешительно поглядела на меня.

— Может, вы тоже?

— Нет, — отрезал Прохоренко.

— Тогда до завтра, Мария Николаевна, — и она протянула мне руку.

Я осталась. Врач подошел к барьеру, за которым сидели сестры, и заговорил с ними.

— Простите, доктор... можно быть спокойной?

— Спокойной? — он резко повернулся. — За себя?

Я почти бежала к дому, там хоть ждал меня Вовка. Только разве ему расскажешь? В Вожевске не было Андрея Андреевича, никого здесь у меня не было...

Завьялов лежал на больничной койке бледный, с круглой остриженной головой. Устало, не по-детски глядел на меня.

Сестра принесла лекарство, сказала, что пришел еще посетитель.

Я подумала, что это, наверное, Леонид Павлович, хотела выйти. Дверь приоткрылась, и в палату вошел Прохоренко.

Он поздоровался с больным, пожал руку Шуре, кивнул мне, шепотом спросил:

— Ну как? Лучше? — и пристроился на краю кровати.

— Принимай подарки.

Положил пакет. Яблоки выкатились, одно упало на пол. Леонид Павлович поднял его, отложил в сторону.

— Это придется вымыть, а остальные чистые. — Потом поставил банку компота. — Он любит? — спросил у Шуры.

— Любит, спасибо.

— Ну вот, — сказал Прохоренко. — Давай поздороваемся для начала.

Мне показалось, что Сережа стал бледнее. Он испуганно смотрел на директора.

— Здравствуйте.

— Э, нет, — весело перебил его Леонид Павлович. Размахнулся, но не ударил, а мягко опустил ладонь на ладонь Сергея: — Кто же так здоровается, братец-кролик?

Он повернулся ко мне.

— Помните, Мария Николаевна, у Новикова-Прибоя, кажется, был офицер, которого называли «пять холодных сосисок» за то, что он вяло подавал руку? Нет, я бы не хотел, чтобы к тебе прилипло такое имя.

Сережа молчал.

— Ладно, — мирно сказал Прохоренко, — я пошутил, не обижайся. Я понимаю, тебе худо. И нам с Марией Николаевной нехорошо, честное слово. И дело не в том, что кого-то накажут, — меня убило, что все это случилось в нашей школе... — Он махнул рукой. — Ну, не будем. Разговор грустный, давай о чем-нибудь другом. — И повернулся ко мне: — Мария Николаевна, мы завтра поговорим с учителями. А ты,

Сережа, собери все силы. Как только окрепнешь, подошлем к тебе педагогов. Я уже поговорил с главным, он обещал предоставить свой кабинет для занятий.

— Это хорошо, — сказала я.

— Ну, — он погладил Завьялова по голове, — будем заниматься?

— Будем, — сказала Шура, так и не дождавшись ответа сына.

— По поводу ребят не волнуйся. Это я беру на себя. Никто тебя больше не обидит. А прически у всего седьмого «А» с сегодняшнего дня — под ноль, как у настоящих солдат.

В уголках Сережиных глаз набежали слезы, он прикусил губу.

— Отставить! — сказал Прохоренко. — Нужно быть мужчиной. Договорились? Я не хочу, чтобы тебя называли «трагическая личность».

Он рассмеялся и объяснил больным мальчишкам, которые молча за ним наблюдали:

— Я в армию попал чуть ли не таким, как он. Немного постарше. После десятого класса. В сорок четвертом. И вот у нас во взводе появился солдат, которого старшина прозвал «трагическая личность». Сапогов фамилия. Понимаешь, — сказал он Сереже, — с ним постоянно что-то случалось. Дрова колет — по коленке тукнет, воротничок пришивает — уколется. И вот, представь, в один день, не скажу чтобы в прекрасный, мы оказались на заминированном болоте. И кому-то нужно было идти первому, чтобы провести за собой взвод, а остальные могли бы тогда по его следам двигаться. Построил нас командир и спрашивает: «Есть добровольцы?» — «Есть», — говорит Сапогов и делает не шаг, а два сразу. Командир поглядел на него недобольно, покачал головой. «Тебе, говорит, Сапогов, нельзя ни в коем разе. Ты, говорит, Сапогов, не то что на минном поле, ты всюду можешь взорваться». — «Нет, клянется Сапогов, не взорвусь».

Рыжий мальчик, чья кровать стояла у окна, рассмеялся. Прохоренко громко поддержал его. Он делал вид, что не замечает мрачности Завьялова.

— Ну, я пойду, пожалуй, — сказал он.

— А что же Сапогов? — сразу спросил рыжий. Он вылез из-под одеяла и с открытым ртом слушал Леонида Павловича.

— Ага, интересно! — воскликнул Прохоренко, поворачиваясь к рыжему. — И вот, представь, болото метров четыреста — пятьсот, всюду мины, а Сапогов идет спокойно, оглядывается, иногда да улыбается. И, знаешь, вывел.

Я подумала, что в уме и ловкости Прохоренко не откажешь. Он ни разу не взглянул на меня, чувствовал, что я слишком хорошо его понимаю.

— А знаешь, отчего я про Сапогова вспомнил?

Прохоренко опять поглядел на Сережу, ласково похлопал его по руке.

— Отчего? — моментально спросил рыжий.

— Да потому, что Сапогов очень на Сережу похож. — Он вздохнул. — Сила духа в нем была поразительная.

— А он жив, Сапогов-то? — опять встрял рыжий.

— Жив, — сказал Прохоренко. — Герой Советского Союза. Он всем кивнул и вышел, больше не поглядев на Сергея. Ребята о чем-то зашептались, а мы с Шурой молча сидели на кровати.

— Ну что, Сережа, притих? — сказала я, преодолевая какую-то неловкость.

— Думаю.

— О чем?

— Да так... — И вдруг он поднял на меня глаза, полные слез. — Я не верю ему, Мария Николаевна. Это неправда все с Сапоговым, это он выдумал...

— Да что ты, Сереженька! — испуганно заговорила Шура. — Разве можно такое, он ведь директор.

— Это он все нарочно... — всхлипнул Сережа. — Не верю я ему, не верю...

В учительской уже знали о случившемся. И все же не успела я войти, как на меня набросились с расспросами.

Павла Васильевна стояла в стороне, хмурилась. И вдруг я почувствовала, что мой голос зазвучал слишком громко, будто через усилитель, а на лицах появилось выражение непричастности. Я обернулась. В дверях стоял Прохоренко. Он направился ко мне.

— Мария Николаевна, у вас, кажется, пять уроков?

— Да.

— Тогда давайте сразу же после пятого соберемся у меня. Позже я уеду. В горно вызывают. — Он отыскал глазами пионервожатую, сказал ей: — И вы, Галя, обязательно. Еще Щукин, Луков, весь совет дружины.

Прохоренко коротко поглядел на Кликину, вздохнул.

— С Завьяловым худо вышло. Очень худо. Правда, врачи уверяют, что все обойдется, да я и сам его видел в больнице, выздоравливает как будто, а все же неприятно...

Зазвенел звонок. Учителя стали расходиться по классам. Я взяла журнал, хотела идти, но Кликина отозвала меня:

— Что будет дальше с Завьяловым?

Я сказала уклончиво:

— Прохоренко обещал организовать занятия в больнице.

— Предположим. А дальше?

Я не ответила.

— Неужели вам еще не ясно, что мальчишку нужно перевести в другую школу?

— Но отметки! Он так отстал, а теперь отстанет еще больше...

Она смерила меня холодным взглядом.

— Понятно, голубчик. Только на что же мы-то с вами?

Уроки тянулись. Я старалась давать ребятам больше самостоятельных работ, чтобы у меня была возможность все обдумать. Сидела за столом, смотрела в окно, слушала, как скрипят парты.

А погода на улице опять никуда — хмарь. Деревья голые, сиротливые, будто заброшенные.

Коица пятого урока еле дождалась — было непонятно, что решил Прохоренко. А когда прозвенел звонок, ко мне подошла мама Лены Стрельчиковой, пришлось немного задержаться.

В кабинете Леонида Павловича собрался совет дружины, учителя и пионервожатая.

Щукин стоял у окна красный, губы сомкнуты, на скулах нервные желваки, — видно, разговор шел серьезный.

Прохоренко взглянул на меня неодобрительно.

— У Щукина будет возможность снова заслужить доверие дружины, но пока... Впрочем, пускай Юра ответит нам, считает ли он себя правым?

— Не считаю, — буркнул Щукин.

— Ах, не считаешь! — воскликнул Леонид Павлович и обвел всех глазами. — А ты думаешь, мне не больно говорить тебе это? Да понимаешь ли ты, как я и вся школа радовались твоим успехам, гордились, если хочешь, тобою? Мы же доверили тебе полтысячи человек! — Он устало добавил: — Иди. Подумай.

Прохоренко опустил голову, ждал, когда все оставят его кабинет.

Я тоже поднялась, но Леонид Павлович сделал быстрый жест рукой.

— Нет, вы останьтесь.

Он так и не взглянул на меня, сидел, уперев локти в стекло письменного стола, ладонями сжимал виски.

Я придвинула кресло. На школьном дворе тарахтели машины, убирали сваленный в субботу металлолом.

Прокоренко встал, дошел до окна, повернулся.

— Ну, — спросил он резко, — что теперь прикажете делать?

Я хорошо помнила субботний разговор с ним, сказала:

— Теперь остается только исправлять ошибки.

— Да, придется исправлять, — согласился он и прошелся по кабинету. — Давайте, Мария Николаевна, подытожим ваш опыт работы. Чего вы добились за полтора месяца? — Он загнул палец. — Завьялов, ученик вашего класса, пытается кончить жизнь самоубийством. Может быть, вы в этом не виноваты? Но тогда скажите, кто все время говорил о какой-то его исключительности? Кто внушал ему — вольно или невольно, что, он, Завьялов, жертва? — Он покачал головой, будто не хотел заранее определять характер фактов. — Вы, Мария Николаевна, только вы. Но это не все. Вы умудрились восстановить самую активную часть класса против себя. Именно чтобы насолить вам — вот мое мнение, — они пошли на крайнюю меру с Завьяловым. Так что и здесь вы главный виновник. И, наконец, вы ударили ученика. Это уже уголовно наказуемое преступление.

Он замолчал, ожидая моей реакции, но я молчала.

— Совершенно ясно, — сказал он, — что вы не только не сможете работать в нашей школе, но и не имеете на это права.

Я безразлично поглядела на него.

— Вам остается одно — подавайте заявление об уходе.

— Вот уж не смогу вас обрадовать...

Он удивился.

— Тогда я уволью вас приказом. Неужели вы не видите, что причин для этого больше чем достаточно?

— Увольняйте, — сказала я, — но и я попробую объяснить положению в школе так, как я его понимаю.

— Ради бога! Я, правда, мало верю в ваш успех, но если вас даже захотят восстановить, я сопротивляться не стану. Пожалуйста, возвращайтесь. — Он сощурился и с явным презрением бросил: — Но вы придете ко мне в другом качестве, уволенная. И тогда, Мария Николаевна, соотношение сил станет иным. Подумайте, каково вам будет работать.

Я поднялась и пошла к выходу. Он, видимо, ждал другой реакции, хотел увидеть мою растерянность, слабость.

Скрипнул стул.

— Стойте! Еще не все. Я должен внести полную ясность, чтобы больше к этому не возвращаться.

Он жестом пригласил меня приблизиться. Подождал, но я так и осталась около двери.

— Я об этом не хотел говорить, но вынужден. — Он развел руками. — Недавно я и моя жена были буквально потрясены. Мать Завьялова, ссылаясь на вас, предложила нам взятку.

Он помолчал, видно наслаждаясь моей растерянностью.

— Да, она рассказала, что вы одеваетесь с ее помощью, заводите темные отношения с продавцами, отсюда и такое участие к их детям...

Он подошел ко мне почти вплотную.

— Мало того, что вы сами оказались бесчестной, но и нас попытались запачкать. У меня двадцать лет педагогического стажа. Я работал на селе, в институте, здесь, в школе, и никогда, запомните, никогда даже в мыслях не допускал такой безнравственности!

Голос Прохоренко звенел, а я с ужасом глядела на человека, который совсем недавно казался мне воплощением порядочности и доброты. Наконец я нащупала за спиной ручку двери и выбежала из кабинета.

Глава четырнадцатая

ВИКТОР ЛАВРОВ

В Вожевск я решил вернуться не в среду, как обещал Кликиной, а в следующий вторник. Мама была совершенно беспомощна после операции — ни поднять тяжелого, ни воды принести. Я должен был провести у нее несколько последних дней своего отпуска.

Из сельсовета я позвонил в справочную Вожевска, и меня легко соединили с квартирой Кликиной. Подошел ее муж, я попросил его передать, что встреча откладывается.

— Во вторник, в том же садике, в двенадцать дня, — сказал я.

Он, наверное, взглянул в расписание жены и подтвердил, что такое время для нее возможно.

Потом я набрал номер Прохоренко. И Люся, и Леонид Павлович обрадовались звонку, оба они горячо уговаривали меня не спешить в город, подольше побыть с мамой.

Очерк я заканчивал, оставалось только уточнить детали да стилистически доработать отдельные куски.

В последние два дня мне уже совершенно нечего было делать в деревне. Я слонялся из угла в угол, не мог найти

для себя работы. Перечитал очерк. И, пожалуй; из-за скверного настроения материал показался мне хуже — какой-то сахарный гимн вожевскому учителю. Леонид Павлович в моем рассказе как-то уж очень легко и красиво поднимался по воспитательским ступеням. Это была скорее прогулка к вершинам славы, а не путь труженика. Здесь нет глубины, анализа, думал я, нет остроты и трудностей.

Стало досадно за свою легкомысленную работу. Вспомнилась московская рукопись, заключение рецензента. Неужели я не преодолею в себе эту скоропечность и несерьезность?

Я опять вспомнил о Кликиной. Конечно, как журналист я не имел права пренебрегать такой встречей. Все, буквально все можно обернуть на пользу очерку, а значит, и Леониду Павловичу.

Утром во вторник мама, как прежде, поднялась чуть свет, и в доме снова запахло яблоками и пирогами.

Я мысленно прощался с домом, бросил взгляд на старую фотografiю над письменным столом: я ли тот мальчик, стриженный «под ноль», прижимающий к груди учебник «Родная речь» для третьего класса?

Автобус уже мчал меня в Вожевск, а я все еще не мог забыть расстроенного лица мамы, дядьку с поднятой рукой — застыл на дороге, забыл опустить. Так мы с ним и не поговорили толком о жизни: не хватило времени.

Остался позади енюковский лес. Скрылась деревня.

Обычная дорожная тоска охватила меня. Я старался не вспоминать о доме, глядел в окно. Осень кончалась. На оставшихся редких листьях придорожных деревьев появилась ржавчина. Снег, успевший уже дважды выпасть в октябре, местами не таял, будто бы сообщая; что зима началась.

В сквере никого не оказалось. Я поглядел на часы: свидание с Кликиной было назначено на двенадцать, а я не рассчитал и приехал в половине первого.

Уходить из сада не хотелось: кто знает, может, учительница пошла погреться или тоже опоздала.

Я сел на скамейку, достал блокнот с записями моих бесед с Леонидом Павловичем и стал соображать, нельзя ли выкроить материал для второго очерка.

Что-то тяжелое, большое дыхание заставило меня поднять голову. Передо мной стояла высокая, широкоплечая пожилая женщина, возраст которой угадать было невозможно. Она кого-то напоминала. Только позже по требовательному, жесткому выражению ее глаз я понял — Кликина похожа на тех старых учителей, с которыми приходится встречаться каждому за долгие годы учебы.

— Лавров? — спросила она.

Я встал и сдержанно поклонился.

Кликина поглядела на часы.

— Должна сказать, что больше всего не люблю в людях необязательность. Вы заставили ждать себя сорок минут.

— Автобусное расписание... — извинился я.

— Автобусное расписание есть на каждой остановке, и вы могли посмотреть его заранее.

Теперь я увидел второго подошедшего к нам человека. Это был седой, относительно молодожавый мужчина, с лицом красным, в рубцах, — такие лица я видел у горевших танкистов. Он молча подал мне руку.

— Вы приехали в Вожевск, чтобы написать о Прохоренко? — впрямую спросил он.

— Да. Хотя я приехал домой, в отпуск, и только в Вожевске услышал о вашем эксперименте.

— С кем же, кроме Прохоренко, вы успели поговорить?

— Со многими. С учителями, с ребятами, с инспектором горно, теперь вот с вами...

Я коротко засмеялся, но они продолжали хмуро глядеть на меня.

— Ну, с нами, положим, вы еще не говорили, — сказал мужчина.

— Я вас не познакомила, — перебила Кликина. — Константинов, секретарь школьного партбюро. Себя я называла по телефону.

— Очень рад, — сказал я искренне: было бы плохо, если бы я не встретился с ними. Позицию Константинова мне необходимо было знать. — А вы неуловимы! — сказал я. — Работаете в двух школах. Каждый раз, когда я спрашивал о вас, мне объясняли, что вы у соседей.

— Не так уж он неуловим, если бы вы действительно захотели его увидеть, — сказала Кликина.

— Ладно, — махнул рукой Константинов. — В конце концов, дело не во мне. Вы знаете, что вчера была уволена из школы учительница литературы?

— Нет, — признался я. — Мне и не могло быть это известно, потому что в прошлую субботу вечером я уехал в деревню.

— Вечером. Значит, вы могли уже знать о том, что произошло во время сбора металлолома?

— Что же случилось?

— Мы говорим о самоубийстве ученика нашей школы Завьялова.

— О самоубийстве?!

— О попытке к самоубийству.

— Ну, это не одно и то же!

Прохоренко, черт побери, мог бы мне сам рассказать обо всем этом, когда мы еще ехали в Енюковку. Теперь любая их информация заставляла меня врасплох.

— А про историю с фронтовыми письмами вам, надеюсь, успели рассказать? — спросил Константин. — О судилище, которое устроил Прохоренко над ребенком?

— Вы, кажется, сгущаете краски.

Кликина махнула рукой.

— В эти дни мы написали письма одновременно в гороно и в горком, — сказал Константин. — Полагаю, вам не мешало бы с ними ознакомиться... Даже если очерк о Прохоренко уже написан.

Кликина поднялась, затянула платок на шее, положила ладони на грудь, точно пыталась согреться. Вздохнула — ее астматическое дыхание стало надсаднее.

— А о том, каким способом Прохоренко поставил во главе дружины Щукина, вам известно?

— Да, вполне демократически, — улыбнулся я. — Путем плебисцита, как в Древнем Риме.

— С той разницей, что был публично унижен ребенок, бывший председатель совета дружины, тихая девочка, которая не устраивала Прохоренко.

— Я вижу, вы по-своему толкуете каждое его действие, но, может быть, нужно не мешать, а помогать директору? Ведь он пытается осуществить нелегкую задачу, и одному, согласитесь, воспитать сильный, здоровый коллектив непросто, особенно без вашей поддержки.

Кликина прошла меня взглядом.

— Коллектива в школе нет.

— Это Прохоренко говорит, что воспитывает коллектив, — спокойнее сказал Константин. — У коллектива другие законы.

— Зачем же так? — остановил я его. — Давайте попытаемся сохранить хотя бы минимальную объективность.

— Я как-то очень надеялась, что рано или поздно придет настоящий, честный журналист, который захочет глубоко во всем разобраться. Да, в руках мастера-педагога коллектив — это, конечно же, могучее средство воспитания каждой личности, но в руках холодного ремесленника... Да, да, — с силой повторила она, чувствуя мое несогласие, — в руках ремесленника это сеть, которую дети сами набрасывают на себя.

— Детский коллектив может быть бесконечно жесток... — сказал Константин. — Коллектив может стать орудием

подавления личности. Прохоренко бьет в бубен, гремит, а некоторым нравится — вон как громко у него выходит, громче, чем у других. Но сколько пользы от такой громкости — кому разобраться?

Я слушал их обоим и думал, что Леонид Павлович, которого я узнал и полюбил, которому был так благодарен за добро и чуткость, и тот человек, жестокий директор-автократ, о котором пытались рассказать эти люди, были бы непримиримыми врагами.

Да, Завьялов попытался отравиться. Но почему ответственность за это должен нести директор школы? Уж если кто и виноват, то классный руководитель.

Потом я нащупал еще одну неточность, неувязку в рассказе Кликиной о фронтовых письмах. Прохоренко позвал, не испугался позвать в школу председателя вожевского полка, ветерана войны, орденоносца. Как все не укладывалось в их одномерные рамки!

— А Жуков в каком классе? — поинтересовался я.

— В седьмом.

— В том же, что и Завьялов?

— Да.

— И этих фактов, вы считаете, недостаточно, чтобы уволить воспитателя?

Кликина тяжело дышала, тянула вверх плечи, и Константин забеспокоился.

— Пойдемте, — сказал он, снимая свой шарф и протягивая ей. — Вы совсем замерзли. Как можно с астмой!

Она почти вырвала шарф из его рук и накинула ему на плечи.

— Тогда пойдемте отсюда, — попросил Константин. — Хотя бы к автобусу.

Я предложил зайти в райком, но она вдруг сказала:

— Я прошу вас встретиться...

Она не могла произнести фразу до конца, задыхалась.

Константин жестом показал, что понял ее, и договорил сам.

— Если ваша цель — составить объективную картину, то, прошу, не пишите пока, не торопитесь, позидайте уволенную Марию Николаевну Струженцову.

Вот уж чего ожидать я просто не мог! Кажется, я даже пригнул голову, будто в меня метнули камнем. Неужели Маша? Как же так? И почему молчал Прохоренко? Наверно, она со своей излишней прямолинейностью не смогла разобратся...

Константинов продиктовал Машин. адрес. Ручка вдруг перестала писать, я скреб пером по бумаге, рвал листок, что-то у меня едва прописалось.

— Запомню, — сказал я, а сам вдруг подумал, что совсем сбился, не могу взять себя в руки.

Почему Машу, спрашивал я себя. Почему?

Я задыхался от быстрой ходьбы, от бега, от боли, черт знает от чего я задыхался. Так в детстве, бывало, дерешься, думаешь — победа близка, и вдруг противник бьет тебя кулаком под дых. Ты даже не чувствуешь удара. Живот слегка подается назад и прилипают на долю секунды к позвоночнику. Стоишь удивленный, улыбаешься дурацкой извиняющейся улыбкой и ловишь ртом воздух.

Я шел по Вожевску, старался выглядеть как можно более беззаботным, а сам не мог понять: почему Леонид Павлович и Люся не рассказывали о Маше?

Я даже не знал, что она работает у Прохоренко. Правда, может, виноват я сам. Ведь я просил не возвращаться к этой теме.

«А вдруг, — подумал я, — Константинов и Кликина правы?»

Мне стало зябко.

«Спокойнее, — говорил я себе, — спокойнее. Ты должен во всем разобраться. Еще не поздно».

Но я же видел школу, видел великолепную организацию. Кому же верить: себе или им? В конце концов, газету интересуется не мелкий конфликт, а совсем другое. Проблема. Педагогические и философские взгляды Прохоренко. Постановка принципиальных вопросов.

Я петлял по переулкам, боялся остановиться. Принимал то одно решение, то другое.

Внезапно я подумал, что нужно взять билет на поезд и скорее уехать.

...Окошко кассы оказалось закрытым. Я постучал. Кассирша в цветастом платье открыла заслонку, молча усталилась на меня.

Я протянул деньги.

— До Москвы.

— На какой?

Я растерялся.

— А какие ходят?

— Архангельский — ежедневно, свердловский — по четным. Значит, завтра.

— На свердловский.

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«Дорогой Андрей Андреевич!

Вот уже неделя, как я написала письмо, а ответа нет. Если бы вы знали, как мне нужно получить от вас весточку, услышать разумное ваше слово. Пыталась заказать Игловку по телефону, но была повреждена линия.

О своем увольнении писала. Уволена за то, против чего сама же боролась.

Иногда испытываю такое чувство, будто оглохла от возникшей тишины. Несколько дней назад приходил ко мне Константинов. Разговор был деловой, спокойный. Думали, как быть дальше. Я рассказала все.

О «системе Прохоренко» он говорит уничтожающе.

Вчера нас вместе с Константиновым пригласили в горком партни. Завотделом, немолодой уже человек, выслушал меня молча и, только когда Константин напомнил ему о приехавшем в Вожевск корреспонденте, спокойно сказал: «Об этом не беспокоиться. Всегда можно попросить газету разобраться глубже».

Сережа Завьялов все еще в больнице, неожиданное осложнение: аспирационная пневмония. Каждый день бываем у него с моей Кликиной. Если устроюсь в другую школу, заберу Сережу с собой.

Как-то произошел у нас с ним вот такой любопытный разговор.

— Кем бы ты хотел стать? — спросила его.

Он смутился.

— Ты мог бы стать хорошим учителем.

— Это так трудно... Я не сумею, — сказал он.

Не скрою, я радовалась этому. Значит, мальчик чувствует ту огромную нравственную и моральную высоту, какой требует от человека наша с вами профессия.

Ну, хватит. Расфилософствовалась.

Как там Игловка?

Напишите о здоровье.

Ваша Мама.

Да, забыла о самом главном!

Вчера к вечеру возвращаюсь из овощного с картошкой, а впереди — подросток. Я вначале не обратила на него внимания, потом вижу: оглядывается, но шагу не прибавляет, даже вроде бы медленнее идет. И вдруг узнала: Шуккин!

Он остановился, опустил голову, подождал, пока подойду. Опять пошел.

Я окликнула.

— Помоги, — говорю, — донести. Все руки оборвала.

Взял сумку, понес.

Идем молча, и ничего мне путного в голову не лезет, не знаю, что сказать. И тут я подумала: может, он не случайно возле моего дома?

— Ко мне шел? — спрашиваю напрямик.

— Нет, — но не убежденно.

Помолчали.

— Мама пишет?

— Редко.

— Довольна жизнью на Севере?

— Вроде бы ничего.

— Тебя вызвать к себе не решила?

— Не знаю.

— А ты... ты бы хотел к ней? Поехал бы?

— Иногда, думаю, поехал бы...

И так мне его внезапно жалко стало, Андрей Андреевич! Таковую я в нем почувствовала глубоко затаенную боль и обиду, настоящую тоску по материнской доброте, по ласке. Обняла бы, прижала бы этого хулигана к себе и заревела бы, как глупая баба. Да нельзя, спугнешь еще, дурака, сразу.

Дошли до дому. Он мне авоську протягивает.

— Занеси уж, — прошу.

Заставила его раздеться.

— Чаю, — говорю, — сейчас вскипачу, попьем вместе.

Стала его куртку вешать, а вешалка оборвана. Принесла иголку, пришила, а он не глядит на меня. Потом засуетился как-то.

— Спешу, — говорит и хочет одеваться.

И вдруг спрашивает:

— А вас из-за меня уволили?

— Да.

И опять пауза.

— Ну ладно, — бормочет. — Пойду. До свидания.
— До свидания, — говорю. — А ты мне не дашь мамин адрес?

Остановился в дверях:

— Зачем?

— Я бы ей написала о тебе, о бабушке... Мне кажется, маме пора бы приехать.

— Не знаю, — сказал шепотом. — Не знаю, Мария Николаевна.

Он, кажется, впервые назвал мое имя. Совсем незнакомый мне парень, таким я его не пидала.

— Ну, запишите...

Я принесла карандаш. Он продиктовал адрес.

— Спасибо, — говорю. — Заходи в любое время. Я всегда тебе рада. Придешь?

— Может быть.

— Буду ждать.

Он поднял воротник и через ступеньку бросился вниз по лестнице.

Я подошла к окну. Смотрю, мчитя от моего дома как сумасшедший. Не оглянулся ни разу.

И знаете, Андрей Андреевич, я тогда подумала, — нет, не улыбайтесь, пожалуйста! — что полтора моих месяца в этой школе все-таки оказались безразличными для ребят.

Обнимаю. Пишите.

Маша».

Я перечитала письмо и подумала, что не могла сообщить о самом существенном для себя: о приезде в Вожевск Виктора Лаврова. Неужели, думала я со страхом, Виктор снова нанесет мне самый сильный удар?..

Запечатываю конверт. Одеваюсь. Иду на улицу.

Времени полно, поэтому лучше отнести письмо прямо на почту.

В почтовом ящике только газета, писем нет. И все же шарю по дну, на что-то надеюсь.

И вдруг — стоп: открытка!

С трудом вытаскиваю, вглядываюсь — такой знакомый, родной мелкий почерк.

«Дорогая Маша, здравствуй!»

Поднимаюсь к свету, теперь легче читать.

«Ты когда-то писала, что нашла у Корчака объяснение слова «доброта». Это когда тебе понятно, что думает другой.

А вот я, читая твое письмо, вдруг решил, что этого для настоящей доброты мало. Ну и что, если я все понимаю и пытаюсь объяснить всех: и Прохоренко, и Люсю, и друга их Шишкина? Но ведь на твоих глазах, Маша, больше месяца процветала жестокость, культ силы, демагогия.

Нет, доброта — это не только когда понимаешь другого, но когда ты можешь противостоять злу.

Твой
Андрей Андреевич

Игловка».

Глава шестнадцатая

ВИКТОР ЛАВРОВ

С вокзала я пошел в гостиницу и получил, к удивлению, прежний номер. Поднялся на шестой этаж, поздоровался с коридорной, пошутил, что вернулся в свою квартиру. В номере все было неизменным. На меня глядел знакомый «Букет сирени». И я невольно подумал, что я раньше времени впал в панику. Нужно срочно поговорить с Прохоренко. А уж потом — в райком и в роно.

Обедал я в гостиничном ресторане, и когда вышел, то оказалось — мне некуда деться. Идти к Прохоренко было рано, да и нервы стоило привести в порядок.

Я прослонялся по улице, потом купил билет в кино и просидел еще два с половиной часа. Сначала думалось о своем, но в конце концов фильм меня захватил.

К прохоренковскому дому я подошел в девять. Люся обрадовалась, побежала на кухню разогревать ужин.

— А мы ждали тебя завтра! — крикнула она.

— Да я и хотел завтра. А утром проснулся, походил по дому, и такая навалилась тошнота, что решил поехать.

— Во сколько же ты вернулся?

— В двенадцать.

— В двенадцать? — переспросила она с тревогой. — Где же ты был столько времени? Леонид мне сказал, что тебя искала Кликина, математичка из его школы. Уж не с ней ли ты встречался?

— С ней. И с Константиновым.

Только теперь я заметил, как побледнела Люся. Ее губы кривились; она как будто боялась, что произнесет что-то резкое и неосторожное.

— Надеюсь, вы понравились друг другу? — спросила она с нервным смехом. — Жаль, что нет Леонида: он бы послушал, — Люся забарабанила пальцами по плите.

Я положил ладонь на ее локоть, но она резко отстранилась.

— Какие у них факты?

— Много.

— И все же?

— Ну, — я пожал плечами, — про того ребенка, что отравился...

— Ах, вот что, — кивнула Люся. — Завьялов — ребенок! Можешь поглядеть на это юное дарование. Это они, они... скооперировались вместе, потому что ненавидят Леонида, не могут простить ему своих же провалов.

Люся сказала «они», и я невольно подумал, что она имеет в виду Машу.

— Кстати, — сказала она с вызовом, точно хотела меня обидеть, — можешь сходить к мамаше Завьялова, поглядеть на этот экземплярчик. Наверняка понравишься ей! Она, говорят, коллекционирует приезжих!

Я слушал все это с недоумением.

— А эта Кликина, — говорила Люся, — и та, вторая, твоя бывшая Магдаллина, дрянь и ханжа, неудачница, озлобленная на весь мир, она же с первого дня своего приезда не могла нам простить доброты, которую мы к ней проявили. Ты еще не был у Шишкина? Сходи. Полюбуйся бумажкой, почитай, что они там нагородили.

— Зачем ты так волнуешься? Успокойся.

— Нет уж, позволь сказать. Это Леонид не хотел перед тобой защищаться. Он, видишь ли, гордый. А я нет. Я скажу все. Тебе, конечно, передали историю с фронтowymi письмами?

Я подтвердил.

— Леонид собирался рассказать тебе об этом, но я попросила: пускай Виктор сам вначале посмотрит школу. Если бы он хотел скрыть от тебя этот случай, то он скрыл бы его и от города. А он мало того что не скрыл, но позвал Боброва, председателя исполкома, конечно во вред себе, и провел сбор. Он мне рассказывал об этом сборе, и у меня слезы стояли в глазах. А вот они, эти гады, и тут захотели подставить ему ножку! Мы, видишь ли, чудовища, а они — жертвы! Вот ты скажи, Виктор, тебе хоть раз в жизни пришлось видеть сильного администратора, которого все бы любили? Нет. В том-то и дело. Неужели после первого же разговора с Леонидом ты не понял, что у него обязательно должны быть враги?

— Люся, — сказал я ей, — ты уже наговорила с избытком, и все попусту.

Она удивленно поглядела на меня. Я воспользовался секундой.

— Одно мне действительно непонятно: почему была уволена Мария?

В ее взгляде мелькнула тревога, потом глаза стали холодными.

— Ах, так ты и у нее был?

— Да какая разница! — сказал я. — Был, не был.

— Понимаю, — рассмеялась Люся. — Ты убежден, что она святая. И мои слова режут твой слух.

Мне стало страшно, и я подумал, что сейчас что-то ужасное выльется на меня.

— Тогда чего же ты ее бросил? — спросила она. — Вот была бы отличная пара! Благородный идальго, правда не совсем классик, а чуть похуже. И его Дульсинья, мученица Мария по совместительству.

Это меня разозлило.

— Видишь ли, — нарочно тихо и спокойно сказал я. — Одно мне необходимо: я обязан знать все, о чем пишу. Давай прекратим перепалку. Придет Леонид, и мы во всем разберемся сами.

— Без меня, — сказала она с усмешкой. — Нет уж. Я тоже кое-что знаю, чего же прятаться в кусты.

Она смерила меня презрительным взглядом.

— Ты-то мне понятен. Хочешь быть честным. Да?

— Вылей ты валерьянки! Успокойся!

— Оставь! Если хочешь знать, когда ты уехал в деревню и Леонид сказал, что тебя ищут, я сразу же заявила: осторожно, Леня! У Витки рыло в пуху. А это значит, что сегодня он за тебя, завтра — против. Достоинства определенного рода женщины. Тебе никто не говорил, что у тебя женский характер?

— Слушай, — сказал я, еле сдерживаясь, — говори, да не заговаривайся!

Вот так так! Началось с шутки, а кончилось рубкой.

Я, кажется, недооценил Люську. Я думал, она никакая, но это была личность! И укусить могла как нужно.

Я пошел к вешалке, но она загородила мне дорогу.

— Он уходит, — сказала она скорее удивленно, чем с возмущением. — Ай-яй-яй, Витя! Нельзя так, некрасиво. Давай перейдем к главному вопросу. Ты обиделся, оскорбился даже, что тебя погладили против шерсти. Тогда ответь мне, отчего ты оставил Машу?

— Разлюбил, — сказал я, страдая оттого, что мне приходится продолжать этот разговор.

— Понятно. А главное — просто. Разлюбил и ушел. Предположим. Но позже, через полгода, ты даже не заинтересовался, как прошли ее роды?

Я посмотрел на Люсю. Она продолжала улыбаться и даже что-то сказала, но я ничего не слышал.

А может, это неправда? И в ту же секунду я сказал себе: правда.

Значит, скрыла?

Значит, у меня ребенок?!

Сын или дочь?

И сколько ему — десятый? Да, десятый.

Мысли текли еле-еле.

А я-то считал, что чист перед нею, плохо она меня не должна помнить. Как можно о юности помнить плохо?

И еще я подумал, что в моей жизни были женщины, умные и глупые, одинокие и отчаявшиеся. К одним я бывал совершенно безразличен; легко встречался и легко расходился, другие нравились мне больше, но и они исчезали, я забывал их совершенно: лицо, голос, манеры. Иногда сам удивлялся, что в памяти ничего не оставалось. Потом была Рита. Встретились два человека, помыкались семь лет друг возле друга, остались совершенно чужими.

Но Машу я не забывал. Все, что касалось ее, жило во мне и будто бы ждало своей минуты. Вот она, серьезная и еще чужая, на одной из первых лекций, а я так стараюсь обратить на себя ее взгляд. Вот она, неестественно возбужденная, бледная, с расширенными зрачками, у того дерева на берегу Прокши.

Так вот как все было! А я ничего не видел. Теперь-то понятна цена тому безразличию, с которым она заявила, что меня не любит.

Люся стояла в дверях и с испугом ждала, что я сделаю дальше. Видно, мое лицо ее поразило. Наши глаза встретились. И тогда я внезапно подумал, что не должен, не имею права покидать этот дом, пока не узнаю всего. Пусть расскажет...

Я шагнул к ней, схватил за плечи.

— Говори!

Она отшатнулась. Но тут недобрая улыбка пробежала по ее губам.

— Знаю, что ты считаешь себя честным, в то время как бесчестный Леонид постоянно посылал в деревню посылки, учебники для ребят ее школы, уговаривал ее приехать в Во-

жевск. Он с невероятным трудом добился для нее квартиры, взял к себе на работу, а о твоём сыне заботился так, будто это был его собственный ребенок, вот что я знаю. Кто же из вас честнее и лучше?

— У меня сын? — я все еще не мог до конца в это поверить.

— Ты его не видел, когда был у Струженцовой? — сказала Люся. — Пойди, познакомься. Бедный мальчик! Он даже не подозревает, какой великий человек его отец.

— Да я не был у Маши! — крикнул я Люсе. — Я же говорю, что видел только Кликину и Константинова, и они сказали, что в понедельник была уволена Струженцова.

На этот раз Люся, кажется, в чем-то усомнилась.

— Пойдем поговорим, — сказал я тихо. — Хочу во всем разобраться.

Я повернулся и пошел в комнату. Сел. Люся напротив.

«Сын. Сын, — повторял я про себя. — Как же? И почему я не знал?»

Люся сидела не шелохнувшись.

Я, наверное, выглядел очень жалким и суетливым, несколько раз передвинул пепельницу.

— Расскажи, — просил я. — Ну говори же...

Она молчала, думала о чем-то своем.

— Ты не против Леонида?

— Конечно. Как я могу быть против?

— Но он же просил тебя не встречаться с Кликиной. Зачем ты пошел?

— Я журналист. Это было бы только на руку противникам Леонида. Вот, мол, даже не поговорил с нами...

— Витька, — она вцепилась в мою руку. — Прости, Витька, — в ее глазах появился ужас. — А я, я так подло... Я была уверена, что ты против! Что я наделала, Витька! Если бы ты знал, как я люблю Леонида... Ты поймешь меня. Ты хороший. Я не должна была тебе говорить. Я же одна знала, от кого у Маши сын. Но я подумала: теперь она и сама скажет. Прости!

А я не слушал ее. Вернее, слушал, но как-то издалека.

Окно прыгало перед глазами, стол ходил ходуном, и я, кажется, тупел от одной мысли, что где-то рядом живет мой сын. Все повторяется в мире, бормотал я, но тот хоть оставил тесак за печкой... А я — я ничего не оставил сыну.

— Витя, Витя, — она потрясла мою руку.

— Нет, Люся, — сказал я наконец. — Я на тебя не обижен. Я благодарен тебе.

Я поднялся, стал надевать пальто.

— Куда ты? — кричала она, но я уже не оглядывался.

Какое-то время я то брел, то бежал по вожевским улицам. Была одна мысль: у меня есть сын!

Слезы текли по моим щекам.

— Как все обернулось, — бормотал я, возвращаясь все к той же мысли. — Был тесак за печкой. Была мама. Был я. Один. Отца не было. А теперь и у него, сына моего, нет отца.

Я обвел глазами пустынную улицу и несколько раз повторил вслух:

— У меня есть сын...

Сплю беспокойно, преследуют кошмары. Видится, будто Люся и Леонид Павлович стоят посреди моей московской квартиры.

Потом вижу, что бегу по улице. Мимо кирпичной церковки. Мимо деревушки. Мимо соснового бора. И вдруг начинаю исчезать. Я такой невесомый, что самого себя жалко. А ко мне спешит человек. На нем моя одежда. Как мы похожи! Встаю на цыпочки, чтобы достать до его плеча, но это не удается. Человек не замечает моих усилий, смотрит вдаль. И я кричу ему:

«Сын! Сын!»

Я вскакиваю с кровати. Рубашка липнет к телу. Вытираюсь простыней и все же не могу прийти в себя после кошмара.

Холодная вода льется на голову, и у меня начинают стучать зубы.

...В буфете никого. Командированные разошлись. Пью кофе, думаю, как увидеть сына.

Слово звучит уже не так непривычно, как раньше. Я произношу его по-разному, мысленно перекаत्याю каждую букву, будто это моя находка.

Есть два варианта.

Первый — поговорить с Машей. Но захочет ли она?

Другой — подойти к дому и ждать: вдруг выйдет мальчик. Вдруг выйдет мой сын. Я должен взглянуть на него.

Как хорошо, что решение принято.

Насколько проще живется сильным, не сомневающимся людям. Они не мучаются, а сразу находят целесообразный вариант.

Выхожу на улицу. Если бы я так хорошо не знал Машу, не представлял бы того, что она скажет, то, конечно, пошел бы к ней. Проклятая принципиальность! Ну что выиграла ты в жизни от своей принципиальности? Враг лучшим друзьям, враг себе, враг сыну! Это ты, ты оставила его без отца!

А может, явиться в дом и сказать: «Мария, я все знаю».

И это через десять лет! А где я был раньше?

Нет, она не станет говорить со мной о сыне, не станет. А потом эта история с Прохоренко... Кто прав? Кто же прав?!

Я пошел к Машинному дому, так и не зная, как быть дальше. И опять то принимал решение зайти к ней, то думал, что это глупо.

Холодный, пронзительный ветер словно подгонял меня в спину. Я поднял воротник, засунул руки поглубже в карманы и решил ни о чем не думать. Будь что будет!

На перекрестке стоял слепой, стучал полосатой палкой по тротуару. Я взял его под руку, перевел через дорогу, а потом еще немного проводил вперед.

— Спасибо, хороший человек, — сказал слепой.

Я не ответил...

Потом я долго стоял возле какого-то магазина, разглядывал витрину. Нельзя же явиться к сыну с пустыми руками.

Магазин оказался небольшим, полки были буквально завалены товаром — от костюмов до приемников и детских игрушек. Что же купить?

Я долго глядел на игры, но ничего не мог выбрать. Тогда я встал у прилавка с фотоаппаратами.

Я искал глазами продавщицу. Она стояла у окна, правее, разговаривала с женщиной.

И вдруг я узнал Машу. Она почти не изменилась. Рыжеватая прядь выбивалась из-под берета. Большие, чуть раскосые глаза иногда поглядывали на мальчишку — он нетерпеливо переминался рядом. Сын!

Я повернулся и как зачумленный бросился к двери. Несколько минут я никак не мог прийти в себя.

Как быть? Что я должен теперь делать? Подойти к ней и сказать как ни в чем не бывало: «Здравствуй!»

Вот если бы сын вышел! Один. Я бы подошел к нему хоть на секунду.

И мальчик вышел. Он выбежал на крыльцо и запрыгал по ступенькам. Схватил камень, бросил его.

— Как тебя зовут, мальчик?

Другой камень вывалился у него из рук, и он испуганно поглядел на меня.

И тогда я узнал свою старую фотокарточку. Я с учебником «Родная речь» для третьего класса. Щурюсь перед светом мощной лампы, как вот он сейчас от солнца.

— Вова...

— Хорошее имя.

Я пугаюсь, потому что хлопают двери, и иду через дорогу. А мальчик уже что-то объясняет Маше. Они уходят.

Мне нестерпимо хочется закричать: «Вовка!» И, когда он обернется, сказать: «Я твой отец!» Он побежит мне навстречу, раскинет руки, повиснет на шее — так стремительно и безудержно, как могут только дети.

Я мысленно тискаю его тельце, целую щеки и ощущаю их нежную упругость.

Давит сердце, и я думаю о том, что меня ни разу еще не целовали дети.

А сын идет с Машей, хохочет. Нас разделяют каких-то пять-шесть метров, и я надеюсь, что они обернутся. Но тщетно! Они исчезают за дверью дома.

И тут я вспоминаю, как в сорок третьем, голодном, мне доверили отнести пайку хлеба бабушке. Я очень хотел есть. Нес хлеб и плакал.

Я вернулся в гостиницу совсем разбитым. Против моих дверей сидели Леонид Павлович и Люся. Я издали кивнул им и, пока снимал со щитка ключ, видел повернутое ко мне напряженно-ожидательное Люсино лицо.

Я подошел. Она виновато улыбнулась.

— Уезжаешь?

— Да, рога трубят.

Я открыл номер и пропустил их вперед. Мы сели: я на кровать, привалился спиной к стене; они — на стул и кресло. Молчание длилось не больше минуты, но показалось, что прошел час. Люся продолжала улыбаться. Улыбка будто бы примерзла к ее лицу.

— Вы хотели спросить меня о чем-то после разговора с Кликиной? — без обиняков сказал Леонид Павлович.

— Да.

Он усталое и почти безразлично стал излагать историю с Завьяловым, все, что случилось с мальчишкой в пионерлагере, о его срывах и побегах и о том, как он, Леонид Павлович, летом ездил к мамаше Завьялова, чтобы вернуть парня в лагерь.

О Жукове Леонид Павлович рассказывал с грустью, даже с чувством собственной вины.

Я поглядел на Прохоренко и понял: он ждал от меня самого трудного вопроса. Но я не спрашивал.

Мы поговорили о маме. Нарастала неловкость.

Леонид Павлович оперся руками о подлокотники кресла, встал.

— Виктор, — торопливо сказала Люся, — прости за вчерашнее.

— Что ты! В конце концов, я должен быть тебе благодарен. Вот уезжаю богатым. Отец девятилетнего сына.

Леонид Павлович не дал мне договорить, порывисто обнял, притянул к себе, как мальчишку.

— Понимаю, Виктор. Вам непросто. Но и я бы не хотел и малейшей неясности между нами. Поверьте, нам было трудно порвать с Марией. Я хочу обещать вам... — И хотя эта фраза, как мне показалось, звучала странно, он повторил ее: — Я хочу обещать вам, Виктор, что мы не оставим вашего сына. Я сделаю все, чтобы вы могли его видеть, и если вы захотите быть ему полезным, то я добьюсь, чтобы мальчик знал об отце. Мы ваши друзья.

Я проводил их до лифта, вернулся в номер. Я не мог и не хотел ни о чем больше думать. Я будто окаменел, сидел неподвижно и смотрел в одну точку. Как я устал, как безумно устал за эти два дня!

Зазвонил телефон, но у меня не было сил снять трубку. Звонки продолжались.

— Ты что? Уезжаешь?

Это был Шишкин.

— Я внизу. Можно?

Он, вероятно, поднимался пешком. Глаза блестели, он часто дышал.

— Чего ты вдруг надумал? — спросил Шишкин. — А очерк? Написал? Или потом, в Москве?

Я сказал безразлично:

— Написал.

— Дашь взглянуть?

— Нет.

Он понимающе улыбнулся.

— Как хочешь. Это же, говорят, редакционная тайна.

Я не ответил. Он ходил по комнате и то останавливался за моей спиной, то подходил к окну.

— Очерк нужен, очень нужен, Витя. Ты просто спасешь Леонида и его дело. Скрывать не буду, в школе поднялся жуткий шухер. Столько завистников, злопыхателей, каждый так и лезет, пытается насолить.

Он обхватил меня сзади за плечи, сказал:

— Спешу, Витя, спешу, дорогой, как мы спешили, чтобы помочь тебе с мамой...

Я вздрогнул. Да, да, я их должник. И вдруг подумал, что ведь именно Веннамин увольнял Машу.

Он присел на краешек письменного стола и теперь болтал ногами, как беззаботный мальчик.

— Веня, — попросил я, — расскажи, за что вы уволили Струженцову?

Он даже глазом не моргнул.

— Но она же страшная сволочь! — сказал он так, будто бы похвалил ее. — Подумай, Леонид и я, мы вызволили ее из деревни, добились для нее отдельной квартиры, устроили на работу. Прошло меньше месяца, как она уже стала гадить Леониду. Ты даже не представляешь, до какой низости она дошла!

— Странно, — сказал я. — Мария, я же ее прекрасно помню, была человеком кристальным.

Шишкин развел руками.

— Десять лет, Витя, десять лет прошло! Вот тебе пример, как могут изменить человека время и неудачи в личной жизни. Одна. В деревне. Ребенок невесть откуда. А Люська — матрона, счастливый человек. Больше всего раздражают людей неудачи.

— Ну а учительница она как, хорошая?

— Тут боюсь наврать. Учительница она вроде неплохая и, может быть, даже хорошая, но какой прок от хорошей учительницы, если она стерва? Я в этом деле полностью понимаю Леонида: пусть лучше двух слов не вяжет, да свой человек.

Я впрямую спросил:

— Может, мне нужно было бы встретиться со Струженцовой, а?

— Ни в коем случае! — крикнул Шишкин. — Это только запутает тебя. Она же ни перед чем не остановится.

— Странно ты рассуждаешь, — сказал я. — Ведь если мы полностью правы, то что может мне доказать Струженцова?

— Мы правы, — прервал Шишкин. — Но ведь факты... — Он засмеялся. — Их можно поворачивать и так, и этак.

Мне было мутно от его объяснений.

— Ладно, — сказал Шишкин. — Нужно идти.

Он протянул мне руку.

— Счастливо доехать, Витя. — Задержал мою ладонь, спросил: — А ты что, видел уже ее?

— Видел, но не говорил. Шла с сыном.

— С Вовкой, — кивнул он. — Хороший мальчик. И привязался к Леониду. Сам понимаешь, растет без отца. К мужчинам тянется.

— Да, — сказал я. — Без отца, это точно!

Венька засмеялся каким-то своим мыслям и припрыгивающей походкой пошел к дверям.

Он накинул пальто, повязал шарф. И мне нестерпимо захотелось сказать ему правду. Сказать и посмотреть, как он будет вести себя дальше.

Он крикнул от дверей:

— Ждем газетку! Интересно, что у тебя выйдет.

Открыл дверь, помахал мне рукой. И тогда я сказал:

— А ты знаешь, кто отец этого Вовки?

Венька буквально ввалился в номер, в глазах его сверкало горячее любопытство.

— Я.

И не стал глядеть на него. Поднялся, взял электробритву, положил в чемодан. Потом собрал все, что оставалось в ванной: зубную щетку, мыло, грязные рубашки. Венямин продолжал молча топтаться.

— Пока, — сказал я. — Кланяйся Варваре.

Он отступил и тихо прикрыл дверь. Шагов его я не слышал. Очевидно, он все еще стоял в коридоре. Я подумал, что он сейчас вернется, и отошел к окну.

— Виктор, — открыв дверь, сказал Венямин хриплым испуганным голосом, — а Прохоренки об этом знают?

— Знают.

— Надо же, — сказал Шишкин. — И что ты теперь хочешь предпринять?

«Вот оно! Неужели, — подумал я, — на этом кончается их принципиальность?»

— Меня подвели, — сокрушенно сказал Шишкин. — Сами знали, а мне ни слова. Выходит, я один виноват, что ее уволили, да?

Я опять промолчал.

— Ну, что зависит от меня, я исправлю, — сказал Шишкин. — На работу пойдет со следующей недели. Как ты смотришь, если она начнет в другой школе? Учительница она мировая...

Я пытался запомнить все, что охватывал глазом: вокзал, длинный и красный, как цепочка товарных вагонов. Дежурную

с флажком; она стояла лицом к вокзалу и будто давала ему направление.

«С чем же я уезжаю?» — в который раз спрашивал я себя.

Перешел железнодорожный путь и поднялся на вторую платформу: сюда, сказали, придет свердловский.

А может, прав Венька: истина делится на части? И тогда существует правда Прохоренко и правда Струженцовой?

Да, думал я, можно скрыться от соседей, от самых близких друзей, но нельзя спрятаться от себя, как бы ты ни ловчил.

Я опять вспомнил лицо сына и фотокарточку с «Родной речью» над своим стареньким письменным столом.

А если уже тогда, девять лет назад, Маша чувствовала, что без меня ей будет легче воспитать честного человека? Мне стало страшно и холодно от такой мысли.

Загудел паровоз. Проводница моего вагона свернула флажок, сунула его за пазуху, стала закрывать двери.

Иди, сказал я себе. Еще не поздно. Еще успеешь...

Вагоны медленно поплыли мимо. Паровоз снова гудел; он чухал и отдувался, будто бы радовался тому, что один его пассажир так и остался на вокзале.

На площади стояли автобусы. Я подумал, что лучше пройти пешком, и тут же побежал на посадку.

С задней площадки я перебрался на переднюю, стал рядом с водителем и на первой же остановке вышел.

Я невольно повторял адрес Маши. Сын, сын, думал я, а сам спрашивал себя, как объяснить ей свое молчание, мое исчезновение на девять лет?

...Дом, где жила Маша, был каменный, новый. Я подошел к парадной. Не остановился. Словно боясь передумать, бегом поднялся по лестнице.

Что я скажу ей?

Как оглушенный, я стал шарить по двери и не услышал звонка. А вот ее шаги были громкими, четкими, я невольно считал их.

Не помню, спросила ли она: «Кто?» — не помню.

Я видел перед собой Машу, второй раз за сегодняшний день; она стояла рядом, в домашнем халате, и мне показав-

лось, что не было ни этих девяти лет, ни Риты, ни московских скитаний.

— Вот, — шепотом произнес я. — Пришел.

Она молча смотрела на меня.

— Я ничего не знал, Маша... Почему ты скрыла, что у нас сын?

Сомнение было в ее глазах. Я видел — в ней борются разные чувства.

В коридор выглянул мальчик. Я уже знал его. Только я не мог, не имел права сказать ему, кто я такой.

Маша вздохнула. И вдруг решительно отступила в сторону, дала мне возможность войти.

Я шагнул вперед, все еще не зная, на что могу рассчитывать.

— Познакомься, Володя, — сказала Маша, и ее голос в эту секунду показался мне чужим. — Это твой отец.

ЛЕСТНИЦА



На выпускных экзаменах я была уверена, что в институт не пойду, — не попасть. А как только сдала экзамены, решила сделать попытку. Юра уговорил.

Повезли мы аттестаты в медицинский, а по дороге — институт культуры. Обсудили по-быстрому. Для женщины это вроде бы в самый раз, тем более особых убеждений насчет профессии у меня не было. У Юры другое дело: он с шестого класса мечтает стать доктором.

Экзамены сдавала — сама поражалась: пять и четыре. И вдруг на английском схватила тройку.

А все же человек так устроен, что оптимизм в нем побеждает. Решила ждать окончательных списков, авось произойдет чудо.

Мама напряглась, замкнулась, стала как струна.

Живу я большей частью одна, а мама у Георгия Борисовича, у Алика, как все его называют. Но тут она стала приходить домой каждый вечер. Делает что-нибудь и вздыхает, будто вся ее и моя жизнь поставлены на карту.

Из-за этой взвешенности разговаривать мы фактически не могли. Я ложилась на диван, открывала журнал или книгу, читала. Спросит — отвечу. И опять молчим.

Последняя повесть, которая мне попала, была про акселератов. Так нас называют в научной литературе.

Главный герой, десятиклассник, большущий талант, приезжает с молодой женой-десятиклассницей в столицу автономной республики и становится там ведущим журналистом.

Старичков аборигенов, которым не так круто повезло с умственным развитием, он затыкает за пояс, учит жить, бодит они виноваты, что родились до акселерации.

В нашем классе ничего похожего не было. Хотя, если иметь в виду рост, в девятом «а» и сейчас акселерат есть — метр девяносто четыре, но он с пятиклассниками в пристенок играет. Лапища — во!

И все же взрослый человек — это взрослый человек. Без позы, без постоянного желания казаться замеченным.

Меня всегда к взрослым тянуло. Бывало, придут мамнины подружки из экскурсбюро, «девочки», как они называют друг друга, и у каждой своя история. Сиди, помалкивай, слушай.

Кто-нибудь вдруг заметит меня, удивится:

— Потрясающая у тебя, Анна, дочь. Есть ли она, нет — не чувствуешь. У других дети в каждое слово встревают, а твоей вроде и дела нет.

А я пеленаю куклу, а у самой сердце стынет, лишь бы не выгнали.

Может, поэтому главная моя подруга Вера на шесть лет меня старше. Четкий она человек. Решение Вера принимает быстро и окончательно, и если уж ты идешь к ней за советом, то не жди утешения, она утешений не признает. Утешитель, повторяет она, может всю душу выесть своими утешениями, а помочь — не поможет. Только сильный и уверенный человек нужен в беде.

Когда я с институтом решала, то к ней не пошла. Ответ и так ясен. Сама Вера работать начала после школы. А институт? По ее мнению, туда слишком много людей поступить хочет, можно бы и поменьше.

Другое дело Юра, говорит она. Всегда только о медицине и мечтал. А ты? Лучше для тебя и для государства, если ты провалишь. Желаю тебе этого от всего сердца.

В дни экзаменов я старалась с ней не встречаться, да и она не заходила ко мне, понимала, что не нужна. Теперь в ее помощи появилась некоторая необходимость.

Особенно сегодня. Утром, объявили, должны будут повесить окончательные списки.

Маме об этом я, естественно, не сказала, зачем нервировать. И она с вечера собралась к Алику: его тоже нельзя оставлять без присмотра.

Ночью меня замучили сны. Кто-то будто бы стекло рассыпал, и я все скользила по нему, пока не шлепнулась и не

сломала ногу. Сажу на полу, а нога в стороне, как у куклы. Не больно до удивления.

Полвосьмого встала, чаю не захотела выпить, пошла на набережную.

Свежо на улице. Туманно: Клочки белой сырости еще висят над Невой, над самой ее поверхностью.

Почти исчез, растаял на том берегу Смольный. Машины идут медленно, с включенными фарами, сворачивают на Охтинский мост.

Охта — наш район. Когда мама училась, это место было вроде села. От того времени сейчас только пожарная каланча осталась, стоит между новыми домами как памятник старины.

И школа моя новая. Мамину — женскую — давно сломали. А вот бывшая мужская стоит. И если идти от Невы, то у самого кладбища возвышается тяжелое старинное здание — бывшая богадельня купца Елисеева. На Невском есть большой гастроном, который и сейчас по старой памяти называют Елисеевским.

Я постояла рядом с пенсионером-рыболовом, дождала, когда у него начнет клевать, и вернулась к дому. Веру не упустить бы, вот главное.

Юру не вызовешь, у него послезавтра последний экзамен.

Села на парапет, гляжу на наш дом. Вера должна выскочить из правого подъезда.

И действительно. Распахнулась дверь с треском, и на крыльцо выскочила Вера. Сбежала по ступенькам. Метнулась через дорогу.

Я крикнула ей. Обернулась. Махнула рукой — мол, некогда, догоняй. Откусила яблоко, потом — еще раз, бросила огрызок в сторону, зашагала по набережной. Высокая, длинноногая, с прямыми мужскими плечами, гибкая, как баскетболистка.

Лет пять назад, хотя я и была маленькой, но помню, как Веру табуны мальчишек поджидали. Кто умеет — закурит перед ней, показывает, что уже взрослый, кто транзистор включит. Она выйдет — волосы развеваются, ноздри раздуты, — огреет их словом, а они хоть бы что, только гогочут. Картинка!

А вот теперь будто поредели поклонники, как-то потише все стало.

Наконец я ее догнала.

— Сдаешь? — спрашивает. — Или провалила?

— Результаты сегодня, но, вероятно, не попаду.

Скосила на меня взгляд, усмехнулась.

— Помидор хочешь?

— Давай.

Сунула руку в сумочку, пошарила там, достала один, подумала и кинула обратно.

— Другой поищу, поменьше. Мне нужно обедать.

Из-за угла вывернул автобус. Вера вытерла платком руки, растолкала толпу, приготовилась к штурму.

— К нам пойдешь?

— Кем?

Усмехнулась:

— Директором.

— Нет, правда?

— А подсобницей не устраивает?

В моем голосе была тоска:

— Возьмут?

— Попрошу — возьмут.

Автобус остановился. Дверь прижимали изнутри спинами, и она долго раскачивалась, будто бы автобус тяжело дышал жабрами. Наконец распахнулась с треском.

Вера оттеснила мужчину. Ее рука нащупала точку опоры. Рывок! И она боком протиснулась в автобус.

— Зарплата шестьдесят пять ре плюс семнадцать пятьдесят прогрессивка!

Двери не закрывались, автобус не отходил. До меня доносился умоляющий голос водителя.

Я отступила. Вера уже сидела у окна, улыбалась.

Мелькнула в воздухе ее проездная карточка, этаким небрежным жест вроде привета.

Автобус наконец сдвинулся с места.

Я невольно зажмурилась и отвернулась от списка. Неужели попала?

Савельева Екатерина. А я — Савельева Любовь. Значит, все законно, чуда не произошло.

А вокруг — море слез. Какая-то конопатая девчонка шмыгает носом, растирает по физиономии краску от ресниц. И тут же рядом двухметровый счастливец — попал, черт побери! — издевательски хохочет.

Еще раз проверяю список. Чей-то указательный палец опускается все ниже и ниже по строчкам, медленно, с остановками.

Больше мне здесь делать нечего, пора забирать документы.

Канцелярия набита неудачниками.

Встаю в очередь.

Грустный общественник-второкурсник — одно плечо выше другого — глядит на меня скорбным взглядом, идет за аттестатом.

Скорбь в его походке, точно подносит мне урну с прахом. Милый, прекрасный человек! Одно присутствие такого успокаивает. И ведь сам-то не титан какой. В колхоз не поехал, от физкультуры освобожден — это сразу понятно.

Улыбнулся тихо, как ангел, попросился за руку, задержал на секунду ладонь, дал мне почувствовать тепло собственного сострадания.

— Не отчаивайтесь, девушка, — сказал добро. — Может, все к лучшему.

Повернулся к другому — лопатки выпятились, точно крылья. Не вспугнуть бы, а то окна распахнуты, улетит.

У автомата очередь. Пора звонить маме.

Широкоплечий парень с перевернутым лицом что-то кричит в трубку. Сразу видно — коллега. Друг по судьбе. Шмякнул по рычагу. Саданул дверью.

Теперь моя очередь.

Нет, не мамин это голос. Сонни, Софьи Семеновны, как ее я одна называю.

Господи, хоть бы не узнала меня! Начнутся расспросы.

— Любочка, здравствуй! Как у тебя экзамены?

Вот и вся конспирация.

— Только что получила свободный диплом.

Ее как сдуло.

Теперь нужно ждать маму.

— Люба? Почему ты звонишь? Что случилось?

— Из института я. Нету меня в списках.

— Как нету? Должна быть. Ты же неплохо сдавала!

Это уже чисто нервное.

И тут она начинает что-то бормотать про свою жизнь, всхлипывать.

А очередь растет, мне стучат в стекло, требуют поспешить. Можно сказать, выбрала я для разговоров лобное место.

Бреду вдоль Невы. По Литейному мосту катится троллейбус, держится рогами за провода, хорошо ему, прочно, путь проложен на весь маршрут.

Какие-то парни решили повеселиться, окружили меня, замкнули в кольцо, хохочут.

— Отпустите! — кричу. — Что пристали?

Вырвалась и как шальная метнулась через мост. Слышу, звенит колокольчик. Что-то проскрежетало почти по спине, шагнула — и опять машина.

Как на тротуаре оказалась — не помню. Вижу незнакомое лицо перед собой.

— Вам, девушка, жить надоело?

— Возможно. . .

— Тогда три рубля штрафа с вас.

Я стала по карманам шарить, чтобы от милиционера отжаться, но, кроме трамвайных талонов, ничего не нашла.

— Придется пройтись, — говорит. — Квитанцию я уже оторвал, не приклеивать же мне ее обратно.

Чувствую, хочется ему, чтобы я поканючила, — им тоже лень каждого в милицию таскать. А я зубы стиснула — злюсь.

— Ну что вы побежали? — спрашивает мягче. — Шли спокойно, я же за вами давно наблюдал.

Я на секунду забыла, что это милиционер, сказала зло:

— В институт провалилась, понятно?

— Вот в чем дело! — В глазах отразилось явное сочувствие. — Я после армии тоже не сразу попал. Срезался на последнем. Вышел, помню, из института, не знаю, куда дальше идти. Вы-то домой спешите, а у меня дома не было. . .

Кажется, в эту секунду я его рассмотрела. Уши в разные стороны, фуражка глубоко села на лоб, нос широкий с веснушками.

А вот глаза веселые, живые такие глаза. И улыбка приятная. Я даже удивилась, как это человек с такой улыбкой в милиции работает.

— И в эту минуту какой-то парень мне говорит: там, мол, из милиции тебя спрашивают. Думал, разыгрывает. Оказалось, правда. Дали общежитие, зарплата пошла, институт пообещали заочный. . .

Так мы дошли до трамвайной остановки. Он присел на скамейку, вынул квитанцию, положил ее на планшет, написал свою фамилию, адрес и телефон.

— Позвоните, если скучно станет.

Взяла листок, а там типографски отпечатано: штраф три рубля.

— Дорого, — говорю, — вам наша встреча обошлась.

Он заулыбался, засверкал зубами.

— Давайте, — говорит, — лучше познакомимся. Меня Игорь зовут, а если будете звонить по служебному, то просите Игоря Петровича. А вас как?

— Люба.

Хотела я к трамваю бежать, но он сжал мой локоть, не отпускает.

— Осторожнее. Видите, красный. Дайте пройти машинам. Дождлся зеленого, а тогда отпустил.

— Вот теперь я уверен, что ваша жизнь в безопасности.

Трамвай ползет к дому невероятно медленно. Как же пенсионеры-то живут со своим бесконечно свободным временем? Снизу около старичка с зонтиком, лезет в голову всякая чушь. Может, спросить — зачем ему этот зонтик, если на улице солнце? Я бы на его месте зонтик дома оставила, а потом поехала бы за зонтиком, глядишь, лишний час и уйдет.

Чуть собственную остановку не проехала. Выскочила на улицу, пропустила трамвай. Мама наверняка уже дома, бросила, конечно, работу, примчалась на такси, да еще Алика высветала.

Мне еще тоскливее стало. Папочка на мою голову. Самоо званец. Лжедмитрий.

Сколько за эти дни выслушать всего предстоит! И отчего это люди разобрались так здорово, что хорошо, что плохо?

Вошла во двор. Чисто, тихо. Как дети и собаки на дачи выехали, так двора не узнать.

На скамейке отец и сын Федоровы.

Наше окно открыто. Или я не закрыла, или мама действительно уже дома.

Идти не хочу. Уселась против Федоровых, черчу что-то прутю на песке, тоска страшная.

Федоровы переговорили между собой о чем-то, уставились на меня. Странные люди! О них всякое рассказывают. Наш дом уже восемь лет заселен. Я их с первого дня запомнила. Старший часто сидит на скамеечке — взгляд мутный. Здравойс с ним, не здоровойс — он внимания не обратит. Младший Федоров живее, приветливее. Мы даже в лифте улыбаемся друг другу. Да и теперь он меня приветствует. Снимает кепку, будто шляпу, прихватывает ее сверху растопыренными пальцами, — чудик!

А что, если подойти к ним и все рассказать? Знаете, я в институт не попала, что посоветуете?

Они будто бы и действительно меня ждут, застыли.

Как похожи они друг на друга! Тощие, высокие, бородастые. Сын не такой седой, как отец. И глаза живее. А старый на святого похож, только без нимба.

Младшего Федорова Владимир Федорович зовут, а старшего — Федор Николаевич. Как я это узнала — теперь не вспомнить.

Поднимаемся недавно в лифте, а старик пристально смотрит на меня, будто бы вспоминает, будто бы сравнивает с кем-то. Потом вдруг протягивает руку и гладит меня по плечу.

— Хорошая, — говорит, — девочка. Доброе лицо.

Сын перепугался чего-то, отвел его руку:

— Где это мы с тобой раньше встречались? — спрашивает Федор Николаевич, словно не замечая испуганного жеста сына.

Я чуть не рассмеялась. У нас в классе тоже один так с девушками знакомился: где, мол, я раньше мог вас видеть? — Здесь, — говорю, — в лифте.

Он удивился, поглядел с недоумением.

Сын торопливо распахнул дверь, вытянул его из лифта — приехали.

Потом я Валентине Григорьевне, Юриной маме, все это рассказала. Она очень забеспокоилась.

— Это же душевнобольные, Люба. И младший страшнее старшего. Тихий, блаженный, а что у него внутри творится — поди разберись.

Она долго ходила по комнате, что-то обдумывая, потом заключила:

— Я очень тебя прошу, Люба, будь внимательна и серьезна. Если что — сигнализируй. Я в психдиспансер позвоню, не нравится мне эта пара.

Я отмахнулась, но Валентина Григорьевна настаивала:

— Ты, девочка, фактически одна живешь, и я, раз уж ты с Юрой дружишь, для тебя почти что вторая мать.

— Да почему вы так плохо о них думаете?

Валентина Григорьевна вздохнула.

— Доверчивая ты, Люба. Все элементарно. Оба не работают. Ну, старик, может, и пенсионер, а сынок? Ему сорок лет, а он папашу три раза в день на прогулки выводит... А потом, отчего он не женат? Ни разу его в обществе женщин не видела. Это уже факт патологический, поверь мне как врачу. С этим делом, я уже давно для себя решила, если что-то не так — ищи болезнь. Я, Любочка, человек трезвый и окружающих призываю к трезвости.

Последней фразы я уже ждала. Любит она собственную трезвость в разговоре подчеркивать. Возможно, это действительно сильное ее качество.

Я тогда Юре сказала, чтобы он Валентину Григорьевну попросил никуда не звонить, но он встал на ее сторону. Она, мол, хорошего хочет, зачем же мешать этому.

И вдруг я подумала, что лучше всего позвонить ей. Мне как раз в эту минуту разумный, спокойный и трезвый человек необходим. И даже если не подойдет Юра к телефону, то сама Валентина Григорьевна будет мне полезна.

Пока набирала номер, я на Федоровых поглядывала.

Недалеко от них дворничихин пес ревялся, жуткий трус, от людей обычно так и шарахается. А здесь подбежал вприпрыжку, встал на задние лапы, дал старику почесать у себя за ухом, а потом открыл пасть и давай стариковский палец прикусывать, — собаки так выражают свое расположение.

Трубку неожиданно сняли, я узнала Валентину Григорьевну.

— Люба? — сказала она. — Подожди, дверь прикрою. Юра занимается. — Вернулась. — Ну, как дела, отчитайся!

У меня, видимо, голос дрожал, когда я ответила.

— Грустно, — после короткого молчания заключила Валентина Григорьевна. — Но не смертельно. В конце-то концов, тебе не в армию, поработаешь год.

Она что-то обдумывала.

— Пожалуй, я позову Юру. Твоя несудача будет и для него грозным предупреждением.

Опять помолчала и вдруг говорит:

— Стой на набережной, я его пришлю на десять минут. Но не больше. Живой пример действует нагляднее.

И повесила трубку.

Трезвый она, конечно, человек, но в данном случае я была ей даже благодарна. Не надеялась Юру увидеть.

Перешла дорогу, остановилась у парапета. И тут он выскочил на улицу. Огляделся, поискал меня взглядом, махнул рукой. И будто бы полетел в мою сторону. Красная рубашка трепещет на ветру, шея худая, ноги длинные, — аист! Вытянулся в струнку, вот-вот взлетит.

Подлетел, провел пальцем по лицу — это он часто делает, — поцеловал.

И тут, видимо, эти десять минут кончились. Мы еще и слова не сказали, а Валентина Григорьевна тут как тут.

— Перерыв, — говорит, — кончился. Люба получила достаточно доказательств твоего сочувствия.

Взяла Юру за ворот и вроде бы шутя подтолкнула к дому.

— Учись! — говорит. — Не захотите же вы вместе целый год на парапете сидеть?

Остались мы с ней вдвоем. Облокотились на парапет, глядим на воду. Нева в каменном мешке — шлеп-шлеп, успокаивает как-то.

— О чем думаешь, Люба?

Мама была бы неспособна вот так просто и спокойно в такую минуту.

— Как вам сказать, — говорю. — Есть у меня сомнения: может, и справедливо то, что я не попала? Не было у меня призвания.

Она покачала головой.

— Вредная мысль. Ты такое из головы выбрось. Я призвание не отрицаю, но аппетит, поверь, приходит во время еды. — Она эту фразу еще раз по-французски повторила. — Работай добросовестно, вот и все призвание, это я тебе как трезвый человек заявляю. И чем лучше ты будешь трудиться, тем значительнее уважение к тебе. А призвание в том смысле, в каком ты понимаешь, — ерунда. На голову оно не сваливается... — Она улыбнулась. — Начнешь, скажем, у нас в регистратуре работать, будешь быстро больничные листы выписывать, все тебя полюбят. Что это — призвание или талант?

Она поглядела на меня иронично, призналась:

— Я ведь когда-то на эстраде пела. Голос у меня был прелестный. Потом встретила Леонида Сергеевича, и он не захотел, чтобы я разъезжала по гастролям, ревновал. Заставил меня пойти в медицинский. Закончила. Стала работать. Больные меня раздражали, скажу честно, занялась санитарным просвещением, потом заменила как-то главного врача поликлиники — получилось. Нашли, что есть у меня административная жилка. С той поры заведую...

Она поглядела на часы, охнула:

— Пора Юру кормить! Взяла отпуск на время экзаменов. И знаешь, он поправился на два кило. Вот что значит рациональная организация труда, НОТ, как теперь называют.

Ударила меня по носу указательным пальцем, предупредила:

— Не расстраиваться, девочка! Усекла?

Я сказала бодрее:

— Усекла, Валентина Григорьевна! Спасибо.

Федоровы так и не ушли со своего места. И пес не ушел, бежал по садику, вилял хвостом.

Они будто бы меня ждали. Поднялись, как только я вернулась с набережной, и побрели к парадной.

Пес обогнал их, стал ластиться ко мне. Я перевернула его, пощекотала пузо. Он заурчал, забрыкал лапами. Мне бы такую беззаботную жизнь!

У лифта Владимир Федорович пропустил меня вперед, закрыл дверцу кабины.

— Хороший сегодня день, правда? С улицы уходить не хочется.

А старик глядит прямо в лицо, глаза тревожные, красные. И вдруг ни с того ни с сего говорит:

— Положитесь на время, девочка. Не огорчайтесь. Время лучший целитель...

Я так и втерлась в стенку.

Владимир Федорович торопливо распахнул дверь, потянул отца за рукав. Точь-в-точь как тогда.

Я нажала кнопку своего этажа и увидела сквозь решетку глаза старика.

— Счастливо! — крикнул он. — Все дело во времени!..

Мамы не было. Я доела все, что оставалось в холодильнике, прилегла на диван. Где же она? Наверное, ждет Алика, не хочет одна со мной разговаривать в такой момент. Все дело в том, что в последние месяцы мы с ней на равных стали, можно сказать — подруги.

Как-то так получилось, что о маме мне еще и рассказать не пришлось. Во-первых, мама человек бесхитростный, добрый, молодой по духу, да и внешне. Больше тридцати ей никто не дает, даже начальник отдела кадров однажды удивился, когда сосчитал, что ей тридцать девять.

В управлении сада, где она работает старшим экскурсоводом, подруг у нее полно, и все они называют друг друга «девочками». Возраст у девочек разный, от двадцати двух и выше. Работают они и бухгалтерами, и научными (вот что понять сложно) сотрудниками, и экскурсоводами. Комната у них небольшая, но в ней всегда весело и шумно.

Чего только тут не услышишь! И о любви, и о покупках, и о делах родственников. Все обсуждается серьезно и досконально, с полной заинтересованностью.

Замужних мало. Почти нет. Я знаю только директора. Впрочем, ее не учитывают. Директор — официальное лицо. При ее появлении все стихают и даже за глаза называют по имени-отчеству.

Некоторые девочки были замужем. И тогда они с детьми. Или не были. Но тоже многие с детьми. Остальные готовятся замуж — их большинство.

Мамина жизнь сложилась иначе. Она, мама, у них как бы особняком. И при желании ее можно отнести и в ту и в другую группу одновременно.

Дело в том, что вот уже девять лет мама связана с Аликом, Георгием Борисовичем Росточкиным, самыми прочными

и серьезными узами. Фактически он мамин муж, а мой отчим. Все это давно поняли и признали, но...

Алик постоянно борется за свою независимость, как он говорит — за свободу, и поэтому не закрепляет отношения официально, что, конечно, огорчает маму, заставляет ее постоянно тревожиться за свое будущее. А для женщины, если я правильно понимаю маминих девочек, «будущее» имеет первостепенное значение.

Что было у мамы раньше — не знаю. Но наверняка — ничего легкого.

Отца не помню. И вообще, кроме дедушки, никто нам не помогал. Сначала мама где-то работала, а вечерами училась, а я то в круглосуточном, то в продленке.

На Алика я вначале внимания не обращала. Приходил к нам всегда тихий, застенчивый, садился к телевизору. Не очень-то он был разговорчивый в то время. А мама начинала нервничать да покрикивать на меня без всякой к тому причины. Сходи в булочную! Ставь чайник! Накрывай на стол!

Я просто поражалась — чего она вдруг?

Особенно меня в Алике возмущало то, что он всегда приходил в гости с пустыми руками, даже цветочка не принесет. Маминих девочек, Лариса и Соня, чего только не притащат, если вечер у нас хотят провести, — понимают, на всех не напасешься. А Алик войдет, улыбнется, подергает меня за нос — это жест дружеского расположения, — повесит пиджак на спинку стула и сядет к телевизору, будто бы так и нужно.

Я однажды поставила на стол кофе и говорю:

— Торты не хватает. Никто не догадается принести...

Не от жадности я это сказала, а чтобы Алика прочить. Он сразу обиделся.

Мама тут же выговорила:

— Некрасиво, Люба. Если ты торты захотела, могла купить, булочная рядом.

Но в следующий раз он все же принес пачку печенья — значит, критика подействовала.

Есть у Алика и хорошие черты. Аккуратный. Наглаженный всегда, выбритый. У него свой портной. Свой парикмахер. Свои официанты в своих столовых. Свой театральный кассир. И это не от стремления к выгоде, а от пунктуальности и постоянства. Люди, как я поняла, такую привязанность ценят.

Как-то Лариса сказала:

— В наш век таких постоянных, как Алик, мало. Он не расписывается, Анна, с тобой потому, что не может менять установившийся порядок жизни. Но раз уж ты в сфере

его привязанностей — не волнуйся, никуда он деться не может. Принимай жизнь такой, как она есть. Не трепыхайся. Если присмотреться, в его системе есть гарантия прочности.

Ссорилась ли мама с Аликом за девять лет — не знаю. Но несколько раз они расходились. Было, к примеру, такое: уезжал он вроде бы в командировку, а мамини девочки видели его на улице, и не одного.

На маму в те дни больно было глядеть. И когда он снова стал бывать у нас в доме, а мама — у него, я не выдержала и спросила:

— Чего вы, Георгий Борисович, ищете? Поглядите, какой преданный человек рядом с вами.

Он невероятно удивился. А перед прощанием отвел меня в сторону и сказал:

— Я, Люба, человек свободный. И свободой дорожу. Мама же у тебя тоже свободна. Неужели ты думаешь, что в других условиях мы будем больше счастливы? — Он помолчал немного и прибавил: — А потом, кто один раз разводится, тому не просто сделать второй шаг.

На следующий день мама пришла домой грустная. И вдруг спросила:

— Ты... ничего лишнего Алику не сказала?

Я ответила уклончиво:

— Чего это ты?..

— Не знаю, — говорит. — Но он мне сказал, что хотел бы немного один побыть, без людей... Странно все это...

Потом все образовалось. Мама повсеселела и успокоилась, но я крепко запомнила эти дни. Да и Алика сильнее зауважала. А вдруг для него такое чувство свободы необходимо? Именно чувство, а не сама свобода. Какая же у него свобода в одиночестве, если самому приходится белье носить в прачечную, и обеды готовить, и квартиру прибирать. Тут-то я поняла его характер, и даже странная уверенность появилась у меня, что если женщине нужно чувство несвободы, даже чужой власти, то мужчине необходимо чувство свободы. И когда я это маме сказала, то она очень удивилась.

— Здорово ты подметила, — сказала она. — Мы с девочками эту мысль обсудили и пришли к согласию, что семья разваливается тогда, когда жены дают свободу мужьям, а им достаточно чувства свободы. А то и наоборот даже: если лишают их этого чувства, тогда происходит взрыв, революция.

Я вроде бы не засыпала, но когда увидела маму и Алика, то удивилась до чрезвычайности.

Выглядел Алик несколько торжественно: в зеленом костюме, в зеленом галстуке, в бежевой полосатой рубашке, а мама — как в трауре, даже черный платок на голове. Да и дверь она никогда так тихо не открывала. А тут неслышно, бочком, как на похоронах.

Алик повесил мамин плащ в передней, пропустил вперед. Сели.

Я решила не опережать событий, послушать.

Алик чиркнул спичкой, закурил. Дунул папиросным дымом в потолок, заметил мамино недовольство, открыл окно и уселся боком на подоконник.

— Ну, — сказала мама. — Что будем делать?

И заплакала.

Я этого не ожидала. У меня сдавило горло, подкатилось к глазам, и пошло.

Она, конечно, меня жалела, а я, если честно, — ее.

Неустроенная у меня мама, беспомощная. И с Аликом у нее нет покоя. Какой же это покой, если он только о своем чувстве свободы думает, радуется, что нет у него настоящей семьи, а так — налаженный быт. Ну кто ему еще нужен? Трудно у нее получается все, у девочек легче. Непрактичный она человек.

Тетя Лариса разочаруется в ком-то, выговорится на работе, отведет душу, а на следующий день снова как стеклышко. И кто-то всегда с ней рядом, редко одна бывает. А мама все с Аликом, с Аликом, а он знает, что она только его любит, вот и показывает характер.

Я вдруг разозлилась, что они и тут вместе пришли. Кто его звал? Кому нужно участие чужого эгоистичного человека? Были бы мы одни, выпили бы чайку и проболтали бы половину ночи.

Мама повернулась к зеркалу, попудрила нос, сказала спокойнее:

— Нужно, Люба, обсудить, что дальше делать...

Я плечами пожала:

— Работать пойду, какие сложности.

— Куда?

Прошлась по комнате, собрала разбросанные мною вещи.

— Я сейчас с девочками советовалась, Лариса обещала у кого-то спросить. Не в музее же тебе сидеть с пенсионерками...

Алик потушил сигарету. Он будто бы ждал, когда ему дадут слово.

— Разрешите постороннему?

Я подумала: посторонний — он посторонний и есть, чего от него ждать.

— Я разговаривал с начальником нашего конструкторского — это сразу после твоего, Аня, звонка, — дочь, сказал, не поступила. . .

Мама аж побледнела.

— Он попросил Любу зайти.

Наступила тишина, которой на этот раз действительно подходило определение — гробовая.

А у мамы такое растерянное лицо! И хочет и не может она поверить своему счастью. Ну что ей тут скажешь, самой большой и самой доверчивой девочке из всех девочек экскурсионного бюро? Не убедишь же ее, что все равно Алик предпочтет свободу, не так легко дожидаться от него справедливости.

— Спасибо, — говорю вежливо, — Георгий Борисович, но мне, думаю, проще не у вас в КБ работать. Дочь — это же лишние для вас разговоры. Все знают, что вы человек независимый, будут мне вопросы задавать.

Он помолчал немного, согласился.

— Ты, конечно, права, — говорит. — Но я думаю, нужно устроиться, а тогда я тебя в племянницы перепису. — Он улыбнулся. — Сделаю вид, что меня не поняли, я говорил о дочери двоюродного брата. Главное, чтобы ты хорошо работала.

— Да, да, да, — что-то забормотала сбитая с толку мама. Я разозлилась. Он и здесь умудрился обидеть ее.

— Значит, я вам буду двоюродной племянницей, это тоже нужно запомнить.

Он улыбнулся, сказал уклончиво:

— Какая разница — кем? Главное, как я к тебе отношусь.

— Конечно, — говорю, а сама на маму поглядываю. — Только я уже с Верой о работе договорилась, так что не стоит хлопотать. Спасибо.

Мама ахнула.

— Неужели в сапожную мастерскую?! — Теперь она искала защиты у Алика. — Люба, подумай, чему ты там научишься? Сапожники — народ грубый. Иди лучше на завод, к станку, руки у тебя есть.

— Да какая же разница! — отмахнулась я. — А Вера обещала подготовить из меня приемщицу — получится, говорила, рублей сто в месяц.

— Дело не в деньгах, — сказал Алик.

— И в них тоже. — Я взъелась. — Мы с мамой одни. Ей и одеться нужно. Как давно, мама, ты не шла себе платья. . .

Алик прошелся по комнате, он делал вид, что мои реплики не имеют к нему отношения.

Засвистел чайник. Алик бросился на кухню, а у мамы появилось злое выражение на лице.

— Зачем ты? — зашептала она. — Подумает, что я хочу больше, чем он мне дает...

— Ничего он тебе не дает, — отрезала я. — Ну чего он явился?

— Ради бога! — перепугалась мама. — Он же с чистым сердцем. Ты слышала, как он тебя назвал?

Она постеснялась повторить: дочь.

— А потом, — уже тише и просительнее сказала мама. — Ты взрослая, Люба. Выйдешь замуж, а я останусь одна. Алик ведь меня любит.

— Так не любят, — решительно сказала я.

— По-разному любят, — вздохнула мама.

Алик внес чайник, и мы замолчали.

— Ну, девочки, — он зазвенел чашками, поставил их рядом, стал наливать заварку. — Выпьем чаю за новый Любин этап.

Снял пиджак, галстук, нашел распялочку и аккуратно все это повесил. Потом пригласил нас к столу.

— Жаль, что нет ничего более крепкого! — Он доброжелательно хохотнул.

Мама ногой придавила мою туфлю: это была мольба, просьба сохранить мир.

Утром я дала Вере свое окончательное согласие. Она сказала: «Не пожалеешь» — и велела вечером заглянуть — скажет, когда оформляться.

Потом я снова проводила ее до автобуса. Домой возвращаться не хотелось, и я поехала к маме, тем более что вчера нам с ней не удалось толком поговорить из-за Алика.

Экскурсионное бюро находилось прямо в саду, в небольшом историческом домике, шедевре архитектуры восемнадцатого века, имеющем название «Кофейный».

Это было странно, так как мне казалось, что только последние годы он свое старинное название начал серьезно оправдывать.

Кофе в домике начинали варить буквально с утра, для этой цели у девочек имелось самое современное оборудование: спирали, спиртовки, кофеварки разных конструкций. Баночки с кофе стояли на столах, лежали в ящиках среди садовых циркуляров и научных фоллиантов, а кофе пахло на много метров окрест.

Надо сказать, что мамин сад — одно из красивейших мест города. Особенно я люблю его ранней осенью, когда начинают опадать листья и дорожки устилаются легким шелестящим ковром. А если задержишься здесь до ночи, когда на набережной зажигаются фонари, то мертвенный свет от них пробивается сквозь оголенные ветви и ты вдруг замечаешь застенчивые, внезапно застигнутые холодом, полуодетые фигуры мраморных богинь.

Много раз я засиживалась здесь одна, пряталась где-нибудь на боковой скамейке от ночного сторожа, а потом, когда сад пустел, поднималась и подолгу бродила по его дорожкам. Далеко побрякивал трамвай, Нева едла слышно омывала камни набережной. Похрустывали под ногами мерзлые ветки.

Пожалуй, утром я здесь никогда еще не была. Сад показался мне сонным. Неподвижный сторож стоял у входа, глядел в одну точку. Лебеди застыли на воде. А на скамейках разместились пенсионеры, еще не разговорившиеся между собой, полупроснувшиеся, с застывшими лицами. Старая привычка к раннему пробуждению механически вынесла их из жарких комнат, и теперь, не обнаружив привычного дела, они пытались продолжить оборванный сон.

Кофейный домик пока не источал кофейных запахов — там никого не было. Все заперто и спокойно. Сад еще не жил музейной жизнью, а только готовился к ней.

Я отошла на дальнюю скамейку — отсюда был удобный обзор.

Первой промчалась Лариса. Высокая, длинноногая. И тело такое же: гибкое, упругое, пружинистая вся — смотреть приятно. Шаг мужской, широкий, голова откинута, профиль четкий, будто бы его ножницами вырезали, волосы с золотистым блеском, развеваются.

Пробежала Соня, Софья Семеновна, Ларисин антипод, самая мелкая из маминих девочек. Глядя на нее, все хочется уменьшительными именами называть: носик, губки, ротик. Удивится она или обидится, сложит губки бантиком, носик вздернет, обнажит два небольших передних зубика, — типичный кролик. Единственно, что у Сони значительное, — волосы. Черный шар. Мама не раз советовала ей прибрать их, стянуть ленточкой, чтобы не торчали. Не хочет. Это, говорит, делает мое лицо особенно оригинальным, похожим на Анжелу Дэвис.

Экскурсию они ведут с Ларисой по-разному.

Лариса говорит свободно, фразы короткие, ясные, жест широкий. Не жест, а взмах. Поднимет указку — не экскурсо-

вод перед группой, а полководец. Я всегда восхищаюсь ею.

У Сони иначе. Протарахтит быстро-быстро, прыгнет в сторону. Скажет что-то еще и опять прыгнет. Вроде кенгуренка. Но самое главное, текст своей экскурсии она уже так знает, что, пока группу ведет, обо всем передумает: и чего купить на ужин, и куда завтра сходить. Вроде бы две Сони существуют: одна говорит, а вторая, не мешая первой, думает.

А вот и мама! Промчалась мимо, поглядывая на часы, — директор терпеть не может, когда сотрудники опаздывают.

Я снова пожалела, что не на маму похожа, а, видимо, на отца. Красивая она! Выше меня, что, как известно, нетипично для нашего времени, когда все нормальные дети гораздо выше своих родителей. С Соней меня, конечно, не сравнить, но Юра легко меня под мышкой прячет. И ноги у мамы стройные, подъем высокий, как у балерины, а у меня с детства плоскостопие, и я из-за этого предпочитаю туфли без каблучков. С каблучками-то красивее, понимаю, но если надену, то к вечеру не знаю, куда ноги пристроить, — гудят.

Дунул ветер с Невы, и до меня долетел острый и приятный запах кофе. Значит, работа в домике началась. Приоткрыла дверь — все штепселя включены, спирали работают, идут утренние приготовления.

Лариса первая увидела меня, обрадовалась.

— Будешь кофе?

— Выпью.

Мама подняла на меня глаза и тут же принялась листать какие-то бумаги. Мой приход не удивил ее.

Я присела рядом.

— Ну? — спросила она. — Что надумала за ночь?

— Ничего нового. Я уже дала Вере согласие.

Она откинулась на спинку стула, поглядела на меня с осуждением.

— Чему ты у сапожников научишься? Да и Вера — на шесть лет тебя старше, какая она тебе подруга.

Не закончила, махнула рукой.

Подошла Лариса с кофейником, поставила его на пепельницу, чтобы не испортить стол, присела сбоку.

— Идет работать в сапожную мастерскую, — пожаловалась мама.

Лариса налила чашку, отхлебнула глоток, кивнула. Ко мне или к качеству кофе относился этот кивок — неясно.

— Представляешь, первая экскурсия у меня в двенадцать. Сделали расписание! А встала чуть свет.

— Без дела толчемся, никто времени нашего не жалеет, — согласилась мама.

— Могла еще два часа спать... — Она зевнула в подтверждение своих слов, повернулась в мою сторону. — Решила и молодец! Хуже, если бы твоя дочь ничего сама решить не могла. Решительных я уважаю. А что в сапожную мастерскую — так ведь и там люди. И может, поумнее институтских найдутся.

Она ткнула маму в плечо, как мальчишка, сказала с вызовом:

— Ну что ты, Анна, страдаешь? Поработает год — разве плохо? Я до этого экскурсионного бюро восемь лет добиралась. И санитаркой была. И подсобницей на заводе. Даже пожарником. И не жалею, все на пользу пошло.

Сзади высокий писклявый голос спросил:

— Можно, девочки?

Лариса отодвинулась, а Соня уже протискивала между нашими стульями широкое кресло. Села, оглядела всех с сочувствием:

— Ты, Анюта, не переживай. В наше-то время как было? Не хочешь учиться, а институт все равно кончаешь. А теперь только и слышишь: того зарезали, этого. Хирургия какая-то, а не вступительные экзамены. — Она помолчала, хитро поглядывая на меня. Что-то было в ее взгляде припрятано. — А я уже кое с кем договорилась о Любе...

Вопроса не последовало.

— Будет работать в Академии наук.

— Ну? — обрадовалась мама.

Лариса кашлянула, спросила осторожно:

— Кем?

— В животнике.

— Где?

— Ну, в животнике, с крысами...

— Иди ты, — сказала Лариса беззлобно. — Очень Любе нужны академические крысы. Она уже в сапожное ателье устроилась, директором.

Я так и знала, что Соня поверит.

— А что? — сказала Соня с явным одобрением. — Здорово! Да кому нужно наше высшее? Учишься, учишься, а потом сто рублей. А Любка небось сразу двести отхватит.

— Триста, — сказала Лариса.

— Ба-атюшки! — ахнула Соня. — Триста?

Ее лицо вытянулось, в глазах появился испуг.

— Ладно, — сказала Лариса. — Перестань чужие деньги

считать, лучше ответ, когда отдашь долг за костюм. Меня давно спрашивают. . .

Со́ня поставила чашку, виновато заморгала:

— Отдам. Только пока у меня нет. Может, немного с поллучки. . .

— Не нужно было брать, раз не можешь отдать вовремя,— осуждающе сказала Лариса.— Давай перезайдем у девочек. . .

— Девочки! — крикнула Лариса, перекрывая общий равномерный гул.— Скинемся для Сони по пятерке, ей с долгом не расплатиться!

Она взяла листок бумаги и начала составлять список. Деньги посыпались на стол.

Со́ня молча глядела на растущую кучку, морщила лоб.

— Хватит! — остановила Лариса и протянула Соне список. — Держи для памяти.

Сложила пятерки, пересчитала, добавила свою:

— Отнесу, пожалуй. Все равно время пустое. Может, проведите?

Мы вышли в сад. Все за этот час вокруг изменилось. Высоко над нами стояло солнце. Ветерок перекидывал листву на дорожках. Темно-коричневые индонезийцы стояли около бледных мраморных статуй. Длинная очередь тянулась к музею. Правее виднелась вывеска «Кафе» — двери были распахнуты.

— Зайдемте,— сказала Лариса. Она крепко держала нас под руки.

— Стоит ли?.. — робко сказала мама, но подчинилась.

Мы вошли. Конопатая, всем известная в саду Маня выглянула из-за прилавка, узнала своих.

— По шампанскому, Маня,— сказала Лариса.— У нас праздник. Анина дочка сегодня устроилась на работу.

— А мне казалось, она у тебя собиралась учиться.

— Кончила,— улыбнулась Лариса.

— Молодец,— буфетчица поставила передо мной бокал с шампанским.— Не то, что мы раньше.

Она потопталась около нас, сказала несколько виновато:

— Только, девочки, в кредит не могу. Ревизию обещались. . .

— Расплатимся,— Лариса вынула кучу Сониных денег.

Маня сразу же откатилась.

— Пусть знает,— подмигнула Лариса,— что мы тоже не лыком шиты.— Подняла бокал, прикоснулась к моему и маминному.

— Волнуюсь я за Любку,— сказала мама.— Понимаю,

трагедия небольшая, что не поступила, а тут, — она показала на грудь, — болит и ноет.

— Ерунда! — сказала Лариса. — Все у твоей дочери будет нормально. А опыт ей не помешает. За Любину удачу...

— И на ответственную работу идет твоя дочь? — спросила из-за прилавка Маня.

Мы переглянулись.

— На ответственную, — серьезно подтвердила Лариса. — На безответственную, Маня, наша девочка не согласилась бы.

— Ясное дело, — кивнула буфетчица. — Вот я когда-то не пошла в театральные буфет, зато теперь четвертый год на улице мерзну...

... Дверь открыл Иван Васильевич, стоял в дверях огромный и сонный, усталым взглядом смотрел на меня. Из кухни вынырнула Евдокия Никитична, маленькая, толстощекая, рот — бублик, нос — пуговка, глазки — вишенки.

Евдокию Никитичну я очень люблю, добрая она и гостеприимная.

— Любаша! — обрадовалась она. — Заходи. А Вера вот-вот придет, уже время...

Иван Васильевич прихлопнул дверь, пошатал ее немного, проверил. Подумал и наложил крючок. Потом пошел к телевизору.

— Чего показывают, Вань?

Заскрипело кресло. Иван Васильевич уперся локтями в колени, уложил в ладони подбородок, застыл перед экраном.

— Чего надо, то и показывают.

— Хорошее?

— Ерунду.

— Завтра чуть свет вставать. Поспал бы...

— Успею.

Мы вошли в кухню. Евдокия Никитична смахнула со стола крошки, двинула стул в мою сторону.

— Сейчас покормлю, — сказала она.

Вытащила из холодильника салат, заливную рыбу, поставила кастрюлю со щами на плиту и тут же помчалась в комнату — в буфете у нее были пироги с картошкой.

— Ешь, сиротинушка, — приговаривала Евдокия Никитична, подкладывая салат. — Мало будет — котлетку пожарю.

Я отодвинула тарелку — хотелось передохнуть.

— Это хорошо, что ты решила с Верушей работать, с ей не пропадешь. — Приложила руку к щеке, задумалась. — А вот с одним худо, Любаня, ой, худо. Ночью то на один бок лягу, то на другой, а от мыслей не увернешься...

Она заметила мое удивление, вздохнула.

— Одна она все, одна, а время, Любаня, идет. Тебе девятнадцатый, а Веруне — двадцать четыре, детишек пора иметь... — она всплеснула руками. — И куды только женихито попрятались?! Недавно табунами ходили... — Поглядела на меня с жалостью, спросила: — Нет у тебя кого из хороших? Познакомить бы...

— Зря, тетя Дуся, убиваетесь. Если Вера захочет...

— Хочет она, хочет, — уверенно сказала Евдокия Никитична. — Только нету... А мы с Ваней немолодые уже. Ему за шестьдесят, мне немногим поменьше. И главное-то, что все у нас есть: и дача, и машина, а внуков...

Из столовой донесся громкий командирский голос, потом начали стрелять из орудий. Снаряды рвались где-то рядом.

— Воюют в телевизоре, — вздохнула Евдокия Никитична. И снова тревожным шепотом повторила:

— Так ты скажи... Есть у тебя кто?

Я вдруг вспомнила Игоря. Она заметила что-то в моих глазах, придвинулась ближе.

— Есть...

Теперь отступать было поздно.

— Кто?

— С милиционером познакомилась. Чуть меня на мосту не оштрафовал. Хороший, по-моему, человек, только не очень красивый.

Она отмахнулась:

— Не с лица воду пить. Был бы самостоятельный, и чтобы дом любил, как мой. Ивана-то Васильевича от дома только с досками оторвать можно.

Она приложила палец к губам и кивком пригласила меня к Вере в комнату. Раскрыла шкаф.

— Видала, брюк сколько! У моего и половины за всю жизнь не было. Я еще те, в которых он женихался, помню... — Она неожиданно крикнула: — Вань! А если бы у тебя зять милиционером работал, тогда как?

Щелкнул телевизор, стало тихо.

— Где ты милиционера взяла?

— Люба предлагает.

— Может, и ничего, — сказал Иван Васильевич после молчания. — Главное, чтобы дом любил.

Она засмеялась, прикрыла рот ладошкой.

— Полюбит, когда детишки пойдут... — Повернулась ко мне, подмигнула: — Давай, Любаня, постарайся. Мы сватью без подарков не оставим.

— Да что вы, тетя Дуся! — сказала я. — Тут другое дело: не знаю, как договориться — он в общежитии живет. . .

— В общежитии! — ахнула Евдокия Никитична. — Ну я и накормлю же его — вздохнуть не сможет. . . А приглашать к нам дело простое. Скажи, есть у меня подружка хорошая, самостоятельная.

В столовой телевизор рычал мужским басом, потом перешел на женский визг.

— Чегой-то хорошее показывают, — сказала Евдокия Никитична, увлекая меня в комнату.

Иван Васильевич полулежал в кресле, рот его был приоткрыт, голова откинута, — он спал. Руки Ивана Васильевича свешивались до пола, кулаки упирались в ковер. Евдокия Никитична поставила рядом два стула, уселась и подтолкнула Ивана Васильевича в бок. Он открыл глаза, сел как прежде: локти в колени, подбородком уперся в ладони и снова уставился в экран, будто бы и во сне следил за тем, что происходило в фильме.

У Юры в окнах горел свет. Народу на набережной почти не было. Парни с гитарой сидели на парапете, сюда едва-едва доносилось их пение. Шагах в двадцати на скамейке полулежал мужчина: ноги вытянуты, руки заложены за голову, взяты в замок, взгляд — в небо. А там облака, как разрывы шрапнели, да ровный диск луны.

Я обошла эту странную фигуру и внезапно узнала Владимира Федоровича. Он поднял голову, увидел меня.

— Люба?

Он уже сидел ровно — худые колени острыми углами поднимались вверх.

— Тепло! Хорошо, тихо. Вот написать бы такую ночь, но ведь лучше этого не напишешь. . .

Опять откинулся на спину, вывернул руки и потянулся, точно хотел снять с неба лунный диск.

— Не напишешь, — повторял он. — А человек все пытается состязаться с природой. . . И проигрывает.

— Вы художник? — Я села рядом. . .

Владимир Федорович не ответил.

— Странно, — сказал он. — Писал натюрморт — нравилось, а сейчас вспомнил — и стало стыдно. Плохо, очень плохо. . .

Он опять застыл, откинул голову, острая борода поднялась. Вынул сигареты, взял одну, чиркнул спичкой.

Его лицо на короткий миг осветилось. Он сказал:

Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.

Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.

Затянулся глубоко, выпустил кольцо дыма.

— А Федор Николаевич тоже художник?

— Нет. Был учителем литературы, директором школы, но это все было давно, очень давно, Люба.

Владимир Федорович поднялся:

— Пора идти. Я отца одного оставил. Стараюсь этого не делать. Боюсь. Каждый день приступ. И главное, он врачей вызывать не разрешает.— Протянул мне руку, попрощался.— Извините, — сказал он и быстро пошел через дорожку, к дому.

Дверь у Федоровых оказалась приоткрытой. Я хотела прихлопнуть ее, но в коридоре неожиданно вспыхнул свет и я увидела Владимира Федоровича с эмалированным тазом. Он торопился в комнату, толкнул дверь ногой — вода плеснулась, растекалась по полу, — Владимир Федорович застыл на секунду и тут заметил меня.

— Люба, — не удивился он. — Зайдите. Пособите немножко... — И исчез.

Я прошла в первую, проходную комнату и остановилась. Беспорядок был фантастический — стол почти у дверей, стулья перегораживали проход, какие-то бутылки и рамы на полу, — мне некогда было все это разглядывать.

До следующей двери я все же добралась, нерешительно ее отворила.

Владимир Федорович стоял согнувшись около кровати старика, пододвигал ему таз с горячей водой. Потом я увидела шприц, Владимир Федорович положил его в стерилизатор.

Федор Николаевич, худой, с выпирающими ключицами, с желтым больным лицом, вроде бы глядел в мою сторону, но наверняка ничего не видел.

— Смените на более горячую или подлейте, — попросил Владимир Федорович. — Горячая ему хорошо помогает.

Я принесла кастрюлю, подлила в таз. Теперь я глядела на впалую старческую грудь, на всклокоченную бороду, на прыгающую жилу на шее и боялась шелохнуться.

— Скоро ему полегчает, — сказал Владимир Федорович. — Оказывается, и этому можно научиться. Делаю уколы, лечу сердечную астму, разбираюсь не хуже «неотложки».

Старик неожиданно поднял голову. Он все еще хрипел, в углу рта блестела серебряная паутинка, но глаза с каждой минутой становились яснее.

Он узнал меня.

— Я позвал Любу, не возражаешь?

Владимир Федорович присел на корточки, насухо вытер стариковские ноги, надел на них валенки, передал мне таз.
— Попробуй уснуть, папа.

Встряхнул одеяло и прикрыл сидящего в подушках старика.

— Я буду рядом, не волнуйся,— говорил он, отступая к двери. Повернулся ко мне и шепотом спросил:— Чаю хотите? Только без сахара. Забыл купить. Впрочем, у нас, кажется, есть вафли.

На кухне зазвенела и покатилась крышка чайника, заурчала вода из крана. Теперь я могла осмотреться.

Холостяцкую квартиру я уже однажды видела. Несколько лет назад мама взяла меня к Алику. Все в его комнате знало свое место, стояло так, как и положено стоять: кресла были словно привинчены, едва я подвинула одно, как Алик подошел сзади и поставил по-прежнему. Пальто висели в шкафу, на распяхочках, костюм под простыней, чтобы не пылился, на подоконнике вазочки с цветами. И первое, о чем я тогда подумала, как маме тяжело с ним.

У Федоровых все было иначе. На столе выстроились яркие причудливые флаконы, тут же на разбитом прямоугольном блюде лежали сморщенные, сухие персики и гранаты. Подтеки краски засохли на полу — несколько длинных пунктирных дорожек, будто кто-то специально стирал кисти.

На многоступенчатой полочке около окна стояли еще флаконы и бутылки.

И все же главным в комнате были картины. Они висели на стенах, заполняя пространство с такой густотой, что обои почти не были видны. Без рам, с рядами загнутых гвоздей на подрамниках, с лохматящимися краями холстов, — видимо, эта внешняя сторона не очень волновала художника.

На картинах были те же флаконы красного, синего, зеленого цвета, дутые и вытянутые, по одной и группами. Они то стояли на намечающейся плоскости стола, то утонули в складках скатерти, составляя странное единство.

Владимир Федорович вошел в комнату, позвякивая чашечками, и поставил на стол.

— Пейте. У вас еще будет время рассмотреть все это...

Отхлебнул первый, пододвинул мне вафли.

— Расскажите, что у вас с институтом?

— Теперь это не имеет значения. Иду работать.

— Куда?

— В сапожное ателье.

Он кивнул.

Я невольно смотрела на стены. Картины притягивали мой взгляд. Высохшие гранаты лежали на блюде, а рядом стоял причудливый флакон с вдавленным боком, и на него откуда-то падал свет. Ах вот, из окна. Прямоугольный блик лежал на его поверхности.

Я пожалела, что рядом нет Юры. Мне всегда становилось жалко, если я не могла своей радостью поделиться с ним.

— Времени не хватает работать, — пожаловался Владимир Федорович. — Фактически для живописи у меня остаются ночи. Когда спит отец. А потом я еще должен сделать другое — «окна позора» для трамвайного управления. «Гражданин Свистунов оштрафован за безбилетный проезд». Вот моя творческая сфера.

Он странно рассмеялся.

— Но почему у вас везде стекло? Случайно?

— Нет. Иногда мне хочется писать другое, совсем другое... — Он не закончил мысль, сказал иначе: — Но вообще-то, разве это пустяк — выявить душу предмета, оживить его, обласкать собственным чувством, превратить в поэзию? Красота, я уверен, не лежит и не валяется, и задача художника — ее увидеть и показать другим...

Он улыбнулся как-то робко, словно бы попросил прощения за такую длинную фразу, но внезапно насторожился, шагнул к двери.

Через несколько минут Владимир Федорович вышел от старика.

— Отец хотел бы поговорить с вами, — сказал он. — Не пугайтесь... Зайдите.

Старик полусидел в кровати, откинувшись на подушки. Он все еще был измучен приступом, дышал тяжело, синие полосы, будто грим, бежали по его щекам.

Я остановилась в дверях, испытывая страх и неуверенность.

Видел ли он меня, не знаю. Рука его согнулась в локте, длинный указательный палец шевельнулся, приказал мне приблизиться.

Я подчинилась.

Он накрыл своей крупной ладонью пальцы моей руки, но глаза его что-то искали на потолке.

— Люба, — сказал он и словно бы прислушался к тому, как звучит мое имя. Какое-то тревожное воспоминание про-

бежало по его лицу. Он попытался сесть, но сил не хватило, и он дважды падал навзничь.

Владимир Федорович помог ему, подбил подушку под спину, создал опору и, положив на плечо старика ладонь, попытался его успокоить.

— Папку! Дай папку! — потребовал старик.

Зрочки его покачивались, и мне показалось, что он ничего не видит в комнате.

Владимир Федорович подошел к шкафу, достал с полки старую, черной кожи, папку, протянул отцу.

— Здесь! — говорил Федор Николаевич, пытаюсь развязать узел дрожащими пальцами.

Открыл крышку — бумаги и какие-то фотокарточки веером рассыпались по одеялу, разлетелись по комнате.

Он наконец достал потрепанную серую большую тетрадь, помахал ею.

— Классный журнал сорок первого года! Погляди, какие отметки!

Он протянул мне журнал.

Я отступила.

— Возьмите, Люба, — попросил Владимир Федорович и даже подтолкнул меня к отцу. — Он хочет рассказать вам...

Я подчинилась. Лихорадочный блеск нарастал в глазах Федора Николаевича. Мне было страшно, — теперь я и сама видела: это душевнобольной.

— Пока не появился журнал, дети не хотели верить, что у нас школа.

Он подался вперед, сам перелистнул мне страницу. Сверху было написано «литература», дальше столбиком три фамилии, а в каждой разграфленной клеточке стояло «отлично».

— До войны у меня считалось невероятным получить «отлично», правда, Володя? А в блокаду я их ставил щедро. Если даже они не запоминали урока — я ставил. У детей в сорок первом резко ухудшилась память. Знаешь, я заметил, дети хуже нас, взрослых, переносят голод.

Он вдруг спросил:

— Теперь какой год?

Я сказала.

— Уже?! — Он удивился.

Что-то, видно, считал про себя, шевелил губами.

— Они волновались, когда я уходил. Плакали. Я брал журнал и говорил, что иду на работу. И это была правда. Я давал одной девочке уроки. И брал за урок кусок хлеба.

Он задумался, пожал плечами.

— Какое это было унижение, Люба! Сытый, капризный ребенок. Но я не мог не пойти. Не имел права. У них я еще выменивал вещи. И получал хлеб. Меня ждали девочки. Три девочки из моей школы, у которых никого, кроме меня, не осталось...

— Папа, не нужно!

— Нужно, Володя, нужно! Сегодняшние должны знать про это. Я давно собирался рассказать Любе. Я ждал. Я рад, что она у нас.

Хрипов становилось больше.

— Это был богатый дом. Очень. Богатый хлебом. Мать работала в столовой, на раздаче. В блокаду, Люба, это была особая должность! Она говорила: «Куда вам столько?» Но я брал все, что она давала. И нес детям. Их глаза всегда были рядом. И в глазах — голод! Знаешь, я выходил из комнаты, когда они ели. Взрослый человек может перетерпеть, если нужно. Ребенок — не может.

Он провел по лицу рукавом халата.

— Тот последний день начался удачно. Я отнес им картину. Портрет моей матери, написанный Репиным. Мама была артисткой Александринки. Я не предполагал, что смогу за портрет получить половину буханки. И еще кирпичик пшеничного концентрата. Сама посуди, кому нужен Репин в блокаду?.. Я шел быстро. Спешил к детям. Я знал, как они меня ждали...

— Папа! Дальше я сам доскажу Любе...

— Дальше ничего не было, Володя! Конец. Наружная стена нашего дома отваливалась, как ломоть...

Он вскрикнул и захрипел еще больше.

А потом я бегала на кухню за горячей водой. Владимир Федорович жгутами перевязывал отцу ноги — это вроде бы помогало при астме, — давал чаю, просил запить какие-то таблетки.

— Нужно поспать, папа. Люба у нас еще будет...

Глаза старика начали слипаться. Я тихонечко отходила к двери. Старик увидел, что я ухожу, и крикнул:

— Мне нужно еще рассказать тебе что-то! В блокаду у меня жили три девочки. И представляешь, одну звали Люба. Они погибли...

Он что-то бормотал еще, потом затих. Дыхание выравнилось, лекарства делали свое дело.

Мы вышли на лестницу. Я отчего-то спросила:

— Все, что говорит Федор Николаевич, — правда?

Владимир Федорович поглядел на меня и не ответил.

— Идите, Люба. Спокойной ночи.

Он повернулся, и за моей спиной щелкнула дверная задвижка.

Автобус был переполнен. Меня прижали к задней двери. Вера пробилась к водителю. Оттуда она подавала мне какие-то знаки.

Вышли остановкой раньше, решили зайти в мясной магазин. Первый рабочий день, наставляла Вера, нужно провести блестяще.

— Главная задача — накормить мастеров так, чтобы они поняли: с твоим приходом наступил праздник. А ты можешь, — убеждала она. — Я это знаю. Постарайся. Купим мяса, а деньги соберем после... Даю вроде бы взаймы.

Я не возражала. Приготовить я могла, если это кому-то нужно.

Магазин был напротив. Мы постояли на перекрестке, пережидая поток машин, потом регулировщик в будке дал «зеленый» и махнул нам рукой.

— Не твой знакомый?

— Нет.

— Ну ты и дала. Пообещала родителям собственного милиционера в хозяйство. Подняла неслыханное волнение в доме. А мне, можно сказать заинтересованному лицу, — ни гугу. Как же это так, подруга?! Выкладывай паспортные данные. Имя. Фамилия. Возраст. Есть ли благодарности? Сколько классов кончил? Предупреждаю, я за двоечника не пойду. Мне нужен отличник боевой и политической подготовки.

Слушала она меня с иронией, но интерес к рассказу был четкий.

Магазин уже открыли. У прилавка толпилась очередь. Вера двигалась решительно, извиняясь, а то и просто раздвигая бабушек с кошелками, — жест ее был целеустремленным и твердым.

Кто-то все же усомнился в наших правах, перекрыл путь, потребовал объяснений.

— Халатик, пожалуйста, — крикнула через головы очереди Вера. И, обернувшись к тому, кто осмелился ее задержать, сказала сурово: — Гражданин, вы мешаете эпидстанции.

К ней тут же шагнул высокий старик, сказал торопливо:

— У меня есть претензии к магазину по части хранения мяса в рефрижераторе...

Сердце мое испуганно затрепыхалось.

Вера глядела сквозь жалобщика.

— Я занимаюсь воздухом, — сказала она. — Чистотой. Ес-

ли у вас есть что-то по поводу запыленности — пожалуйста, а рефрижератор — это уже другой отдел. . .

Директор ателье удивил меня. Он как бы еще не был похож на директора.

Облик истинного директора олицетворял для меня директор нашей школы. Это был пожилой, худощавый, хмурый человек в очках, с поджатыми тонкими губами, к которому мы все, да и наши родители, испытывали благоговейное почтение. Учителя буквально деревенели, когда он возникал на уроке. Чем это было вызвано, сказать трудно. Он никогда не повышал голоса, не наказывал, не отчитывал. Он только молча ходил по коридору на больших переменах, и движение постепенно успокаивалось, а голоса затихали.

А здесь рядом с Верой стоял худенький мальчик с редкой бородкой, с институтским значком на лацкане, подтянутый и несколько виноватый, если судить по блуждающей и неуверенной улыбке.

— Вот вы какая, Савельева, Вера Ивановна о вас говорила. Ну, условия вы знаете. Обязанности тоже. Садитесь за мой стол, пишите заявление, а я отвезу в управление. Я уже предупредил там, что беру человека. . .

Он отодвинул какие-то бумаги и показал на свое кресло.

Пока я писала заявление, Вера листала пачку накладных, потом энергично стала бросать костяшки на счетах, а директор отмечал что-то в блокнотике. Со стороны казалось, что начальство скорее Вера, а он подчиненный, так строго и решительно она с ним разговаривала.

Наконец она сложила накладные в картонную папку, перевязала тесемочками.

— Если что будет трудно, звоните, — сказала она. — Я объясню.

Я тоже закончила свое дело, передала бумагу. Вера прочла ее внимательно и, ничего не прибавив, положила мой лист в ту же папку.

— Я, пожалуй, пойду, — попросился директор у Веры. — А вы дальше обращайтесь к Вере Ивановне, она моя правая, можно сказать, рука. Сложностей не будет. Разве обед приготовить. . .

— Это она мастерица, — заверила директора Вера. — Советую вам сегодня поспешить на ее премьеру. . .

Потом мы обходили мастерскую и Вера знакомила меня с мастерами. Парни похотывали нам вслед, острили. Девуш-

ки, ушивщицы и клейщицы, как объясняла мне Вера, поглядывали с любопытством: какая она, новенькая? Чего можно от нее ждать?

Невозмутимыми были старички сапожники, они сидели на своих стульчиках-липках, среди непочиненной обуви, уложенной на полу и на верстаке, и «колотили» план.

Стихнул гудящий токарный станок. Из-за него выглянул белобрысый парнишка с девичьим румянцем на небритых щеках и с длинными до плеч волосами

— А ничего девушка,— одобрительно сказал он.— Все на месте.

— Это у тебя не все на месте,— строго сказала Вера.— Гляди, как разбросал обувь. Лучше переживай, Вавочка, за свой план.

— Девушка сверх плана,— острил Вавочка.

— Не выйдет,— сказала Вера.— Любино сердце принадлежит молодому хирургу.

— У нас все профессии равны,— не сдавался Вавочка.

В первый же час на кухне успели перебивать ребята всей мастерской. Вавочка возникал трижды. Он явно перестал работать. Останавливался в дверях, принюхивался к бурлящему борщу, прищелкивал языком. Верхняя губа его поднималась домиком, обнажая прямые белые зубы, круглый с ложбинкой нос слегка шевелился, и Вавочка почему-то становился похожим на херувима.

— Мировой запах!— говорил он, усаживаясь на табуретку.— Так у нас еще никогда не пахло.

Вера тоже забежала ко мне. Зачерпывала борщ из кастрюли, дула на него и, сложив губы трубочкой, шумно всасывала.

— Прибавь соли,— советовала она.

Пока варился борщ, я успела прибрать в мастерской. Дел было много, но я постоянно думала о Юре. Как у него?

И все же не только Вавочка запомнился мне. На стульчике-липке трудился маленький человек без возраста. Со спины он казался молодым. У него были сильные мускулистые руки, густая прическа-бобрик, мощная шея. Человек обернулся— нет, он оказался не молод! В мою сторону был брошен острый взгляд.

Он кивнул, а его рука уже шарилась в куче обуви, отобрала нужную туфлю и стала мять ее, словно тесто. Потом большой палец торопливо проехал по ранту, отыскивал дефект, проник внутрь, сделал дыру пошире, и сапожник, прищурившись, поглядел одним глазом в туфлю, точно в подозрительную трубу. Черное облако скользнуло по его лицу: мастер думал.

В это же самое время вторая рука захватила металлическую «лапу», установила ее между ног.

Молоток пробежал по подошве, точно палочки ксилофониста перед тем, как начать партию, застыл над каблуком. Сапожник неожиданно скосил взгляд в мою сторону, улыбнулся.

И тут началось!

Туфля подскакивала на «лапе», будто дышала. Губы сапожника вытянулись, нос заострился, стал похож на стрелку-указатель, взгляд сделался колким. Гвозди входили с одного удара, слегка позванивали. Это была партия фокусника в цирке, гимн труду, марш победителей.

Я забыла о своих обязанностях, стояла удивленная и не могла оторвать взгляда от такой работы. Вера подтолкнула меня:

— У тебя выкипает борщ.

Я не пошевелилась.

— Кто это?

— Дядя Митя,— сказала Вера.— Профессор!

Мастера с шумом заходили на кухню. Дядя Митя снял фартук, вымыл руки, высушил их над плитой и благосклонно поглядел в мою сторону, вроде бы разрешил приступить к трапезе.

Я налила тарелку, поднесла борщ дяде Мите.

Не глядя на меня, он взял ложку, зачерпнул густоту, отлебнул.

Я неожиданно почувствовала, какая тишина меня окружила.

Дядя Митя шевелил губами, как дегустатор.

— Прилично,— удивленно сказал он.

Мастера словно ждали его приказа. Вавочка стонал от удовольствия, сыпал шутки, острил.

— Ну как? — спрашивала у каждого Вера.— Какую я вам раздобыла кадру?!

А дядя Митя ел. Зачерпывал ложкой, подставлял под нее кусок хлеба и медленно нес ко рту. Он жмурился от удовольствия, кажется, я ему действительно угодила.

Потом он поскреб по краям тарелки, слил в ложку остаток и стал ждать второе.

Я положила тушеное мясо. Оно плавало в томатном соусе и было темно-вишневого цвета.

Дядя Митя отщепил махонький кусочек, обмакнул в соус и положил на язык. Удивление росло в его глазах.

— Прилично! — сказал он второй раз. — Такое умела делать только моя старенькая мама в Корыстене. Где ты этому научилась?

— Недалеко от Корыстения, — сказала я. — Мои бабушка и бабушка тоже оттуда.

Он ел, покачивая головой.

Я вышла к телефону. Пора было позвонить Юре. Что-то долго не соединялось.

Вера обняла меня за плечи, я не слышала, когда она пошла.

— Поздравляю! Ты удостоилась высшей похвалы дяди Мити.

— Подумаешь, «прилично»! Что, другого слова не было!

— Что ты! — сказала она. — Ты даже представить не можешь, как бы звучало его «неприлично».

Я услышала звуки победного марша.

— Пятерка! — кричала трубка в пространство. Она кричала любому, кто ее слушал, не интересуясь — кто. — Пятерка! — орала трубка. — Пятерка!

— Доктор Кораблев, я вас поздравляю!!!

— Люба! — неистовствовал Юра. — Бросай работу! Это нужно отметить! Родители дают копейку своему единственному ребенку! Ребенок заслужил, честное слово.

Ему мешала Валентина Григорьевна, она тоже что-то говорила в трубку.

— Тихо! — перекричал ее Юра. — А то пойду и пересдам на «два».

Вера так и не ушла, стояла рядом.

— Поздравляю, студент! — крикнула она.

— И тебя приглашаю, — орал Юрка. — Давайте кончайте трудиться.

— Ладно, — я засмеялась. — Приду с работы — решим. Ты пока невменяем.

Я повесила трубку, пора было открывать мастерскую после обеденного перерыва.

— Вот что, — сказала Вера, обдумывая какой-то план, — раз уж моя судьба небезразлична тебе, упускать такую возможность не стоит. Позвони Юре и скажи, что соберемся у тебя дома. Продуктами я обеспечу. Тебе остается доставить милиционера.

— А если он на дежурстве?

— Нет, — твердо сказала Вера, точно уже все узнала. — Это было бы несправедливо. . .

Когда я вернулась на кухню, там сидел дядя Митя.

Теперь можно было поесть и мне. Я налила тарелку, села в стороне.

Дядя Митя достал сигарету, покрутил ее в пальцах, размял. Чиркнул спичкой и глубоко затянулся.

Он словно решил сегодня больше не работать.

На пороге появилась Вера, в ее руках были мужские туфли. Она присела рядом с дядей Митей.

— Вот, поглядите, — сказала она с сердцем. — Вавочкина работа. Заказчик требует жалобную книгу.

Дядя Митя не пошевелился. Он будто не слышал.

— Директора хочет, очень шумный пришел товарищ...

— Ну и что? — переспросил наконец дядя Митя. — Пусть напишет...

— Что вы? А тринадцатая зарплата?! Вы же знаете, страдает вся мастерская.

Дядя Митя снова глубоко затянулся. Пустил кольцо дыма, закинул ногу на ногу, покачал школьным ботинком.

— Нет, нет, — тревожным шепотом говорила Вера. — Только вы можете уговорить клиента.

У дяди Мити взлетела бровь.

— Я? С какой стати? Есть директор... — Он показал на дверь. — Вперед и направо. Товарищ Федулов. У него ромбик в петлице. Его учили пять лет в институте. Он умеет говорить с клиентом. Мое дело — шить обувь.

Он отвернулся от Веры. Сигарета погасла. Он достал спички, снова чиркнул.

— Пожалуйста, дядя Митя, — продолжала просить Вера.

Он поднялся, сделал шаг в сторону цеха и со вздохом вернулся на место.

— Драть некому этого Вовку. Все считают, Митя исправит. А ведь Митя тоже не вечен.

На кухонном пороге возник толстячок, квадратный и лысый. Глаза его глядели хмуро, губы были поджаты, желваки гуляли по скулам, — казалось, толстячок готов был подраться.

Я оставила тарелку. А дядя Митя словно никого не видел. Стряхнул пепел. Зевнул. Протянул руку в сторону Веры.

— Разреши подержать наш брак, — сказал он мирно. Взял туфли, покачал головой. — Безобразие! Стыдоба какая! Если бы это сделал мастер, я бы оставил от него мокрое место. Чем так работать, лучше уж не работать.

Он вздохнул.

— Но для первых шагов это не так страшно. — Повернулся к Вере. — Туфли попали к клиенту по ошибке.

Улыбнулся, успокоил толстяка взглядом.

— Понимаю, — сказал он мягко, как бы впервые его заметив. — Вам нет до этого дела. Понимаю. Согласен.

Поставил туфли на подоконник, кивнул клиенту:

— Извините нас и потерпите немного. Через два часа вы не узнаете своих туфель. Это говорю вам я, мастер.

Он протянул руку клиенту и, слушая его, благосклонно довел до выходной двери.

— Представляете, — жаловался клиент, явно смягчившись. — Из-за такой мелочи я не спал полночи. Мысль, что придется требовать жалобную книгу, меня угнетала...

Дядя Митя подождал, пока клиент выйдет, открыл дверь в цех и одну за другой запустил в сторону собственного верстака туфли.

Потом позвал:

— Вова!

Он почти бегал по кухне. От окна к двери, от двери до окна.

Наконец заметил Вавочку. Сел.

Я думала, дядя Митя начнет браниться, но он подпер кулаком щеку, так что лицо перекосилось, уголок рта поднялся, глаз вытянулся. Дядя Митя стал похож на монгола.

— Девочка, — обратился он ко мне. — Скажи, тебя учили в школе халтурить?

Я промолчала.

— Тогда откуда берутся такие, как этот?.. Ему даже не стыдно, что старик, дядя Митя, сегодня спасает ему тринадцатую зарплату.

Уши у Вавочки запылали, лицо стало пятнистым.

— Что же ты молчишь, халтурщик? Может, расскажешь, кто тебя научил халтурить?

Он помолчал.

— Ах, ты иначе не умеешь, халтурщик, я понимаю...

— Почему же, — тихо пробормотал Вавочка, глядя в пол.

— Значит, ты умеешь иначе?! — дядя Митя поджал губы. — Просто халтура твой принцип.

Дядя Митя сказал, как отмахнулся:

— Мне тошно тебя видеть, халтурщик.

Вавочка попятился задом, прикрыл двери.

Дядя Митя поднялся. Шаг его стал мягким, неслышным. Дядя Митя сделался похожим на рысь, что-то хищное появилось в его походке.

Он наконец утомился, присел на табуретку.

— Знаешь, девочка, — сказал он. — Я тут видел кино про портного. Артист в такой роли. И там был другой артист — он исполнял роль генерала. Стоило портному сказать слово, как

зал хохотал и хлопал. А выходил генерал — всем становилось скучно.

Он помолчал.

— Так вот,— неожиданно заключил дядя Митя.— Когда я ел твой борщ и твое кисло-сладкое мясо, то подумал: каждый обязан сыграть свою роль как можно лучше.

Он двинул табуретку ногой под стол, распахнул двери.

— Один будет халтурить, а другой — эту халтуру исправлять. Смешно! Мастер, у которого я учился в Корыстене, выгнал бы такого ученика в три шеи. . .

А потом я увидела дядю Митю около верстака. Он стоял необычайно значительный, излишне прямой и от этого казался выше ростом.

Жалобщик ошарашенно разглядывал туфли.

Из-за спины дяди Мити выглядывал Вавочка, вытребованный со своего места. Вавочка делал вид, что возник здесь случайно,— блуждал глазами по потолку.

— Заверни туфли,— наполеоновским жестом указал дядя Митя.

Захрустела бумага.

— Теперь проводи товарища!

Вавочка подчинился.

Дядя Митя подождал, когда жалобщик скроется за дверями, и оглянулся. Увидел меня. И многозначительно подмигнул.

После дневных волнений, знакомств, разговоров и суеты тишина дома казалась удивительной. Я прилегла на диван, и в ту же секунду время словно остановилось для меня. Это был желанный покой.

Слава богу, все приготовления Вера взяла на себя, даже разговор с Игорем. «Милиционер, даже если он отличник и криминалист, вряд ли узнает твой голос. . .»

Когда я открыла глаза, в квартире оказались Евдокия Никитична и Вера. На столе стояла всякая закуска, фужеры для лимонада, рюмки и тарелки, а Вера большой деревянной ложкой перемешивала салат.

— Погляди на эту красоту,— сказала она, окидывая стол критическим взглядом.— Если милиционер окажется с браком, я вычту расходы из твоей первой зарплаты.

Воткнула три зеленых луковых перышка в вершину салата, повернулась к матери:

— Пойдем. Мне нужно еще переодеться.

Евдокия Никитична обняла меня перед уходом, зашептала слова благодарности в ухо.

Вера с иронической улыбкой смотрела на мать.

— Хватит! — прикрикнула она. — Не пришлось бы тебе брать эти слова назад...

Первым примчался Юра. Стоял счастливый передо мной с букетом гвоздик и шампанским. Поставил на кухонный стол. Обнял меня и на руках понес в комнату.

— Ура! Мы наконец одни, Люба!

Как я люблю смотреть на него! Он этого не подозревает. А я гляжу, как он смеется, как говорит, как дурачится, и радуюсь, радуюсь, не знаю даже, отчего у меня такая радость.

Помню, в актовом зале нашей школы он шел получать аттестат. Мужчина! Взбежал на трибуну, поцеловал Зинаиду — никто бы на это не решился. Пожал директору руку.

Другие кривлялись от застенчивости, строили рожи, гримасничали.

Юра обвел глазами стол, покачал головой.

— Неужели из-за меня?

— Только мы еще одного человека пригласили, — сказала я. — Для Веры. Милиционер. Я с ним на мосту познакомилась.

Юра неожиданно взъелся:

— А меня спросила? Почему сегодня мы не могли побыть вдвоем? И должны участвовать в этих милицейских посиделках. В институт я законно попал, и милиционер для дополнительного расследования не потребуется.

— Юрочка, — взмолилась я, — Вера — моя подруга, она в эти дни столько для меня сделала, а значит, и для нас. А милиционер, между прочим, достаточно умный парень.

— Это он на мосту умный, — сказал Юрка.

Не знаю, отчего я обернулась, вроде бы ничего не скрипнуло и не прозвенело, а милиционер Игорь уже в дверях стоит, поглядывает на нас с улыбкой, без всякого раздражения. И в руках тоже гвоздики, будто он пришел действительно свататься.

И совсем он, как оказалось, не лопухий. Нос, может, чуточку широковат, верно, и конопушек масса, но глаза хороше.

Юрка взял букет и вежливо говорит:

— Большое спасибо! Сегодня у меня праздник. Я поступил в институт.

И тут влетела Вера. Высокая, в длинной моднейшей юбке, теперь ощутимо старше меня. Я даже перепугалась, как бы Игорь ее за мою маму не принял.

— Познакомьтесь,— говорю.— Моя лучшая подруга Вера.

Вера протянула Игорю руку — было приятно, что он ей симпатичен.

— Мы с вами знакомы,— говорят.— Это же я вам от ее имени звонила, договаривалась о встрече. А вы, оказывается, не очень-то бдительный человек, так вас любая женщина увести может.

— Ну, в данном случае доверчивость не подвела меня,— галантно сказал Игорь.

Вера захохотала, приняв его слова на свой счет. А Игорь коротко улыбнулся и одарил меня взглядом.

За стол сели сразу. Пока компания не очень знакома, с этим делом лучше поспешить.

Игорь поглядел на нас с Юрой, сказал:

— Я новичок тут... Вроде бы вторгся... Но по праву старшего...

— По званию? — издевательски сказал Юра. Я его подтолкнула.

Игорь засмеялся.

— По возрасту,— сказал он.— И даже по образованию, Юра.— Помолчал и закончил: — С большой тебя удачей.

— Виват! — крикнула Вера и засмеялась.

— А что,— сказал Юра, и опять его глаза засветились недобрым, хотя вроде бы и наивным светом,— если бы я не попал, разве меня не взяли бы в милицию? На работу, конечно. Мне очень в детстве регулировщиком стать хотелось. Одного на Литейном видел: артист! Ты-то небось пошел по званию?

— Не совсем,— словно бы не понял Юркиной иронии Игорь.— Я в театральный институт поступал и провалился. На режиссерский. Массовые сцены мне и теперь нравятся. Вон Люба видела меня на мосту.

Он обвел всех глазами, остановился снова на Юре и выпил.

Я вдруг вспомнила про дядю Митю.

— Интересно, я сегодня уже второй раз про артистов слышу. У нас на работе есть мастер, дядя Митя, так он мне говорил: каждый должен играть свою роль как можно лучше...

— Философ-сапожник, это уже было,— сказал Юрка.

— Все уже было. И ничего не было,— возразил Игорь.

— О, милиционер-философ! Вот этого действительно не было. День открытый!

Юрка нарывался на скандал. Вера затихла, глядела на Юрку хмуро и недоброжелательно. Да и я уже несколько раз подталкивала его ногой.

— Философия — это наука жизни, — как бы шутя сказал Игорь. — Стараюсь заниматься ею помимо программы. — Он положил Вере ветчину, потом взял салат и тоже предложил ей. — А старик, который про роль сказал, наверное, любопытен.

— Гибрид ежа и щетки, — съязвил Юра.

Игорь рассмеялся.

Застучали вилки, все вроде бы сосредоточилось на еде. Это, наверное, называется ревностью, но причин для нее не было. Вместо веселого вечера получалось черт знает что.

Вера поглядела на Юру так, что он отвернулся.

— Давайте-ка потанцуем! — крикнула она, стараясь поднять общее настроение. — Юра, тебе, как виновнику торжества, сегодня я готова простить любое. Молодой, нервный, утомленный образованием...

— Поучусь — поумнею, — снова попытался огрызнуться Юрка.

— Какой же ты однако!.. — Вера пожала плечами. — Ну что же ты злишься?

Уже гремела музыка. Вера подошла к Игорю. Она улыбалась. Она старалась не замечать Юркиного раздражения и моей растерянности. Она спасала вечер своей выдержкой.

— Невероятное заблуждение, — шутила она, танцуя с Игорем. — Как можно думать, что институт делает человека умнее? Образование только выявляет глупость... — Она рассмеялась после каких-то слов своего партнера. — Ну конечно! — подтвердила она. — Потому я и решила больше не учиться...

Настроение подпорчено. Мы выходим на улицу около одиннадцати. Горят фонари. Из открытого окна ревет музыка. Какой-то общественник-доброволец веселит набережную.

Два амбала, Гриша и Дима, неспособные сопротивляться джазовым ритмам, трясут шарообразными головами, шаркают подошвами по асфальту.

Игорь прощается. Вера идет его провожать, а мы остаемся. Глядим в тихую воду, и я сразу же забываю, что случилось за этот вечер.

Оборачиваюсь. Свет горит во всем доме. Только у меня темно.

Мы глядим друг на друга.

Юра обнимает меня, словно что-то поняв, и целует в губы.

Потом мы бежим через дорогу. Минуем магазин — десяток подслеповатых окон. Телефонную будку — двери в ней распахнуты настежь, трубка висит, рычаг согнут. Песочницу. Дерянного змея. Качели. . .

Я делаю сейчас то, чего не должна делать?

Меня охватывает страх, но я бегу скорее. В парадную. Мимо лифта. Пешком — вверх.

Я боюсь остановиться. Юркино дыхание рядом. Совсем близко.

Потом он обгоняет меня. Перекрывает дорогу. Пытается задержать. Я вырываюсь.

— Отстань! Прошу, Юрка!

Смех мешает бежать. Задыхаюсь от смеха.

У Федоровых дверь приоткрыта, — вижу полоску никелевой цепочки. Рядом двери, обитые гранитом, кожей, двери с оптическими глазками, двери, двери. . .

— Ах, ты так! — кричит Юрка. Его руки обнимают меня. Я отталкиваю. Хохоочу. Отбиваюсь.

— Постой, постой! — задыхаюсь от его поцелуев. — Подожди, Юра! . .

Вбегаю в квартиру. Шарю по стене. Торопливо ищу выключатель. Он же был здесь, на этом месте. Правее от косяка.

Юрка поворачивает меня.

Голова идет кругом. Чувствую себя беспомощной и слабой. Сама не могу понять: чего я плачу?

Он что-то бормочет. Я чувствую только его руки.

Ветерок треплет занавеску. Она струится, как лента. Уличный свет рвет ее на лоскуты. И я отчего-то успеваю подумать, что может быть это и есть счастье?

И вдруг звонок в дверь.

Юра отстраняется, отступает.

Торопливо застегиваю кофту. Ах, как дрожат руки! Пуговица скользит, не удержишь в пальцах, не слушается совсем. Кому нужно идти к нам ночью?!

Вспыхивает свет. Мы виновато глядим друг на друга.

Юра шагает к двери. Распахивает. Мы выходим на лестницу: никого.

Я неожиданно улавливаю щелчок французского замка этажом ниже. Федоров?

— Не могло же нам показаться? — бормочет Юра.

Он опять обнимает меня. Но я отстраняюсь.

Мы становимся будто бы дальше друг от друга.

— Иди, — говорю ему. — Уже два часа ночи. Тебя, наверное, ждут дома.

На следующий день мама явилась домой с чемоданом. За несколько дней, пока я ее не видела, она осунулась, постарела — ей стало все сорок, не меньше.

По опыту я знала: вопросов лучше не задавать. И так ясно, поссорила с Аликом.

По комнате мама ходила быстрее, чем обычно, резко отодвигала стулья, будто они специально были поставлены в неудобных местах, несколько раз с треском захлопывался холодильник. Нужна была зацепка для скандала, но я не давала повода.

— Какой лед в морозильнике! — наконец подала она голос. — Неужели нельзя вовремя поставить на таяние?! Холодильник не два рубля стоит. . . — Она тут же хлопнула крышкой хлебницы, крикнула мне: — Кирпич, а не булка! И вообще нам не хватит на утро. . .

— Завтра воскресенье.

Я пожалела. Нужно было молчать, но теперь поздно.

— Да, конечно, — отозвалась она, — ты будешь спать, а я побегу за хлебом.

Она вынимала вещи из чемодана, нервно их встряхивала и шла к шкафу вешать. Ах, как худо ей было!

Шкаф она закрыла на ключ, подергала дверцу и пошла стелить постель.

— Еще девять. . .

— Спасибо за информацию. Почитаю в постели. Имею я право выспаться?

Накинула халат, пошла в ванную мыться.

Я подумала, что самое безопасное для меня — уйти из дома. Или ложиться спать. Хоть бы пришел кто. . . Я услышала удар лифта на этаже и тут же бросилась на звонок к двери.

— Открой, открой, — с прежним злорадством сказала мама, юркнув под одеяло, всем своим видом показывая, что приход моих друзей ее не касается. — К кому еще могут приходить ночью?!

Наверно, у меня было огорчение на лице, потому что первое, о чем спросила Лариса: не случилось ли чего?

Она прошла в комнату, удивленно поглядела на маму:

— Заболела?

— Нет, устала.

Лариса кинула авоську на стол, подошла к маминной кровати и начала стягивать с нее одеяло.

Мама изо всех сил держалась за края руками.

— Вставай, вставай! — говорила Лариса. — Не кукусы! Что, у вас это первый раз в жизни? Слава богу — ругались неоднократно.

Она отбросила одеяло на край дивана.

— Я тут кое-чего захватила, — говорила она, выкладывая на стол хлеб, плавленный сырок и две пачки пельменей.

— Спасибо, — плаксиво благодарила мама. — Очень кстати. Прихожу домой, а есть нечего.

— Я была уверена, что все пригодится. Одинокие бабы — это не мужичок-холостяк.

Она уже была на кухне, гремела посудой.

— Да брось ты переживать, Анна! — кричала она, не обращая на меня внимания. — Он же дерьмо, ты знаешь. Сам прибежит, не сомневайся. Чего он без тебя стоит?!

Вошла грозная, с полотенцем, вытерла руки и стала убирать постель. Мама показала на меня глазами, попросила замолчать.

— Взрослая она, — сказала Лариса. — Рабочий класс. Разве от нее скроешь?

На столе уже стояли чашки, пахло крепким чаем. Ужин обещал быть отменным.

Я еще подумала, великое дело — легкий человек!

Тяжелый человек — обязательно ноша, даже если он трижды порядочный.

У одной маминой девочки есть порядочный, но тяжелый молодой человек. Придет в экскурсионное бюро и начинает произносить длинные речи. И все сразу становятся умными до чрезвычайности, узнать невозможно. Уйдет. — и людям за себя стыдно. Не то говорили. Молчат. А потом как прорвет: жалеют девочку.

Другое дело — Лариса! С ней весело и спокойно. И главное, не требует она платы за свою легкость: какая есть — такая есть, и все тут.

Легкий человек если и огорчен сам, то не требует, чтобы с ним вместе грустили.

Для тяжелого человека чем больше сочувствующих, тем больше удовольствия он получает от своего горя.

Даже не заметила, как наладилась у нас обстановка. Лариса сидит за столом — нога на ногу, сигарета в зубах, покуривает, пускает в потолок колечки

— Мало ли с кем ты его увидела.

— Что ты говоришь! — волнуется мама. — Разве женщине нужна особая информация, чтобы понять все. . .

— И это ерунда! — разбивает маму Лариса.

— Но двадцать пять лет — не сорок!

Лариса откидывает волосы, и я чувствую, как сноп искр разлетается вокруг. Ее взгляд делается острым, чуть ли не злым, эдакий испепеляющий луч пронзает маму.

Лариса встает: шаг становится нервным, коротким, в глазах — возмущение.

— Молодость?! — спрашивает она, словно что-то оскорбительное брошено мамой. Переворачивает стул, садится на него верхом, придавливает подбородком спинку. — Вот перед чем пасовать мы не имеем права. Нет! И если мужчина сдался перед молодостью — он подонок. И это его, а не тебя ждет кара. Сколько я уже видела такого!

— Это погом...

— А хочешь, — не слышит ее Лариса, — я поговорю с ним? Ты же знаешь меня, не испорчу...

Надежда возвращается к маме, она вроде бы опять молодеет.

Новый звонок даже радует ее. Вдруг за мной? Ей хочется поговорить с Ларисой без азбуки Морзе. Точки-тире надоели, всего ими не скажешь.

Да я и сама бы ушла. Только Юры нет дома. Его демонстрируют родственникам, он жаловался еще утром.

Открываю дверь и отступаю — Владимир Федорович! Вот уж не ожидала...

Входит. Смущен. Кланяется маме.

— Добрый вечер. — Поклон. — Я думал, вы одни, Люба. — Поклон. — Может, помешал? Извините.

— Нет, нет, заходите! Это мама, а это...

— А я вас хорошо знаю, — мама протягивает Владимиру Федоровичу руку.

Лариса у зеркала, спиной к нам, торопливо причесывается — небывалая с ней суетливость.

— Лариса, это наш сосед. Познакомься.

Мне кажется, он бледнеет.

Ветерок удивления сквозит в Ларисином взгляде. Она торопливо отнимает руку.

— Я хотел попросить вашу Любу, — говорит Владимир Федорович, — если, конечно, я не нарушаю ее планов... Одним словом, она так хорошо умеет поговорить с папой... Я думал, если она не откажет, попросить побыть у нас завтра. Недолго. Я хочу свезти на художественный совет свои картины.

Я сразу же соглашаюсь:

— Посажу, конечно.

— Спасибо. — Владимир Федорович виновато объясняет: — Я отца не оставляю надолго. А тут уж придется. Понижаете, он нездоров. Но совершенно неопасно. А у вашей Любы талант общения, честное слово.

— Может, выпьете с нами чаю? — предлагает Лариса. Он вбирает голову в плечи, сутулится, машет руками: — Не могу. Извините. Я вам так благодарен. — И пятится к двери.

Остаемся одни. Я иду мыть посуду на кухне, пускаю такую струю, чтобы не мешать им общаться. Пускай не думают, что я любопытна.

Несу чашки в сервант.

Лариса стоит у окна, спиной ко мне, курит.

— Владимир Федорович не женат? — Она спрашивает подчеркнуто безразлично.

— Разве не видишь? — за меня отвечает мама.

— Да, — подтверждает Лариса. — Такие женятся только на своем искусстве.

Она спрашивает, будто бы это так для нее важно:

— А какой он художник?

— Кажется, он понравился тебе, — посмеивается мама.

— Понравился. Очень, — неожиданно признается Лариса. Она садится на подоконник. — И знаешь чем? Да хотя бы тем, что он совсем не похож... на этих... сорокалетних мальчиков, прилизанных паучков, которые мне давно надоели, вроде...

Она словно проглатывает имя, но маме и так уже ясно.

— Давайте ложиться! — вдруг кричит мама. — Стелите! Будем спать! На кой черт эти пустые разговоры?!

Потом мы молча лежим в разных местах. Мама делает вид, что давно уснула, но я-то уверена, что она глядит в потолок, переживает. Да и Лариса уже несколько раз вздохнула, скрипят и стонут под ней пружины.

Наконец я перестаю о них думать...

Было одиннадцать, когда за мной прибежал Юрка. Мы только что встали — Лариса собирала на стол.

— Поехали за город, — предложил он. — В Павловск.

— Ничего не выйдет, — отозвалась вместо меня Лариса. — Вечером заходил сосед, Владимир Федорович, просил Любу посидеть с отцом.

— Знаете, — огорчился Юрка, — моя мама опасается этих людей. Старик — шизик, да и молодой не того. Мама не советует Любе с ними общаться.

Лариса ожгла Юрку взглядом.

— Чем старик опасен? Кого он может обидеть? — возразила я.

— Мама — врач, — настаивал Юрка. — И человек предельно трезвый. Раз она говорит, то знает лучше других. По крайней мере мне неприятно, что Люба к ним ходит.

Я ответила, что теперь говорить об этом поздно.

Юрка постоял, потоптался в коридоре, сказал недовольным шепотом:

— Выйдем

В лифте мы спускались молча. Вышли на улицу. Солнце из-за тумана казалось беспомощным и слабым. Легкий ветерок дул с залива. Юрка повернулся ко мне. Он был расстроен.

— Я на днях уеду в колхоз с институтом, — сказал он, — а ты...

Осуждение было в его взгляде.

— Юрочка! — взмолилась я. — Но Федоровы! Я не могу их подвести. Я должна, честное слово.

Его взгляд оставался твердым.

— Как хочешь, — холодно сказал он. Повернулся. И пошел к дому.

Лариса отворила дверь. Поглядела на меня внимательно и внезапно расцеловала.

— А я-то в тебе усомнилась! — сказала она. — Есть люди, обманывать которых нельзя. Невозможно, Люба.

...Владимир Федорович сидел на корточках, стягивал шпагатом картины. Вскочил. Поздоровался нервно. Пригласил в комнату. Он показался мне неестественно взвинченным.

— Не знаю даже, — отрывисто говорил он, словно торюясь выполнить какое-то свое решение. — Хочу показать вам работу. Последнюю. Я писал ее ночью. Сегодня. Конечно, этого делать нельзя. Показывать то, что едва закончил. Нужно бы отложить. Но мне хочется. — Он подошел к мольберту, стал поворачивать его. Тренога проскрипела по полу, прочертив еще одну полуокружность, как циркуль.

Он наконец установил мольберт. Глаза его сузились. Рука потянулась к картине.

С полотна глядела... Лариса. Вернее, Лариса и не Лариса одновременно.

Почти все в этой федоровской Ларисе было мне неизвестно. Но он что-то знал о Ларисе и такое, чего я не подозревала.

Странно было смотреть на портрет! Правая половина лица

была написана белым. Печаль в голубом глазу казалась бездонной. Левый глаз смотрел прямо, искрился весельем. Да и вся левая половина лица будто смеялась.

И было еще что-то в портрете. В свободном углу клонилась ромашка, три лепестка оставались в венчике, словно бы сама судьба присутствовала рядом.

Владимир Федорович стоял в дверях, надевал куртку. Затянул молнию. Потом молча снял портрет и повернул его к стенке.

— Люба, прошу вас, — сказал он шепотом, — отцу о портрете ни слова.

Казалось, Федор Николаевич даже не заметил, что Владимир Федорович ушел. Лежал неподвижно, закрыв глаза.

Я стала убирать в комнатах. Подмела полы, собрала раскиданные банки в одно место, протерла окна на кухне и в комнатах. Вода и тряпка давненько не касались стекол.

И тут я почувствовала, что старик пристально на меня смотрит. Повернулась. В его взгляде была просьба.

— Не могла бы ты... показать работу... Володя писал ночью.

— Я не знаю...

Обмануть его было невозможно.

— Она у стенки...

— Но Владимир Федорович просил... Он еще не кончил...

— Не могла бы ты,—повторил Федор Николаевич резко,—принести мне новую Володину работу. Мне нужно.

Я подчинилась.

Взяла портрет — Лариса кольнула меня горьким глазом и тут же засмеялась задорно и радостно.

Старик лежал на спине, смотрел в потолок и не повернул головы до тех пор, пока я не прислонила портрет к спинке стула.

Не знаю, о чем он думал, но вдруг я заметила, как слеза выкатилась из его глаза и утонула в бороде.

— Можешь отнести,— глухо сказал он. Сложил на груди руки и застыл.— Кажется, я ему больше не нужен.

Владимир Федорович стоял в дверях со связкой картин и улыбался. Передо мной был победитель, мальчишка, этаким разухабистый счастливчик, которому повезло так, как никому в жизни.

Он вроде бы заметил что-то в комнате, прошелся по коридору, заглянул в кухню, всплеснул руками:

— Как у нас чисто!

Вернулся, поставил картины, сказал, блуждая рассеянным взглядом:

— Спасибо, спасибо!

Подумал о чем-то своем и спохватился:

— Как папа?

— Уснул.

Развязал узел, скрутил веревку и, что-то мурлыча под нос, стал вешать работы.

Я не выдержала:

— Ну что же вы молчите? Рассказывайте. Понравились комиссии ваши картины?

Он иронически поглядел на меня:

— Нет, конечно.

Я растерялась.

— Что же они сказали?

— Спросили,— уточнил он,— где я учился.

— А вы?

— Ответил: нигде не учился. Как Ван Гох. Так и произнес нарочно: Ван Гох.

Он искренне и долго смеялся. Потом поднял портрет Ларисы, нашел для него место, повесил. Отступил и с удивлением стал разглядывать его, точно увидел впервые.

— Нет, плохо! Очень плохо! Теперь я напишу иначе. Вчера, оказывается, я ничего не понял.

Он улыбнулся, приложил палец к губам, точно попросил меня сохранять его тайну.

— Она была там... В коридоре художественного совета... Какие-то свои дела привели, — махнул рукой, будто бы понял всю неправдоподобность таких объяснений. — Впрочем, это неважно. Возвращались мы вместе. — Поглядел на меня снова и прибавил: — Мне кажется, она удивительный человек.

...Солнце утекало за горизонт, когда я встретила Юру. В доме зажгли свет. Вспыхивали желтым то одни, то другие окна.

Валентина Григорьевна задергивала шторы в кабинете, а на балконе стоял Леонид Сергеевич, курил.

Юра уже не помнил обиды, схватил меня за руку и потянул за собой.

Мы перебежали дорогу. Пересекли пустырь. Может быть, Леонид Сергеевич нас видел.

Пожарная каланча оказалась правее. Мы прошли мимо коттеджей, потом дворами — к кладбищу.

Без Юры я никогда бы не решилась зайти сюда так поздно, А вот с ним — не страшно.

Промчались по тропинкам, дальше и дальше, пока с дороги не перестали доноситься звуки проходящих трамваев.

Ранней осенью и поздней весной мы любили приходить сюда классом, иногда даже смывались с уроков. Все здесь было знакомо.

Нашли скамейку на холме, около старой березы.

В ее высоких ветвях запутался месяц, зацепился рогами.

Эту речушку мы называли Желтуха, никто и не знал другого ее названья.

Сели.

Юра положил голову мне на колени, глядел в небо. Я погладила его волосы, провела ладонью по лбу, по губам, он поцеловал мою руку.

А я внезапно вспомнила его в пятом классе. Серьезный, высокий мальчик. Его прикрепили ко мне, и он оставался после уроков, объяснял задачи.

— Ну что тебе непонятно? — покрикивал он, теряя терпение.

Дома я плакала. Вскакивала ночью и в какой раз бралась за задачник.

Мама ругалась, тушила свет — я не давала ей спать.

Тогда я пряталась в ванной, повторяя про себя условие: «Велосипедист, — пыталась понять я, — едет из пункта А в пункт Б».

Мне начинало казаться, что велосипедист — Юрка. Чтобы его догнать, я прибавляю скорость.

Юрка жмет что есть силы. Иногда оборачивается, машет рукою. Это получается вроде подначки.

— Юр-ка-аа!

Меня будит мама.

— Почему ты спишь в ванной? Захотела получить воспаление легких?

Утром я действительно заболеваю.

Теперь Юрка приходит ко мне домой, садится, строгий, на табуретку, раскрывает тетрадь.

На мне лучшее платье в горошек, я нарядилась перед самым его приходом. Хочется, чтобы он заметил. А он бубнит свое, требует, чтобы я решала.

А вода переливается из бассейна в бассейн. По дороге едут велосипедисты.

Юрка повторяет одно и то же. Он решил добиться успеха.

Я глажу его волосы и вспоминаю, как однажды я все же решила задачи. Он был так рад! Встал довольный, подал мне руку, сказал: «Больше я тебе не нужен». — «Нужен, нужен!» Нет, он этого тогда не услышал.

С работы пришла мама и не могла понять, отчего я плачу. Во сне опять мчались велосипедисты, труба была одного размера, в другой трубе сечение оказалось в два раза меньше, а электричка быстро догнала пешехода, который вышел из дома на три часа раньше. . .

Домой мы возвращаемся во втором часу ночи. Переходим дорогу, останавливаемся на перекрестке. Юрка целует меня. Я совершенно беспомощна перед ним.

Бежим тем же путем: между домами, по пустырю, пожарная каланча левее.

Около дома стоят двое. Я их узнаю — это Леонид Сергеевич и Валентина Григорьевна. Они всегда беспокоятся за сына. Он для них по-прежнему ребенок.

— Хочешь, я им скажу, что мы любим друг друга?

— Нет, не нужно.

А у меня мама давно спит. Свет в окне погашен.

Домой идти не хочется. Нашупываю ключи в кармане и иду на набережную.

Девчонки нарисовали классики на асфальте и оставили стеклышко в первой клетке.

Встаю на одну ногу и гоню стеклышко из квадрата в квадрат. Когда-то я умела играть в классики лучше всех в нашем дворе и уж, конечно же, лучше Юрки

Владимир Федорович сидит на той же скамейке, будто бы уже несколько дней он отсюда не уходил. Вскрикивает при моем приближении. Не удивляясь, отвечает на вопрос об отце:

— Федор Николаевич? Спасибо. Ему лучше. Нет приступов. Надеюсь сегодня ночью снова поработать. — Он бросает торопливый взгляд в сторону наших окон, спрашивает: — Ваши спят?

— Спят, — отвечаю, понимая, что «наши» — это Лариса.

Вдоль Невы идем молча. У каждого свое на уме. Разговаривать не хочется, но и разойтись не выходит. Я будто бы чувствую на своем лице Юркину ладонь, ощущаю ее запах. Иногда поглядываю на Владимира Федоровича. У него странная улыбка.

— Владимир Федорович, — прошу я, — расскажите о Федоре Николаевиче. . .

Он останавливается. Видимо, вопрос застает его врасплох, смотрит на меня с сомнением.

— В первые дни войны отец попытался попасть в армию, но его не взяли, — наконец говорит он. — Посчитали негодным

к службе. Нас же с мамой еще в июле отправили в эвакуацию.

Помолчали.

— Когда в Ленинграде начали умирать с голоду, отец стал обходить квартиры своих учеников. К январю сорок первого у нас дома поселились три девочки, у которых все умерли. Знаешь, что отец понял? Хочешь выжить — найди общее дело. И он создал домашнюю школу. Повесил расписание занятий. В коридоре брэнчал колокольчик. Он заставлял их учиться. Правда, ему пришлось сократить время уроков — больше тридцати минут не получалось. Потом такая же перемена. И журнал он завел, тот самый. Ставил только «отлично». Девочкам отец говорил, что ходит в далекую школу давать уроки. Он говорил, что в той школе ему платят хлебом. А было, Люба, иначе. Отец шел через весь город, в дом, где в блокаду припеваючи жили люди. Бывало, к сожалению, и такое. Ничего особенного эти люди собой не представляли. Мать и две дочки. Одна была маленькая, вторая в седьмом классе. Мать этих девочек работала в столовой, с едой у них был полный порядок. Отец преподавал старшей, а за это ему давали кусок хлеба.

Владимир Федорович передохнул, скосил взгляд на меня, точно хотел понять: нужно ли мне то, что он говорит?

— И этого куска хватало на всех?

— Нет, конечно. Он еще менял вещи. Моя бабушка была известная артистка, от нее оставались какие-то кольца, серьги, мама этого никогда не носила. Мы не думали, что это нам когда-нибудь пригодится... Девочки говорили, что отец уходил в «сытую школу».

Владимир Федорович замолчал. С воем пронеслась «скорая помощь», близко вильнула на Неве моторная лодка, простучала, как мотоцикл, потом снова все стихло.

— В том «сытом доме» отец отдыхал в кухне. Пил чай с сахарным. Съедал кусочек хлеба и тогда начинал заниматься. Возвращаясь, он думал, что скоро не на что станет выменивать продукты. В конце концов из всех наших ценностей осталась картина Репина, портрет моей бабушки-артистки. У него сначала отказались брать эту картину, потом, когда другого не стало, все-таки согласились.

...В тот день путь отца домой был невероятно трудным. Он брел из последних сил. Отдыхал в сугробах. Он бы уснул и замерз, но вспоминал о детях и поднимался.

Владимир Федорович вдруг сказал:

— Когда я становлюсь к мольберту, то часто преодолеваю желание написать человека, бредущего по мертвому городу.

От сугроба к сугробу. И тогда я пишу свои натюрморты...

...В портфеле лежали половина хлеба и концентрат пшеники. Только к ним нельзя было прикоснуться. Это был хлеб для детей.

...Я часто думаю, что в человеке есть что-то такое, чего разумом понять невозможно. Отец умирал на снегу, плакал от собственного бессилия и шел дальше, нес хлеб детям. Вот что означает его фраза: «Я быстро шел к дому».

У последнего поворота отец уснул в сугробе, но очнулся от взрывов. Начался обстрел. Отец заставил себя подняться и заспешил к детям. Он уже добрался до дома, когда почувствовал: чего-то в руке не хватает. Портфель! Он остался в сугробе. Пришлось возвращаться.

...И вот чудо! Портфель так и лежал на месте! А там концентрат и половина кирпича хлеба. Отец нагнулся. И вдруг взрыв. Его ударило камнем. А когда он пришел в себя, то увидел, что стена его дома падает. Потом стала оседать крыша. Она проваливалась вовнутрь. Дом становился кучей щебня. Горой. Могилрой.

— ...Вот и все, — спустя какое-то время сказал Владимир Федорович. — Больше никогда не нужно об этом.

Он протянул мне руку и быстрым шагом пошел через дорогу, точно спасаясь от своего же рассказа.

Я долго стояла у парапета. Мысли исчезли. В душе было смятение.

На середине Невы буксир тащил баржу. В разведенный пролет моста протиснулся кран. Громко, рассыпаясь на разные голоса, прокричал в мегафон боцман.

Стало холоднее. У Федоровых в одной комнате горел свет. Вероятно, Владимир Федорович работал. Это было единственное окно в доме, где не спали...

Вавочка постоянно торчит на кухне. Я ему нравлюсь. Он смеется даже тогда, когда я говорю серьезно.

Одевается Вавочка сверхмодно. Клеши, туфли на высоком каблуке и кожаная куртка, знатный такой куртончик, как он уважительно называет свою одежду.

Девушки-ушивщицы заметили в нем перемены, посмеиваются. Вавочка злится и называет их дурами.

— Хорошо пахнет, — делает комплимент Вавочка. — Отменная ты повариха, Люба. Выходи за меня замуж.

— Ты любишь не меня, а то, что я готовлю, — посмеиваюсь я.

Положение спасает дядя Митя. Он приходит, чтобы пристыдить Вавочку, но, выгнав его, сам остается на кухне.

Открывает форточку. Садится, задумчивый, на табуретку. Прикуривает. Обгорелую спичку аккуратно укладывает в коробок. Потом делает глубокую затяжку и медленно выпускает дым на улицу. Говорить он не торопится. Поглядывает искоса в мою сторону. А я одним ударом ножа разваливаю вилок капусты, мелко и быстро ее шинкую. Нарезаю лучок, тру морковку, — все это тушу отдельно на сковородке.

— Хочешь, я тебя обучу сапожничать? — говорит дядя Митя с улыбкой. — У тебя талант в руках.

— Тогда Вавочка будет готовить?

Глаза у дяди Мити становятся искристыми, смех вспыхивает в них.

— Он наготовит! Все попадем в больницу...

Мне некогда прерываться. Сковорода накалилась; шипит, шваркает — только успевай помешивать.

Я действую быстро: убавляю огонь, снимаю шумовкой накипь, добавляю соли.

— Отменные щи! Пальчики оближете, дядя Митя.

— Хорошо о себе говоришь, — шурится дядя Митя. — Не знать своей силы плохо. А стесняться ее — еще хуже. Все настоящие мастера гордились своей силой и знали себе цену.

Он докуривает сигарету, придавливает ее о коробок и несет в мусорный ящик. Потом не спеша возвращается к верстаку.

Дверь из кухни открыта. И от плиты я вижу сгорбленную его спину, металлическую «лапу», которую он держит между ног, молоток в руке...

Я застываю с поварешкой, забываю о деле. Дядя Митя исполняет соло. Это партия виртуоза.

Иногда он поднимает голову, перехватывает мой восторженный взгляд и, не улыбаясь, продолжает свою работу...

Время приближалось к закрытию. Очередь тянулась по всему вестибюлю. Я села писать квитанции, а Вера принимала обувь, неторопливо разглядывала ее, диктовала артикулы и цены.

Последним стоял полный мужчина с бритой головой-шаром. Я отметила его глазом и попросила предупреждать проходящих, чтобы больше не занимали.

Мужчина кивнул, пригладил голову ладонью, вроде бы причесался.

Около прилавка я его вспомнила снова. Он аккуратно развязал шпагат, намотал его на палец, спрятал веревку в карман.

Я пошла закрывать дверь — рабочее время кончалось.
— Что у вас?

Вера взяла туфли, осмотрела их и села писать квитанцию.

Она писала столбиком цифры, подкidyвая костяшки на счетах, а клиент отстукивал по прилавку согнутым пальцем.

— И сколько? — сдержанно спросил он.

— Рупь семьдесят четыре, — записала Вера.

— А я уж думал — семьдесят четыре, — пошутил клиент.

Вера засмеялась:

— Я бы взяла, только вы не дадите...

Он улыбнулся.

— А директор у вас есть в прејскуранте?

— Весь вышел, — отшутилась Вера. Ей, кажется, нравился такой юмор..

— Тогда вместо него пригласите жалобную книгу.

Он вроде бы еще улыбался, но взгляд стал металлическим и стылым, как у безволосой гуттаперчевой куклы.

— Зачем? — удивилась Вера.

Кажется, она только теперь заметила, что клиент не шутит.

Он вынул из нагрудного кармана корешок квитанции и положил на прилавок.

— Узнаете?

— Да, это наша, — сказала Вера и удивленно поглядела на туфли.

— А теперь посмотрите, когда вы мне их вернули.

Он ждал, когда она перелистает книгу, снова постукивая костяшкой пальца.

Наклонился, когда она отыскала графу, сложил губы в бантик и засвистел ей в самое ухо.

— Странно. Туфли чинил дядя Митя. Мы их вернули на той неделе.

Клиент засвистел еще громче.

— Подождите, — попросила Вера, делаясь невероятно любезной.

Она ушла в мастерскую.

Мне не хотелось быть свидетельницей разговора. Я решила уйти, но тут меня едва не сшиб в дверях дядя Митя.

Он открыл журнал, сверил номер и отскочил, словно ожегся.

Потом дядя Митя вертел в руках туфли, он, видимо, их не помнил.

Ничего не сказал. И стремительно скрылся за дверью.

— Мастер вас просит подождать, — перевела пантомиму Вера. — Мастер сейчас исправит.

Мужчина еще пару раз стукнул костяшкой пальца, сел на стул, развернул газету.

Вера пересчитывала выручку, вот-вот должен был прийти инкассатор.

Я вышла в цех. Дядя Митя сидел на липке, работал. Лицо его было злым, и когда он стучал по гвоздю, то, казалось, хотел разбить подошву.

Я подмела вокруг верстака, прибрала обрезки, дядя Митя даже не поднял взгляда.

Мимо меня прошла к директору Вера, попросила не уходить, ей нужно было открыть инкассатору двери.

Клиент читал газету, подчеркивая что-то в передовой шапковой ручкой.

Я опять заглянула в книгу. Цена, артикул. Провела пальцем по строчке и вдруг удивилась: там было записано «бот», то есть ботинки, а дядя Митя чинил «полубот», иначе — туфли.

Я поднялась и пошла с книгой в цех.

— Дядя Митя?

Он сделал вид, что не слышит, стал искать на полу какие-то инструменты.

Я присела.

— Тут записаны ботинки...

Он взглянул на меня. Потом выхватил книгу. И прокуренным указательным пальцем провел по строчке. Хмыкнул.

— Ах ты стерва! — сказал он. Его глаза налились кровью.

Я испугалась. Вот уж не думала, что такой тихий, мудрый человек может стать страшным.

А дядя Митя уже стоял у дверей. В одной его руке покачивались туфли, а другой он сжимал сапожный нож. Походка дяди Мити сделалась рысей. Он пригнулся и теперь ступал осторожно, бесшумно.

Мужчина увидел его, сложил газету.

Поднялся. И тут же с испугом поглядел на выход. Здоровый крюк удерживал двери.

— Ах ты гаденыш ползучий! — шепотом говорил дядя Митя, приближаясь к клиенту. — Рупь захотел сэкономить? Недорого же ты ценишь свою совесть!

— Позвольте! — клиент пытался к двери. Его взгляд был прикован к руке дяди Мити.

— Нет, не позволю, — словно бы не слыша его, бормотал дядя Митя. — Клоп ты вонючий! Двуногая мокрица! Недоделанная сука! И кто обучил тебя такому?!

Клиент отскочил к дверям и теперь снизу бил что есть силы по крюку ладонью.

Дядя Митя поднял туфлю, просунул сапожный нож под подошву и, поднатужившись, с силой прорезал вдоль нового ранта.

— Нет,— говорил он спокойно.— И не надейся, что я тебя прирежу. Не выйдет. Сидеть за такое дерьмо — очень нужно! Я только исправлю починку. Сделаю как было.

Дверь распахнулась. Клиент мчался через дорогу.

Дядя Митя вышел за ним, размахнулся. Вслед за хозяином полетели туфли. Они долетели до середины дороги, шмякнулись в лужу.

Водитель грузовика скинул скорость, решил — летит что-то жвое. Притормозил.

Дядя Митя стоял набычвшийся, красный, этаким разозленный дворовый мальчишка.

Грузовик въехал в лужу, подмял туфли, они сплющились, высосали в себя воду и исчезли.

У Юры отъезд намечен на послезавтра. Я позвонила ему — он был на собрании, и Валентина Григорьевна пригласила меня назавтра в гости.

— Все равно вы захотите побыть вместе,— сказала она,— поэтому давайте лучше вечер у нас. Я испеку пирог.— Она засмеялась.— Как человек реальный, я хочу, чтобы и мы — волки — были сыты, и вы — овцы — были целы.

Я вышла из будки и у соседнего автомата увидела Веру. Она стояла, как скрипач, подняв плечо и подбородком прижимая трубку. В руке у нее были театральные билеты.

Улыбнулась, увидев меня, и подала знак подождать.

— Порядок! — сказала она, переводя дух.— Уговорила пойти в театр. Мировецкая, говорят, вещь! Любовь в чистом виде. «Ураган». Кассирша сказала: ураган чувств.— Она подмигнула.— Пусть посмотрит, это полезно...

Я проводила ее на автобусную остановку и вернулась к дому. В комнате сидеть не хотелось. Может, в кино?

Я пошла к набережной и вдруг увидела недалеко от себя худенького человека. Сразу подумала — Алик. Такой же взмах рукой и подпрыгивающая походка.

Он, конечно.

Только теперь я поняла смысл оставленной мамой записки. «Любания! — писала она. — Еда в холодильнике. Я у Ларисы».

Кроме холодильника еще быть негде, я бы все равно туда поглядела. Значит, то, что она сейчас у Ларисы, следовало считать главным.

— Люба!

Алик идет навстречу. Размахивается, припечатывает мою ладонь.

— А я только что был дома, никого не застал. Ты не знаешь, где мама?

— У Ларисы.

— Ты ее видела?

— Она оставила записку, для вас, полагаю.

Алик счастлив. Ему трудно скрыть свою радость. Он глядит на собственную туфлю, точно советуется с ней. Потом берет меня под руку и ведет по набережной. Броде — папа и дочка.

— Я много о тебе думал, — говорил Алик. — Ты молодец, Люба. В жизни ничего не бывает впрямую. Только в школьном учебнике расстояние высчитывается по линейке. В жизни приходится пользоваться лекалом.

Он принимает мое молчание за покорность. Взрослым иногда нужно дать выговориться. На них тяжело давит жизненный опыт.

— Я много думал в эти дни, много. Какие нелепые ходы делает человек в своей шахматной партии...

Он молчит, но я и так понимаю: это о себе и о маме.

— Надеешься сыграть ее лучше — и проигрываешь. Нужно делать элементарный ход: е-2, е-4.

Я молчу.

— Да, — кивает себе Алик, так и не дождавшись моего ответа. — Вихрь распознается по той пыли, которую он поднял.

Худенькая его фигурка полна скорби. Пожалуй, и здорово, что у них с мамой все опять нормально. Она его любит, он, вероятно, тоже.

— Тогда я позвоню ей по телефону? — спрашивает меня Алик. — Или удобнее тебе? Скажешь Ларисе, что я бы к ним подъехал.

— Лучше вы сами. Она вас ждет.

— Думаешь? Я звонил ей на работу, она говорила сухо.

— Ничего. Это для первого раза. Теперь будет легче. Есть кое-какие симптомы.

Он опять советуется с собственной туфлей.

— Я очень, очень виноват перед мамой.

— Так ей и скажите.

Забавно, что я учу его жить.

Алик идет к автомату. Портфель перекашивает его фигуру. Медленно набирает номер, что-то быстро начинает говорить в трубку, потом... я вижу на его лице виноватую тихую улыбку...

С утра в мастерской царило победное настроение. Обсуждали вчерашнее, кричали, грозили прохиндеям и хохотали. Дядя Митя был как прежде невозмутим. Глядел на сапог с пристальностью и вниманием натуралиста, поймавшего невиданную бабочку. Потом его рука потянулась к инструментам.

Вера принимала сандалеты у молодого с глубокими залысинами высокого мужчины, покачивала головой. Ремонт, кажется, требовался солидный.

Мужчина виновато улыбался и разводил руками, точно просил прощения за столь nepотpeбный вид обуви.

— Можёт, я зря,— говорил он, чуть заискивая.— Но эти так удобны на ноге. Я в них, как босиком.

Вера подтянула счеты и стала кидать костяшки. Что-то многовато у нее полетело, и я поняла — она шутит, разыгрывает робкого клиента, испытывает его нервную систему.

Она смела ладонью всю сумму — ни один мускул не дрогнул на его лице — и стала считать снова. На этот раз сумма была обычной.

— Придется подождать три недели.

— Три?! Но в октябре, как вы понимаете, сандалеты будут уже не нужны.

Она подмазала корешки клеем, смела деньги в стол и отсчитала сдачу.

Он продолжал что-то бормотать.

— Ладно,— сжалилась Вера.— Сходите в кино, а через два часа возвращайтесь.

Он выскочил из мастерской невероятно счастливый и тут же прибежал назад, остановился в дверях.

— Спасибо, девушки! Вы очень милые, благородные люди! Я вам напишу все в жалобную книгу. Это будет удивительная благодарность!

Он опять исчез. Я не сразу увидела его на другой стороне улицы.

— Представляешь, как его сегодня похвалит мама за расторопность,— сказала Вера.— Ручаюсь, он первый раз в жизни добился такого большого практического успеха.

Пока она носила сандалеты дяде Мите, в мастерскую зашел человек с хмурым лицом.

Остановился молча. И один за другим положил на прилавок новые дамские сапоги-чулки.

— Накатку? — поняла Вера.

Человек кивнул.

— Через три недели.

— Чушь какая! — возмутился человек.

— Сейчас сентябрь, — стала объяснять Вера. — Люди приезжают из отпусков, у всех обувь требует ремонта. Мы заняты работой.

Он стоял против Веры, как бык перед матадором.

— Директора... — сказал он.

Вера исчезла в цехе с сапогами. Вернее, она исчезала для него, я же видела Веру — она стояла в дверях, ожидая, когда клиент успокоится.

Вышла. Небрежно бросила сапоги на прилавок, взялась за квитанцию.

— Две недели, — уступила она.

— Неделю.

— Десять дней, — махнула рукой Вера и пометила срок в квитанции — На свой страх...

Мужчина переступал ногами, думал.

— Быстрее вам нигде не сделают, — сказала Вера.

Он не ответил. Он решил оставить ее слова без внимания. Положил бумагу в карман и неторопливо пошел к выходу.

Дверь захлопнулась.

— Запомни, — сказала Вера. — Такой клиент всегда прав. Упаси тебя господи говорить с ним категорично. Покажи, что ты готова все для него сделать, иначе это окажется для тебя последним днем работы.

В глазах молодого человека было счастье. Он держал новенькие сандалеты и не мог в это поверить.

— Чудо! — бормотал он. — Жаль, что я не сфотографировал их до реставрации.

Мы с Верой хохотали.

— Я бы хотел кое-что мастеру...

Дядя Митя возник в дверях, смотрел иронически-мудро на клиента.

— Позвольте отблагодарить вас... — сказал молодой человек торжественно и, увидев нахмуренный взгляд дяди Мити, торопливо его успокоил: — Это от всего сердца.

Рука молодого человека уже ворошила в кармане.

Дядя Митя снисходительно ухмыльнулся, перевел взгляд на нас с Верой:

— Этот человек думает меня сделать на рубль богаче. Но если я бы сказал, что с сегодняшнего дня стану уважать себя ровно на рубль меньше?

— Но я не хотел вас обидеть!

— Еще бы! — За восклицанием дяди Мити было многое. —

Еще бы! — повторил он. — Я разъясняю вам смысл поступка. Поступка! — подчеркнул дядя Митя. И тут же исчез за дверью.

Юра ждал меня в вестибюле. Пока я переодевалась, Вера давала мне практические советы.

— Обязательно иди с цветами. Это произведет благоприятное впечатление. Деньги есть?

Я поглядела — не густо.

— Держи! — она протянула пятерку. — Брось ломаться. Отдашь, когда будет.

Что бы делала без Веры? В ней клокотал практический гений, как говорил Юра.

Как-то в школе — даже я слышала эту легенду — она привела на свой выпускной вечер знаменитый оркестр. Директор хватался за голову от страха, но оказалось, что им нужны были не деньги, а благодарственное письмо за проделанную шефскую работу.

Потом мы шли с Юркой к дому. Я с грустью думала, что завтра он уезжает на месяц. . .

Свернули под арку к цветочному магазину — стылое, казенное помещение, заполненное пустыми горшками и чахлыми гвоздиками явно не для веселых событий.

В кассе досиживала последние минуты продавщица, ее взгляд был словно приклеен к противоположной стенке.

Я обошла стеллажи, вздохнула.

— А посвежее? . .

Нет, она не намерена была отвечать на мои вопросы. Я же подумала, что с такой непроницаемостью лучше было бы работать в охране.

— Иду на смотрины. . . — канючила я, надеясь на минимальный интерес к моей судьбе.

Она все же повернула голову, отыскивала глазами за окном Юрку, — он, видимо, ей понравился.

— Студенты?

Клюнуло! Теперь нужно идти как танк. Главное, прямые контакты — это наказ Веры.

— Он поступил, уезжает в колхоз. А я провалилась. Работаю рядом, в сапожном ателье. Приходи, если что-нибудь нужно.

Ее фарфоровое лицо становилось живее.

— Я тоже в прошлом году провалилась. — И вдруг улыбка. — А парень приятный, смотри, как бы в колхозе его не увели студентки

— Сама волнуюсь.

Смеемся.

— Ладно,— говорит.— Побудь около кассы, я пошурю... И исчезает в кладовке.

Юра прилип к окну, подает мне знаки: хватит, нас ждут. Из тут девушка выносит розы. Крупные, алые бутоны, будто из воска. Я нерешительно прикасаюсь к ним — нет, живые.

— Держи! И знай наших! Хотела себе, но тебе нужнее. Такого букета не выдержит ни одна свекровь.

Выхожу. Юрка стоит пораженный — немая сцена. Успеваю еще раз махнуть продавщице, она провожает меня взглядом.

Потом мы ее забываем.

— Ну ты и молоток, Люба! — поражается Юра.— Не представляешь, в какой восторг придет мама!

— Леня! Леня! Погляди, какое у нас чудо! Любочка, где ты достала такие розы?! Спасибо! Я уже двадцать лет ничего подобного не получала. Помнишь, Леня, ты мне срезал такие на городской клумбе в Сочи? Нас еще оштрафовали...

Леонид Сергеевич — вальяжный, в стеганой куртке, бритоголовый, с короткой острой бородкой, похож на офицера в отставке. Он только небольшого роста, на полголовы меньше сына. Протягивает руку и крепко пожимает мою. Я вдруг вспоминаю, что Леонид Сергеевич был чемпионом республики по штанге, это давным-давно рассказывал ребятам Юрка.

Валентина Григорьевна приносит вазу, ставит цветы.

В столовой я у них впервые. Картины в тяжелых золоченых рамах по всем стенам. Старинные портреты. Лысый человек в военном мундире, похожий на Леонида Сергеевича. Дамы с лорнетом в газовом декольтированном платье. А вот и доктор! У письменного стола высокий мужчина, рукой упирается в толстые книги, а рядом пепельница-череп и врачебная трубка...

— Родственнички,— небрежно бросает Юрка.

Валентина Григорьевна расставляет закуски. Леонид Сергеевич просит разрешения «налить по четыре капли по случаю исторической встречи», откидывает голову и заразительно клокочет.

— Предлагаю,— весело говорит Леонид Сергеевич,— за нашего студента!

Лицо Леонида Сергеевича краснеет, глаза поблескивают; он предается размышлениям.

— У меня немалый жизненный опыт,— говорит он,— поэтому послушайте, дети, старого Бояна, что он будет вам бляшати.

Мы едим мясо с грибами, Валентина Григорьевна подкладывает мне в тарелку.

— Рабочий класс,— говорит она,— нужно кормить калорийно.

— Ты, Люба, когда-то спорила с Валентиной Григорьевной о призвании, помнишь? Мне известны твои аргументы. Как говорится, логика не лишена задора — я тоже не против призвания и тут со своей женой не согласен.— Он делает паузу.— Но нельзя забывать, что у большинства людей вообще не было призвания в том смысле, в каком ты его понимаешь, а специалистами своего дела они стали. И специалистами блестящими. Зайди к Валентине Григорьевне в поликлинику. Образцовый порядок и дисциплина. Разве я предполагал, что из нее выйдет такой организатор? Ну кто из больных догадается, что их главный врач — бывшая эстрадная певица!

Он сощурился, довольный собой, подмигнул сыну и погладил себя по лысине, словно похвалил.

— Куда больше призвания я ценю умение ставить перед собой задачу, четко знать, чего ты хочешь в жизни и что ты можешь сделать. . . В школе вам говорили о служении другим — это прекрасно! Но я бы сказал и о служении самому себе. Жизнь подсказывает, что и то и другое нерасторжимо. Даже больше — если тебе, то и другим, иначе не представляю. Да и не верю в другое.

Он улыбнулся, заметив что-то в моем лице, я действительно смешалась от его речи.

— Только не считай меня, ради бога, карьеристом. И циником считать меня не стоит. Хотя цинизм, как любит говорить Валентина Григорьевна, не такое худое свойство, ибо он — обнаженная реальность. Тем циничный человек и интересен, что он высказывается так, как видит. Он открыт.

Леонид Сергеевич покатал рюмку в пальцах, подумал и плеснул из бутылки еще немного.

— Теперь последнее, чтобы не было недоумений. . . Отчего я хотел поговорить с тобой? . . — Он усмехнулся.— Ну, не потому, что мы считаем тебя невесткой. На этом, по крайней мере, этапе. Многие еще утечет, изменится, никто не знает, что будет у вас через месяц. Но мы так решили: раз вы дружите, то неплохо было бы нам расставить флажки и вехи, помочь вам кое в чем разобраться. . .

Юра заурчал что-то, но Леонид Сергеевич сделал вид, что его не слышит.

— Вот я и говорил про мост между вами.— Он поднял палец, сделал паузу, поглядел на Юру.— Ты вступаешь в но-

вый этап, значит, начинать нужно ответственно и серьезно. От старта многое зависит. Выйдешь на орбиту сразу или будешь путаться в закоулках маленьких желаний... Даже то, что ты едешь старостой группы,— уже первый шанс стать заметным, потом будет учеба, научное общество, доклады... Все это путь к главному, серьезному шагу... И тут важно, Люба, чтобы мост между вами стоял на железных сваях, и тогда по нему прошагает решительный мальчик,— таким я хотел бы видеть собственного сына.

Потом они с Валентиной Григорьевной заваривали чай на кухне, а мы с Юрой остались в комнате. Я стала рассматривать портреты. С чашками вошел Леонид Сергеевич, увидел мое любопытство, сказал весело Юре:

— Ты бы показал Любе древо... — И исчез.

Юра достал из нижнего ящика серванта рулон бумаги, протянул мне. Я развернула. Это оказалась родословная их семьи.

— Папино хобби,— объяснил Юра.— Набор родственников. Коллекция семейных находок. Честно сказать, я и сам не во всем разобрался — тети, дяди, двоюродные и троюродные бабушки... Папа говорит, что я не созрел для такой трудной математической задачи — определять степень родства.— Он засмеялся.— Ты могла бы высчитать корень квадратный из своей троюродной племянницы?.. А от этого зависит ее место на родословной ветке...

Леонид Сергеевич пришел из кухни в фартуке, поставил на стол электрический самоварчик, повернулся к нам.

— Может, оттого, что у нас полно здравствующих родственников, с которыми мы не разговариваем, у меня появилась живая потребность собрать и разместить по веткам всех умерших родственников... Мне это как-то помогает трезвее оценить свое собственное место в жизни.— Он присел на диван, взял свиток, долго его разглядывал, словно давно не видел.— История не должна быть в забвении,— сказал он, посмеиваясь.— А вообще, если хочешь, неживой родственник — лучше и удобнее живого, потому что он тише, спокойнее, не ходит к тебе в гости и не лезет в твои дела. Он не поучает твоих детей, не требует от тебя жить по его образу и подобию. Было время, когда я пытался мирно жить с собственными родственниками, но они странно реагировали на мои дела: нервничали и злобствовались, когда я добивался успеха, соболезовали при неудаче, точно это было их личное достижение.

Я сказала, что ничего подобного в жизни не видела, у нас родственников нет.

— Проблема возникает с количеством,— сказал Леонид Сергеевич.

— Леонид Сергеевич — человек ироничного, трезвого ума. Он во всем сохраняет юмор. Это помогает в жизни,— засмеялась Валентина Григорьевна.

Мы опять сели за стол, Леонид Сергеевич так и оставался в фартуке, наливал чай из самовара, пододвигал каждому.

— Имя умершего значительного родственника,— говорил он полусуто,— всегда приятно. Ты вроде бы даже причастен к его таланту. Ты им гордишься, не думая, каким этот родственник был в жизни. Родственник-неудачник — тоже небольшая похвала. Если он вам мешает — можно его не учитывать. Если он бросает на вас тень со своей ветки — сотрите его имя. Зачем лишняя компрометация?

— Я вижу, тебе не совсем ясна наша бухгалтерия? — улыбнулся Юра.

— Пожалуй...

— А корни! — воскликнул Леонид Сергеевич. — Корни любого дерева — это гарантия его прочности, даже если дерево родословное. Вместе с родственниками ты бессмертен, тебе сотни лет, ты — смешение генов всех этих людей.

Я сказала, что с первой секунды заметила сходство человека на портрете с Леонидом Сергеевичем.

— Да, это так, — кивнул он мне. — А его мать пела в австрийской опере, и Франц-Иосиф целовал ей руку. А вот сам этот человек считался неудачником, хотя образование по тому времени имел приличное. В конце жизни он купил дом в Петербурге и небольшой завод — вот и всё, чего он добился. А уже его братец, который здесь обведен красным кружочком, был великолепным путевым инженером, имел прямое отношение к железной дороге в Сибирь.

— Одна наша родственница даже танцевала при дворе Николая Первого,— с гордостью произнес Юрка и прибавил: — Возможно, знала Пушкина.

Я мысленно перебрала всех своих родственников — их было так мало! — и не нашла никого приметного, кем бы я могла теперь погордиться.

— У меня есть знакомые,— сказала я. — Так их бабушка была знаменитой артисткой Александринского театра.

Юрка удивился: он был уверен, что знает всех, с кем я когда-либо общалась.

— Кто это?

— Неважно.

Он немного обиделся. Я подумала, что если назвать Федо-

ровых, то Валентина Григорьевна сразу же начнет говорить о них как о сумасшедших и приводить свои доказательства.

Леонид Сергеевич насухо вытер руки о фартук, взял свиток и долго и как бы заново изучал его. Родственники, как птички, густо усыпали все ветви. Фамилии были обведены кружочками, каждый родственник словно бы сидел в гнезде.

— У нас тоже есть артистка,— сказал Юрка и показал на небольшой портрет, я не сразу его и заметила. Гордое, строгое лицо, чуть приподнятый подбородок, сведенные губы — многозначительное и мудрое молчание.

Глаза у Леонида Сергеевича неожиданно стали шелками, пуговка носа вздернулась, по лбу побежали морщинки,— он беззвучно смеялся. Мы с Юрой невольно поддержали его.

Вот уж не думала, что с таким серьезным человеком может быть так просто! А ведь я побаивалась его. По двору Леонид Сергеевич всегда проходит быстрой деловой походкой: хмурый, стремительный; он будто бы и в дороге продолжает решать трудные научные проблемы.

— Если уж быть честным,— сказал он,— то Юра тебя вводит в заблуждение. Это не родственница, во-первых. А во-вторых, мы не знаем, артистка она или нет. Вещь перешла к нам от Юриной бабушки, а как к ней попала, я понятия не имею.

— Мамина мама,— добавил Юра,— была всего лишь бухгалтер. Но по уму, говорят, могла стать министром, только не очень-то этого хотела.

Они смеялись.

Я подошла к портрету. От лица, нервного и живого, от царственного актерского жеста невозможно было оторваться.

— Если она артистка, то великая.

— Или великий художник,— уточнил Леонид Сергеевич.— Подписи нет. Но, по преданию, портрет написал Репин, мы давно собираемся показать его специалистам.

Мне сделалось страшно: Портрет артистки — работа Репина! Это же последняя ценность, которую променял Федоров!

Юра положил мне на плечо руку, я вздрогнула.

— Что с тобой?

— Нет, тебе показалось.

Я неожиданно спросила:

— А в блокаду? Где твоя бабушка жила в блокаду?

— Здесь,— не без гордости сказал Леонид Сергеевич.— Они многое пережили. Представляешь, одна, без мужа, с Юриной мамой.

У меня сжало виски до головной боли. Я подумала, что нужно бы уйти. Потом я сказала себе: пока нельзя ничего

говорить Юрке. Нужно проверить. И если так, пусть сам отнесет Федоровым картину.

Леонид Сергеевич что-то рассказывал о портретах— каждый имел свою историю.

Юра опять протянул мне свиток: его бабушка занимала там скромное боковое место.

Зазвонил телефон. Леонид Сергеевич извинился, пошел в кабинет. Его голос зазвучал раздраженно.

Я стала собираться. Юра хотел проводить меня, но Валентина Григорьевна попросила его остаться. Я даже обрадовалась этому.

— Любочка поймет тебя, Юрик,— сказала она.— Тебе нужно проверить рюкзак, подготовить себя в дорогу.

В столовую вернулся Леонид Сергеевич. Он был чем-то озабочен, глядел хмуро.

— Как? — спросила его Валентина Григорьевна. Она, видимо, прислушивалась к разговору.

Он не ответил.

Валентина Григорьевна вздохнула, опустила глаза: они и без слов понимали друг друга.

Мы вышли с Юрой на лестницу. Подождали лифт. Юра меня обнял:

— Ты встревожена чем-то?

— Нет.

Он понял это по-своему:

— Я скоро приеду!

Потом я долго бродила по улице. Бред старика, рассказ Владимира Федоровича, их глухие похожие голоса словно бы оживали во мне. Неужели Кораблевы? Тот же портрет? Все так сходилось...

Я пошла к дому. Пожалуй, больше всего в те минуты я хотела увидеть маму.

Атмосфера небывалого покоя царил у нас. На маме был фартук в горошек. Она раскладывала пирожки на тарелку и улыбалась своим мыслям.

По комнате расхаживал Алик. Он тоже вдруг как-то изменился. Из нагрудного кармана его черного костюма празднично выглядывал уголок платка. Умытый и счастливый именинник — вот как выглядел Алик.

Лариса сидела на подоконнике — любимое ее место, — подобрав ногу, невидящими глазами смотрела сквозь меня. Гитара плашмя лежала на ее коленях. Лариса перебирала стру-

ны, чуть придавливая их пальцами, а сама, склонив голову, словно бы прислушивалась.

— Какой прекрасный человек твой Владимир Федорович! — говорила мама несколько возбужденно. — Порядочный, тонкий, интеллигентный!

Для Алика Владимир Федорович был абстрактной фигурой. Алик расхаживал по комнате широким нервным шагом, внезапно останавливаясь у зеркала. Иногда он как бы знакомился с собой, в его взгляде не возникало особого интереса, скорее скепсис, — вот встретился на дороге, увидел и прошел мимо. Приятный человек, что тут еще скажешь.

Но иногда Алик подходил к зеркалу с волнением, в его глазах вспыхивал восторг, — надо же, какое чудо! — он принимал значительную позу, откидывая прядь со лба, закладывая руку за лацкан, и подавался назад корпусом — этаким Наполеон на острове Святой Елены.

— Давайте-ка лучше к столу, — суетилась мама.

Алик подобрался, принял из маминных рук стаканы и ложки. Потом поторопился взять чайник с заваркой.

Он был хозяином, когда наливал чай мне и Ларисе.

Мама вынула из холодильника большую коробку с шоколадным тортом, на которой широким росчерком было написано «шесть рублей», и я окончательно забеспокоилась. Вечер сулил какие-то сюрпризы — торт явно принес Алик.

— Ларочка, детка, за стол! . . .

Мы все уже сидели, но Лариса даже не повернула головы в нашу сторону.

— В Португалии беспокойно, — сказал Алик, помешивая ложечкой чай и поглядывая на маму, — между ними шел безмолвный, но чрезвычайно важный диалог.

Лариса ударила ладонью по струнам, заставила всех замолчать. И запела.

Ах, какой у нее был глубокий голос! Я помню этот знаменитый романс, сколько раз я его слышала.

Он говорил мне: будь ты моею,
жаркому сердцу так говорил он. . . .
Но — не любил он!
Ах, не любил он,
Нет, не любил меня. . . .

Она накрыла ладонью струны, остановила их дрожание, оборвала звук.

— Вот был человек! — сказала она. — Я про Ларису из «Бесприданницы». Помнишь фильм? Как она этот романс поет, помнишь, Анна? За одну встречу, за один миг — целую жизнь! Нате вам, нате — и никаких миллионов! Нате! . . .

Ложечка Алика звенит, звенит в стакане, не может остановиться.

Я беру кусок торта и чай и несу Ларисе.

— Тетя Лариса, пейте. Стынет.

Гитара летит на диван. Лариса вскакивает, — в ее глазах бешенство.

— Почему ты называешь меня тетей?! Не смей! Не смей!

Слезы наворачиваются у нее на глаза, она бухается на стул и почти безразлично заканчивает:

— А вообще — какое это имеет значение? Тетя, бабушка, прабабушка... Представляешь, Анна, — говорит она со злым вызовом, — он на семь лет меня младше. Ну зачем я ему, такая развалина.

— Я видела много хороших пар... при подобном сочетании... — Мама пытается быть рассудительно-доброй.

Алик будто не слышит их разговора. Громко отхлебывает чай.

Потом отставляет чашку. Поднимается. И несколько секунд стоит надо мной, раскачиваясь и обдумывая что-то свое, чрезвычайно важное. Мама тревожно смотрит на него.

— Люба! — произносит Алик, будто бы перед этим не было никакого Ларисино крика. — Не знаю, сумеешь ли ты нас понять... Вы теперь живете иначе... — Он ходит по комнате, собираясь с мыслью, и опять останавливается на прежнем месте. — Чтобы раздобыть пачку папирос, в твоём возрасте я копал картошку. Нашей модой была военная гимнастерка, уже выцветшая за годы войны. Свой первый костюм я купил в двадцать шесть лет. В двадцать девять я увидел холодильник. Достоевского я прочел в тридцать два...

Он замолчал, явно жалея себя.

— Георгий, — сказала мама взволнованно. — Можно, я сама?..

Он кивнул.

— Люба, — сказала мама. — Ты знаешь, что я люблю Алика, и вот теперь — это немного забавно, — но теперь он сделал мне предложение. Считай, что ты присутствуешь на свадьбе.

Каждый вечер я вычеркиваю в календаре один день — все нетерпеливее жду Юру.

Я очень хочу его видеть, и все же, мне кажется, нам что-то уже помешало.

Юра, конечно, не подозревает. Вчера пришла короткая открытка:

«Юра + Люба = Любовь Юровая»,

Милая шутка! Раньше я была бы так рада этому!

Дома пустота. Ложусь рано. Вот и сегодня послонялась, почтала немного и легла еще до десяти. И тут звонок. Обрадовалась, побежала к дверям. Не Вера ли?

Лариса!

Вошла встревоженная, нервная, заговорила быстрыми, отрывочными фразами:

— Я на минутку. Мы должны были встретиться. А он не пришел. Что-то случилось. Он всегда точен.

Она теребила яркую шаль, а сама отворачивалась.

— Почти десять. Договорились около девяти. Что-то у него худо.

— Могу сходить.

— Спасибо.— Она сразу же закуталась в шаль, как больная, села на стул.

Я опустилась на этаж, позвонила. Голос Владимира Федоровича донесся издалека, из второй, видимо, комнаты.

— Сейчас, сейчас!

Лариса вышла на площадку, я почувствовала, что она стоит надо мной, смотрит в пролет.

Владимир Федорович снимает цепочку.

Вхожу. На столе в первой комнате беспорядок. Разбитые ампулы, шприц в разобранном виде, клочки ваты.

— Люба, заберите кувшин, — просит Владимир Федорович. — Не горячо, папа?

Старик полусидит в кровати. За спиной — подушки. Голова свесилась. Худая, как у цыпленка, шея. Опять приступ сердечной астмы.

— Теперь уснет, — шепчет Владимир Федорович. — Было очень плохо... Я испугался...

Выношу воду. Убираю осколки ампул. Владимир Федорович смотрит на отца. Я повторяю про себя: астма, и что-то тяжелое, давящее, со щупальцами, как во сне, начинает чудиться мне.

Федор Николаевич дышит глубоко, легкая хрипотца пробивается сквозь его дыхание.

— Пойду, — говорю я тихо.

Владимир Федорович кивает.

— Передайте... — просит он. — Впрочем, не нужно. Она знает...

— Ночую у тебя, — сказала Лариса. Схватила мамин халат, повесила его в ванной и остановилась в дверях. — Не возражаешь? Здесь хоть душу есть с кем отвести. Побуду с

хорошим человеком. Да и домой далеко ехать. Не хочется. С некоторого времени не выношу пустоты.

Она легла на мамину кровать, закинула руки за голову.

— Хорошие стихи нашла. У древних индусов. Книжка такая попалась. Вообще-то книжка обычная, стихи в ней всякие. А вот строчка... — Она помолчала. — «О вечер! Зачем ты покинутых женщин караешь?» Правда, здорово?

Покачала головой, пошевелила губами, видимо, про себя повторила эти слова. Повернулась в мою сторону, резко приподнялась на локте.

— Отчего к человеку начинают приходиться мысли, которых раньше у него не было? Не знаешь? — Не дала мне ответить, сказала: — Я была у него. Дома. Старик спал. Он посадил меня на кухне и стал выносить холсты. Бутылки, бутылки с цветами... Потом показал... мой портрет...

Она закусила губу и отвернулась к стене.

— Меня никто никогда не рисовал... Знаешь, я не могу передать этого чувства...

Села на кровати, поглядела на меня — понимаю ли?

— В детстве я как-то заплыла в омут, воронка от снаряда была недалеко от берега... Я знала, что где-то он есть... А вот не верила, что и со мной может такое произойти. И вдруг попала...

Она замолчала.

— Вот и здесь так. Омут, Любка. Думаю, думаю, а ответить не могу... Сумею я с таким человеком? — Запустила пальцы в волосы, растрепала прическу. — Матери твоей завидую. Она и Алик — как хорошо у них и просто. Нормально, по правилам. Даже если там и были какие-то сложности, то ясно, к чему шло... А у меня? — Ударила кулаком по матрацу. — Как же быть, Любка? Отказать? Мыкаться по чужим домам, ходить от подруги к подруге, делать вид, что ты независима, что тебе дороже всего свобода? Да пропади она пропадом, эта свобода. Я несвободы хочу, чтобы жизнь, как у всех, Любка!

Пробежала босиком по полу, выключила свет и быстро бросилась назад, к кровати. Заскрипели пружины.

— Голова горит... И главное, взять его просто, легко, ничего не стоит его взять, сам он идет на это, а я боюсь. Не знаю чего, но боюсь... — Подумала и вдруг призналась: — Таланта его страшно. Незащищенности. Тонкости его. А если не убережешь? Сломаешь?

Я услышала, как она шарит в темноте по стулу, нашла коробок, чиркнула спичкой — высветились в темноте глаза, часть лица, пальцы.

— Ты табака не любишь? — Поднялась, распахнула форточку, да так и осталась стоять босиком, в белой рубашке около окна.

— А потом,— сказала она,— тещу я за собой порядочный опыт, как теперь это зовется. Вагон и маленькую тележку. Так что, ему эту тележку возить или мне самой?

Она сказала печально:

— Я тут недавно обидела его. Знала, что обижаю. По самому главному бью, но ударила... Подумала, пусть он во мне усомнится, разочаруется, помочь ему захотела...

— Зачем?

Она вздохнула.

— Говорю: «А если искусство твое, Володя, никому не нужно? Если оно так и останется на твоих стенах, что же тогда?» Он при всей своей трудной жизни — счастливый, Люба, человек. И как раз тем счастлив, что в способности своей, в предназначении вышем ни разу не усомнился. Он мне сам говорил, что не может художник по-другому. И даже если это не так, не имеет он права в деле своем и в себе усомниться — иначе это станет его концом. Кто, сказал он, усомнился, того уже давно нет в искусстве.

Она глубоко затянулась, сказала:

— Я еще прибавила тогда: сколько бы, говорю, ты сил ни тратил, а люди все равно понесут бутылки на пункт приема посуды, потому что им двенадцать копеек за штуку дают. Такова цена всей этой красоте.

— А он?

— Ничего не ответил.

Она выбросила окурок в форточку, снова легла в постель.

— Как у тебя с Юрой? — спросила так, будто и не было предыдущего разговора.

— Он в колхозе на месяц.

— Ты, Люба, не торопись со всем этим... Понимаешь, о чем я? Или уже поздно?

— Ничего не поздно,— я отвернулась к стенке.

— Ладно, не обижайся. Я так. Как друг говорю...

Я вдруг стала думать, что было бы хорошо, если бы Юрка сейчас явился ко мне. Позволил бы, а я открыла бы ему дверь, и обняла бы его, и поцеловала бы прямо при Ларисе. Я чуть не рассмеялась от этой мысли, но вместо смеха вырвался у меня вздох удивления, потому что входной колокольчик заблямкал.

Лариса вскочила, бросилась в ванную и там боролась с халатом, никак не могла попасть в рукава.

— Черт-те что! — ругалась она. — Попроси подождать... Спроси — кто? .. Легли в такую рань, кто угодно прийти может...

Я наконец зажгла свет в коридоре, распахнула дверь. Передо мной стояла Соня. От ветра ее волосы распушились, этаким огромным шар-щеткой с бусинками глаз и вздернутой губой суслика. Соня что-то жевала, глядела на меня виновато, точно спрашивала разрешения войти.

— Козочка моя одинокая! — обрадовалась Лариса. — Пришла на огонек. Давай раздевайся. Сколько времени теперь, погляди, Люба? Господи, да неужели час ночи!

Соня вошла в комнату.

— Где же Аня?

— Помирились.

— А, — произнесла она так, словно именно это ожидала услышать. — Я телевизор смотрела, а когда кончилось — дай, думаю, Анну проведу.

Я залезла в постель. Соня поглядела на нас спокойно, ушла на кухню.

Хлопнул холодильник.

— Фасоль в томате! — ахнула она. — Можно, я съем, девки?

— Конечно.

Вошла в комнату сияющая, разложила еду на столе, стала открывать консервы.

— У меня дома пусто, даже хлеба купить не успела. Моя любимая еда — фасоль, — облизала ложку, зажмурилась.

Мы рассмеялись.

— А вы лучше думайте, — прикрикнула она, — куда я лягу. Раскладушка где-то была...

— В ванной.

Она скоблила по краям банку, подбирая томатный соус.

— Постелю коврик со стенки, — решила Соня, — сверху простыню, а скатертью и занавеской накроюсь. Ночью мне всегда жарко. Подушку необязательно. Сверху плащ — и хватит.

Доела фасоль, выкинула банку в мусорное ведро, ушла в ванную. Было слышно, как она гремит там раскладушкой. Втащила ее в комнату.

— Сейчас свет погашу. Тебе, Люба, рано на работу.

Сняла коврик, постелила простыню, скатерть. Легла, покрутилась с боку на бок. Скомандовала:

— Выключай!

Я подчинилась.

— Ой, Ларка, — сказала Соня, и теперь по скрипу раскла-

душки я поняла, что она села. — Смех в зале! Веду экскурсию, а один, приличный такой, на меня глаз положил. Уйдет, думаю, или будет потом вопросы задавать? Он догнал меня около дирекции: дайте, говорит, телефончик, девушка, у меня есть научный интерес.

— Перспективный?

— Кольца не было. А может, снял... — Она вздохнула. — Звонил ежедневно. Последний раз предложил встретиться. «У вас, сказал. Или у меня можно». — «Чего же спешить, говорю, давайте хоть в кино сходим». А он, представляешь: «Зачем, говорит, время терять, если мы и так давно по телефону разговариваем».

— Пошли ты его!

— Я так и сделала.

Соня вздохнула.

— Обиделся, представляешь. Не звонит.

Они помолчали.

— А как у тебя с тем, чокнутым?.. Художник он, что ли?

— Трудно, Соня.

Их голоса зазвучали глуше, стали растворяться, потом на какое-то время я перестала их слышать.

— Люба! — крикнула Соня. Я проснулась. — Ты нас не буди, когда уходить станешь. Мы дверь запрем, а ключ сунем под коврик.

Она перебежала к Ларисе, залезла под одеяло, быстро заговорила:

— Ну кто тебе, Ларка, мешает расписаться? Ты его уважаешь, так? Он — тебя, так? А что мало знакомы, кому какое дело? Бывает, даже лучше живут.

— Не знаю, не знаю, — шептала Лариса. — Ничего не знаю, Соня. Одно вижу, нелегко с ним будет. Старше я его, много старше. Да и отец больной.

— А с кем легко? С кем? Где ты легких-то видела? Человек он, вот что важно. Человек, Ларка.

Они опять замолчали.

— «О, вечер! — зашептала Лариса. — Зачем ты покинутых женщин караешь?»

— Чего ты?

— Так. Стихи это.

— Стихи? — не сразу переспросила Соня. — А где же рифма?

В редкие свободные минуты я люблю посидеть с дядей Митей. Говорит он мало, но если заговорит, то интересно.

Набьет в рот гвоздиков. Стучит, стучит, вроде не хочет замечать меня. А я посижу да встану. Вопросы ему задавать бесполезно, знаю: захочет — сам что-то расскажет.

Недавно так у нас и случилось. Отложил инструменты, поглядел на меня серьезным взглядом, точно проверил, пойму ли его,— и начал.

— Все-то у меня, Люба, могло по-другому быть, да только не стало... — Ударил молотком по каблук, бросил туфлю в кучу починенной обуви, сказал с сердцем: — Была семья — погибла в блокаду. И сын, и мать, и дочь, и жена. Большая была семья, Люба.— Улыбнулся странно, холодной, даже жутковатой улыбкой. — Глупо, конечно, в моем возрасте о сиротстве говорить, а вот когда с войны вернулся, долго у меня это чувство не проходило.

Я растерянно молчала, не знала, что можно сказать на это.

— За четыре года я в Германии по-всякому бывал: и как пленный, и как победитель. В Бухенвальде сидел. Теперь туда людей на машинах возят. Музей вроде. Я тут встретил одного из нашего барака, нары у самой двери, номер еще помню: триста двенадцать. Он с экскурсией теперь туда ездил. Подошел к воротам — «едэм зайн» написано, а переступить не может, ноги не идут. Каждому свое «едэм зайн» означает.

Помолчали.

— В Бухенвальде я думал — хуже всего ничего не бывает. Нельзя представить, чтобы было человеку хуже. Вот мы тогда с другом и решили бежать. Удалось, сами не можем понять — как. Представляешь, в полосатой одежде, пешком через всю Германию. Потом-то переоделись. Только фашист, который мне попался, огромного был роста, брюки в лесу ножом укорачивал, а ширина мне любая бы не подошла. Первый день в трубе канализационной прятались. Тихо вроде бы было. Но я другу-то говорил: нельзя выходить, сидеть будем. А он полез. И сразу взяли его собаки. Овчарки у них хуже волков. В этой канализационной трубе им запахов человека не услышать... .

Он прикрыл глаза, покачался на липке, словно совершал какую-то восточную молитву, продолжил:

— До войны я очень собак любил. Овчарок. Умные, стервы. Сидит, привязанная, из чужих рук ничего не возьмет. Кинешь колбасы, а она и не глядит даже, вроде кирпич это... . А тогда... как они рвали живого человека! Как он кричал, Люба!

Дядя Митя помолчал.

— Потом два месяца я к своим полз, крался, черствел от ненависти. Зверем стал, Люба. Больше всего я тогда лес любил. Спрячусь и мечтаю весь день. Рассажу около себя всех: и сына, и дочь, и жену, пошучу даже: «Помните, — скажу им, — как вы вчерашнюю булку есть не хотели?» Смеемся, смеемся, пока я не разревусь. . . После партизан отпуск получил. Домой поехал. Сердце что-то чувствовало уже. . . И все же надеялся, что разыщу. . . И представь — все погибли с голоду. Стою перед домом на Некрасовской, а сам думаю: неужели мне легче было, чем им? Как же так?

Он замолчал, насовал гвоздиков в рот, поднял недочиненную дамскую туфлю.

— А сейчас. . . вы один живете? . .

Выплюнул гвоздики на ладонь, пошевелил губами.

— Нет, — качнул головой. — С бабкой. На десять лет меня старше. Когда-то пустила в дом. Хороший она человек. И обед сварит, и стирает. Я ее так бабкой и зову. Трудно ей нынче стало: давление, печень, чего-то еще. . . Ну да что делать? Живем, жалеем друг друга, Люба.

Вера забежала ко мне домой на минутку и, не присаживаясь, решительно распорядилась:

— Через час нужно быть у меня. Придет Игорь. Я сказала — день рождения.

— Но у тебя же зимой.

Она покрутила у виска пальцем.

— Просто отцу хотелось посмотреть Игоря. А потом, — она подмигнула, — и мне этого хотелось. Нерешительный он человек, приходится брать инициативу в свои руки. Пусть сравнит ухоженный быт с холодом армейской жизни.

Она захохотала, радуясь собственной шутке, прибавила:

— В моем возрасте, как сказал Мичурин, нельзя ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача.

. . . Из дома я вышла, как и условились, через час. И около Веринной парадной столкнулась с Игорем. Он шел в гражданском костюме, подтянутый по-военному, озабоченно-сосредоточенный, точно предстояло ему здесь выполнять задание особой важности. Я сразу об этом ему сказала. Он улыбнулся, но комментировать не стал, вроде бы согласился.

— Жених! — издевательски заметила я.

Игорь оглянулся по сторонам, точно его уже преследовали, и то ли шутливо, то ли серьезно спросил:

— Неужели, Люба, я произвожу такое глупое впечатление?

Двери оказались открытыми. По всему было ясно, что нас рассмотрели в окно.

Иван Васильевич и Евдокия Никитична стояли в коридоре напряженные и торжественные, плечом к плечу.

— Познакомьтесь,— сказала им Вера, принимая у Игоря цветы и чокая его в щеку.— Это...

Она не договорила, ее перебил Иван Васильевич.

— Сейчас, сейчас! — крикнул он. В его руке был будильник. Иван Васильевич вертел торопливо стрелки, нажал кнопку звонка. И вдруг в коридоре возник мелодичный звон, малиново заиграли колокольчики.— С музыкой хотелось встретиться,— объяснил Иван Васильевич, протягивая в сторону Игоря будильник и по-детски счастливо улыбаясь.— Конечно, мы, родители, узнаем все последними, но уж такое решение настоящего времени, текущего, так сказать, момента.

Евдокию Никитичну в этой суете и звоне совсем забыли, она стояла за спиной мужа и была не видна, как маленькая девочка за большим столом. Склонила голову и, мечтательно улыбаясь, слушала.

Я подошла к ней. Она радостно зашептала:

— Красивый какой милиционер-то! — Дернула мужа за рукав.— Ты у меня, Ваня, таким красивым-то не был!

— Как это не был?! — возмутился Иван Васильевич.

Он наконец повернулся, освободив большое пространство, и как бы показал Игорю свою жену.

— Как не был! — шутил он.— Да я и сейчас красивый, если от мазута отмыть.

Евдокия Никитична прыснула.

— Балабол ты, Ваня! Как был балабол, так и остался...

Повернулась и по-хозяйски широким жестом пригласила гостей войти.

— Давай, Любаня, командуй. Ты своя у нас, вторая, можно сказать, дочь, как-никак сватья...

— Мама, ну что ты говоришь! — одернула Евдокию Никитичну Вера.— Игорь подумает...

— А что ему думать,— сказал Иван Васильевич радушно. Он обнял жену, положил огромную ладонь на ее покатые плечи, притянул Евдокию Никитичну к себе, и она словно прилипла к его большому телу.— Мы люди простые, мыслей за пазухой не держим. Выпьем сейчас и договоримся...

Он отпустил жену, и Евдокия Никитична словно помолодела, выпорхнула из его объятий, опередила нас, распахнула дверь в залу, как они называли большую комнату.

— Прошу, товарищи-граждане! — говорила она.— Будем накрывать!

— Накрывать есть чего! — гудел Иван Васильевич. — Магазинного мы не уважаем, многое идет со своего огорода...

Сели за стол.

— У нас в гараже, — обстоятельно заговорил он, — иногда спрашивают: «Ну зачем, Иван, тебе такая дача? Мороки с ней! Света божьего не видишь». — «Да, говорю, не вижу. Но для кого я стараюсь? Для дочки стараюсь. Для внуков, если пойдут. Мне поэтому лучшего света и не хочется».

— Папа!

— Помолчи, — сказал Иван Васильевич. — Дети теперь так и норовят влезть раньше родителей.

Евдокия Никитична расставляла наливки — смородинную, крыжовниковую.

— Вот и поглядим, что дает моя дача! — говорил Иван Васильевич, доброжелательно похохатывая.

Количество блюд, блюдечек и вазочек нарастало. Была тут и моченая брусника, и соленые грузди, и грибы маринованные белые, и огурчики корнишоны, маленькие, ровные, словно отобранные по одной мерке, и помидоры, и моченые яблоки, и лучок, и даже шпик собственный, присланный сестрой Ивана Васильевича из деревни.

Разлили по рюмкам наливку, и в комнате запахло смородинным листом.

— Мне нельзя, — Евдокия Никитична прикрыла рукой рюмку. — У меня кролик тушится. Я бегать на кухню должна.

— Как хочешь. — Иван Васильевич потянулся к Игорю, как бы предложил ему чокнуться. — Со знакомством, — сказал он.

— Давайте уж за Веру. Ее день рождения...

— За ее рождение зимой выпьешь — забыл о заговоре Иван Васильевич.

Вера, вероятно, подтолкнула его ногой. Иван Васильевич удивленно поглядел на дочь.

— Я — чо? — сказал он. — Я — ничо. Так просто.

Осмотрел стол, ему явно чего-то не хватало, крикнул в сторону кухни:

— Дусь?! Может, борща дашь? — и повернулся к Игорю: — Как насчет борща?

Закуски было полно, Игорь с сомнением поглядел на нас с Верой, покачал головой:

— Не стоит...

— А я борщ очень уважаю, — сказал Иван Васильевич, принимая от Евдокии Никитичны тарелку кроваво-красного

борща с жирными, будто янтарными разводами и огромным куском мяса.

Он зачерпнул густоту ложкой и, обжигаясь и кряхтя, с удовольствием отведал:

— Хорош харч!

Вера подкладывала закуски Игорю. Теперь в центре стола лежал тушеный кролик — большущее блюдо, потеснившее маленькие тарелочки.

— Вот этот кролик, — рассказывал Иван Васильевич охотно, — сегодня утром еще в клетке бегал. Попробуй его на вкус. Телятина! Я его сам готовлю, не доверяю женскому полу. Вымочу в уксусе сколько нужно и тушу на малом огне. На Веркиной свадьбе десяток кроликов на стол пустим. Твое начальство решит, что мы им целого тельенка прирезали, спорим?!

Он откинул голову и долго смеялся, пока все за столом не поддержали его.

— Спорим, — повторил Иван Васильевич, вытирая слезы, а затем протягивая руку Игорю. — Хоть сто следователей приведи, а они моего кролика от тельенка не отличат.

Он опять так и зашелся от смеха. Игорь опустил голову, быстро взглянув на меня.

— За ваше счастье! — крикнул Иван Васильевич, наливая по новой.

Выпил, не ожидая Игоря, затряс головой:

— Давай, зятек, пей!

— Папа! — напомнила Вера.

Иван Васильевич уставился на нее.

— А что? Как думаю, так и говорю.

Вера вышла в соседнюю комнату, и почти сразу оттуда послышалась музыка.

— Танцы, танцы! — закричала она.

— Куда? Куда? — замахала руками Евдокия Никитична. — Пирожки ведь с картошкой, горяченькие.

— Потом, потом, мама. — Вера уводила Игоря от отца. — Потанцуем, а ты папу пока уведи, ладно?

— Пускай сидит, тебе-то чего? — не поняла Евдокия Никитична.

Вера не оглядывалась. Она протянула Игорю руки и спросила:

— Можно вас пригласить, товарищ старшина? , ,

К трамвайной остановке мы с Игорем шли чуть впереди Строевых. Евдокия Никитична и Вера вели Ивана Василье-

вича под руки. Он разговаривал громко, требовал, чтобы его не держали.

— Я тоже хочу зятя провожать! — кричал он.

Игорь был грустным.

— Цирк какой-то, — не выдержал он. — И потом, это раньше с рождением — зачем? . .

— Ну а если ты ей нравишься? Она же как лучше хотела. . .

Он улыбнулся, но опять осуждение проскользнуло в его улыбке:

— Значит, если нравлюсь, нужно в психическую атаку идти? Так можно на всю жизнь отбить охоту жениться. Энергия, Люба, в этом деле не помогает. . .

Подошел трамвай. С Игорем прощались по очереди. Иван Васильевич долго и тяжело жал руку, глядя в глаза. Евдокия Никитична ухватила Игоря за голову, пригнула и поцеловала в лоб.

Двери захлопнулись. И вся семья Строевых одновременно подняла для прощания руки.

Мы пошли с Верой на набережную, а Евдокия Никитична и Иван Васильевич — к дому.

Молчали.

— На отца обижаться глупо, — сказала Вера после каких-то своих раздумий. — Человек он хороший, как и мать. . . Внуков им хочется.

Ей, видимо, нужно было что-то объяснить мне такое, о чем раньше она никогда не рассказывала.

— Видишь, как живем, — она широко взмахнула рукой. — Все есть. А было — жуть! Когда в город переехали, то сначала в семейном общежитии жили, одна комната на три семьи, простынями перегораживались. Потом я родилась — комнату дали. Отец сел на пол, паркет гладит руками и плачет: мое это — только и повторял. А еще через несколько лет квартиру получили, дачу построили, машину купили, — какая-никакая, а бегает. Живем. И только одного им теперь хочется — чтобы у меня было все по-людски.

Глаза ее горели, ноздри натянулись, как у гончей.

— Ну а дальше? Выйдешь замуж, внуки у них будут, что дальше-то?

Она иронически поглядела на меня:

— Какой ты еще ребенок, Любка! Дальше ничего и не нужно. Нравится он мне, очень нравится, — тревожным шепотом.

том сказала она. — Я тебе так благодарна! Понимаешь, я уже думала, что и влюбиться-то не смогу, зачерствела душой. Двадцать пять — это много, черт побери! А вот думаю о нем, думаю постоянно, и уже знаю: чего бы мне ни стоило, а нужно его удержать. Так я решила.

Я хотела повторить слова Игоря, что энергия в этом деле не лучший помощник, но решила — не стоит.

Мы дошли до конца набережной. Моросил легкий, почти незаметный сентябрьский дождь. Он едва увлажнил волосы, мелкие капельки искрились под фонарями.

На девятиэтажном доме у площади зажглась, затрепетала могучая реклама «Союзпечати», высветила под собой островерхую маковку пожарной каланчи, напоминавшей часовню.

Вера вздохнула глубоко, подняла голову и сказала:

— Ах, как хорошо, Любка!

Около Вериного прилавка стояла девушка маленького росточка в кожаной юбке, плотно обтягивающей ее задик, бледная, можно сказать фарфоровая, как кукла. Первое, что я подумала, — где-то мы с ней встречались.

— Не переживай так! — уговаривала ее Вера. — Починим, Дело поправимое...

— Да если бы я сама их сломала, а я подруге на танцы дала, а уже с танцев она еле приползла, оба каблука в сторону... — Она вертела головой, точно ее сдавливал воротничок. — А теперь — самой нужно, а идти не в чем... Это же мои лучшие, выходные, сорск пять ре только что выложила.

— Сделаем, сделаем, — успокаивала ее Вера, заполняя квитанцию. — Через две недели зайдешь — ахнешь.

— Через две недели? — Девушка схватилась за голову. — Через две недели!

— А ты думала — сразу?

— Мне ждать нельзя, я в театр вечером. — Она всхлипнула. — Я, может, на этот театр три месяца надеялась, не одна же иду.

Я внезапно узнала свою цветочницу.

— Привет! — сказала я радостно. — Помнишь, ты мне розы продавала?

Она даже рот распахнула.

— Да я и шла-то сюда, чтобы тебя встретить. Думала, ты на приемке.

— Супинаторы сломаны, — объяснила Вера, — поэтому я и

говору: две недели. Нужно, чтобы дядя Митя сделал, а у него работы — сама знаешь!

И она чиркнула ладонью по шее.

— Все же попрошу, раз такое дело. . . — Я уже держала в руках туфли, пошла к дверям. — А ты подожди, вдруг удастся?

Присела на подоконник около дяди Мити. Он скосил взгляд в мою сторону, отвернулся, потом все же спросил — в чем дело?

— Девчонка одна пришла, как-то здорово меня выручила, супинаторы у нее. . . И театр вечером. . .

— Оформляй, — буркул он, даже не повернувшись.

Я выскочила к Вере; она уже разговаривала с новым клиентом. Девушка благодарно заулыбалась — на моем лице было все написано.

Потом я сидела около дяди Мити, а он насвистывал, разбирая модельную туфлю. Заменял сломанный стержень и, покачив головой, принялся за второй.

— Сделаем человека счастливым. . . — Он хитро поглядел на меня: — Как просто — сделать счастливым.

Он подышал на помутневшую лаковую поверхность, протер туфли рукавом.

— Иди отдай, — сказал он. — Ишь, как им легко — счастье. . .

Девушка, казалось, не могла поверить своим глазам. Потом скинула старые, поставила новые на пол, надела и пошла по мастерской.

— Чудо! — удивилась она. — Ой, девчонки, давайте я вас расцелую!

— Ты уж его расцелуй, своего суженого, а у нас плати за ремонт, — сказала Вера. Она и сама радовалась за девчонку. — Рупь двадцать да за срочность двадцать процентов. . .

— Конечно, конечно, — заторопилась девчонка, отдавая трешку.

Вера открыла ящик, чтобы отдать сдачу, но девушка уже бежала к дверям. Остановилась, быстро передела туфли, махнула рукой и выскочила на улицу.

— Стой, стой! — закричала я. — Держи сдачу!

Она уже перескочила через лужу, неслась по другой стороне улицы, подпрыгивая, как счастливый ребенок.

Я вернулась в мастерскую, пропустив в дверях плоскогрудую, узкобедрую, длинную седую даму в очках. Она прошла мимо меня как солдат, точно собиралась отдать Вере рапорт. Положила туфли, одну, другую, неподвижно уставилась на Веру.

— Надо же, супинаторы, — сказала Вера.

Спросила адрес, подклеила корешки на подошву, рассчиталась. Дама повернулась, словно ей скомандовали «кругом», и с той же строевой четкостью двинулась к выходу. Вера подождала, когда закроется дверь, поманила меня пальцем.

— Оставь себе эту трешку, — сказала она шепотом.

— Почему?

Она поглядела на дверь, которая вела в цех.

— Это твое.

Я положила трешку на прилавок, покачала головой:

— Ты же выписала квитанцию, я сама видела...

Она засмеялась:

— Дурочка! — Сунула мне в халат деньги. — Все очень просто. Цветочнице я писала квитанцию без адреса и фамилии, а этой костлявой щуке по всем правилам на том же бланке, — значит, одна квитанция механически исчезает, туфли уже получены и проверить ничего невозможно. Дважды два четыре, понятно?

Кажется, у меня было глупейшее лицо. Вера смеялась до слез.

А я вспомнила бабушку Кораблевых — я часто ее вспоминала. У бабушки на раздаче оставался хлеб в блокаду. Скажем, она недодавала по крошке. Крошкой все равно не наешься.

— И часто... ты... это... делаешь?

— Что ты! Часто нельзя. Но на десятку в день натягиваю, Разве худо?

— Врешь?!

Она вынула платок, вытерла слезы, опять поглядела на мое глупое лицо.

— Только молчи! Ты как-нибудь меня заменишь. Может, я в отпуск уйду. Тебе же деньги нужны. И потом я твоя должница. За Игоря.

— А дядя Митя?

Я вдруг поняла, как боюсь, чтобы она не сказала о нем худого.

— Чего Митя?! — она отмахнулась. — Он же философ! Он сыт уважением, которое ты ему оказываешь.

В мастерскую вошел военный.

— Иди,— приказала она мне.— И скажи тете спасибо!

Я положила трешку обратно. Она смела деньги в стол, даже не моргнув глазом. Потом я подмела полы в мастерской, сидела с дядей Митей, что-то говорила Вавочке, и, когда они спрашивали, что со мной, я отвечала: заболеваю, жуткая головная боль у меня началась.

Вавочка несколько раз подходил ко мне. Я уже привыкла к его вниманию, теперь мне казалось, что вроде бы так и нужно.

Потом мы шли вместе к дому, и он несколько раз спрашивал, что у меня случилось. Я не могла ему сказать, не хотела.

Он осторожно положил руку мне на плечо, я не сбросила, мне было даже теплее, что ли,— вот рядом идет человек, которому я нравлюсь, который ко мне относится как-то по-особенному с первого дня работы. . .

— Можно, я к тебе зайду? — нерешительно попросил он, когда мы остановились у дома.

Мне не хотелось его обидеть, и я скорее попросила, чем объяснила причину:

— Понимаешь. . . мне очень нужно побыть одной.

Как легко честному человеку жить на свете! Встает, умывается, идет на работу, делает свое дело. И вдруг этот честный человек оказывается перед фактом, за которым должен последовать поступок. Действие. Личная смелость. Вот тогда ты и думаешь — возможно ли для тебя такое? Что твоя честность — образ жизни, факт поведения? Умение спрятаться, отвернуться от худого? В конце-то концов, на улицах мы обходим канавы, полные грязи, разве нельзя и здесь так же. . .

Я лежу на кровати, разглядываю подтек на потолке, замысловатый узор. Даже звонок в дверь не срывает меня с постели, мне лень двигаться. Я думаю, что это наверняка Вера.

Потом все же встаю, иду открывать, пропускаю Веру в комнату, а сама залезаю под одеяло.

— Ты чего? Заболела?

— Так что-то. . .

— Слушай,— говорит она вроде бы шутя, вроде бы ничего не случилось,— я же тебя разыграла с этой трешкой, а ты сразу полезла в бутылку. . .

Она хохочет.

— Ты железный человек, положительный образ, даже не подозревала, что ты такая. Поглядела бы на себя в ту секунду... — Она даже вытирает слезы от смеха. — ОБХСС! Уголовный розыск!

Она еще что-то там порет, а мне безразлично. Я думаю, что мне лучше уйти с этой работы. Не хочу быть немым свидетелем ее деятельности. А если сказать? У меня нет фактов. Она несомненно уже свела концы с концами.

— Ладно,— говорит Вера,— я так просто. Зашла на секунду. Не было у меня никакого дела. Давай лучше приходи к нам. Мать собиралась печь что-то. Мои тебя любят.

Она протягивает мне руку, но я свою так и не вынимаю из-под одеяла. Тогда Вера замахивается и слегка ударяет меня по животу, вроде бы прощается.

— Не вставай! — кричит она от дверей. — Лежи, кулема! — Выходит на лестницу и перед тем, как захлопнуть, говорит: — Чао!

А мне еще хуже, чем было. Я противна себе за то, что приходится иметь с ней дело, что я не смогла ничего ей сказать, вернее, могла бы, да вот упустила время.

Может, я поспала немного? Хлопнула дверь лифта. Если Вера, то не открою. Придумываю лихорадочно причину.

— Кто?

— Я.

Узнаю Ларису.

Входит. Смотрит на меня с удивлением.

— Ты что — заболела?

— Так, настроенне.

Она занята какой-то своей проблемой.

— У меня к тебе просьба,— говорит быстро, без особых объяснений.— Кроме тебя, никто этого не может. Нужно побыть с дедом. С Федором Николаевичем. Скрывать не хочу: Володя должен со мной поехать.

Вместо «спасибо» она бросает:

— Спустись сейчас же!

Одеваюсь. Я даже рада ее просьбе. У Федора Николаевича я хотя бы не буду думать о том, что случилось.

И другое. Мне необходимо понять все про Кораблевых. Тот ли портрет?

И если тот, я обязана рассказать Юрке. От того, как он постушит, у нас с ним зависит многое...

Спускаюсь на этаж. Ларисин взгляд буквально прикован к двери.

И дверь распахивается. Поражаюсь, как выглядит Владимир Федорович. Не представляла, что он может быть таким нарядным. Черный широкий бант на белой рубашке, сюртук старинного покроя, бархатный берет. Эрмитажный испанец, честное слово.

Лариса встает с ним рядом и преобразается, этакая невеста с тихим, счастливым взглядом.

— Любочка, папа вас ждет, если не трудно. — Он говорит виновато — мол, потревожили, и я тороплюсь убедить, что рада их просьбе. — Папа доволен, что вы придете. Сегодня он чувствует себя прекрасно.

Владимир Федорович пропускает меня в квартиру, закрывает дверь, и я одна иду к Федору Николаевичу.

Прохожу комнату, во второй на кровати сидит старик. В его глазах появляется искорка улыбки. Он делает широкий жест рукой, приглашает меня сесть рядом. И когда я сажусь, он легко, будто это его собственная фраза, произносит:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

У старика худое, измученное болезнью лицо, взгляд немигающий, острый.

Мне страшновато. Я стараюсь не показать этого.

— Очень рад, Люба, что ты пришла. Мне нужно поговорить с тобой. Сейчас же. До Володиного прихода.

Он отклоняется на подушки и несколько секунд лежит неподвижно, точно обдумывает ход странных своих мыслей.

О чем он? Чего он хочет?

Старик поднимает на меня глаза:

— Видела?

— Кого?

— Володю?

— Конечно.

— И что скажешь?

Теряюсь. Что я могу сказать?

А он сел, приблизил ко мне лицо и нервно, блуждая глазами, шепчет:

— Все. Все. Он от меня уходит...

— Никуда он не уйдет, — пытаюсь я утешить Федора Николаевича, — Владимир Федорович всегда будет с вами.

— Но она!

— Лариса прекрасный человек, честное слово! Друг. И вам она станет другом...

Он цепко сжимает мое запястье.

— Давайте пить чай, — я будто бы не замечаю его волнения. — Заварю свежий. Вам покрепче? Нет, наверно, не стоит...

Что-то меняется в его взгляде, появляется теплый лучик.

— Ты говоришь — неплохая?

— Хорошая, Федор Николаевич!

— Ставь чай, Люба! Чаю мне захотелось.

Он смеется, и я удивляюсь такому неожиданно легкому и светлому его смеху. Как хорошо, что поверил!

Я бегу на кухню, нарочно громко перебираю ложки, стучу крышкой чайника, — пусть слышит, что я тороплюсь, готовлю.

И все же одна мысль меня не отпускает: нужно спросить о портрете.

Чайник уже теплый. Пока я кручусь и открываю кухонные тайники, раскладываю печенье, крышка начинает звенеть и прыгать. Разливаю. И, позвякивая чашкой, направляюсь в спальню.

Помогаю сесть Федору Николаевичу на кровати. Надеваю ему на ноги валенки. Поправляю подушки. Подкладываю салфетку. Мне самой нравится, как я с ним нянчусь.

— В блокаду со мной жили три девочки, бывшие мои ученицы, — говорит Федор Николаевич, и я делаю вид, что впервые об этом слышу. — Они учились в шестом классе. Ты то постарше?

— Я уже кончила десять.

— Теперь в институт?

— Нет, провалилась.

Он все забыл.

— Ничего. Бывают трагедии и пострашнее. Время исправит. Главное — время.

Он пьет чай с удовольствием, я держу перед ним блюдце с печеньем.

— В блокаду у меня жили девочки, — говорит он снова. — Помню, у них была новогодняя елка. В театре. Я был вместе с ними. Шла оперетта. Ох, как же они смеялись! В жизни не видел я лучшего смеха.

Слезы текут по его щекам, утоняют в бороде,

— ... Потом их повели во Дворец пионеров. Кормили обедом. И представляешь, мои девочки не съели ни ложки. Переложили и суп, и кашу в банки и принесли домой. Они хотели накормить меня, Люба...

Он словно перестает меня видеть, зрачки покачиваются, как при первой встрече, не могут остановиться.

— Я менял все, что у меня было. Мамино кольцо. Кольца. Дарили поклонники ее искусства. Кольца лежали в шкафу. Моя жена модничать не любила.

Он глядит в мою сторону, ждет вопроса и вдруг добавляет:

— Одну девочку звали Люба. Была хохотушка. Если нет бомбежки, она как колокольчик: динь-динь! Славный человек! Не помнишь? Последнее, что у меня осталось — портрет мамы. Работа Репина. — Старик вскинул голову, и я словно увидела ту женщину на портрете. — Я любил рассматривать его. Я будто бы слышал, как мама читала Шекспира! Я глядел часами, и во мне оживал мамин голос.

И тогда я решила:

— На портрете... ваша мама, вернее, та актриса... стоит вполоборота? На ней глухое черное платье и кольцо?

Он не ответил. Я сидела рядом, опустив глаза, и отчего-то боялась поглядеть на Федора Николаевича.

Скрипнули пружины, и я почувствовала близко-близко частое, взволнованное дыхание. Лицо Федора Николаевича оказалось рядом.

— Ты... видела портрет?

— Нет. — Я невольно отошла от него.

— Где ты видела портрет, Люба? Ты обязана сказать правду!

Он стал подниматься, но не смог. Дыхание учащалось. Стали слышнее хрипы.

Я подумала: если начнется астма, я не знаю, что делать.

— Говори! — кричал старик снова. — Я требую!

— Похожий портрет... — сбивчиво и испуганно говорила я, надеясь, что его успокою. — У того мальчика, Юры, мы дружим... Вы же их знаете, Федор Николаевич...

Он наконец поднялся и, вытянув руки, пошел к столу. Не дошел, повалился в кресло. Я страшно перепугалась.

— Они, они, — бормотал Федор Николаевич. — Я был уверен, что они рядом. А девочек нет. Люба, Оля, Нина, их нет, а те живы... Нет, нет, ты обязана, ты должна, ты сможешь... Время не реабилитирует подлость. Время — абсолютная ценность!...

Хрипы нарастали с каждой секундой. Они были все отчетливее и яснее.

— Федор Николаевич, не волнуйтесь! Я все сделаю, поверьте! Вам нельзя так, Федор Николаевич!

Я заплакала.

Он слюнул в платок красноватую пену.

— Я шел через весь город, — невозможная себя, говорил он то, что я уже хорошо знала. — У них — хлеб. Концентрат пшеники. У меня — дети. Дети никогда не просили. Сидели, ждали, что принесет им Федор Николаевич из «сытой школы».

Он сбился.

— В сугроб, в сугроб! — бессвязно забормотал он.

Федор Николаевич обессиленно сползал с кресла. Его глаза стекленели. И я впервые подумала: он умирает.

Теперь старик уже не произносил ни слова. Он хрипел, глотая воздух. Дыханием это назвать было невозможно.

Я бросилась, перепуганная, на кухню. Эмалированный таз стоял у стенки. Схватила его и плача стала наливать горячую воду. Что это за день такой, думала я. Почему мне выпало столько несчастий?!

Он не чувствовал, как я стянула с его ног валенки, шерстяные носки, и, когда я старалась посадить его удобней, он клонился и падал.

Вены на шее Федора Николаевича вздулись и пульсировали.

— Федор Николаевич! — плакала я. — Миленький! Не нужно!.. Потерпите! Может, сейчас придет Владимир Федорович, он поможет. . .

Его подбородок обессиленно прижимался к груди. Старик дышал редко. С уголка рта стекала ниточка пены.

Я выскочила на лестницу, вызвала лифт, но ждать не могла, понеслась на улицу к автомату. Нужно было звонить в «скорую».

Вокруг ни один автомат не работал. Я ошарашенно оглядывалась, не понимая, что можно сделать, и внезапно подумала: Кораблевы! Да, да, они врачи! Они должны спасти деда, они помогут!

Как я оказалась перед их дверью, не помню. Не снимая, держала на звонке палец. На меня глядела Валентина Григорьевна, праздничная, причесанная, из-за ее спины выгляды-

вал Леонид Сергеевич. Оба были удивлены моим появлением.

— Люба?! — спросила она, точно узнала меня после двадцатилетнего отсутствия. — Что случилось?

— Я к вам, Валентина Григорьевна, — заговорила я задыхаясь. — К вам. Как к врачу. Там умирает... старик Федоров. Тот, сумасшедший... Помните, из нашего дома... Вернее, он не сумасшедший... Он был контужен во время войны... У него на глазах погибли дети... А теперь он умирает. Астма. Вы должны помочь, Валентина Григорьевна...

Я не могла и не хотела ей открывать другое. Сейчас главное — спасти Федора Николаевича.

Я боялась ее отказа, говорила что-то еще, хотя уже чувствовала, что нельзя больше терять ни секунды, нужно брать шприц, лекарства и бежать за мной, — вот что было нужно.

Она теснила меня на лестницу, выдавливала грудью, и я невольно стала отступать назад.

В комнатах горел свет. Сквозь матовые стекла в дверях я видела силуэты людей. Какое-то торжество отмечали Кораблевы. Из-за шума никто не обратил внимания на мой приход.

— Ничего не поняла, — сказала Валентина Григорьевна строго. — Кто умирает? И почему ты ко мне? Я не лечебник, а главный врач, администратор. Для этого существует «скорая помощь».

— Сейчас вызову! — крикнул Леонид Сергеевич. — А ты успокойся. Нельзя так, Люба.

Он держал рюмку, поставил ее на столик, пошел в кабинет.

— Как же так?! — я все еще не понимала. — Вы же врач. Вы должны. Мы теряем время...

— То, что я должна, я знаю, — спокойно сказала Валентина Григорьевна. — Я сделаю, не волнуйся. Остальное ты скажешь врачу «скорой».

В ее голосе появились административные нотки.

— Нет! — крикнула я. — Мне не хотелось... Но раз на то пошло, я вам напомню... Вы, Валентина Григорьевна, просто этого старика забыли. Он, наверное, здорово изменился. А ведь это он бывал в вашем доме в блокаду и менял ценные вещи на хлеб. Это ведь он давал вам или вашей сестре уроки, и вы платили ему кусочком хлеба.

Она поглядела на меня как на больную.

— Что ты говоришь, Люба, опомнись!

Она прикрыла дверь поплотнее, повела плечами и с еще большим удивлением уставилась на меня.

— Может, тогда вы вспомните другое,— говорила я плача.— Вспомните историю того портрета, что у вас на стене. Ваша мать выменяла его в блокаду. . .

— Ерунда какая-то! — сказала Валентина Григорьевна и невольно оглянулась. . . — Или ты сошла с ума, наговорившись с ними, или. . . В блокаду я действительно жила в Ленинграде, но мне было шесть лет. Сестры у меня нет. А портрет этот не наш, он был куплен после войны. Больше я не хочу с тобой разговаривать, хватит. У меня гости, как видишь.

И тут распахнулась дверь и в коридор стали выходить люди. Захмелевшие, улыбающиеся, хохочущие. Они окружили нас, каждый что-то кричал — они шутили.

— Вас ис дас? Что хочет этот очаровательный ребенок?

— Чем вам помочь, юный друг?

— Идите, идите! — Валентина Григорьевна замахала на них руками.— У Любы заболел сосед. Леонид вызывает «скорую помощь».

В ее голосе не было раздражения. Она словно забыла уже о нашем разговоре.

— Я сообщил адрес.— Леонид Сергеевич вышел из своего кабинета и снова взял рюмку.— Встречай, Люба. Я не знал номера квартиры.

— Люба -- одноклассница нашего Юрки, его друг,— сказала Валентина Григорьевна.

— Подруга,— многозначительно поправил кто-то.

Они веселились.

Я побежала вниз. Я будто бы окаменела. Что-то холодное и страшное почудилось мне в их пьяном смехе.

И еще одно не давало покоя: неужели это другая семья, другая история — ведь все так сходилось. . .

Нет, нет, это потом. Главное — Федор Николаевич.

На улице я вспомнила еще про один автомат и набрала ноль-три. Вдруг обманули, не вызвали?! Оказалось, машина уже вышла.

Автобусик «Раф» повернул во двор, остановился у нашей парадной.

Я бросилась через садик. Молодой врач с усталым лицом стоял около кабины, из кузова вылезали фельдшера. Я взяла у них сумку с лекарствами, бросилась на лестницу,

— Скорее! — торопила я. — Он умирает. . .

Они пошли быстрее. Потом мы ждали лифта — кто-то поднимался вверх, — и я с удивлением глядела на их спокойные лица.

Дверь у Федоровых была распахнута. Медики прошли друг за другом по коридору, остановились над креслом, в котором лежал сползший, длинноногий, недвижный Федор Николаевич. Волосы его растрепались, торчали ключья — от виска вверх по черепу тянулся зубчатый шрам.

Врач встал на колени. Приложил трубку к сердцу, еще раз. Поднялся.

— Сердцебиения не слышу. . .

Он говорил так, будто бы вся его задача состояла в регистрации смерти.

— Сделайте что-нибудь! — крикнула я, на что-то еще надеясь.

Он поглядел на меня странным взглядом, попросил спички. Чиркнул. Поднес к зрачкам и. опять покачал головой.

— Поздно.

— Можно попробовать, — робко сказал фельдшер, ему хотелось меня успокоить.

Врач поглядел на него, пожал плечами.

— Ладно. Сделай адреналин в сердце.

Я вышла на кухню. Мысли исчезли. В голове пустота. Умер, говорила я себе, но что это такое — не ощущала.

Как же так? Сидели вместе. Пили чай. Говорили. Потом я сказала о портрете, потом. . .

Из комнаты доносились голоса. Я не вслушивалась.

Скрипнула дверь. Фельдшер робко позвал меня.

— Уходим, — сказал он. — Закройте за нами.

Они стояли мрачные в коридоре, опустив глаза, разговаривать никому не хотелось.

— Завтра пойдете в поликлинику, — сказал врач. — Он, вероятно, состоял там на учете. Получите справку. Это необходимо для кладбища.

— Я передам.

— Вы не внучка?

— Соседка.

Они вздохнули.

— Тело мы перенесли на кровать, — сказал фельдшер.

— Спасибо.

Хлопнул лифт. Какой-то гуд шел из шахты, наконец голоса стихли.

Я почему-то вдруг вспомнила о Вере. Казалось, все было давным-давно, в прошлом веке.

Потом я прошла к Федору Николаевичу. Старик лежал на кровати. Под простыней вырисовывался его профиль. Рядом на стульях громоздились подушки. Слезы сами текли из глаз, чертовы слезы! Что же я скажу Владимиру Федоровичу?! Как погляжу на него?!

Стараясь не скрипеть половицами, я вернулась на кухню. Остановилась у окна. Может, я разучилась думать?

Кухонная лампочка без абажура отражалась в стекле, даже волосок ее был хорошо виден.

Свет расплзался кругами, рябил, образовывал многоцветные кольца.

Я смежила веки. Круги задрожали, Зыбко колыхнулся воздух. И я увидела Федора Николаевича, бредущего по мертвому городу. Темно. Он идет согнувшись, падает, ползет на коленях, засыпает и остывает в сугробе. Я будто бы услышала его голос: «В сугроб, в сугроб!..»

Свет трепещет — кажется, я плачу. Рушится стена, летят камни.

И тут я почувствовала, что на меня пристально смотрят. Обернулась. Напротив, прислонившись к дверному косяку, стоял Владимир Федорович. Его берет и праздничный бант выглядели теперь нелепо.

— Люба! — произнес он таким шепотом, что мороз пробежал у меня по коже. — Как это случилось?!

Он больше ничего не мог сказать.

— Я пыталась помочь... Я вызвала «скорую», когда приступ... Все так быстро...

Он выпрямился и, стянув берет, снова пошел в комнаты. Я — за ним. Не дошла. Больше, пожалуй, я здесь была не нужна...

Фонари на набережной погасли. Мне казалось, что темнота — это моя защита.

А может, я тот человек, у которого детство кончилось сразу — раньше я об этом где-то читала.

И вот что еще мне пришло в голову: взрослость — это не возраст. Сколько немолодых людей так ничего и не поняли в

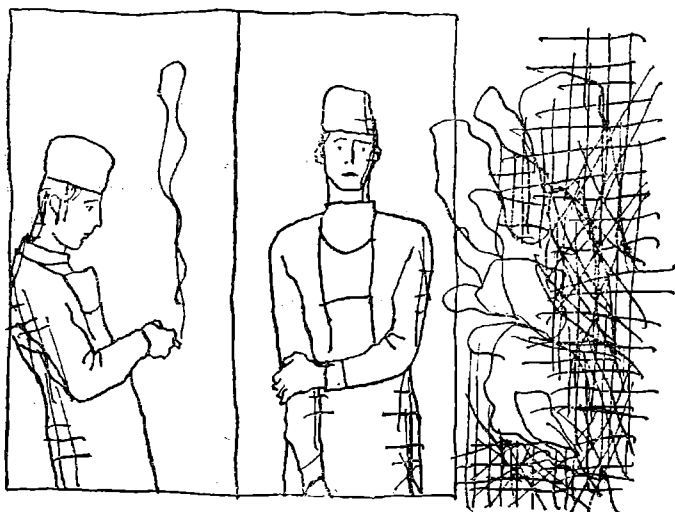
жизни. Они считают, что годы — вроде ступеней и путь по ним, как по легкой лестнице..,

Я глядела на наш дом: окна, окна. А за ними какие разные люди! Кораблевы давно спали, их сон ничто не могло омрачить. Спала Вера, спали ее отец и мать..,

Только окна Владимира Федоровича светились: я видела, как он все ходил из комнаты в комнату.

За моей спиной текла Нева, легко, без всплесков. Домой идти не хотелось, да и не могла я идти. Казалось, что Владимир Федорович обязательно выйдет на набережную и увидит меня.

До рассвета было еще далеко...



ЧАСТЬ I

Глава первая

Рабочая смена уже прошла. На улице никого не было. Я не спеша шел на работу. Какая-то вялость во всем теле мешала идти быстрее. Такое бывает, когда переспишь и не сделаешь зарядку, да еще не успеешь выпить стакан чаю. Наверное, это и значит «встать с левой ноги». У самой больницы без трех минут девять я умудрился перекинуться новостями с дворником Кукушкиным, для меня — дядей Фадеем. С первого дня мы испытывали друг к другу явное тяготение и были на «ты».

— Что нового в Доминиканской Республике? — спросил я.

Дядя Фадей глядел хмуро: видно, с утра что-то случилось.

— Поторапливайся, — сказал он. — Все уже прошло. И главный не в духу.

— Ну?

— Вот те и «ну». Выговор дал. Плохо, говорит, подметаю. А чего лучше? Все одно — сыплет.

— Так и сказал? — нарочно переспросил я, протягивая сигареты.

Фадей насаживал на палку метлу.

— Проявил гибкость? — домогался я.

Дворник что-то прошевелил губами, но сигарету принял.

— Нет, — огорченно сказал я. — Ты не борел. Нужно отстаивать свои убеждения.

— Иди, иди, — буркнул дядя Фадей и зло шарахнул метлой по снегу. — Пошуту с Сидоровым.

— И пошучу, — сказал я, не спеша поднимаясь на крыльцо.

Дежурная сестра посмотрела на меня с явным удивлением и пожала плечами.

— Уже девять. Начинается пятиминутка.

— Куда спешить? Каждый раз одно и то же.

Я надел халат и спокойно побрел в кабинет к главному. Мимо, дернув меня за рукав, пролетел, будто на пожар, заведующий приемным покоем, человек боязливый и осторожный.

— Уже девять!

— Как быстро бежит время. . .

Он замер на месте.

— Вы с ума сошли!

Пробежала Марго, моя приятельница, схватила меня под руку и стала тянуть к кабинету.

— Скорее, скорее, опаздываем.

— Во сколько отходит поезд?

— Брось дурачиться! Сейчас Сидоров тебе все выскажет.

На ее лице появились красные пятна; они разливались, и лицо Марго стало походить на цветную-географическую карту.

— Беги, беги, — сказал я.

— Пойдем вместе, иначе тебе так влетит, что не возрадуешься.

Она нервничала, и я добежал. Нельзя же быть хамом и пренебрегать солидарностью товарища.

В кабинете главного было полно народу. Марго вошла за мной, немного сутулясь и бормоча извинения, точно ее в чем-то уже обвинили. Это мне совсем непонятно. Когда я смотрю на честных людей, которые, сгибаясь, входят в кабинет своего начальства, то испытываю чувство неловкости, словно подглядываю, чего не должен был видеть.

Петр Матвеевич Сидоров сидел за письменным столом и писал. Он даже не поднял головы, и я с некоторым огорчением подумал, что моя независимость осталась незамеченной.

С Сидоровым у нас сложные отношения. Мы испытываем друг к другу что-то вроде невысказанного сострадания. Кроме того, он постоянно отмечает мои недостатки:

— Видите ли, Георгий Семенович, неплохие руки и голова — это еще не все, даже для хирурга. Я значительно больше ценю в человеке собранность. Взгляните на себя: где колпак?

Колпак я действительно не ношу. В конце концов может человек позволить себе маленькую слабость? Другое дело — в операционной.

— Вы молоды, — говорит Сидоров, и мне становится неловко за свои двадцать шесть лет.

— Посмотрите, как я. . .

И я охотно смотрю на Сидорова. Мне приятно согласиться. Для себя я давно решил, что главный является примером самодисциплины. По нему можно проверять часы. В восемь он появляется в больнице и к пятиминутке успевает пройтись по отделениям. Кстати, в нашем, хирургическом, он бывает реже. Во-первых, у нас, как правило, неплохой порядок. Заведующий Александр Сергеевич Борисов («Дед» — называю я его про себя) тоже умеет быть строгим. А во-вторых. . . Здесь уже начинается полоса моего сострадания к Сидорову. Когда-то он работал в этом же отделении. И, надо сказать, ничего не достиг. Это трудно объяснить, но бывает, когда все делаешь как нужно, оперируешь, как написано в учебнике, приходишь на работу за пятнадцать минут, а операция тянется в три раза дольше, а рана не заживает первичным натяжением, и происходит еще многое, в чем хорошо понимают толк нянечки, когда советуют больному идти «к этому врачу, а не к этому».

Наша операционная сестра Мария Михайловна рассказывала, что лучшее качество Сидорова — решительность — было тогда его худшей чертой. Он слишком мало сомневался, когда ставил диагноз, а врач обязан чуть-чуть не доверять себе. В нем чего-то не хватало. . . Мягкости, тонкости. И люди из-за этого «чуть-чуть» рвались от него к Деду, фигурально говоря, бежали с операционного стола.

Нашел себя Сидоров позже, в администрации. И все же, мне казалось, осталась в его душе обида на людей, не оценивших в нем лечащего врача. Поэтому и теперь любил он как бы вскользь поговорить о своей административной хватке, обязательной и для лечебника. «Что бы вы делали, — иногда позволял себе сказать Сидоров, — если бы и я был такой же нерешительный человек?»

Сейчас по обе стороны от главного стояли бухгалтер и завхоз. И что-то одновременно говорили. Казалось, они никак не могли закончить большой и принципиальный спор.

Неожиданно Сидоров бросил карандаш и спросил, еи к кому не обращаясь:

— Всё?

— Вы уж разберитесь как-нибудь, Петр Матвеевич,— сказала завхоз.

— Я не последняя спица в колеснице! — крикнула бухгалтер.

— В колесе,— поправил Петр Матвеевич.— Сестры могут докладывать.

Все зашевелились и тут же затихли.

— Небольшая увертюра перед рабочим днем,— шепнул я Марго.

Она подняла на меня глаза, потом посмотрела на Сидорова и покраснела.

— Мы не мешаем вам, доктор Дашкевич? — спросил Сидоров. — А то я попрошу обождать.

— Нет, пусть докладывают,— сказал я как можно безразличнее.

Пятиминутка явно затягивалась. Сестры обстоятельно докладывали, что произошло в больнице за воскресенье. Петр Матвеевич что-то записывал на бумажке, так как любил удивлять больных своей осведомленностью.

На тумбочке, рядом с Петром Матвеевичем, дважды чихнул электрический чайник. Из носика выплеснулись первые капли и с шипением испарились. Крышка стала покачиваться и позванивать, выпуская струйку пара.

— Сигнал освобождения подан,— шепнул я Марго.

Сидоров вынул из своего стола стакан, положил ломтик лимона и стал наливать чай.

— Ну, пойдемте работать,— доброжелательно сказал он.— По хирургии заступает доктор Дашкевич?

— Да. Борисов ушел домой.

— Георгий Семенович, нужно перелить кровь Глебову.

— Начальнику автобазы? — нарочито громко спросил я. (Все знали, что Сидоров в нем очень заинтересован, но это не значит, что я должен лечить фурункулез по-особому.)

— У нас есть третья группа крови? — спросил Петр Матвеевич у операционной сестры, не обращая внимания на мою интонацию.

— Нет.

— Тогда перелейте универсальную. Я обещал ускорить лечение. Глебов занятой человек.

Всем было ясно: сопротивление бессмысленно. Сидоров сегодня сделал больше обычного. Он объяснил свою позицию и теперь решения не изменит.

— У нас одна ампула универсальной,— пытался сопротивляться я,— и нет нужды тратить ее на несерьезного больного.

Я увидел, как покраснели уши у Петра Матвеевича — верный признак раздражения. Эту особенность открыла Марго и очень гордилась, что может предсказывать на пятиминутках бурю.

— Несерьезных больных не бывает, доктор Дашкевич. Бывают только несерьезные люди! — Это уже в мой огород. — Если здоровье человека требует переливания крови — это нужно сделать независимо от того, хочется врачу или нет.

Завхоз понимающе кивнула Сидорову, затем иронически скосила глаза в мою сторону.

— Я только предупредил, что больница останется без запаса.

— Спасибо,— сдержанно поблагодарил Сидоров и повернулся к завхозу: — Сейчас же свяжитесь с областью. Езжайте сами.

Видимо, эта поездка не входила в ее планы.

— Я очень занята! — крикнула она. — Нужно кончить с бухгалтером!

— Нам нечего кончать! — крикнула бухгалтер.

— Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнить мое указание? — Петр Матвеевич прищурил левый глаз и теперь буравил завхоза своим суровым зрачком.

— Нет, не отказываюсь,— затараторила завхоз. — Обязательно выполню.

— Вопросы есть? — спросил Сидоров у присутствующих, больше не обращая внимания ни на завхоза, ни на меня.

— Есть,— сказал я. — А почему нельзя перелить кровь завтра?

Сидоров поднялся, давая понять, что пятиминутка кончилась и вопросы, которых он ждет, никакого отношения к подобным глупостям не имеют.

...В коридоре я стрельнул у Марго папиросу и закурил.

— Что ты с ним споришь? — сказала она и потянула меня от дверей. — Это же бесполезно.

Я махнул рукой.

— Действительно, что, Дашкевичу больше всех нужно? Ругаться с Сидоровым, нервничать... В конце концов совершенно безразлично, кому переливать. Выполняй, и точка.

Мне даже стало весело, что я из-за каких-то чирьев буду переливать последнюю ампулу крови. Как говорится, плевать на все.

И я взял для Глебова последнюю ампулу крови. Для этих чирьев было достаточно ста граммов, но в ампуле, как назло, было двести пятьдесят. Пришлось перелить все. Не пропадать же добру! Оставалось утешить себя тем, что косвенно я все-таки приношу пользу. От Глебова зависел своевременный ремонт больничного транспорта.

Я стоял злой около системы для переливания крови и «ел» себя. Начало разговора с Сидоровым получилось эффектное. Я покривлялся перед удивленной публикой, разыграл принципиального борца-молодца, высказал главному веский довод, а потом бодро пошел выполнять его указания.

Я отворачиваюсь от Глебова, не могу смотреть, как по системе темно-вишневой струйкой течет кровь. Это переливается моя совесть. Предательство тоже, наверно, начинается с внутренних компромиссов. Трусость тоже. Подхалимство тоже. Пороки тянутся друг за другом, как семья клопов во время ночного похода.

Сидоров довольно хихикает: транспорт для больницы будет обеспечен. Глебов тоже хихикает: вы неплохой исполнитель. Все медицинские сестры тоже хихикают. Все врачи хихикают, все санитарки хихикают... только как-то иначе. Я построил своему отражению в зеркале над умывальником презрительную гримасу. Глебов заметил это и начал беспокойно вертеть головой.

— Я плохо выгляжу?

— Отлично. Это я сегодня отвратительно выгляжу.

— Вы просто мальчик. Сколько лет вы работаете врачом?

— Три года.

— Немного, но первые шаги очень важны. Петр Матвеевич любого научит ходить правильно.

— Даже меня?

— Не скромничайте.

— Что вы, это единственный порок, которого у меня нет.

Глебову разговор нравится. Он смеется. Если бы он не лежал на столе, я бы сказал ему пару теплых фраз.

— Какие же у вас пороки?

Я слежу за системой. На дне ампулы осталось совсем немного крови: нужно наложить зажим и вынуть иглу. Универсальной больше нет. Есть только приказ Сидорова: достать кровь.

— Разные пороки, — не сразу говорю я.

— Например, например? — пристает Глебов, думая, что я шушу.

— Например? — переспрашиваю его. — Например, я подхалим.

Больные поступали весь день, и до шести вечера нельзя было вырваться из больницы. Потом стало легче. Я спустился в приемный покой и предупредил сестру, что ухожу. Теперь как повезет: могут вызвать, а могут и не вызывать, нужно только сказать, куда уходишь.

— Как волк хочу есть, — пожаловался я тете Оне, нашей нянечке.

— Ну и пошел бы поел, а то ведь и ночью и вечером позвать могут. Сутки-то долгие.

— Как волк хочу есть, — повторил я, — а впереди ночь.

На улице было по-прежнему холодно. Я постоял на крыльце, обдумывая маршрут, и направился в столовую. Мое место было у окна. Мне всегда казалось, что когда смотришь в окно, а мимо идут люди, то фантазия и мысли разворачиваются совсем иначе, чем если ты сам идешь по дороге. Окно — это удивительная возможность посмотреть на жизнь со стороны.

Единственная в поселке неоновая реклама вспыхнула над продуктовым магазином. Свет в трубке дрожал и бился, трепетал, замирал на минуту, готовый неожиданно погибнуть или ожить. Из сумерек свет вырвал женский контур. Это была незнакомая девушка. Мне захотелось открыть форточку и ближе рассмотреть лицо, но я не пошевелился.

Интересно, что разные по характеру люди могут предаваться одному и тому же делу, кажущемуся глупым и пустым, самозабвенно. Мой самый близкий друг Стасик Корнев, человек собранный и цельный, может часами сидеть у окна, наблюдая людей. Два года назад мы с ним как-то говорили об этом. Оказывается, он так и работает, думает о своей гистохимии, а я сажусь к окну, когда устаю от работы. Он смотрит в окно и решает свои задачи, а я просто смотрю на мир и поражаюсь его изменчивости. Мы разные люди. Он человек большой цели и страсти. А я? Я просто человек. После распределения, когда мы болтались по городу, я честно сказал ему, что моя голова напоминает миску винегрета, и если туда сунуть вилку, то я далеко не уверен, что на нее не сядет вареная морковка. Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу.

— Брось кривляться.

— Что мне кривляться! — разозлился я. — Нам по двадцать три, но это не значит, что мы одинаковые. Ты уже четыре года занимаешься наукой, даже что-то придумал, а я не могу для себя решить, что самое важное.

— Пижонишь.

— Если бы я знал что-нибудь умнее, зачем бы я распределялся в эту дыру? Я бы нацепил пенсне и пошел в лабораторию толкать науку.

— Тебя нельзя запереть в лабораторию даже на два часа.

— Почему?

— В науке нужно иметь терпение. Нужно долго ждать результатов. А ты хочешь получать сразу, а не в кредит.

Он иронизировал надо мной, так как чувствовал, что я чего-то не договариваю. Я действительно ненавижу это топтание на месте, которое называется разработкой проблем, это бесцельное растрачивание драгоценного времени, разговоры о диссертации, будто это единственный критерий, который делает человека уважаемым. Я знал людей, которые шли в науку потому, что хотели пожить потеплее. Я не договаривал тогда только то, что верил ему, Стаське, верил, что если через три года аспирантуры он увидит, что ничего не нашел нового, то не будет тратить тонну бумаги и обобщать галиматью.

Я расплатился за обед и побрел к дому. Если бы я писал Стаське письма так же часто, как вспоминаю его, то получал бы ответы пачками.

В комнате был беспорядок. На столе со вчерашнего дня стояли немые тарелки. Я сдвинул все на край, разделся, взял книжку и лег.

Передо мной кружился электрический плафон, забинтованная рука больного, белый халат тети Они, белые биксы. Наконец что-то упало на пол и разбилось на мелкие, звенящие осколки. Я вскочил с кровати и бросился к двери, ничего не разбирая. На пороге стоял Мишка, сын тети Они.

— За вами, — сказал он, — из больницы. Машина.

— А что там?

— Почему я знаю?

— Скоро двенадцать, — сказал я, — черт знает куда галстук сунул.

Шофер гнал машину и все время гудел, хотя на улице никого не было. Я думал: «Сколько бессонных ночей может выдержать человек?» Машина тяжело развернулась и въехала во двор.

— Приехали? — сказала тетя Оня.

— Приехали! — недовольно сказал я.

— Парнишку из Сенежа привезли, на пилораме руку прошило часов шесть назад. Совсем уже мертвый.

— Как мертвый? — испугался я.

— Чуть живой, — поправилась тетя Оня.

Парнишка, белый как простыня, лежал на операционном столе. Он молча смотрел то на меня, то на Марию Михайловну и, казалось, ждал, когда мы ему поможем.

«Губы стали совсем бесцветными, их почти не различить. Значит, кровопотеря была очень большая...» — подумал я.

— Ну, герой, как себя чувствуем? — Я говорил подчеркнuto бодро, точно не замечал его состояния.

— Хорошо, — еле выговорил он.

— Хорошо, говоришь? — переспросил я, рассматривая рану и холодея от ужаса. — Очень хорошо, что хорошо...

Мальчик застал: мышцы руки были размозжены, и прикосновение вызывало сильную боль.

— Потерпи... Ну совсем чуточку. Еще... — просил я. — Тебя как зовут?

— Толя.

— И фамилия у тебя есть, Толя?

— Е-есть.

— Новокаин, — сказал я сестре. — Так во-от, Толя, скажи мне свою фамилию.

— Ляпин, — с трудом выговорил мальчик.

— Ляпин? — переспросил я. — Ну и фамилию ты раздобыл, Ляпин! Наверно, Ляпой в школе дразнили?

— Ляпой, — попытался улыбнуться мальчик, но на лице появилась страдальческая гримаса.

— А меня Степой дразнили. Я до седьмого класса выше всех был. К фамилии-то у меня не придерешься... Знаешь мою фамилию?

— Знаю.

— Ну вот и познакомились. А ты молодец. Терпеливый. Это по-мужски. Только вот невнимательный ты, Ляпа, как это с рукой, а?

— Всякое случается, — сказала Мария Михайловна.

— Знаешь, как говорят: в первый раз прощается, второй раз воспрещается, а на третий раз не пропустим вас.

Мальчик ничего не ответил. Он закрыл глаза и дышал очень поверхностно, даже казалось, что дыхания вообще нет.

— Определите группу крови. — Я повернулся к Марии Михайловне. — Половина дел сделана, Ляпа. Нерв целенький. Рука работать будет. Даже при необходимости фигу сумеешь показать.

Мария Михайловна пододвинула тарелку, покрашенную в разные цвета, с каплями крови в четырех квадратах. Я внимательно рассматривал капли.

— Третья группа, — сказал я. — Будем переливать,

— У нас нет ни третьей группы, ни универсальной,— сказала Мария Михайловна. — Завхоз привезла вторую.

— Вторую? Зачем? В больнице же была вторая?

Мария Михайловна пожала плечами.

Я стоял около мальчика и, по-моему, ни о чем не думал. Потом какие-то мысли возникли: «Видишь, Ляпа, у нас для тебя нет крови. И ничего не поделаешь. На нет и суда нет. А без крови твои дела не так уж хороши. Даже плохи, Ляпа. Кто в этом больше виноват, я или Сидоров, для тебя значення не имеет. Это уже чисто теоретическая проблема. По крайней мере я оказался не на высоте. . .»

Внезапно у меня появилось неудержимое желание схватить что-нибудь с операционного стола и садануть об пол. Потом я подумал, что нужно бежать к телефону и звонить главному. Звонить, звонить, звонить. Пока он не встанет со своей теплой постели, а потом еще раз звонить ночью, чтобы у него начался кашель, насморк, озноб. Это он заставил перелить последнюю кровь Глебову.

Но ведь я мог и не согласиться. Разве мне грозило что-нибудь?

У меня стучало в висках, потому что я не мог простить себе этого соглашательства, этого подхалимства, на которое шел сознательно утром, хотя кривлялся перед другими своей смелостью.

— Что же делать? — спросила Мария Михайловна.

Я подумал, что пошлю ее к черту, потому что задавать вопросы умеют все, а решать должен Дашкевич.

— Ничего,— спокойно сказал я.— Пока нужно вызвать мать.

— Бабушку,— с трудом сказал мальчик.

— Можно бабушку,— сказал я.— Тетя Оня, приведите бабушку.

Мария Михайловна смотрела на меня испуганно, ждала, когда я скажу главное. Но я молчал.

— У меня вторая группа,— как бы оправдываясь, сказала она.

Я посмотрел на парнишку. Он казался десятилетним, хотя в истории болезни было записано шестнадцать. Я не знал его. В конце концов он мне совершенно чужой, как чужие все эти люди, которые ходят по улице.

Я посмотрел на Марию Михайловну, на тетю Оню, маленькую, круглую и белую, как одуванчик, и почувствовал раздражение. Тетя Оня была испугана, и я со злорадством подумал, что у нее, наверное, и есть третья группа.

— А много крови нужно? — нерешительно спросила она.

— Граммов пятьсот.

— А всего сколько в человеке?

— Пять литров.

— Много, — с каким-то облегчением вздохнула тетя Оня.

Я взглянул вверх и вдруг в зеркальных гранях операционного плафона увидел сузившиеся, как две карандашные точки, свои зрачки.

— Что вы, тетя Оня, — затараторил я, — посмотрите, какой я здоровый. Толще вас вдвое и выше втрое. У меня универсальная группа крови.

... Толстая игла вошла в мою вену. Меня немного мутило. Больше я ничего не чувствовал. Захотелось спать. Перед глазами по зыбучему потолку поплыл операционный плафон. По лбу провели салфеткой, видимо, вытирали пот.

— Делаю кофеин, — сказали очень далеко.

Потом все стало возвращаться: тетя Оня, плафон, потолок, Мария Михайловна.

— Пить, — сказал я.

Тетя Оня принесла воду.

— Чайку лучше поставьте, — сказала Мария Михайловна.

— А чай-то с заваркой у главного заперт, — сказала тетя Оня. — И так нагреем, а варенье у меня есть.

Кружилась голова. Мне дали стул. Парень глубоко дышал. Его лицо оставалось бледным, но губы порозовели. Пульс был хороший. Это тоже было хорошо — это был признак уходящей опасности.

Позже мы сидели в ординаторской и пили крутой кипяток с тети Ониним малиновым вареньем.

— Пей, Гошенька, — говорила она, пододвигая банку. — Я за тебя перед матерью в ответе, мне поручено.

— Ничего себе ребеночка вам на воспитание дали, тетя Оня! — басил я и смеялся.

Сегодня можно было не спешить на работу. Я проснулся около девяти и час провалялся в кровати с ощущением внутреннего благодушия и всепрощения. Я даже не очень сурово обошелся с Сидоровым: все-таки он уже старик, — и я предложил ему выйти на пенсию. Я был с ним не груб, только принципиален.

«Петр Матвеевич, — мысленно говорил я ему, лежа в кровати. — Страна поручила мне освободить вас от работы, потому что вы оторвались от коллектива, не стали придерживать принципов коллегиальности в руководстве. Вы диктатор.

Вы,— я вздохнул,— тормоз нашему движению вперед. Нет, нет, не ссылайтесь на свои прошлые заслуги. Ведь все хорошее в прошлом, а этого сейчас мало. За вчерашний поступок мы могли бы вас судить судом чести, но мы все посоветались и решили не трогать вас. Главное — мальчик жив».

Я мысленно выдал ему пенсионную книжку и стал ждать, когда он выйдет из кабинета.

Потом я честно и прямо рассказал, как все было. Поднялся Борисов и предложил ограничиться для меня предупреждением, потому что я еще только начинаю жить и не все хорошо понимаю. Так и решили.

Пора было вставать. Я сделал зарядку, аккуратно отработывая все движения, хотя чувствовал какую-то слабость. В девять с дежурства пришла тетя Она, согрела самовар и легла. Теперь мы с Мишкой наслаждались чаем, отдувались и потягивали его из блюда.

— Пора в больницу,— сказал я.

— А много тяжелых больных? — полюбопытствовал Мишка.

— Да есть.

Меня прямо тянуло за язык рассказать всю ночную историю, но я удержался.

На улице прошел снег и густо припушил дорогу и деревянные мостки.

Люблю идти по нетронутому снегу. Если есть время, я иду аккуратно и медленно, высоко поднимая ноги, чтобы не внести беспорядок в эту красоту... Я продавливаю снег подошвой, задерживаюсь на секунду при каждом шаге. Так, наверное, нотариус ставит на важный документ печать. Я тоже ставлю печать на зимнюю дорогу. Я даже останавливаюсь и смотрю, хорошо ли поставлена печать, и если мне не нравится след, то снова опускаю ногу в готовую лунку и стою так, пока не появится вафля от подошв.

Я оставил свой след в Валунце.

Я оставляю свой след в Валунце...

В конце концов почему мы стесняемся хороших дел? Я думал о парнишке с пилорамы. Как он? Мне нужно было сейчас, сию минуту увидеть его. Я вбежал в приемный покой, торопливо сбросил пальто и надел халат.

— Как мальчик?

— Какой? — переспросила сестра.

— Который с пилорамы... ночью.

— Не знаю,— сказала сестра,— я недавно заступила на дежурство. Да, вас ждет Сидоров.

— Подождет,— сказал я и побежал в отделение.

Я остановился у палаты, чтобы отдышаться, и наконец осторожно надавил на дверь. У самого окна лежал мой мальчик. Я подошел к постели и сел. Мне было приятно думать, что в этом парне живет и работает моя кровь.

— Ну, как дела, Толя? — спросил я.

— Спасибо,— улыбнулся он.— Хорошо.

— Вчера ты тоже говорил «хорошо».

— Вчера было хуже,— сказал он.

— Мы вам так благодарны, доктор...

Я повернулся: сзади стояла пожилая заплаканная женщина.

— Это моя бабушка,— сказал Толя.

— Что же вы плачете? — растерялся я. — Все неприятности позади.

— От этого и плачу,— сказала бабушка.

— От этого, пожалуй, можно,— засмеялся я и пошел в кабинет Сидорова. Мне хотелось увидеть его в минуту поражения и насладиться победой. Разве вчера он не был предупрежден о возможных неприятностях?

Петр Матвеевич разговаривал с бухгалтером. Казалось, что они не расставались,— все было на прежних местах. Сидоров поднял голову, и на его губах стала нарастать улыбка. Она захватывала нос, щеки, лоб, но никак не справлялась с глазами. Петр Матвеевич встал и, вытянув вперед обе руки, шагнул ко мне.

— Поздравляю! — сказал он. — Так поступают советские люди.

Мне хотелось сказать, что так, как он, советские люди не поступают, но я струсил.

«Стаська бы сказал»,— мелькнуло у меня.

Я с интересом посмотрел на дутый, хорошо знакомый блестящий чайник. Он был холоден и полон металлического величия, возможно, потому, что на его стенках отражался растянутый по вертикали профиль главного врача.

— Единственное маленькое замечание вам... — Петр Матвеевич говорил дружелюбно, по-отечески. — Историю болезни нужно писать подробнее.

Глава вторая

Секретарша заведующего роно на секунду оторвала взгляд от пишущей машинки, кивнула учительнице.

— Меня вызывал Шутов. Он у себя?

— У себя. Подождите.

Мила остановилась у зеркала, поправила локон. «Нужно бы попудриться», — подумала она, но ничего не сделала.

— Зайдите, — пригласила секретарша.

Мила приоткрыла дверь.

— Можно?

— Конечно, — Шутов поднялся и рукой показал на кресло.

Мила не была у заведующего с прошлого года, да и тогда приходила не одна, а с учителями. Шутов был совсем молод, высок и худ. Говорил резко, отчего казался несколько заносчивым. Заведующим его назначили года два назад, сразу же после института, не дав и месяца поучительствовать, и это, возможно, сказалось на его манере руководить.

— Ну, рассказывайте, — сказал Шутов, усаживаясь удобнее.

Мила торопливо перебирала в уме события недели. В школе, кажется, ничего не случилось.

— О чем?

— О вчерашнем...

Она покраснела.

— Я думал, вы в курсе... Классный руководитель должен знать обо всем по крайней мере на полчаса раньше заведующего роно.

Он поднял крышку «шестидневки» и недовольно спросил:

— Прохоров и Зайцев, есть такие?

Она чуть не сказала: «Это мои лучшие ученики».

— Есть.

— Так вот... эти ребята устроили «темную» вашему Глебову.

— Понимаете, — разволновалась Мила, — на пионерском сборе Глебов предложил помочь двум старикам перепилить дрова, а сам не явился.

Теперь ей все было ясно. Она видела, что ребята злы на Глебова. Но кто мог предполагать, что они...

Шутов недовольно посмотрел на нее.

— Разберитесь и доложите. Я обещал принять меры.

— Хорошо, — сказала Мила.

Она осторожно прикрыла дверь, попрощалась с секретаршей и быстро вышла на улицу.

О ребятах она думала с досадой. И вместе с тем в ней нарастало недовольство собой. «Конечно, вся причина во мне. Я плохой педагог. Анатолий прав».

Она поменялась с учительницей истории уроками, отыскала свободный класс.

В окно был виден пустынный школьный двор и отрезок улицы. Домики с палисадниками удивительно напоминали

окраину Ярославля. Последнее время она часто писала матери и все вспоминала свой дом.

Трудно было понять, откуда эта тоска, ведь и здесь неплохо.

Она опять вспомнила о своих мальчишках, потом о Глеbove. Какая все же сложная учительская судьба. Никаких симпатий и антипатий. Избили — значит, должны отвечать. А отчего? Почему это случилось? Кто такой Глебов? Можно ли было его наказывать иначе — это уже значения не имеет.

Она еще больше разозлилась на себя. Что можно требовать от класса, если у самой представление о дисциплине самое приблизительное?

Тихо скрипнула дверь. Мила повернулась. Перед ней стоял Прохоров.

— Ну, рассказывай, — вздохнула она, не замечая, что подражает Шутову.

— О чем?

— Почему ты... — захотелось сказать «избил», но она словно запнулась, — так поступил с Глебовым?

— Вы же знаете.

— Значит, ты считаешь, что был прав?

Мальчик смотрел в глаза и словно бы спрашивал: «А раз вы считаете иначе?»

Она выдержала его взгляд, но заговорила еще более раздраженно:

— Кто с тобой был еще?

Он пожал плечами.

— Глупое упрямство, Миша.

— Вы же сами возмутились...

Она чуть было не крикнула: «Как ты смеешь? Я не разрешаю разговаривать со мной так!» Но сдержала себя.

— И это говорит пионер?! На тебе же галстук.

— На Глеbove тоже галстук.

— Сними! — крикнула она.

Прохоров положил галстук на стол.

Мила вдруг представила, как через несколько минут он «в лицах» изобразит перед классом эту сцену, и ужаснулась.

Хлопнула дверь. Мила прошла по классу, устало села за стол. Может, нужно иначе? Рядом кто-то тревожно вздохнул. В двух шагах от нее без кровинки в лице стоял Зайцев. Кончик пионерского галстука торчал у него из кармана.

— Рассказывай, — почти безразлично сказала Мила.

— Кто — я? — переспросил Зайцев и удивленно уставился на учительницу.

— Ты.

— О чем?

— О Глебове.

— А чего о нем говорить? Барахло — и все.

— Значит, и ты бил?

— Кто — я? Его и бить-то противно. Дать бы разок, и достаточно.

— Били ты и Прохоров?

— Кто — мы?

— Вы.

— Не..

— Ну что ж...

Мальчик торопливо повернулся и чуть ли не бегом бросился к двери.

— Стой!

Он так и замер.

— Давай галстук.

— Кто?

— Ты!.. Ты!.. — крикнула она.

Зайцев сунул руку в карман.

«Права ли я? — тревожно думала Мила. И сразу же успокоилась: — Конечно, права. Ребята должны знать мое отношение к хулиганству...»

Мила подождала, когда встанут ребята. Сначала она не могла понять, что же изменилось в классе. Кажется, все было на месте.

— Начнем урок, — сказала она. — Прохоров.

— Я не выучил.

— Двойка. Зайцев?

— Не выучил.

— Двойка.

Она решила вызывать подряд, но передумала. Это бойкот. Кого же вызвать?

С первой парты на нее смотрела Лыткина, добрая, всегда улыбающаяся девочка.

— Лыткина.

Девочка поднялась и со страхом взглянула на учительницу.

— Иди отвечать.

Девочка беспомощно оглянулась на класс.

— Я не выучила.

— Двойка.

По рядам прошел шепоток. «Может, поговорить по-хорошему? — подумала она. — Или это подтвердит их победу?»

В третьем ряду кто-то поднял руку. Глебов! Ей не хотелось его вызывать, но выхода не было.

Она кивала, совершенно его не слушая. Да и какая разница, о чем он рассказывает. Что-то изменилось в классе. Но что? Она снова посмотрела на Глебова. Вот в чем дело! Пионерский галстук был только на нем. Ну что ж... Пускай разбирается директор.

Она оборвала ответ на середине. Ставить отметку не хотелось, но мальчик не отходил от стола.

Мила заколебалась и поставила пять.

— Начнем новое,— сказала она.— Приготовьтесь.

Глебов громко хлопнул крышкой и выбросил на парту портфель. Раздался смех.

— Выйди из класса,— сказала Мила кому-то справа.

Нервы были так напряжены, что она боялась даже посмотреть, кто же проходит сзади.

— Ну?

Еще открылось несколько парт. «Я все же с ними справлюсь»,— подумала она, не испытывая никакого удовлетворения.

— Пока все не достанут тетрадки, мы не начнем.

Еще кто-то неохотно закопошился в парте.

— Пока все не достанут... я буду ждать.

Она поглядела на часы. До конца урока оставалась целая вечность: больше двадцати минут.

В окнах не было света. Мила подумала с неожиданным облегчением, что Анатолия нет дома, достала ключ и открыла дверь.

— Пришла?

Она вздрогнула. Может, уйти? Сказать: оставила тетрадки или что-то еще...

Она постояла у печки, согреваясь с мороза, потом стала раздеваться. От себя не уйдешь. Какая разница?

— Тебя вызывал Шутов?

— Откуда ты знаешь?

— У нас в больнице Глебов-старший.

— А что с ним?

— Чирьи,— весело сказал Анатолий.— Его лечат, как умирающего. Сидоров — завидный стратег.

Он обнял ее и прикоснулся губами к щеке. Она отстранила его руки.

— Ледышка,— сказал он.— Северный полюс-20. Женщина,

которая потеряла нежность. По-моему, отличное название для фильма.

Он засмеялся своей шутке, а потом спросил:

— А что, здорово отвалузили парня?

— За дело.

— Неужели ты оправдываешь их?

— У ребят свои законы,— сказала она.

— У взрослых тоже свои законы,— Анатолий говорил добродушно, даже весело.— Ты-то должна действовать по законам взрослых.

— Я так и действовала.

— «Так и действовала»,— он передразнил ее и опять засмеялся.

У нее вдруг возникло странное ощущение, что все эти годы не она преподавала в школе, а он, ее муж. Все проверялось одним: что скажет он? Как отнесется? Не покажется ли это смешным Анатолию?

Неужели у нее не осталось своего мнения и она ничего не может решить сама?

— Будешь обедать? — спросил он.

— Пожалуй.

Он поставил на газ кастрюлю и вернулся в комнату.

— Сейчас разогреется.

«Что я наделала? Что наделала?» — думала Мила. А вслух сказала:

— Собираюсь сходить к родителям этих ребят.— Сказала так, точно извинялась перед ним.

— Конечно,— согласился Анатолий.— Зачинщики должны попросить прощения.

— У меня?

— У Глебова. Ты-то должна быть выше их извинений.

Она не ответила. Может, он и прав. Она всегда поддается чувству. Действительно, какое имеет значение, как она относится к Прохорову и Зайцеву. Они провинились — и должны понести наказание.

Анатолий расстелил на столе скатерть, расставил тарелки и пошел на кухню.

— Все еще сомневаешься? — спросил он.

— Нет... — торопливо сказала Мила.

Он погрозил пальцем.

— Знаешь, что сказал краб своей подруге медузе?

— Что?

— «Я тебя насквозь вижу, дорогая».

Я лежал на кровати, заложив руки за голову, и смотрел в одну точку. Это было приятное ощущение отдыха, которое наступает после тяжелой работы, когда мышцы немного болят и кажется, все тело оттаивает.

За стеной разговаривала с Мишкой тетя Оня. Случилось так, что в первые дни по приезде я временно поселился у нее, да так и остался.

У тети Они мне хорошо. Она меньше всего считает себя хозяйкой; а меня — квартирантом. У нас что-то вроде родственных отношений: мать и двое сыновей. Если я ухожу из дому, она спрашивает: куда и на сколько? В обещанное время я тороплюсь домой, иначе она будет нервничать. Несколько раз я приходил позже и всегда видел тетю Оню в кухне. Она не спала. Вопросов не задавала, не спрашивала, где был, а с укоризной поглядывала на меня.

Над кроватью прямо на меня глядит с портрета мужчина — погибший при катастрофе муж Они, широкоскулый, лобастый, с тяжелым, сковывающим взглядом.

Вечером и утром тетя Оня заходит в мою комнату «немного прибраться» и останавливается перед портретом. «Тяжело ей одной, — невольно думаю я. — От Мишки какая помощь?»

— Чайку попьешь? — спрашивает через стенку тетя Оня. Голос звучит мягко, певуче. Больные из отделения всегда улыбаются, разговаривая с ней, добреют.

— Пока не хочу!

— Захочешь — скажи. Враз согрею.

— Спасибо.

В дверь позвонили. Пока я прикидывал, стоит ли вставать, по коридорчику уже пробежал Мишка.

— «Советского спорта» нет?

— Завтра будет.

Было слышно, как Мишка разворачивает газету.

— Можно, Георгий Семенович?

— Конечно.

Мишка вошел в комнату, хитро улыбаясь.

— Плясать будете?

— Давай письмо.

— Положено плясать!

Я сел на кровати и медленно потянулся. Мишка держал пухлый конверт, помахивая им около уха.

— Давай.

— Поймайте.

Я сделал страшную гримасу. Мишка отпрыгнул. У нас были добрые, можно сказать, дружеские отношения, и он этим явно гордился.

— Ты хоть скажи, от кого письмо? От мамы?

— От дамы,— сострил Мишка и бросил письмо на стол так, как бросают биты.— Два кило сочинений.

Обратного адреса не было, но я сразу узнал почерк Зойки. Двойные тетрадные листы были вырваны «с мясом».

— Потом сыграем в шахматы? — спросил Мишка.

— Думать не хочется.

— Тогда в поддавки.

— Хорошо, тащи доску. Прочитаю письмо, и сыграем.

Я подождал, пока стихнут Мишкины шаги, и принялся читать.

«Самому наглавнейшему врачу Валунецкой клиники тов. Г. С. Дашкевичу-Пироговскому. От простого врача Зойки. Последнее предупреждение!»

Такого начала еще не было. А в том, что переписка затянулась, виноват, пожалуй, я.

«Гошка! Тоска в Ленинграде, а ты молчишь! Хорошо это, по-твоему, да? Может, ты занят двадцать пять часов в сутки? Я-то раскпнула свои бабьи, естественно, куриные мозги и пришла к банальному выводу: ты гад!

Не писала тебе потому, что не моя была очередь. Понял? Я законы люблю. Твоя очередь — ты и пиши. Но вот сегодня появилась у меня внутренняя потребность поговорить с тобой — я за перо.

Вопрос пустяковый, но при всем желании без тебя его не разрешить: женишься ты на мне или нет?

Допустим, нет. Это вариант нежелательный, но выноса моего тела не будет: обещаю пережить.

Допустим, да! Ну, это другое дело! Сразу же оповещаю весь город и кожу в белой тафте или фате, бог ее знает. Всем говорю, чтобы обращались ко мне на «вы» и не иначе как «мадам Дашкевич».

Конечно, я готова терпеть еще пару месяцев, даже три, потому что «мой жених» отрабатывает по собственной глупости три года после института — он у меня принципиальный и совестливый! — но он скоро приедет, и тогда — ах, ах! — я не буду скучать.

Кстати, скука — действительно ужасная вещь, особенно для такой взбалмошной девицы.

В Питере все по-прежнему. Многие с вашего курса уже здесь. Ходят с умными лицами, носят палки, а в них диссертации. Я и для тебя работу бы присмотрела, чтобы ты быст-

ро «остепенился», что в нашей жизни не лишнее. Да и для меня это тоже имеет значение. А то я буду страдать: у всех мужья умные, а у меня — просто Дашкевич.

Это все — если «ДА!».

Кончаю.

Целую. Твоя Зойка.

Здравствуй.

Р. S. Как всегда, мои письма начинаются в конце. Носила-носила конверт в кармане — и вдруг заели меня воспоминания. Не знаю, бывает ли у тебя такое: вспомнишь — затоскуешь. Я все до деталей помню, до мелочей. . .

Комарово. Пляж. Очередь за квасом. Я. А где-то рядом — ты. Мы еще не знакомы. Какой-то пьяный облапил меня. Ты подошел, выволок его из очереди и повел к морю. Пьяный верещал и умолял не топить его. Это было здорово.

Потом мы с тобой шли по Невскому. Оказывается, ты видел меня в институте.

— Вы знаете всех девушек? — спросила я.

— Только красивых, — сказал ты.

Мне было весело. Асфальт таял под солнцем. Солнце тоже таяло, как обмылок земляничного. Я тоже таяла.

Я была счастлива. Потом мы поссорились.

А помнишь спор о музыке? Кажется, тогда ты остался у меня. Потом мы опять ссорились. . .

Мы много раз ссорились, и, сознайся, Гошка, я никогда не мирилась первая. Пережиток нового: боюсь потерять самостоятельность.

А вообще, что я пишу? Может, для тебя все это теперь эпизод?

Р. S. Не отправляла письмо два дня. Решила: как написано, так написано.

Адрес прежний.

Письма вынимаются с восьми утра до восемнадцати часов, как написано на знакомом почтовом ящике.

Я отложил письмо, невольно подумал, что слишком поздно она написала все это. Да и нужно ли?

Забывтое нахлынуло на меня. Я прошелся по комнате, еще раз разглядывая исписанные листки. Меньше двух лет назад, в июле, сразу после вручения диплома, Зойка приехала сюда. Поздним вечером мы бродили по валунецким улочкам и, казалось, говорили о пустяках.

— Знаешь, — хохотала Зойка, — в поезде один летчик сделал мне предложение. Зачем, говорит, вам сельский доктор?

— Действительно, зачем? — смеялся и я.

— Чтобы сделать его городским ученым! — кричала Зойка.

— Это научная фантастика, — возражал я. — Боюсь, что тебе будет не очень-то легко. Придется пожить здесь хотя бы два года. В меньшие сроки меня не воспитаешь.

— Хватит воспитывать! — хохотала Зойка. — Пора перевоспитывать!

Мы остановились около дома, уставшие от прогулки, а может быть, от неестественной веселости.

— Хорошо! — серьезно сказала Зойка, глубоко вдыхая пряный запах цветущих садов. — Когда-нибудь у нас будет ребенок, и мы приедем сюда на дачу. — Она посмотрела на меня. — Это когда-нибудь. Но пока, пока нужно жить в Ленинграде.

Через два дня я провожал Зойку на поезд. Она улыбалась из окна вагона, махала рукой. Я спокойно вглядывался в ее лицо, красивое и слегка неправильное.

Состав лягнул буферами. Колеса начали крутиться медленно, быстрее, еще быстрее...

Я поднял руку. Зойка нравилась мне. Но теперь, глядя на уходящий поезд, я думал об уезжающей Зойке без сожаления. Слишком разными мы были. И если она не захотела остаться в Валунце — естественно, так лучше.

Я, видимо, что-то сказал вслух, так как Мишка спросил: — О чем вы?

Я удивленно поглядел на него. Мишка засмеялся.

— Ходите, точно машина, по кругу, того и гляди задавите. Сыграем в поддавки.

— Давай.

Я подошел к доске с расставленными шашками и механически сделал первый ход. Да, когда-то мне хотелось, чтобы Зойка жила здесь. Но это плюсквамперфектум — давно прошедшее время.

— Давненько я не брал в руки шашек, — сказал Мишка и искусно поддался.

— Давненько я не брал в руки шашек, — повторил я и снял две.

— Еще одну, пожалуйста. Забыли-с! — Мишка вежливо показал на шашку. — Положено доедать-с.

— Честное слово, не заметил.

— Допустим.

... Однажды на балете «Спартак» мы встретили парня, который Зойке нравился, так она только и делала, что посылала меня в буфет... Почему я вдруг вспомнил обиду? Разве хорошего не было?

— У нас в школе невероятное творится! — неожиданно сказал Мишка. — Мы над двумя стариками шефство взяли, а им как раз комбинат дрова прислал. Решили на сборе — перепилим. Севка Глебов больше всех призывал, а как пилить — смысла.

— Может, заболел?

— Здоров, предатель! Как вы думаете, если ему морду набить, из пионеров вытурят?

— Могут.

Я сделал хороший ход, и Мишка схватил сразу четыре шашки.

— Неплохо дали.

Я отошел к окну. На невидимой нитке качалась плоская тарелка уличного фонаря. Круг света плавно скользил по снегу. Я думал, что Мишка прав: предательства прощать нельзя. Можно забыть обиду, но предательство — это черта характера.

— Увидели что? — Мишка погасил свет.

Теперь мы оба разглядывали дорогу. Около фонаря прошла женщина. Тень то напоззала на нее, то медленно отходила в сторону, и тогда лицо женщины было хорошо видно.

— Людмила Александровна! — испуганно сказал Мишка.

Он бросился открывать дверь.

— Мама дома? — голос учительницы прозвучал резко, с добрыми вестями так не приходят.

— Дома я, дома, — отозвалась из комнаты тетя Оня. — Батюшки! Людмила Александровна! Натворил что-нибудь мой-то?

Я был единственный взрослый мужчина в этой семье и понимал, что рано или поздно меня позовут разобраться.

— Он вам сам расскажет, — ответила учительница. — Мне не захотел, а вам, может, скажет.

— Ну, говори, балбес! — крикнула тетя Оня.

— Ничего я не сделал. . . — сказал Мишка.

— А может, и не делал? — в голосе тети Они послышалась надежда. — Так-то он у меня не хулиган.

— Придется рассказать, — предупредила учительница. — Вчера они избили одноклассника.

— Гоша! — нетерпеливо позвала тетя Оня, не понимая, отчего я не пришел на помощь. — Хоть ты с ним поговори.

— Не избили, — буркнул Мишка, — а сделали «темную». И то слегка.

Я хлопнул дверью, но в столовую не вошел — решил перекурить в коридоре. Мое вмешательство пока было бы преждевременным.

Мишка, предчувствуя подмогу, повысил голос.

— А что?! — крикнул он. — Кто больше всех призывал дрова пилить? Глебов! А потом кто смылся? Тоже Глебов.

Я не входил. И в Мишкином голосе послышались тоскливые нотки.

Впрочем, не входил я не только потому, что придерживался тактики Дмитрия Донского на Куликовом поле, у меня, как говорится, существовали и иные соображения. Дело в том, что Мишкина классная руководительница — жена моего однокурсника Анатолия Пискарева. Еще в институте мы с ним недолюбливали друг друга. Да и теперь наши отношения не стали лучше.

Когда Анатолий женился, до меня дошли первые сведения о его супруге. На год старше. Замуж вышла по сватовству. Свахой со стороны невесты была опытная в этих делах завуч школы Яблокова, сама, впрочем, женщина неустроенная, а со стороны жениха — Сидоров, у которого с Анатолием была душевная близость.

Я представил длинную, высохшую от мрачного одиночества девицу в переходном возрасте и мысленно пожелал Пискареву счастливого брака. Но когда он познакомил меня с ней, я на время лишился юмора и, стоя на улице, долго тряс ей руку и бормотал что-то хорошее об Анатолии.

Она понравилась мне. В ней не было безудержной удалости тех девиц, которые, с трудом отыскав мужа к тридцати, сразу же начинают думать, что всегда были неотразимы. В ней была истинная скромность... и тишина. Да, да, та самая семейная тишина, о которой я много раз мечтал в бурях и грохоте Зойкиных эксцессов.

— Везунчик, — сказал я Анатолию через несколько дней. — Ты выиграл двадцать пять тысяч.

Он самодовольно улыбнулся и пожелал мне того же.

— Не откажусь, — сказал я. — Жаль, что твоя жена выиграла много меньше.

— Ты меня недооцениваешь, — засмеялся Анатолий.

Но я, кажется, ценил его по номиналу.

Уже через несколько месяцев, встречая Пискареву на улице, я заметил, что к выражению «тишины» в ее глазах прибавилось и выражение грусти. Грусть нарастала в геометрической прогрессии. Пискарева становилась для меня все более интересной загадкой. И если бы, черт побери, Анатолий был хоть чуточку симпатичнее, я бы нашел пути войти в их дом.

Я все курил в коридоре, ожидая конца разговора: Мишка, видимо, расценил мою тактику как трусость.

— Кто же с тобой был? — снова спросила учительница.

— Никто.

Он сопротивлялся из последних сил. Я покашлял. Пусть парень знает, что я не умер. Я здесь и еще собираюсь сказать ему помощь.

— Тогда придется иначе,— сказала Людмила Александровна.— Встанешь на уроке и попросишь прощения у Глебова.

— А он? — спросил Мишка.

— Он не виноват,— сказала учительница.

С ее стороны это был явный перебор. Пора было входить, и я распахнул двери.

— А по учебе он как? — спросила тетя Оня, даже не поглядев на меня.

— Одной учебки мало,— сказала учительница.

Мы сухо поздоровались. Видимо, она почувствовала какую-то скованность и стала собираться. Мишка бросил на меня взгляд, полный осуждения, но я многозначительно улыбнулся.

— Подождите минуточку, — сказал я учительнице. — Я тоже оденусь. Мне в вашу сторону.

Она ничего не ответила, но и не вышла, а я бросился за пальто.

...На улице было безветренно. Снег около фонарей будто бы не падал, а кружился в пучке света.

— Конечно, ребята не правы,— начал я.— Вас легко понять. Куда лучше, если бы они спокойно разобрались на своем месткоме. Солидно, без драк. А то виноваты обе стороны, а вы наказываете одну.

Я понял: моя ирония была ей неприятна.

— Это другой вопрос,— сказала она, вновь поразив меня своей грустью.— Я не могу поддерживать хулиганство.

— И не поддерживайте!— сказал я, стараясь преодолеть сопротивление, словно за ней стояла вся педагогическая наука со своими незыблемыми канонами.

— Что же вы предлагаете?

— В шестом классе мы собирали учительнице деньги на подарок к Восьмому марта,— сказал я.— А один парнишка не дал. Я, говорит, сам хочу сделать подарок. Без вас. Вышел на уроке и преподнес: «От нашей семьи». Мы даже не засмеялись. Думали: возьмет или нет. И она взяла.

— Значит, вы считаете, что я не права?

— По справедливости — нет,— сказал я.

Она остановилась, и впервые наши взгляды встретились. Этого выражения глаз я передать не могу. В них не было желания оправдаться, и зачем ей оправдываться передо мной?

— По справедливости... — повторила учительница. — А как бы вы?

— Я? Я поступил бы иначе. Раз Глебов обманул коллектив, то он и обязан извиниться. А ребят, конечно, нужно поругать. За превышение власти.

— Вот мой дом, — сказала она. — Вы с мужем однокурсники, а у нас никогда не были. Почему?

— Мы и в институте не дружили.

Ей это было неприятно.

— А вы всегда бываете объективным?

— По крайней мере когда даю советы другим.

Она не улыбнулась, а мне отчего-то захотелось, чтобы выражение грусти ушло из ее глаз. Мне казалось, что у нее в запасе существует еще одно выражение, более веселое, чем это. Я ждал. Но она повернулась и пошла к дому. Она даже не оглянулась у двери. Я думал, что в их окне загорится свет, но свет так и не вспыхнул.

Глава четвертая

С лыжами на плече я иду по улице. Передо мной Валунец, поселок, о котором три года назад я еще и ведать не ведал, а теперь знакомый до удивления, так что иногда кажется: живу здесь давно, чуть ли не с детства.

Я прохожу через калитку, двором, по узенькой тропке, на широкую улицу, прямую, заснеженную, с починенными деревянными мостками. До центра еще минут пять. Одноэтажные поселковые домики кончаются, и сразу вырастают трехэтажные «небоскребы» — дома валунецкого жакта. Отсюда виден «Монмартр», как называю я площадь, потому что там клуб, кино и столовая, а справа, километрах в двух, дымится, раскрашенная небо ярко-оранжевой краской, огромная труба химического комбината.

На мне мохнатый свитер и шерстяная шапочка с легкомысленным помпоном на затылке. Я насвистываю песенку, киваю знакомым, и знакомые улыбаются мне.

Около спортклуба комбината группа ребят. Я останавливаюсь и здороваюсь.

— Как снежок, Георгий Семенович? — уважительно спрашивают они.

— Как сахар.

Ребята смеются. Я тоже смеюсь. Мне приятно поболтать с такими парнями. «Хорошие ребята!» — думаю я.

Через площадь наискосок шагает взвод солдат. Они взмахивают руками и стучат сапогами.

— Раз! Два! — считает командир.

Сбоку к взводу прилипают мальчишки. Они забегают вперед, завистливо заглядывают в солдатские лица.

— Раз! Два!

Мне нравится солдатская песня. Я подстраиваюсь к взводу, энергично ударяю ногой по снегу. Какая прелесть ходить в строю!

Около почты все же останавливаюсь. Нужно узнать, нет ли писем. Мама принципиально пишет до востребования: так вернее. В окошке Риточка. Носик вздернут, губы пухлые, детские.

— Салют работникам телеграфа! — приветствую ее. Честно сказать, мы ни разу толком не говорили друг с другом, но сейчас достаточно Риточкиного взгляда, чтобы понять: я ей не безразличен.

— Вам письмо, наверное от девушки.

На почте никого нет, и я не отхожу от окошка. Разрываю конверт. Мамин почерк. Письмо написано аккуратно. Буквы крупные: мама — учительница начальных классов. Из конверта выпадает вырезка «Недели»: «Как варить кофе по-восточному».

— Вот, — говорю я. — Мне рекомендуют пить кофе по-восточному. Хотите рецепт?

— Я умею варить кофе.

— Вы меня приглашаете?

Риточка краснеет.

— Я думала, вы лучше других, — неожиданно зло говорит она.

Получил! Я, пытаюсь сохранить шутливый тон, что-то бормочу в свое оправдание и выбегаю на улицу.

На площади метет, извиваясь, поземка.

Куда теперь? Домой?

Мне становится скучно от этой мысли. Дом кажется камерой-одиночкой.

Я вижу, как напротив открываются и закрываются двери мебельного магазина. Рабочий тащит на спине пружинный матрац, а за ним идет бабка, поддерживая матрац одним пальцем.

Вхожу. В магазине стоят стандартные шкафы с ребристыми зеркалами. Из зеркала на меня хмуро взирает человек, сломанный на уровне поясицы, с кривым, страдальческим лицом и погнутыми лыжами.

— Посмотрите, какие преимущества перед старыми конструкциями, — объясняет продавец двум старушкам и несколько раз громко щелкает замками.

— Большие преимущества, — соглашаюсь в стороне я.
— Видите! — радуется продавец. — Мебель нравится всем.
— Еще бы! — я поддерживаю коммерцию. — Такой шкаф никогда не жалко сломать.

Продавец с укоризной смотрит на меня, а старушки исчезают. «Хорошие, доверчивые старушки, — думаю я. — Совсем как дети».

Около кинотеатра очередь за билетами. Идет фильм со странным названием «Подделка». Два близнеца-детектива в черных шляпах с пистолетами, прищурив левый глаз, нацеливаются в прохожих. Ниже лицо героини, чем-то уже знакомое. Где она играла раньше? Иду медленно. И вдруг мне начинает казаться, что актриса удивительно похожа на Милу, особенно губы и глаза — серые, не очень большие, с зеленоватыми точками.

«Псих! — ругаю себя я. — Ведь ничего не было утром?»

«Было. Было. Было».

Я иду быстрее. Спешу. Но сомнение не исчезает.

«А если ничего не было утром, почему ты так радуешься?»

... Уже несколько раз я встречаю ее в лесу. Я знаю, куда Мила приходит со своими шестиклашками. При каждой встрече я разыгрываю удивление. Останавливаюсь как вкопанный и широко развожу руками.

— Не ожидал! Ну и дела!

Мила молчит, неуверенно улыбается, будто сама подстроила это свидание.

— Здравствуйте, ребята! — кричу я школьникам и больше на учительницу стараюсь не смотреть. — Хотите со мной показаться?

— Хотим! — кричат мальчишки.

— Только я вас прошу, Георгий Семенович, осторожнее. Я подмигиваю ребятам. Они хохочут.

— Будьте уверены. Я человек строгий.

И мы исчезаем.

Сегодня мы обогнали девочек на полкилометра и устроили засаду. В лесу была удивительная тишина. Я стоял за деревом и ждал, когда приблизится Мила. Она шла впереди, шла прямо на меня, улыбаясь своим мыслям, и в этот момент казалась счастливой и беззаботной.

Мы договорились подпустить девчонок поближе, но кто-то не утерпел, не выдержал боевого азарта и раньше времени заорал: «Ура-а!»

Ребята понеслись вперед, бросая снежки, стараясь не попасть в учительницу.

Мила засмеялась, схватила пригоршню снега и по-женски, из-за головы бросила снежок.

— Учитесь! — крикнул я и несколько раз взмахнул рукой со снежком.

Мила отворачивалась, приседала, пока не догадалась, что ее обманывают.

— Бах-та-ра-бах! — закричал я, радуясь тому, что снежок раскололся на вязаной шапочке моего «противника». — Ура-а! Мы ломим! Гнутя шведы!

Я вновь схватил пригоршню снега и тут заметил, что Мила стоит, закрыв лицо ладонями.

Я бросился к ней, отнял от лица руки и увидел алую струйку над бровью.

— Санитары есть?

— Есть, — сказала рыжая девочка. — Только я крови боюсь.

Я нервничал. Бинтовал. Но бинт ложился неровно, сползал, и я перебинтовывал заново. Я злился на себя и вдруг встретился с ней взглядом. Это длилось мгновение. Глаза были большие, испуганные, и мне показалось... Нет, такое могло лишь показаться, потому что я давно хотел увидеть ЭТО.

...А потом мы шли к дому и говорили о каких-то пустяках. Около калитки остановились, и я первый протянул ей руку.

— Не пойму, — сказал я после короткого молчания, — зачем стал хирургом, а не детским врачом. И всем по порядку давал бы шоколадку, и ставил, и ставил бы градусники.

— Я с завистью смотрю, как ребята к вам липнут, — сказала Мила.

— Они во мне человека чувствуют. Знаете, как Толстой про Чехова сказал: к нему, говорит, женщины тянутся, значит, он человек хороший. А дети и женщины — это близко.

— Значит, вы человек хороший?

— Конечно. Я человек замечательный.

Она рассмеялась.

— А я понимаю, почему ребята так с вами, — сказала Мила. — Вы их ровесник.

— Впадаю в детство?

— Нет. Вы не думаете, как я, о солидности.

— А вы тоже не думайте.

— Анатолий говорит, я недостаточно строга с ними.

— Глупости. Вы хороший педагог. Я же видел... Зуб даю. Только не рассуждайте, как Анатолий. Это же скучно.

Она вновь испуганно посмотрела на меня.

— До свидания.

— А когда... свидание?

Она не ответила.

— У вас маленькая рука, но крепкая, — сказал я и с ужасом подумал: «Господи, какую чушь я несу!»

Мила шевельнула рукой, стараясь освободить пальцы. Но я не отпускал. Она наклонила голову и отдернула руку.

— Не знаю, — сказала Мила. — Зачем?

В комнате был беспорядок: кровать не застлана, у зеркала — гантели. Я разделся и лег. Читать не мог. Строчки прыгали перед глазами. Я отложил книгу. Встал. В тумбочке лежали плоскогубцы, колбаса, банка с лыжной мазью. Хлеба ни кусочка. Я оторвал зубами кусок колбасы и стал жевать. «Нужно идти за хлебом, иначе завтра останусь голодным». Я даже обрадовался тому, что снова выйду на улицу.

Я встал в очередь, и женщины впереди замолчали. Видимо, узнали меня. Народу в магазине было много. Под вечер пришла машина со склада, и все чего-то ждали.

Я увидел, как в дверях появилась каракулевая папаха, и вдруг подумал, что сегодня мне неприятно встретаться с Пискаревым — Милным мужем.

Я купил хлеб и вышел на улицу.

— Доктор Дашкевич!

Пришлось подождать.

— Черт долговязый, тебя не догонишь!

— Тороплюсь, — объяснил я и прибавил шагу.

Говорить было не о чем. Сейчас у переулка Пискарев скажет «пока» и завернет к дому.

— Ходил за хлебом? — спросил Анатолий, видимо тяготясь молчаньем.

Я кивнул.

— А я знаешь что купил?

— Трамвай?

— Остри не остри, не угадаешь, — сказал Пискарев. — Апельсины.

— Факир! — Я остановился. — Факир, а не гинеколог.

— Ну пока, — засмеялся довольный Анатолий.

Глава пятая

Стерженек проигрывателя металлически блестел в центре диска. Мила смотрела на него долго, пока стерженец не превратился в сверкающую точку.

«Сколько месяцев я не подходила к проигрывателю? Восемь? Десять? Пожалуй, больше...»

Она приложила ладонь к щеке и закрыла глаза, слушая «Хоральную сюиту» Баха.

«Так и не сказала, чтобы приходил...»

Миля поднялась с дивана, сняла бинт и подошла к зеркалу.

«Постарела».

Она достала альбом, нашла фотографию — их школьный выпуск — и стала сравнивать. Теперь на нее смотрели две Людмилы. Конечно, они были похожи, но у старшей, двадцатилетней, глаза темнее, печальнее и около губ появились складочки — раньше она этого не замечала.

Миля перевернула страницу. Восьмой. Седьмой класс... В третьем ряду Сережка — как он похож на Дашкевича! Длинный, смешной, — ее первая любовь.

«Если бы он... Если бы да кабы...»

...Три года назад они с Сережкой встретились в Ярославле — в городе их детства. Это было зимой, на каникулах. Нежданно-негаданно ввалился в квартиру матери огромный человечинце, все такой же веселый, как в школе, и затараторил о чем-то смешном. Миля глядела на него, чувствуя, как возвращается к ней то, что было тогда, в седьмом.

«Может, и у него такое?..»

— Знаешь, — сказала она, — я недавно нашла свой детский дневник, там много о тебе.

Ей вдруг захотелось показать ему этот дневник — тайну детства. Подошла к чемодану, принялась поспешно выкладывать кофточки, платки.

— Моя жена тоже вела дневник, очень забавный.

— Жена?

Миля еще постояла у чемодана, потом сказала, что не может вспомнить, куда девался дневник.

— Неважно, — отмахнулся Сергей.

Он продолжал шутить, а Миля внутренне съежилась, замолчала, пряча от Сергея глаза.

Внизу хлопнула дверь. Миля быстро положила альбом на место. Что это с ней? Почему вдруг вспомнилось о прошлом? Она со страхом прислушивалась к неторопливым, мягким шагам на лестнице — Анатолий.

Он тщательно сбил со своих бот снег, поставил метелочку в угол, отведенный для сапожных щеток, и стал раздеваться.

«Сейчас поцелует», — со страхом подумала она.

Анатолий делал все медленно и как-то очень серьезно. Достал плечики, повесил на них пальто, предварительно встрях-

нув меховой воротник, чтобы не сваялся ворс. Снял боты, приоткрыл дверь и побил боты друг о друга: в комнате тепло, снег растает, и натечет лужа.

— А у меня для тебя сюрприз! — сказал Анатолий, надевая тапочки. — Угадай, что в пакете?

«Я к нему несправедлива, — подумала Мила. — Внимательный, заботливый... Чего еще? Многие говорят, мне повезло».

— Не можешь угадать? — засмеялся он. Сделал таинственное лицо, сунул в пакет руку, словно собирался показывать фокусы. — Апельсины! Пицца факиров и гинекологов, как отметил преподобный Дашкевич. Вымой, пожалуйста.

— Положи в вазу.

Анатолий поглядел на нее удивленно.

— Не могу есть грязное, хоть режь. Такая у меня слабость.

Он вымыл, а потом протер каждый апельсин полотенцем и покосился на жену: мол, видишь, и дел-то всего...

«Боже, как тоскливо... — Сегодня Мила с особой остротой чувствовала свое одиночество. — Нужно куда-то уйти, — думала она. — Схожу в магазин. Скажу, дома нет хлеба». Буханка лежала перед ней. Мила зажгла газ, поставила чайник.

— Ты чего там делаешь?

— Кипячу воду.

— А без тебя вода не закипит? Давай съедим по апельсину.

— Не хочу.

Было слышно, как Анатолий шуршит газетами.

«Теперь это надолго. Пока не прочтет все... — Она вспомнила о Дашкевиче. И улыбнулась, представив его на лыжах, со снежками в руках. — Как они не похожи! Кажется, Анатолий на десять лет старше».

Анатолий расстелил газету на коленях и ел апельсин. У него было счастливое лицо.

— «Завтрак прошел в дружеской обстановке», — прочел он вслух. — Подумай, для некоторых это такая же работа, как для меня операции. Интересно, что делают дипломаты дома, если завтракают на работе?

Он засмеялся, довольный шуткой.

«Что со мной? — думала Мила, отворачиваясь. — Раздражительно... Ведь раньше этого не было. А теперь? Может, такое случается со всеми? Когда-то Яблокова сказала в учительской, что безразличие к мужу естественно. Любовь, безразличие, а потом привычка...»

Она начистила картошки, сняла чайник и пошла в комнату за солью. Газеты стопкой лежали на столе. Сверху их придавливала гора апельсиновой кожуры.

— Последний раз говорю: ешь. Половины уже как не бывало.

— Не хочу, — повторила она, собирая со стола кожуру.

— Ты только корки не выбрасывай, — спохватился он. — На них получится хорошая настойка.

— Хорошо, — сказала Мила. — Я положу их на сберегательную книжку.

Он отложил газету и с обидой взглянул на нее.

— Вечные крайности. Ни о чем не попросить.

Мила промолчала.

— Кстати, давно прошу купить просторный горшок для кактуса. Все я и я... А кактусу тесно. Он в этом году должен цвести. Ты понимаешь, что значит «тесно»? — Анатолий расхаживал по комнате, видимо нервничал.

«Понимаю», — подумала Мила.

— А сберегательная книжка, — вдруг крикнул Анатолий, — тебе не помешает! Я о семье забочусь. А вот если бы тебе дать наши деньги, то мы бы уезжали отсюда голые. Вернемся в Ленинград — сама скажешь спасибо.

— Спасибо, — сказала Мила.

Он замолчал. Было слышно, как по комнате шлепают тапочки.

«Нужно уйти, — подумала она. — Хотя бы на час... Иначе не сдержишься...»

Она погасила газ. Оделась.

— Ты куда? — удивился Анатолий. — Ведь еще не обедали.

— За горшком для кактуса.

— Магазин уже закрыт.

— Я постучу, — сказала Мила. — Объясню: гибнет живое существо.

— А я тебя не отпускаю! В конце концов тебя с утра нет дома. Не можем побыть вместе.

«Скорее на улицу, — думала Мила. — Там хорошо, тихо. Разве я могла представить, что одиночество — это вдвоем!..»

Она сбежала по лестнице, застегиваясь на ходу, и быстро зашагала по дороге.

На улице опять шел снег. Свет от фонаря полосой проникал в комнату, вырывая из темноты прямоугольные силуэты. Я думал о Зойке. Ее письмо уже много дней лежало на

окне. Я взял листки, но в темноте разобрал лишь отдельные фразы. Нужно что-то написать, сослаться на занятость, на длительную командировку в район. Еще не поздно. Можно без труда восстановить прежние отношения.

Значит, врать? Нет, этого я не хотел. Но и писать правду, объяснять, что все кончилось, тоже не хотелось.

По дороге прошла женщина, чем-то похожая на Милу. Я себя все время ловлю на том, что чаще и чаще узнаю Милу в чужих людях. Женщина остановилась, поправила платок и пошла дальше.

— Знаешь, мама, — послышался из коридора голос Мишки, — мы все-таки на сборе из Глебова сделали котлету. Похуже «темной» вышло.

Я улыбнулся. В этой «общественной работе» была, пожалуй, и моя заслуга.

Мишка постучал в дверь, но я не ответил.

— Ты чего, бездельник, будишь человека?

Света зажигать не хотелось. Я поглядел на часы. Кажется, четверть девятого. Спать вроде бы рано. Может, сходить в кино? Поглядеть эту «Подделку»?

Я пожал плечами и, тихо ступая по полу, перешел на кровать.

«С Зойкой все кончено, — думал я. — Это должно было кончиться рано или поздно».

Глава шестая

После того случая с кровью я долго не мог смотреть на Сидорова. Он дважды делал мне какие-то замечания, но я ничего не отвечал, будто все это говорили по радио.

Сегодня в Валунец приехал главный хирург области Леонид Кириллович Лунин, и мне пришлось зайти в кабинет. Лунина я знал по институту. Он заканчивал аспирантуру, когда я был на третьем курсе, и недели две вел нашу группу. Впечатление, помню, осталось самое хорошее: веселый, молодой, как говорят, свой. Мне давно хотелось увидеть его. И, кроме того, земляк всегда земляк, и если даже в отпуске случайно встретишь ленинградца, чем-то связанного с твоим делом, то испытываешь волнение.

В кабинете был заведующий нашим отделением Борисов, главный врач и Лунин. Леонид Кириллович сидел за письменным столом, а Сидоров и Борисов на стульях справа. Он сразу же вспомнил меня и улыбнулся:

— Не знал, что вы здесь.

Лунин вышел из-за стола и протянул руку.

— Да, ни разу не пришлось увидеться.

— Георгий Семенович — очень активный хирург, — вставил Сидоров.

Я сел в стороне, чтобы не мешать разговору. Борисов сидел злой, нахохлившийся. Еще раньше по отдельным репликам я догадывался, что Борисов терпеть не может Лунина. Но он так часто бывал беспощаден в своих суждениях о людях, что я, честно сказать, уже не придавал этому значения. Я хорошо помнил, что совсем недавно он так же плохо относился и ко мне.

— Какой ваш план работы, если не секрет? — осторожно спросил Сидоров.

— Дел будет много.

— Тогда что же мы сидим здесь? — проворчал Борисов. — У нас плановая операция.

Он поднялся и пошел к выходу, даже не взглянув на меня.

— Подождите! — испуганно крикнул Сидоров. — Нужно решить, куда устроить Леонида Кирилловича. Не в Дом же колхозника?

Борисов тяжело вздохнул: мол, он тут при чем? — и сел у дверей.

— Может быть, вы поживете у кого-нибудь из нас?

— Пожалуйста. Только у меня есть принцип. Я не остаиваюсь у главных врачей. Это всегда плохо истолковывается.

— Все забываю, — сказал Борисов, — пора бы нам заменить кровати в пятой палате. Это же гамаки.

Всем своим видом он говорил, что ему плевать, где будет почевать Лунин. Мне стало неудобно.

— Живите у меня. Подушка и одеяло найдутся, — сказал я.

— Прекрасно, — обрадовался Сидоров. — У Георгия Семеновича вам будет хорошо. Не заскучаете. . .

— Можно и ко мне, — неожиданно буркнул Борисов.

Я даже вздрогнул. Человек — это вечная загадка. Наверно, мне никогда не понять, почему Борисов вдруг пригласил Лунина. Выгнать — это бы я понял.

— Вот видите, — сказал Сидоров, — прямо нет отбоя от квартир. В следующий раз приезжайте с супругой.

— Я все-таки переночую у доктора Дашкевича.

— Ну, хватит торговаться, — сбормал разговор Борисов, — пора работать.

Он стукнул обеими руками по коленям и выпрямился. Я

пошел за ним. В коридоре Борисов остановился и посмотрел на меня.

— Вам нравится Лунин?

— Очень. Я его по институту помню. Ребята говорили: «Свой в доску».

— Ну-ну, «в доску...» — передразнил Борисов и что-то забормотал под нос, что означало: «Много вы понимаете в людях...»

— Хороший товарищ, говорили, — назло сказал я, хотя совершенно не знал, какой Лунин товарищ.

— К сожалению, очень легкомысленный для своей должности. Мне с ним приходилось сталкиваться.

— Не думаю, — сказал я. — Хотя легкомысленные люди мне нравятся. Как правило, они лучше глубокомысленных и реже делают подлости. Я тоже легкомысленный.

— Конечно, — согласился Борисов и обнял меня за плечи. — Но, сказать по правде, я думаю, что ты просто зеленый. — Он часто переходил на «ты». — Зеленый — это совсем не плохо. Это этап. Стадия роста.

Я пожал плечами. Дед всегда поражал меня своими догадками. Он никогда не объяснял своих слов, и мне казалось, что даже не любил договаривать фразы. Он ставил точку с запятой и замолкал. Когда я приехал в Валунец, то год или полтора не мог понять, ненавидит меня Дед или изучает. Мне казалось, что изучать так долго нечего. Человек я несложный. Ненавидеть тоже вроде бы не за что. Я разговаривал с ним и постоянно думал: что сказать, как ответить. Я почувствовал себя в роли человека, который попал в гости и не может решить, правильно или нет сидит за столом. Наконец мне это надоело и я стал делать, что хочу и как хочу. «В конце концов, — думал я, — не на Валунце свет клином сошелся. Есть еще и Ленинград. И я не огорчусь, если придется уехать».

Вот тогда Деда как подменили. Он сам стал лезть ко мне с вопросами и предложениями. Иногда мне казалось, что ему хотелось подружиться, и я бы поверил в это, если бы не знал Деда раньше. По крайней мере он заговорил. И не только о работе, а так, вообще, о том, что его беспокоило. И всегда ему нужно было знать мое мнение. Иногда я выскажу что-нибудь, а он замолчит, сощурился и думает о чем-то.

Мы прошли в предоперационную, и тетя Она сменила нам халаты. Он надел маску, спрятал усы, и теперь мы стояли почти одинаковые, высокие и белые, перед умывальником и терли щетками руки. Нас, пожалуй, можно было бы перепутать, если бы не его коричневые и очень живые глаза,

Наверно, он много пережил, мой Дед. Еще три года назад мне рассказывали про него всякие небылицы, но я не верил или не придавал этому значения. Моя хозяйка говорила, что он был чуть ли не профессором в Ленинграде, что у него погибли дочь и жена, а уж эта, Мария Михайловна, появилась после: подвернулась ему, бобылю, и он враз женился. Как-то я спросил его о прошлой работе, но Дед ответил неопределенно:

— В моем возрасте прошлым жить очень приятно, но страшно. Даже если прошлое кажется интереснее будущего.

Он подумал и прибавил:

— Будущее и новое — это одно и то же. Поэтому жизнь тем и интересна, что будущее заманчиво.

— Что же нового в Валунце? — скептически сказал я.

— А ты разве — старое — засмеялся Дед и подмигнул по очереди левым и правым глазом.

Мне надоело мыть руки, они были уже красные от щетки, но Дед еще тер. Я ополоснул руки и хотел было идти, но Дед буркнул себе под нос:

— Уже чисто?

Я остановился и удивленно посмотрел на руки.

— Не-ет, я просто задумался.

И я опять тер руки и думал над тем, что мне повезло в такой опеке. И, может быть, никому из наших ребят так не повезло, как мне.

— Все, — наконец сказал Дед. — Теперь пошли.

У входа в операционную он остановился и посмотрел на меня. «Он еще очень мало рассказал мне из того, что знает», — подумал я.

— Я бы хотел научить тебя оперировать.

— Если усвою.

— Усвоишь. Я на тебя делаю крупную ставку.

— Какую?

Он сощурился, и густые брови сошлись на переносице.

— Мои ошибки.

Мы подошли к больному стерильные и торжественные, с вытянутыми вперед руками.

— Волноваться нечего, — мягко предупредил Дед. — Операция пустяковая, и делать ее мы умеем.

— Я вам верю.

— Спасибо, — сказал Дед.

Я обработал операционное поле, и мы одновременно протянули сестре руки. Мария Михайловна взглянула на Деда, точно хотела узнать, какой инструмент следует положить каждому из нас. Дед что-то сказал. Она понимающе улыбу-

лась и положила в мою руку скальпель. Дед перешел на ассистентское место. Значит, сегодня мне доверяют новую операцию. Сегодня я делаю еще один шаг вперед. Дед никогда не предупреждает об этом, хотя сам серьезно готовится.

Я остаюсь перед фактом. Теперь в моем мире перестают существовать Сидоров, Анатолий, квартирные неудобства, даже Мила. Для меня не существует никого, кроме больного, кроме ответственности перед ним, перед всеми другими, такими же, как он. Я вижу рядом с моей рукой руки Деда, и мне иногда хочется дотронуться до них.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

Голос больного звучит так же, как и раньше. Значит, действительно «хорошо», потому что мы прошли мимо нерва. Один микрон в сторону — и человек лишается голоса.

Дед вяжет узлы. Я смотрю на его руки. Пальцы мелькают в маленькой ране. Дед вяжет узлы. Останавливает кровотечение. Дед слушает меня, как солдат. Наверное, трудно учить людей. Я слышу его глубокий вздох. Наверное, значительно проще делать операцию самому.

В операционную вошел Лунин, встал сзади и несколько минут молча наблюдал.

— Зоб.

— Да, — сказал я, чувствуя себя чуть ли не лучшим хирургом в мире.

— Молодец! — похвалил Лунин. — С вашего курса мало кто это делает.

— Никто, — похвастался я.

Дед ехидно посмотрел на меня и отобрал иглодержатель.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он у больного и перешел на мое место.

— Хорошо.

— Держите крючок и помогайте, — зло буркнул Дед. Он всегда говорил мне «вы», когда ему что-то начинало не нравиться.

Глава седьмая

За мной прислали нянечку из приемного покоя.

Я спустился вниз. Лунин сидел за письменным столом и просматривал документацию. Заведующий приемным покоем Иван Иванович Козлов, красный от волнения, лихора-

дочно тряс над полом конторские книги, видимо разыскивая пропавшие инструкции.

— Что случилось? — спросил я.

— Туда, туда! — закричал Козлов. — Вы видите, я занят. Вам все объяснит Гиндина.

Лунин посмотрел на часы и покачал головой, давая понять, что врачи не торопятся осматривать поступивших больных.

Я вошел в смотровую и остановился около Марго.

— Не пойму, — шепотом сказала она, — похоже на инфаркт, но что-то смущает. Сняли электрокардиограмму, скоро принесут.

Она открыла дверь в приемный покой и крикнула:

— Тетя Оня, сходите за Александром Сергеевичем!

Я присел на топчан и тоже осмотрел поступившую. Вот так всегда, когда у тебя сравнительно хороший день и все идет спокойно, вдруг появляется больной с какой-то загадочной болезнью, и ты уже и днем и ночью в мыслях будешь возвращаться к этому человеку, и в сердце будет постоянная тревога, точно боишься что-то упустить. Что это — слабость характера или что другое? Ведь есть же счастливые люди, неплохие врачи, которые, уходя с работы, спокойно спят до утра. Я увидел капли холодного пота на лице этой женщины и уже знал, что сегодня не буду спокоен.

Вошел Борисов. Расспросил о заболевании, наклонился к больной, повернув голову, и замер в этой позе, прислушиваясь к дыханию, будто шаман. Больная тяжело дышала. Борисов положил ей руку на грудь и провел ладонью над сердцем, точно нащупывая боль.

Потом поднялся и стал медленно ходить по кабинету. Немного сутулый, но высокий старикан. Пожалуй, старикан. Даже странно, но сейчас он показался именно стариканом, и его своеобразная походка, стук каблуков и легкое шарканье тоже говорили о годах, потому что к вечеру тише становился стук каблуков и отчетливее шарканье подошв.

Мы вышли в приемный покой и сели вокруг стола медсестры, чтобы не мешать Лунину. Иван Иванович выдвигал какие-то ящики и стопкой складывал бумажки, а Лунин сидел спокойный и подчеркнуто вежливый, чем-то напоминающий трамвайного контролера, который знает, что билет все равно не найти и штраф будет взыскан.

— Ну, что там? — как бы между прочим спросил Лунин, и мы молча посмотрели на Борисова.

— Трудно сказать...

— А вы бы сами взглянули, Леонид Кириллович, — вставил Козлов. — Такая консультация!

Лунин пожал плечами, показывая, что врачей здесь и без него достаточно.

— Почему же? — сказал я. — Будем рады, если вы тоже посмотрите.

— Ну что ж, — сказал Лунин и поднялся.

Он пошел в смотровую, а я с любопытством стал рассматривать покрасневшего Козлова. Мне хотелось, чтобы Козлов не нашел этих бумажек, хотя бы перетряс всю свою канцелярию за десять лет. Он был смешон в своем паническом страхе.

«Ну, не найдешь. Ну, не увидит, — думал я. — Скажет «безобразия»! И из-за этого так суетиться?»

Лунин вышел из кабинета и закурил. Он долго возился со спичками, потом попросил пепельницу, точно специально тянул время, рассчитывая усилить наше любопытство. Наконец сел рядом с нами.

— Не слышал ваших мнений, но думаю, что это... — он показал пальцем на сердце, — обычная картина инфаркта.

Мы с Марго промолчали, хотя диагноз Лунина показался достаточно основательным. Вероятно, он прав: это было самое простое, что приходило в голову. Я ждал, когда выскажется Борисов, но тот молчал.

— Сейчас принесут электрокардиограмму, — сказала Марго.

— Я подожду, — согласился Лунин.

Он вернулся к столу, а Козлов опять бросился к ящикам, предлагая найденные бумаги. Он согнулся, возможно потому, что был близорук, но мне казалось, это из угодливости, и я радовался, когда Лунин стал спокойно и монотонно отчитывать его за небрежность.

Наконец принесли электрокардиограмму. Борисов взял пленку и осторожно положил на стол. Он не спешил. Его медлительность и сосредоточенность были чем-то единым и органичным. Я знал, что и раньше, когда дело касалось ответственного диагноза, Дед становился похож на шахматиста, который изберет цейтнот, но не сделает непродуманного хода.

— Инфаркта нет, — наконец сказал он.

— Что значит «нет»? — переспросил Лунин. — Нет сегодня, потому что прошло мало времени, но может выявиться завтра.

— Это не сердце, — повторил Дед. — Мы можем проглядеть катастрофу в животе. Не забудьте, что больная получила наркотики и сейчас не чувствует боли.

— И все-таки нет оснований отменять диагноз инфаркта. Такие случаи, как этот, бывают.

— Бывают. . . — буркнул Борисов. — Гороховый суп бывает. . .

— В конце концов, — решительно сказал Лунин, — я запишу свое мнение в историю болезни. Этого достаточно?

— Тогда незачем было собираться всем, если один уверен, — сказал Борисов и встал из-за стола.

— Нет, не один, — возразил Лунин, делая вид, что не замечает недовольства Борисова. — Тут еще есть врачи. — И он кивнул в мою сторону.

Дед повесил халат, надел пальто и, устало шаркая ногами, вышел.

Я отвел Марго, чувствуя какую-то неловкость.

— Ну, как твои ребятишки? — спросил я, раздумывая над всей этой историей.

— Ты себе даже представить не можешь, какие они стали смешные! Вчера наша соседка у Мишки спрашивает: «Ты на кого похож?» А он удивленно посмотрел на нее и говорит: «На человека».

Мимо провезли больную, и, глядя на нее, я с сожалением подумал, что опять, как говорят, оказался «не на высоте»: ведь у меня не было уверенности в диагнозе.

— Да, забавные ребята в этом возрасте, — сказал я. — Сам удивляюсь, но меня дети любят.

Мы подошли к каталке, и Марго успела погладить женщину по голове — видимо, и ее что-то не устраивало в этом споре Лунина с Дедом.

— Значит, в тебе есть что-то человеческое, — сказала она серьезно, провожая глазами отъезжавшую каталку.

Мы замолчали. В приемном покое ничего не изменилось. Правда, теперь Козлов стоял около медицинской сестры и сквозь зубы отчитывал ее за неполадки. Его указательный палец качался перед носом сестры, и это не предвещало ничего хорошего. Лунин застегивал воротник и никак не мог соединить крючок с петлей. Наконец это ему удалось. Он облегченно вздохнул, точно освободился от самой крупной неприятности.

— Домой идете? — спросил Лунин, рассматривая себя в зеркале.

— Пожалуй, — сказал я.

— А вы, доктор?

— К сожалению, нет. Я дежурю.

— Жаль, — Лунин улыбнулся Марго. — Желаю всего хорошего.

Он пожал ей руку.

— Назначения для этой больной я записал. Наркотиков не жалейте.

Я оделся. Лунин взял меня под руку.

— А что, если мы ошиблись? — осторожно спросил я его на улице. — Дадим морфий, а катастрофу в животе не заметим. У Борисова страшный нюх на это.

— «У Борисова...» — передразнил Лунин. — Носитесь с ним как с писаной торбой.

— Ну, не скажите, — как-то робко вставил я. Мне почему-то было неловко заступаться за Деда.

Из столовой Леонид Кириллович пошел в кино, а я домой, чтобы привести в порядок комнату. Около десяти вечера Лунин вернулся, замерзший и возбужденный.

— Ну и морозец! — стонал он, неуклюже стягивая застывшими руками пыжиковую шапку. — А у тебя хорошо.

Он шагнул к теплой печке и, обхватив ее, прижался щекой к ребристой поверхности.

— Дом — это совсем другое дело! Я страшный мерзляк. И мороз ерундовый, а мерзну... С войны так...

— А я терпеть не могу слякоть. Тает, капает. Не погода, а катар дыхательных путей. Мороз — это вещь!

— Это пока молодой, а станешь постарше — и такое уже не скажешь.

Он разделся, походил по комнате, все еще зябко потирая руки.

— Прелесть, а не жилье, — сказал он, осматривая комнату. — Стол, диванчик, кровать. Идиллия холостяка. Чур, сплю на кровати.

— Пожалуйста, — рассмеялся я.

— Страшно все надоело: разъезды, консультации, проверки. Носишься по области.

Он подошел к столу, где лежала рассыпанная стопа книг, выбрал Моэма «Бремя страстей человеческих», перевернул ее и, посмотрев на цену, тяжело вздохнул.

— Даже почитать некогда.

Уселся на диване, полистал книгу.

— Хлеб, масло есть?

— Конечно.

— Ставь все на стол.

Он поднялся, открыл чемодан и стал выкладывать шпроты, сыр, колбасу.

— Пища богов! — сказал Лунин, открывая одну за другой банки и принюхиваясь к их запаху. Я еще раз подумал, что Лунин — все-таки неплохой парень. Мне вообще нравятся люди, которые в любом возрасте в чем-то остаются беззаботными, немного наивными и всегда щедрыми. Если бы Дед присутствовал на лунинском приготовлении к ужину, то, наверное, изменил бы свое мнение о нем. Я вспомнил о большой и почувствовал беспокойство. В голову полез всякий вздор, но я отогнал эти мысли: сегодня дежурит Марго, а на нее можно положиться.

— Прошу к столу.

Лунин извлек из пальто бутылку «Столичной», разлил водку.

— Все продумано до деталей. Встреча проходит на высшем уровне и при обоюдном энтузиазме. Торжественные речи отменяются. Тосты произносить коротко. Главное — вовремя лечь спать. За движение вперед!

— Пускай так, — согласился я. — Движение — это эмблема эпохи.

Мы отвалились на спинки стульев и стали молча жевать хлеб со шпротами, разглядывая друг друга. У Лунина был вздернутый нос и маленькие блестящие глазки, удивительно подвижные, будто он все время был начеку.

— Ну, рассказывай, какая здесь жизнь? — спросил он, густо намазывая колбасу горчицей. — Как живете, с кем живете?

Мы оба засмеялись, и я неопределенно пожал плечами.

— Брось, брось хитрить! — сказал он. — Докладывай боевую обстановку. Дислокацию войск противника. Возможность вылазок. Командование интересует все. Тут в винном отделе замечательная девочка.

— Верочка? — сказал я. — Да, ничего. Только замужем.

— Деталь несущественная.

— В таком маленьком поселке все как на ладони.

— А ты что, здесь век жить собрался?

— Не век, — сказал я. — Но пока и не уезжаю.

Он захохотал очень смешно, и нос его сморщился в переносице и стал шире.

— Молодец! Нельзя забываться, когда пьешь водку с главным хирургом области.

Я тоже засмеялся.

— Вы ошиблись. Я действительно не думал об этом. Пока поживу.

Он пожал плечами.

— Могу объяснить причину, — сказал я. — Хочется еще немного поучиться оперировать.

— У кого? У Борисова? Забавный ты человек. Неужели думаешь, что здесь учатся? Нужна школа. С именем. Иначе цена этой учебе — нуль. Скажу по секрету, люди со средних веков не перестали уважать титулы.

— Дурак из клиники Куприянова! Это звучит.

— Зря иронизируешь. Ирония — это оружие. А на ношение любого оружия, как известно, нужно получить право.

Мне даже нравилось его остроумие.

— В твоем возрасте наивность еще не есть добродетель. Хочу тебя предупредить, что жизнь часто похожа на зверя, который кусает слабых и бьется укротителей.

— Тогда какой же выход для слабого человека? — засмеялся я.

— Наука! Только наука. Она дает возможность современному человеку утвердить себя в обществе. Она дает силу. Пока ты только врачебная единица в номенклатуре облздрава. Итак, за науку!

— Можно и за науку, — согласился я. — Только ученого из меня не выйдет. Я практик.

Лунин всплеснул руками.

— Боже, какая путаница понятий!

Он поднял стакан и подмигнул.

— За прозрение.

В дверь постучали. Лунин схватил бутылку и спрятал ее за стул.

Вошел больничный шофер, глубоко втянул носом воздух и замер на середине комнаты.

— Здравствуйте. На улице холодно, а здесь другой дух. — Он с интересом разглядывал закуску.

— Что случилось? — Я вскочил и сразу же подумал о больной. Все снова всплыло в моей памяти: сомнения Борисова, наша неуверенность и категоричность Лунина. Неужели Дед прав?

— Кто послал? — Я стал торопливо надевать пальто.

— Кто? Конечно уж Александр Сергеевич, — сказал шофер.

Лунин откашлялся.

— Значит, Борисов в больнице?

— А где же ему быть?

— Беспокойный старикашка, — процедил Лунин. — Старческий склероз.

Водитель хлопнул дверью, и я быстро пошел за ним. «Черт знает что за человек Лунин», — подумал я,

Глава восьмая

Борисов замедлил шаги. Шарф размотался и вылез из-под воротника. Было девять градусов мороза, но он не чувствовал холода. Он поднял суковатую палку и медленно пошел вдоль забора. Как-то трудно привыкнуть, что тебе шестьдесят два.

Борисов остановился, отдохнул. Сегодня Лунин разозлил его своей категоричностью, но не только из-за этого он вспылил. Пожалуй, больше обидело молчание Дашкевича... Старость, старость... Теперь все иначе: и любовь и ненависть.

А может, он был не прав? Может, он слишком требователен к людям? Слишком? Нет, меньше требовать он не имел права.

...Он часто вспоминал тот давний год, профессора Плавнева. Борисов не забыл этого человека, вечно придирчивого, педантичного до тошноты, но страстного в науке. И вот за один месяц Плавнев превратился в глубокого старика.

Борисов помнит тягостную обстановку, приглушенные голоса сотрудников, боязливое молчание. Он сказал на собрании, что Плавнев не виновен. У него не было доказательств, но он так чувствовал.

На него стали смотреть косо, с недоверием. Тогда он уволился и уехал в Валунец — небольшой поселок, откуда начинался его путь в молодости. Потом война. Гибель жены и дочери во время обстрела Ленинграда. Бессонные сутки в операционных. Германия и Австрия.

Он вернулся в Валунец. Вокруг были новые стройки, новые успехи, а рядом — зазнайство и недоверие, точно не было войны и люди ничему не научились. В поселок приезжали молодые врачи из Москвы и Ленинграда, не знавшие фронта, они жили здесь год и меньше и уезжали. Он не понимал их.

Он вспоминал друзей своей молодости: Петьку Смирнова, Илюху Кофмана, Мишку Слесарева, Софку Кричевскую. Он уходил в сторону леса по асфальтовой дороге, которая в его молодости была извилистой тропинкой, и думал о жизни. Только с ними он мог разобраться во всем происшедшем.

«Что тебя пугает, Саша?» — спрашивала Софка.

Он тяжело вздыхал.

«Я не узнаю людей в последние годы. Мне иногда кажется, что из жизни выпало больше двадцати лет и образовался разрыв, незаполненная пустота между моей юностью и старостью».

— «Что ты говоришь, Сашка? Почему ты видишь только тех, кто приезжает сюда на месяц?»

«Мне кажется, таких становится больше и больше».

«Не узнаю тебя! — возмутилась Софка. — Даже представить страшно, как ты оторвался от жизни».

«А что знаете вы? — злился он. — Разве еще нет таких, которые произносят правильные слова, но поступают иначе?»

Борисов свернул к лесу и по тропинке вышел к пустырю. Он опять подумал о друзьях молодости и ощутил их рядом. Он даже замедлил шаг, чтобы маленькая и круглая как колобок Софка могла угнаться за ним. Она всегда тащилась позади всех.

«Ты что-то раздражен?» — спросила осторожно Софка.

«Пустяки», — отмахнулся он.

«Хитришь!» — засмеялась Софка.

«Боюсь, это покажется смешным, — не сразу сказал Борисов, — но сегодня я испытал... ревность».

«Ревность? — переспросила удивленная Софка. — Ты не ревновал даже к Илюхе. А ведь я тебе нравилась, Саша?»

«Это совсем другое, — вздохнул Борисов. — Мы были друзья, и я знал: нужно уступить. А с Дашкевичем все иначе...»

«Выкладывай, — хмуро приказал Петька. — А то наделаешь глупостей. Ты всегда был горячим».

«Может, я сам виноват, — раздумывая, сказал Борисов. — Когда Дашкевич приехал, я был с ним холоден, даже, говорили, груб. Решил: парень не лучше прежних».

«Помним, — кивнул Петька. — Но через год ты сказал: «Пока я им доволен»».

«Пока... — буркнул Борисов. — Сегодня приехал Лунин. Мы поспорили о больной. А Дашкевич не мог... Не мог не понять, что Лунин не прав. И все-таки не поддержал меня».

«Ты думаешь, испугался?» — спросил Мишка.

«Если они подружатся, все пропало», — мрачно сказал Борисов. Он будто не слышал слов Мишки.

«Рано нервничаешь, Саша, — рассудил Петька. — Дай ему приглядеться».

«Конечно, — согласился Илья. — Чтобы понять жизнь, мало видеть хороших людей, нужно знать и плохих».

«Ты должен все обдумать, — сказала Софка. — Помнишь, сколько раз тебе говорили: не пори горячку. Семь раз отмерь...»

Борисов остановился. Одинокие снежинки кружились перед ним. Отсюда поселок казался таким же, каким был в те далекие годы. И он даже вспомнил стихи, очень давние, которые любил тогда.

«Снежинки снуют, как ручные фонарики. Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!»

Он думал о больной, которую час назад оставил в больнице. Разве имел он право подчиниться обиде? Неужели всему виной старость? Нет. Он не будет сидеть дома сложа руки и числиться «хорошим человеком». В той самой молодости, о которой он вспоминал так часто, он твердо усвоил, что «хороший человек» это не понятие «вообще», а понятие действительное: что ты сделал для других?

Он почти вбежал в переднюю, преодолевая отдышку и на ходу расстегивая пальто. Сейчас он знал, что Лунин — его враг, враг Дашкевича, и это необходимо было доказать всем.

В кабинете Борисов подтащил к книжным полкам лесенку и стал сбрасывать книги, которые ему были нужны, словно молчаливые друзья. В кабинет заглянула Мария Михайловна и осторожно прикрыла дверь. Теперь не время предлагать обедать или о чем-то спрашивать.

Она пошла на кухню и прикрутила газ. Через некоторое время, когда Борисов в чем-то убедится, он сам придет к ней. Она присела у окна и стала прислушиваться к шарканью ног, дыханию и кашлю. За двадцать лет Мария Михайловна научилась по ничтожным мелочам угадывать его настроение.

Она услышала резкий скрип отодвигаемого кресла и встала: теперь он войдет.

Борисов, рассеянно улыбаясь, стоял в дверях. Мария Михайловна подошла к нему и как бы между прочим спросила:

— Поешь?

— Нет, — неуверенно сказал он. — Я уже сыт. Я ел. Нужно в больницу.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего. Не совсем ясная больная. Посмотрю и вернусь. Вероятно, ничего страшного, раз Гиндина не присылает за мной.

Он, кажется, не замечал, что ест щи, и сбивчиво рассказывал о самоуверенности Лунина.

- Будешь оперировать? — неожиданно спросила она.
— Может быть. — Он встал и застегнул пуговицы на рубашке. — Пойду.
— Тогда и мне нужно идти, приготовить операционную. Он обнял ее за плечи и поцеловал.
— Пойдем, если скучно.
— Да нет, не скучно, — сказала она.

Глава девятая

Мила по несколько раз перечитывала одну и ту же строчку, не вдумываясь в ее смысл. Иногда ее взгляд застывал над тетрадью, а глаза становились испуганно-настороженными. Она знала, что Анатолий не станет стелить постель, пока не прочтет газету, газету не возьмет, пока не напьется чаю, чаю не напьется, пока много раз не сполоснет стакан. Рядом с ней жил человек, который никогда не ругался, не пьянствовал, не курил, был аккуратен и пунктуален, — идеальный вариант мужа.

Возвращаясь с работы, она мечтала о какой-нибудь случайности. Чтобы кто-нибудь пришел и после этого надо было мыть посуду и ругать гостей за то, что у них нет совести: ведь завтра рано идти на работу.

Она услышала, как Анатолий встал.

Три шага до шкафа, три шага до кровати. Шуршанье покрывала: раз, два, пополам, еще вдвое. Три шага до шкафа. Поворот ключа. Заминка. На плечиках висит платье. Как повесить пиджак? Ритм нарушен.

Теперь он пойдет в ванную. Она услышала скрип двери, шелканье задвижки, шум воды.

— Совсем заработалась, пора спать.

— Пока не хочу.

Он погладил Милу по плечу. Она начала быстро водить по тетрадке карандашом.

— Ложись-ка лучше спать, — снова повторил он и многозначительно засмеялся.

У нее забилось сердце, и она положила руку на грудь, чтобы заглушить этот стук, наверно слышный во всей комнате.

— Ложись, я еще поработаю.

— Э-э! Сегодня я не засну. Буду ждать.

«Зачем обманывать себя и его? Куда проще сказать правду», — подумала она,

Анатолий взял книгу и включил торшер.

— Все равно дождусь, — с обидой сказал он.

Лучше бы Анатолий кричал, нервничал, резновал. Она тяжело вздохнула и выпрямилась на стуле, будто старалась сбросить с себя навалившийся груз.

— Хорошая книга. Просто повезло, что я успел заказать ее «Книга — почтой».

Она украдкой взглянула на мужа. У Анатолия было красивое и, пожалуй, добродушное лицо. Она подумала, что все это искусная бутафория, обман природы и рядом с ней себялюбец.

Ясно, что они разойдутся. Иногда Мила с грустью думала о том шепотке, который пойдет по поселку и будет передаваться из уст в уста: вот, учительница Пискарева бросила мужа. Поймут ли, что ее гонит из дому?

Мила отодвинула тетради и безразлично пробежала глазами маленькую записку под стеклом: расход на сегодняшний день. Цифры были написаны Анатолием столбиком:

«Хлеб черн.	14 копеек.
Батон	13 копеек.
Сахар	1 руб. 04 копейки.
Картоф. (3 кг)	30 коп.
Итого	1 руб. 61 коп.
Три рубля до 24 марта Сысоеву».	

Она прикрыла бумажку рукой и вздохнула. Если Сысоев, их сосед, не принесет деньги до двадцать четвертого, то больше он может ни на что не рассчитывать.

Мила зябко закуталась в платок. Просмотрела еще несколько тетрадей.

Строчки скакали перед глазами, и она все время теряла смысл написанного.

«Три рубля до двадцать четвертого марта. Сколько же дней осталось Сысоеву?»

Она посмотрела на почерк. Эти круглые буквы с наклоном влево Мила узнала бы из тысячи других. Особенно букву «я», самостоятельную, отставленную далеко от всех букв, где бы она ни находилась.

Мила осторожно взглянула через плечо, не уснул ли Анатолий. Он потянулся к торшеру, чтобы выключить свет. Ей хотелось спать. Спать. Спать. Она закрыла глаза и сразу почувствовала, что все окружающее пластами отваливается в сторону, что ей очень легко, что она бежит по улице к

школе, что за углом больница, а навстречу идет Дашкевич. Он машет ей, смеется.

«Тише, — шепчет Мила. — Мы можем разбудить Анатолия».

«Как я рад вас видеть!»

«Я тоже», — говорит она.

Мила открыла глаза и почувствовала, что улыбается. Три дня назад она действительно видела Дашкевича, но перешла на другую сторону и свернула в переулок. Испугалась, как девочка.

Анатолий повернулся на бок и мерно засопел. Она осторожно отодвинула стул, встала. Анатолий приподнялся на локте, сонно улыбнулся.

— Я говорил, дождусь.

— Нет, нет, я еще буду читать, — испуганно сказала она.

Анатолий чмокнул губами что-то неодобрительное и опустился на подушку.

Она простояла в каком-то оцепенении несколько минут, пока не поняла: спит. «Неужели это может тянуться бесконечно?» Постелила на диване и погасила настольную лампу. Завтра много дел в школе, нужно поскорее уснуть.

Мила закрыла глаза и сразу же провалилась в пустоту.

Паук в каракулевой папахе ловко раскачивался на паутине; его глаза зло вспыхивали. Неожиданно он бросился и схватил висевшее на гвозде солнце. Она присмотрелась. Оказалось, это огромный апельсин. Паук тянул из него сок, и апельсин становился меньше и меньше.

«Вот и все, — тоненько засмеялся паук. — Больше высасывать нечего».

На шкафу зазвенели хрустальные вазы. В кактусе оказался колокольчик. Все звенело и прыгало. Мила, испуганная, села на диване.

— Что случилось?! — крикнула она.

— Что случилось?! — еще громче закричал Анатолий.

В квартиру звонили. Мила набросила халат и побежала в переднюю.

— Кто там?

— За Анатолием Николаевичем. Борисов послал.

— Минуточку. Он сейчас...

Анатолий сел на кровати и громко зевнул.

— Чертова жизнь! Скорее бы отсюда уехать. Ни ночью, ни днем нет покоя. Дежуришь, не дежуришь — все тебя тащат. Платить — шиш, а словечко подберут милое — «ваш долг». Будто человек всю жизнь должен.

Он все еще сидел на кровати, сонно уставившись на брюки.

Она повернулась к стенке, натянула одеяло на голову.

«Спать, спать... — убеждала она себя, слушая, как ворчит муж. — Ты же сама хотела стать его женой. Думала: он сильный и умный. Ему нужна помощница. Вот и будь помощницей. Встань, вскипяти чай. Пожалей его. Он сейчас выйдет на улицу. Там холодно. Потом будет оперировать. Наверно, ночью нелегко оперировать? Что же ты не жалеешь?..»

Наконец он пошел мыться. Мила слышала, как он фырчит, обливаясь водой, а потом шумно вытирается полотенцем. «Неужели будет пить чай?» — подумала она и услышала чирканье спички.

— Впустил бы водителя.

— Ничего, подождет.

Громко причмокивая, он тянул чай. Ей хотелось вскочить с дивана, крикнуть: «Убирайся!»

«Ах, если бы уехать отсюда домой! — подумала Мила. — В Ярославль. Начать жизнь иначе...»

Хлопнула дверь. На лестнице затихли неторопливые шаги...

Глава десятая

Я вошел в комнату. Не снимая пальто, собрал со стола тарелки и смел крошки. Лунин спал на кровати, укрывшись двумя одеялами и положив под голову обе подушки. Скомканная простыня валялась на диване.

Я постелил простыню и подошел к Лунину. Разговаривать не хотелось, и я осторожно, чтобы не разбудить его, потянул одеяло. Лунин открыл глаза.

— Ты что?

— Хочу взять одно одеяло.

— Почему?

— У вас два.

— Черт знает что! — выругался Лунин и закрылся с головой.

Я стоял над ним, не зная, как быть. Объясняться из-за пустяков? Все, что произошло час назад, было для меня значительно серьезнее. Я кинул на диван пальто. А может, и для него важно случившееся в больнице? Какое у меня право думать иначе? Я потряс Лунина за плечо.

— Прооперировали больную. Оказался тяжелый панкреатит.

Лунин зашевелился, что-то промычал.

— И все из-за морфия. Смазал картину.

Он сел на кровати и испуганно поглядел на меня.

— Хорошо, что мы написали «обязательно наблюдение»...

Я укрылся пальто и долго лежал на спине, положив руки под голову. Лунин прав: это не его ошибка, а «наша». «Мы» написали: «обязательно наблюдение».

Я вздохнул. Разговор с Дедом и злорадный, почти победный блеск в глазах старика — все это отпечаталось в памяти.

— Пьян? — спросил Дед.

— Чуть-чуть, — сказал я.

— Действительно, — сказал Дед и сморщился, точно его ударили. — А почему же не выпить? На работе спокойно. Тяжелые больные спят под морфием. А чем они болеют, покажет вскрытие... Да?!

По моей спине ползли мурашки.

— Марья Михайловна! — крикнул Дед. — Вызовите Пискарева! Я не могу допустить Дашкевича к операции.

— Разрешите уйти? — у меня не было сил посмотреть на Борисова.

— Нет, зачем же? — Дед развел руками. Ему, видно, доставляло удовольствие поиздеваться надо мной. — Вы уж не спешите. Сделайте одолжение, посмотрите операцию. Вот табуреточка. Наденьте халат и посидите в углу. Только без песен. Песни споете дома.

Я вздохнул. Даже вспоминать об этом было тяжело и больно. И главное, Борисов прав. Еще бы немного — и смерть. Диагностическая ошибка. Невинное заблуждение доктора.

Я, наверное, застонал бы, если бы рядом не спал Лунин.

...Когда я проснулся, Лунина уже не было. На столе лежала тонкая зеленая брошюра, забытая им. Я встал разбитый и невыспавшийся. О предстоящей встрече с Дедом было страшно думать. Простит ли он?

Я подошел к столу и прочел название брошюры: «Л. К. Лунин. Рациональное питание. 1962 г.».

Открыл первую страницу и только тогда сообразил — это подарок автора.

«Уважаемому хозяину с благодарностью за приют. Надеюсь, не в последний раз. Лунин».

Я перелистываю страницы. Цитаты, выдержки из разных трудов и даже из поваренной книги.

Да, наука движется семимильными шагами, это стоит признать.

Я бросил книжку на стол. Она упала ребром и перевернулась обратной стороной обложки. В верхнем левом углу красным шрифтом было напечатано:

«НОВАЯ ЦЕНА — 6 КОПЕЕК».

Глава одиннадцатая

Начало апреля. Корочка льда, раздавленная ночью машинами, так и не затянулась. Зима уходит, и лужицы лежат в снежных лунках, точно в эмалированных мисках. И неважно, если в календаре отмечено, что апрель — второй месяц весны, для нее не существует календарей. Для весны есть один день, может, в апреле или марте, первое или двадцатое, но какой-то определенный день, когда все вокруг сразу оживает.

Около четырех часов я вышел на улицу. Какое-то волнение завладело мной. Что это?

Я спрыгнул с крыльца, перемахнул через канаву и остановился: «Врач должен держаться солидно! Врачу нужно ходить медленно!» Но нет! Это были не спокойные шаги человека, у которого все позади, кроме очередной зарплаты. Неужели когда-нибудь во мне возникнет безразличие к этому весеннему шуму?! Неужели когда-нибудь мне ничего не захочется и я удовлетворюсь хорошим окладом и квартирой, заваленной барахлом?!

Нет, нет, нет!

Я не заметил, как подошел к школе. По дороге носились ребята, свистели и размахивали портфелями. Снег был мокрый, такой, каким ему положено быть весной. Я собрал пригоршню, сваял снежок и бросил в воздух. Потом побежал вперед и поймал снежок у самой земли.

Быстрее, еще быстрее! Я спешил. Во мне словно бы рождалось предчувствие чего-то хорошего.

И тут я заметил Милу. Она шла устало, немного сутулясь.

Я догнал ее, пошел сзади, долго не решаясь окликнуть. Наконец она обернулась.

— Здравствуйте! — выпалил я.

Радость в ее глазах сменилась растерянностью.

— Здравствуйте.

Она протянула мне руку.

— Удивительный день сегодня, правда? — почти кричал я, теряя над собой контроль. — Я так и знал, что у меня что-нибудь произойдет.

— Что же произошло?

Я опешил:

— Ничего.

Ее вопрос подействовал на меня отрезвляюще. «Так тебе и надо, — я мысленно ругал себя. — Кто дал тебе право думать, что она к тебе равнодушна? Может, об этом сказал Анатолий?» Вид у меня, кажется, был преглупый. Мила улыбнулась. А я не знал, о чем еще говорить.

Она медленно пошла вперед.

— Мы скоро уезжаем, — наконец сказала она.

Я остановился.

— Как уезжаете? Куда?

— В Ленинград. Сегодня подали заявление об уходе.

— Так внезапно?

— Почему внезапно? Мы думали об этом раньше.

Я чувствовал себя идиотом. Почему мне казалось, что я ей нравлюсь? Мы встречались на улице, на лыжной прогулке в лесу, «случайно» в кино, и каждый раз я возвращался домой обнадеженный. Сколько раз мне хотелось поговорить с ней! Сказать: плюньте на своего мужа, вы мне нравитесь. Но я чего-то ждал, откладывал на завтра то, что, казалось, давно пора было сделать сегодня. Теперь я оценил свою нерешительность иначе. Да, я боялся отказа. Холодной усмешки, которая сейчас мелькнула на ее губах. Ну что ж, Дашкевич, с сегодняшнего дня можно начать играть в карты. Если верить приметам, меня ждет прибыль. Я как-то жалко произнес:

— Желаю успеха. Вам понравится Ленинград.

— Может быть.

— До свидания.

— До свидания.

Комедия, да и только! Интересно бы поглядеть на себя со стороны. Я в нокауте. И если бы Анатолий был здесь, он мог бы выносить мое тело с ринга.

— У нас в субботу гости, — сказала Мила. А мне хотелось ей крикнуть: «Эй вы! Потихе на поворотах! Лежачего не били даже в древнем Риме!» Но я опять улыбнулся. — Хотим устроить отвальную. Приходите.

Прекрасно! Мне, кажется, еще чего-то недостает для полноты впечатлений.

— Приду, — сказал я, прикладывая руку к сердцу на ма-

нер блистательного кавалера. Ай да я! С такой выдержкой можно идти в контрразведчики.

Мы пожалали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я совсем не знал, что делать и куда идти. Я потерял ориентировку. Может, все-таки догнать ее и поговорить? Но о чем? Неужели тебе хочется еще десять минут позора? И все же я крикнул ей вдогонку:

— Вы что же, и учебного года не закончите?

Она остановилась, поглядела на меня, как на ребенка.

— Нет.

Я свернул за угол, потом еще за угол, потом еще и еще. Я ходил по поселку как слепой, с кем-то разговаривал о здоровье, потом с кем-то о болезни, кому-то, положив на спину рецепт, выписал викалин и, наконец, пошел в столовую. Дикое чувство голода появилось у меня. И, может быть, впервые за два часа ко мне стал возвращаться юмор. «В прошлом веке в такие моменты пускали себе пулю в лоб, а я всего лишь проголодался».

Мое место было у окна. Я позвал официантку и заказал два первых и два вторых.

— Вы кого-то ждете? — спросила она.

И я с интонацией, которой позавидовал бы трагик Мамонт Дальский, произнес:

— Мне некого ждать, дорогая!

Народу было много. В помещении стоял однотонный гул.

— У тебя свободно? — спросили рядом.

Я боялся поднять голову. Комедия продолжалась. Нет, это уже был фарс. Пискаревы сегодня преследовали меня. Вот когда я понял народную сказку про ежей и зайца: как бы заяц ни бегал, ежи приходили к финишу первыми.

— Свободно, свободно! — сказал я, приглашая Анатолия сесть. — Тебе уже заказан обед. И первое и второе.

Он поглядел на меня как на сумасшедшего, но все же спросил:

— Откуда ты знал, что я приду?

— Увидел в окно, — я широким жестом показал на улицу.

Он ничего не ответил, и мы оба как по команде забарабанили пальцами по столу.

— Честно скажи, — произнес я, — ты впервые, наверно, в столовой?

— Возможно. — Анатолий нервно или что-то рёшал.

— А когда ваш отъезд?

Анатолий даже поперхнулся.

— Откуда ты знаешь?

Я хитро улыбнулся и подмигнул. Это означало: я все знаю, что происходит в Валунце. Он побледнел.

— Да, уезжаем. Пора в пенаты. Как в «Пиковой даме»: «Сегодня ты, а завтра я».

Мы помолчали.

— Как-то у нас с тобой неудачно получилось, — снова заговорил он. — Я всегда жалел. Однокурсники. Работаем вместе три года, а почти не встречались. Ну, в Ленинграде наладим. Ты же отличный парень.

Новая волна горечи нахлынула на меня. Я оставался совершенно безразличен к Анатолию, к его излияниям в мой адрес.

— Не знаю, — наконец произнес я.

— Это, пожалуй, лучше, когда мало знаешь о себе.

Официантка расставила тарелки.

Анатолий, кажется, был рад нашей встрече. Его глаза блеснули.

— Жизнь — хитрая штука! — сказал он и снова принялся за щи.

— Чем?

— Вот я знаю тебя и не знаю. Мы вообще ничего не знаем. Думаешь, понятен тебе человек, а он такое ахнет — за голову схватишься.

Я насторожился. Что-то подсказывало мне не перебивать, слушать, быть чуточку расчетливее.

— ...А бывает так, брат Гошка. Живет человек — может. Строит крепость. Рвы роет. Воду наливает. Делает разные штучки-дрючки для пущей неуязвимости. А потом, глядь, — человек, которому он этот замок создавал, стоит по ту сторону рва, а мостов нет.

Он стукнул кулаком по столу так, что тарелки подпрыгнули и зазвенели. Официантка подхватила их и поставила второе. Я вдруг понял, о чем он говорит, перегнулся через стол и притянул к себе Анатолия за лацкан.

— Расходитесь с Милой?!

— Пусти, — сказал Анатолий. — Я знаю, ты не трепач.

Он тяжело вздохнул.

— Та девчонка, что из Ленинграда к тебе приезжала, пишет?

— Иногда.

— Хорошая девчонка.

— Не знаю.

— А не знаешь, так не женись.

Анатолий вдруг сморщился и вытер рукавом слезы. Я встал.

— Пошли домой.

Я шел с Анатолием, а сам думал о Миле. Ничего путевого в голову не приходило. Как быть? Где встретиться? И потом, какие у меня основания считать, что она меня любит? (Это слово так неестественно прозвучало для меня.)

Я довел Пискарева до палисадника и быстро пошел домой.

В ящике лежали газеты и опять письмо от Зойки. Я вскрыл его. Зойка писала:

«Я ждала, что ты объяснишь свое бесконечное молчание, но, к сожалению, ты никогда не оправдывался.

Я хорошо представляю опасность этого разговора: ты не сумеешь соврать. Ну и не нужно. Мне все равно необходимо поговорить с тобой, Гошка.

О чем?

Это трудный вопрос. Может, ни о чем, а может, и обо всем... Мне, например, важно рассказать, что я недавно перечитывала твои письма и ревела. Да, представь себе, что и я могу быть чувствительной. Ревела, потому что завидовала каждому слову, всей этой чепухе, о которой ты пишешь, которая год назад казалась мне ханжеством и демагогией «всемирного страдальца», впитывающего в себя боль других. А вот теперь реву, злюсь, завидую, что у тебя есть работа, дело всей жизни, а у меня — ничего. Разве может нравиться дело, в котором ты сам не совершаешь ни одного самостоятельного шага, не принимаешь ни одного решения? Когда после рабочего дня, состоящего из бесконечной писанины, ты не знаешь, куда деть энергию, а кино и филармония — это, оказывается, так мало, и ты готова строить из кубиков домик, лишь бы своими руками, самой?

Может быть, это очередной психоз? Но ведь если не семья, не работа, не искусство — тогда что? Не знаю. Ничего не знаю. Я представляю твою скептическую улыбку. Ага! Сообразила. Ну что ж, может быть, и так.

В Ленинграде жизнь движется по-старому. Иногда вижу Стасика. Он похудел и смахивает на черта. Сказал, что с наукой не ладится, что-то заело.

На колени залез кот Чика, мурлычет, трется, передает тебе привет. Он уже совсем старый, даже старше меня.

Сегодня, как никогда, мне хочется приехать к тебе. Прости за сумбур.

Я не могла не написать, не услышав от тебя «нет».

Госшка, не будь гадом! Не заставляй еще раз тратить чернила. Правда лучше кривды.

Зоя».

Я отложил письмо и увидел, что на полу валяется еще одна страница.

«Два дня не отправляла письма. Боялась, что написала чушь. Перечитала, и оказалось, что написанное терпимо.

Сегодня придумала философскую притчу. Как она тебе понравится?

...Человек свалился в колодец, тонет и кричит: «Помогите!»

Подожел путник, посмотрел с удивлением вниз и спрашивает:

«Что ты там делаешь?»

«Тону! Помог!»

«А если бы меня не было, тогда как бы ты вылез? Нет, если бросить веревку, то ты никогда не научишься вылезать самостоятельно».

И ушел...

Все время думаю, будет ли от тебя письмо. Даже представить себе не могла, как трудно без твоих писем».

Я разорвал листки и бросил их в печку.

Анатолий поднялся на второй этаж и отпер дверь. Милы не было дома, но она приходила и опять ушла. Ему казалось, что без нее комната стала больше и глубже, будто вынесли вещи. Он подошел к окну и взял в руки кактус. Его так и не пересадили. Кактус желтел.

«Гибнет! — думал он. — Кактус тоже гибнет».

Анатолий поставил кактус на место и подошел к зеркалу. Из дверцы шкафа на него смотрел незнакомый человек.

— Какой я маленький! — пожалел он себя, ложась на диван.

Зеркало напротив все время мешало ему.

Анатолий поднялся, снял покрывало с кровати и завесил зеркало.

Глава двенадцатая

— Анатолия, наверно, пыльным мешком стукнули, — сказала Марго. — Они точно на Чукотку собрались, а не в Ленинград.

— Тебе все кажется, — угрюмо возразил я. — Анатолий очень веселый.

— Вы одинаково жизнерадостны. — Марго огляделась и таинственно шепнула: — У них что-то произошло.

Подошла Мила. Марго открыла альбом с фотографиями, который лежал на тумбочке.

— Это твой класс?

— Да.

— А впереди отличники?

— Отличники.

— С детства в президнуме, — сказал я. — Если мой сын будет отличником, то я объясню ему: так делать нехорошо. Я еще пытался острить.

— Дилетант! — закричала Марго. — Что ты понимаешь в воспитании?

— По-моему, это вполне логично. Ребенок должен чем-то увлекаться, а если маленький человек долбит с одинаковым усердием все предметы от арифметики до пения, это будущий чиновник.

— Выведи его в коридор! — взмолилась Марго. — Это социально опасный тип! Он разлагает меня как мать! А тебя — как учительницу!

Мила улыбнулась, но ничего не ответила.

— Товарищи! Прошу внимания! — Сидоров стоял с поднятой рюмкой. Он откашлялся, терпеливо ожидая, когда утихомирится молодежь.

— Производственных вопросов в моем тосте не будет. Да и что такое успехи в работе без... любви?

— Золотые слова, — буркнул я и поставил рюмку.

— Ничто. Поверьте моему опыту.

Мне захотелось разозлить его, и я спросил:

— Административному?

Сидоров засмеялся, но не так легко и громко, как раньше, а уже из вежливости.

— Ха-ха-ха. Че-ло-ве-че-ско-му! Так вот, — он вновь повернулся к Пискаревым, — дорогие Людмила и Анатолий! Желаю вам столько же семейного счастья в Ленинграде, сколько вы его имели здесь!

Этого даже я не ожидал. Мила схватила со стола пустые тарелки и быстро вышла на кухню. Анатолий побледнел, но все же улыбнулся и выпил.

Возникла тишина. Сидоров удивленно огляделся и, чувствуя какую-то неловкость, подошел ко мне.

— Положение на Востоке вызывает у меня серьезные опасения. На месте их лидеров я бы...

— Да, вам не повезло, — сказал я.

Глаза Сидорова стали колючими. Такие люди нелегко забывают подобные «шутки».

— Должен вас огорчить, Георгий Семенович, вы себя переоцениваете.

Он резко повернулся и громко сказал:

— Ах, Анатолий Николаевич! Вас-то мне терять не хотелось. Оставайтесь, а? Другого бы с удовольствием отпустил...

Мне были безразличны его прозрачные намеки. Я вышел на кухню. Мила вытирала посуду, повернулась, поглядела на меня. Что она хотела сказать в эту секунду? Не знаю. Я почувствовал, как заняло у меня сердце.

А если сейчас взять и выложить ей все? Сумасшествие? Но тогда где и когда можно сказать такое?

Я как-то боком прошел мимо нее, открыл дверь в коридор и сразу же увидел Деда. Он сидел на подоконнике, курил. Я присел рядом.

Его опять захлестывала пронизательность.

— Что с тобой? — спросил он. — Угрюмый, желчный...

— Завидую.

— Кому?

— Пискареву. Он поступает в аспирантуру, а я нет. Наука в наше время дает человеку возможность завоевать достойное место в обществе, а так мы с вами только человеко-единицы в номенклатуре облздрави.

Дед хмыкнул. Похоже, что мои сентенции доставили ему удовольствие.

— Ничего, не огорчайся. У тебя еще не все потеряно.

— Куда мне! — сказал я, продолжая думать о Миле. — У меня руки впереди головы, сами говорили.

— А между прочим, я давно собирался побеседовать с тобой об этом...

Я совершенно позабыл, о чем, и даже вздрогнул. Откуда он знает о Миле?

— О чем? — осторожно спросил я.

— О твоём будущем... о науке.

— Какой науке?

— Сегодня ты поразительно логичен, — сказал Дед, и я понял, что он улыбается. — Все-таки попробуй меня выслушать. По-моему, у практики есть один выход — в науку. Когда-нибудь ты почувствуешь, что тебе чего-то не хватает в жизни.

— Гадаете?

— Нет, знаю.

— Три года назад вы считали иначе.

Дед засмеялся, обнял меня и притянул к себе.

— Заблуждался. Старости свойственна дальновзоркость, но это, к сожалению, совсем не преимущество перед нормальным зрением. Вдаль видно, а рядом кажется туманным.

— И все-таки тогда вы были больше правы. По-моему, очень скучно стричь и клеить чужие статьи, чтобы потом получить титул ученого и быть «не хуже других».

— Нельзя мешать все в одну кучу, — сказал Дед. — Если слушать тебя, то легко подумать, что медицина стоит на месте.

— Вы не очень ошибаетесь. Я сдавал экзамены по книгам, по которым учился мой отец.

— Экзамены можно сдавать и по учебникам девятнадцатого века, если рассказывать о работах Мечникова, Пирогова или Пастера.

Борисов затаился и выпустил кольцо дыма.

— Перед тем как приехать сюда впервые, мы были у Семашко. Он предложил три села: в одном трахома, в других — оспа и сифилис. А теперь? Говоря фигурально, порядочной заразы не найти.

Голос у Деда был хриплым, и в полумраке коридора сам он смахивал на пророка, который только и умеет говорить мудрые слова.

— ...В двадцать семь лет мы игнорируем историю. Нам кажется, что история зародилась только сегодня или в лучшем случае вчера. Но в шестьдесят два понимаешь, что твой возраст и твой стаж — это тоже история. И когда анализируешь прошедшее, удивляешься, какой огромный пласт поднят наукой.

— Вы говорите о десятилетиях.

— Я говорю об одной жизни.

— Но вы? Почему вы тогда отстранились?

Дверь открылась. Видимо, на кухне устроили сквозняк. В комнате играла музыка, но никто не танцевал. Сидоров тряс руку Анатолию. Около окна стояла Мила. Она услышала скрип открывающихся дверей, оглянулась. Увидела ли она меня? Вряд ли. В темноте она могла различить лишь силуэты двух человек. Но Мила улыбнулась, беспомощно и неуверенно, точно извинялась за весь этот маскарад, придуманный Анатолием только для того, чтобы скрыть истину.

Я смотрел на Милу и не слышал последних слов Деда. Да и какое значение в такой момент могли иметь его слова?

Я знал, что должен поговорить с ней о чем угодно — о погоде, о милиции, о наводнении в Индии, но только поговорить.

— Пора уходить, — сказал Дед. — Нужно прощаться. — Он поднялся, взял меня под руку.

Мы так и подошли вместе к ней.

— Вы уже уходите, Александр Сергеевич? — испугалась Мила и поглядела на меня. — Оставайтесь.

— Нет, мне пора.

Я торопливо искал слова, придумывал, что бы сказать такое... такое... И спасти положение. Еще секунда, и я должен буду уйти.

— А вы нас не проводите? — сказал я.

Борисов скосил глаза в мою сторону, улыбнулся, но промолчал.

— Проводить Александра Сергеевича? — неуверенно сказала Мила. Она повернулась к гостям. — Я провожу Александра Сергеевича. Я ненадолго.

Я испугался, что Борисов откажется, но он вдруг сказал:

— Проводите... А то что-то плохо себя чувствую...

Черт побери, как я любил Деда в этот момент! Он — человек, мой Дед. И пусть я провалюсь на этом месте, если когда-нибудь ему изменю!

Мы отошли в сторону от дома Борисова и попали в полосу лунного света. Мы чувствовали себя скованно, и теперь нам мешал даже этот серебристый поток. По черному небу чиркнул метеорит.

Он летел по своей короткой траектории и точно говорил всем, кто наблюдает его: «Спешите, ищите правильный путь. Жизнь коротка, но нужно прожить ее ярко».

— Эта штука не догадывается, что скоро перестанет быть интересной, — сказал я.

— Кто?

— Луна.

Боже, как нам трудно было преодолеть целый забор условностей, чтобы сказать то, что действительно волновало обоих.

— У меня в классе есть Смирнов: он бредит лунными книжками.

— Отличник?

— Что вы! Ему некогда учить уроки. Он чертит космические карты.

— Тогда его нужно готовить к полету на Луну или на какую-нибудь звезду. Вот, например, на ту, что подмигивает.

Клянусь, глупее я еще никогда ничего не говорил! Из головы словно бы вычерпали все мысли.

Мила засмеялась. Оказывается, в моих словах ей почудился юмор.

— Почему вы уезжаете? — спросил я и сразу же понял, что это конец всему: моим ожиданиям, неопределенности, которая дает человеку надежду.

Мила ответила не сразу.

— Анатолий хочет поступить в аспирантуру.

Вранье! Ох, какое это было вранье! Я не мог уже остановиться. Нужно было действовать ва-банк: все или ничего.

— Вы расходитесь.

Я испугался своего голоса, чужого, хриплого.

— Мне стыдно за сегодняшний вечер, — тихо сказала она. — Как-то унизительно... А потом эти тосты... и вы...

— Я?

— Вы все знали. Я чувствовала.

— Не уезжайте, — почти крикнул я. — Пусть он едет один. А вы останьтесь. Вы же привыкли к ребятам... к поселку... — Я опять говорил чушь, совсем не то, что должен был сказать.

— Я не могу остаться, — наконец сказала она.

— Почему? Почему не можете?

Я положил руки на ее плечи и заставил посмотреть мне в глаза. «А для чего оставаться? — говорил ее взгляд. — Что меня здесь ждет?» Но она сказала:

— Меня никто не поймет. Сколько будет разговоров: учительница разошлась с мужем!

Мне хотелось сказать ей о своей любви, о том, что уже давно, еще с той самой истории с Глебовым, я думаю о ней, но я опять сказал другое:

— Ерунда! Значит, по-вашему, лучше обманывать себя и своих знакомых? Вы же его не любите!

— Мне нужно уехать, — повторила Мила. — Я поеду к маме в Ярославль и проживу там.

— Но вы вернетесь?

Я еле произнес эту фразу. Это был конец, конец глупым ожиданиям.

— Не знаю...

— Мне это важно, — настаивал я. — Я должен знать.

Мила подняла глаза. Нет, я ни в чем не ошибся. Все, о чем мы говорили, не имело никакого смысла по сравнению с тем взглядом, который увидел я.

— Зачем?

— Я буду ждать тебя.

Я не мог произнести «вы». Мила отступила в сторону.

— Понимаешь... — почти обреченно сказала она. — Я должна поехать к маме...

Ее губы были горячими и мягкими, а слезы солеными-солеными.

— Понимаешь, — шепотом повторила она, — я должна уехать. Разве у тебя не было такого... когда больше всего нужна мама?

ЧАСТЬ II

Глава первая

Зав. кафедрой патологической физиологии Яков Романович Палин сидит за столом спокойный и невозмутимый. В руках Палина роговые очки, периодически он щелкает дужками, и это, пожалуй, единственное, что выдает напряженность беседы. Собеседник Палина — профессор кафедры хирургии Михаил Борисович Незвецкий, худой, нервный; он шагает по кабинету, резко поворачиваясь у стенки, и бросает взгляды на Палина. В стороне от профессоров, точно отражение своего спокойного шефа — патофизиолога Палина, сидит аспирант Станислав Корнев.

— Как научный руководитель, — говорит Яков Романович медленно и поглаживает рукой по бритому черепу, будто одобряя себя, — я больше не имею права поддерживать эти эксперименты. Достаточно года; потерянного Станиславом Андреевичем Корневым при нашем обоюдном попустительстве. Ясно, что диссертационного плана мы уже выполнить не сумеем. (Лицо Незвецкого скривилось, как от зубной боли.) Вы не хотите согласиться? (Яков Романович щелкает очками, отсчитывает три раза.) Хорошо. Давайте подумаем, в чем можно обвинить кафедру. В косности? Нет. Мы разрешили заниматься Корневу проблемой, которая нужна кафедре хирургии (он подчеркнул «хирургии»), хотя знали, что аспирант не закончил своей плановой работы. Может быть, мы не создали условий? Нет. Институт выделил деньги и аппаратуру. Кроме того, месяц назад Корнев ездил в Москву, чтобы встретиться на симпозиуме гистохимиков с профессором Ивановским. Мы надеялись (он опять подчеркнул это слово), надеялись, что мысли Ивановского окажутся более результативными, но увы...

Палин откинулся на спинку кресла и надел очки.

— Я... много думал о неудачах. И пришел к выводу, что виноваты в них только мы с вами. Да, да. Мы поручили

человеку дело, которым обязана была заниматься, при поставленных сроках, целая кафедра. И, пока у нас еще есть время, нужно не только освободить Станислава Андреевича, но и создать ему условия для написания плановой работы.

— Корнев не ребенок, — сказал Незвецкий и пристально посмотрел на него, видимо ожидая поддержки. — Месяц назад он говорил мне, что все должно получиться. Я изучал вопрос — это посылно одному. Конечно, заставлять я не имею права, но должен повторить, что проблема, над которой он работает, имеет практическое значение: сейчас от нее зависит судьба многих больных.

Палин вздохнул, и на его лице появилась скептическая усмешка.

— Вам, Михаил Борисович, сорок пять, а мне на двадцать лет больше. И, знаете, я уже не загораюсь от лозунгов. Я уверен, что, когда человек собирается открыть Америку, решить сразу несколько проблем, он вообще ничего не решает. Люди все равно будут огорчаться, страдать, умирать, и если вы думаете иначе, то это уже научная фантастика, но не наука.

Незвецкий хотел возразить Палину, но удержался.

— Хорошо, — наконец сказал он. — Пусть не Корнев, дайте другого аспиранта. Я объясню ему, что на операционном столе больные гибнут от шока, а в клинике есть препарат, способный предотвратить катастрофу. Нам нужно узнать, не имеет ли препарат побочных действий — не угнетает ли он тканевое дыхание.

— К сожалению, у меня нет такого человека, — вздохнул Палин. Лицо выражало искреннее сочувствие: он не мог ничего предложить.

Стасик в первый раз с интересом посмотрел на обоих профессоров. И Палин и Незвецкий спорят в его присутствии уже час. Одного волнует план кафедры — вовремя сданная диссертация, а другому на чужую диссертацию как раз наплевать. Год назад Незвецкий легко уговорил Палина и Стасика проверить новый препарат. Но работа так затянулась, что под угрозу встал текущий план.

«Действительно, почему у одних все идет гладко, а у меня что-то обязательно случается? — думал Стасик, наблюдая, как мечется по кабинету Незвецкий. — Вот Валя Шаронова. Вместе пришли на кафедру, одновременно получили тему. Все по плану: в первый год кандидатские экзамены, на второй — эксперимент, сейчас третий год аспирантуры, и она пишет диссертацию. И шеф доволен».

Стасик старался не глядеть на Незвецкого. «А я? — продолжал рассуждать он. — Экзамены и эксперимент полтора года, литературный обзор полгода — тут бы и писать, так нет... Появилась тоска по мировым проблемам. Диссертацию побоку, а сам, как жук на спине, кручусь вокруг своих же ошибок. Палин прав: нужно думать о себе».

Стасик даже сам удивлялся, как спокойно текут его мысли, как все просто встает на свои места.

«Вот напишу диссертацию, получу место научного сотрудника, а там можно заниматься даже «вечным двигателем».

— ...Слушайте, Палин, — донеслось до Стасика, — что мы спорим? Давайте спросим у Корнева, будет он продолжать эксперимент, от которого зависит судьба больных, или выберет иное...

«...От которого зависит судьба больных», — мысленно передразнил Стасик и посмотрел на Незвецкого. — Демагог вы, Михаил Борисович, но я не карась, и на крючок меня не подцепите...»

— Должен несколько разъяснить смысл вашего вопроса. — Яков Романович Палин опять защелкал дужками очков. — Скоро распределение. Если Станислав Андреевич не успеет за оставшееся время написать диссертацию, то может оказаться в чрезвычайно трудном положении. На расстоянии руководить невозможно.

«Значит, так, — про себя повторил Стасик. — Не напишу, не защищу... И этот проклятый окислительный фермент — есть он или нет! — это еще тоже бабушка надвое сказала. Год не получалось, и сейчас надеяться не на что».

Он приоткрыл папку, в которой были протоколы опытов, и стал перебирать бумаги. Сверху лежало письмо от Гошки. Стасик прочел последние слова: «Жми, дави!»

«Вот и жми, — подумал он. — Тоже мне оптимист! Хорошо жать в Валунце, когда знаешь, что все идет как по маслу. А тут и диссертация горит, и с совестью вроде бы не полный порядок...»

— Видите ли, — начал Корнев, — я перепробовал десятки вариантов, но ничего не получается...

— Но у Ивановского получалось, — сказал Незвецкий. — Вы раньше не сомневались в этом.

— Ах, Михаил Борисович! — вздохнул Палин. — К сожалению, в науке не у всех авторов получается одинаково. Я не сомневаюсь в порядочности Ивановского, но некоторые вещи трудно объяснить.

— Отказываетесь, Корнев? — глядя в упор, спросил Незвецкий.

— Угу, — кивнул Стасик и опустил глаза.

— Тогда нечего спорить, — сказал Незвецкий. — Нечего зря морочить голову и терять дорогое время.

— Зачем так? — улыбнулся Палин. — Станислав Андреевич поступает логично, как подсказывает здравый смысл.

— Здравый смысл? — засмеялся Незвецкий. — Я-то как раз предполагал, что у него нет этого «здроваго смысла».

— Есть, и немало, — назло по-детски сказал Стасик.

Незвецкий толкнул дверь, она открылась с шумом и сразу же захлопнулась за ним.

— Молодец! — сказал Палин. — Веди себя мужественно. Тактика Незвецкого опасна, она способна увлечь. А ведь в действительности он думает только о себе. Ему безразлична ваша диссертация. Даже больше. Я думаю, он считает ее ерундой. (Стасик вздрогнул и испуганно, точно его в чем-то разоблачили, посмотрел на шефа.) Ну, идите работайте...

Стасик вышел в коридор. Около лаборатории он остано-вился, вспомнил, что в термостате стоит препарат — нервная ткань, — приготовить который было не так-то просто, но тут же решительно махнул рукой. «Нечего возвращаться к тому, что уже перечеркнуто».

Он выбрал в институтском саду отдаленный уголок и сел на скамейку, еще мокрую от дождя.

«Все ли я продумал, отказываясь от работы, на которую потрачено столько сил? Неужели ошибка в методике определения фермента, а не в идее? Ивановский же настаивал на этом. Может, еще раз проверить все?..»

Ему стало страшно от одной мысли о проверке. Целый год как проклятый он не вылезал из лаборатории, варьируя методики. Это было скорее ожесточение, а не упрямство. «Хлюпик, — выругал себя Стасик. — Отказался — и баста. Нечего переживать. Палин — умный старик и плохого не посоветует».

Стасик опять открыл папку, развернул письмо Гоши.

«Тоже мне друг! — с обидой подумал он. — Я ему пишу, советуюсь, а он молчит. Его это не касается... хотя... А может, Гошка не пишет об этом специально? Ждет, как я решу сам?»

Теперь он был уверен, что невмешательство Дашкевича иначе не объяснишь. «Но как же решить?»

«Может, напутал Ивановский? Может, он шарлатан, а я доверяю его данным?»

— Нет, — сказал Стасик. Ему стало даже страшно от этой мысли. — Нет. Он не шарлатан. Он сказал, что мои расчеты правильны...

Стасик бросил на скамью папку. Он вспомнил, сколько потребовалось настойчивости, чтобы добиться от директора института командировки в Москву на симпозиум гистохимиков. Туда из Новосибирска должен был прилететь профессор Ивановский.

Сейчас даже смешно представить, как волновался Стасик перед встречей, как стоял около номера гостиницы и мысленно перечислял все вопросы, которые хотел выяснить.

Ивановский оказался совсем иным, чем представлял себе Стасик. Это был маленький толстяк, небритый, лысый, чем-то напоминающий ежа.

— Корнев, — представился Стасик и первый протянул руку.

— Очень рад, — сказал Ивановский и весело подмигнул. — Не спешите?

— Нет, нет.

— Тогда все в порядке, а то я, честно сказать, еще не мылся.

Он буркнул что-то вроде «садитесь» и скрылся в ванной. Стасик рассматривал маленький номер. Кровать была не застлана, а настольная лампа повернута к изголовью — видимо, профессор ночью читал.

Ивановский выкатился из ванной уже одетым. Галстук сполз немного в сторону и расслонился на животе двумя закрученными хвостами. Профессор повернулся к зеркалу и, не увидев ничего необычного в своем туалете, облегченно вздохнул.

— А теперь завтракать.

Официант, слегка подпрыгивая, отошел от стола. Не так уж много людей знает, что нужно заказывать. Иногда подходишь по нескольку раз, пока человек скажет, что он хочет съесть, а этот нет, ходит сюда третий день, но зато сразу вызвал симпатию.

Ивановский откинулся на спинку стула и сложил руки на животе.

— Выкладывайте.

Стасик осмотрелся. Разве можно здесь, в ресторане, говорить о вещах, которые тебя мучили днями и ночами, о разочарованиях, из-за которых опускались руки, появлялось желание плюнуть на всю эту науку, трудную и неблагодарную? Командировка кончилась два дня назад, а Ивановский его не принимал: куда-то ездил. Стасик понимал, что беседа может быть короткой, дело не во времени — нужен серьезный разговор.

— Слушаю, — нетерпеливо повторил Ивановский.

Стасик начал неохотно. Он уже не думал о впечатлении, которое произведет. Ивановский сидел напротив, кивал головой, а сам смотрел в сторону, и Стасика раздражал этот ресторан, деревянные люпиты на эстраде, суета официантов. Он с удовольствием бы говорил с профессором о правильном питании, о необходимости иметь стул по утрам, но только не о неудачах.

Слушает ли его Ивановский? Интересно ли ему то, что сделал Стасик в Ленинграде? Кажется, нет.

Они вышли из ресторана, поднялись на третий этаж гостиницы и опять петляли по длинному коридору.

У дверей номера Ивановский пропустил Стасика вперед, запер ключом двери и тяжело уселся в кресло.

— Все очень интересно, дорогой мой.

Стасик пожал плечами.

Ивановский расстегнул ворот рубашки и стянул галстук. Неожиданно он взял со стола лист бумаги и стал быстро писать формулу, сложный химический ребус, который потянулся с одного листа на другой, пристраивая сверху и снизу домики и треугольники новых молекул.

— Не здесь ли ваша ошибка? — Он обвел кружочком один домик, огородил его забором и передал Стасику. — На этом самом месте мучились и мы.

Стасик удивленно посмотрел на Ивановского. Да, он действительно не думал об этом. Ему казалось...

Ивановский заговорил тихо, почти сонно о подготовке опыта, о необходимости проверять все элементы, даже те, которые уже апробированы другими. Его голос начал оживать, а в глазах появился блеск. Он рассказывал о тех возможностях, которые может раскрыть эта работа. А Стасик слушал с радостью, подавшись вперед, стараясь все запомнить.

«В чем же ошибка? В чем? То, что тогда заметил Ивановский, я сразу же исправил... Может, сегодня получится? — Он неожиданно подумал: — Вдруг уже прошла реакция? А что, если как раз сейчас удача? Как в футболе: гол — и свисток судьи».

Он торопливо завязал папку и пошел в лабораторию. Предчувствие совершившегося подстегивало его. Он стал даже нервничать, что препарат лишнее время простоят в термостате.

По лестнице Стасик уже бежал. Он с шумом распахнул дверь в лабораторию, вынул из раствора кусочек ткани и положил на предметный столик.

Опять ничего.

Какое-то раздражение охватило его. «Полоса неудач. Черт с ним, с ферментом. Пусть профессор Незвецкий сам изучает влияние препарата на дыхание нервных клеток. Мои нервные клетки не выдержали...»

Он вылил реактив в раковину, убрал стол. Амба! С сегодняшнего дня он будет кончать работу вовремя. Почти год он не знал выходных дней. Библиотека, лаборатория, библиотека, лаборатория — колесо, заколдованный круг.

Он посмотрел на себя в зеркало, скривился. Борода справляла юбилей. Сегодня не будет бороды. Он пойдет в парикмахерскую и попросит сделать его красивым. Цирюльник побреет, пострижет и освежит «Шипром». Господи, какое счастье за сорок копеек!

«Интересно, как я выгляжу бритым, в смокинге и с девушкой? Это, должно быть, уникальное зрелище! Нужно позвонить Тане. Очень давно такое не приходило в голову. А может, пойти в зоопарк? Говорят, один ученый ходил в зоопарк в дни затмений, и там у него возникали мудрые мысли. Общение с предками просветляло».

Он подумал о Тане. «Сегодня я буду внимательным к ней. Жаль, что мы редко встречаемся. Может, Таня и есть та, единственная, девушка. Конечно, она и есть та девушка! Девушка моей мечты. Когда-то человек должен быть счастливым?»

Около автомата никого не было. Стасик порывлся в записной книжке и позвонил Тане.

— С вами говорит некто Корнев, — сказал он.

Она засмеялась.

— Я думала, ты больше не позвонишь.

— Я Фенникс. Я появляюсь из пепла.

— Сжег свою диссертацию?

— О женщина! Ты непроницательна. Мне нечего было сжигать.

— Кажется, тебе хочется исповедаться?

— Ты угадала, — сказал Стасик. — Сегодня удачный день для исповеди. День Материального Благополучия.

— С тобой что-то случилось, Стаська?

— Да, гибнет Карфаген. Мне необходим внимательный собеседник.

— Ладно, — сказала Таня. — Куда прийти?

— На площадь Искусств в семь.

Таня опаздывала. Стасик несколько раз обошел вокруг садика, постоял вместе с мальчишками у финского автобуса,

на котором была нарисована прыгающая гончая, и решил посидеть на скамейке. Какая-то старушка играла с дрессированной кошкой. Кошка прыгала через палку, а старушка повторяла, что кошка умнее любой собаки.

— Вам нравятся кошки? — спросила она Стасика.

— Кошки — это моя слабость. Помимо биологического интереса, я уважаю в кошке преданность науке, вплоть до самопожертвования.

— Барсик, домой, — заторопилась старушка.

Он почувствовал на своем плече чью-то руку и встал.

— Как ты похорошела, Таня! — сказал он немного удивленно.

— Очень свежий комплимент, — улыбнулась она.

Они пошли к Невскому. Человек десять осаждали закрытые двери «Европейского», а за стеклом, размахивая руками, кричал, успокаивая толпу, уса́тый толстый швейцар.

— Пardon, мсье, — сказал Стасик и крепко надавил на спину какого-то парня.

— Француз, — объяснила Таня.

— Тихо, братва! — крикнул парень, почувствовав себя в некотором роде дипломатическим представителем великой и гостеприимной державы. — Пустите француза с переводчицей.

— Мир, дружба, — сказал Стасик и поднял над головой руки.

Толпа расступилась.

— Пожалуйста, мсье, — сказал швейцар, — ресторан высшего разряда. Де-валяй, как в Париже.

— Мерси, — сказал Стасик, втягивая за собой Таню.

— Этот тип из нашего института! — крикнул кто-то из толпы. — Надавать ему банок.

В руке швейцара лежал рубль, и на провокации он не поддавался.

Они нашли столик, заказали коньяк и цыплят-табака.

— Твое имя — Колумб, — сказала Таня. — Ты открыл Америку и разбогател.

— Все проще, — сказал Стасик. — Сегодня я решил кончить диссертацию.

— Но ты же говорил...

— Я ужасно заблуждался, Таня.

Они много танцевали и почти не разговаривали.

— Таня, — сказал Стасик, — выходи за меня замуж. Я воспитаю в себе семьянина.

— Что-нибудь случилось, Стасик, с наукой? — спросила она. — Я ждала, когда ты расскажешь сам.

— Ничего не случилось, — сказал он, танцуя. — Наука стоит на месте, хотя ей следовало бы идти вперед.

— Тебе нужно отдохнуть, — сказала Таня. — Отдохнешь и обнаружишь просчет. Ты просто заработался.

— Я уже отдыхаю. С сегодняшнего дня я решил жить, как Бюргер.

Музыка оборвалась, и они вернулись к столику. Мясо было холодное.

— Нужно было сразу есть, — сказала Таня, — а не ждать, когда остынет. Совсем другой вкус.

Он ничего не ответил. Его взгляд был где-то за ее спиной, на черной бабочке саксофониста.

«А может, дело в температуре? Может быть, тридцать девять градусов — это много?» Он оживился и посмотрел на Таню.

— Ты извини меня, но мне... мы скоро уйдем...

Она улыбнулась.

— А я думала, что ты сегодня свободен. Ты даже хотел на мне жениться.

— Я пошутил, — сказал Стасик.

— Какой тяжелый юмор! Хорошо, что я тебя знаю со школы, — грустно вздохнула Таня.

Глава вторая

Стасик расставил пробирки в штативе и приготовился к новому синтезу. В коридоре о кафельный пол зацокали подковки. Вошла Валя Шаронова, его однокурсница и аспирантка, и остановилась в дверях, близоруко щурясь. Она была длинная, плоская и немного сутулая.

— Кролик сильный попался, никак на станок не положить.

— Разолью реактив и помогу, — сказал Стасик.

Валя вздохнула. Когда-то ее хорошо копировал Дашкевич. Он осторожно открывал дверь, тяжело вздыхал и, задев ногу об ногу, шел к своему месту. Последние годы в институте Валью Шаронову перевели к ним в группу «для усиления». В «тридцать второй» учились неплохо, но дисциплина хромала на обе ноги, как любила говорить декан.

Валью встретили торжественно. Дашкевич произнес речь, а затем преподнес Вале список студентов, нуждающихся в особом досмотре. Валя взяла список и положила его в портфель.

— За сведения спасибо, а на лекции вы ходить будете.

— Не на все, Валечка.

— На все, Гошечка.

К концу учебного года у Стасика и Гоши было по три выговора из деканата. Лидия Владимировна, декан, была человек добрый и на худшее не шла. На пятом курсе к Вале призывки и даже подчинялись. Стасик помнил, что на экзаменах она всегда шла первая к экзаменатору и уже через пять минут блестела близорукими глазами, осматривая потолок и стены: вот, мол, могу отвечать.

Профессор открывал зачетку. Там стояли неизменные «отл.» с разными хвостами и закорючками. Шаронова молчала несколько секунд, ожидая, когда экзаменатор улыбнется и скажет многозначительное «О!». Тогда Валя начинала говорить быстро и громко, круглыми, как шrapнель, словами: они вылетали короткими очередями и, казалось, не дойдя до сознания, превращались в дым.

Студенты за столами затыкали уши, им трудно было думать.

Потом шум обрывался, и в комнате возникала тишина.

Валя поднималась, держа зачетку раскрытой, чтобы в ней лучше просохли чернила, и шла в коридор. В этот момент она казалась еще выше, чем обычно.

Ее окружали еще несдававшие, они нетерпеливо галдели: «Ну как спрашивает?», «Придирается?» Она ждала, когда все утихнут, а затем говорила, что экзаменатор добрый и вопросов не задает.

По какой-то иронии судьбы, а может, в шутку ее выбрали в культмассовый сектор профкома. Она добросовестно работала, сидела на всех заседаниях художественного совета, вздыхала и пожимала плечами.

«Клоц-клоц-клоц» — в коридоре.

— Сейчас приду! — крикнул Стасик.

Он написал на каждом стаканчике специальным карандашом время приготовления раствора и пошел к Шароновой.

На столе лежал кролик, толстый добряк с красными доверчивыми глазами и клеенчатой биркой на правом ухе. Кролик шевелил носом и губами, точно что-то хотел объяснить. Стасик надел петли на лапы кролику и резко перевернул его на станок. Валя взяла шприц, протерла кролику спиртом ухо.

— Это правда, что ты опять решил заниматься работой Незвецкого?

— Правда, — сказал Стасик.

— Сумасшедший! — вздохнула Валя. — Снова будут неудачи.

— Я просто идиот, — согласился Стасик.

Зав. кафедрой Яков Романович Палин просматривал отчеты научных работников. Сегодня тяжелый день: заседание, комиссия, научное общество. Больше всего его стали раздражать такие дни, когда приходится спешить, куда-то идти и выполнять все только наполовину. В такие часы кажется, что на тебя кто-то сел и погоняет вперед, как вьючную лошадь, зато и ночь потом становится невозможной: одолевает бессонница.

Он открыл календарь и аккуратно вычеркнул слова «комиссия» и «научное общество». Сегодня большой доклад Шароновой — третья глава диссертации, и нужно не спеша его обсудить.

Яков Романович разрыл пачку бумаг в левом ящике письменного стола, вынул рукопись и положил перед собой. Вся первая страница рукописи была зачеркнута, а сбоку мелким бисером написано несколько фраз. Яков Романович перечитал «бисер», затем перечеркнутый кусок и тяжело вздохнул. Рукопись была похожа на военную карту. Знаки, скобки и стрелки двигали слова налево и направо. Проволочные заграждения пересекали зигзагами целые поля, засеянные крестами и птичками. Вторая страница начиналась фразой: «Мысль Бохта, каковая говорит...» Яков Романович перечеркнул слово «каковая» и бросил ручку. Может быть, он сам виноват, что взваливает на себя редакторскую работу, все-таки профессор мог бы заняться более важным делом.

Он смотрит на часы. Уже без четверти три. Нужно начинать заседание кафедры. В коридоре разговаривают сотрудники. Через десять минут они соберутся в кабинете.

Палин открывает двери и всматривается в лица людей.

У окна Корнев о чем-то разговаривает с Шароновой. «Они же однокурсники».

Яков Романович пытается припомнить, зачем вышел в коридор, и, так и не вспомнив, просит зайти к нему Шаронову.

— Как проходит последняя серия?

— Думаю, уложусь в срок.

Ему становится легче на душе: все-таки Шаронова действительно хороший работник.

Он берет со стола перечеркнутые листы рукописи и отдает ей.

— Ознакомьтесь, пожалуйста. Здесь некоторые поправки.

Шаронова перелистывает страницы рукописи одну за другой. Яков Романович следит за движениями ее рук, мускулами лица. Ему хочется, чтобы она отбросила в сторону эти листы, перечеркнутые и запачканные чернилами, сказала бы «нет» или хотя бы возразила против какой-нибудь запятой. Разве так он относился к своему творчеству в молодости? Он спорил, не верил на слово даже шефу и в любом деле, за которое брался, находил свое. Неужели во всем тексте, почти полностью отвергнутом, у нее не было мысли или строчки, которые хотелось бы отстаивать?

— Хорошо, я перепишу, — покорно говорит Шаронова.

Палин резко повернулся и, чтобы не сказать обидное, крикнул:

— Входите!

Он видел, как Шаронова нагнула голову, уперлась руками в край стола, немного подождала, пока рассядутся сотрудники, и стала быстро читать страницу за страницей третью главу своей диссертации; и опять эта «каковая» и навязшие в зубах «статистически достоверно» и «статистически не достоверно» — стилистический сор, который приходится вывозить ему целыми страницами. В одном месте, когда она рассказала о полученных результатах, очень перспективных и неожиданных, Яков Романович вздрогнул, увидел, как насторожился Корнев. Но Шаронова прошла мимо этого феномена, утопив мысль в потоке мутных фраз, где ссылки на авторов были самыми удачными местами.

Вопросы задавали вяло, придумывали их для того, чтобы шеф не сказал, что доклад не слушали. Шаронова отвечала неточно, сбивалась.

«Почему в науку? Почему? Разве плохо быть врачом или биохимиком? Неужели все должны стать учеными?»

Он предложил высказаться по докладу, но никто не встал. Он повторил просьбу.

— Разрешите мне?

— Пожалуйста.

Стасик поднялся, посмотрел в потолок, точно там была записана формула, и начал тянуть слова, повторяя одно и то же. Неожиданно он сформулировал идею, пересказал ее снова и с азартом заговорил о той части работы, которую заметил Палин. Яков Романович удивился его лицу. Стасик блуждал глазами по потолку, напоминая поэта, читающего стихи: он методично развивал мысль.

«Молодец! — мысленно похвалил Палин. — Талантливый мальчишка. Жаль, что не послушался меня и связался с этим

фанатиком Незвецким. Дал себя увлечь, а так через полгода кандидат наук, сам себе хозяин».

Палин поднялся, чтобы произнести заключительное слово. Он говорил мягко, стараясь не обидеть Шаронову, отмечал удачные места, в конце выступления предложил не успокаиваться на достигнутом, поработать над материалом и сел, тяжело вздохнув.

Сотрудники поднялись и торопливо двинулись к выходу. В дверях образовалась пробка.

У всех были одинаково равнодушные лица, и казалось, единственно, чего хотят эти люди, — скорее попасть в метро.

Глава третья

В кабинете Сидорова было душно. Петр Матвеевич подошел к окну, отвернул шпингалет. Рамы скрипнули, согнули упершуюся в стекло ветку сирени.

Петр Матвеевич сделал глубокий вдох, потом еще и еще... Это вариант утренней гимнастики. Месяца два назад у него появились боли в сердце, а может, в печени, явно поколебавшие его представление о бессмертии.

— В шестой палате сигнал не работает, — сказала Борову старшая сестра.

Сидоров замер на вдохе, но сестра ничего не добавила.

— Можно докладывать, — наконец сказал он, усаживаясь в кресло.

Все шло, как обычно. Выступали сестры, выступали врачи, рассказывали о вновь поступивших. Марго что-то писала в истории болезни. Любое совещание побуждало ее к литературной деятельности. Хирурги пишут в историю болезни как можно меньше, зато терапевты! Мне всегда казалось, что Марго сочиняет о каждом больном по крайней мере повесть.

Я вдруг вспомнил, что в моем кармане лежит Зойкино письмо. По пути на работу я вынул его из ящика, да так и не прочел.

«Привет Гош-кевич!

Прости, что не поздравила тебя с Маем, но мы больше чем в расчете. Твоя телеграмма даже без подписи, будто ультиматум воюющего государства.

Весна в Ленинграде что надо! Хожу по городу и изнемогаю от радости.

Дома порядок. Недавно видела Стаську. Показал твои письма, но я не стала читать. Шестнадцатого моя свадьба.

Мужа зовут Виктор. Он физик, говорят, будущий Эйнштейн. Меня это вполне устраивает. А тебя?

Не отвечай. Мой адрес меняется. Зоя».

Марго попросила письмо, но я не отдал. Ей нравилась Зойка, я познакомил их два года назад. Она ей сочувствовала, а теперь жалела. Сейчас и я отчего-то пожалел Зойку. В ее письмах, даже в сегодняшнем, было что-то неестественно-бодрое и, пожалуй, искусственное. Она словно бы не доверяла себе и свои радости и печали обязательно чуть приперчивала и присаливала.

Я написал, что поздравляю с замужеством, желаю счастья. Известности и успехов мужу тоже стоило пожелать, так как без этого Зойка не сможет быть счастлива.

Письмо выходило сухое, почти официальное. Сидоров что-то спросил у меня. Я кивнул. Он кивнул в ответ и успокоился. Видимо, я попал в точку.

Теперь опять никто не мешал думать. Я спрятал в карман начатое письмо и достал из папки с историями болезни чистый листок. Вокруг сидели сестры, пришлось опустить обращение к Миле.

«Идет пятиминутка, — написал я ей, — но я даже не пытаюсь слушать. Я думаю о тебе. Я это делаю постоянно. Это замечательно — идти по улице, ехать в машине или даже сидеть здесь, в кабинете Сидорова, и, сохраняя деловой вид, думать о тебе. Иногда я чувствую себя, как казах, который поет о том, что видит. По крайней мере он мне очень понятен. И мой разговор с тобой выглядит примерно так.

Разговор Дашкевича с Милой. (Музыка Дашкевича, перевод с казахского Дашкевича, слова на казахском языке Дашкевича.)

Я сижу в кабинете Сидорова,
но никого не слушаю.

Я переполнен мыслями о тебе
и постоянно пишу тебе письма.
Я не знаю, как это называется,
но тебя мне всегда не хватает.

Это подстрочник. Теперь попробуй переведи его обратно на казахский, и ты поймешь, что я написал настоящую песню.

А теперь еще об одном. О чем мы оба упорно молчали, хотя обещали быть откровенными. А ведь правда, о которой нужно молчать, совсем не лучше вранья. Это я понял.

Я страшно рад, что ты решила главное для нас обоих. Когда стало ясно, что мы будем вместе, возникло: Ярославль или Валунец? От тебя требовалось чуть-чуть обычного эго-

изма, маленькой жестокости, и я бы сорвался с места и уехал отсюда. Ты это знала. И я даже оправдывал тебя. «Вот, — думал я со страхом... — еще несколько дней, и я пойду к Деду и скажу: уезжаю...»

Каждое письмо от тебя я вскрывал и с радостью и с тоскою. Я заглядывал в конец. И каждый раз там стояли спокойные слова: жду писем.

«Она ждет, чтобы я первый об этом сказал», — думал я. И молчал.

Но вчера ты написала, что скоро приедешь!

Ты скоро приедешь!!

Я сразу же побежал к Марго и заорал:

— Она скоро приедет!

А Марго просто-таки зашипела:

— Ты совсем обалдел, Гошка! У меня же спят дети.

Это не было для меня аргументом.

— Дети должны проснуться! Все должны знать об этом, даже твои дети!!

Тогда Марго схватила меня за руку и вытолкала на улицу. Но я сказал:

— Мы не имеем права скрывать от народа такое событие.

— А что тебя так удивляет? — спросила Марго. — Она и должна приехать. Подумаешь, подвиг!

Да, да, подвиг! Марго не понимала, чего я боюсь.

А Дед понял!

Я прибежал к нему поздно вечером. Я постучал в окно и, не дожидаясь, когда он выглянет, крикнул:

— Она приедет!

— С ума спятил! — объяснил Дед Марии Михайловне. — Будит всех среди ночи. — И высунулся из окна. — Я думал, что ты скажешь: между прочим, я уезжаю.

— Между прочим, я остаюсь! — заорал я.

— Оставайся, оставайся, — сказал Дед и закрыл раму.

Но я не ушел. Я постучал сильнее. И тогда уже закрычал он.

— Если ты, — кричал он, — не уйдешь, то я выйду к тебе, и мы пойдем в больницу, проверим работу сестер и санитарок!

И я не ушел. И мы устроили облаву. Тяжелых больных в отделении не было, и все няньки спали, а одна даже чмокала губами, когда мы стояли около нее.

Дед устроил настоящий погром, о котором будут долго помнить. И от этого настроение у нас стало еще лучше».

Рука устала, но я мог писать еще. Я мог бы писать по пяти писем в день, и это было так легко и просто, и у меня

никогда не кончались бы темы для разговора. Но в кабинете стояла тишина, и я насторожился. Сидоров держал в руке лист бумаги.

— Приказ заведующего райздравом! — произнес он с интонациями Левитана.

Послушаю, подумал я, а потом допишу.

Петру Матвеевичу что-то мешало. Он осмотрел стол, переложил бумаги на правую сторону, но не успокоился.

Наконец он заметил «вечную ручку» — новое приобретенные завхоза. Ручка напоминала баллистическую ракету, и ее острие угрожающе целилось в главного врача. На лице Петра Матвеевича вспыхнуло недовольство, и он перекрутил ракету в сторону врачей.

— «Считать откомандированным в Ленинград на семинар хирурга Дашкевича Георгия Семеновича... сроком на 14 дней, с...»

Я даже приподнялся. Командировка начиналась завтра. Значит, послезавтра я буду в Ленинграде! Мне вдруг захотелось крикнуть что-то веселое, студенческое, что-то вроде «Моща!», но я только засмеялся и подмигнул Сидорову.

— Повезло! — с завистью сказала Марго.

— Живем! — сказал я.

Я сразу же подумал, что об этом нужно сообщить в Ярославль, дописать письмо. И конечно, Мила будет рада. И даже не письмо нужно написать ей, а правильнее послать телеграмму, потому что было бы хорошо уговорить ее приехать в Ленинград, чтобы познакомиться с мамой.

Я так и сидел, улыбаясь, и переваривал свою удачу. Я вдруг почувствовал, как сильно хочу увидеть маму и Стаську и как мне не хватало их все это время!

И еще я думал о Ленинграде. Но ничего не мог вспомнить, кроме своего дома, как будто Ленинград — один мой дом. Потом вспомнилась Петропавловка, любимое Стаськино и мое место. Мы ходили в крепость в любую погоду, днем и ночью, зимой и летом, когда в сером, беззвездном небе золотится в лучах прожекторов шпиль и его отражение, изломанное невской зыбью, лежит на воде, напоминая гигантскую пилу.

Сидоров вдруг спросил, чего это я сижу. Оказывается, пятиминутка кончилась и из кабинета выходила последняя сестра. На тумбочке у окна позванивала крышка чайника, изрядно потускневшая за последние месяцы.

Я поднялся по лестнице, улыбаясь своим мыслям, представляя радость мамы и Стаськи. Я здоровался с больными, разговаривал с ними, смеялся.

Подошел Борисов, постоял около меня, послушал, пожал плечами и отошел в сторону.

Сегодня был день плановых операций. Когда-то в детстве наш класс «закалял волю», тщетно стараясь прожить по точному распорядку дня. Теперь я не намечал, в десять или в пятнадцать минут одиннадцатого начать операцию, — дело не в минутах. В любой работе, как, наверное, и в жизни, нужно определить главное и его выполнять.

Я стоял в операционной, высоко подняв руки, и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Тетя Оня тяжело встала с табуретки и уточкой заковыляла к боксу.

— Шприц, — сказал я.

— Скальпель.

— Еще шприц.

— Крючки.

Теперь я жил иной жизнью, когда мысль становится беспощадно трезвой; и что бы дальше я ни делал, мир, казавшийся час назад огромным, внезапно уменьшился до маленького разреза, в который мне предстояло войти рукой.

— Тетя Оня, вытрите, пожалуйста, лоб.

Я положил иглодержатель и стал ждать, когда подойдет тетя Оня. Повернулся к ней, подставил потный лоб, нос, шею и посмотрел на больную.

— Как вы себя чувствуете? Хорошо? Уже все позади.

Я сказал «все позади» и вздохнул. Теперь действительно было не страшно, потому что все, с чем связан риск, длилось одно мгновение.

Сколько раз, уходя с операции, я удивленно замечал, как быстро течет время. Неужели час или два прошло с того момента, когда я взял в руки скальпель? Неужели весь день простоял около операционного стола? Казалось, пролетели минуты, и я ни о чем не успел подумать.

Я наложил шов, быстро завязал узел и, наконец, посмотрел вокруг. В больничном саду стояла изогнутая береза. Она была одна и, может быть, поэтому казалась красивее кустов сирени.

Я смазал рану йодом и бросил использованную палочку под стол. Затем развязал халат. Тетя Оня медленно встала с табуретки и нагнулась за тазом, чтобы вынести его.

Ее сегодняшняя медлительность чуть-чуть нервировала меня. Я был возбужден удачей, и мне все время хотелось, чтобы окружающие жили в том же, моем, ритме.

Позади послышался тупой стук. Я обернулся. Тетя Оня стояла на коленях перед перевернутым тазом.

— Вам плохо, Онечка? — спросила Мария Михайловна.

— Да так что-то...

Я подбежал, помог ей подняться.

— Ничего, пройдет, — сказала она. — У меня так бывает...

Я обнял ее и проводил в коридор.

— Экий у тебя кавалер красавец! — крикнула санитарка Феня и, подперев себя шваброй сзади, сложила на груди руки. — Прямо виснет на дохтуре.

Она загоготала, довольная своей шуткой, и неожиданно спросила:

— Неможешь, что ли?

— Немогу, — вздохнула Оня. — Мне бы полежать.

— Сейчас дойдем до ординаторской, и ляжете, Онечка, — сказал я.

Она покачала головой.

— Домой дойду, там спокойнее.

— Машину вызовем, и я вас отвезу.

— Чего тебе дома-то? — забеспокоилась Феня. — Разя Мишка даст полежать? Разя улежишься дома? Мы с тобой ко мне пойдем. Я и чайку поставлю, и грелочку, и присмотрю... И недалеко тут, через дорогу.

— Пожалуй, полежу у нее, — согласилась Оня, — а ты, Георгий Семенович, работай свое.

— Я вас посмотреть хочу...

— Пустое, — запротестовала Оня. — И так отлежусь...

Глава четвертая

Днем пошел дождь. Мелкие капли ударялись в стекло бегущего вагона, разматываясь в едва заметные водяные нити. Дождь начертил орнамент, а потом вдруг все смыл, плеснув в окно целую пригоршню воды.

— Теперь завело на весь день, — сказала соседка по купе.

— Может быть.

— Вода и вода. Чего в окно-то смотреть? Что лес, что небо — один цвет.

Мила подо двинулась к стеклу. До Валунца оставалось совсем немного. Минут через пять поезд промчит мимо последнего переезда; тогда, в апреле, здесь около шлагбаума стоял старичок стрелочник, на нем все было не по росту: и большие сапоги, и шинель, и фуражка — казалось, что все

это чужое, точно его насильно обрядили в железнодорожную амуницию и заставили стоять с флажком. Мила помахала ему рукой, но он даже не повернул головы, словно хотел сказать: «Мне не до глупостей». И когда поезд пролетел мимо, фигурка старичка быстро превратилась в одинокий столбик и исчезла.

В Ярославле Мила часто вспоминала о нем. Иногда она представляла себя на этом переезде, и разделенное с кем-то одиночество успокаивало.

Стекло стало ребристым от воды. Мила приоткрыла окно. Впереди виднелась дорога, а дальше — переезд и шлагбаум. Она ждала встречи со старым знакомым, но на переезде стояла молодая женщина в дождевике.

— А я на жизнь не жалею, — сказала соседка по купе, освобождая Миле место. — Я в большой город приплати — не поеду.

— А чего в городе-то? — согласилась вторая.

— Коровка у меня есть — молочко свое. Квартира, правда, небольшая — метров двадцать комната, да есть еще комнатека с окном, под чулан приспособленная. . .

— Чего же вы там не живете? — спросила Мила.

— Можно, — согласилась соседка. — Только где ненужные вещи держать?

«Господи, как это похоже на Анатолия!» — подумала Мила. Она вспомнила о нем без прежней неприязни, словно это был персонаж из какой-то старой пьесы, в которой ей приходилось играть.

Она сняла с полки чемодан, попробовала в руке — до камеры хранения нужно было нести метров триста — и перетасила в тамбур. Если поезд придет в четыре, можно успеть в роно — оформить направление в пионерлагерь. Хорошо, что я ничего не написала Гоше. Пусть это будет для него неожиданностью.

Первые домики Валунца Мила встретила со смятением. Было это и тревога и радость. И когда поезд стал замедлять ход, она все смотрела и смотрела на поселок, стоя у раскрытой двери, словно боялась пропустить встречающих.

Она сдала вещи в камеру хранения и вышла с вокзала. Перед ней лежал Валунец — такой же, с деревянными домиками, трубой комбината и центром в десяти минутах ходьбы.

Она шла медленно, чувствуя обычную после поезда новизну твердой земли. Кого из знакомых она встретит первым? Испугается или просто скажет, что вернулась одна? Около клуба на нее почти налетел инженер с комбината. Поздоровался и удивленно спросил:

— Наверно, из отпуска? Прекрасно выглядите.

Мила засмеялась. Трудно представить, что в Валунце есть люди, которые не знали бы об ее отъезде.

В роно посетителей не было.

— Вернулись? — сказала секретарша, даже не отрываясь от пишущей машинки. — Андрей Захарыч у себя.

Она посмотрела на Милу с явным любопытством, но больше ничего не спросила. Только когда Мила подошла к двери и собралась постучать, секретарша как бы между прочим сказала:

— Ни за что не хотел соглашаться на ваш вызов. Упрямый ужасно!

Она громко постучала по столу костяшкой пальца.

Мила вошла в кабинет. Заведующий что-то писал и даже не поднял головы, когда она подошла к столу.

— Садитесь.

Она смотрела на Шутова со страхом. Только сейчас Мила по-настоящему поняла, как был расценен ее отъезд в апреле. Это было дезертирство, побег с работы в самый ответственный момент. Ведь она хорошо знала, что в поселке остается один учитель литературы — пенсионер, которому не справиться с двойной нагрузкой.

Шутов положил ручку, поемотрел на часы и первый раз поднял голову.

— Приехали? — не без иронии спросил он.

Мила кивнула. Она сидела на краешке стула и испуганно глядела на всеильного заведующего.

— Хотите в пионерлагерь? — продолжал он. — В Ленинграде пыльно?

Он усмехнулся и вышел из-за стола.

— Если бы у меня были кадры, — резко сказал Шутов, — то вас, Пискарева, я не подпустил бы к нашей школе на пушечный выстрел.

Он заходил по комнате, поджав и без того тонкие губы. Мила поворачивала голову, куда бы Шутов ни шел, и все боялась спросить, в какой пионерлагерь ее направят.

— Поедете в Маграчево, там лагерь комбината, — наконец сказал он и отвернулся, давая понять, что разговор считает оконченным. — Завтра оформитесь у секретаря.

Она не поднялась и продолжала сидеть на краешке стула. Шутов смотрел в окно, недовольно отбивая ногой секунды, будто хотел сказать, что не желает на нее тратить время.

— Что еще? — наконец спросил он.

— Скажите, учителя литературы уже нашли?

— Учителя? — Шутов резко повернулся. — Это вас волнует? Хотите выразить соболезнование? Очень трогательно! А тогда, в апреле, это вас не волновало?

— Значит, места нет? — робко спросила Мила, чувствуя, как подкатывается к горлу комок.

Шутов удивленно посмотрел на учительницу и неожиданно шмыгнул носом, точно мальчишка, которому стало жалко обиженную девочку.

— Почему же нет места... Место будет.

— И я смогу работать?

— Работайте, — равнодушно сказал он. — Ваш муж тоже возвращается в Валунец?

— Нет, я одна.

— Будете ездить?

У него мелькнула догадка: «Не может устроиться в Ленинграде!»

Мила покачала головой.

— Мы разошлись.

— А-а-а... — Шутов стал раскачиваться, поднимаясь на носки и опускаясь, видимо чувствуя неловкость от неожиданного признания.

— Работа будет, — повторил он. — Работайте. Будем рады.

Мила чувствовала на себе его пристальный взгляд — неловкое состояние, когда тебя рассматривают в упор.

— Где же вы будете жить? — участливо спросил Шутов. — Ваша квартира уже занята.

— У знакомых.

— Да, конечно, это не проблема. Даже у нас есть свободная комната.

— Спасибо, я что-нибудь подыщу.

Она встала и, боясь посмотреть на Шутова, пошла к дверям. Он шел сзади. Мила продолжала ощущать его взгляд, и от этого ее ноги, руки и голова были непослушными и чужими. Неужели то, что она ушла от мужа, как-то изменит отношение к ней, даст право мужчинам предлагать свое гостеприимство, без стеснения рассматривать ее?

— Завтра заходите прямо в кабинет. Документы будут у меня. Может быть, вам хочется в школьный лагерь?

— Да.

— Проще простого. Там нужны люди.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Рад вам помочь.

Он засмеялся как-то неестественно и протянул руку. Ей

нужно было уйти. Убежать. Она вдруг почувствовала себя беззащитной.

Мила толкнула дверь и торопливо вышла.

..Раскаленное солнце садилось за лес, и казалось, где-то там, на западной стороне поселка, горели деревья. С севера прямо на зарево неслись тучи. Они напоминали лошадей, летящих в аллюре, и Мила видела их взмыленные морды и развевающиеся гривы.

Она подошла к своему дому, туда, где жила раньше, и остановилась — «дома» уже не было. Может, пойти к учителям? Нет, не сейчас.

Она остановилась около Гошиного палисадника. Зарево на небе перегорело, и теперь чуть заметный отсвет мерцал на горизонте за лесом. Она прислонилась к столбу, на котором раскачивался фонарь. И подумала: «Сейчас он выйдет». И когда он действительно вышел, не пошевелилась, не вскрикнула, а продолжала ждать. Гоша посмотрел куда-то вверх, и в этот момент Мила заново разглядела его. Когда же, наконец, их взгляды встретились и Гоша медленно, не совсем уверенно пошел к ней, Мила успела заметить, что волосы его выцвели, стали почти русыми, но продолжали торчать плохо причесанным ежиком. Потом, когда Гоша открыл калитку, он показался ей очень большим, больше, чем улица, которую он заполнил целиком.

— Что же ты не заходишь? — удивленно и не совсем решительно спросил он. Казалось, Гоша не может понять: верно ли то, что она стоит рядом.

— Жду.

— Меня? — Он засмеялся. — А если бы я не вышел еще час?

Мила пожала плечами.

— Ну что мы стоим? Ты же с поезда и ничего не ела. Я сейчас все сделаю. У меня есть колбаса и шпроты. — Он торопился, нервничал. — Ты ни разу не видела, как я живу. Такой беспорядок!

— Лучше побродим. Не хочется в дом.

Он готов был подчиниться любой ее просьбе.

— Я так давно не видела Валунца.

— У нас ничего не изменилось.

— Все равно.

— Тогда пошли. Только нужно предупредить Мишку. Сегодня я дежурный по больнице.

..Они пошли к лесу. И на каждом шагу им встречались знакомые. Тогда они свернули в сторону.

— Просто ничего не могу сообразить... Это так здорово,

что ты приехала сегодня! Утром меня посылают на семинар в Ленинград, и мы бы не виделись еще две недели.

— Две недели? — повторила Мила, словно они встречались последние месяцы ежедневно и эти две недели могли стать чудовищным испытанием.

Он ничего не ответил.

— Это не страшно, — спохватилась она, — я все равно завтра еду в пионерлагерь. Даже хорошо, если я побуду с ребятами первое воскресенье.

Он подумал: «А может быть, мне удастся вернуться раньше?»

Они сели на пригорок. Гоша взял ее руку и осторожно подышал на пальцы.

— Ты что?

— Так.

Он повернулся, разглядывая ее лицо. И Мила тоже посмотрела на него. И весь мир исчез для них. Реальностью были только их глаза.

Он поцеловал ее.

И когда откуда-то издалека тишину потревожил продолжительный гудок, Гоша даже не услышал его. Гудок длился минуту. Прерывался и вновь возникал над лесом.

И Мила поняла:

— «Скорая»!

Она должна была понять это первая.

— За тобой, — испуганно сказала она.

Тетя Оня лежала в палате осунувшаяся и постаревшая. Она безучастно смотрела вверх, через плечо Борисова, и, кажется, не замечала, что происходит вокруг. Неожиданно в ее глазах вспыхнула искра, едва уловимый блеск мысли, точно она поняла опасность, нависшую над ней. Она посмотрела на Феню, Марию Михайловну, Гошу глазами, полными тревоги, и все одновременно улыбнулись ей, но не так, как всегда, а как обычно улыбаются эти люди очень тяжелым больным, — особенно приветливо и благодушно. Тогда она повернула голову, стараясь поймать взгляд Борисова, но он отвернулся и смотрел на кого-то другого. Ей стало страшно. Тысячи раз она видела, как врач слушает больного, ставит трубку к сердцу и что-то узнает, известное ему одному, но сейчас ее охватило сомнение, и она не могла отделаться от мысли, что Борисов не может услышать всю глубину и силу ее боли. Она отгоняла сомнение, пыталась думать о другом, но мысли были навязчивы, и Оня с ужасом понимала, что

люди, склонившиеся над нею, не чудотворцы: у них тоже может не хватить мужества посмотреть человеку в глаза.

Она слышала, как глухо говорил Борисов с Дашкевичем. Слова были нерусские, но все такие знакомые. За долгие годы работы она научилась улавливать и различать их смысл. К ней садились на кровать, смотрели и слушали. Все было как в тумане.

Она уловила слово «сердце» и подумала, что, наверное, это и смущает врачей больше всего. Сколько раз она собиралась спросить у Гоши про свое сердце, да так и не решилась. Придет усталый, куда тут с вопросами — скрипит, и ладно...

Рядом застучала каталка. Тетю Оню подняли, повезли, и скрип колес слился с болью.

Она пыталась думать о Мишке. Станет ли он человеком? Таким, как Гоша.

Мысли обрывались и исчезали. Сквозь туман в глаза било солнце, и тетя Оня поняла, что это операционный плафон. Слова и голоса путались в сознании, а главное — боль, боль, которую нужно было перенести, чтобы не беспокоить тех, кто ее окружает. Только бы не застонать...

...Когда тетя Оня открыла глаза, в палате было темно. Вокруг шевелились тени. Что это! Неужели белье, которое ей предстояло выстирать...

Веки закрывались сами, точно их кто-то придавливал сверху медными пятаками.

«Пить», — подумала она.

— Мы перелили литр крови.

— Подготовьте систему с физиологическим раствором.

Она попробовала приподняться на локте и вскрикнула. Резкая боль на один миг сбострила зрение, и тетя Оня отчетливо, прямо перед собой, увидела усталые лица Борисова и Фени. Потом все перевернулось и исчезло. Она опять оказалась в темноте, и шорохи наполнили тревогой ее мир.

Глава пятая

Я сел около койки тети Они. Дыхание становилось частым. Его можно было сосчитать по стонам. Один стон — одно дыхание. Сорок стонов — минута.

Теперь нужно было ждать. Я подумал, что только врач может понять это изматывающее ожидание, когда ты, здоровый и румяный, сидишь в стороне, понимаешь всю трагедию и не можешь вмешаться, защитить человека, а он стонет, и каждый стон — это упрек твоей профессии, тебе самому,

и ты ощущаешь боль другого остро, как свою боль, и думаешь о том испытании, которое выбрал сам, надев на себя белый халат.

Я услышал позади тяжелые шаги Деда, встал.

— Садитесь, Александр Сергеевич.

— Пять утра, — тихо сказал Борисов.

— Пять? — удивился я.

— Через четыре часа ваш поезд.

Я оглянулся: тетя Оня была без сознания.

— Следите за давлением, — бросил Борисов сестре. — Мишку придется отвести ко мне домой. Кроме вас, Георгий Семенович, и попросить сейчас некого.

И опять я испытал досадное чувство от многозначительного дедовского «вы».

Мы вышли в коридор. Около ординаторской стоял Мишка, прислонившись плечом к косяку. В его взгляде была какая-то взрослая готовность выслушать все, даже самое страшное.

— Ничего, ничего, — буркнул Борисов и пальцами перебрал ежик Мишкиных волос.

— Не лучше?

— Гм... кое в чем, пожалуй... Правда, Георгий Семенович?

— Да.

Я кивнул слишком торопливо.

— А ты, Миха, страшно устал, — сказал я. — Не вредно бы и выспаться.

Мишка тревожно поглядел на меня и вдруг метнулся к палате, распахнул двери, подался вперед телом и заплакал.

— Спит, — сказал Борисов и крепко взял мальчика за локоть. — А теперь одевайся. Пойдешь ко мне.

— Лучше бы домой, — робко попросил Мишка.

— Запомни, — Борисов повернул мальчика к себе, — пока мать болеет, поселишься у меня.

Мишка посмотрел в мою сторону. Он знал: я уезжаю.

— Подождите внизу, — попросил я, — минуточку...

Я забежал в ординаторскую, снял телефонную трубку. Гудки были нудными и долгими. И чем дольше они повторялись, тем сильнее хотелось мне поговорить с Сидоровым. Сколько раз за эти годы я внутренне не соглашался с главным, но по-настоящему никогда не возражал ему. Я даже придумал для себя теорию: нужно делать свое дело — плетью обуха не перешибешь. Но теперь... Теперь я хотел поступить иначе.

— Алло? — сказал Сидоров как-то очень спокойно, словно все время стоял около телефона и ждал моего звонка.

— Петр Матвеевич! Я вынужден позвонить вам. Состояние Прохоровой стало хуже.

— Очень жаль... — Сидоров вздохнул.

— Я не хочу... и не могу сегодня уехать в Ленинград...

— Как «не хочу»?

— Не имею права. Тетя Оня...

Сидоров долго простуженно кашлял.

— Неужели вы серьезно считаете, что незаменимы? У нас есть врачи...

— Я считаю, — объяснил я, — что уезжать сейчас — подло.

— Вы, видимо, чего-то недопонимаете, доктор Дашкевич... — Сидоров старался быть убедительным. — Государство посылает вас на учебу. Неподчинение будет рассмотрено как прогул.

— Считайте, что я прогулял.

Я повесил трубку и вышел из ординаторской. В коридоре никого не было. Я испытывал неожиданное облегчение, словно скинул тяготивший меня груз. Теперь я мог поглядеть Деду в глаза.

Я сбежал в приемный. За столом дремала сестра, положив голову на кипу конторских книг. Мишка сидел с Борисовым.

— Идите, — сказал я им. — Александр Сергеевич, вы ведь устали. Вам просто необходимо отдохнуть.

— А ты сам?

— Я днем... если ей станет лучше.

Борисов нахмурился.

— А как же в Ленинград? Не поедете? — спросил Мишка.

— Иди, иди, — сказал Борисов. — Мы его смеем днем.

Он надел плащ и подтолкнул мальчика к дверям.

— Вот и кончилась ночь, — устало, будто бы для себя, сказал он. — Если бы удержать давление.

— Кажется, мы сделали все.

Дед не ответил. Он открыл дверь и, держась за перила крыльца, стал спускаться по ступенькам.

— Разве он не поедет? — снова спросил Мишка.

— Иди, иди, — буркнул Борисов.

Сестра протянула историю болезни тети Они. Врач обязан регистрировать все изменения в состоянии больного.

Я вынул из кармана ручку и написал привычное: «объективно». Этим словом начинаются все записи о больных,

Объективно? Да, именно так. От меня требуется холодная объективность. И ничего субъективного. Каждый день любому больному я обязан написать это слово. Оно — напоминание о моем долге. А иногда так хочется обмануть себя, написать «кажется», или «возможно», или еще лучше «будем надеяться». Только на кого надеяться в этом случае? На чудо? Но это не объективно.

Я поглядел на часы. Ночь позади.

Вернулся в палату и распорядился прибавить в капельницу кордиамин. И опять я слушал сердце и легкие тети Они и думал, что в истории болезни нужно отметить, как изменился ритм дыхания, что пульс почти не прощупывается и тот эффект от переливания, которого мы добились недавно с Борисовым, оказался временным. Да, я был объективен.

Из коридора доносился голос Сидорова. Он с утра пришел в отделение, был чем-то недоволен, накричал на санитарку.

Сестра подала мне тонометр. Стрелка в аппарате показала сто. Артериальное давление падало. Что предпринять еще? Скоро наступит момент, когда я окажусь беспомощным.

Сидоров в коридоре окончательно рассвирепел. Он мешал думать своим криком. И наверняка не давал отдыхать больным. Не люблю, когда люди забывают, где они находятся. Дед, если он и недоволен, не позволяет себе повесить голоса в отделении.

Я вышел из реанимации. Совсем забыл, что, по мнению Сидорова, я уже прогуливаю.

Маленькие глазки Петра Матвеевича возмущенно поблещивали.

— В отделении тяжелые больные, — резко выговорил я, — а вы кричите.

Санитарка осторожно отступила в глубь коридора.

Сидоров с удивлением поглядел на меня. Его лицо стало красным: он беспокойно поискал глазами санитарку, не нашел, повернулся и вдруг торопливо пошел, побежал из отделения.

...Состояние тети Они к вечеру улучшилось. Борисов долго слушал сердце, потом сказал:

— Может быть.

Если Дед говорит «может быть», значит возникла какая-то надежда.

— А теперь, — сказал он, — бери ключ от ординаторской и иди спать. Когда потребуешься, разбужу.

Я закрылся в кабинете. Голова была как в тисках. Я вытянулся на больничной кушетке и с тоскою подумал, что уснуть не смогу. Если очень устанешь, сон не приходит.

Я лежал с закрытыми глазами, размышляя о Мишке, о болезни тети Они, потом поднялся и нашарил рукой выключатель. Оказывается, прошло три часа.

В коридоре было необычно тихо. Я торопливо надел ботинки, халат. Заело ключ. Я нервничал, проворачивал его, но дверь не открывалась.

Наконец вышел. Ни сестры, ни больных. Подошел к палате. Холодок пробежал по спине, и я вдруг понял, что боюсь, да, да, боюсь открыть дверь.

Борисов стоял у окна. Он не повернулся на скрип, а лишь слегка наклонил голову, давая понять, что знает о моем присутствии.

Я на цыпочках подошел к изголовью.

Тетя Она лежала поразительно спокойная. Казалось, она заснула после бесконечно длинных и трудных для нее суток...

Я думал о трудной ее жизни и о нелепости смерти. Да, человек не подготовлен к этому: пока здоров, он чувствует себя бессмертным.

Борисов распахнул окно настежь. В сером июльском мареве надвинувшейся ночи застыли дома, деревья, весь Валунец. За садами, одноэтажными домами поселка, как гигантская сигара, дымила труба химкомбината. «Неужели у Деда, — думал я, — или у других врачей не бывает такого момента, когда хочется плюнуть на свою профессию и заняться чем угодно: копать землю, пилить дрова, таскать мешки?

Разве можно сказать, что ты чувствуешь, устанавливая безнадежный диагноз, а человек разговаривает с тобой, смеется, торопится домой, чтобы успеть к обеду, верит в тебя, а ты смотришь ему вслед и уже знаешь, что теперь он будет приходить к тебе часто, жаловаться, просить помощи, разговаривать с тобой, как с врачом, а ты всего лишь регистратор надвигающейся смерти. Регистратор! И ты ему лжешь и лжешь, а он смотрит на тебя спокойно и доверчиво, и перед этим взглядом нельзя опустить глаза, поглядеть в сторону, потому что нужно лгать правдоподобно, во имя высших принципов, во имя вопиющей беспомощности твоей профессии. Но глаза больного преследуют тебя, как проклятье».

Я почувствовал руку Деда на своем плече.

— Что это за имя — Она? — спросил я.

— Анисья.

— Анисья? Даже не знал...

Мы молча спустились в приемный покой. Нянечка хотела что-то спросить, но только поглядела в нашу сторону.

У двери я пропустил Деда вперед.

— Что делать? — тихо сказал он. — Иногда опускаются руки. Ведь к смерти не привыкнешь.

Глава шестая

Сегодня Стасик заканчивал шестой опыт. Он растворял реактив, ежeminутно поднимал его к глазам и слегка встряхивал. На дне пробирки лежали маленькие кристаллы, желтоватые и круглые, как пшено. Теперь он испытывал какой-то страх перед своим упрямством. Он знал, что, пока не проверит все варианты, не начнет ничего другого. А ведь уже ночь. Если приплюсовать отпуск, то до окончания аспирантуры не больше двух месяцев.

Стасик укрепил пробирку в штативе и сел, безразлично наблюдая за пламенем. Работу придется назвать: «К вопросу о некоторых сомнениях аспиранта Корнева». Блеск! А через неделю — распределение.

Такую роскошь, как бесплодные поиски, могли разрешить только в аспирантуре.

Он решил отвесить еще одну дозу тетразолия. Встал. Положил на торсионные весы несколько кристаллов. Оказалось, много. Снять две-три крупинки не так легко, движения были неточные, и Стасик подхватывал совочком то больше, то меньше.

Он рассыпал реактив и сел, рассматривая светящуюся точку, даже не понимая, что это лампа и от нее слепит глаза, а по стене ползут оранжевые зыбкие круги. Потом с трудом оторвал взгляд от лампы, и тут же тысячи световых мух заплясали по комнате.

«Нужно работать», — подумал Стасик.

Наконец он отвесил реактив и удачно снял иглой несколько лепестков замороженной ткани.

Он делал все механически: встал, взял, отнес в термостат, закрыл, отошел, записал в журнал. Сколько часов он сидит здесь? С девяти утра. Двенадцать и четыре — шестнадцать. Да, сегодня, пожалуй, переборщил. Теперь как повезет...

Он перенес все стулья в одно место, составил их и лег, положив руки под голову. Усталость одолела его...

И вот профессор Незвеккий в большой операционной представил Стасика человеку в цилиндре.

— Гутен морген, — сказал человек и приподнял цилиндр.

— Я вас узнал, — сказал Стасик. — Пауль Эрлих. Великий экспериментатор. Шестьсот шесть опытов.

— А у вас?

— Восемьдесят восемь. Но я уже выдохся. Видимо, такая работенка не для меня. Еще пара неудач — и амба.

— Бросите?

«Брошу», — хотел сказать Стасик и почувствовал, что на него смотрит больной.

— Ему тридцать два года, — объяснил Незвецкий. — Завтра убираем легкое. Если шок случится на столе, без вашего препарата нам не справиться.

— Но у меня ничего не выходит!

И сразу проснулся. Вытер рукой потное лицо. «Черт побери этого Незвецкого! — подумал он. — Специально вызвал из лаборатории на операцию, чтобы показать мне... Будто я виноват... Неужели я не понимаю, — мысленно крикнул он, — и без этих эстрадных шуток, что препарат нужен!»

Он подошел к крану и сунул голову под сильную струю.

Он стоял, стиснув зубы от холода, до тех пор, пока не перестал ощущать льющуюся воду. Потом вынул из термостата буфер, перенес на стол.

В окуляре покачивались нежно-розовые лепестки с сиревыми точками — ядрышками фермента.

Стасик все глядел в лулу. Он понимал: опыт вышел, но радости не было.

«Устал! — подумал он. — Страшно устал... Пора домой».

...Были сумерки. Стасик медленно добрал до набережной и уселся на парапет рядом с каким-то рыбаком. Метрах в десяти на волнах раскачивался зеленый круг луны, и зеленые световые дорожки фонарей бежали параллельными прямыми глубоко в воду. Волны подбрасывали луну кверху, сворачивали в рулон, старались выкатить на берег.

По мосту с ревом прошла «скорая помощь», потом такси, еще такси. Машины мчались с огромной быстротой, старались обогнать друг друга. Справа, в километре от него, тяжело поднимались связанные в металлическом сплетении половины Дворцового моста.

Стасик чувствовал дыхание города. Был един с его движущимися машинами, разламывающимися мостами, камнями набережных. Он жалел спящих, — люди обманывали себя, думая, что отдыхают. Это отдыхал он, шагая по Кировскому мосту, громко стуча каблуками, словно стражник, охраняющий город. Да он и был хозяином города, владельцем радости, золотого ключика от Петроградской стороны, Марсова поля, всего, где только проходил.

Под ним плескалась Нева, а слева шелестели листьями петровские деревья Летнего сада.

Красный фонарь на мосту вылупил свой глаз и, не мигая, рассматривал прохожего.

Стасик пересек дорогу, оглянулся.

— Сим-сим, отворись! — сказал он.

И вдруг зашевелился Кировский мост, вздохнул, напрягая каменную грудь, и потянул остов, разрывая провода электрической сети.

«А мне здорово повезло!» — неожиданно подумал Стасик.

— Мне здорово повезло! — крикнул он мостам.

Где-то вблизи играла музыка. Он огляделся. Какой-то тип бродил по набережной с транзистором.

— Приятель! — закричал Стасик. — Ты потерял свою девушку?

— Я ее нашел, — засмеялся парень с транзистором. — Слышишь ты, я нашел девушку!

— А я нашел фермент! — крикнул Стасик.

— Ты сумасшедший? — спросил парень.

— А как же! — захохотал Стасик.

В нем вдруг заплескалась радость, как Нева в этой ночи, и луна показалась зеленой точкой в Мировом океане, на перекрестке тысяч световых лет, уходящих в бесконечность. Он не мог больше выдерживать один всю навалившуюся на него радость, подбежал к телефонной будке и быстро набрал номер Палина. Гудок, два, три... Почему не снимают трубку? Может, нет дома? Он повесил трубку и набрал номер Тани. Никто не подходил.

«Черт побери! — сказал Стасик. — Все нужные люди переселились в соседнюю галактику!»

Он посмотрел на часы. Было половина четвертого.

Он засмеялся, сообразив, что уже утро, и сразу услышал хриплый и недовольный голос Таниного отца.

— Алло? Алло?

Стасик улыбался, не зная, что сказать отцу в четыре часа ночи.

— Алло? — в третий раз сказал отец и дунул в трубку.

«Интересно, для чего он дует? — решал Стасик, улыбаясь. — Надеется сделать дырку в проводе?»

Он тоже дунул.

— Что? — спросил отец.

— Гав! — пролаял Стасик довольно мирно.

— Что? — переспросил отец.

— Гав-гав! — повторил Стасик.

— Хулиганы, — объяснил отец домашним, окружившим его.

— Дай, я послушаю. — Он понял, что это Таня. — Может, помехи?

— Хулиганы, — сказал отец. — Я не буду вешать трубку, а ты беги в автомат и проси милицию проверить номер.

— Алло, — наконец сказала Таня.

Было слышно, как затихают в коридоре шаги отца.

— Гав! — ласково сказал Стасик.

— Я тебя поздравляю, — сказала Таня. — Кажется, все хорошо. Опыты вышли.

— Рррр-гав, — подтвердил Стасик.

Он положил трубку и запел серенаду Дон-Кихота. Он шел по городу и каждый раз, проходя мимо автомата, останавливался на минуту, подавляя искушение позвонить шефу.

Глава седьмая

Мама суетилась, подкладывала в тарелку еду и все время вздыхала.

— Похудел. И что-то в тебе изменилось.

Я кивал, улыбался глазами, раздувал щеки, вот, мол, не могу ответить, рот занят.

— Колючий, — сказала мама, — как отец после дежурства.

Я опять вспомнил о смерти тети Они, но ничего не сказал матери. Пусть пока не знает об этой беде.

— Как это можно не спать ночами? Вот и отец был таким. Он мог работать сутками.

...Во дворе нашего дома ничего не изменилось. На скамейке сидели пенсионеры. Я подошел к бывшему управдому, семидесятипятилетнему старику, тот поднялся, чтобы поприветствовать меня.

— Приехал? — спросил управдом. — А Анатольевна жаловалась, что тебе не вырваться даже на неделю.

— Действительно не вырваться.

— Значит, сюрприз?

— Вроде.

Петр Васильевич рассмеялся, довольный своей догадливостью, и похлопал меня по плечу.

— Вечером зайди, померяешь давление.

...На Новочеркасском за год выросли новые корпуса, желтые близнецы, около которых еще стояли, словно вытянув от удивления шеи, подъемные краны. Среди незаселенных новостроек мой дом — старик; ему столько же, сколько и мне, хотя, пардон, он старше на два года. Когда-то дом казался

«почти до неба», и окна в квартире «почти до неба», и по Охте бродил одинокий трамвайчик, а люди долго ожидали на улице, мерзли и ругались.

Я любил стоять с театральным биноклем у окна и смотреть, как прибывают трамваи. Отец приходил с работы утром. Он был врачом «Скорой помощи», а это настоящее дело, которому завидовали во дворе все ребята.

Война началась с того, что отец получил военную форму. Трамваи на Охту стали ходить очень редко; еще реже домой приходил отец. Меня и мать эвакуировали в Вологду. Мы ехали медленно, значительно медленнее, чем шли страшные письма с фронта.

Потом было всякое. Мы вернулись в сорок пятом, и дом моего детства за эти четыре года словно бы уменьшился и перестал казаться большим. Теперь он ничем не отличался от домов, которые строили рядом.

..Шофер такси прибавил газ, как будто за ним гнались. Он въехал на Охтинский мост, пролетел мимо Смольного и вывернул на Суворовский. Около института я расплатился и вышел.

Больничные корпуса утопали в зелени. В саду на скамейках с конспектами и учебниками сидели студенты. Была середина июня — пора экзаменов. Три года назад в это же время здесь сидели мы со Стаськой, задавали друг другу случайно пришедшие в голову вопросы из экзаменационных билетов, вспоминали проценты смертности и рождаемости, в паническом страхе бросались к отличникам, чтобы выяснить причины загрязнения воды или проблемы прибавления веса новорожденных.

Я рассматривал здания, сад, выскивая какие-нибудь перемены. Все оставалось прежним.

«Нужно сейчас же позвонить Стаське, — подумал я. — Как случилось, что я еще никого не видел в Ленинграде? Ведь все, что произошло в Валунце, не может быть ему безразлично».

Из вестибюля клиники я позвонил по местному телефону в лабораторию. Голос у Стаськи был недовольный, даже немного раздраженный, видимо, «ученого» оторвали от великих открытий. Я чинно представился.

— Дашкевич? — Недовольная хрипота исчезла. — Откуда?

— Из леса, вестимо.

— Гад долговязый! Я тебе вчера тонну бумаги исписал. Не мог предупредить, что приедешь? Надолго?

— Еще десять дней.

— Живем! Десять дней — это срок. Небось свадебное путешествие или тайное поручение валунецкого общества баптистов?

— Почти угадал. Семинар по хирургии.

— Где?

— У Незвецкого.

— Это тебе повезло. Незвецкий — человек дельный. Могу познакомить.

В голосе Стаськи появились хвастливые нотки.

— Познакомь. Хотя для начала мы должны встретиться сами.

— Проще простого. Фирма открыта круглые сутки для тружеников славной периферии... и красивых женщин.

Мы захохотали, оба счастливые шуткой, потому что я знал, как любит Стаська изображать ловеласа, а Стаська — потому, что мне это давно известно.

— Неужели есть женщины?

— Что за вопрос! Все, что нужно, фирма обеспечивает. Перевозка бесплатно. Ваш вкус не изменился?

— Резко изменился, старик. Может случиться, что отряд холостяков поредет.

Стаська застонал, заахал. Потребовал воды. Обещал набить морду при встрече. Подошла преподавательница, и разговор пришлось кончать.

— Встретимся днем, — сказал Стаська. — В час у газетного ларька. Пароль: «Как живет ваша двоюродная бабушка?»

— Она уже чемпион по боксу, — поддержал я.

— В случае провала операции стреляйте. Последняя пуля себе.

— Слушаюсь, поручик.

Я повесил трубку и побежал догонять группу. Врачи шли мимо палат, будто стая гусей, лениво переваливаясь, обмахиваясь от жары бумажными крыльями — газетами и тетрадями. Комната для занятий оказалась с солнечной стороны, и врачи ворчали, рассаживаясь по углам, безрезультатно выискивая тень.

Темой занятия была язвенная болезнь. Ассистент, человек лет сорока пяти, неинтересный и серый, нудно пережевывал разные теории. Я с состраданием смотрел, как восемь моих коллег, люди уже немолодые, записывают в тетрадки каждое его слово, хотя все это можно было прочесть в любом учебнике по хирургии за прошлое десятилетие.

«Кому нужна эта галиматья? — думал я. — Эти теории? Каждому ясно: чем больше теорий, тем меньше определен-

ности. И что может знать этот человек о трудностях сельского хирурга?»

Я возненавидел красноносого ассистента. Разве из-за таких новостей стоило уезжать из Валунца?

Я вспомнил разговор со Стаськой и опустил голову, стараясь спрятать улыбку. Странно. Теперь Стаська казалась человеком намного младше меня.

В дверь постучали.

— Доктор Воробьев, можно вас на минутку? — В приоткрытой двери появилось счастливое лицо Стаса. Он отыскал глазами меня и хитро подмигнул.

Ассистент встал, извинился перед врачами и вышел в коридор. Было видно, что разговор происходил серьезный. Ассистент горячился, что-то показывал руками, качал головой. Через несколько минут он вернулся.

— Доктор Дашкевич, вас вызывают.

Я вышел. Стаська стояла у окна. Мы обнялись, тискали друг друга, пока из палат не появились удивленные больные.

— Долго ты уламывал красноносого.

— Мы толковали о рыбной ловле, — засмеялся Стасик и торопливо прибавил: — Слушай, старикашка, все подробности выясним днем, а сейчас у меня нет лишней минуты. Хочу познакомить тебя с Незвецким. Такие вещи нельзя откладывать.

— Контакты остаются важным принципом моей внешней политики, — продекларировал я.

Мы заглянули в кабинет, в операционные. Профессора нигде не было.

— Может, он в душе? — предположил Стаська. — Пошли. Время — деньги.

— Ты с ума сошел! Ничего себе — знакомство в душе!

— Извинения беру на себя, — и Стаська зашагал по отделению.

Мы вошли в смотровую. Нянечка сидела у окна и катала ватные тампоны для перевязочной.

— Шеф моется?

— Чего ему мыться? Он в живодерне... — Она перекрестилась.

— Прекрасная мысль! — Стасик уже бежал по коридору. — Вперед! Обстоятельства за тебя.

— Слушай, — наконец спросил я, — у тебя же должно быть распределение?

— Было.

— И куда? — Я даже остановился на лестнице.

— В Новосибирск.

— В Новосибирск? Почему так далеко?

— Там обещают настоящее дело. Надоело наше болото.

— По-твоему, Ленинград— болото, пижон?— разозлился я.

Мы остановились перед дверью с табличкой «Экспериментальная лаборатория». Стаська одернул халат.

— Маленькая инструкция перед знакомством. Незвецкий — существо сложное. Советы ему лучше не давать. Молчанье — основа успеха.

Мы постучались и вошли в небольшой зал, перегороденный застекленными дверями на два операционных бокса. Незвецкий мыл руки и даже не обернулся, когда Стасик и я поздоровались.

— Это вы, Корнев?

Он взял спиртовой тампон и протер руки. Я рассматривал Незвецкого. Было ему не больше сорока пяти. И казался он не ниже меня, только худой, даже тощий. Худобу подчеркивало лицо с опавшими щеками, длинным носом и маленькими острыми глазками.

Нянечка подала стерильный халат, и он стал одеваться: завязал рукава, с треском натянул резиновые перчатки.

— Все готово, — сказала лаборантка, девчушка лет восемнадцати. Она все время смотрела в окно и почему-то подносила к глазам руки, и я, наконец, сообразил, что она плачет.

— Полюбуйтесь, Корнев, — раздраженно сказал Незвецкий, — протеже директора. Плачет, потому что не может работать с животными. А я думаю, что плакать нужно мне с такими помощниками.

— Я к людям просилась...

— К людям? От этих кроликов зависит судьба людей. Ты кроликов полюби.

Он повернулся спиной к лаборантке, и наконец взглянул на Стасика.

— Ассистировать будете?

— Не смогу. Вы мне приготовили ткань?

— Конечно. Жаль, что не сможете.

— Я бы хотел вас познакомить с моим другом. Очень хороший хирург. — Это случилось у Стасика неожиданно, и я покраснел. — Может, разрешите ему ассистировать?

Незвецкий внимательно посмотрел на Стасика и вдруг расхохотался: хитрость лежала неглубоко.

— Вам я не могу отказать, Корнев. — Он повернулся ко мне. — Операция сложная.

— Вы не пожалеете, — совсем по-мальчишески, не умея скрыть радости, сказал Стасик.

Незвецкий улыбнулся.

Он ждал, когда я приготовлюсь к операции, мрачный и нервный, расставив руки в резиновых перчатках.

Я сменил халат и прошел в бокс.

Работали молча. Я старался следить за руками профессора, угадывая следующий ход. Руки Незвецкого были удивительно подвижны. Казалось, они говорят, отдают приказания и сами действуют моментально.

Мы вышли из бокса и одновременно повесили халаты.

— До свидания. — Незвецкий протянул руку и неожиданно улыбнулся. — Вы из какой клиники, молодой человек?

— Я у вас на семинаре. Приехал.

— Гм... До свидания.

Я подошел к дверям.

— Да, — сказал Незвецкий, — приходите завтра к девяти. У меня операция. Я предупрежу вашего ассистента.

Глава восьмая

Больной приподнялся на локте, но достать кружку с водой не смог.

— Зоя Борисовна, можно вас попросить?

— Пожалуйста.

Зойка подошла к окну и посмотрела на улицу. Солнце стояло в зените. От долгой жары пересохшая земля в садике была в трещинах и морщинах, как старческая ладонь. Зойка задержала взгляд на цветущем жасмине, вдохнула побольше воздуха, точно собиралась взять его столько, чтобы хватило на весь день, и вдруг замерла.

Вначале ей показалось, что это ошибка, потом она решила — удивительное совпадение, но через мгновение поняла — это Гошка. Рядом стоял Стаська и что-то говорил, размахивая руками.

Зойка схватилась за подоконник и так продолжала стоять, пока больной не повторил просьбу.

— Что вы говорите? — переспросила она.

— Кружку, я вас просил...

Зойка передала кружку и вышла в коридор. Она прошла из одного конца отделения в другой, вернулась в палату. Больной ждал ее, Зойка села на кровать, вынула стетоскоп и приложила его к сердцу. Чужое сердце работало спокой-

но — стук-стук, перерыв, но Зойка слышала совсем другое. Это было ее собственное сердце. Оно колотилось в грудную клетку, точно просилось выпустить.

— Вдохните и не дышите, — сказала она, лихорадочно думая о Гоше.

Что это с ней? Почему еще вчера она считала, что не любит его, а сейчас?

Она поднялась, делая вид, что хочет подойти к больному с другой стороны, и еще раз взглянула на улицу.

Там никого не было.

— Очень плохо, — сказала она шепотом.

Больной даже приподнялся.

— Что плохо? Сердце?

Зойка посмотрела на больного удивленно, не понимая, о чем тот спрашивает.

Дошла до дверей и только у входа сообразила: «Нужно как-то предупредить, что обход будет позже».

По коридору и по лестнице она шла медленно, пытаясь думать о чем угодно, но в садике заметалась. Гоши не было. Зойка побежала к воротам, на ходу снимая и комкая халат.

На дороге тоже никого не было.

«Если так нервничать, то я, конечно, не найду его».

Она быстро дошла до угла и метрах в двухстах увидела Стасика и Гошу. Она сразу узнала его. Он шел не спеша, покачиваясь, как моряк после долгого плавания.

Зойка пошла за ними.

«Нужно пройти мимо... Он окликнет».

«Нет. Это плохо, что Гоша со Стасиком».

Она почти догнала их и остановилась.

Около Музея Революции я влез в автобус и помахал Стасику рукой. На остановке читала афишу Зойка.

«Хорошо, что она меня не видела», — подумал я.

Глава девятая

Операционная клиники, уставленная наркозными агрегатами, электрокардиографами, казалась после маленькой операционной в Валунце сказочно неправдоподобной. Такие технические чудеса без удивления смотрятся только в кино, но здесь к этому еще нужно привыкнуть.

Моя задача на операции была несложная: помогать хирургу. Незвонкий работал медленнее и, пожалуй, спокойнее,

чем вчера. Он дважды передавал мне скальпель, как-то случайно, будто не замечал сам, и я начинал вести операцию, увлекаясь и забывая обо всем. Я понимал это только тогда, когда чувствовал в руках крючки — инструмент ассистирующего.

На втором часу операции ритм работы изменился. Дважды Незвецкий откладывал инструменты и думал, разглядывая рану. Казалось, в эти моменты он делает привал, отдыхает, чтобы набраться сил перед новым рывком или рискованным переходом. Мы работали около крупного сосуда. Незвецкий посмотрел на меня, точно хотел проверить, понимаю ли опасность, взял жом и осторожно наложил инструмент. Стало слышно дыхание больной, тиканье часов и щелканье аппаратов.

«Работает не хуже Деда», — подумал я.

— Снижается давление, — предупредил наркотизатор. — Сто и шестьдесят. Пульс сто двадцать.

Незвецкий промолчал, словно ничего не слышал. Может быть, единственное, что изменилось в работе, — это ритм. Теперь перерывов не было. Исход зависел от сбереженных секунд.

— Девяносто и шестьдесят. Пульс сто двадцать.

Я придерживал крючками края раны и боялся пропустить указания Незвецкого. В такие минуты возникает удивительное и, пожалуй, по-настоящему человеческое ощущение единства со всеми работающими рядом. В какой-то момент, даже в незнакомом коллективе, ты, не понимая этого, перестаешь быть Незвецким или Дашкевичем и начинаешь физически чувствовать, что он — это ты, и больной и наркотизатор — тоже ты; все сливается в один организм, в одни руки, работающие в едином ритме, и мысль, одна на всех, даже не сказанная вслух, улавливается твоими глазами, руками, пальцами. Тебе не приходит в голову что-то изменить, потому что все, что они делают, — это твое, и разрез, который выбрал Незвецкий, тоже подсказан тобой.

— Семьдесят и сорок, — говорит наркотизатор.

— Семьдесят и сорок, — повторяю я. На моем лице выступают капли пота. «С этого началось у тети Они...»

— Приготовьте раствор Воробьева.

— Вводить в систему?

— Лучше в систему.

Голос наркотизатора звучит спокойно.

...Сестра разбивает ампулу и набирает жидкость. Незвецкий склоняется над больным, даже не посмотрев, что делают помощники.

Все работают медленно. Слишком медленно. Мне кажется, что сейчас демонстрируют специальный фильм, снятый так, чтобы фигуры не ходили, а плыли в воздухе, чтобы они еле-еле открывали шприц и бесконечно набирали лекарство...

— Старайтесь не отвлекаться, — бурчит Незвецкий и рукой поправляет крючки. — Давление?

— Семьдесят и сорок.

— Поднимите до ста и восьмидесяти.

До меня доносится что-то совсем необычное. Как это «поднимите до ста»?

Мне становится не по себе, будто в мире, который я хорошо знал, произошло неожиданное.

— Сто и восемьдесят. Пульс — семьдесят шесть.

— Удовлетворительно.

Незвецкий накладывает последние швы и устало снимает перчатки.

— Когда вы освобождаетесь?

— В час.

— Мне хотелось бы поговорить с вами. Зайдите за мной. Я киваю.

Он моет руки и, не взглянув на больную, выходит из операционной.

Мне нужно подумать. Журчит вода, сначала очень холодная, теперь кипятком. Я отвлекаюсь от своих мыслей, регулирую температуру.

Почему был так уверен Незвецкий? Откуда это спокойствие? Ведь в Валунце... и я и Борисов... Мы оказались такими беспомощными.

Я вновь мысленно повторяю всю операцию. Анализирую. Состояние нашей больной было близким к состоянию тети Они. Правда, прошло меньше времени от начала приступа. Это, конечно, важно...

Но если бы у нас было лекарство? Раствор Воробьева? Может, и трагедии бы не наступило?..

Я шагаю по клинике.

Я все еще не могу разобраться в случившемся.

Что это? Маленькая неустроенность мира? Невинный пустячок снабженца? Неужели кто-то не отправил лекарство в Валунец? Я обязан выяснить, почему клиники Ленинграда и Москвы получили лекарство вовремя...

Я шагаю по клинике.

Говорят, в таких случаях не бывает виноватых. А страдание тети Они неотступно преследует меня.

Я поднялся на второй этаж и остановился около дверей учебной комнаты. Было слышно, как преподаватель монотонно поучает врачей. Я решил войти, взялся за дверную ручку и сразу же отпустил ее. Не было ни желания, ни сил отсиживать часы на семинаре.

Я вышел в сад. Хотелось побыть одному. Подумать.

Во дворе на скамейках сидели больные, смеялись, разговаривали, играли в домино, сотрясая воздух оглушительными ударами костяшек. Я поискал место в стороне от этого шума. Даже трамваи раздражали меня своим веселым позваниванием.

Я пошел в глубь двора по грязной, незаасфальтированной дороге, торопясь, точно кто-то ждал меня там.

«Это же убийство, — повторял я. — Убийство, в котором участвовал я и участвуют другие. . . А может, сейчас в Валунце вновь повторяется трагедия и Борисов опять беспомощен? Как быть? Раньше, когда я не знал об этом, все казалось объяснимым, а теперь. . .»

Я уселся на груды кирпичей и, зажав голову руками, долго смотрел в одну точку.

В час дня, как и уговаривались, я позвонил Незвецкому по внутреннему телефону, и тот сразу же вышел. Его трудно было узнать в элегантном светло-сером костюме. Он взял меня под руку и медленно, точно хотел продемонстрировать перед всеми свое покровительство, провел мимо клиники.

— Вы куда-нибудь собрались?

— Только домой.

— Я довезу вас.

Мы пересекли двор и вышли к тому месту, где только что сидел я.

— Не скрою, вы меня удивили и порадовали. Чувствуется хорошая клиническая школа.

— Это заслуга заведующего отделением.

— Как его фамилия?

— Борисов.

Незвецкий задумался на секунду.

— Не знаю. Какой у вас стаж?

— Три года.

— А дальше?

Я пожал плечами.

— Хотите к нам? Мне нужна молодежь. Мы могли бы подождать до сентября, а этого времени достаточно, чтобы закончить любые дела и рассчитаться.

Я ошарашенно глядел не Незвецкого. Не шутит ли? Работать в его клинике! В Ленинграде! Все, что я видел сегодня, — великолепная операционная, современная аппаратура, десятки врачей, — было фантастикой, головокружительной мечтой. Конечно, да! Разве можно выбирать между Валунцом и Ленинградом? К сентябрю Мила вернется из лагеря. Я расскажу о своей удаче. Она поймет. Второго предложения не будет... Сейчас или никогда. Она обязательно поймет. Дед тоже...

И вдруг я с ужасом представил, как будет непросто предложить Миле уехать. Ведь я сам уговаривал ее вернуться... Был счастлив, когда она пренебрегла условностями.

А как объяснить неожиданное решение Деду? Перспективностью?

Я вспомнил и еще одно... Как-то я возвращался из больницы после тяжелой операции. Муж больной — пожилой рабочий с комбината — шел рядом. Светало. Я ничего не чувствовал, кроме страшной усталости.

— А знаете, — неожиданно сказал рабочий, — без вас страшновато здесь было.

— Почему? — удивился я. — А Борисов?

— Я про Александра Сергеевича не говорю. Он для поселка — бог. Но ведь не молод... Уйдет, думаем, на пенсию — пропали. Но вот теперь мы спокойны...

И тут я подумал, что и Мила и Дед вспомнились первыми потому, что они были мне ближе всего, но за ними стоял Валунец, а это, оказывается, значительно больше, чем я предполагал.

Незвецкий терпеливо ждал. Я поглядел на профессора.

— Спасибо. Пока я не смогу уехать.

— Жаль, — раздумывая, сказал Незвецкий — Очень жаль.

Мы подошли к двухцветной «Волге». Незвецкий открыл дверцы.

— Вы рискуете, — сказал я, стараясь как-то прервать молчание. — Разве можно оставлять машину со спущенными стеклами?

Я согнулся, залезая на заднее сиденье, и сразу же отпрянул. Кто-то грозно зарычал рядом.

— Свои, Ляля! — крикнул Незвецкий.

Огромный боксер, оскалив зубы, смотрел на меня.

— Не бойтесь, — засмеялся Незвецкий. — Мой пес никогда не ест талантливых людей.

Профессор бросил на переднее сиденье пиджак и закатал рукава.

— Представьте, без меня ни за что не сидит дома, — объяснил он. — Плачет.

Машина выехала в центр институтского двора. Студенты с учебниками бродили прямо по дороге, и Незвецкий беспрестанно сигналил.

— Скажите, что это за препарат Воробьева? — спросил я. — Недавно у нас умерла женщина, потому что нам нечем было удержать артериальное давление.

— Препарат предложил преподаватель вашего семинара.

— Мой преподаватель? А лекарством пользуетесь только вы? — Я нервничал. Голос сорвался, и вопрос прозвучал резко.

— Препарат синтезирован год назад, — объяснил Незвецкий. — Но у Воробьева возникло сомнение: не угнетает ли лекарство тканевое дыхание? Пришлось обратиться за помощью к вашему товарищу.

Он говорил очень спокойно, делая паузы, так как внимание было поглощено дорогой.

— Мы должны быть очень осторожны, вырабатывая рекомендации для применения новых лекарств. Рассел как-то написал: «Ученый обязан с некоторым недоверием относиться к своим открытиям».

Я почувствовал необъяснимый страх. Тетя Оня и Стасик — это была мистика, фантазия, что угодно... В одно кольцо замкнулись судьбы разных людей: моя, Борисова, Незвецкого, Стаса, больных в Валунне.

— Стас задержал препарат. Виноват Стас, — повторял я. Что-то медленно поворачивалось в моем сознании, но яснее от этого не становилось. — Как это все поставить рядом?

— Думаю, неправильно обвинять Корнева. Он пожертвовал для этих исследований очень многим. Честно сказать, мы не ожидали, что уже летом сумеем применить препарат.

— Когда же вы передадите лекарство врачам?

— Через год, не раньше. Оружие должно стрелять без осечки, и не по своим.

— Но ведь результаты поразительные.

— Это только второе наблюдение. Мы должны быть очень осторожны.

— Осторожность! Проклятая осторожность! — со злостью сказал я. — Кто нам дает право медлить, когда эта осторожность становится роковой для многих больных?

— Но неосторожность тоже может стать роковой. Это еще страшнее. — Незвецкий поехал медленнее, выжидая, когда загорится желтый свет светофора и можно будет остановиться, посмотреть на собеседника. — Разве вы простите себе убийство больного? Только осторожность. Другого слова здесь нет. Мы

не имеем права спешить, каким бы лозунгом или побуждением это ни объяснялось.

— Значит, ждать? Сложить руки и ждать?

— О, это уже совсем другой вопрос. Можно ждать, а можно и работать. Люди сами отгораживаются от того, в чем должны участвовать.

— Вы говорите о науке?

— А разве у себя в Валунце вы бы не смогли испытывать препарат? Конечно, не один. Мы бы дали вам лекарство и помогли.

Я хотел сказать, что не готов к роли исследователя, но сейчас почему-то промолчал.

Незвецкий вел машину легко. Стрелка спидометра моталась около шестидесяти. Мы проскочили по Суворовскому под зелеными светофорами, нигде не останавливались. Я вышел около моста и попрощался с Незвецким. Хотелось пройти пешком, подумать.

Я шел, не обращая внимания на прохожих. Как просто искать равнодушных, жаловаться, обвинять других и одновременно отворачиваться от правды, от своей виновности...

Я вспомнил слова Незвецкого о людях, которые ждут готовенькое, искусственно отгораживаются от того, что внешне является для них необязательным. И первый раз такие слова не показались мне демагогией.

Сейчас я мог сказать все это даже Стаське, и тот не пожал бы плечами, не сказал бы: «К чему это, старик?» — потому что все зависит от того, как произнесет человек любое слово.

На следующий день в половине седьмого я забежал в подвальчик на Невском и купил коньяк. Я улыбнулся, представляя восторженный гул девчонок из группы. Встреча организовывалась неожиданно. Вчера, когда меня не было дома, кто-то позвонил и передал матери, что группа собирается по такому-то адресу в восемь часов.

На такси была большая очередь, и я, подождав последнего, бросился в «Север» за тортом. К дому я подъехал на десять минут раньше.

За дверью было тихо. Я позвонил и сразу же услышал шаги.

— Открывайте! — крикнул я. — Ваша мать пришла, алкоголь принесла.

Хлопнула задвижка.

— А-а! — закричал я и, расставив руки, ввалился в темный коридор. Показалось, что около двери стоят, и я стал

шарить в воздухе руками, надеясь поймать кого-нибудь из девочек.

— Это нечестно, — сказал я. — Включите свет. А то что-нибудь опрокину.

Щелкнул выключатель, и почти одновременно кто-то легкий повис сзади на моих плечах, пытаюсь ладонями закрыть глаза.

— Валя? Светка? Марина?

Я перебирал имена, прислушиваясь к осторожному дыханию девушки. Наконец руки разжались. Я повернулся. Перед мною стояла Зойка.

Она улыбалась натянуто и напряженно: вот, мол, обманули. А может быть, она и не улыбалась, а плакала от этого нервного напряжения, от придуманной игры со мной. Мы смотрели друг на друга. И тут мне стало ясно, что никакой встречи не будет, ничего не будет, что все это — выходка Зойки.

— О, это хорошо! — сказала она беззаботно, забирая коньяк и торт, но я заметил, как дрожали ее руки. — Значит, выпьем за неожиданности. Ты же не скажешь, что это неприятная неожиданность? А за приятное всегда стоит выпить. Проходи, будь как дома.

Я прошел в комнату и сел, не зная, что говорить Зойке.

— Ты, кажется, разучился болтать с женщинами? Валунец — это мужской монастырь? Даже название какое-то древнее. Раньше ты умел разговаривать..,

— Как родители?

— Родители? Родители — великолепно! Папа продолжает руководить вверенным ему учреждением, а мама повышает квалификацию жены и домашней хозяйки. А как твоя мама?

— Постарела немного.

Я посмотрел на Зойку. Ей трудно вести роль. Большие черные глаза блестят от волнения. Рот чуть приоткрыт, и кажется, она дышит горячим воздухом: вздохнет, обожжется, выдохнет. Сегодня она еще красивее и ярче, чем всегда. И одета со вкусом. У нее всегда был прекрасный вкус. А сегодня она здорово поработала над собой.

— Где же твой муж?

— Дома.

— Вы хорошо живете?

— Великолепно.

Глаза Зойки прищурены. Зачем бы она пришла сюда, если бы хорошо жила с мужем?

— Ну что ж, рассказывай о Валунце, об операциях, о любви к людям. Ты сегодня должен много рассказать из того, что не успел написать в письмах.

— Работаю так же.

— И только. Нет, ты подробно расскажи, как работаешь! Это же единственное развлечение, которое ты себе позволяешь, — работа. Ты же не позволяешь себе ухаживать за девушками? А? У тебя нет девушки?

— Есть девушка.

Улыбка становится шире, еще шире, теперь это уже не улыбка, а растянутые губы на белом лице. Неожиданно Зойка поворачивается и выходит в другую комнату. Она приносит рюмки.

— Давай выпьем, Георгий. У меня муж, а у тебя девушка. Муж думает, что у меня сегодня дежурство, и до утра можно не спешить.

— Ну, что ж, выпьем. Только позже я провожу тебя домой.

— Забота о нравственности? Я этого не замечала три года назад. Ну, рассказывай о своей девушке.

— Простая девушка.

— И все?

— И все.

— За твое счастье! — Зойка пьет коньяк.

— И за твое счастье, — говорю я.

— Нет у меня счастья, — неожиданно говорит Зойка.

Уже дважды наши рюмки становятся пустыми, но Зойка сразу наполняет их. Хороший коньяк. Он немного успокаивает обонх.

В дверях позвонили.

Зойка вскакивает, испуганно смотрит на меня и бежит открывать.

— А где ребята? — слышу я удивленный голос Стаськи и сразу вспоминаю, что утром передал ему предложение группы.

— Заходи, заходи, — повторяет Зойка приглашение. — Будем веселиться до утра.

Они заходят в комнату, и Стаська пристально смотрит на меня, пытаюсь разобраться в обстановке. Я пожимаю плечами. Стаська краснеет.

— Теперь нас много! — кричит Зойка. — Есть коньяк, но нет лимона. Гоша, сбегай, купи лимон.

— Лучше я схожу, — перебивает Стасик.

— Нет, лучше он, — настаивает Зойка.

— Лучше действительно пойти мне.

Я многозначительно смотрю на Стасика, и тот соглашается. Все-таки мы еще не разучились понимать друг друга.

Стасик видел, как Гоша пересек улицу и скрылся в магазине. Он отошел от окна и посмотрел на Зойку. Что ей сказать?

— Совсем не любит, совсем, — повторила она со слезами на глазах.

Он промолчал.

— А ты знаешь, я соврала, что у меня есть муж. Гошка думает, что сегодня я обманываю мужа.

Стасик не ответил.

— Ну скажи что-нибудь, Стасик! Вы что, сговорились молчать?

— Помнишь, Зойка, я тебе говорил в прошлом году: нужно ехать в Валунец. Он ждал тебя...

— А теперь? Если бы теперь?

— Не знаю.

Он подумал: «Сейчас нельзя говорить неопределенно. Слишком серьезно то, о чем рассказал Гошка».

— Нет, — сказал Стасик.

Глава десятая

Борисов проводил меня до калитки и протянул руку.

— До завтра. Ты мне очень мало рассказал о Ленинграде.

— Но ведь я даже домой не зашел. Прямо с вокзала к вам.

— Что у тебя за дом? Ну семья бы была. А то так, бобылем бобылем!

— А может, там уже и семья, — засмеялся я.

В кабинете Борисов плотно прикрыл за собой двери и, заложив руки за спину, стал рассматривать книжные полки, уставленные связками журналов, книгами в два ряда. Только в молодости может показаться, что жизнь идет медленно, а наука стоит на месте.

Борисов прошелся по кабинету. Институт, с которым у него

были связаны годы, живет полной жизнью. Он называл имена, уже не знакомые Дашкевичу. А ведь многие из этих людей в свое время были широко известны. . .

Прошлое вновь возникло перед Борисовым. Нет, он никогда не жалел о своей молодости, определившей всю будущую жизнь его поколения. Торопливость, которая владела ими, была не ребячливостью, а огромным стремлением изменить мир.

Они не писали диссертаций, потому что для этого не было времени, им нужно было спешить работать и искать, чтобы в каждое дело внести свои поправки. Как-то Лунин, усмехнувшись, сказал ему: «Ваш итог — заведующий отделением Валунецкой больницы, и все». Борисов прошелся по комнате тихо, медленно, точно прислушивался к себе. Да, некоторые его товарищи теперь профессора — это верно. Может быть, им стоит завидовать?

Он закурил, взял в руки коробочку с ампулами Воробьева. Жаль, что лекарство пришло поздно.

Его взгляд упал на небольшой портрет, выполненный в карандаше местным художником, его больным. Пожалуй, он там получился более молодым и немного легкомысленным. Докторскую шапочку художник сдвинул набекрень, а губы сложил в простодушную улыбку.

По коридору прошла Мария Михайловна. Борисов торопливо разогнал по комнате папиросный дым, открыл форточку и с любопытством посмотрел на свое отражение в стекле. Вот они, морщины, которые скрыл почему-то художник. Как точки бегут от глаз, бороздят подбородок. Все ли они от старости? Или, может быть, их оставили бессонные ночи, работа, беспокойство? Сколько раз он просыпался ночами от мыслей: правильно ли поставлен диагноз, все ли сделано? Ни себе, ни другим он не прощал равнодушия. Врач, безразличный к чужой беде, становился его врагом.

Он знал и другое равнодушие, которое выглядело тихим и добрым. Такие люди жили в своих комнатах и выполняли работу хорошо, аккуратно, но когда рядом возникала беда, они отворачивались и проходили мимо.

Он презирал этих людей, иногда боялся их. А сам жил для других, не умел иначе, и, хотя многого задуманного раньше не удалось выполнить, понимал, что сделано немало.

А ведь когда-то его шеф любил повторять слова французского психиатра, что, если бы каждого шестидесятилетнего человека разложить на три существа с двадцатилетней разницей, они стали бы лютыми врагами. Теперь ему за шестьдесят, и над этим стоит подумать. Испугался бы он двадцати-

летнего Саша Борисова? Нет. Конечно, многое бы выглядело наивным, но идеи, которым он посвятил свою жизнь, не стерлись и не поблекли.

Он опять остановился перед стеллажом, отыскивая взглядом какую-то книгу. Наконец нашел ее, пододвинул лесенку и осторожно поднялся наверх.

На сером переплете — год 1934-й. Как давно это было! Борисов сел в кресло и открыл первую страницу.

«Дорогому Александру Сергеевичу от сотрудников кафедры. Мы обязаны Вам идеей — целым направлением в наших исследованиях».

Борисов перелистал страницы, вспоминая людей, с которыми долго работал, и снова открыл титульный лист. Теперь книга имеет только исторический интерес, а научное открытие давно принадлежит людям. Он вынул ручку и долго обдумывал новую надпись.

Ему хотелось подарить Дашкевичу этот сборник — наверное, самое дорогое, что сохранилось у него как память о прошлом.

Когда-то в юности он понял, что самая большая радость для человека — чувство своей полезности. Полезности многим. Это, пожалуй, единственная причина, из-за которой стоит выбирать путь ученого...

Борисов задумался. Ему нужно было многое сказать Дашкевичу.

За эти годы не только Дашкевич, но и он, Борисов, многое понял иначе. Оказывается, опыт, если его некому передать, — это балласт, обуза, с которой человек еще больше ощущает свое одиночество.

Всего несколько лет назад его преследовал страх человека, которому не перед кем раскрыть секрет зарытого клада — опыта всей жизни, и он вынужден забрать все с собой, туда, где это никому не понадобится. Теперь он был спокоен.

Слова переполняли его, но он не мог выбрать из них самые нужные, непохожие на завещание.

Наконец, написал: «Я тебе очень обязан. А. Борисов».

Он прошелся по комнате. Пожалуй, только глупцам не ясно, что молодость, так же как и старость, — понятие не календарное. Борисов остановился сколо открытого окна. Перед ним лежала проезжая дорога, изрытая машинами и телегами. Она вела к лесу, туда, где сорок лет назад любили собираться его друзья.

Борисов словно прислушивался к себе. Вот они, спутники мятежной юности: Софа, Илюха, Михаил и Петька. Идут

за Борисовым. Спешат к лесу, чтобы всем вместе обсудить важные события, которые произошли с ним за последние несколько месяцев. Давно ты не встречался со своими друзьями, Борисов...

«Ну, как дела, Саша?»

«Неплохо, совсем неплохо, Софа».

«Как твой Дашкевич? Не разочаровался?»

«Нет. Думаю, он не хуже Петьки или Илюхи».

Софка засмеялась.

«Это ты перехвалил! Ты же сам говорил как-то: теперь таких, как мы, не бывает».

«Значит, ошибался».

«А сейчас? Не ошибаешься?»

«Нет. Сейчас уверен».

«А что я говорил! — крикнул Мишка. — Помнишь? Я говорил: наша цепь не прервется. Мы идем друг за другом, как альпинисты».

«Помню, — улыбнулся он. — Только знаете, мне стало казаться, что теперь Дашкевич идет в этой цепи первым. А я иду за ним, и он словно поддерживает меня».

Он подмигнул Илюхе. Тот захохотал во все горло. А Софка опять сбилась с ноги. Пришлось остановиться, чтобы она пошла с левой.

«Удивительная связь между нами. Я чувствую ее всем существом, и мне так хочется жить. Это великолепно, что я ему нужен».

«Ты ему, а он тебе. Так и должно быть, — сказала Софка. — Может, в этом и есть настоящее счастье?»

«Да, пожалуй, я счастлив. Сейчас даже неловко вспоминать, как я его встретил три года назад. Решил: он такой же, как те, что приезжали раньше. Но потом понял...»

«Все-таки понял?» — хитро прищурилась Софка.

«Гиндину я уже встретил иначе. И мне кажется, она не хуже, чем Софка».

«Это ты зря, — обиделся Илья. — Таких, как Софка, теперь не бывает. Ты это сам говорил».

«Значит, ошибался».

«А теперь не ошибаешься?»

«Теперь — нет».

«Может, что-то происходит в жизни? Как ты думаешь, Саша?»

Он ответил не сразу. Слишком важное слово от него ждали друзья.

«Происходит».

«Ха! — сказал Илюха. — Мне ясно, что ты влюблен».

«Старики влюбляются не как мальчишки, — сказала Софка. — Они влюбляются крепче».

Он улыбнулся своим мыслям и не спеша вышел в коридор. В столовой на подоконнике читал Мишка. Борисов обнял его.

— Пойдем погуляем.

— Я лучше посижу дома, — попросил Мишка.

— Нет, нет. На улицу, на воздух. Нельзя же так...

Они выбрали полянку на опушке леса и собрали большую кучу скошенной травы. Борисов лег навзничь, закрыл лицо соломенной шляпой, но и через нее проникали солнечные лучи. Он перевернулся на живот. Нежно-зеленые пилочки свежей травы покрывали землю. Новая поросль пробивалась к солнцу. Борисов провел ладонью по траве, словно погладил, и засмеялся.

— Вы чего? — спросил Мишка.

— Да так... — сказал Борисов.

Глава одиннадцатая

К вечеру выяснилось, что машина из пионерлагеря пойдет только в девять или десять, а может, и позже. Мила обождала немного и пошла пешком. В конце концов на этом шоссе не так трудно остановить попутку.

Она шла легко и быстро по бетонированной дороге, вдоль которой, точно в праздник, выстроились малиновые ряды иван-чая. Предчувствие встречи не покидало ее.

Хотелось, чтобы Гоша даже не предполагал, даже не думал, что она идет по безлюдью двадцать километров. И лес подступает к дороге. И с каждой минутой сгущаются сумерки. Она представила его удивленное, немного испуганное лицо, а потом радость.

«Наверное, скажет... — подумала она с гордостью. — «Как ты могла?... Ночью... одна... чтобы всего два часа побыть вместе?» — «Это немало — два часа. Когда случилось... с тей Оней, мы виделись меньше».

Она вспомнила то утро...

Гоша сидел усталый и подавленный. Она налила чай и смотрела, как он глотал кипяток, держа стакан двумя руками, не обжигаясь и не разжимая пальцев. Так же когда-то пили чай беженцы из Ленинграда на маленькой сибирской станции.

Сколько у человека может быть неудач? Иногда кажется, что кто-то специально придумывает испытания...

Она посмотрела на часы: без четверти восемь. Пожалуй, поезд за переездом. И вдруг внутреннее беспокойство охватило ее.

«А если Гоша приехал? Ведь существует дневной «скорый». На него трудно попасть, но сегодня...»

Мила почти бежала. Сейчас она была уверена, что Гоша в Валунце, и тогда не будет сюрприза, ведь, конечно, он ждет ее раньше.

Она услышала шум приближающегося грузовика и подняла руку. Самосвал с ревом прокатил мимо, обдав едкой струей отработанного газа, и остановился метрах в десяти.

— Ножками, ножками работайте, девушка! — крикнул водитель.

Она добежала до машины.

— В Валунце?

— Для вас хоть на полюс. Прошу.

Она с испугом посмотрела на шофера — широкоплечего парня с огромными кулаками — и отступила.

— Да не бойтесь, — мягко сказал он и нарочно перекрестился. — Я только с виду страшный. Так-то я смиренный.

Мила протянула водителю руку и влезла в кабину. К удивлению, шофер оказался молчаливым. Он гнал грузовик, иногда косясь на соседку. Мила закрыла глаза, делая вид, что дремлет.

— Станция Березайка, кто хочет, вылезай-ка.

Она не знала, как предложить деньги, и продолжала сидеть в кабине.

— Вы что, из лагеря?

— Да.

— У меня там племянник — Зайцев.

— Это в моем отряде.

— Что вы говорите? — обрадовался водитель. — Вот повезло. Ну, как парень? Нормальный?

— В каком смысле? — засмеялась Мила.

— Что надо парень?

— Что надо, — сказала она.

— Законно, — сказал шофер и стал рыться в кармане. — Вот. Назад пойдете — купите конфет. — Он протянул рубль. — От дядьки. Так и скажите. Он знает. Так и скажите. У нас с ним контакт.

— У меня тоже, — засмеялась Мила.

Она выпрыгнула из кабины и поежилась от прохлады.

Темнело.

Мила перебежала площадь и быстро пошла в сторону Гошиного дома. В его окне горел свет. Она постояла около двери, чувствуя слабость от волнения, и постучала. Трудно было сказать, может ли человек услышать такой стук?

За дверью кто-то неторопливо щелкнул задвижкой. Она почувствовала: это Гоша. Он смотрел в темноту, не узнавая, и вдруг сказал:

— А я только завтра собирался в лагерь.

— Когда же ты приехал? — спросила она.

Он не ответил, поцеловал ее и повел в комнату.

— Это просто здорово, что ты приехала! Сейчас будем пить чай. Устала? У меня куча новостей. Да ты сядь. Нет, на диван. Знаешь, Стаська подписал назначение в Сибирь. Ты сиди. Дай мне самому напоить тебя чаем.

Он подпоясался полотенцем и метался по комнате, радуясь ее неожиданному приезду.

Сначала они мыли посуду, так как оказалось, что все чашки грязные, потом грели чай, а Гоша говорил и говорил, а она только слушала. Было радостно слушать и хорошо молчать и думать, что предчувствие сегодня не обмануло ее.

— А ты что не рассказываешь? — неожиданно спросил Гоша. — Привыкла к лагерю? У тебя тоже, наверное, много новостей.

С ней действительно произошло немало за эти дни: и разговор с директором, с учителями, но сейчас все показалось пустяком по сравнению с тем, что говорил он.

Мила пожала плечами.

— А как ребята тебя встретили?

— Хорошо. У меня с ними контакт.

Он захохотал.

— Ну и словечко. От них подцепила?

— Нет, от шофера. А знаешь, — сказала она, — я сейчас действительно не узнаю себя. Мне легко и интересно работать, и кажется, что все можешь.

— Хвастаешь...

— Совсем не хвастаю. Сегодня мы отлично прошли восемь километров.

— Молодец! Ребята тебя любят.

— Что ты! В прошлом году эти же ребята вытягивали по швам руки, когда я к ним подходила. Боялись.

— Тебя?

Мила засмеялась.

— Меня. А теперь они сами от меня не отходят, все как на веревочке.

Гоша обнял ее и посмотрел в глаза. Они были глубокие, с зелеными точками по краю.

Он смотрел ласково, долго. Глаза стали озером, и зеленые кувшинки покачивались по берегам, и он сам был там, в глубине.

— И сильная стала. Знаешь, недавно мальчишку тащила на спине полкилометра. Он ногу растянул. Тяжело было, а несла.

Он улыбнулся.

— А ты не смейся, — сердито сказала она.

— Действительно, что здесь смешного, — согласился Гоша. И оба расхохотались.

Мила лежала с открытыми глазами, боясь шелохнуться, разбудить Гошу, и прислушивалась к его дыханию. Она испытывала новое, глубокое чувство, которого никогда не знала.

Она боялась засмеяться, повернуть голову.

«Это должен быть сын. Такой же лобастик, как Гошка».

Ее сердце сжалось, и Мила закрыла глаза, чтобы лучше почувствовать ЭТО. Счастье, новое, неизведанное, наполнило ее. Она подумала: «Нужно рассказать Гоше. — Но тут же решила: — Пусть это будет моя тайна».

Гоша улыбался во сне. Мила осторожно прикоснулась к нему.

— Сам поймешь, — чуть слышно сказала она.

Светало. Мила отыскала глазами будильник: было шесть часов. Она двигалась бесшумно, останавливалась после каждого шага, иногда оглядывалась: спит ли? Потом перевела бой на восемь утра и вышла на улицу.

На проснувшихся цветах сверкали капельки утренней росы. Цветы наклонили головы и поздоровались с Милой.

«Доброе утро, цветы», — подумала она.

Спокойно повернул к ней свою сонную морду соседский пес.

«Доброе утро, пес», — улыбнулась она.

Около магазинов в центре Валунца на перевернутых ящиках кемарили дворники, толстые, как коты, а рядом с ними, поджав хвосты, кемарили коты и кошки, толстые и невозмутимые, как дворники.

«Доброе утро, коты и дворники», — засмеялась она.

На бетонной дороге, там, где несколько лет назад было

болото, с обочины ее приветствовала осока. Раньше здесь был камыш с бархатистой шапкой.

Теперь здесь никогда не будет камыша, а осока только напоминает о том, что здесь было болото.

«Без болота лучше, — подумала Мила. — Доброе утро, осока».

В лесу ее приветствовала иволга. Она пела любимую песню, и березки прислушивались к ее пению.

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей,
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

«Доброе утро, иволга».

«Доброе утро, поэт, которого еще недавно я не знала».

Она вошла в лес и пошла тропинкой наискосок, стараясь сократить путь.

Было удивительно тихо.

Мила остановилась около старой ели у муравейника, пытаясь понять какую-нибудь закономерность в рабочей торопливости муравьев. По коре бежали вверх и вниз гладкие, похожие на лакированные гоночные автомобили, муравьи. Мила приклеила смолой красный лепесток от шиповника на их пути, и муравьи-автомобили встали, как по знаку светофора, нетерпеливо перебирая задними ногами.

— Путь открыт, — сказала она и, улыбаясь своим мыслям, сняла лепесток.

Было еще прохладно. Но над лесом уже вставало солнце — начинался хороший день.

Глава двенадцатая

«Буду проездом Новосибирск 17 августа вагон восемь». Я держал в руках телеграмму; еще час, и новосибирский поезд пройдет через Валунец. Нужно спешить...

Борисова в отделении не было.

— У главного, — сказала сестра.

Я спустился на первый этаж, прошел мимо бухгалтерии, статистики и повернул направо — там кабинет Сидорова. Медные головки гвоздей крестом пересекли гранитоль, огородили края массивной двери. Я постучал.

— Простите, Петр Матвеевич, — я на минутку к Александру Сергеевичу.

Сидоров недовольно откашлялся.

— Что у тебя? — спросил Борисов.

— Вот, — сказал я, протягивая телеграмму. — От Корнева. Хочу встретить поезд.

— Разрешите, — сказал Сидоров, забирая телеграмму.

Он отодвинул листок далеко от себя, как все дальнзоркие люди, и вслух прочел текст.

Возникла пауза.

«Богиня правосудия решает важный государственный вопрос: можно ли отпустить на один час врача Дашкевича? — думал я, разглядывая недовольное лицо главного врача. — Сейчас на весы справедливости осторожно переносится тело подсудимого. Так. Не кантовать. Не так-то много весит Дашкевич. Теперь нужно положить вон ту гирьку. Ее вес равен одному часу. Ого! Гирька, кажется, перетягивает...»

Сидоров сморщился.

— Иди, иди, — сказал Борисов. — Я сейчас поднимусь в отделение.

— Спасибо, — сказал я и пошел к дверям.

— Балуеть ты его, Александр, — недовольно заметил Сидоров. — Мне иногда хочется с тобой поссориться.

Сидоров засмеялся. И как бывало только в разговоре с Борисовым, в его голосе послышалось скорее смирение, чем угроза.

«А Деда-то он боится», — с забавным, почти детским удовлетворением открыл для себя я.

Я смотрел себе под ноги, перебрасывал вперед маленькие камушки и спешил их догнать.

В кассе вокзала сказали, что поезд опаздывает на пятнадцать минут.

Я в который раз прошел мимо сидящих на тюках и чемоданах отъезжающих и подумал, что самое скучное в жизни — это ждать опаздывающий поезд.

Здесь, на вокзальном перроне, среди стука колес, ржавых товарных вагонов, шмыгающего взад и вперед паровоза, я почувствовал щемящую тоску проводов. Когда-то в Ленинграде, на вокзале, я оказался рядом с незнакомой девушкой, рыжей, веснушчатой, с острым носиком. Уезжали геологи. Девушка стояла не шевелясь метрах в пяти от отходящего состава дальнего следования, прятала лицо в воротник, точно

старалась защититься от назойливого хохота, летящего по перрону. И когда паровоз тронулся, девушка шагнула вперед, точно ее потянули за собой, и закрыла уши руками, чтобы не слышать шума толпы, стука колес, веселой музыки в репродукторе, которая скорее гнала людей с вокзала, чем успокаивала.

Вот и сейчас...

Закричал паровоз.

Пробежала дежурная по вокзалу.

Отбегавшие бросились в сторону, перетаскивая тяжелые чемоданы, — видимо, им сказали, что вагон остановится впереди, — но когда состав остановился, оказалось, что их вагон сзади, и люди бросились обратно.

С подножки вагона спрыгнул Стаська в тренировочном костюме, спружинил и нетерпеливо посмотрел по сторонам. Я подбежал к нему, и мы обнялись так, что захватило дыхание. Мы сжимали руки все сильнее, не произнося ни звука.

— Встретились.

— Встретились. А как же иначе?

Мы смеялись и торопливо искали слова, не всякие, не любые, а те, которые нужно сказать при встрече, за три минуты стоянки поезда.

— Едешь?

— Угу.

Стасик посмотрел вокруг.

— Мила в лагере, — объяснил я.

— Жаль.

— Я тоже хотел вас познакомиться.

— Еще познакомишь, — сказал Стаська. — Твой Валунец — гигант.

— А в Новосибирске что?

— Черт знает, что там, в Новосибирске. Я раньше не думал, что сесть на поезд в Ленинграде и куда-то уезжать — это трудная штука.

Он горько вздохнул, и я почувствовал неуверенность, сомнения, возникающие тогда, когда человек теряет что-то близкое, привычное и не может освободиться от нахлынувших воспоминаний, которые тащатся за ним сквозь тысячи километров.

— А у тебя что?

— Ничего особенного.

Мне захотелось рассказать о Миле, но было страшно, что сейчас, когда осталась одна минута, это прозвучит глупо и я

не прощу себе потерянной встречи. Тогда я вспомнил, что у Стаськи можно проконсультироваться по поводу препарата Воробьева, но тут же решил: «Все это можно спросить в письме».

— Уезжать не решил? — почему-то спросил Стасик.

Я удивленно посмотрел на него.

— Нет.

— Заразное местечко...

— Заразное.

Паровоз дернул вагоны, раскачал их раз-другой посильнее и, поскрипывая, медленно потянул по полотну. Стасик прошел несколько шагов, держась за поручни, и прыгнул на подножку.

— Пиши.

— Пиши.

Перед глазами уже мелькали окна уходящих вагонов. Над паровозом повисло облако дыма, закрыло половину Валунца, потом быстро растаяло, превращаясь в белый платок, треугольную косынку и, наконец, в дымок от папирсы.

Я перешел железнодорожное полотно и спустился по выщербленным деревянным шпалам, лесенкой врытым в насыпь. Вдали тонко, по-детски, кричал паровоз, набирая скорость, увеличивая расстояние между двумя людьми. Километр, два, десять, тысяча. Где-то будет город Новосибирск. Там остановится Стасик. Невидимая нить потянется из маленького Валунца, импульсы неизученной энергии пройдут тысячи километров, опровергая тех, кто думает, что расстояния отдаляют друзей.

Нет, друзей могут разделить только перемены в них самих.

Я прошел по тропинке через чей-то огород, надеясь сократить дорогу, и оказался на улице. Сзади засигналила машина. Я отошел к обочине, но машина продолжала гудеть. Это оказался больничный «Москвич».

— Садитесь, Георгий Семенович! — крикнул водитель и открыл дверцу. — С ветерком долетим. Одна нога здесь, другая там. Провожали кого?

— Встречал и провожал друга.

— Из Ленинграда?

— Да.

— Это хорошо, — сказал водитель, — а я вот ничего, кроме Валунца, толком не видел. Разве что в армию попаду...

— Увидишь.

— Когда это еще увидишь!..

У мебельного магазина водитель притормозил и выбежал. Я огляделся. Неудобно. Рабочее время — и в магазин. Через минуту водитель вернулся.

— Гробы вместо мебели.

Я пожал плечами.

Он нажал на стартер, машина выстрелила и рывком пошла вперед.

— А что, вам квартиру-то не дают?

— Дают, — сказал я.

— А вы, может, и переселяться не хотите?

— Хочу.

— Что же, жену-то на табуретки сажать будете? — Водитель захохотал, показав мне, что все давно знает. — Купили бы шкафчик или там гарнитур какой. Вот в пятницу, говорят, завезут модерн. Вы только скажите — доставлю.

— А ты, пожалуй, прав. Я как-то не думал об этом.

Машина остановилась на больничном дворе. В первом этаже у окна стоял Петр Матвеевич и сосредоточенно смотрел на калитку.

Хлопнула дверца «Москвича». Петр Матвеевич нехотя поглядел туда, где остановилась машина.

— Добрый день, дядя Фадей, — сказал я, предлагая дворнику сигарету.

Он хотел взять, но тут же заметил, что Сидоров наблюдает за нами.

— Иди, иди, — зашептал он, делая вид, что собирает в совок мусор. — Вишь перископ выставил.

— А ты сделай ему замечание, — засмеялся я. — Что это он не работает.

— Товарищ Кукушкин! — крикнул Сидоров, видимо вконец возмущенный моей неторопливостью. — Предупреждаю в последний раз: подметать нужно до девяти утра!

— Так сегодня политинформация, — оправдался Кукушкин.

— А ты молодец, дядя Фадей, — сказал я. — Растешь. Что там нового в Уругвае? Диктатура?

— Вроде, — неожиданно улыбнулся Фадей и весело поглядел на окно Петра Матвеевича.

Главный взглянул на часы, покачал головой и скрылся в глубине кабинета.

В ординаторской никого не было. Я надел халат и прошел в операционную. Дед рассматривал у окна мокрый рентгеновский снимок и даже не повернулся, когда скрипнула дверь.

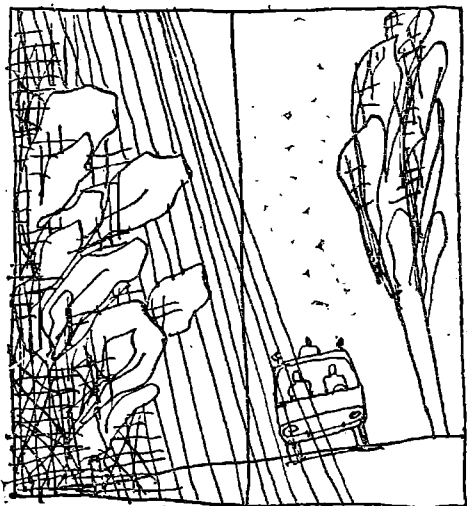
— Пришел? — спросил он.

— Поезд опаздывал, так и трех минут не стоял...

— Три минуты — это немало, — сказал Дед, — если говорить о деле.

Он повернулся и, увидев мое расстроенное лицо, улыбнулся.

— Ну, ничего. Обо всем расскажешь вечером, а сейчас мойся. Поступил тяжелый больной.



ГОРОХОВЫЙ СУП С КОРЕЙКОЙ

Ф. Скаковскому

Больных везли и везли. К шести утра выдохлись все. Сестра приемного покоя хохотушка Дуся внезапно посерьезнела и будто бы постарела. Она почти не поднимала глаз от листа, заполняя истории болезни.

Евгений Данилович едва держался на ногах.

— Еще аппендицит — и я лягу рядом, — пытался пошутить он. — Глупо брать дежурство, когда больница принимает по «скорой»...

— Уходить нужно, — невпопад ответила Дуся. — За такую зарплату и так вкалывать.

Евгений Данилович хотел возразить, но получилось вроде согласия.

Впрочем, винить было некого. Сам напросился. А ведь давал жене слово не брать больше нормы часов — все деньги не заработаешь, а в ящик сыграть — сколько угодно. И сам-то не мальчик, не юноша — пятьдесят скоро, а жить пытаешься в прежнем ритме.

Он все же прошел за ширму взглянуть «аппендицит», оставленный для наблюдения, решил: «Спешить не стоит. Лучше оперировать утром».

Постель в ординаторской разбирать не хотелось. Сбросил туфли, улегся поверх одеяла, закинул руки за голову. Работал бы на оклад — все нормально. Так семья внезапно прибавилась. Черт дернул Севку жениться в девятнадцать лет. И что ему, дураку, не гулялось?! Дал себя охомутать, привел девочку без специальности, старше себя, без жилья, да еще с трехлетним ребенком. Не гнать же их в общежитие. Значит, опять все на нас с Натальей.

И главное, только наладилось — квартиру построили, жить по-людски стали, — как снова началась коммунальная кухня, мальчишка катается по комнате на велосипеде, бибикает, а папа Сева — сам едва с ночного горшка сполз — качает права, требует уважения. Впрочем, старший сын — это еще не все беды, хлопот хватает и с младшим. Репертуар у второго неожиданнее.

Теперь для Евгения Даниловича стало привычкой приходя с работы спрашивать: в школу не вызывают? И если не вызывают — удивляться: что такое?! Не мог его Вовка не нахватать двоек, не расколотить стекло, не толкнуть случайно директора в коридоре. А недавно они с приятелем умудрились спихнуть бюст Мичурина, который простоял на своем месте лет тридцать и так слился со школьным интерьером, что все уже забыли, что он гипсовый. Пришлось платить, хорошо еще, по старой описи.

В дверь постучали, и сразу же послышались торопливые удаляющиеся шаги. Привезли больного. Нужно вставать.

Он вернулся в приемный. Дуся спала, положив голову на сложенные руки, и Евгений Данилович пожалел сестричку, вытянул из-под ее локтя историю болезни.

Было семь утра, оставался лустяк до пересменка — по воскресеньям следующая бригада старается прийти чуть пораньше, отпустить субботних.

Евгений Данилович постоял немного, представил домашнюю свою постель, душ, чистые простыни — ах, как легко отлетает усталая душа в утреннем сне! — и пошел в смотровую.

Больной лежал на носилках, закутанный с головой в одеяло, а около него стояли фельдшера «скорой», ждали приказа, куда перекладывать.

— Чего привезли? — спросил Евгений Данилович.

— Острый живот. Под вопросом.

— Конечно, — буркнул Евгений Данилович. — Вопрос больше живота.

— Мы — транспорт, — огрызнулся фельдшер. — Наше дело везти...

Разговаривать не имело смысла, и Евгений Данилович показал на свободный топчан — туда, мол, и перекладывать.

Фельдшера подняли носилки и скатили больного на сторону, так, как ссыпают песок строительные рабочие. Одежда размоталась, обнажились худые ноги, больной сдержанно покряхтел.

— Осторожнее! — возмутился Евгений Данилович, а сам с огорчением подумал: «Мужчину привезли. Куда класть? Мест совсем не осталось...»

Присел на край топчана, спросил, на что жалобы.

— На многое... — попытался острить больной. — На «скорую помощь», на врачей...

И такой тип людей Евгений Данилович хорошо знал. Главное, не реагировать на пустяковое — пропустишь болезнь. Самолюбие и обида для некоторых сильнее колики. Он положил руку на живот, надавил.

— Ой! — вскрикнул больной. — Осторожнее, Сюся!

Евгений Данилович вздрогнул и перевел взгляд — ему страдальчески улыбался Петька Козлов, Козел, одноклассник и школьный друг.

Впрочем, дружили они только в пятом: он, Женька Сутеев, тогда отчего-то Сюся, Козел и Полено, куда-то пропавший потом Витька Чурбанов. После пятого Сюся с Козлом разошлись, школьные компании обычно перетасовывались, и Козел по каким-то своим соображениям стал предпочитать улицу, расхаживал с парнями старше себя, задирали девчонок да попугивал старичков. И все же пять лет в одном классе кое-чего стоили.

-- Петька?! Козел?! — тихо воскликнул Евгений Данилович.

— Я, Сюся, я... — Смех был короткий. Плоский, без жиринки, живот колыхнулся, причинив Козлову острую боль.

Козел изменился в лице, невольно положил руку на правую сторону.

— Черт! — выругался он. — Смеяться трудно...

Евгений Данилович уловил движение цепким глазом. Он заговорил сразу о чем-то пустяковом, а сам осторожными, кошачьими пассами стал подбираться к болевой точке. Петька доверчиво улыбался.

И вдруг Евгений Данилович отдернул руку — боль ударила куда-то вверх и Петька неожиданно вскрикнул.

— Тихо ты! — вытер выступившие слезы и, охая, виновато заулыбался Петька. — Резать, что ли?

— Разрежем, пожалуй, — не скрыл Евгений Данилович. — Уберем желчный пузырь.

— Стронтель без желчи — нуль, — снова попытался острить Петька. — Как же мне показывать свой характер начальству...

Евгений Данилович оставался серьезным — операция предстояла нелегкая.

— Лежи, Петя, спокойно, — попросил он. — Делай теперь только то, что я тебе буду приказывать...

С работы Евгений Данилович ушел около двух, не мог сразу оставить Петьку. Вот и получилось: сутки да рабочий день.

Новая смена — молодые хирурги — носились мимо, шутили, готовились к операциям, а он думал: «Ничего. И на них скажется. Усталость никого не щадит...»

В автобусе Евгений Данилович заснул, проснулся на собственной остановке и бросился к выходу.

Дома он попросил старшего сына последить за мальчиком, закрыл дверь поплотнее и упал на кровать. Вскочил он от резкого грохота — что-то тарахтело под ним, и, ничего не соображая, он увидел выезжающую из-под кровати машину, а потом и ребенка, который, играя, как-то сюда попал.

Евгений Данилович молча схватил ревушего перепуганного мальчика за руку и выставил за дверь.

Крик оглушил его. Он уже жалел, что не сдержался, но было поздно. К одному плачущему голосу присоединился второй — всхлипывала невестка.

Дверь распахнулась, влетел рассерженный сын.

— Отец! — крикнул он. — Как ты можешь?!

— Да кто его трогает, — стал защищаться Евгений Данилович. — Я же сутки...

Он попытался объяснить Севке свое состояние, но тот с такой силой саданул дверью, что на Евгения Даниловича посыпалась штукатурка.

Сон пришел не сразу. Казалось, что ребята на улице терзают щенка, растягивают его за лапы. Он хотел застопиться, но крикнуть не мог и проснулся.

Было восемь вечера, еще час-другой, и можно ложиться на ночь. На кухне мирно разговаривала семья, но, когда он вышел из комнаты, все замолчали, точно он помешал их беседе.

Невестка сдернула выстиранные детские штаны, ушла в комнату, за ней бросился старший сын.

Евгений Данилович ничего не сказал им, только отчего-то поглядел на младшего: неужели и этот станет таким?

— Чего поздно? — спросила жена после долгого молчания.

— Ночь была жуткая. Даже не помню, сколько прооперировал, а как только прилег, привезли одноклассника, Петьку Козлова...

— С кóторым ты консервные банки разряжал? — спросил Вовка.

— Подумай! — удивился Евгений Данилович. Втайне он был рад, что сын помнил давным-давно рассказанную школьную историю.

— Какие банки? — не поняла жена.

— Пустяки, — отмахнулся Евгений Данилович. — Я и само про это забыл.

Невестка и старший сын сидели у телевизора. Он постоял за их напряженными спинами, пошел к телефону,

— Как там Козлов? — поинтересовался он у дежурного. — Температурит? Ну, это нормально.

Повесил трубку и накинул пальто.

— Пап, ты куда? — спросил Вовка.

— Съезжу — погляжу. Душа беспокойна.

— Ты и так наработался. Сегодня — воскресенье.

— Чего мне воскресенье, — отмахнулся Евгений Данилович. — Тут, вижу, со мной и разговаривать не хотят.

— Я разговариваю, — возразил ему Вовка.

Козлов очень обрадовался, когда Евгений Данилович возник в дверях.

— Надо же как повезло, — тихо сказал он. — Я, Сюся, такого тут про тебя слышался... Ты же не человек, а икона.

— Брось! — засмеялся Евгений Данилович. — Поглядел бы на меня дома. Никакого авторитета.

— У меня то же самое, — заверил его Петька.

Евгений Данилович присел рядом, — пульс продолжал частить.

— Я дома только произнес твою фамилию, как младший сразу про тушенку вспомнил, — я давным-давно ему рассказывал.

— Про тушенку?

— Неужели забыл?!

— Вертится что-то...

— Нет, я век не забуду. Мне так врезали, что ярче впечатлений от детства уже не было.

Петька улыбнулся кротко, движения причиняли ему боль.

— Как же! — не сдавался Евгений Данилович. — Мой отец с фронта привез тушенку и, чтобы я не съел, предупредил: это взрывчатка.

— Ну и что? — с трудом вспоминал Петр.

— Вы с Поленом залегли на кухне, а я одну за другой вскрывал банки. С риском для жизни.

— Вспомнил, вспомнил! — засмеялся, охая и морщась, Петька.

— А на следующий день была твоя очередь кормить, так договаривались. У вас в чулане гороховый суп стоял со свиной. Ты, пока у меня ел, обещал дать, а потом ~~зажилил~~...

— Во память! — восхитился Петька. — Ладно. Обед за мной.

Евгений Данилович осмотрел бинты, поднялся.

— В больнице мне легче отдохнуть, чем дома. Старший женился. Невестка с ребенком. Как у Блока: покой нам только снится. Недавно квартиру ~~купили~~ ~~снять~~ нужно размениваться. Тесно.

— Попробовал бы через исполком. Ты же гордость района, должны помочь.

— Ходить, просить — нет, Петя, времени. Да и не один я у них.

— Ладно, — подумав, сказал Петька. — Поговорю с председателем. Мое слово кое-что значит...

— Вообще-то я отвергаю помощь больных, — смутился и забормотал Евгений Данилович. — Но ты — дело другое, школьный товарищ. Ты и без болезней, наверное, ~~помог бы~~.

— Не сомневайся, — сказал Петька.

Чего только не навспоминали они за этот месяц! Палата ожидала их встреч, мгновенно ~~подключалась~~ со своими воспоминаниями. Хохот то и дело сотрясал отделение.

— Не был бы я заведующим, — подшучивал Евгений Данилович, — объявил бы себе выговор.

Выписывал Евгений Данилович друга даже с сожалением. Козлов зашел в ординаторскую, обнял его. Молодые доктора поднялись при этом — прощание их тронуло.

В приемном Козлов, весело и благодарно поглядывая на друга, сам ~~напомнил о своем обещании~~.

— Выпишусь — пойду сразу же в исполком.

— Зачем сразу, — смутился Евгений Данилович. — Будет ~~случай~~...

— Ты сам для меня счастливый случай, — как-то хорошо признался Козлов.

Потом пошли обычные для Евгения Даниловича дни. Он, как всегда, много оперировал, по-прежнему дежурил в при-емном, крутился как мог.

Петька звонил, жаловался на текучку — все не получалось у них встретиться. Иногда виноватым выходил Евгений Данилович — не мог выбраться. Об исполкоме Козлов не вспоминал, а Евгений Данилович не напоминал — мало ли какие могли быть обстоятельства.

И вдруг месяца через два — бац! — категорический телефонный звонок. Сегодня суббота. Заезжаю за тобой в три — и на дачу. Можешь забрать невестку, сыновей и жену. Сколько уже собираемся — пора и поговорить.

Перезвонились через часок. Наталья была занята, отказалась ехать. Старшему он и не предложил, а Вовка обрадовался, сказал, что приедет к больнице, будет ждать.

В четверть четвертого они уже мчались на Петькину дачу. День выдался отменный. Июльское солнце не прекращало палить. Пришлось прикрываться щитками — смотреть вперед стало трудно. Настроение было счастливым. Евгению Даниловичу чудилось, что он возвращается в детство. Он говорил и говорил, а Козлов снисходительно улыбался да сзади хохотал до упаду сын. Вовке нравился такой неожиданный и непривычный юмор отца.

Евгению Даниловичу показалось, что приятель его мрачнеет — Петькины глаза ни с того ни с сего становились печальными. Впрочем, что может быть печального в такой веселый день?

Удачно проскочили шлагбаум, перекладина стала опускаться буквально следом за ними.

Дача у Петьки оказалась в лесу, вокруг корабельные сосны да могучий, по колено, черничник.

Пока Козлов загонял машину, Евгений Данилович с Вовкой ели пригоршнями ягоды, крупные, как вишни.

Они и не заметили, как Петька слетал домой и теперь звал их с крыльца, уже переодетый в джинсы и бобочку.

Евгений Данилович отыскал Вовку взглядом — рот, щеки, нос у сына были измазаны черникой, а глаза счастливо сияли, — и расхохотался.

— Ты мне нужен, — сказал Петька и, повернувшись к мальчишке, крикнул: — Гуляй!

— Такой мрачный? — весело сказал Евгений Данилович. — Не случилось ли чего?

— Случилось, старичок, случилось, — вздохнул Козел. — ~~Сын~~ дочка моя, на живот жалуется, лежит в комнате.

Евгений Данилович поглядел на друга серьезно, пошел к рукомойнику.

— Собирай ягоды! — крикнул сыну. — Я к больному.

— Ага, — как само собой разумеющееся отозвался Вовка.

Евгений Данилович тщательно вытер полотенцем руки, почему-то волнуясь, думая, как быть, если у девочки окажется что-то серьезное, и вошел в комнату.

— Вот, Светик, это мой друг, доктор, — немного заискивая, точно виноватый, сказал Петька.

— Здравствуй, Света.

Девочка кивнула. Судя по глазам, тяжелого здесь не должно быть.

«Сколько ей лет? — прикидывал Евгений Данилович. — Восемнадцать? Но Петр говорил — школьница».

— Шестнадцать, говоришь? — переспросил Евгений Данилович и поглядел на Петра. — На что жалуешься, Света? Что болит? — и, не дождавись ответа, решительным жестом потянул одеяло.

— Папа! — Девочка говорила низким, будто простуженным голосом.

— Да, да, — вздрогнул Петька и стал пятиться к двери. — Забываю, что она уже взрослая.

Евгений Данилович согласился взглядом — мол, ничего не поделаешь, растут. Но было в этой улыбке и утешение — особо тяжелого он, доктор, тут не ждет, волноваться не стоит.

Он наконец дождался, когда закроется дверь, вздернул короткую рубашку, положил ладонь на живот и ахнул: «Господи!»

Лицо Евгения Даниловича изменилось, на лбу выступил пот. Он достал платок и, стараясь глядеть в сторону, сказал убитым глухим голосом:

— Какая у тебя беременность?

— Пять месяцев. — Она говорила спокойно, будто перед ней был не друг отца, а врач консультации.

Он передохнул.

— Что же я скажу папе?

Она отвернулась.

— Ничего.

От растерянности он заговорил как-то торжественно и громко:

— Подумай, Света, неужели твой отец не заслужил правды?!

Она молчала.

— Нет, нет! — настаивал Евгений Данилович. — Посоветуй, как мне быть?

— Чего вы пристали! — огрызнулась Света. — Знают они.

— Знают?! — поразился Евгений Данилович. — Но папа сказал: ты больна. Мы вместе ехали, разговаривали, он бы мне намекнул...

Она ухмыльнулась.

Евгений Данилович опустил глаза. Он не мог придумать, что бы еще спросить у девочки, покраснел от неловкости.

— Как же это случилось, Света?

— Как у всех, — в ее голосе была ирония.

Евгений Данилович окончательно растерялся. Он привык иметь дело с больными, которых спасала его решительность, но здесь, в дачной комнате, перед ним лежала дочь друга, девочка, и он, невольно теряясь, робел перед ней, чувствуя свою старомодность и неопытность.

— Ну хорошо, — забормотал он. — Тогда ответь, чего хотел от меня папа?

Она пожала плечами.

— Папа говорит: «Сюся для нас последний шанс, Сюся поможет».

Ему было неприятно, что Света вторглась в их прошлое, назвала школьным прозвищем, но он тут же отменил эту мелочь. Другая, более крупная обида, задевшая его как врача, захлестнула Евгения Даниловича. Он конечно же понял, о чем речь, и все же отчего-то переспросил:

— Чем же я могу помочь, Света?

Она с удивлением поглядела на него и... вдруг улыбнулась, словно бы пожалела этого стареющего недотепу.

— Но отец?... Отец твоего будущего ребенка хоть взрослый?

— Десять классов закончил.

Евгений Данилович был ошарашен. И хотя глупо было это приглашение на дачу, мелка и отвратительна Петькина хитрость, но требовать логики в подобной ситуации было, наверно, жестоко.

Он распахнул дверь — Петр стоял у окна, ждал. Встретился с Евгением Даниловичем взглядом, поморщился.

— Дрянь девчонка! — с болью сказал Петр.

Отвел Евгения Даниловича на кухню, прикрыл дверь.

— Тебе поесть нужно. С дороги. Да и Вовка, наверно, не обедал. — Открыл форточку, крикнул: — Вова!

Евгений Данилович присел сбоку за кухонный стол.

— Значит, все так? — осторожно спросил Петр. — Пять месяцев?

Евгений Данилович кивнул.

— И сделать уже ничего нельзя?

— Можно сделать, — не сразу сказал Евгений Данилович.

Петр подался вперед.

— Сюся, дорогой! Такое не забывается!

Евгений Данилович чуть отстранился, как бы предупреждая Петьку.

— Не так сделать, как ты думаешь, — сказал он. — В этом я пас. Поговори с парнем, с его отцом, с матерью. Ничего страшного, если мальчишка женится, восемнадцать лет — уже взрослый.

Он увидел, как слиняла улыбка с Петькиного лица.

— Возьми моего Севку, — продолжал убеждать Евгений Данилович. — Взял жену с ребенком, она на три года его старше. А мальчишка прекрасный. Мы его любим, балуем. И чем больше вместе, тем сильнее привязываемся к нему. Уедут — будем скучать.

— Не уедут, не уедут, — механически повторил Петр, явно раздумывая о своем. И вдруг крикнул: — Но пойми, это же сын моего шефа! Как, как с ними говорить?! Шеф все знает. И молчит, стерва.

Поднялся, открыл холодильник, достал банку с кислой капустой, потом большую суповую кастрюлю. Зажег конфорку и поставил кастрюлю на плиту.

— Сюся! — не поворачиваясь, с силой сказал Петр. — Помоги, Христом-богом прошу, есть всего один выход...

— Нет, — резко сказал Евгений Данилович, делаясь, как бывало в клинике, холодно-неприступным.

Вошел Вовка, сел за стол. Молчаливое напряжение взрослых, видно, его удивило, он осмотрелся. И отец, и его приятель глядели хмуро.

— Тяжелая больная? — осторожно спросил Вовка.

— Не дай бог, Вова, так человеку болеть, — вздохнул Петр.

— Жаль.

Петр бренчал ложками в кухонном столе, поставил большие тарелки перед Евгением Даниловичем и Вовкой.

— Я супу не хочу, — отказался Вовка. — Мне бы капустки.

— Это отчего же?! — возмутился Петр. — Суп отменный. Гороховый. С корейкой. Жена варит прекрасно.

Евгений Данилович опустил глаза — ни Петр, ни Вовка не вспомнили о совпадении.

Вовка вонзил вилку в капусту, стал накладывать на тарелку.

Петр открыл бутылку сухого, налил Евгению Даниловичу.

— Мне нельзя, — сказал он, — за рулем, вас еще нужно подбросить.

— Я тоже не буду, — отодвинул стакан Евгений Данилович. Он пересилил себя, постарался снова заговорить мягко и утешительно: — Мы ведь тоже расстраивались вначале, а теперь все кажется таким естественным, поверь, не так страшно, Петр.

Козлов ничего не ответил.

Через час они снова сидели в машине. Ехали молча, Вовка несколько раз спрашивал:

— Пап, чего мы спешим? Там же хорошо было, столько ягод.

— Пора, пора, — говорил ему Евгений Данилович.

Опять удачно проскочили шлагбаум, понеслись по шоссе. Петр скосил взгляд на товарища, осторожно покашлял.

— Ты, старикашка, не обижайся, — наконец произнес он. — Но у меня бак пустой, а талоны дома забыл с этими волнениями. Ничего, если я вас только до автобуса? Они тут каждые пять минут ходят. — Поглядел в зеркало, крикнул: — Да вон. Сзади идет!

Нажал газ и молча приблизился к остановке.

Евгений Данилович старался не смотреть на сына. Что-то тяжелое будто бы навалилось на него, и Евгений Данилович вдруг ощутил себя мальчиком, которого глупо и больно обидели. Старая обида заныла с новой, удвоенной силой, и Евгению Даниловичу стало казаться, что с того военного времени прошло не тридцать пять лет, а было это недавно, только что, вчера.

На скамейке рядом с остановкой сидели паренек и девушка. Юноша тренькал на гитаре. Вовка стоял в стороне, глядел исподлобья на торопливые движения Козлова: Петр поворачивал «жигуль». И наконец газанул, не оглядываясь, на бешеной скорости.

— Вот это да! — цокнул Вовка.

Евгений Данилович сделал вид, будто не слышит. Он отступил на обочину, ждал, когда остановится автобус. Задняя дверь не открывалась — пассажиры крепко прижимали ее спинами.

Первыми сообразили, что делать, парень с девушкой, бросились к передней двери, зацепились за поручни.

Вовка тоже попытался ухватиться, но тыркался лицом в гитару.

— Сойди! Сойди! — испуганно закричал отец.

Дверь с треском захлопнулась.

— Что теперь делать? — уныло спросил Вовка.

Евгений Данилович беспомощно огляделся. К остановкековыляла старушка с авоськой.

— Бабушка, — обратился Евгений Данилович. — Отсюда далеко до поезда?

— Минут сорок, — прикинула старушка. — Если ходко идти.

— Ну? — спросил у сына Евгений Данилович. — Как? Двинули?

Вовка стоял, думал.

— Ждать — смысла нет, — говорил Евгений Данилович, пряча глаза. — Суббота. Вечер. Народ с пляжа едет.

— Пожалуй, — согласился Вовка.

— А поезда сейчас еще не такие полные. Может, и сесть удастся.

Он говорил громко и бодро, точно этой своей шумной бодростью хотел заглушить обиду.

Вовка тихонько свистел, и смысл его песенки был ясен. Он шел чуть впереди широким мужским шагом, и Евгению Даниловичу приходилось основательно напрягаться, чтобы не отставать.

— А знаешь, пап, — с неожиданной доброй улыбкой сказал Вовка. — И хорошо, что идем! Погода! Тряслись бы в том, переполненном.

— Ну конечно! — с торопливой радостью ответил отец. Он остро и благодарно почувствовал, что парень понимает его. — Идти — одно удовольствие.

— Идти — хорошо, — поддержал Вовка. — Мало мы с тобой ходим — вот что я тебе скажу.

ВНУЧКА

Все эти дни Туся была невероятно занята. Ей буквально не хватало суток. Засыпая, она ставила один будильник на семь утра, а другой на половину восьмого. Получалось вроде предупреждения. Проснувшись от первого звонка, она не поднималась, а лежала с закрытыми глазами, ожидая второго. За эти дремотные минуты она успевала мысленно повторить те латинские названия, которые учила с вечера. Не вспомнив чего-то, Туся с ужасом представляла себя беспомощной и растерянной перед преподавателем. Особенно

трудно давалась ей височная кость. Сколько в ней разных ходов и выходов, сколько отверстий и коленец! Туся учила часами, а на следующий день все опять перепутывалось.

Ассистентка кафедры, седая, мускулистая, с неподвижными свинцовыми глазами дама, слушала Тусю, плохо скрывая раздражение. При каждой ошибке она строила гримасу и поджимала тонкие бледные губы. Туся обмирала и забывала то, что знала, как ей казалось, беспорно.

Про ассистентку рассказывали были и небылицы. Будто бы она заваливала шесть раз собственного профессора, когда он еще был студентом. Знакомые Тусиных родителей называли астрономические цифры собственных пересдач и уверяли, что хотя они работают санитарными врачами, но анатомию могли бы сдавать хоть сегодня.

Если бы Тусе несколько месяцев назад, в школе, сказали, что она так будет робеть перед преподавателем, она бы рассмеялась. Не выучить — было для нее невозможно. Туся при своей памяти могла выучить несколько страниц химии наизусть. Но здесь после первых же неудач что-то в ней словно бы надломилось, и, встречая ассистентку в институтском саду и торопливо здороваясь, Туся чувствовала под ложечкой неприятную тревогу.

Зачет она не сдала. После холодного и, как ей показалось, злорадного «садитесь» она несколько минут не могла понять, что же случилось с ней в первый раз в жизни. Особенно обидно было то, что ассистентка тут же вызвала Мишку Сверчкова, Тусиного одноклассника.

Мишка поднялся, уверенный в себе, и спокойно стал называть все по-латыни, кивая ассистентке в знак своей готовности отвечать еще и еще.

В Тусиной школе Мишка Сверчков был никем, нуль без палочки, аттестат едва-едва дотянули до четырех, а Туся — никто пока этого здесь не знает — была круглой отличницей, старостой класса. Сказать бы, что у нее двойка, а Мишка Сверчков выкомаривает перед ассистентом, — в школе бы не поверили.

Сразу же после звонка Туся подошла к ассистентке и спросила, когда можно пересдать зачет.

— Это у меня первая двойка в жизни, — объяснила она, едва не заплакав.

Ассистентка скосила на Тусю оценивающий взгляд и пожалала плечами.

Сколько гневных слов мысленно бросила ей Туся! Что — двойки?! У нее не было в школе и четверок. И медаль единственная у нее, у Туси! А разве можно забыть то уважение

родителей, даже родителей Мишки Сверчкова, когда она, Туся, сама проводила итоговое собрание?! А вот здесь нет ни прошлых заслуг, ни многолетнего авторитета...

Домой Туся пришла взвинченная. На кухне стыла утренняя манная каша. Дед так и не съел, капризничает. Туся обиделась на старика и, не подогревая, выскребла кастрюльку. Не нравится — пускай сам варит.

Она заперлась в комнате, достала из портфеля унесенный с кафедры череп — «плевать, если влетит!» — и стала учить. Дело пошло легче. Туся досидела до половины ночи и неохотно легла.

Ассистентка опять вызвала Мишку, хотя Туся тянула руку. Мишка отвечал не так хорошо, как раньше, и Туся умудрилась дважды, пока он думал, громко подсказать. Ассистентка, словно бы не замечая подсказки, зачла Мишке раздел.

После занятий Мишка расхлябанно подошел к Тусе и предложил помощь. Это кольнуло Тусю, и она с вызовом бросила:

— Я, к сожалению, не только занимаюсь, но еще и хозяйничаю. Родители в отпуске, а у меня дед на руках.

Она просидела в анатомичке до закрытия — уборщица с кафедры просто выдворила ее домой. Туся пришла в половине одиннадцатого усталая, повесила в ванной пахнущий формалином халат, вымылась и сразу же легла в постель — сил на повторение не оставалось.

Из-за переутомления она никак не могла уснуть; то часы тикали, то скрипел половицами дед. Туся хотела ему крикнуть, но не смогла.

Ей приснилось, что она отвечает анатомию ассистентке, и рассказывает все так, что лучше и быть не может.

Проснувшись она радостная. В квартире была тишина — дед спал. Туся подумала, что не так это обременительно — остаться на месяц со стариком, фактически он ее не касается, заниматься не мешает, с просьбами не пристаёт, и она, если завтра высвободится время, сварит ему суп, мяса в холодильнике полно, захочет — пускай сам поджаривает.

Незаметно она стала думать про деда. До школы, когда Туся была маленькой, а старики, дед с бабушкой, жили в неблизкой Стрельне (это теперь город, а в те годы езды было часа полтора), мама то и дело подкидывала им Тусю «попасться». Бабушка была славная, разговорчивая, пекла плюшечки и пирожки для внучки, а дед, наоборот, молчун, придет с завода и закроется в пристроечке, что-то делает. Туся и теперь не могла вспомнить, говорили они с дедом когда-нибудь или нет.

В школьные годы Туся к старикам почти не ездила. То уроки, то общественные дела — мама не наставляла. Да и Стрельна стала другой — обычный город. Дед от завода получил однокомнатную, больше им и не нужно было, а старший их флигелек пошел на слом. Только не пришлось бабушке долго пожить в квартире с удобствами.

После бабушкиной смерти сразу решили съезжаться — как деда оставить одного? Стариковскую однокомнатную и свою двухкомнатную сменяли на четырехкомнатную. Из своих вещей дед взял верстачок и диванчик.

Была у него страсть к часовому делу. Наберет где-то кучу поломанных часов и ковыряется с утра до вечера, больше вроде ничего ему и не нужно.

В комнату к деду Туся, как правило, не заходила: позовет — он и выйдет. А уж если не докричится, приоткроет дверь — дед всегда в одном положении: сидит, пригнувшись к верстаку, колесики сложены в часовые стекла, вокруг полахивает нашатырем. Один глаз прищурен, в другом специальная лупа, которую дед уважительно и смешно называет микроскопом, а в руках — отверточки, щеточки или пинцет, этими инструментами он и орудует.

Туся повертелась в кровати — поскрипели пружины. Надо бы написать маме, как они с дедом живут, да ведь из-за анатомии ничего не напишешь.

Она все же мысленно сочинила подробное письмо, ответила на вопросы: белье принесла из прачечной, пенсию деду доставили, комнату проветривает. Потом Туся пожелала родителям хорошего отдыха — очень они устали за этот год. За нас, дописала Туся, не беспокойтесь, живем отлично.

Она запечатала воображаемый конверт, провела языком по клейкой поверхности и опустила в ящик на доме.

Внезапно зазвонил будильник, потом второй, опаздывать было нельзя. Преподавательница этого не любила. Пустить-то пустит, зато потом отыграется.

Туся плеснула в лицо водой, прихватила бутерброд — хоть пожевать в дороге.

— Дедушка! — крикнула она. — Я опаздываю! Сам приготовь что-нибудь!

Автобусы шли полнехонькие. Туся пробилась только в третий. Она повторяла про себя височную кость, радуясь, что хорошо все помнит, и не заметила, как оказалась около института. И все же она приехала с опозданием, влетела в комнату для занятий и мысленно ахнула: Мишка Сверчков держал в руках теменную кость, рассказывал. Туся про теменную совершенно забыла.

— А теперь давайте вы, миленькая, — сказала ассистентка, пробивая Тусю свинцовым взглядом. И по тому, как она произнесла «миленькая», Тусе стало ясно, чем для нее кончится и этот ответ.

Туся поднялась и, как слепая, пошла к препаратам. Она стояла, поглядывая на ассистентку, пока у той в глазах не вспыхнуло холодное осуждение.

— Так, милочка, вы скоро удостоитесь профессорского внимания, — сказала ассистентка.

На биологию Туся не пошла, проплакала целый час. Вот уж не повезет так не повезет...

Ей хотелось сейчас же бежать в школу, найти директора и просить его прийти на кафедру.

Она все же заставила себя вернуться в анатомичку и снова повторяла кости черепа.

Там и застал ее Мишка Сверчков. Постоял около Туси, подождал, не попросит ли она помощи, но Туся даже не взглянула в его сторону. У кого угодно, но только не у него! Забыл, как с каждым вопросом к ней бегал?

Порядок на кухне удивил Тусю. Она открыла холодильник — вроде ничего там не тронуто. Ушел дед, что ли?

Постучала в комнату, потом сильнее — ей не ответили. Тогда Туся распахнула дверь. На верстаке горела настольная лампа, колесики часов лежали в стеклышках, какая-то деталь была зажата в тисочках, а дед спал на диване.

Туся хотела выйти, но что-то заставило ее взглянуть в лицо старика — рот и глаза его были приоткрыты. Туся вскрикнула, пролетела перепуганная по коридору и заперлась в своей комнате.

В первые минуты она прислушивалась, не ходит ли кто, но постепенно стала успокаиваться. Она же не боится их в анатомичке. А потом, она — медик, естественник. Нет, ей не положено, нельзя терять самообладание. В конце концов, смерть — продолжение жизни.

Нужно скорее дать телеграмму маме, пусть приезжают. Но тут она вспомнила, как родители ждали отпуска, с какой радостью собирались на юг. Из-за обмена и переезда денег у них совершенно не было, и мама писала какие-то заявления и брала займы у знакомых. Зима тоже была тяжелой. Папа подрабатывал где только мог — читал лекции, брал работу на дом, выводил для какого-то диссертанта головоломные графики, перерисовывал и даже печатал. Воскресный не знали. И хотя Тусю не трогали — ей помимо выпуск-

ных нужно было сдать еще экзамены в институт, — она чувствовала, как они волнуются за нее, как напряжены их нервы.

Она снова припала к двери: сердце ее стучало уже не так сильно.

И все же, что делать? Отправь телеграмму — родители останутся без отдыха. И завтра же в квартире начнутся шум, гам, разговоры. О занятиях и речи быть не может. Чем это кончится — подумать страшно.

Она чуть не расплакалась — так все выходило худо. Легла, но заснуть не могла. И деда, конечно, жалко, — хотя теперь не вернешь, — и о себе забывать не следует. Как ни считай, а неделя выпала, значит, и отработки по биологии, и новый зачет, и старый, не сданный. Ей сделалось страшно от возможных последствий. Она думала, думала об одном и том же, вздыхала тяжело, пока не забылась в глубокой усталости...

Утром Туся решала, кому же звонить. Открыла наугад настольный справочник и сразу увидела телефон завкома, вписанный рукой деда.

Заводская жизнь начинается рано. Туся набрала номер. Она сказала, что говорит внучка их бывшего рабочего, вчера он умер, никого у них не было дома, так как она занималась в институте до вечера, а мама, дочь покойного, находится за границей, в отпуске. «Надо же, как это кстати придумалось!» Голос у Туси задрожал и стих.

— Как фамилия дедушки? — спросили Тусю.

— Кошельков.

— Господи! — ахнула трубка. — Беда-то какая! Да я же с ним неделю назад разговаривал, путевку в Дом отдыха предлагал, а он отказывался, не хотел ехать. — Человек, видимо, отвел трубку, рассказывал окружающим: — Степан Степаныч умер. Кошельков. Из дома звонят. Беда-то какая! Внучка одна, а дочь за границей.

Он сочувственно заговорил:

— Вы, милая, возьмите себя в руки. Для всех нас Степан Степаныч родной человек, и завод все сделает, что нужно. Как вас зовут? Туся? Так вот, Туся, пока идите в поликлинику, потом в загс, я всего не знаю, а к трем мы подъедем. Венки, машины, все устройство возьмем на себя. Ах, какая для всех нас это ужасная неожиданность!

Поликлиника почти не отняла у Туси времени. Главный врач навел справки в регистратуре, сказал, что так как Сте-

пан Степанович не состоял на учете и не лечился, то его должны будут отвезти на судебно-медицинскую кафедру, отсюда и произойдут похороны. Туся поинтересовалась, где кафедра. Оказалось, на территории ее института.

Часа через два деда вынесли из квартиры. Два санитаря долго и непонятно топтались около Туся, пока она не сообразила, чего они ждут.

Потом позвонили из завкома. Оказывается, завод сразу же выделил деньги и кто-то из цеха поехал договариваться о машинах и о крематории.

Туся повесила трубку и удивилась, какая нетрудная штука похороны.

Делать ей было нечего. И чтобы не терять драгоценного времени, она решила немного позаниматься. Сначала не могла вчитаться, но потом пересилила себя.

В дверь позвонили. Вошли несколько человек, старики и один молодой, с кепками в руках. Ничего не сказав, они гуськом проследовали в столовую, расселись кто куда и тяжело уставились в пол. В комнате сразу запахло табаком.

— Курить можно? — спросил молодой и, не дожидаясь, когда Туся кивнет, вынул сигареты. — Мне твой дед как родной был, — объяснил он Тусе. — Они с Анной Васильевной у меня на свадьбе на самом почетном месте сидели. . .

— Для него праздников не было, — невпопад после паузы сказал широкоскулый старик, — не мог Степаныч без дела. А часы? Выпрашивал для ремонта. И чтобы за деньги — ни-ни. . . — Он повернулся к Тусе: — Нам бы в комнату к нему на минуту. . .

Они опять двинулись гуськом. Остановились около верстака — лампочка бледно горела, на дворе был ясный хороший день, — постояли скорбно.

— До смерти колесики собирал. — Старик покачал головой. — На заводе вот такие детали, а тут и в увеличительное хорошо не увидишь.

Повздыхали.

— Награды у Степаныча были, — обратился старик к Тусе.

— Награды?

— В лаковой коробочке лежали, в верстаке.

Туся присела — коробочка, действительно, была здесь.

Старик осторожно открыл крышку.

Все повернулись. Тусе тоже хотелось поглядеть, какие награды у дедушки, но она постеснялась спросить.

— Нам пора, — сказал старик и первый пошел к выходу.

Молодой достал конверт, протянул Тусе.

— От завкома. Не очень много, но тебе пригодятся.

— Хоронить завтра будем, — напомнил старик. — Заедем к двенадцати.

Он вышел на лестницу. Туся подумала, что следовало бы, наверное, предложить чаю, да вряд ли они станут рассиживаться.

— Моя как узнала, — вздохнул старик, — так ревет и ревет. Это же надо! Да еще дочь за границей. . .

Конец дня неожиданно оказался свободным. Туся подумала, что нужно съездить в институт, предупредить группу. Не хватало, чтобы кто-то сказал, что она прогуливает.

В коридоре около кафедры Туся встретила ассистентку. Та шла, печатая шаг, и словно не хотела замечать Туся.

— Нина Ивановна! Нина Ивановна, — бросилась к ней Туся. — У меня дедушка умер. Я дома одна, а мама за границей.

Она что-то говорила еще и вдруг почувствовала на своем плече сильную руку.

— Как же ты справляешься? И не думай, пожалуйста, о зачете. Это пустяк. Потом ответишь. . .

Неожиданная мягкость так поразила Туся, что она всхлинула.

— А если сейчас?.. Я учила. . .

Ассистентка что-то обдумывала, и, чем дольше тянулась пауза, тем искреннее плакала Туся.

— Ладно, — сказала она. — Зря в таком состоянии, успе- ла бы после. . .

Они вошли в комнату, ассистентка взяла кость, спросила пустяковобе и кивнула Туся:

— Зачитываю. Я знаю, что ты учишь, но хотелось, чтобы прочнее. . .

На следующий день в двенадцать за Тусей заехала заводская «Волга». Солидный мужчина в шляпе сидел с водителем. Туся устроилась сзади с двумя молодыми. Заговорили о дедушке и о маме, надо же такому случиться — уехала за границу!

Около морга стояли автобусы, рядом толпились люди.

К «Волге» подошел знакомый старик с повязкой на руке, посоветовал Туся:

— Ты, внучка, пересядь в головной. Там друзья Степа- ныча.

Туся вышла из «Волги» и сразу увидела свою группу, а среди ребят — ассистентку.

Ассистентка стояла неподвижно, вытянув руки по швам, точно в почетном карауле.

Туся прошла мимо них скорбная. «Мишка, наверное, уже знает, что я сдала», — невольно подумала Туся.

Кончились центральные районы, потом пошли новостройки и стыдые пустыри.

За первым автобусом двигалось еще четыре — Туся и предположить не могла, что соберется столько народа. На поворотах мелькала «Волга» и еще легковушки, то ли случайно пристроившиеся, то ли из провожающих.

По обеим сторонам от Туси сидели старик и его жена.

— Ты сама урну не получай, погоди маму, — шептал ей старик. — Теперь и под землей-то не встретиться, вот времена.

Машины сгрудились в одном месте. Провожающие стали подниматься по широким ступеням крематория.

Около Туси опять стояли старик и его жена. Они взяли Тусю под локти и повели в зал, где на постаменте в цветах лежал дед, спокойный, даже величественный.

Встали у изголовья. Туся пыталась прочесть, что было написано на лентах, но венки глядели в другую сторону.

Музыка стихла. Наступила торжественная тишина.

Обязали митинг, и к гробу приблизился человек, с которым Туся ехала из дома.

— Генеральный, — шепнул старик Тусе.

Оказывается, генеральный начинал у Степана Степаныча еще мальчиком, как говорили тогда, в «ремеслухе». Голос директора задрожал, паузы стали длинными, и кто-то внезапно всхлипнул, рядом чаще задышала жена старика. Туся тоже стала вытирать слезы.

Потом выступали старики, и молодой, и еще человека три незнакомых. Туся невольно вспомнила маму — жаль, что она не услышала этих хороших слов.

Когда все кончилось, генеральный позвал Тусю в «Волгу», но старик и его жена подошли к обоим, пригласили помянуть Степаныча.

— Была бы дочь, к ней бы поехали, а так только мы...

Планы у Туси были другие, но пришлось согласиться.

— Только я никого здесь не знаю, — сказала Туся.

— А тебе и знать-то не требуется, — возразил старик. — Все это друзья Степаныча. Значит, твои друзья.

В первую неделю Тусю по анатомии не спрашивали. И все же она занималась: знала, должны спросить.

После выходного дня был назначен зачет. Ассистентка,

оглядев группу, вызвала Мишку. Он долго путался, казалось, вот-вот схватит двойку.

В последнюю минуту, когда ассистентка уже хотела его посадить, Мишка, угадав, что от него хотят, ответил правильно. Ассистентка, поколебавшись, зачла ему раздел.

— Вы, Сверчков, все хуже и хуже работаете, — сказала она Мишке. — В следующий раз за такой ответ зачета я вам не поставлю.

Ну вот, радостно подумала Туся, что и требовалось доказать. . . Она поднялась, когда ассистентка назвала ее, и уверенно, будто снова вернулась в школу, пошла к столу.

Страх прошел. Туся вдруг почувствовала, что не только не боится ассистентки, но та даже нравится ей и между ними есть что-то хорошее и близкое.

Она отвечала легко и четко, получая радость от своего ответа.

— Спасибо, — ассистентка явно старалась скрыть свое удовольствие.

Туся села. Она внезапно поняла, что трудности для нее кончились, что она всегда будет отлично учиться, сумеет снова стать первой, а может, и лучшей на курсе. Но чем веселее было на душе, тем скромнее и сдержаннее она вела себя.

Домой Туся шла пешком.

Октябрь стоял прекрасный. Асфальт и земля на бульваре были усыпаны сухими желтыми листьями.

Небо было синим, а ветви деревьев — черными.

Около дома что-то словно подтолкнуло Тусю.

Газеты в ящике оказались вынутыми. . .

Не дожидаясь лифта, Туся побежала наверх. Ей хотелось увидеть родителей, рассказать им, как она тут жила, какие жуткие были у нее дни и как хорошо и славно все кончилось.

Туся тихохонько повернула ключ в замке и вошла в квартиру. В коридоре громоздились ящики с фруктами. Туся хотела позвать маму, но тут увидела ее.

Темно-коричневая, похудевшая, мама стояла у косяка двери и молчаливо и странно смотрела на дочь.

— Туся, — тихо спросила мама, — а где же наш дедушка?

— Умер, — как-то торопливо ответила Туся.

— Умер? — как эхо повторила мама. — Когда?

— Да уже давно, — то ли успокаивая, то ли оправдываясь, сказала Туся. — Больше недели.

Мама растерянно оглядела прихожую и вдруг как-то медленно и тяжело стала оседать на пол.

Летними вечерами Федор Федорович любил сидеть у окна, наблюдать за двором — такие часы он сам да и его домашние называли гулянием.

Закатное солнце заваливалось за трубу соседнего дома, и, пока оно совсем не исчезало, Федор Федорович поглядывал на меняющиеся блики в оконных стеклах. Был он хотя и стар, но еще достаточно крепок, лицо сохранило следы прежней мужественности: седая щетка волос, мощный с горбинкой нос, выступающий подбородок.

По двору то и дело шли люди, и Федор Федорович по привычке считал вошедших и вышедших. Вот и сейчас женщин проследовало двадцать, мужчин — четырнадцать. Правда, в мысленную графу «женщины» занес он и двух младенцев, но в их принадлежности к женскому полу посомневался.

Все эти раздумья отвлекли Федора Федоровича от тревожащего его события — отъезда в санаторий. Беспокойство было давним, касалось оно комнаты, вернее старинных семейных вещей. Никто, конечно, Федора Федоровича грабить не собирался, дело было в другом.

Начинался ремонт квартиры, и опять, как в прошлом году, возник разговор о замене старой мебели на новую, современную. Еще в прошлом году, когда невестка, внучка и сын приобрели польскую «ганку», Федор Федорович решительно сказал:

— У себя делайте, что хотите, но меня не трогайте. Позвольте дожить так, как я жил с матерью и бабкой вашей Галиной Петровной.

— Да как можно с такой рухлядью?! — возмутилась внучка. — Людей стыдно! Если бы мы дрянь предлагали, а мы как лучше хотим!

Но Федор Федорович так на нее поглядел, что Катя стихла.

На следующий день из невесткиной половины вывезли старую мебель, но к Федору Федоровичу не зашли. Сидел он у себя в комнате и с беспокойством прислушивался, как волокут грузчики дубовый шкаф, разворачивают его с невыносимым скрежетом. Невольно поглядывал Федор Федорович на то, что удалось сохранить. Все в комнате было ему дорого: и никелированная кровать, и фикус, и резная ореховая горка, и глубокий, пусть грубоватый, стеллаж. От тяже-

сти полки слегка просели, сдавили стекла, но раздвигать их уже не возникало особой надобности. Стояли там школьные учебники первой ступени — это Галины Петровны — и его книги по бухгалтерскому учету. Наверху была одна незастекленная полка с любимыми книгами, теми, что Федор Федорович перечитывал бесконечное число раз: все выпуски «Рокамболя» и Дюма — теперь этим сокровищам не было цены.

Жили они с Галиной Петровной счастливо, так, по крайней мере, казалось нынче. В девятьсот двенадцатом устроился Федор Федорович на Соловьевскую мануфактуру в Царское Село младшим счетоводом, дел было много, но по воскресеньям, естественно, был он предоставлен самому себе. Вино и танцы никогда Федора Федоровича не интересовали. Любил он побродить в одиночестве, шел пешком в Павловский парк, обедал в ресторане, а потом отдыхал в курзале, где часто играл шереметевский оркестр.

Галину Петровну увидел он именно там в окружении пригостишек. Сидела она недалеко от него — строгая, неулыбающаяся, в темном закрытом платье.

Потом вспомнилось ему другое. Он, Федор Федорович, около дома Галины Петровны, где-то недалеко от немецкой колонии, конец августа, жара, запах меда, а вокруг за каждым палисадником уйма прекрасных цветов, и все же хочется ему сегодня сделать что-то такое особенное, чудаческое. У немки-хозяйки бог знает за какую цену выторговал небольшой фикус и с горшком под мышкой, прикрывая свободной рукой редкие листья от ветра, мчался к Галине Петровне. «Что это, Федор Федорович?» — спросила она со смехом, а самой нравилось, что он такой выдумщик и шутник. И когда Федор Федорович поставил фикус к ее ногам, а сам упал на колено и просил руки и сердца, Галина Петровна снова смеялась, потому что попробуйте понять у него, когда серьезное, а когда просто игра.

Но к чему вспоминать старое? Как говорится, было — и быльем поросло.

Сын их Виктор женился еще студентом. Невестка им с женой понравилась, да и сейчас Федор Федорович не считал, что ошибся, — чем-то казалась она похожей на Галину Петровну в молодости: тихая, застенчивая, комнату выбрала маленькую — от большой наотрез отказалась. Правда, позднее, когда родилась Катька, старики свою сами отдали: ребенку все-таки и побегать нужно, да и справедливее так.

Пока фургон со старой мебелью еще не ушел, Катя снова заглянула к деду.

— Может, передумаешь? Теперь фикусы и такие кровати только в больницах стоят.

Федор Федорович прикрыл глаза и покачал головой: жесткая, мол, ты и грубая.

Катя махнула рукой и так шарахнула дверью, что зазвенели стекла.

Целый год с той поры к этому разговору никто больше не возвращался. И даже если полы в комнате мыли, то кадку с фикусом не двигали, а подтирали вокруг тряпкой.

Перемен в невесткиной половине Федор Федорович будто бы и не видел. Выходил из комнаты, аккуратно притворив за собой дверь, пересекая коридор, старался не замечать этих низкорослых, кажущихся безобразными шкафов, серванта и кресел, торопливо направлялся к телевизору, смотрел передачу, а сам думал, что не в родном доме все происходит, а у соседей. Потом Федор Федорович возвращался к себе — здесь вроде бы существовал островок милой для него прошлой жизни.

Между телевизором и вечерним отдыхом любил Федор Федорович почитать, а то подтаскивал стул к фикусу, обтирал каждый лист, ощущая ладонью приятную их глянцеви-тость.

В январе случилась в семье беда — заболела Катя гонконгским гриппом, за ней Виктор и невестка. Федор Федорович помогал больным, а вечером, в своей комнате, думал, что вот стар, да силен, никакая холера его не валит. И сглазил.

В тот же день начало его знобить, поставил он градусник и испугался — под сорок. Две недели пролежал Федор Федорович пластом, маясь головной болью, и иногда между приступами забывтья вдруг различал над собой беспокойные глаза сына или невестки, и по грустным и утомленным их взглядам понимал: не очень-то они верили в его планиду.

И все же свершилось чудо. Федор Федорович началправляться. И когда впервые осмысленно огляделся в комнате, то увидел, что фикус тоже был болен, листья его повисли, стали как неживые, а по ободку у некоторых пошла желтая полоса.

Федор Федорович с трудом встал с постели, принес свежей воды и поставил на подоконник, чтобы за ночь выдохлась хлорка, а утром полил. Через несколько дней фикус стал оживать, листья выпрямились, стали тверже, и Федор Федорович с радостью отмечал, что вот он сам выздоравливает и фикус тоже.

— Живи, живи, братец, — приговаривал он, — что может быть лучше жизни.

Настроение у него поднялось, стало веселее. Вспомнилось, что после смерти Галины Петровны произошло с фикусом примерно то же самое. Был он страшен: длинная кривая ветка тянулась до самого потолка, листья опали — почему тогда кадку не выбросили, сказать трудно, — но потом фикус ожил, как говорят, оклемался.

О нынешнем ремонте разговор велся давно, еще до покупки новой мебели. В мае и июне отремонтировать было неудобно: у Кати в институте шли экзамены, но в начале июля невестка объявила, что днями придут сметчики.

Ночью Федор Федорович долго не мог заснуть, раздумывая о разном, — предложение о замене мебели удалось отклонить, а в планы ремонта вмешиваться он не имел права. Вот и лежал он с открытыми глазами да отчего-то тревожно глядел в потолок.

В понедельник к парадной подошла машина, крытый автобус «раф», в комнатах и коридоре запахло краской.

Днем позвонил Виктор, чем-то явно обрадовал невестку. Она повесила трубку и направилась к Федору Федоровичу.

— А у меня, папа, новость замечательная! — загадочно сказала она. — Виктор добился для вас путевки в санаторий. Вернетесь, а у нас ни грязи, ни пыли.

Что-то царапнуло Федора Федоровича по сердцу, он сразу же поглядел на фикус, и этот взгляд не остался незамеченным.

— Ни о чем не думайте, не беспокойтесь, — поняла она. — Все, что оставили, так и будет вас ждать.

Санаторий стоял на берегу залива в песчаных дюнах. С раннего утра грело солнце, песок казался бархатным, стелился вдоль берега крупными, мягкими складками.

Утреннего солнца Федор Федорович слегка побаивался, сидел на затененной веранде, читал «Рокамболя». Любил Федор Федорович проверить себя: открывал на любой странице и тут же вспоминал, что будет дальше.

Вечерами шел он к заливу, выбирал новое место, камень или бревно, бездумно глядел на воду. Тело его словно бы подчинялось ритму прилива, казалось, кто-то покачивал его в гамаке, возникало счастливое ощущение легкости и покоя.

В санаторной палате, куда поселили Федора Федоровича, был еще один человек, Миша, студент-второкурсник. При первом знакомстве Федор Федорович расстроился: старый да малый, но паренек оказался вежливый, тихий, что ни попросишь — все сделает.

Отдых, естественно, у них протекал по-разному. Чуть свет Миша уходил на залив с книжкой, на обед тоже являлся с книжкой, вечно погруженный в какие-то свои мысли, а к ночи ложился и опять брал книжку, а то сидел за столом и что-то писал. Нравился Миша Федору Федоровичу все больше и больше: не бездельник, не пустослов, а разумный, взрослый человек. Специальности Миша учился странной — искусствоведению, а проще, как он объяснил Федору Федоровичу, критике живописи, но что это такое, до конца понять было трудно. Пару раз задавал Федор Федорович Мише прямые вопросы, смысл которых сводился к главному: имеется ли польза от такой работы нашему народному хозяйству? На что Миша отвечал уклончиво, и от всех его объяснений становилось ясно, что дело его, к сожалению, пустяковое.

Первая неделя в санатории прошла отлично. Федор Федорович начал совершать недалёкие прогулки, крепнул на глазах. На второй неделе поставил он перед собой дерзкую задачу — дойти до вокзала, а это минимум полтора километра.

Шел он ходко, иногда проверял пульс и радовался его здоровому наполнению. Думал Федор Федорович о Кате. Мечталось ему познакомить свою шумную, резкую, слегка легкомысленную, но неплохую внучку с этим книжником, такой человек мог бы многому хорошему ее научить.

Он заметил впереди скамеечку, хотел пройти, но совершенно неожиданно для себя испытал беспокойство. Сердце вдруг сжалось, а потом запрыгало, заплясало около горла. Дрожащими пальцами Федор Федорович расстегнул ворот и присел на скамейку. «Что это?» — спрашивал он себя, преодолевая навалившуюся слабость. Молочный густой туман застил свет, и Федор Федорович видел только что-то серебряное и волнистое. «Умираю, — совершенно спокойно понял он. — Надо же, как просто».

Когда Федор Федорович открыл глаза, небо уже потемнело. Тени деревьев лежали на дороге, и чуть впереди, как шлагбаум, краснела солнечная полоса.

Федор Федорович хотел подняться, но ноги были как ватные. Мимо шли отдыхающие, можно было попросить поискать Мишу, но Федор Федорович постеснялся. Он стал отчего-то думать о доме. Ремонтируются. Кавардак, наверное, в комнатах — трудно представить, куда они перенесли мебель.

Он внезапно вспомнил о фикусе и невольно поднялся. Что там? Сломали, забыли полить? Да, да, говорил он себе, там что-то случилось.

Он дошел до вокзала и только тогда вспомнил, что не взял с собой денег. «Все равно нужно ехать, — решил он. — Объясню контролеру — поверит...»

Дверь открыли не сразу. Катя стояла против Федора Федоровича сонная, немного растерянная, глядела с недоумением на деда.

— Ты чего? — спросила она, уставившись на его пижаму. — Выписали, что ли?

— Решил вас проведать, — схитрил Федор Федорович.

— В двенадцатом часу?! Мы и так ни ног, ни рук не чуем. Вся мебель сегодня перетаскали...

— И фикус?

— Черт бы подрал этот пудовый фикус, — огрызнулась Катя.

Дверь в комнату Федора Федоровича была приоткрыта — ремонт шел в большой комнате, — и среди нагромождения мебели он отыскивал свой фикус. Был он таким же, как всегда. Может, чуть грустнее. Казался забытым среди домашнего скарба.

Федор Федорович обошел Катю, потрогал землю в кадке — сухая, принес воды и полил.

Теперь можно было присесть. Он тяжело опустился в кресло, вздохнул. Ах, как он устал за сегодняшний вечер!

Катя стояла в дверях, все еще наблюдала за ним.

— Папа! Мама! — наконец позвала она. — Поглядите, кто приехал!

Зашлепали тапочки, и Виктор спросил хриплым, заспанным голосом:

— Что? Где? Кто приехал?

Он вошел в комнату, включил свет и сам зажмурился от яркости.

— Ты это чего? — после некоторого недоуменного молчания спросил Виктор.

— Так, — уклончиво сказал Федор Федорович, стараясь не встречаться с сыном глазами. — Как, думаю, ремонт?

— Ремонт идет, — Виктор зевнул и переглянулся с женой. — А теперь — спать. Утром — в санаторий. Там хоть знают о твоём отъезде?

— Да я и сам-то об этом недавно узнал, — пошутил Федор Федорович. — Прогуливался около вокзала да и сел на поезд.

— А тебя, возможно, с милицией ищут.

— Ну уж, с милицией, — улыбнулся Федор Федорович. — В санатории каждую ночь кто-то не приходит, так им и милиции не хватит искать, а молодежь и вообще...

— То молодежь! — засмеялась Катя. — Ты, дедушка, тоже молодежь, — теперь уже до слез хохотала она, — но только молодежь девятнадцатого века.

В половине шестого Федор Федорович поднялся и тихонько прошел мимо спящей крепким утренним сном внучки. Сын ожидал его в коридоре.

— До вокзала вместе поедем, — сказал Виктор строго. — Пока я тебя сам в поезд не посажу — не успокоюсь.

В трамвае ехали молча. Виктор отворачивался, а Федор Федорович не приставал — чувствовал себя виноватым.

— Вот что, папа, — наконец сказал сын. — Только давай откровенно... Ты из-за фикуса приехал?

— Да, — тихо сказал Федор Федорович. — Понимаешь, мне вдруг стало плохо...

— О-хо-хо! — вздохнул Виктор. — О фикусе ты подумал, а вот о людях!..

Переполох в санатории был страшный. Миша проснулся в середине ночи, и тишина в палате показала ему подозрительной. Он лежал немного, прислушиваясь к шорохам, — ни звука. Вскочил и с беспокойным сердцем провел рукой по гладкому одеялу Федора Федоровича. Когда он понял, что старик так и не вернулся с прогулки, то забеспокоился еще сильнее. Мысль о случившемся заставила его одеться и бежать к сестре.

Дежурная выслушала Мишу и пошла к врачу. Доктор открыл ординаторскую не сразу, не мог понять, чего от него хотят в середине ночи, а когда открыл, долго стоял в дверях, глядя на молодого человека и сестру, уже дважды повторивших причину своего прихода.

— Пропал дедушка? Придется звонить в милицию.

Дежурный райотдела записал все приметы Федора Федоровича, сказал, что, если пропавший не явится утром, они начнут поиски.

— Да как же так! — возмутился Миша. — До утра он может застынуть.

— Ну а если пропавший ушел в гости, выпил или спит дома, — резонно заметил дежурный, — а мы весь район на ноги поставим. Нет уж, молодой человек, лучше панику не пороть.

— Да не мог он выпить, — убеждал Миша. — И в гости не собирался, честное слово.

Пришлось дежурной сестре опять докладывать доктору.
— Давайте действительно до утра подождем, — сказал он. — А вы запишите в истории болезни об исчезновении и ответ милиции укажите. Если утром обнаружат труп, словами не отговоритесь — тут любая бумага больше весит.

Он потянулся и упал в расстеленную и смятую постель.

— Идите, идите, — попросил доктор. — Весь сон испортили. Придется димедрол принимать.

Около семи доктор пришел в палату, открыл чемоданчик Федора Федоровича и все перетряс: искал завещание — его не было. Оставалось ждать. Доктор пошел на кухню снимать пробу. В зале шла уборка, и за сдвинутыми и перевернутыми столами и стульями он не сразу заметил седую голову Федора Федоровича.

— Простите, — сказал доктор осторожно. — Это не вы исчезли сегодня ночью?

Федор Федорович живо повернулся, кивнул.

— Я прошу прощения, — начал он. — В некотором роде поступок мой можно считать легкомысленным, но все дело в том, что я и сам не ожидал, что уеду.

— Гм-м, — кашлянул доктор.

— Гуляя по нашей территории, я внезапно почувствовал себя худо, пришлось посидеть на скамейке, а когда я несколько окреп и решил возвратиться в палату, то вспомнил одну важную вещь и, как я считал, верную свою приметку: если заболеваю чем-нибудь я, то обязательно заболевает дома и мой фикус.

Он виновато улыбнулся:

— Вам, молодой человек, это может показаться смешным, но у нас, стариков, бывает всякое.

— Кто, простите, у вас заболевает? — переспросил доктор.

— Фикус. Цветок. Он уже много лет в нашем доме и для меня больше чем родственник... — Федор Федорович улыбнулся, показывая, что шутит...

— Да-а, — протянул доктор.

— Я вас понимаю, — согласился Федор Федорович, — в наш век все это кажется ерундой, но ведь бывают такие совпадения, что начинаешь и в ерунду верить.

— Вот с этим я совершенно согласен, — кивнул доктор, приходя в веселое настроение.

Он позвал официантку и попросил:

— Не могли бы вы принести товарищу завтрак? Он ездил в город, у него в тяжелейшем состоянии фикус.

— А что с ним? — не поняла официантка.

— Пока трудно сказать.

— Жаль, — посочувствовала официантка. — А с едой придется подождать, только загрузили котлы.

— Я подожду, — успокоил ее Федор Федорович. — А насчет болезни я вроде ошибся, зря съездил, дома все было в порядке.

— Ну и слава богу, — ласково сказала официантка.

Днем Федор Федорович гулять не смог — от разездов и волнений чувствовал тягостную усталость. Миша, обеспокоенный вчерашним исчезновением, несколько раз забежал в палату. Федор Федорович сидел у окна — голова опущена, подбородок прижат к груди, руки вытянуты вдоль тела.

— Узнать себя не могу, — жаловался Федор Федорович. — Третьего дня так хорошо себя чувствовал.

— Полежите, — уговаривал его Миша. Помог подняться, подвел к кровати. Федор Федорович передохнул немного и тогда только стянул брюки.

Теперь он лежал один в комнате. Тело его будто бы остывало, тишайше тюкало сердце, ныли суставы, но это была не боль, а далекий отголосок боли, словно где-то в глубине все еще давала о себе знать старая рана.

Обед принесли в палату. Федор Федорович поглядел в тарелку, но к еде не притронулся — не было аппетита.

Санаторный доктор, все такой же веселый и бодрый, пришел к нему, громко поздоровался, удивился, как это люди умудряются так прекрасно выглядеть в свои восемьдесят лет, достал стетоскоп.

— Давление, как у мальчика, — позавидовал он Федору Федоровичу. — Да и сердце — прелесты!

— Но слабость...

— Слабость?! У кого теперь нет слабости! Напрыгались, наскакались, а это, простите, расплата.

Миша нервничал в коридоре, а когда доктор, все такой же быстрый, вышел из палаты и припрыгивающей походкой не слишком озабоченного своей санаторной жизнью человека, словно сам был тут отдыхающим, помчался в ординаторскую, Миша догнал его.

— Ну как Федор Федорович? — спросил он.

Доктор остановился, смерил ироническим взглядом молодого человека.

— Прекрасно! — сказал он. — По-моему, прекрасно!

— А может, ему лекарства?

— Ну что ж... Выпишите ему лекарство.

— Я не врач, — виновато сказал Миша, понимая, что он несколько обижает доктора своим недоверием.

— А я, увы, врач, — строго сказал доктор, преподав Мише урок скромности.

Весь день к Федору Федоровичу приходили в палату знакомые по санаторию, больше пенсионеры или соседи по столу, давали советы. Федор Федорович бодрился, отвечал, что здоровье у него замечательное, пульс и давление, как у молодого, только слабость.

Заснул Федор Федорович поздно ночью, и в какой-то момент привиделось ему нечто странное, будто он и есть фикус.

Он застонал. Миша, оказывается, уже стоял рядом, тревожно глядел на него.

— Сон тяжелый, — признался Федор Федорович. — Опять фикус.

— А вы думайте о другом. Вы же видели, что фикус здоров.

— Видеть-то видел, а волнуюсь. Если бы еще съездить...

— Куда вам, — возмутился Миша.

Он лег на свою кровать, повернулся к стенке. «И ведь не убедишь, не уговоришь человека, — думал Миша, — придется через пару дней самому съездить...»

Солнце с утра было жаркое, тяжелое. В городе после заморья казалось совершенно невыносимо. В переполненном раскаленном трамвае стояла тягостная духота. Слава богу, дом Федора Федоровича близко, минут пятнадцать езды. Миша вошел в парадную и впервые облегченно вздохнул: здесь было прохладно, хотя и пахло краской. Шел ремонт. Ступени покрывал слой мела.

Миша взбежал на второй этаж и в нерешительности позвонил.

Глазастая девушка в спортивном костюме возникла перед ним — он сразу понял: Катя. Брюки и рукава у Кати были закатаны, синяя трикотажная кофта плотно облегла грудь, и Миша на недолгую минуту слегка оробел, забылся, молча глядел на девушку.

— Вы из бюро добрых услуг? — спросила Катя, откидывая мокрую прядь со лба, но волосы тут же упали ей на глаза. Тогда Катя вытянула губы и подула, отчего волосы слегка взлетели.

— Нет, я от Федора Федоровича.

Она тут же заулыбалась, о чем-то вспомнила,

— Ага, вы за очками. Я так и знала, что он за ними придет. — Она бросила к Мишиным ногам тряпку и побежала по коридору. — Только вот не помню, куда же я их спрятала, разве во время ремонта найдешь.

Миша постоял в дверях, подумал: «Очки так очки, мне лишь бы на фикус взглянуть» — и вошел.

Чистая, выбеленная и оклеенная новыми обоями комната была загромождена мебелью. Перевернутые и поставленные друг на друга стулья, целый частокол ножек встретил Мишу. Дальше стояли шкаф, сервант, горка, железная кровать, а за всем этим в углу виднелась высокая кривая ветвистая палка. «Фикус! — с ужасом понял Миша. — Что же сказать Федору Федоровичу?»

Он шагнул к окну. В щелочку между шкафом и горкой разглядел он большую залитую мелом кадку. Обрывки обоев и куски штукатурки покрывали землю, и среди всего этого сора Миша увидел листья, такие же белые, заляпанные мелом, они валялись и в кадке, и рядом с ней. Несколько штук безжизненно висело на кривых ветвях.

Вошла Катя, услышала вздох за шкафом, заглянула туда.

— Вы наш баобаб смотрите? — засмеялась она. — Дедушкина реликвия. Погиб на боевом посту.

Она протягивала Мише футляр с очками.

— Как погиб? — переспросил Миша. — Что же теперь делать?

— Погиб и погиб, — отмахнулась Катя. — Он у меня вот где сидел, — она чикнула ладонью по горлу. — Да сами посудите, приходят ребята, удивляются, зачем мы это чуднице держим...

Она спросила:

— Может, вынесем?

— Нет, нет, — испугался Миша. — Пока этого не делайте, прошу вас. Федор Федорович будет расстроен, фикус — дорогая ему вещь, он все время о нем думает.

— Бред какой-то, вот что...

— Может, и бред, — уклонился Миша, — но если человеку кажется...

— Мне тоже многое кажется, — сказала Катя. — Только нужно обо всех думать. Зачем давать людям повод смеяться? Вам бы это приятно было?

— Ерунда! — сказал Миша. — У нас в Академии художеств тоже фикус есть.

Он специально подчеркнул слово «академия», надеясь хоть этим убедить Катю.

— Вы художник?

— Искусствовед, — сдержанно сказал Миша.

— Ах искусствовед! Тогда вот что, товарищ искусствовед, давайте не будем о фикусе, поглядите, хорошо ли я выбрала обои.

— Хорошо, — оглядываясь, подтвердил Миша.

Он положил в карман очки Федора Федоровича, снова взглянул на фикус.

— Не выбрасывайте фикус, Катя, — попросил он. — А вдруг еще оживет?

Она взглянула на него холодно, что-то хотела сказать, но передумала. Вытерла ладонь о колено, протянула руку.

— Оставайтесь обедать, — предложила она. — У меня щи сегодня.

— Нет, я пойду, — сказал Миша. — Что передать девушке?

— Очки и передайте, — засмеялась Катя.

Она вышла на лестницу, довольная, что так здорово отвела, и помахала рукой.

«Неуклюжий какой-то, — думала она, глядя, как Миша толкает входную дверь, не может ее открыть. — Несовременный».

Вошла в квартиру, собрала с пола опавшие листья, выгребла из кадки обои и мусор — ведро опять набралось верхом, — побежала на улицу.

Она мчалась к помойке, крепенькая, невысокая, с закатанными до колен брюками, тугая ее кожа отливала на солнце маслянистым загаром.

Два парня увидели ее издали, взялись за руки, пересекли путь.

Катя кинулась на них со смехом, разорвала цепь, пролетела дальше.

— А девушка ничего, — бросил один. — С полным ведром — это, говорят, к счастью.

— К моему счастью или к вашему?

— Вы и без того счастливая, — сказал парень, — если на помойку райские листья несете.

— Если бы райские, — засмеялась Катя. — Это от фикуса.

— Не может быть! — ахнул парень. — Фикусы вымерли вместе с мамонтами.

— Точно, — кивнула Катя. — Наш фикус последний.

Она передала ведро парню, и, пока тот стучал им по металлическому баку, переговаривалась с его товарищем, и все смеялась, смеялась...

До вокзала Миша дошел пешком, раздумывая о странном совпадении. Лучше ничего не говорить Федору Федоровичу, сделать вид, что дома полный порядок.

Он сел в электричку. Окна были открыты, легкий ветерок приятно пробегал по вагону. Море уже несколько раз внезапно появлялось из-за леса, оно будто бы дремало от этого жаркого, изнурительного дня.

Приближался вечер. Солнце садилось в воду. И каждый раз, когда электричка выскакивала на открытую прибрежную полосу, Мише казалось, что солнце будто бы тает, уменьшается и бледнеет, пока оно и действительно не превратилось на горизонте в узкую багровую полосу.

Перед входом в санаторий стояла «скорая помощь». Миша заметил машину издали, побежал.

Вокруг бродили отдыхающие, ждали, кого вынесут, в однообразной санаторной жизни и такое событие было интересным.

«Лишь бы не совсем худо», — думал Миша.

Он почувствовал, что очень устал, — город в эти дни был как огромный противень, и единственно, чего бы ему хотелось теперь, — выкупаться.

Он взбежал по лестнице, распахнул дверь.

Федор Федорович лежал на кровати, и от вздернутого его большого с горбинкой носа и поджатых губ дохнуло холодом.

Врач «скорой» писал за столом. Миша поздоровался, чувствуя, как пересыхает у него в горле, подошел к кровати. Он уже хотел спросить: «Все?» — но Федор Федорович открыл глаза.

— А я был у вас дома, — как-то очень взвинченно заговорил Миша. — Вам все кланяются. И фикус в полном порядке. Вы зря волновались. Я даже удивился, какой он еще красивый и сильный. Представляете, доктор, — громко и весело говорил Миша, — у Федора Федоровича в городе есть фикус, ему столько же лет, сколько хозяину. Ну, — засмеялся он, — если и не столько, то чуточку меньше...

Миша чувствовал, что говорит фальшиво, но страх будто бы подгонял его. Он повернулся к доктору, надеясь, что тот его поддержит, что-то скажет Федору Федоровичу.

Доктор действительно перестал писать, глядел на шустрого молодого человека с осуждением. Потом недовольно кашлянул и сказал:

— Чем болтать лишнее, принесли бы лучше носилки.

Вызовы шли ерундовые. На последней квартире, заставленной хрусталем и бронзой, бабушка и прабабушка металась вокруг вопящего годовалого толстяка, который, если им верить, проглотил чуть ли не бильярдный шар.

Нина Гавриловна, молодой врач, только что устроившаяся на «скорую», включилась в общую панику. Она мяла живот ребенку, а тот кричал все громче и пронзительнее.

Фельдшер Дмитрий Иванович Никитин, а на станции среди своих просто Митя, студент пятого курса, стоял в стороне с унылым, скучающим видом, терпеливо ждал, когда закончится этот идиотский спектакль.

— В больницу придется, — наконец сказала Нина Гавриловна ту фразу, которую Митя давно ждал.

Он переглянулся со вторым фельдшером Варей, исполнительной и молчаливой, обреченно вздохнул и завел глаза к потолку, как бы сообщая свое отношение к доктору.

— Дмитрий Иванович, вы человек опытный... погляди-те, — Нина Гавриловна посторонилась.

Митя иронически смотрел на нее.

— Дмитрий Иванович почти доктор, — объяснила Нина Гавриловна. — В следующем году кончает институт...

Митя устало повернулся и пошел в ванную. Включил воду и долго разглядывал в зеркало прыщик. «Чучело гороховое, — ругал он врача. — Сколько всем глупой работы!..»

Сполоснув руки, принял у испуганной бабушки полотенце. «Противное дежурство, — раздумывал он, вытирая палец за пальцем. — Согласился зачем-то, поменял... А завтра и бригада отменная, одни асы, не такой детский сад. С этой птичкой и за половину суток напляшешься. Шар проглотил! Делать ему больше нечего...»

Он вернул полотенце, поднял руки, как истинный хирург перед операцией, вошел в комнату.

Нина Гавриловна отступила, дала Дмитрию Ивановичу место. Он положил холодную ладонь на живот ребенка, тот вздрогнул от неожиданного ощущения и вдруг обнажил десны в улыбке.

— Солдат! — похвалил его Митя и забарабанил по животу пальцами, потом внезапно надавил у пупка.

Перепуганное лицо Нины Гавриловны было покрыто красными пятнами.

— Какой он проглотил шарик? — поинтересовался Митя.

— Такой, — бабушка протягивала Мите крупный, чуть ли не с куриное яйцо шарик.

Митя подкинул его на ладони, вернул бабушке.

— Проглотите! — приказал он.

Нина Гавриловна вспыхнула.

— Но я... не могу, — бабушка смотрела на фельдшера удивленно.

— А почему вы решили, что он может?

— Было два, — бабушка спясть принялась за свое. — Мы пришли из кухни, он кричит, а на кровати один шарик...

Митя неожиданно пересек комнату и вытащил из-под телевизионной тумбочки пропавший, второй.

В машине хохотали до слез.

— Надо же! — повторяла Нина Гавриловна, вытирая глаза. — «Проглотите!» А я-то, я-то всерьез...

— На «скорой» нельзя терять чувство юмора, — кивал Митя, довольный собой. — Иначе хана, заедят...

Он взглянул на часы: до конца дежурства оставалось немало.

— Хорошая у вас работа, — позавидовал медикам водитель. — И посмеяться случается, и поплакать. А у нас? Каждый ганшик на тебя глаза пялит.

— Шел бы к нам санитаром, — пригласил Митя. — Семьдесят ре ни за что платят, ответственность — ноль, а удовольствие — по уши.

Он переждал, когда стихнет в машине смех, сказал серьезно:

— Сейчас как дадут вызов этаж на шестнадцатый. И без грузового лифта. А дедушка или бабушка килограммов на девяносто, вот и позавидуешь... А ты, между прочим, в это же время одеяльце постелешь в кузовке да на носилочках и прикорнешь часик, а?

Шофер хотел что-то ответить, но загудела рация.

— Троечка? Троечка? — искала радистка. — Где вы?

— На Моечке, — срифмовал Митя.

Он записал адрес, пометил «плохо с сердцем» и нарочно громко повторил:

— Поняли, пятнадцатый этаж!

Положил трубку.

— Ну вот, если еще и лифт не работает, то я просто оракул.

Все опять рассмеялись, но уже не так весело.

...Грузовой действительно не работал, поднимались в обычном пассажирском. Мите хотелось предупредить Нину Гавриловну, чтобы она не спешила хватать в больницу, но передумал: может, и обойдется.

В коридоре было не повернуться, типичная однокомнатная жинвопырка.

— Строят так, чтобы всем равномерно было тесно, — пошутил Митя.

Девочка лет тринадцати с большими тревожными глазами метнулась к Нине Гавриловне, выхватила курточку и, приподнявшись на цыпочки, повесила на гвоздь.

Беспорядка не было, но во всех этих гвоздях и висевшей ветхой одежде чувствовалось нечто старое, уходящее.

— Больная здесь, — девочка распахнула дверь, давая дорогу Нине Гавриловне и фельдшерам, и тут же шагнула к Варе, у которой в руке был кардиограф, понесла его к столу, держа перед собой, как тяжелый и раскаленный утюг. Поставила со стуком, вызвав у вошедших молчаливое неодобрение.

Комната оказалась просторной, с несусветными разнообразными вещами, каким-то образом сохранившимися здесь из другого, уже забытого времени. На полу лежали многоцветные половички из лоскутков, чистенькие красные, синие и белые тряпочки чередовались рядами. У правой стены стояла высокая и широкая железная кровать с никелированными набалдашниками и блестящими шариками на выгнутых прутьях — этакая мечта пятиклассников, собирающих металлолом. На кровати лежала старуха с лицом усталым, страдающим, тихо стонала.

За квадратным, темным, со вздутой фанеровкой столом виднелось кресло, около которого горбился дед, когда-то несомненно высокий, а теперь ростом с внучку, морщинистый, с застывшими, неподвижными, будто бы остановившимися глазами-точками.

Звонок и шум в коридоре заставили старика подняться, но теперь, попривыкнув к медикам, он снова пытался сесть на место.

Нина Гавриловна устроилась на краю кровати, перекосила матрац. Старуха охнула — покачивание принесло боль. Девочка повторила ее стон, но, испугавшись своей слабости, отвернулась. Она так и стояла у большого, хорошо освещенного аквариума с искусными резиновыми и стеклянными трубочками — делом чьих-то умелых рук — и шмыгала носом.

В воде медленно и с достоинством, как фрейлины на балу, проплывали золотые рыбки. Они лениво шевелили хвостами-шлейфами, останавливались друг против друга, словно поприветствовали, расходились. Причудливые водоросли покачивались над ними.

Фельдшер Варя принялась зачищать батарею парового отопления, готовила заземление.

— Сходи, намочи электроды, — попросила она Митю. Он пошел в ванную. Девочка бросилась за ним с полотенцем-тряпочкой.

Живот у старухи был болезненный. Нина Гавриловна стояла около кардиографа, смотрела на бегущую ленту.

— Кровь давайте посмотрим, Дмитрий Иванович, — попросила она Митю и опять покраснела, точно уличила себя в чем-то незаконном. — Инфаркта не видно.

— Мне нетрудно, — сказал Митя так, что Нина Гавриловна снова вспыхнула, однако решения не отменила.

Митя достал пробирки, баночку с уксусной кислотой. Докторша о чем-то кудахтала со старухой, — дело явно попахивало госпитализацией; эта дура действительно может заставить тащить бабу с пятнадцатого этажа.

«Торопиться не будем, — успокоил себя Митя. — Не с выработки получаем».

Он кольнул бабу палец, насосал капельку крови, замазал смесителем.

Дед еще уменьшился за это время, втянул голову в плечи, подобрал ноги — этакий гномик в огромном кресле, — шевелил губами, беседовал сам с собой.

— Бабка, бабка, — вслух сказал он, — что ты наделала?!

— Что наделала? — переспросила старуха. — Я разве виновата?

— Успокойтесь, — Нина Гавриловна гладила ей руку. — Не нужно волноваться, бабушка.

Митя заглянул наконец в окуляр — лейкоцитов было полно! — поднялся и, ничего не объясняя докторше, пошел промеривать коридор. Носилки, конечно же, не повернутся. Придется ставить в дверях, а старуху нести до выхода на руках, здесь и укладывать. При таком весе нужно четыре здоровых мужика, а если учесть этажность, то и восемь не помешает.

Митя взглянул на часы, было четверть седьмого — время, когда приходят с работы, тем более что в семь футбол по телеку, все норовят поспеть. Тут-то мы их, хануриков, и схватим!

Он вернулся в комнату, принялся считать лейкоциты. Сетка Горяева была заполнена белыми кровяными тельцами.

— Много? — осторожно спросила Нина Гавриловна.

Митя написал цифру. Нина Гавриловна вздохнула: сомнений не оставалось, нужно госпитализировать.

— Похоже на поджелудочную, — сказала она. — Будем поднимать носилки.

Девочка всхлипнула, уткнулась лбом в аквариум, рыбы заметались от легкого толчка.

— Бабка, бабка, — сказал дед, — что ты наделала?

— А что наделала? — теперь спросил Митя.

— Старый он...

— Нет, нет, — приставал Митя. — Чем-то вы провинились, сознайтесь, бабуля.

— Да ничем! — крикнула она. — Перестань молоть, дед! Митя отодвинул микроскоп, поднялся.

— Танюша, — позвала внучку старуха, разделяя слова долгими и тяжелыми паузами. — Маме телеграмму отбей, потому что самой не справиться. Пусть едет. А ты пока рыбок не забудь. И за дедкой ухаживай. А денежки у меня в ридикюльчике, что за шкафом, бери. Пенсию двадцатого принесут, деду выдадут, а мою я сама...

Она закинула голову, затихла.

— Воду рыбам смени. Они нежные, в старой воде им тяжело. Соседей попроси, лучше Марковых, к Петровым не нужно, им всегда времени нет...

Она передохнула, хотела еще что-то прибавить, но дед снова перебил ее.

— Бабка, бабка, — уныло произнес он, — что ты наделала?..

Митя пожал плечами и прикрыл дверь.

Шофер спал на носилках. Митя похлопал его по спине, заставил встать.

— Летательный аппарат требуется, — объяснил он. — Будем спускать старушку. Придется спать сидя.

— Куда едем? — шофер не понял спросонок, смотрел удивленно.

— Пока на пятнадцатый этаж, труженик баранки, — сказал Митя. И предложил: — Имеешь возможность стать санитаром...

Шофер вышел из кузова, поежился, поглядел вверх. Митя вытаскивал носилки.

— Ну? Решил? Принимаем без конкурса.

— Иди ты! — беззлобно сказал шофер и стал залезать на свое место, в кабину.

Нина Гавриловна уже собралась, Варя зачехлила кардиограф, ждали Митю. Носилки не проходили в дверях, поэтому их пришлось оставить на лестнице. Танюшка бегала по квартирам, собирала мужчин.

Скрипнула дверь, раздались голоса. Митя выглянул — в коридоре толпилось шесть человек, один, правда, был негоден, пожилой и хилый. Митя тут же отшел его.

— Еще рядом ляжете.

— Да я здоровый, — доброволец сопротивлялся.

— Нет, нет, — распорядился Митя, — других найдем.

Он вынес одеяло, постелил на носилки, вернулся за думочкой. Стол отодвинули в сторону. Дед теперь странно смотрелся в пустом пространстве, как король на троне.

Старуха лежала неподвижно, вытянув руки вдоль тела, слушала, как Митя объясняет мужчинам задачу.

— Возьметесь одновременно. По моей команде. Развернетесь. И понесете ногами к двери. С другой стороны поддерживать не нужно, не пройти всем. Поняли?

— Так точно, — по-военному отрапортовал белобрысый парень.

— Ого! — похвалил его Митя. — Армия с нами — значит, победим.

Восемь рук подняли старуху над кроватью и под Митины приказы: «Давай, давай, разворачивайся!» — понесли к лестнице.

— Бабка, бабка, — вслед сказал дед, — что ты надедала?..

— Анализы твои не получены, — уже из дверей ответила старуха и тут же застонала — переноска причинила ей новую боль.

Танюша ждала мужчин на площадке, придерживала бабушкину голову; припала щекой.

— Следи, чтобы дедуля сахар не ел, нельзя.

— А ты поправляйся.

— Взяли! — скомандовал Митя.

Мужчины подняли носилки, потащили вниз. Лестница была приличная, Митя сопровождал сзади этажа два, Воря и Нина Гавриловна шли впереди. Нужно было собрать микроскоп и реактивы, и Митя крикнул своим, что должен вернуться.

Несколькими прыжками взлетел вверх, вбежал в комнату. Дед сидел на прежнем месте, глядел в стену.

Квартира теперь производила странное впечатление: на кровати лежала мятая простыня, половики сбиты, отброшены ногами в угол, стол в стороне, на нем валялась испорченная лента кардиограммы, заляпанная чернилами, да лабораторная сумка с несобранными пробирками и реактивами.

— Бабка, бабка, — покачал головой дед, — что ты надедала?..

— Нету бабки, — объяснил Митя.

Он знал, что торопиться не стоит, — куда спешить, пока мужчины несут старуху. А главное, если оказаться на станции в восемь, то дадут еще вызов и домой попадешь не в половине десятого, а часов в двенадцать. Завтра к девяти в институт, уже не выспишься. «Вот так и идет жизнь, — думал Митя, жалея себя, — работаешь, работаешь, никаких сил не хватает, пока станешь врачом».

По щекам деда текли слезы. Митя недовольно скосил на него взгляд и прикрикнул:

— Перестань, дед! И так тошно.

В пробирке оставалась уксусная кислота, нужно было пойти на кухню, вылить в раковину, но Митю разобрала такая злость от этой паршивой работы, что он чуть не выплеснул кислоту на пол.

— Блюдце бы нужно, дед, блюдце! — строго и требовательно попросил он.

Старик глядел на фельдшера, не шевелился.

Митин взгляд упал на аквариум. Твердым шагом он пересек комнату, опрокинул пробирку и, почерпнув воды, тщательно сполоснул ее.

Золотые рыбки метнулись в стороны, бросились вверх, к воздуху, потом, потеряв привычную величественность, понеслись вниз.

Митя забрал кардиограф в одну руку, лабораторную сумку в другую, пошел к выходу.

— Спасибо! — неожиданно поблагодарил дед, о чем-то вспомнив.

Пришлось оглянуться: старик незряче уткнулся в стену.

На поверхности аквариума среди зеленых водорослей покачивались, как поплавки, красные рыбки. Митя прикрыл дверь.

Нужно было спешить — бабуку, вероятно, уже занесли в машину.

МОРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СИНИМ

Даже в летние каникулы отец вставал не позднее половины восьмого. Всклакивал с кровати — «катапультировал», по Тошкиному выражению, — разминался, похрустывая суставами, растягивал эспандер и, наконец, кидал к потолку гири, пофыркивая и ухая при каждом взмахе.

В эти минуты Тошка тоже был обязан «катапультироваться». А если он продолжал лежать, то все кончалось худо.

Предупреждений отец не делал, уговаривать не любил. Он запускал руку под одеяло, нащупывал Тошкину ногу и, посмеиваясь, поднимал сына над кроватью.

После зарядки бегали трусцой.

Из дома Тошка выходил вялый, веки словно набухали за ночь, и Тошка ничего вокруг себя не видел. Постепенно окружающее прояснялось. Тошка начинал замечать, как рассасывается туман над озером. Толстый слой ваты в небе словно бы утончался, по всей его поверхности появлялись дырки, в них проникали солнечные лучи, живые, подрагивающие, похожие на паутину.

— Не вертеть головой! — командовал папа. — Дышать ровнее! Следить за ритмом!

Особенно было интересно, когда день сразу начинался ярко. Так, что в глазах жгло! Бежишь, щуришься, а деревья становятся черными, листья — черными, солнце — огненным, а когда пробегаешь старое дерево, сухостой, где и вообще нет ни одного листика, то ветки словно прочерчены тушью. Много черных росчерков в синем-синем пространстве.

Начинать бегать всегда неохота. Если бы отец разрешил брать с собой Чуньку, то бегать было бы веселее. Чунька — пес, друг и бродяга. Вообще-то Чунька — домашняя собака. Сколько бы Чунька ни шастал, ни бродил, ни болтался по задворкам, домой он приходил. Ругать Чуньку за постоянные побеги несправедливо. Хозяева дачи, мамыны тетя и дядя, здесь подолгу не жили, дача пустовала. И чтобы поддерживать порядок, они просили маму, Тошку и папу жить у них летом.

Как Чунька кормился зимой — неясно. Будка у него была, но соседи рассказывали, что постоянно видели его у магазинов в центре поселка, где он дежурил вместе с другими собаками.

Вот из-за этой Чунькиной неприкаянной жизни отношения у него с папой сложились трудные. В чем только папа его не обвинял! И бродяга! И глисты! И источник антисанитарии...

Помочь Чуньке Тошка не мог — любая попытка к примирению обостряла отношения с отцом.

Надо сказать, что сам Тошка считал каникулами только один месяц — июнь, когда жили они вдвоем с мамой. Папа в это время принимал в школе экзамены.

Работал папа всегда с повышенной нагрузкой. Троечников оказывалось столько, что и подумать об отдыхе было нельзя.

Мама говорила, что папа беспощадный учитель. И тот, кто у него имеет тройку, в другой школе имел бы пятерку,

а кто у папы имеет четверку, тому ставили бы шестерку, не меньше.

Этой шутке Тошка верил.

Сам папа неоднократно повторял: раз могу я — могут и другие.

Например, Иванов из девятого «А» долгое время был лишен абстрактного мышления, но папа с ним позанимался индивидуально, и Иванов стал получать твердые тройки.

И все же Тошка завидовал папиным ученикам. Им легче. Вот, например, Тошка любит рисовать, но палу это не радует. Сын математика, говорит папа, обязан знать математику. И хотя в Тошкином классе все решают задачи с цифрами, папа заставляет Тошку решать эти задачи с буквами.

Бывает, Тошка не выдержит, всплкнет, но папа подождет некоторое время, а затем сдержанно скажет:

— Мужчине нужно готовить себя к главному.

— Но математика, — возразит мама, — не единственное занятие для современного человека. Я библиотекарь, и дело свое тоже считаю серьезным.

Ирония — папино оружие.

— Считай, считай, — весело скажет папа. — Только ответь: если рисование — серьезное дело для Тошки, что он изобразил здесь? — И папа протянет рисунки. — Крокодила с собачьим хвостом? Зебру на коротких ногах?

Мама, конечно, защитник худой. Да и не умеет она спорить с папой. Повертит Тошкины листочки в руках, скажет с сожалением:

— Ну, это, предположим, у него не вышло, но другое-то получается.

— Возможно, — вроде бы согласится с ней папа, — только я другого не видел.

В первые дни после переезда на дачу папа говорит только про экзамены. На выпускном десятиклассники благодарили его больше других. По крайней мере все высказывались одинаково: математика при поступлении в институт им не страшна.

— Последний день окупает все предыдущие, — уверяет папа. — И я как учитель имею право помнить только про последний день.

Раз папа говорит — значит, так и есть. Папа вообще не ошибается, разве что с Чунькой. Чунька добрый, ручной и послушный. И почему Чуньке нужно запрещать ходить к магазину? Там его друзья. А кто может без товарищей?..

Когда Тошка и Чунька вдвоем — с Чунькой можно делать все что угодно. И за хвост потянуть. И перенести с места на место.

Чунька спокоен. Тянешь его за хвост, а он едва повернет голову, скажет глазами — отстань. Вроде бы объяснит: это же хвост, а не метелка.

Тошка любит рисовать Чуньку. Положит кусочек сахара на диван, когда папа на пляже, постучит по обивке, даст сигнал, Чунька запрыгнет. Лежит, хрупает сахар, хвостом помахивает, благодарит Тошку за угощение.

Тошка достанет краски, разложит бумагу, проведет линию, схватит живой Чунькин контур. И — пошло-поехало!

После рисования они отправляются в лес. Тошке кажется, что именно после рисования он все в лесу лучше видит. Солнце высоко-высоко, красное, будто в огне. Вода на озере черная, страшная.

У каждого встречного Тошка спрашивает время. Опаздывать нельзя, иначе останешься голодным, — такой у папы принцип.

Несколько раз Тошка опаздывал, папа его вроде бы не замечал до самого ужина.

Папа никогда не бывает доволен тем, как мама воспитывает Тошку. Он ей об этом говорит постоянно. Папа только и делает, что перевоспитывает Тошку.

Назиданий папа не любит, он любит убеждение, поэтому по всякому поводу вступает с Тошкой в открытый спор.

Бывает, подойдет папа сзади, когда Тошка рисует, потянет к себе листок, разглядывает, покачивает головой, потом спросит будто бы невзначай:

— Что здесь, позвольте узнать, накарякано? Если дом, то отчего не соблюдены параметры? Забор равен по высоте деревьям. Река шириной с калитку. Пошли, Тоша, на улицу, поглядим своими глазами.

Тошка, конечно, на улицу выйдет, но как только рисовать начинает — история повторяется.

— Эх ты! — ругает его папа. — Одни люди на ошибках учатся, а ты одни ошибки делаешь.

Тошка молчит-молчит, а потом вдруг скажет:

— По-другому некрасиво выходит.

— Как?! — ахнет папа. — По-твоему, если забор больше дома — это красота?

Еще больше папу огорчает, что Тошка путает краски. Листья на деревьях черные, солнце красное. Папе досадна Тошкина слепота. Он глядит-глядит на странные эти ху-

дожества, потом даст зеленый карандаш, скажет решительно:

— Траву нужно рисовать зеленым. Листья — зеленым. Море — синим.

Тошка не спорит. Возьмет у папы карандаш, но тут же ему наскучит рисование, он попросит разрешения и уйдет к Чуньке.

Особенно папа отчаивается из-за Тошкиного чтения. Мама его все сказками балует. Или какими-то фантазиями, вроде «Малыша и Карлсона». Этого «Карлсона» Тошка наизусть знает. Папа отберет книгу, уведет Тошку на вечернюю прогулку, старается утомлять его дальними переходами. По крайней мере после таких прогулок Тошка отменно спит.

Но при маме — это по субботам и воскресеньям — Тошка подолгу просиживает с книжкой. А когда нужно спать, он воображает себя Карлсоном, летит с ним и с Чунькой на крышу.

Один раз папа его спросил:

— Ты чего, Тошка, булькаешь?

А Тошка:

— Пропеллер завожу.

Папа пришел в ужас.

— Хватит, — сказал папа, — женского воспитания! Сын должен вырасти мужчиной, инженером, а не конфеткой-тянучкой.

От переживаний папа уходил поговорить с соседом. С чужими детьми, жаловался ему папа, все умеешь, а со своими что-то обязательно не получается.

И хотя папа к себе такие слова не относил, но расстраивался. Особенно стало ясно, что папа прав, после того, как Тошка несколько раз во сне плакал.

Мама шла будить Тошку.

— Сон у него тревожный, — объясняла она папе.

Папа угрюмо молчал.

— Ну чего тебе снится? — спрашивала ласково мама и гладила сына по голове.

И вдруг на мамин вопрос Тошка ответил четко и членораздельно:

— Чунька разбился. Моторчик отказал.

— Успокойся, — сразу же начала утешать его мама. — Чунька в будке. Спи. Утром вы в лес пойдете.

Она посидела немного рядом с Тошкой, а когда убедилась, что он спит, вернулась к себе.

Папа лежал все это время, раздумывая над словами сына.

— Какой нервный парень! — горько вздохнул папа. — Я уверен, пора бить тревогу. А дружба с бездомной собакой добром не кончится...

— Спи, — попросила его мама. — Никакой тревоги бить не нужно. Просто у нас впечатлительный мальчик.

— Твоими бы устами да мед пить, — сказал папа.

Мама уехала на работу, а папа сходил в магазин, приготовил обед и вышел на балкон, чтобы позвать Тошку.

Сын играл на дворе с Чунькой, падал на траву, а Чунька налетал на Тошку, вставал на него передними лапами как победитель. И лаял. Тошка смеялся и пытался подняться, а Чунька тыркал мордой ему в лицо.

«Кошмар!» — сказал себе папа.

— Нет, нет, — захлебываясь от смеха, кричал Тошка, — это не по правилам! Ой, щекотно! Ну чего ты плюешься, Чунька!..

Чунька переставлял лапы и снова тянулся к Тошке.

— Подхалим! — хохотал Тошка. — Подлиза! Глупая собака! Сколько будет дважды два?

Чунька весело лаял, а Тошка продолжал хохотать, лежа на спине.

— Нет, не два, а четыре! Не знаешь, не знаешь, глупая голова!

Папа-пожал плечами, вернулся в комнату. Открыл последний Тошкин альбом, перелистал рисунки. Странно! Отобрал самые-самые, скатал в рулон, перевязал ниткой — набралось штук двадцать.

На дворе ничего не изменилось. Чунька стоял на Тошке, и теперь его грязное брюхо почти касалось лица сына.

Раздражение овладело папой, он сосчитал до десяти, как делал иногда на уроке, и очень спокойно позвал:

— Анатолий, обедать!

— Мы играем, — отозвался Тошка. Домой уходить не хотелось.

— Обедать, — строго повторил папа. — Потом едем в город!

Духота в городе стояла невообразимая. Папа ждал автобус возле дороги, а Тошка ближе к дому, и ему казалось, что камни на этой жаре дышат. Тошка приложился ладонью, потом ухом — действительно, дыхание было. Вдоха, правда, он не слышал, но выдох был продолжительный.

— Чего ты? — спросил папа.

— Да так, — схитрил Тошка.

Потом они ехали в автобусе. Тошка глядел в окно. В городе интереснее, чем на даче. Разнообразнее.

По бульвару с собакой боксером прошла девчонка. Боксер усталый, разморенный от жары, язык вывалил чуть ли не до земли, а на шее ожерелье медалей белых и желтых. А девчонка вытянулась от зазнайства, нос задрала, будто бы это она за свою красоту медали получила.

У витрины галантерейного магазина две тетки с застывшими лицами, а за их спинами — манекены: выражение глаз и прически точно такие же, как у теток, только теток еще не успели поставить за стекло. Тошка хотел показать папе, но было поздно. Проехали.

Мимо своего дома папа и Тошка прошли быстрым шагом. Почему прошли — Тошка не спросил.

Вперед возникла детская поликлиника. Папа потянул на себя дверь, пропустил Тошку, — жара схлынула, здесь было прохладно.

— Никого, — поразился папа. — Работнички!

В окошке за стеклом сидела сонная регистраторша и бесцветными глазами глядела на папу.

— Идите без номерка, — сказала она. — В сороковом кабинете.

— Благодарю вас, — вежливо сказал папа и повернулся к сыну: — Вперед, на четвертый!

Тошка мгновенно все понял, понесся по лестнице, но папа его настиг, и они, хохоча, стали пытаться обгонять друг друга — то вперед вырывался папа, то Тошка.

Поликлиническая нянечка со шваброй прижалась к перилам, сказала с осуждением:

— Ну и больные!

— Мы не больные, — объяснил Тошка. — А здоровые!

— Здоровым чего по поликлиникам шататься, гулял бы себе.

— Пришли — значит, нужно, — крикнул Тошка.

— Не груби, — остановил его папа, хотя Тошка и не собирался грубить, а просто ответил на вопросы.

Около сорокового кабинета папа передохнул, одернул рубашку, стеганул ладонью по брюкам, вроде бы смахнул пыль.

— Погоди, — попросил папа Тошку перед тем, как открыть дверь. — Займись пока чем-нибудь.

Тошке было все равно, где ждать, в коридоре еще интереснее. Он походил между огромными кадками с

пальмами и фикусами, осторожно качнул самую крупную ветку.

На столиках лежали книжечки и листочки про грипп и кишечные заболевания.

Тошка прочитал все заголовки, но дальше разбирать не стал, неинтересно.

Зато обратная сторона листиков была чистой. Тошка достал карандаш, решил порисовать. Фикусы он превратил в гигантские деревья, обвил лианами — получились джунгли. На пальмы Тошка развесил обезьян вниз головами. Некоторые раскачивались на хвостах и показывали друг другу языки и фиги.

Из кабинета выглянул папа, позвал его.

— Разговаривай, — успокоил его Тошка. — Я посижу.

— Ты нужен.

— Зачем? — Тошка сложил рисунок вчетверо, поднялся.

Доктор оказался маленький и очень добрый. Кого-то он напоминал, сразу необразишь. Голова у доктора была острее вверх. Шея толстая, шире головы, а дальше плечи, ненамного шире шеи. Тошка вдруг понял, что доктор похож на ферзя, — такая фигура есть в шахматах. И если доктора поставить на огромной доске в угол, то все сразу бы увидели и оценили их удивительное сходство.

Они поздоровались за руку, доктор тоже с интересом стал разглядывать Тошку.

— Здравствуй, — сказал доктор тонким, придушенным голосом. — Сними-ка рубашечку, сыночек...

— А я здоров, — сказал Тошка и поглядел на папу. Кто-то, но папа-то это хорошо знал.

— Все равно, Тоша, нужно показаться, — успокоил его папа.

Он сам помог Тошке раздеться — доктора не хотелось задерживать, — подтолкнул сына.

Доктор вынул блестящий молоток, повертел в руках, но к Тошке пока не приблизился.

— Как ты спишь, Толя? — спросил доктор, внимательно разглядывая Тошку.

— Хорошо, — уверенно сказал Тошка.

— Так, так, — кивнул доктор, и они с папой переглянулись. — Значит, хорошо? И не просыпаешься ночью?

— Нет.

— Не просыпаешься, — кивнул доктор и опять с улыбкой поглядел на папу.

— А сны видишь?

— Не-а, — сказал Тошка. — Никогда!

— Вот здорово! — улыбнулся доктор, а папа даже расхохотался. — Значит, все у тебя, Толя, прекрасно, все замечательно? Ты здоров, ничего тебя не беспокоит, а спишь ты пре-вос-ход-но!

Он надавил на Тошкино плечо, заставил сесть и внезапно ударил Тошку молоточком по коленке. Нога взбрыкнула.

— Ой! — вскрикнул Тошка и засмеялся.

— Видал, какой нервный, — сказал доктор, теперь ударяя по рукам. — Ужас какой нервный!

Достал иголочку из халата, стал что-то чертить на Тошкиной груди.

— Бурная реакция... — Воткнул иголочку в халат, разрешил: — Одевайся, — и стал расхаживать по кабинету, над чем-то раздумывая. Сел в кресло, уперся локтями в стол, подбородок уложил в сцепленные ладони, прикрыл глаза. — Все так, как вы говорите, — наконец сказал доктор, видимо папе.

— Вы еще это хотели поглядеть, — папа передал доктору пакет.

Тошка путался в рукавах рубахи, а когда голова и руки его пролезли в нужные дырки и он поглядел в сторону докторского стола, то неожиданно узнал собственные рисунки.

Доктор вытаскивал из рулона листки, разглаживал их, глядел на Тошкины рисунки, покачивая головой.

— Вижу, вижу, все вижу, — грустно говорил доктор и каждый раз понимающе поглядывал на папу.

— А кто это? — доктор неожиданно повернул в Тошкину сторону рисунок странного, по его мнению, существа. — Зебра?

— Чунька, — рассмеялся Тошка.

Ему было странно: как можно не узнать собаку.

— Пес? Понятно, понятно, — кивнул доктор, и лукавая улыбочка пробежала по его губам. — Отчего же он в полосу?

— Вымазался.

— Ровненько вымазался, как по линейке.

Он внезапно приблизил лицо к Тошке и спросил:

— А сколько, скажи, будет шестью девять?

— Зачем?

— Ага, не знаешь, — засмеялся доктор и погрозил Тошке пальцем.

Тошка хотел ответить, но тут заметил, что доктор и папа опять переглядываются, какие-то странные у них появились тайны. «Чего это они?» — подумал Тошка.

— Так, так, — спел доктор. — Ясенько. Иди, художник. А мы с папой кое-что обмозгуем.

Когда Тошка вышел, у кабинета уже собралась очередь: бабушка с внучкой и папа с сыном. И бабушка и чужой папа кормили своих ребят виноградом, отрывали по яголке, ждали, когда их дети откроют рты, и осторожно забрасывали им по штучке.

Тошка постоял напротив, понаблюдал, поудивлялся. Бабушка заметила его удивление, оторвала яголку и протянула Тошке.

— Не хочу, — сказал Тошка и сел дорисовывать обезьян.

Пожалуй, теперь обезьян хватало. Тошка подумал и пустил по земле Чуньку. Пес задрал морду и залаял.

Дверь распахнулась: вышли доктор и папа, как два старых приятеля.

— Ого, — удивился доктор. — Очередь! — Он протянул Тошке руку, пожал. — Утренняя зарядка, Толя, это чудесно. Обтирание — несомненно. Физкультура и физкультура. И еще, Толя, рекомендую одно лекарство, папе я все растолковал.

Он потрепал Тошку за чуб, хотел возвращаться в кабинет.

— А зачем лекарство? — спросил Тошка. — Я же здоров.

— Уж это, братец, мне виднее, здоров ты или нет.

И доктор взглянул туда, где его ждала очередь. И бабушка, и чужой папа согласно ему покивали.

— Видали! — весело сказал доктор. — Он говорит, что здоров, а я этого пока не считаю...

На следующее утро после бега трусцой папа дал Тошке половину таблетки. Тошка с полной готовностью кинул обломок в рот и побежал к крану запивать противную гадость.

— Можно, я погуляю? — спросил он, считая, что все необходимое для папы уже сделано.

Папа кивнул. Тошка помчался на улицу. Пока бежал, ноги его как-то тяжелели и тяжелели.

Тошка остановился и стал думать: хочется ему гулять или нет? Пожалуй, нет.

Повернулся, но и подниматься по лестнице стало трудно. «Сесть, что ли, посидеть...», — неожиданно для себя сказал

Тошка. Он все же дошел до дверей, постучался и устроился на ступеньку.

«Папа, наверное, не услышал», — подумал Тошка, но вставать не хотелось. Он решил ждать — в конце концов, спешить было некуда.

Дверь приоткрылась, папин голос удивленно спросил:

— Ты чего? Передумал? А я слышу, кто-то скребется, решил — собака.

Он помолчал, ожидая, когда Тошка ответит, и, не дождавись, прикрикнул:

— Не сиди на камнях, марш в комнату!

Это «марш» заставило Тошку подняться.

— Нет, нет! — сказал папа, почувствовав, что Тошка уже готов бухнуться на диван. — Иди на балкон, в кресло. Нечего днем валяться, я этого не люблю.

Он сам вынес кресло-качалку. Вернулся в комнату, взял за руку словно застывшего Тошку, усадил поудобнее. Качнул кресло.

— Сиди, наблюдай, а то все бегаешь и бегаешь.

Между грядками ходили куры. Даже не ходили, а плыли по земле. Такого странного плаванья Тошка никогда раньше не видел.

За забором сосед колот дрова. Топор медленно поднимался над головой и так же медленно спускался. Но самое чудное, что чурбан не разлетался, как обычно, а раскрывался, словно цветок, обнажая сахарную свою середину.

Чунык лежал около будки, положив голову на лапы, поглядывая в Тошкину сторону.

«Нужно бы крикнуть ему», — подумал Тошка. Но кричать было лень, а главное — для чего кричать?

Неожиданно Чунык поднялся и стал лаять в сторону дороги. Голос у Чуныка был хрипловатый, вроде бы простуженный, и негромкий.

Папа приоткрыл балкон, сказал Тошке, что должен ненадолго выйти, попросил подождать.

Кажется, с другой стороны дачи подъехала машина, Чунык лаил в ту сторону.

— Чунык, Чунык! — звал папа, похлопывая ладонью по своей штанине.

Чунык, видя обрубком хвоста, бросился к папе.

— Одонемся, Чунык, — весело говорил папа, пристегивая ошейник. — Ну вот, теперь ты красавец!

Папа разогнулся, махнул Тошке рукой.

— Куда? — крикнул Тошка. Но то ли у него не было сил, то ли исчез голос.

Он видел, как папа широким шагом направляется к дороге. А Чунька бежал рядом, виляя хвостом и подпрыгивая, чтобы схватить поводок в середине.

— Куда? — снова крикнул Тошка, но слова заглушил шум машины и какой-то странный разноголосый собачий лай.

«Наверное, Чунькины приятели пришли, — подумал безразлично Тошка. — От магазина...»

Когда папа вернулся, Тошка дремал. Папа растормошил сына, приказал подниматься. Идти никуда не хотелось — лучше бы поспать еще.

— Пошли погуляем, — наставлял папа. — Чего раскис? Держи хвост морковкой!

Они спустились во двор, папа взглядел на сына, взял его за руку.

— В лес! В лес! — бодро говорил папа.

Они пролезли через дырку в заборе, оказались в лесу. Папа был весел. Он не отпуская Тошкину руку и, пожимая ее довольно крепко, просил Тошку решить математическую задачу.

— Нет! — смеялся папа. — Сосредоточься! Это пустяковая задачка, и, клянусь, она под силу тебе.

Потом на поляне они собирали ягоды. Вернее, собирал папа, а Тошка стоял над ним и ждал. Набрал пригоршню черники, папа насыпал ягоды в сложенные Тошкины ладони, требовал сейчас же все это съесть.

— А куда вы пошли с Чунькой? — вспомнил Тошка.

— Ешь! — прикрикнул папа. — Чунька, наверное, у магазина.

На лесной чистой опушке папа снял рубашку и брюки и расстелил, чтобы им с Тошкой можно было позатегерать.

Тошка сидел на палиных штанах, а папа снова ползал вокруг, искал ему землянику. Ягод было мало, но папа не сдавался, он хотел набрать хотя бы полную горсть.

Когда папа вернулся, Тошка опять дремал. Пригревало. Ветерка не было. Папа вытянулся рядом, закинул руки за голову и, прищурившись, долго глядел на солнце.

— Надо же! — папа скосил глаза в сторону Тошки. — Ветки на солнце действительно кажутся черными. Какой любопытный оптический эффект...

Тошка не ответил.

Папа согнул ногу и шутя подтолкнул Тошку коленом.

— Эй! — весело крикнул папа. — Какого цвета листья на этой березе?

Тошка пошевелился.

— Эй! — снова толкал и смеялся папа. — Листья? Какого? Цвета? Я спрашиваю!

— Листья? — повторил вяло Тошка. — Зеленые.

Папа присел и, подумав, перебрался на Тошкину сторону. Правильно! С Тошкиной стороны листья казались обычными, как всегда.

Он успокоился, лег на спину и, заслонившись ладонью как козырьком, долго с радостью и удивлением глядел на этот совсем еще молодой и такой нежно-зеленый лес.

«Хорошо! — думал папа. — И погода отличная! И солнце удивительное! И отдых идет прекрасно! И кажется, с лечением я попал в самую точку — как непривычно спокойно ведет себя Тошка сегодня...»

НА РЫБАЛКЕ, У РЕКИ...

1

Ильин закончил обследование больницы и принес составленный акт главному врачу Яковлеву. Тот подмахнул его не читая. Ильин недовольно поморщился: зачем так?

— С начальством не спорят, — пошутил Яковлев и запер акт в письменный стол. — Прочту, будет еще время. — И неожиданно предложил: — А не съездить ли нам на рыбалку? Дела кончены, глупо сидеть вечером в Доме колхозника, развлечений же, кроме телевизора, у нас нет. А места здесь!..

— И рыба будет? — улыбнулся Ильин.

— Вообще-то рыба не в моем подчинении, — засмеялся Яковлев. — Но уха будет непременно.

В девятом часу к Дому колхозника, где Ильину выделили отдельную комнату с двумя пустыми койками, подкатил больничный «козлик».

Яковлев был в обычном своем сером костюме с галстуком — ни сапог, ни плаща, ни удочек с ним не было.

Рядом, на заднем сиденье, оказался молодой человек в роговых очках с короткой интеллигентной бородкой.

— Юрий Сергеевич, — представил Яковлев. — Заведующий акушерским.

— Я думал, вы и к нам заглянете, — мягко улыбнулся Юрий Сергеевич и пожал Ильину руку. — Нехорошо, обошли...

— За три дня всего не успеть. Вашему начальству хотелось хирургией похвастаться...

— Ревную! — повернулся к Яковлеву заведующий акушерским.

— Ничего, — утешил его главный, — не последний инспектор, будут и на вашу долю...

Посмеялись.

Ильин кивнул водителю, человеку немолодому, лет пятидесяти. Машина тронулась.

— Мы с Толей двенадцать лет ездим, — как бы представил водителя Яковлев.

— Ага, — согласился Толя. — А в больнице я уже двадцать четыре. За первые двенадцать у меня еще десять главных было.

— Вот она, беспощадная статистика! — улыбнулся Ильин. — Красноречивее любого обследования.

Город кончился. Справа от дороги возникли совхозные парники, появилась безглазая, заброшенная деревенька. «Козлик» летел вперед, но вдруг резко повернул на густое широкое поле к серой невысокой полосе кустарника, туда, где была река. Ольховые ветви хлестали по брезентовому кузову, точно метлой, изгибались, резко выстреливали за машиной. Несколько раз Ильину удавалось перехватить согнутый хлыст — в ладони оставались листья и острое чувство ожога.

Река широко открылась перед ними. Луговина тянулась влево и вправо. У самого берега в нескольких местах раскинули ветви кусты шиповника. Тут же стоял еще «Москвич» с красным крестом. Солнце уже закатилось, но на горизонте проглядывала огненная полоса.

К «козлику» подошел усатый толстяк, этакпй запорожец, лет около тридцати. За спиной Запорожца стоял худой изможденный человек. «Язвенник», — подумал Ильин.

Это оказались заведующий эпидстанцией и его заместитель.

Шоферы стояли поодаль, грызли яблоки, наблюдали за компанией.

— Признаться, пока вы их инспектировали, я жил тревожной жизнью, — говорил Запорожец. — Кто знает, пойдете к нам или нет. Для райцентра человек из министерства фактически — сам министр.

Каждая фраза теперь воспринималась как шутка. Ильин смеялся легко и освобожденно — здесь у него не было никакой официальной должности.

— Недели за три, не совру, мы все старые акты пересмотрели, — оживленно говорил Запорожец. — Полезное это дело, приезжать с ревизией. Так бы, наверное, до некоторых бумаг никогда руки не дошли.

— Меня благодарите, — требовал Яковлев. — Весь удар принял на себя.

— Ну и удар! — возразил Ильин. — Мне у вас действительно понравилось, я написал объективно.

Метрах в десяти от воды полыхал костер. Над огнем на козлах висело эмалированное ведро, около которого расхаживал здоровущий мужик в длинных трусах и в свитере, то помешивая черпаком варево, то подкидывая в костер валежник.

Правее костра лежал меховой тулуп, мехом вверх, а дальше, повторяя кочки, бугрилась простыня с черным — ляписом — больничным штемпелем. На простыне, как на скатерти, стояли яства в больничных простых тарелках: соленые огурцы, куски хлеба, ломти колбасы и сыра.

— Матвейч, завхоз, — представил мужика Яковлев.

Матвейч оставил черпак стоять в пахнущей густоте, вытер о трусы ладонь, степенно пожал Ильину руку.

— Отменная будет ушница, — похвалил Яковлев. — Стоит черпачок-половничек. Не повернуть.

Матвейч понимающе ухмыльнулся, побежал к запруде. Вытащил бутылку из воды, встряхнул, как градусник, смахнул капли, затем, кривя рот, прихватил металлический хвостик зубами и тут же отплюнул его в сторону.

Приготовления наконец закончились. Встали по стойке «смирно», посмотрели друг другу в глаза, вздохнули разом, подчеркивая неизбежность происходящего, охнули: «Хара-шо!»

Огурцы брали торопливо, на ощупь, смахнув рукавом слезу.

Костер догорел, от углей шел равномерный, приятный жар.

Комары попискивали, но не кусались. В сером, теперь уже погасшем небе столбом вилась мошка.

Матвейч побежал к воде, Запорожец тоже торопливо стягивал брюки.

Ильин не хотел купаться, но на него зашикали.

— Обижает, начальник! — стыдил Запорожец, показывая на худого и изможденного своего заместителя, ребра

у которого, казалось, вылезали из грудной клетки, а тонкие, как две струганные палочки, ноги взывали к состраданию. — Большой, а храбрый.

Заместитель ждал компанию и, чтобы не замерзнуть, подсакивал, точно мячик.

Шофер Толя сидел у костра, помешивая угли. Второй водитель дохлебал уху, побрел к «Москвичу». По его расслабленной походке было ясно: идет вздремнуть.

Ильин медлил.

Яковлев добежал до кромки реки, опустил пальцы в воду, задрыгал ногой.

— Давайте, давайте! — звал Яковлев. — Не отделяйтесь! Пришлось подчиниться.

— Ах, дорогой мой, — говорил главный врач, пока они, прощупывая ногами дно, заходили в речку. — Конечно, не ведаешь, кто идет, но если доброжелательно, не со злом, то хочется доставить удовольствие. А потом и традицию надо уважать: сделал дело — гуляй смело.

Вечерняя вода была очень холодной. Хотелось нырнуть, но глубина нарастала медленно, Яковлев все шел и шел, не давая сигнала. Наконец он всплеснул руками, изогнулся и с веселым всхлипом протаранил воду.

— Фрр! — неслось с середины реки. — А мы и действительно кое-что сделали. Акушерское перестроили, кровати раздобыли, теперь рожай — не хочу.

— Почему не хотите? Мало рожают?

Ильин догнал его саженками.

— С избытком. Рядом артиллерийский полк стоит.

Они плыли наперегонки. На другом берегу начиналась отвесная крутизна. Ильин подумал, что не взобраться, повернул назад.

У костра стоял Толя, держал ближе к огню одежду Яковлева, грел.

— Тепленькая, — добродушно сказал он.

Главный схватил брюки и, прыгая на одной ноге, стал натягивать их на мокрое тело.

Теперь можно было выпить по новой, чтобы не простудиться.

Матвейч снова разносил полные тарелки. Ели с шутками, брали добавку, а кто уже не мог — выплескивал в реку.

— Прелестно! — благодарил Ильин. — Никогда бы не ушел отсюда.

Назад ехали шумные, возбужденные. Ильин думал о приятных здешних людях. Пока сидел на хирургии или в прием-

ном, никто не подошел, все были строгими, вежливыми, а передал акт — можно и ремешок отпустить.

Около Дома колхозника простились. Ильин расцеловался с Яковлевым, так же порывисто и благодарно с Юрием Сергеевичем; совсем еще молодым и таким симпатичным, помахал в сторону «Москвича», — вся эпидстанция подняла руки.

Толя пообещал быть вовремя, отвезти на вокзал. Было приятно, что так все закончилось. Ильин прилег у себя в номере на застеленную кровать. Он улыбался. И люди и вечер — все было замечательным, и, главное, никто ни о чем не просил его, даже не вспомнили, что он инспектор, а он мог бы, черт побери, кое-что для них сделать. . .

2

До города оставалось чуть больше часа. Ильин надвинул поглубже кепку, прижался к стене, но, засыпая, то и дело ударялся о косяк окна, — вагон сильно раскачивало. Вот и кончилась командировка, теперь Ильину предстоял короткий деловой разговор в облздраве с заведующим, завтра он дома.

Напротив Ильина сидела бабка с громадной корзиной, сверху повязанной марлей, — везла на базар цветы. Справа с тяжелым свистом дышал астматик.

Ильину это мешало. Он заставил себя приоткрыть глаза, поглядел на соседа. «В больницу едет, — решил он. — Думает, в городе лучше лекарства».

Астматик пристально глядел на него. Ильин надвинул козырек и снова попытался уснуть. Кого астматик напоминал ему? Ильин боялся этой своей особенности — в каждом находить знакомого.

— Простите, — явно к нему обращался астматик. — Вы откуда едете?

Ильин ответил.

По второму пути летел товарняк с открытыми платформами, на которых стояли новенькие «Жигули». Ильин пересчитал машины, сбился на двадцать второй, а когда нитка состава оборвалась и за окном возникло поле и заболоченный пруд — откинулся на сиденье.

Астматик вытащил ингалятор, покачал воздух. Что-то действительно в нем было знакомым.

— Мы где-то встречались? — возобновил разговор астматик, разглядывая Ильина. — Вы не врач?

Ильин пожал плечами. Бедняга, видно, так натаскался по поликлиникам, что ему чудятся только такие встречи.

— Врач.

Он снова уставился в окно. По шоссе мчался шустрый автобусик, пытался не отстать от них.

— Я к людям на дорогах не пристаю, — виновато сказал астматик, — но вы кого-то мне напоминаете...

Он сделал нелепый жест: дернул себя за кончик носа, лицо его исказилось, и Ильин вдруг сказал:

— Чухин?!

Он произнес фамилию неуверенно, чуть ли не шепотом, но астматик поднялся и тут же сел.

— Да... — бормотал он. — Чухин... А ты? Вы...

Он уже понял, что с ним едет кто-то из однокурсников. Вот уже почти четверть века, как они разбрелись по свету. Кто же это мог быть?

Неожиданность вылечила его лучше лекарства.

Ильин хотел было признаться, но Чухин, Мишка Чухин, жестом остановил его — это было предупреждение не спешить, просьба дать вспомнить.

— Давай, давай, — смеялся Ильин. — Тридцать вторая группа...

И вдруг Чухин навалился на Ильина, сжал в объятиях:

— Володька! Ильин!

Бабка с цветами отодвинулась — Чухин едва не поломал ей всю красоту.

— Господи! — кричал Чухин. — Здесь? Да как же?!

Они глядели друг на друга счастливыми глазами. Вот радость! Будет что рассказать дома. Приехал на Север и в пригородном поезде встретил... Чухина, Мишку.

Ильин представлял, сколько будет вопросов. Ребята-однокурсники часто заходят к нему в министерство, среди них есть и профессора, и главные врачи, и заведующие горздравами. Раз десять в год Ильин кого-то видит, каждому будет занятно услышать о Мишке.

Изменился Чухин здорово. Полысел, усы обвислые, но глаза вроде бы те же.

— Ха-ха-ха! — покатывался выздоровевший Мишка. — А ты жирнячок! Какую мозоль отрастил! Уж не рожать ли собрался? Кило на сто потянешь! Тебе трусдой бегать, у вас в Москве условий поди нет. Давай переезжай к нам. Я тебя на шоссе выведу, и чеши сто километров, ни одна собака не встретится. Похудеешь.

Ильин тоже хотел поиздеваться над худобой Чухина, но воздержался — астма кое-что объясняла.

— Ну?! — кричал Чухин, нетерпеливо толкая Ильина в плечо. — Говори! Кто есть? Куда ездил? Какие-такие здесь родственники? Я всем родственникам расскажу, какой ты гад невообразимый.

Он опять хохотал, радостно поглядывая на приятеля.

— Да мне и рассказывать нечего, — сказал Ильин с осторожностью, понимая, каким грубым хвастовством может прозвучать «министерство». — Статистикой занимаюсь.

— А может, Володя, ты больше всех прав. Именно статистикой. Подальше от людей. Цифры, цифры, а что за ними стоит — никто не доберется.

Видно, работа Ильина не очень-то заинтересовала Чухина, и он сразу спросил:

— На двадцатилетии был?

— Конечно.

— А я не добрался. Не пустили. График такой сделали, что ни туда ни сюда. Чуть не уволился. — Он сразу же погрузился. — Как рвотный порошок, у меня начальство. Идти к ним с просьбой — хуже ножа. Я как подумал, что они только и ждут от меня просьбы, — рука не поднялась писать. Отказано и...

Ильин кивнул, хотя ничего не понял. Какой-то конфликт был у Чухина. Он только спросил:

— Воюешь?

— Ну их! — Чухин безнадежно махнул рукой. — У меня от одного воспоминания приступ может начаться. Какой смысл тебе, дачнику, рассказывать? Разве поймешь. У тебя на роже написано — ты с руководством дружишь. Давай про личную жизнь. Женат, дети? — Он и паузы-то не сделал, спросил: — Кто у тебя здесь? Теща? Я в нашем городе каждую собаку знаю. — И засмеялся первый.

— Дочка у меня на пятом, скоро начнет врачевать.

Ильин мысленно похвалил себя, что опять увернулся от прямого ответа, — врать не хотелось.

— Драть твою дочь нужно было, — возмутился Чухин. — Я своих в медицину не пушу!

— Сколько их?

— Трое. От второй жены один и от третьей двое.

— А говоришь, мало успел! Да если тебя не остановить, ты рекордсменом на курсе можешь стать.

Чухин хохотнул:

— С этим делом мне долго не везло. Вспомнить страшно. Когда распределение началось, вы все по больницам рванули, а я пошел, как говорят, на судовую роль. Порт приписки — Одесса. Приехал по назначению, пошел, как положено,

осматриваться в клуб моряков. По молодости нравилась мне моя романтическая должность. Даже вразвалочку ходил, чувствовал себя таким волком, хотя в море еще не был. А в клубе! Приманка одна. Этакие жужелицы вертятся, ждут, когда их кто-то проглотит. Зеленый я был. Разнул варежку — она и влетела. Миленькая такая, пухленькая, сексуальненькая. Мяукала обворожительно, честное слово.

Он и действительно мяукнул. Все, кто сидел в вагоне, подняли головы.

Ильин окончательно проснулся и теперь глядел на Мишку весело, даже не понимая, как мог так долго не узнавать его.

— Поженились дня через три — некогда ждать было. Открыл на нее сберкнижку и пошел по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. То в Калининград приходим, то во Владивосток, то в Ленинград. Ко всем морякам едут жены, ко мне — телеграмма: «Люблю, целую». Двух лет не прошло, а я ей кооперативную квартиру заработал, одел, обул. Пришли как-то в порт, встали на ремонт, я и отправился в Одессу. Вхожу домой, а в моих тапочках расхаживает пограничник, защитник моей территориальной неприкосновенности.

Бабка отставила корзину с цветами, вытянула шею, стала внимательно слушать.

Чухин взглянул на нее зло. Бабка прикрыла глаза, замаскировалась.

— И представляешь, этот хмырь стал убеждать, что он мой родственник. Паспорт вынул! — Чухин вздохнул. — Думаешь, разошлись? Отнюдь! Моряку хочется верить в лучшее. Море — морем, а огонек на берегу должен быть.

Он задумался, вспоминая, точно рассказывал Ильину не свою историю.

— ...Привез ее в Калининград, где чинились. Поселил на корабле. Ах, как она умела людям лапшу на уши вешать! Чиф был от нее без ума, да и вся команда. И про искусство, и про музыку, и про кино. Уезжала — завидовали: такого, говорят, ни у кого не было, счастливый я человек. — Чухин махнул рукой. — Длинная история. На восемь лет. Родственники повторялись. Одному я все же рыло намылил, хотя по сути дела это мыло нужно было бы ей оставить. Слово за слово — решили расстаться. И представляешь, ничего своего у меня при разводе не оказалось. Плавал-плавал, а гол как сокол. — Он тут же сказал: — Нет, не жалею. Я к шмуткам без интереса. Если хочешь, я даже обрадовался, что у меня

ничего нет, один портфель. Рванул на Север, от мамы в деревне оставался небольшой заколоченный стылый дом. Мчался, Володька, я сюда! Ужас как мне хотелось, чтобы трава пахла, чтобы грибы осенью. Вода, что ни говори, — одна сырость.

— Да, здесь хорошо.

— Чудо! А река! Правда, грязнят ее сволочи, браконьерствуют. Пикники всякие, а надерутся водки, выльют в воду канистру бензина и подожгут, нравится, что вода тоже горит. Я бы таких стрелял без суда и следствия.

— Что ты! — ахнул Ильин. — Я такого даже не слышал.

— Многого ты не слышал, — сказал Чухин. — Я бы мог тебе рассказать. Времени у нас мало. Скоро приедем.

— Ты уж про себя доскажи, — попросил Ильин. История с браконьерами его как-то вспугнула, хотя у них на рыбалке, слава тебе господи, ничего подобного не было. — Ну а вторая жена?

Чухин улыбнулся.

— Хуже первой. Первая хоть про кино могла, любопытная была к окружающему. Это любопытство, между прочим, ее и сгубило. Вторая... — Он вздохнул, не зная, говорить ли. — ...Приехал я в район, в нашу участковую больницу, работаю. Бывало, и детишки идут, и женщины по своим делам, и зубы кому, — бог, а не доктор. Чего еще? Жениться больше не думал, на кой черт. И вдруг — бац! Приезжает после училища заведующая клубом. Маленькая, невзраченькая — полная противоположность первой, это меня и подкупило. Родители — местные учителя, люди вроде бы уважаемые. Ну, думаю, попал в десятку.

Поезд загрохотал по мосту, и тут же пронесся встречный. Чухин что-то крикнул, но Ильин не расслышал. Пришлось переждать.

— Конфликты сразу пошли, — сказал Чухин. — Сам знаешь, врач в деревне — фигура! Бабки, как их ни переучивай, а яиц да сала притащат. Стал я их гнать с этим добром в три шеи, иначе нельзя, к ним же и попадешь на язык. Предыдущий брал, а меня эти кринки да лукошки обижали. Флотский во мне дух все-таки жил. Как-то я двух старушек так пугнул, что они словно на крыльях летели.

Он сделал волнистый жест рукой, очень выразительно показал, как летели от него старушки.

Посмеялись.

— Моей это бескорыстие не понравилось: все берут, а ее муж — не хочет. Вкалывал я тогда жутко, приносил чуть не три сотни, деревня — не город, но ей мало было. Тормошит,

требует. Куда? Зачем? Ушла с работы — огород выгоднее. Завела большое хозяйство, подалась на базар. Все молчком, молчком. Я ничего не знаю, а в деревне — одни разговоры. Докторша огурцами торгует, каждый день на рынке. И подруги пошли у нее — я тебе дам! Как-то попал на их совещание, обсуждалось, как выгоднее продавать: килограммами или поштучно? Постановили — штучно.

Ильин не выдержал, рассмеялся.

— Все стало меня раздражать, Володя. Подростковый велосипед на шкафу, когда сыну три года, — это про запас. Игрушки в целлофане — так и не открытые, хотя мальчишка в уголке чурочками играет, дед нарезал. — Он поднял руку, как бы опережая вопрос. — Нет, я не ушел, ребенка жаль. Только стал я постоянно думать, как сохраниться. Куркулем бы не сделаться. Жлобом. Ночами не спал. Решил — выход нужно искать в профессии. Учиться. Участковый врач — не специалист же. Обложился я книгами, стал читать, конспектировать, думать пытался. И ужас! Не могу. Не воспринимаю. Эге, раскидываю, дальше хуже будет. Погибну как личность. Послал втихаря письмо в облздрав, попросился на учебу по акушерству, жене ни гугу. Как я занимался, Володька! Спал по два часа в сутки. Вы, столичные, моего голода не поймете. В район уже не вернулся, попросился в межрайонную больницу, тридцать километров от дома. Хотел своих в город перевезти. Думаю, оторву от огорода — начнем все сначала. Не поехала. Огород доходнее. Да я ей стал как-то не очень нужен. На сына плохо влияю. Воспитываю отвращение к дому, к ее натуральному хозяйству. Кричали друг на друга частенько — срывался, не скрою. А потом она из тех баб, которым кроме хозяйства ничего не требуется.

Поезд остановился. Чухин приспустил окно, высунул голову. Прямо у станции раскинулся большой базар. Торговали ягодами, яблоками, малосольными и свежими огурцами.

Станция была дачная, между рядами расхаживали хорошо одетые городские.

Чухин вертел головой, кого-то высматривал, одновременно шарил рукой по своим карманам. И вдруг отступил, помчался к выходу — в его руке была зажата смятая пятидесятирублевка.

— Евдокия! — донеслось с платформы.

Ильин выглянул. Маленькая смуглая женщина с сосредоточенным лицом бежала к Чухину. Не кивнув ему, не сказав ни слова, она почти выхватила деньги и побежала назад. Он что-то кричал ей, вроде бы спрашивал.

Состав качнуло. Чухин ухватился рукой за поручень, встал на подножку.

Женщина уже была за прилавком, на своем месте, — смотрела строго вперед, плотно сложив губы.

Ильин ждал, что она повернется, поглядит в сторону поезда. Не повернулась.

Чухин пришел не сразу, стоял в тамбуре.

Сел молча.

— Благоверная, — сообщил он. — Я знал, что она здесь будет. Время для нее самое-самое. В платке, маленькая такая, видел? С десятилитровым бидоном. Подкидышу им помню исполнительного. Не нуждаются. Но, если честно, боюсь, как бы парня против меня не восстановила.

Ильин прикрыл окно — увидел, как Чухина обдаёт ветром.

— Ну а третья?

Хотелось отвлечь его от нелегких мыслей.

— Третья? Замечательный человек. Она, между прочим, не меньше меня настрадалась, повидала черт те что. Я у нее тоже третий. Шутим частенько: ничья. Сыграли поровну.

Он оттаивал, оживал, начал улыбаться.

— А у нее что?

— О первом и говорить противно. Поденок. Второй — пьяница. Пропил все. Впрочем, какое у фельдшера богатство? Я, как и с первой женой, рад был, что с нуля начинаем. Вроде бы нет прошлого. А сейчас стоит вспомнить про то прошлое — кошмарный сон! — Он вздохнул. — Хорошо все у нас с Анной, славно! С полуслова понимаем друг друга. — Он подался вперед, ткнул Ильина в плечо. — Да что такое, Володька! Все я да я рассказываю, порабываю. . .

— Ты хоть финалом порадовал, — Ильин опять пропустил слова Чухина.

— На Анну жаловаться грех, — кивнул Мишка. — Человек! Друг! Я-то не сахар, сам понимаешь. А тут еще заболел. Лежал с воспалением легких, а работать некому. Вот я и поперся с больничным листом. Анна-то акушерка. Позвонила домой и тревожно так говорит, что у нее не может одна родиться. Я расспросил, что и как. Оказалось, старушенция, сорок один год, первый раз взялась за эту работу. Силы не те, сам понимаешь, забуксовала. Ни туда ни сюда. Ах, как мы полотели! Я вроде бы сам рожал. И представляешь, вытаскивали живехонького, здоровенного, смотреть любо. На радо-

стях я как-то расслабился. В ординаторской похлебал холодной воды и завалился со своей пневмонией на кожаный диван. А проснулся инвалидом. Анька, как увидела, что я дышу словно паровоз, разревелась. Недоглядела, говорит, я тебя, Миша.

— В Москву тебе нужно, — буркнул Ильин. — Устроим в клинику, полечишься.

— Ты начальник, что ли?

Ильин пожал плечами.

— Наших полно, только скажи: Мишка едет...

— Что верно, то верно, ребята помогут. — Он вынул блокнот, записал адрес и телефон Ильина. — Предупрежу, конечно. Напишу или позвоню.

— Это обязательно. Какое-то время потребуется. А после выписки можешь пожить в Москве, с ребятами встретиться.

— Хочется повидать — не представляешь. — Он поглядел на Ильина с нежностью. — Жаль, не знал, что ты в городе. Анна была бы рада. На рыбалку бы съездили. На реке живет один старичок с лодкой. Взяли бы четвертиночку, помидорчиков, полбуханочки черного — больше ничего и не нужно. На рыбалке мне легче — представляешь, свободно дышу, будто бы и не болел. А в Москву, Володька, я бы действительно съездил.

Поезд загрохотал по новому мосту; стук колес напоминал отсчет времени, этаким метрономом, — тух-та-та, тух-та-та! — вода в реке сверкала на утреннем солнце. Ильин щурился, пока поезд внезапно не вошел в тоннель, — все померкло.

— Не собирался я тебя против статистики восстанавливать, — в темноте сказал Чухин, так и не дождавшись от Ильина вопроса. — Получится, что ты половину жизни ухлопал на пустое...

Бабка отодвинулась, разговор перестал ее интересовать. Достала пяточок на автобус, зашпилила кармаң — до базара, вероятно, была прямая дорога.

Промелькнул полустанок. Чухин прочитал название, пожалел:

— Даже не заметил, как подъехали. Ну ничего, попробую уложиться. Давно душу не полоскал.

Лицо Чухина на секунду окаменело — нечто непрощающее, жесткое появилось в глазах.

Ильин торопливо думал: о чем это Чухин? Тревога возникла — казалось, сейчас произойдет неожиданное и стыдное.

— А сколько сволочей в медицине — ты знаешь?

— Этого мы не учитываем, — отшутился Ильин.

Чухин не обратил на его слова никакого внимания.

— Я до недавнего времени заведовал акушерским. Оперую все, без хвастовства. Из области не вызываю. И вот прихожу на дежурство, а предыдущая бригада спокойноенько размызывается, собирается уходить. Спрашиваю, что было ночью. Рассказывают: одна мамаша рождает вторые сутки, никак разродиться не может — слабость родовой деятельности. Я, конечно, спросил, почему не пошли на кесарево. Что-то они промямлили, а когда я один остался — понял: не пошли на кесарево, потому что лень было, дежурство кончалось, вот они и оставили маманю следующей бригаде: там Чухин, пусть попотеет.

Он уставился на Ильина, спрашивая глазами, понимает ли, о чем речь?

Ильин нахмурился.

— Поглядел на роженницу и ахнул. Какое там кесарево, — опоздали! Нужно мать спасать, а не ребенка. Ребенком придется жертвовать, тем более он у мамыши четвертый. Если же при сложившейся ситуации идти на щипцы или на вакуум, то это значит только усилить у младенца родовую травму, нельзя даже надеяться, что дитё вырастет полноценным.

Ильин опустил глаза — врачебная память подсказывала, что Чухин говорит дело.

— Звоню главному: так, мол, и так. Выбора нет. Как на войне, разрешите жертвовать меньшим? «Не разрешаю, говорит. Ни в коем случае! Вы мне статистику испортите! А к нам едет ревизор!» — Чухин то ли всхлипнул, то ли засмеялся. — Так и сказал, как у Гоголя: «К нам едет ревизор». Только прибавил: из министерства. «Но кому нужен такой младенец? — спрашиваю. — Ни матери. Ни ему самому. Ни государству. Да и что будет, если мы мать потеряем: у нее дома мал мала меньше...» Он сразу же: «Очень ты стал, Чухин, государственным. Широко, говорит, мыслишь. Сказано — спасай всех, а какой будет ребенок — не наше дело. Это, говорит, потсм станет видно, через много лет».

Ильин расстегнул ворот, что-то начало душить его.

— Вот, — заметил Чухин. — Дальше будет страшнее. Я, конечно, ему заявляю, что подлые приказы выполнять отказываюсь. «Хорошо, говорит. Вас, Чухин, я отстраняю от дежурства и от заведования. К вам доверия больше нет. Пришло Юрия Сергеевича. Отделение сдайте ему».

— Сдал? — Ильин не выдержал.

Чухин кивнул:

— У этого, простите за выражение, Юрия Сергеевича руки-крюки. Я еще подумал: ну что он такими руками наоперирует? Загубит двоих. А потом зло меня взяло: пускай. Дождался этого козла в очках — поглядел бы ты на него! — да и пошел домой.

Он передохнул.

— Обида была жуткая. Хотел выпить, а что-то мешает к водке подойти, понюхать не могу, воротит. Вдруг, думаю, не справятся. И действительно: часа через два опять звонит моя Анна, — мы вместе с ней на дежурство ходим, привыкли, друг без друга никак. Звонит, значит, Анна и плачет. Гибнет, плачет она, бабонька, не может этот хмырь ничего сделать, спасай, Миша. Выскочил я на улицу, схватил грузовик, — вези, говорю, товарищ, я доктор, женщина гибнет. Даже не заметил, что бензовоз это. Но парень попался что нужно. Повернул драндулет и покатил в больницу. — Чухин улыбнулся. — Не то что я ее спас, а как-то успел смерть отвести. Она и сейчас тяжелая. Боюсь говорить о прогнозе, сглазить. Но ты бы посмотрел на мужа! С утра до вечера стоит под окнами с ребятами, ждет, что она выглянет. . .

Отвернулся в сторону, провел платком по лицу.

— Два дня я не выходил из родилки, боялся, Володька, ее оставить. Другие пришли на дежурство, я покомарю в ординаторской и опять к ней. Виноват все же. Психанул с этими. . . — Вздохнул. — Вчера чуточку легче стало. Попросила пить. Сказала про детей что-то. Пришел я домой, а душа не успокаивается, места не нахожу. И вдруг звонят: у Юрия Сергеевича какое-то важное дело, куда-то он должен поехать, просит выйти на ночь. Я виду не показал, что обрадовался. Прислали машину — все чин чинарем, а утром он меня заменил пораньше.

«Ах ты, история! — с ужасом думал Ильин. — Что же делать?!»

Начались новостройки. Поезд шел в черте города. Железнодорожных путей становилось больше; рельсы переплетались и перекручивались, а из окна казалось, что в этой несусветной пуганице никогда не разобраться.

Потом внезапно пошли одноэтажные домики, целая улица старинного губернского городка, церквушка, крытая новым цинком, и опять высокие дома, правильные, холодные и одинокие.

Он все же преодолел собственное оцепенение, спросил:

— Ты жаловаться едешь?

— На себя, что ли? — сказал Чухин. — Виноват не меньше. А на них жаловаться бесполезно. Да и противны мне эти кляузы. С детства не выношу.

— Сам же говорил, что в Москву надо бы... — нерешительно напомнил Ильин.

— Это я так. Для затравки. Да и куда в Москву? Далеко...

В голове было пусто.

— Может, поговорить мне? Кое-кого в области я знаю... Да и оставлять это нельзя. Тебя отстранили незаконно.

— Вот уж о чем говорить противно, так о заведовании. Нет, — Чухин покачал головой, — не нужно. Не жми, Володя, на свои пружины.

Поднялся, точно был совершенно здоровым, взял портфель.

— Выложился перед тобой — и славно. А заботы с кроватями, с ремонтом, с простынями — не для меня. Я, Володя, врач. Хирург. И этого они отобрать у меня не могут. Даже я больше скажу: им без меня никак. Ты только не улыбайся: хвастается, мол, Чухин. А я здесь — бог, так как могу делать руками то, чего никто из них не может. — Он взглянул на часы, вздохнул. — Рановато для меня. Магазин с одиннадцати, поболтаться придется. — Объяснил: — Завтра у ребят рождение. По пять лет. Заказали велосипед на дутых шинах, кому-то в соседнем дворе привезли. У нас нет, а здесь вроде бы свободно.

— Близнецы, что ли?

— Двойня.

— Счастливчик.

— Они у Анны от второго брака, но я их своими считаю. Да и они меня — отцом. Забавно, но оба на меня похожи.

Вагон остановился против станции. Вместе вышли на площадку.

Справа виднелась стоянка такси, слева покачивался на ветру флажок автобусной остановки.

— Ну, — сказал Чухин. — Давай прощаться.

Он поставил на землю портфель, обнял приятеля и крепко его поцеловал.

Неловкость, а может, вина перед Чухинным так и не проходила.

— Приезжай в Москву, — снова напомнил Ильин.

— Как получится, — сказал Чухин. — Дел невпроворот. А потом — как их оставишь? Рожают и рожают. Тут у нас целый гарнизон, без меня теткам никак...

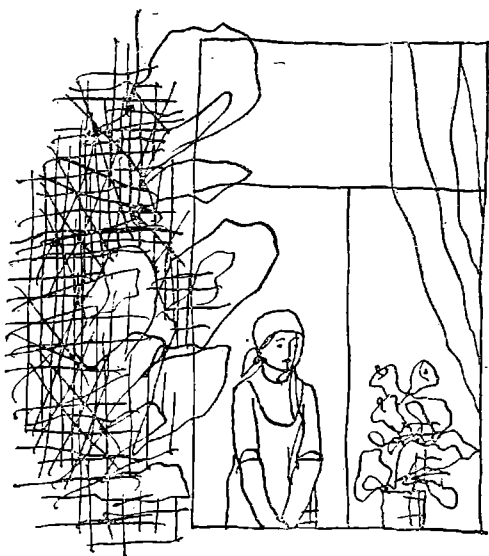
Он снова пожал Ильину руку, поднял портфель и пошел к автобусной остановке.

Ильин огляделся. Правее стояла «Волга», а рядом инспектор и заведующий облздравом, — его встречали.

Ильин снова взглянул вслед Чухину. Посадка в автобус началась. Знакомая бабка, прижав корзину, с бою брала дверь.

Чухин остановился поодаль.

Он стоял расслабленный, склонив голову и отставив ногу, терпеливо ждал, когда все эти энергичные люди займут сидячие места.



Глава первая

ДУСЯ

Доктор Валентина Георгиевна сидела чуть наклонившись над чашкой и, выпячивая губы, маленькими глотками отпивала горячий чай. Лицо у Валентины Георгиевны было утомленное, а большие карие глаза, будто обведенные темными тенями, казалось, смотрели в себя.

Дуся сидела рядом с Валентиной Георгиевной, поглядывала на отложенные рецепты. Наконец она потянулась за ними и, отодвинув на вытянутую руку, словно бы попыталась прочесть мудреные буквы.

— Одно, значит, от сахара? — переспросила она. — Другое для памяти? — И кивнула. — С памятью у него худо.

Доктор держала чашку в ладонях, будто бы грелась.

— Да я вам, Евдокия Леонтьевна, все повторю.

Забрала рецепт и, взглянув бегло, вернула:

— Это, пожалуй, не торопитесь брать, у Сергея Сергееча еще на месяц хватит. Следите, когда к концу пойдет. А вот за вторым сразу идите, пока в аптеке есть.

Дуся ненужный рецепт спрятала под салфетку, а нужный поставила на комод, как картинку.

В блюдечке не оставалось брусничного, Дуся спохватилась, стала подкладывать.

— Вкусное? — спрашивала она с гордостью. — Я по брусничному большой мастак. На что Клава, подруга моя, капризная, а и та нет-нет да попросит брусничного.

Положила себе из банки, прихватила ложечкой, одобрила:

— Язык проглотишь!

Улыбка прошла по губам докторши.

— А вы что-то грустная сегодня, Валентина Георгиевна.

— Устала, — призналась она. И, видно не желая объясняться, сказала: — У вас не только варенье, но и чай особенный. Как вы завариваете?

— Хитрость маленькая, — засмеялась Дуся. — Побольше кладу.

В соседней комнате покашливал Сергей Сергееч. Женщины повернулись к дверям.

— С ним, как с ребенком, — сказала Дуся. — Все прислушиваюсь да отмечаю: это лекарство дала, то принял. Не углядишь — и пропустит.

— С ребятами тяжелее, — не согласилась Валентина Георгиевна. — Маленькая у меня беспокойная. Не помню, когда и высыпалась.

— А муж — что? Не помощник?

— Студент он. Жалеть приходится.

— Все равно помогать должен, — подумав, сказала Дуся.

— Было время, он мне учиться давал, а сам грузчиком работал. — Докторша явно не хотела обижать мужа. — Теперь мой черед, у нас двое; старшая уже в школу собирается... Надо бы, конечно, не спешить со вторым, да осечка вышла, решили оставить, судьбу не испытывать...

Докторша отодвинула чашку — мол, хватит, согрелась. Поглядела на часы.

— Сегодня больных поменьше, да и за дом спокойнее, наша пенсионерка с девочкой сидеть...

Сложила халат аккуратно, спрятала в сумочку, сверху поставила истории болезни.

— Недельки через две мы Сергею Сергеечу снова анализы сделаем, кровь посмотрим. Старайтесь, чтобы на юбилей он не ел сладкого, это ему ни к чему. И главное, Евдокия Леонтьевна, чуть хуже — меня вызывайте, я к вам всегда с охотой. Бабушку мою вы мне напоминаете...

Подняла сумку и вдруг спросила:

— А может, я у вас истории закончу? В поликлинике времени вдвое больше уйдет...

— Пишите, пишите, — обрадовалась Дуся. — Мешать не стану.

Она пошла на кухню, положила апельсинов в вазу, поставила на стол. Пока ходила, все думала: с докторшей ей повезло — душевная, неторопливая, внимательная. И поговорит, и ободрит. Про других чего не слушаешься. Клавдия рассказывала: вызывала раз свою — больше не станет. Рук не помыла, пальто бросила на диван, наследила по комнате, а надымилась так, что хоть трубу ставь. В следующий раз поразмыслишь — не лучше ли с соседкой советоваться, чем такую звать.

Докторша писала быстро, не брала апельсины.

— Утошайтесь, — Дуся устроивалась с шитьем. — Купила столько от жадности. Если приедут не только дети, а все знакомые, и то не съест. А сама я хоть бы и не видела их...

— Разве дети в разъезде? — спросила докторша.

— Как разбрелись — теперь уж и сказать трудно, — подтвердила Дуся. — Никто из дому не гнал, а раскидало, как мячики. Сын не знал, куда себя деть, метался после смерти жены. Ребенка взяли ее родители, старики помладше меня. С отцом надо бы, так у него работа — не специальность, постановки ставит в театре. Девочке у стариков неплохо, но без отца и без матери все равно сирота...

Она опять замолчала. Стало слышно, как поскрипывает докторское перо.

Дуся вдела нитку, перекусила конец, узелок свернула и снова принялась за дело. Разговаривать вроде было неловко. Дуся морщилась, о чем-то раздумывая, водила иглой, пришивала для прачечной номерки.

— А что тяжелее, малые или старые, — теперь уже сказать не скажу. Легкого времени для себя не помню...

Докторша поменяла карточку, дело у нее шло быстро, и, то ли из вежливости, то ли задела ее слова, спросила:

— Вы с какого времени в городе?

— Я-то? С тридцать восьмого. Прикатили с Клавой из Калининской области, Воськосский район, может, слышали? Счастья решили пытаться. Куда было идти? В домработницы. Клава шустрее, она к гомеопату устроилась в богатющий дом, а я — к директору школы. Жили они в двухкомнатной, не худо по тогдашним-то временам. Поначалу я хозяйна очень боялась: в шляпе ходил и при галстуке.

Докторша улыбнулась, дала знак, что слушает, а писанине рассказ не мешает.

— ...Устроили меня уважительно. Спала, правда, в ванной, всё равно горячей воды не было, в бане мылись. Двор-

ник Матвей настрогал полати из досок, их на ванну укладывали, спать можно. Платили по сто рублей, но тогда это были деньги. Дел никаких. Уйдут на работу, приберу, сготовлю и маюсь, не знаю, куда себя деть. Зачем, думаю, им работница, не лишка ведь денег? Клава моя сразу причину унюхала: «Неужели, говорит, Дуся, не видишь — у хозяйки живот на носу». А пока я прикидывала, уходит или нет, хозяйка принесла двойню.

Докторша поглядела на Дусю с удивлением, отложила ручку, но вопроса не задала.

— Что началось! То бежи в консультацию — молока нет, то купай, то стирай, и не потому что люди худые, а каждый напляшется, когда двое кричат. Но главное оказалось: хозяйка — больной человек. Рожать ей заказывали. Не послушалась. Ребенка хотелось иметь. Оставлю, говорит. И оставила на несчастье.

— Так вы не родная детям?

— Как не родная, если они своей матери не видели. Родная. Но не кровная. Мать умерла в тридцать девятом, царствие ей небесное, из больниц так и не вышла. Клава к тому времени уже на фабрику перешла, знатной стахановкой стала. Приходит как-то вечером, видит: я в корыте с локтями. И заявляет: «Ты, Дуся, всю жизнь, что ли, решила оставаться в домашних работницах, когда страна в стройках будет?» Подплакала я — кому тогда на фабрику не хотелось? — но ведь и сироток жалко. А Клава и тут без всякого сомнения: «Пускай, говорит, твой директор думает, он грамотный, тем более что на фабрике поговаривают — скоро война».

В сорок первом двадцать второго июня собрались мы на дачу в Мельничный. Сергей Сергеич от роно комнату, веранду и коридор получил. А около Ржевки машины по дороге — фырк! фырк! Доехали до места и... назад.

В ту неделю Клава мне последнее предупреждение сделала: «Страна, говорит, кровь проливает, все теперь для фронта, все для победы». Я тогда спрашиваю: «Как же детишкам жить? Они же без матери. Есть совесть у человека?»

Только Клаву спровадила — хозяин является. «Понимаешь, говорит, Дуся, — а сам в сторону смотрит. — Подал я заявление на фронт. Но возьмут меня только в том случае, если у детей будет мать. Конечно, ты можешь и лучше человека выбрать, но пока у тебя вроде никого нет, давай поженимся. Деньги тебе пойдут по командирскому аттестату, и положение твое станет законное, прочное». Я его спросила:

«А после войны что же?» — «Война долго не продлится. А когда кончится, дам я тебе полную свободу, сама решишь».

Докторша отодвинула историю, забыла, из-за чего и осталась у Дуси.

— Утром побежала я к Клавье, рассказываю, та схватилась за голову: «Дура, говорит, ненормальная! Он же ребят пристраивает, не соглашайся!»

Вернулась я в полном желании отказать, а Сергей Сергееч меня в хорошем костюме ждет, детей придел. Поглядела я на них, чувствую — не могу отказать, ребят жалко. И поехала регистрироваться. А еще через несколько дней направились мы в разные стороны: Сергей Сергееч на фронт, я — с детским садиком в Среднюю Азию, в город Самарканд, взяла меня с собой подруга семьи Серафима Борисовна, устроила поварихой. Работала я одна за всех, от плиты не отходила по восемнадцать часов, а случится секунда — бегу к детям. Бывало, Серафима Борисовна предложит: «Сходила бы, Дуся, в кино, я тебя сегодня отпустить в состоянии». Головой мотну: «Не до кина, Серафима Борисовна, после войны находимся».

Аттестат Сергей Сергееча хорошо приходил. И письма. А тут долго не идут что-то, стала беспокоиться. И вдруг — идет почтальонша, письмом помахивает. Пляши, Дуся, из Сибири тебе! Беру конверт, а на обратном адресе госпиталь, да не его рукой. Почтальонша теревит, спрашивает, а я молчу. Что теперь мне с ребятами делать? К нему нужно ехать, в Сибирь.

Наменяли мы с Серафимой продуктов, и поехала я в Иркутскую область. Как добралась — долго рассказывать. Оставила ребят на вокзале, посадила на вещи, из-под детей не возьмут, а сама пошла разыскивать госпиталь, чтобы бухнуться начальнику в ноги, просить взять на работу. — Дуся помолчала секунду, задумалась. — Много хороших людей мне встречалось, много... Привели в палату. Вот, говорят, ваш муж. А я гляжу на Сергей Сергееча и узнать не могу. В бинтах весь. Врач кричит: «Жена приехала, жена!» А он мычит, и только. Плакать надо бы, а я закаменела. «Ладно, говорю, не тревожьте больше. Теперь мое дело его выхаживать». Наклонилась над Сергей Сергеечем и впервые — не знаю почему — перекрестила его.

.. Месяца через три, когда устроились, отдали мне Сергей Сергееча на руки, и стало у меня не двое детей, а трое. Пришлось учить грамоте директора школы. «Стол, — показываю. — Стул». Аппетит у него был страшный, может, вы как

доктор понимает, в чем дело. Свое поест, от ребят тащит. Я его по рукам, а он расплачется — дитя дитем.

Конечно, учителем он уже работать не мог, да и занкался после контузии. В сорок седьмом вернулись мы домой, а Серафима Борисовна раньше приехала, она и взяла его завхозом. Нелегко ей с ним было. Чуть не так — раскричится, а уж на меня — не дай бог. Я как-то не вытерпела — это уже в сорок восьмом было, в конце, — и ушла к Клаве, но суток не прошло, меня как окатило горячим: с ребятами что? Прибежала домой. Галиного портфеля нет — в школе, думаю. А Юркин — под кроватью, спрятан. Значит, мальчишка был дома. Открыла комод — нет сотни, это на старые деньги, конечно. Бросилась к Сергей Сергенчу на работу. Спрашиваю — не говорил он Юре, что я не родная мать? Признался. Больше мне расспрашивать было не к чему. Примчалась в милицию. Выслушали, записали. Это хорошо, рассудили, что мальчишка деньги унес: с голоду не помрет и воровать не станет. А таких беглецов, мамаша, теперь видимо-незидимо...

За два месяца не узнать меня стало. Что ни день — опознание. Вызывали в покойнички. То один неизвестный, то другой, то несчастный случай без документов, то иная беда, поглядите, не ваш ли сын?

И идешь. И смотришь. И каждый раз думаешь: не выдержать больше, легче самой лечь.

Я тогда на заводе подсобницей работала. Прихожу однажды домой, а меня милиционер ждет. Остановилась в дверях, шага ступить не могу. «Нашелся, — объявляет, — ваш мальчик под Самаркандом, мать искал». — «Я ему мать и есть». Милиционер, наверно, не хотел обидеть, но обидел крепко: «Значит, мальчик вас матерью не считает. Это звание, гражданка, заслужить надо».

Тогда-то, милая Валентина Георгиевна, и поняла я, что человеку вся жизнь требуется, если он хочет собой настоящую мать заменить. Оступись — и все сразу забудется, зачеркнется: мать так бы не поступила.

Села я на поезд и поехала по старому пути, в Азию. Деньги на дорогу профсоюз дал, все сочувствовали. Добралась до Ташкента, а там на попутках. Высадили у какого-то кишлака — теперь названия не вспомнить, — показали, где искать колонню. И вот ведут маленького, бритого, настоящего арестанта. Только глаза огромные, на все лицо. Гляжу на него, а сама думаю — нельзя плакать, нельзя! Не должен он мои слезы видеть.

А Юра вдруг заметил меня, остановился, понял — за ним я приехала, крикнул недетским голосом: «Мамочка моя милая!» Тут не только человеку — дереву и то не выдержать.

Назад мы хорошо ехали, о чем только не переговаривали! Сколько он мне про скитания свои рассказывал — на большую жизнь хватит. И урки его пригревали, и проститутки. Кого после войны не было.

Слушаю сына, а сама думаю: ребенок, а что понимает. Я от его рассуждений за голову хваталась. «Проститутки, мама, очень добрые, они меня больше всех жалели». Я уж потом думала: может, и проститутками-то они оттого стали, что в них одна доброта. И если, думаю, это так, то доброты человеку мало, человека с одной добротой сломать проще.

Тряпочки с номерками кончились. Дуся отложила шитье, пошла к комоду.

Взяла новую наволочку, стала прикидывать, где шить.

Валентина Георгиевна будто очнулась.

— Хорошо у вас, — сказала она, вздыхая. И вдруг прибавила: — А у меня две девочки. С девочками-то попроще.

— Как получится, — не согласилась Дуся. — Галя тихая была, смиренная. Педучилище кончила на «отлично», в садике стала работать — одни благодарности. Напляшется с малыши, напостя, напрыгается, а вечерами чаще притулится у телевизора — не сдвинуть. — Подняла глаза на докторшу, дала понять — это не для чужих ушей. — Конечно, мать не знает всего. Похоже, и у Галины что-то бывало, да так, не больно серьезное. Серьезное я бы почувствовала. — Дуся качнула головой. — Нет, что у нее было — помнуну не стоит. Беспокойно, конечно, что замуж не идет, но, может, так-то и лучше.

— Сами себе противоречите, — засмеялась Валентина Георгиевна. — Значит, с дочкой полегче?..

— Трудно сказать, — не отступалась Дуся. — Три года назад я была бы с вами согласная, а теперь не знаю.

— А что случилось?

— Появился в их садике папаша с двойней. Сам ласковый, обходительный. Приведет ребят, поговорит с воспитателем, совет спросит. Галя нет-нет да похвалит его: вот, мол, какие есть люди, мама. Долго ли, коротко ли так было — теперь уже сказать не скажу, — но стала я замечать: что-то неладное с дочерью. Обняла как-то Галину, спрашиваю: «Любишь кого?» — «Люблю, мама. Да так, что сил моих нет, всю душу выжгло». — «Кто такой?» — «А это, говорит, тот молодой человек с двойней, я тебе про его детишек да про него самого рассказывала». Я за голову схватилась: «Беда!

Разве, спрашиваю, ты, воспитателька, имеешь право отца от детей уводить? Да они эту несправедливость тебе вовек не забудут. Вербуйся на Север, уезжай немедленно». — «Тебе, мама, видно, не жалко меня?» — «Как не жалко? Только есть, Галя, такой величины грех, что переступи недозволенное, и это тебе уже никогда не простится, счастливой не станешь».

Списалась она с Воркутой и поехала. Месяца не прошло, как в дверях звонок. Открываю — женщина незнакомая. Лицо хмурое, заплаканное, а за спиной дети — мальчик и девочка. Слова они не сказали, а я все поняла. «Галя, моя Галя, — думаю. — Не свое забрала, чужое».

Утром позвала я Клаву, поручила ей Сергей Сергенча, села на поезд — и в Воркуту, возвращать родителя детям. А как еще я могла?

— Вернули?

— Вернула, — не сразу сказала Дуся. — А вот нету у меня уверенности, что у них кончилось, с ее характером все может быть.

Помолчали.

— Я боялась, что Галя под поезд бросится, когда его провожала. Бежит молча рядом с вагоном, не девчонка уже, женщина, — молча бежит, без слез... Ехала я на неделю, а тут позвонила Клаве да Серафиме Борисовне, сказала, что не могу оставить дочь в таком состоянии.

— А Сергей Сергенч после войны... стал... вашим мужем?

Дуся поглядела на докторшу, сказала просто:

— Жили в разных комнатах: я с детьми, он — отдельно. Поплачу, бывало, а утром в хлопотах и забуду все, — какой женщине тепла не нужно?..

Обе резко повернули головы — в дверях возник Сергей Сергенч. Рубашка у старика была выпущена, пижамные брюки перекрутились у пояса.

Валентина Георгиевна поглядела на часы, охнула.

— А я все сижу!..

— Да сидите, голубчик, — мягко сказал старик.

Дуся откинула шитье, замахала руками, показывая, какой он вышел неприбранный.

Сергей Сергенч опустил глаза и скрылся в спальне.

Валентина Георгиевна уже одевалась в передней. Дуся схватила апельсины из вазы, бросилась следом.

— Что вы! Что вы! Не люблю я этого, не нужно!

— Это детям, — Дуся глядела просительно, прижимая апельсины к груди. — А мне радость сделаете...

И то ли сказала так, то ли почувствовала Валентина Георгиевна, что нельзя обижать Евдокию Леонтьевну, но вдруг улыбнулась и открыла сумку.

— Кладите. Скажу дочкам: это от бабушки.

— Да, да, от бабушки, — обрадовалась Дуся.

Глава вторая

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Дениса опять вовремя не взяли из садика — это превращалось в систему. Мальчик сидел в уголке, складывал очередной дом.

Галина Сергеевна то и дело поглядывала на Дениса — он хмурил брови, соображая, как лучше поставить чурочку, пирамиду или кубик, — забавное зрелище представлял этот серьезный господин!

Пожалуй, в группе она любила его больше всех. Но когда об этом ей сказала нянечка, Галина Сергеевна решительно отвергла: воспитатель не имеет права предпочитать одного.

После разговора с няней она стала чаще одергивать Дениса. Он не слышал замечаний, задумывался, а то, возбудившись, начинал кричать, когда другие молчали.

— Калмыков! — сразу же бросались на помощь исполнительные. — Не слышишь? Галина Сергеевна тебе говорит.

Но вместо того, чтобы похвалить старательных, она их отчитывала: зачем обращаться по фамилии? Да и вообще кляузников терпеть не могла.

Денис любил строить. Он поднимался только тогда, когда укладывал последнюю чурочку. Однажды она спросила, почему он сразу не выполняет ее просьбу.

— Но работа не кончена, — удивился Денис. — Дом может рухнуть.

Ей стало смешно и стыдно. Да, да, конечно, как это она не поняла сама.

Беду в семье Калмыковых Галина Сергеевна скорее почувствовала: с мальчиком что-то происходило. Во время тихого часа, обходя кровати, Галина Сергеевна видела, что Денис подолгу лежит на спине, думает.

Да и мать его, Анна Петровна, изменилась. Еще недавно такая веселая, собранная, она теперь казалась суетливой, раскидывала вещи сына, пока раздевала его, вечно опаздывала в свою поликлинику, и Галине Сергеевне приходилось прибираться оставленные ботиночки или чулочки.

Она невольно поглядела на часы: Денис сидел один больше часа.

— Мама не предупреждала тебя, что задержится?

Денис поднес кубик, но на крышу не положил.

— Она работает, — объяснил он. — Нам нужны деньги. Мы одни — нас папа бросил.

Он испугался, что сказал лишнее.

— Дом не получается! — крикнул Денис и ногой стал разрушать стены.

Галина Сергеевна не стала его одергивать.

В окно было видно, как торопится в садик Анна Петровна. Берет на затылке, пальто застегнуто только на верхние пуговицы, пола отходит, издали заметен белый халат.

— А вот и мама! — сказала Галина Сергеевна и прижала к себе мальчика.

...Он почувствовал, что у взрослых секреты, специально отстал.

— Вы не сердитесь на меня, — говорила Анна Петровна, все еще не успокоившись после бега. — Нахватала вызовов. Полторы ставки, а то и две иногда. Теперь после гриппа полно пневмоний, только успевай с уколами. Вот и сейчас оставляю Дениса в сквере, а сама — к больному.

— Хотите, я с ним погуляю? — предложила Галина Сергеевна. — Спешить мне некуда, дома не ждут.

— Да и мы с Денисом одни, — сразу же ответила Анна Петровна, точно ждала возможности рассказать. Поискала глазами сына — далеко. — Переживает! Когда это случилось, я, не разбирая, все при ребенке выложила, да и отец... такое сказал... Испугал мальчика. Я, говорит, к твоей маме судебное дело буду иметь. В ерунду поверил, в сплетню...

Отвернулась, не хотела слезы показывать.

— Думаете, у него женщина? — решила Галина Сергеевна.

Анна Петровна слегка наклонила голову, пожала плечами.

— Может, и есть теперь. Один полгода. Раньше не было...

Она, наверное, ждала от Галины Сергеевны утешения, но не дождалась.

— ...В мае многих сестер нашей больницы и нескольких врачей отправили в район на диспансеризацию, — рассказывала Анна Петровна. — Со мной онколог поехал. Весельчак и холостой к тому же... Мы с ним как-то в кино ходили, а потом гуляли вечером. Чего после работы делать в чужом

городе? — Она сказала с обидой: — Павел его хорошо знал, относился уважительно. А кто-то из сестер сразу письмо: ваша-то с доктором... — Вздохнула. — Поверил. Возвращаюсь, а он... Оскорбил как! Я слушала, слушала, а потом и вскипела, распахнула дверь: уходи, говорю, никогда я тебя не любила, а теперь и подавно. Противен ты мне. И знаете, Галина Сергеевна, ведь в ту минуту я искренно так думала.

Она всхлипнула и тут же прикусила губу.

— А он как?

— Ударил меня. При Денисе ударил.

Галина Сергеевна взяла Анну Петровну под руку, прижалась к ней, утешая. Денис бежал сбоку, поглядывая на обеих.

А Галина Сергеевна незольно о своей жизни задумалась. Скольких пришлось матерей выслушать, успокоить скольких! А что, спрашивается, у самой хорошего? Вот и получается, что она как заболевший врач: все на свою головную боль жалуются, а до твоей — дела нет.

Дождалась, когда Денис отбежит, спросила:

— Значит, вашей вины не было?

— Ребенком клинусь!

— А вы сходите к нему, поговорите. И про Дениса скажите: скучает мальчик.

— Нет, — покачала головой Анна Петровна. — Не станет он слушать.

Остановилась у входа в сквер, показала на другую сторону.

— Мне в тот дом. — Позвала сына. — Денис, здесь гуляй, ни на шаг чтобы. Я скоро. — Пожала руку Галине Сергеевне. — А муж напротив работает. Видите, окно светится, это его окно. Он и раньше любил до позднего вечера, а теперь... В общежитии шум, да и не просто главному инженеру в общежитии... — Хотела идти да опять что-то вспомнила. — Недавно иду часов в девять, а он у окна... Не видел, конечно.

На часах было половина седьмого. Галина Сергеевна перешла дорогу против строительного управления, остановилась около высокой двери. У штaketника пожилой вахтер. «Мое ли дело? Может, и не нужно ему, а я с непрошеной помощью...»

Вахтер удивленно поглядел на вошедшую, — поздновато явилась.

— Главный инженер у себя? — спросила решительно.

— Где ему быть...

Набрал номер по внутреннему телефону, сообщил недовольно:

— К вам просят, Павел Васильевич... — Отвел трубку, уточнил: — Откуда будете?

— Из шестнадцатого детского садика.

— Из детского садика, заказчица...

Повесил трубку, буркнул:

— Ждет.

Она шла по коридору. На табличках были разные обозначения: бухгалтерия, начальник, помощник, а где же кабинет Калмыкова?

В торце мелькнула полоска света и надпись на двери: «Главный инженер». Когда-то она Калмыкова видела: худой, рослый, с сединой на висках.

Вошла без стука. Он стоял у окна, курил. Повернулся, спросил сдержанно:

— Что-нибудь с сыном?

— Ничего, — сказала Галина Сергеевна, — сын здоров, — и тут же заторопилась: — Не думайте, что я по просьбе Анны Петровны. Она даже не знает, что я у вас. Мы только что вместе с ней шли. Из садика. Она рассказала мне все, как женщина женщине, и ваше окно показала. Я и зашла. А она у больного. Напротив. А Денис в сквере остался, ее ждет...

Калмыков мрачно молчал.

— Я сейчас ее слушала, — быстро говорила Галина Сергеевна, нервничая. — И поверила, полностью поверила ей, Павел Васильевич. Ничего у Анны Петровны не было! Ничего. А потом, она же не знала, что я к вам пойду...

Он спросил вроде бы зло:

— Денис где?!

— В сквере. — Она продолжала говорить то, что приходило ей в голову. — Сегодня он про вас сказал: «Папа бросил». А сам дом строил из кубиков. И на этом доме все свое горе выместил. Кубики ногой раскидал... И днем не спит, все думает...

Калмыков заходил нервно, потом вдруг встал у окна, сгорбился, точно навалили на него тяжесть.

Она тоже шагнула в его сторону, стала отыскивать взглядом Дениса.

— Там, там он, — говорила Галина Сергеевна. — Там я его оставила.

Калмыков сорвал с вешалки шарф, намотал на шею с каким-то остервенением, махлбучил ушанку.

— Знаете, — говорила Галина Сергеевна, торопясь за ним к лестнице. — Человек так устроен, что защитить себя он не может, он может только других защищать.

«Господи, — думала она, едва поспевая за ним. — Не обидел бы мальчика. Тогда уж ничего не исправить...»

Денис играл в сквере, утрамбовывал снег. Услышал шаги, повернулся, увидел мать. Анна Петровна будто собиралась пройти мимо него. Денис поглядел туда, куда смотрела мать, и увидел отца.

— Папа?! — спросил Денис и вдруг заплакал.

Калмыков поднял на руки сына, прижался щекой.

«Пойду, — сказала себе Галина Сергеевна. — Зачем я здесь...»

Ей совсем не хотелось домой. Да и что ждет ее там? Куда лучше на работе...

Было четверть восьмого. Она остановилась около универмага, вошла внутрь. Народу было мало. В отделе тканей какая-то девица хватала уже третий отрез, носилась к зеркалу, перекидывая материал через плечо, как тогу. Галина Сергеевна посмеивалась про себя: «Из-за чего нервничает? Неужели и я так раньше?»

«Да, далеко ты, Галина Сергеевна, отошла от такой суеты, наверно, помудрела за последние годы. Только правильно ли все объяснять мудростью? Может, не для кого тебе светливой быть? Кого любила — ушел, не вернется...»

— Нет, — сказала девица. — Не то...

Продавищица раздраженно откинула отрез на стеллаж.

«Приеду домой, мать сразу заметит, что я во всем прошломоднем», — подумала Галина Сергеевна и тут же сказала:

— Мне этот выпишите...

— Нет, нет, — сказала девица, — я еще думаю...

— Гражданка уже взяла, — сказала продавищица решительно.

Около кассы Галина Сергеевна столкнулась с Мусей, соседкой по лестнице.

— На костюм купила, — сказала Галина Сергеевна, — взгляни, одобряешь?

— Да у тебя глаз — алмаз! — ахнула Муся. — Сколько хожу, а такого не видела.

Галина Сергеевна подождала, когда завернет продавищица, сунула пакет в сумку. Пошли к выходу.

— Домой собираюсь, — сказала сдержанно, не зная, рассказывать ли Мусе про юбилей отца.

— Ой, Галка, неужели Николай зовет? — обрадовалась Муся.

Галина Сергеевна опустила глаза, ни да ни нет не ответила.

— Да ты не рассуждай, не раздумывай, — говорила Муся, сразу входя в понимание. — Раз Николай захотел встретиться, не отказывай. Может, одна эта встреча все в нем повернет.

— Не знаю, не знаю, — внезапно заговорила Галина Сергеевна совсем не о том, о чем думала. — Детей не бросит, а просто так — ни к чему: Я, Муся, гордая.

— Все мы гордые, — отмахнулась Муся. — Потому что для себя ума нет.

На этаже надо было прощаться. Галина Сергеевна видела огорчение в Мусиных глазах, да и сама понимала: вдвоем бы вечер лучше прошел.

— Мне бы тоже с тобой не мешало посоветоваться, и у меня событий полно, — осторожно сказала Муся. — Запуталась я, Галина. — Огляделась, зашептала заговорщицки: — Давно уже ходит в библиотеку один, книги берет пачками.

— Серьезный?

— Еще бы!

Муся засмеялась, а Галина Сергеевна погрузилась невольно. Была бы Муся видная, а так нет ничего. Вот жизнь! Какпе коленца выкидывает. Вторая библиотекарша, Элла, и красивая, и статьи пишет в газету, а одна-одинешенька, ни ум, ни красота ее никому не нужны, даже отпугивают.

— Я, Галя, с тобой люблю разговаривать. Ты и слушаешь хорошо, и совет дашь, — польстила Муся. — А теперь-то народ какой? Выспросят, выпотрошат, домой без перьев отпустят. Для чего рассказывала — и не знаешь.

— Устала я, — вздохнула Галина Сергеевна. — Детей вовремя никогда не возьмут.

— Да я ненадолго, — попросила Муся, чувствуя, как слабеет сопротивление.

— Ладно, приходи, — согласилась Галина Сергеевна. — Перекусить сделаю, я вчера эскалопы купила.

Муся хлопнула в ладоши, понеслась по лестнице. И уже сверху крикнула:

— Я быстро! Подкормлю Федьку, чтоб не умер с голоду... Ничего сам себе не возьмет!

Галина Сергеевна достала ключи. «Зачем повод к новым

разговорах дала? Пора из головы Николая выбросить, какой толк...»

Она громко покашляла, словно проверила, не говорит ли вслух, и захлопнула дверь.

..Муся уселась удобнее, закинула ногу на ногу, закурила. Маленькие колечки дыма побежали вверх, растекаясь и разматываясь, как живые.

— И отчего так, — раздумывая, говорила Муся, протягивая сигареты Галине Сергеевне и как бы приглашая ее продолжать разговор. — Люди любят друг друга и друг от друга бегут. Если и есть правда у твоей матери, то, скажи, кто от ее правды выиграл? Кому ее правда нужна?

— Дети Николая, наверное, выиграли.

— Зачем же он снова зовет?

Муся отхлебнула глоток, затянулась сигаретой, словно кусывая.

— Ты лучше про себя расскажи, — не захотела обсуждать свои дела Галина Сергеевна. — Что за умник такой появился? С ним, что ли, я тебя в кино видела?

Муся покачала головой.

— Тот Костик. С Костином давно покончено, да и не было ничего. — Она засмеялась, носик вздернулся, засверкали глаза — ясно, почему она так ребятам нравится. — С Костином — смех в зале! Пригласил как-то пообедать, шами невиданными угостить грозился. Пришла. Поставил тарелку: запах — с ума можно сойти! Пошел за сметаной к подокошнику, а сметаны нет. Стоит банка пустая — кот вылизал. И что ты думаешь? Открывает мой Костик форточку и выкидывает кота с четвертого этажа.

— Ну и ну! — поразилась Галина Сергеевна.

Сигарета погасла, Муся чиркнула спичку, спрятала коробок.

— Я отодвинула щи — и к выходу. Он засуетился: «Куда? — спрашивает. — Да я сейчас за новой сметаной бегаю, гастроном рядом». — «А если, говорю, пока ты бегаешь, я эти щи без сметаны съем, ты и меня в окно?»

— Молодец! — одобрила Галина Сергеевна.

Муся усмехнулась.

— А серьезный — другой. Василий. Ты его знаешь. Не из того общежития, где я передвижку имею, — это бетонщики. А он — станочник.

— Кокопатый?

— Этого не видно почти, — возразила Муся. — Я про него помалкивала — дело к серьезному шло.

— И что же?

— Ревнивый очень... — Она помолчала, видно раздумывая, с чего начинать. — Я у бетонщиков книги по вторникам выдаю. Так ребята меня уже сколо красного уголка ждут. Гитару притащат, поем душевно. Все равно Элла приличных книг не дает, бетоном, говорит, залипают. Вот я Вася и расскажи как-то про наше веселье в общежитии. И что думаешь? Завелся — остановить не могла. «Пойду, говорит, к начальнице, расскажу, как ты вместо работы под гитару песни поешь, пускай она тебя в женское общежитие переводит».

Отрегулировала я его; убавила громкость. Ну, думаю, нужно бы ему не все рассказывать, а выборочно, с оглядкой на нервозность. Но он и тут между строчек читал. Тогда я и вообще говорить перестала. Идем в кино — помалкиваем, из кино — тоже молчим. День, другой помолчали, а там и вообще стало не о чем разговаривать.

Засуетился он, начал разные варианты мне предлагать. «Давай, говорит, к родителям съездим. Под Киев. Понравилась — свадьбу сыграем. Они, говорит, борова на такой случай держат». — «А не понравлюсь? — спрашиваю. — Тогда как? Командировку выпишешь? Из какого расчета проездные будешь платить? Я ведь из Заполярья еду. Тут по два шестьдесят нельзя, здесь северная надбавка. А квартирные? А вредность? Родственники, Вася, не простым глазом меня изучать начнут, а с пристрастием. За пристрастие еще накинь. И потом, почему, если я к ним примчалась без особых прав, они меня уважать обязаны? Они, Вася, должны остерегаться меня. Я ведь с ребенком. Нет, милый, — говорю ему, — тебе нужна жена безразмерная, чтобы ко вкусу всех родственников подходила». Порвала, как с Костей, а сердце болит.

Муся замолчала.

— Не права ты, пожалуй, — сказала Галина. — Не права.

— Как не права? — переспросила Муся с возмущением. — Он же обидел меня. Если бы любил — зачем смотрины?

— Погоди, — остановила ее Галина. — Федор вырастет, захочет тебе свою невесту показать, плохо это?

Муся взглянула мрачно, не думала, что Галина так повернет.

— А я бы на твоём месте его просьбу уважила, поехала бы к старикам, — продолжала Галина. — Да если вдвоем приедете, он тебя наверняка защитит, не даст в обиду.

Не дождалась Муся кивка, усилила наступление:

— Разве могут старикки полюбить тебя, не увидев? Сын берет женщину с ребенком, какая ответственность! Такое заочно не делается. Я вот что думаю: поезжай и понравься. Василий тебе за это по гроб благодарен будет. И подарки купи: и отцу, и матери, и всей родне.

— Еще и родне! — разозлилась Муся. — Сколько добреньких развелось! Только доброта не всегда нужна, вот что вы забываете. С добротой человека легче съесть, он мягонький. Тебя-то съели? Думаешь, я дурочка, не вижу, что ты про Николая врешь?!

Она поднялась резко, зашпешила к дверям.

— Нет, лишь бы замуж — это не нужно мне. Я хочу, чтобы любовь. На что еще опереться мне, если я с ребенком? А тебе, — она вдруг сказала с вызовом, — тоже совет дам, вдруг пригодится. Одинокой бабе иногда нужно лютой быть. Любит, а с родственниками надумал советоваться! Я одна у него советницей быть хочу. А родственники? Я бы им прислала приглашение, даже денег выслала бы. И знаешь, почему мне это нужно? А для того, чтобы я их со своим сыном Федором здесь могла познакомить, на своей территории. Специалисты говорят, на своей территории другой футбол. — Подняла руку: — Приветик! — и дверью так двинула, что зазвенела посуда в шкафу.

Галлина перенесла чашки на кухню, сложила их в раковину. С чем пришла к сорока годам? Как очутилась в этом городе? От жены Николая пряталась, от детей его? А ведь умные люди иначе живут, городов не меняют — права Муся.

И в другом права: счастье брать нужно, а не можешь брать — молчи в тряпочку.

Вернулась в комнату, сняла покрывало. Рожать нужно было, рожать! Не решилась. Возраст, считала, не тот.

А при чем возраст? Ребенка на ноги бы поставила, да и Николая, глядишь, сохранила; с ребенком никто бы не смог ее осудить. И мать не стала бы вмешиваться.

Ах, Муся, Муся, каждому совету, кто же мне-то совет даст?!

Сбросила платье, поглядела на свое отражение в зеркале: ладная, статная, как мать говорит. Только для кого это?

Бездумно лежала в постели, разглядывала узор на ковре, да так и задремала, не погасив света. В полусне вспомнила о Калмыковых, снова с отцом разговаривала, хвалила Дениса. Потом возник Николай, клялся, что помнит ее, забыть не может, с Таисьей сравнивал. «Не муж ей нужен, — сказал, — а предмет в хозяйстве, были бы заработки...»

Затрещал телефон. Спросонья поняла: междугородная! Схватила трубку — опять на секунду увидела себя в зеркале, — поняла: мать звонит.

— Але, Галя? Домой собираешься? К двадцатому ждем...

— Помню, мама, конечно.

— И Юра приедет, надеемся. И Ксюша. — Заговорила быстро, не дожидаясь вопросов дочери: — Отец хуже стал, иногда заговаривается. Вчера спрашивает: «Юра из школы пришел?» Потом сам над собою подшучивал: на свалку пора. Докторша наша, Валентина Георгиевна, ему лекарство для памяти выписала, шесть тридцать коробка, — хорошее, говорит.

Она утешила мать: не так страшно, раз над собой подшучивает. А с памятью и у молодых случается, вот она как-то оставила ключи в садике, измучилась, пока нашла.

Опасная мысль звенела над ухом, усиливала тревогу. И вдруг Галина Сергеевна выкрикнула, перебила мать:

— Мам! Просьба к тебе огромная!..

Не сразу спросила Евдокия Леонтьевна, помолчала.

— Что за просьба, Галочка?

— Да нет, ничего — тут же одумалась Галина. — Так я... Приеду — сама выясню... Соня в городе?

— Неужели хочешь Соню просить? — охнула Евдокия Леонтьевна. — Не наделай глупостей. Он же пустой человек... А потом знай — ничего это не даст тебе. Ничего у вас не получится. Только потом больше станет...

— Враг, враг ты мне, мама! — крикнула Галина Сергеевна, не думая больше, что и говорит. — Это ты все наделала, нас развела, ты, мама! Ну кто просил тебя вмешиваться, кто ехать просил?! С ума я схожу в одиночестве...

— Какой же я враг тебе, Галя? Подумай, что говоришь...

— А ты скажи, кто от твоей правды выиграл? Кому такая правда нужна? Разве нормально, что люди любят друг друга и друг от друга бегут?

— Дети выиграли, дети! — крикнула Дуся. — Не было бы тебе счастья!

Галина бросила трубку, заходила по комнате. Права Мусы — себя нужно жалеть.

...А Евдокия Леонтьевна стояла в телефонной будке точно пришибленная, сгорбилась от тяжести дочерних слов. Поняла, куда гнет Галина, дело нехитрое.

Заколонуло сердце — за себя больно, но как дочери объяснишь?

Евдокия Леонтьевна прижимала трубку к виску, да не

плоско, а под острым углом, шевельнуться боялась, вдруг расплачется. Неужели захочет вернуться к прежнему?! Захочет. Станет Соне звонить, не зря про Соню спрашивала...

Глава третья

СОНЯ

Дуся держала телефонную трубку будто бы слушала, а сама думала о своем. Кто-то открыл кабину — дали новое соединение, — увидел старушку, вывел растерянную на середину зала. По радио выкрикивали города и фамилии, требовали абонентов, а Дуся не могла взять в толк, что же ей дальше-то делать, куда идти?

На улице было морозно. Стыли руки. Колкий ветерок забирался в прореху пальто — не застегнула как следует. Нагнула голову — до угла бы скорее, за поворотом не такой ветродуй. Что же делать с Галиной, что делать? Нельзя, невозможно допустить прежнего, ничем хорошим это не кончится, только больше слез прольется. Еще большее бывает, когда со старой раны корку сорвешь. Кому все решать? Опять матери...

Дуся свернула в проулок. Сима рядом живет. Дом высокий, со старинной лепниной и богатой резной дверью, мореный дуб. Открыла не без труда, протиснулась в щелку. Створка на крепкой пружине, как выстрелило, эхо прокатилось по этажам.

На Серафиминой двери табличка медная: «Г-н Рогов». Кто такой — непонятно. Но как висела до революции, так никто и не вывинтил. Может, и пытались когда, да бросили, крепко сидит, на шурупах. «Ничего, — говорит Никита Данилович. — Никому не мешает».

Дуся потянула за деревянную ручку с металлическим стержнем, прислушалась. Раздались колокольчики, и тут же по коридору зашлепали тапочки, мелкий Серафимин шагок. Дуся отступила слегка. Глаз у Серафимы наметанный, сразу почует, что явилась не просто, а с умыслом, нужно причину подалеже скрыть, — секрет не свой, и говорить следует с Соней. Хорошие старики, а всего знать им незачем.

Дверь распахнулась настезь.

— Ба-аюшки! Вот неожиданность! Погляди, Никитушка, кто к нам пришел!

Шагнула Серафима через порог, обняла Дусю, расцеловала.

— Наконец-то!

— Не шла, не шла, а все ж заявила, — как бы оправдалась Дуся. Сняла платок, в рукав засунула. — Дел полно, Симушка. С Сергей Сергенчем по полдня в поликлинике сахарные анализы сдаем. И по хозяйству приходится.

Выглянула из кухни Соня, круглолицая, в мать, в красивом фартуке, красное с белым, прическа модная, по пятерке, говорили, за стрижку. Дуся пригнула ей голову, поцеловала в лоб — все равно что родная дочь, — тот же детский садик в войну, что и у Галины с Юриком, та же школа — один класс. Повернулась к Никите Даниловичу — высокий, седовласый мужчина, вот про кого не скажешь — старик, — подала руку лопаткой.

Никита Данилович распахнул дверь перед Дусей, отодвинул стул:

— Может, к телевизору?

Дуся махнула рукой — этого добра и дома достаточно, объявила:

— Примите приглашение, в следующую субботу всех собираем.

— Мы помним, — с благодарностью ответил Никита Данилович. — И так бы пришли, не сомневайся.

А в голове у Дуси другое: не звонила Галина? Не просила помочь? К старикам приглядывалась — понять пыталась. Никита Данилович спокойно сидит, в глаза смотрит, не отворачивается, а если и говорит чуточку громче обычного, то это и раньше было, стал глоснуть.

Серафима очень обрадовалась... Ну а кто ближе ей, чем Дуся? Может, одумалась Галина, поняла, что не светит ей ничего с Николаем, поостыла слегка? Тогда зря все волнения, посидеть немного — и двинуться в путь, пусть так и думают, что другой цели у нее не было, кроме приглашения на юбилей.

Забрякала ложечками Соня — чай в этом доме в один миг подают. Пирог из буфета вынула, нарезала кусками, пододвинула Дусе.

— Сегодня стряпали. Поглядите, какая сдоба взошла.

— Вы и так — булочки, куда вам печеное?

— Ничего! — засмеялась Соня. — Некоторые толстух больше любят. Правда, мой начальник сказал — пока я разворачиваюсь, всех мужиков разберут. Женщина в наше время должна быть активной...

Дуся поглядела пристально — не на Галину намек?

— Ты про кого, Сонюшка?

— Про себя, тетя Дуся.

Телевизор захохотал мужским голосом, встрял в разговор, вроде бы перебил к месту. Никита Данилович прикрутил звук, стало тихо, люди за столом заметнее сделались.

Серафима Борисовна села напротив, положила полные руки на стол, поинтересовалась:

— Во сколько сбор гостей?

— К пяти просим.

— А Сережа как?

— Да ничего, на ногах. Только, бывает, памятью путается. Вчера спросил: «Юра из школы пришел?»

Соня повернулась резко, о чем-то вспомнила, — это от Дуси не скрылось.

— Юра когда домой собирается, тетя Дусечка?

— Не звонил пока.

— Ля-ля... — спела Соня, будто вопрос был случаен, но очень она на этот счет волнуется.

В телевизоре пели девушки, открывали рты, покачивались. Никита Данилович потянулся по привычке к регулятору, но передумал.

— Разве делитесь вы с родителями? — осторожно начала Дуся свою главную мысль. — Вот Галина, я с ней разговаривала, пораньше просила быть, а дня приезда не знаю.

— С нами они не считаются, — кивнул Никита Данилович.

Дуся помешала в стакане ложечкой, откусила пирог.

— Где мак-то взяла?

— На рынке. По рублю стакан.

— Ишь, живодеры! Я со сладким столом теперь спокойна. Все вроде взяла: и конфеты, и фрукты, и разное...

— А мороженое? — спросила Соня. — Знаете, тетя Дусечка, как Юра мороженое любит? — Она засмеялась. — Я как-то ему четыре трубочки проиграла, так он не сходя с места слопал.

— Мороженое нужно взять, — согласилась Дуся.

— Мы вам термос дадим, туда много входит.

Побежала на кухню. Серафима Борисовна прислушалась.

— Ищет, да не там. В другом месте лежит. — Поднялась неохотно.

Никита Данилович дождался, когда жена прикроет дверь, придвинулся к Дусе как заговорщик.

— Видишь! Все про Юру думает. И сколько лет! Я вот что тебе хотел сказать... Поговори с ним? Он нам как сын, Дуся, знаешь. Ну чего ему нужно, чего? Сонька — такой друг, лучше не сыщешь. И девочку любит. Пусть он присмотрится к ней, приглядится. Объясни, какой преданный чело-

век... А Ксюшу Соня хоть сейчас заберет, только обрадуется. Зачем ребенку со стариками жить, что она у них видит? Соня ее бы и в кукольный, и в цирк, и на английский язык — не представляешь, как она до всего этого!

— Да я бы рада, Никитушка, только разве в нас дело?

— В нас, Дуся, в нас, от нас много зависит. Они, как ни странно, к нам прислушиваются. Это кажется только, что безразлично им...

— Господи! — вздохнула Дуся. — Если бы я выбирала, другого счастья и не надо бы. А Галина, разве ей хорошо?

— Знаю, знаю, — кивнул Никита Данилович.

— Что знаешь? — Дуся вздрогнула, приблизилась резко к нему. — Что?

Распахнулась дверь, вошла с термосом Соня. Дуся склонилась над чашкой, поднесла к губам, но пить не смогла. «Чего хотел сказать? Звонила? Неужели договаривались?»

— О чем вы шепчетесь?! — прикрикнула Соня. — Рассказывайте! Мама?! — позвала она. — А папа за тетей Дусей ухаживает! Погляди, как притихли!

— На здоровье! — весело ответила Серафима Борисовна.

— Перестань, Соня, — поморщился Никита Данилович. — Тебе не идет, не девочка. Проводишь Дусю — скользко...

Дуся поднялась торопливо, но Никита Данилович заставил ее сесть.

— Куда? Это я Соне сказал. Ты что-то про Галину хотела?

— Устает здорово, по две смены работает.

— Нам, одиноким, уставать нужно, тетя Дусечка, иначе чем еще заполнять себя?

— Ну, ну, — возразил Никита Данилович. — Тебе-то на что жаловаться? И музыка, и театр... Юра приедет, вам будет о чем поговорить, так, Дуся?

— Он всегда про Соню спрашивает.

— Правда?

Дуся замешкалась, а нужно было ответить. Соня махнула рукой.

— Я, пожалуй, к вам не вернусь, — сказала она матери. — Провожу тетю Дусю, а сама дома переночую. Давно на квартире у себя не была. — Она торопливо собирала вещи. Металась по комнате, тормозила мать: — Яичек заверни. Пирогов с маком. Хлеба и сахара, утром перекусить ничего нет.

...На асфальт выпал легкий снежок, припорошил тонким слоем, шаги почти не слышны. Дусина улица тупиковая, пра-

все — широкий проспект, здесь же темно и тихо. Свет только от нескольких окон.

Шли молча — не знали, с чего начать разговор. Дуся все о Галине думала — спросить, не звонила ли, предостеречь от губительной помощи; Соня хотела про Юру узнать. С той поры, как умерла Иррина, Юрина жена и их одноклассница, Соня стала мечтать о нем, наверное, так же, как в школе. Бывало, придет Дуся к родителям, поговорит о своих, посетует:

— Какая жизнь у мужчины! Живет неухоженный, необлаквашенный, не согретый женщиной. До сорока лет ничего себе не построил.

Соня слушает напряженно. Если бы могла, чего бы для него не сделала! И почему так — у одних старое легко забывается, а вот она, Соня, с восьмого класса только о Юре и думает. Бывали годы, конечно, что меньше страдала, но чтобы совсем ушло — нет, такого не было. Задумается, прислушивается к себе — тоска не очень далеко прячется, нетрудно достать. Полюбить бы другого, вышибить клин клином, да, видно, родилась такой — никто больше не правился.

А ведь что-то было у них, намочалось. Вместе сидели за партой, дружили, а потом в один день все будто оборвалось. Директор привел на урок Ирку Кошечкину, и что-то кольнуло Соню.

Юра повернулся к двери и уже смотрел на новенькую, а не на директора.

Как сразу почувствовала Соня перемену в нем! Ночами плакала. А так как с восьмого класса вела дневник, то записывала туда все события, все, что пережила и передумала. Каждый день начинался в тетрадке пометками: что Ю. сказал И., как на И. поглядел, что для И. сделал.

Если бы не было у Сони любви к записям, то многое бы забылось, но она все фиксировала с подробностями, а горе от этого только росло и росло.

Ю. каждый день стоял в коридоре с И., смеялся, не замечал Соню.

И. была то красавицей, то всего лишь хорошенькой, то кривлякой, то душой — это зависело от настроения.

Возникали прогнозы, И., мол, покрутит да бросит, нужен ей такой, а тогда Соня не сможет его простить.

Дневник все замечал. Как было бы хорошо, если бы И. не переехала к ним, жила бы во Владивостоке! Но в эти годы многих военных демобилизовывали, разрешали возвращаться в свой город, то есть туда, откуда они были призваны в армию.

Не один Юрка от И. с ума спятил. Как только И. явилась — стройненькая, точеная, в физкультурном костюме даже девочкам от нее глаз не оторвать, — мальчишки засуетились, забегали, стали творить глупости, ездили верхом друг на друге, прыгали через головы, каждый норовил себя показать, старался привлечь ее внимание.

Юрка другим взял: он был великий школьный артист. Соня и сейчас будто слышала его голос, как он читал «Облако в штанах» — мороз пробегал по коже, обмирало сердце, страшно и сладко становилось.

...Сразу после десятого Юрка чуть не женился на Ирине. Они бы поженились, но родители, как говорится, легли костью. Александр Степанович, как бывший военный, понадеялся сразу на военкомат: заберут артиста — такое бывало уже с другими, — и пройдет любовь, оба и не вспомнят через три года о своих терзаниях.

В армию Юрку действительно взяли, но домой он вернулся еще более решительным и, конечно же, более взрослым.

Кошечкины новое препятствие выдумали: пусть в институт поступит. Жениться собрался, а чем семью кормить?

Юрка и на это пошел. Через месяц приняли его в театральный: оказалось — талант!

Правда, Александра Степановича институт не устраивал; он такой специальности — режиссер — просто не знал; блажь, считал, а не работа, но тут уже нельзя было ничего поделать — Юрка оказался сильнее майора.

На свадьбе Соня плясала всю ночь и даже искренне радовалась за них, решила — такая судьба. Глядя на жениха и невесту, она со всеми кричала «горько!». Юрка целовал Иру, а Соня считала секунды, потом пила шампанское.

«Ну что ж, — записала она в своем дневнике, — достаточно жить с ним в одном городе, знать, что ему хорошо, иногда видется, не надеясь...»

Дуся, конечно, приходила к ним, и через нее узнавала Соня, что Юра отличник, его оставляют в городе в хорошем театре, а с Ирипой они живут «полюбовно».

В одном у них был беспорядок — не было у Иры детей, а почему, даже доктора понять не могли.

Было, правда, у Дуся предположение. Заподозрила она, что Ира, когда они были студентами, сделала аборт, этим себе и испортила. К кому только она не ездила, куда не обращалась — и вдруг в тридцать четыре родила Ксюшу, а вскоре заболела, остался Юра вдовцом.

На похоронах Соня плакала, жалела Юру — какой он тогда стоял раздавленный! То ли из сострадания, то ли надеясь

на что-то, стала искать Соня новых встреч. Не до нее, видно, было. Глядит телевизор, попыхивает сигареткой, не разговаривает, словно не замечает ее присутствия.

Чего Дуся тогда ни делала, куда их вместе ни посылала, как Соне ни радовалась, — нет, так и не заметил он ничего. Посидят за столом, попьют чаю, Юра поднимется и уйдет куда-то, едва кивнув Соне.

А в этот город он уехал, как с цепи сорвался, никто от него не ожидал отъезда. Пришла телеграмма вечером: он там-то и там, работает главным режиссером, подробности письмом...

Соня приняла известие как неизбежность. Ничего не менялось в их отношениях с Дусей. Она приходила то с родителями, то и одна на пирог, расспрашивала вроде бы совершенно спокойно о Юре.

Писал он редко. Соня всегда просила, чтобы письма давали и ей читать, — интересно. Понять, как он там живет, было трудно, да и что он мог сообщать особенного матери или отцу. Квартира приличная, театр посредственный, актеры средние, впрочем работать можно. Летом у него предстояли далекие гастроли — приехать не удастся.

Иногда он действительно передавал Соне привет, иногда — всем знакомым, но Соня тогда не исключала и себя, радовалась.

Новая надежда появилась у Сони из-за Ксюши.

Что ни говори, сорок лет — это сорок, вряд ли сама родит. Может, нужно было брать ребенка из детского дома, да ведь не простое это дело, не каждому еще и дадут. Когда берут семейные, но бездетные — тут все ясно, а у Сони какие на ребенка права?

Ксюшу Соня полюбила заочно, а после того, как однажды увидела, так и совсем будто с ума сошла. Выпросила у Дуси фотокарточку, увеличила и повесила на стенку, подругам сказала — племянница. Лежит, бывало, по воскресеньям в кровати, глядит на милую красоту!

...Нельзя сказать, что Сониная жизнь текла тускло. Подруг у нее было достаточно, большинство, конечно, незамужние или разведенные, благодарные за сочувствие и домашний уют.

Соня была сама доброта. Пустит, когда бы ты ни пришла, напоит, накормит да еще денег даст, если не рассчитала зарплату и теперь концы с концами никак не свести.

Подруг Соня жалела. Это заставляло их торопиться к ней со своими несчастьями. Наслушавшись разного, Соня в дневнике, бывало, и раздумывала: лучше уж такая, как у нее,

незаполненность, чем обиды и неурядицы, раздоры и обманы.

Историю своей школьной любви Соня от подруг не скрывала. Все знали, что Юра вдовец, живет в далеком городе, должен приехать. Оба помнят прошлое, но что-то все продолжает мешать им. «Теперь уж и не знаю, — говорила Соня, — нужно ли старое ворошить?»

Впрочем, для себя Соня помнила важное обстоятельство: хотя они с Юрой и не встречались, но всегда, все эти годы жили одними интересами. И не важно, что он — режиссер, а она экономист в строительном управлении, проще — бухгалтер. Так уж вышло, что театр и музыку она любила всегда самозабвенно, жила постоянным ожиданием премьер. В дни, когда в город приезжали знаменитости, Соня часами простаивала в очередях за билетами, отмечалась в шесть утра и в двенадцать ночи, организовывала списки страждущих.

Ее хорошо знали театральные кассирши. Хапуг она терпеть не могла, но любила отблагодарить порядочных, интеллигентных, приносила им коробки конфет или плитки шоколада, понимая, конечно, что в следующие гастроли она не окажется без приличных мест.

Не бездумно она относилась к увиденному, а с полной мерой ответственности. Ночами, не откладывая на утро, она обязательно писала дневник, и под рукой у нее рождались оценки предельно строгие. Соня была уверена, что, когда в городских газетах появятся рецензии, их снисходительность и поверхностность ее здорово насмешат. Втайне она надеялась многое показать когда-нибудь Юре.

Такой же страстью для Сони в последние годы стала живопись. Любая выставка — в манеже, на Охте, в домах культуры — вызывала в ней живой интерес. Она искала и открывала таланты. Помнила многие имена и уже нет-нет да и узнавала манеру художника, не прочитав еще подписи под картиной.

Кому не хочется иметь почитателя? Художники — честолюбивый народ, не очень-то избалованный вниманием, — открывали охотно перед ней мастерские, приглашали с подругами. Соня радовалась бурно, несдержанно и однажды удивила подруг тем, что тут же, в мастерской, заплатила две сотни, отложенные на отпуск, за поразившую ее акварель.

Это оказалось странное геометрическое нагромождение, имевшее вполне реальное обозначение: «Загорск». И когда художнику предложили сделать выставку, то работа, принадлежащая Соне, висела на самом видном месте,

Кстати, этой выставки в городе долго не могли забыть. На сцене самодеятельный оркестр рожечников исполнял простенькую пастораль, люди толпились у картин, шепотом обменивались мнениями. Соня чувствовала себя почти именинницей, бросалась к знакомым, комментировала, объясняла технику — она знала о художнике все, — была, может, самой счастливой в этом выставочном зале. Видите, будто бы говорила она всем своим радостным обликом, это я открыла его, поняла, теперь-то легко каждому, а попробуйте, когда художник был почти неизвестен?!

После выставки «Загорск» вновь вернулся в Сонину комнату, висел против Ксюшиного портрета, и Соне чудилось, что простота детской улыбки, нежного лица как бы спорила с усложненностью художественного замысла...

Подруги рассуждали о кожаных пальто и дубленках — на их уровне Соня жить не хотела.

...Они приближались к дому. У Дуси стучало в висках, стоило ей подумать о Галине и Николае. Пора говорить, а то время упустить, потом не сказать. Все нужно делать с умом и осторожностью.

Соня тоже помалкивала. Думала о своем. Юра жил один эти месяцы. Нелегко ему. А вокруг, наверное, выются и крутятся, норовят поймать одинокого, неухоженного — известное дело, мужчина в таком положении беспомощен, кто первый протянет руку, тот и хозяин.

А у кого больше прав? Соня знает его, можно сказать, с рождения, а четверть века любит. Этот приезд может стать для нее решающим.

Она пошла быстрее, оставила Дусю позади — ничего не скажешь, сопровождающая.

— Погоди, Сонюшка! Уж не те силы!..

Остановилась, виноватая, дала Дусе передохнуть, отдышаться. Ждала терпеливо.

— Вы Иршинных родителей зовете на юбилей?

Сказала незаинтересованно, так просто, будто из любопытства.

— Надо бы. Только не знаю, когда и ехать на Сиверскую.

— Давайте я, тетя Дусечка: и к ним и за Ксюшей! Я бы отгульные дни взяла, с ребенком по театрам да по музеям побегала, город ей показала, ну что она там в берлоге сидит, кроме леса, ничего не видит... У вас, тетя Дуся, и времени нет, а для меня — удовольствие.

— Хорошо бы, — сказала Дуся неуверенно.

— Очень бы хорошо! — говорила Соня. — Мы бы и Юру встретили, а потом вместе по городу, по выставкам. У нас перед Ксюшей большая вина. Ребенок растет, не маленький, ему мир положено видеть.

Дуся покивала, согласилась с ней. Сбня обрадовалась — вроде бы разрешают взять девочку, несколько часов провести с ней. Давно этого ей хотелось.

— Хорошо бы, конечно, если бы ты съездила... — подтвердила Дуся. — Только старикки Кошечкины недоверчивы. Самы не пойдут и ребенка не отпустят... Я — бабка, права имею, а мне и то каждый раз приходится хитрой быть. Нет, нельзя тебе. Пройраешь. Не привезешь. И Юру расстроишь. Лучше уж я сама...

— Да кто им право дал вам-то отказывать! — возмущилась Соня.

— Какое еще право. — Дуся сказала твердо. — Их право — Ирина. А это право немалое. С ним считаться приходится: и мне, и тебе, и Юре...

Они переговорили будто, а теперь шли рядом, думали. Обкусанный месяц висел над городом, касался трубы, подмигивал, очищаясь от наползающих туч, почти совсем не светил. Впрочем, свет и не нужен. В темноте уютнее.

— А потом — тебе и нельзя ехать, — сказала Дуся. — Решат, что ты хочешь Юру к рукам прибрать, смертью их дочери воспользоваться, — к своим-то люди подозрительнее... Нет, Сонюшка, как мать говорю: нельзя тебе... А вот если я привезу Ксюшу, если со мной отпустят, то и гуляй по театрам, я только спасибо скажу.

Остановилась, спросила неожиданно:

— Галина звонила тебе?

— Н-нет...

Придвинулась в темноте — глаза шелками, губы — тонкой строкой, — и такая Дуся бывает, — потребовала:

— Правду. Всю правду мне! Обещала квартирой помочь?

— Н-нет, тетя Дусечка.

— Врешь! Звонила! Должна была позвонить! По глазам вижу!

Не ответила Соня: так, наверное, лучше, так и должна была.

Дуся все глядела на Соню пристально, предупредила:

— Тебя всем сердцем прошу — не оказывай помощи, не причини беды. Обречешь Галику на новые терзания.

Соня постояла оцепенело — чего тут скажешь?

— Иди. — Дуся потрепала Соню за рукав пальто. — И помни...

— Так я на Ксюшу могу рассчитывать? — спохватилась Соня.

— Можешь.

И вдруг захотелось Соне удержать Дусю, все ей рассказать. Знает Дуся, как Юра давно ей нравится, да кто может знать, догадаться, измерить, как Соня любит его.

— Я, тетя Дуся, отчего-то Юру школьником больше представляю: худенький был, большеглазый, посмотрит, и что-то у меня в груди делается, такая боль...

— Может, и переменится он... Не все же ему в одиночестве, — сказала Дуся, на этот раз опуская глаза.

— Утешаете? А ведь я верю, должно и для меня счастье быть. Неужели стороной ходит?

И не смогла ничего больше сказать, замолчала, расстроенная.

— Может, и переменится, — повторила Дуся.

— Ах, тетя Дусечка, — почти выкрикнула Соня, — кабы сказать Юре, что ждет его человек, любит... Ведь я бы на край света пошла, сказать бы ему только... Может, просто не догадывается...

Надо бы соврать, обнадежить Соню, да как родному соврешь!..

— Сказать просто, Соня, только иначе люди друг друга находят, не по подсказке.

— А мне, тетя Дусечка, всегда кажется...

Дуся приподнялась на носки, поцеловала Соню, будто бы утешила.

Соня поняла ответ и неожиданно всхлипнула:

— Милая вы моя тетя Дусечка! Как люблю я вас, честное слово...

И помчалась через дорогу.

А Дуся стояла у своего парадного, глядела вслед, пока Соня не свернула с улицы на большой проспект...

Глава четвертая

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Репетиция не клеилась. Актеры будто оглохли, не понимали простейшего задания, а тут еще Крашенинников со своим шепотком и советами, и Юрий Сергеевич, раздражаясь, стал думать, как бы убрать из зала директора, такого бес-

тактного и назойливого. Так уж получилось, что их отношения становились все холоднее и хуже.

Геннадий Константинович Крашенинников — толстогубый, самоуверенный человек лет тридцати пяти — был прислан в театр областным управлением культуры «для укрепления репертуарной политики». Долгое время до него работал мягкий Гломберг, хорошо знавший финансы, в другие вопросы он не вмешивался, искренне считая искусство вотчиной глазного.

Крашенинников попытался поставить все с ног на голову.

Инспектируя областную самодеятельность, клубы и дома культуры, он привык считать свой авторитет непререкаемым. Никто во время инспекторских поездок с ним не спорил — лицо из области, может такого натворить — себе дороже.

В театре Крашенинников попытался действовать прежними методами, но встретил среди режиссеров и ведущих актеров сопротивление, желание отстоять свое «я».

Геннадий Константинович не сдавался, ходил на репетиции, а на худсоветах нудно и важно рассуждал о системе Станиславского (это уж совсем невыносимо!), за что и получил прозвище Гусь.

В театре началось расслоение: кто — за, кто — против. В конце концов Крашенинников собрал труппу и произнес речь, полную колкостей. За намеками стояло конкретное недовольство: театр, главный его режиссер, еще до назначения Крашенинникова директором, купил у молодого, неизвестного автора явно слабую пьесу. Между слов было нечто недоговоренное, намек на сделку, и Юрий Сергеевич сжался, чтобы не вспылить, не положить на стол заявление, не уехать на все четыре стороны, — скажем, в Пензу, куда его давно приглашали. Труппа — от бутафоров до актеров — затаила дыхание, повернулась к Юрию Сергеевичу, ожидая взрыва, но вместо ответа режиссер, обрывая совещание, громко и обидно для Крашенинникова произнес:

— Пойдемте работать!

Все поднялись. И тогда Юрий Сергеевич прибавил:

— А правильно или нет мы взяли пьесу, покажет жизнь. Других путей доказать правоту у нас нет.

Крашенинников вспыхнул, но, покусав губу, признал вроде бы с удовольствием, что главный поступает правильно: делу — время, потехе — час.

Если бы спектакль провалился, отношения у Юрия Сергеевича с Крашенинниковым могли бы еще наладиться. Но спектакль прошел отлично, успех был явным, театр поздравила областная пресса, оценив работу как событие,

Теперь Крашенинников всюду, где мог, ругал режиссера, а Юрий Сергеевич, естественно, директора. Все это ежедневно, во все нарастающих подробностях пересказывалось тому и другому доброжелателями — в театре такого не скрыть. И это понятно. Театр — учреждение особое. Обиженные в труппе всегда найдутся, есть и попросту обойденные вниманием, не получившие ролей, — они-то и передают все услышанное, торопятся приблизиться к одной из сторон.

На обеде, который давал приехавший неизвестный автор, о режиссере говорили с восторгом. Особенно старался бесхитростный молодой автор: он неудержимо хвалил Юрия Сергеевича, а в это время Крашенинников сидел надутый, холя обиду, мысленно баюкая ее, как младенца, и вдруг вышел.

Наступило молчание. Но автор преодолел шок первым, поднялся и, объявив, что директор в театре фуфло, предложил не расстраиваться, «не брать в голову», как говорят в Одессе, а лучше поздравить еще раз несравненную Озерову.

Две актрисы демонстративно поднялись.

В чем же дело? Ниночка Озерова, ведущая артистка труппы, была занята во всех спектаклях Юрия Сергеевича. Так ли она была талантлива, как казалось молодому автору, и тем более режиссеру, многие сомневались. Актрисы говорили, что Озерова хороший инструмент в режиссерских руках, все берет не нутром, а с голоса. Если бы, объясняли они, главный столько же внимания уделял другим, то в театре удач могло быть больше.

Газеты в это время печатали постановление о творческой молодежи, и Крашенинников решил пока делу ход не давать, но на заметку взял.

Молодой автор как бы подбросил соломы в огонь. Нет, привязанность к таланту — дело не запрещенное, режиссер волен выбирать для спектакля актрису, близкую к воплощению его замысла, но тут проглядывало иное — Юрий Сергеевич был влюблен в Озерову, и это видели все.

Отвечала ли Озерова ему тем же, пока не было ясно.

По мнению некоторых, ей больше нравился артист Кондратьев, или просто Сашка Кондратьев, но он был женат на Лиде Агеевой, теперь Кондратьевой, завтруппой, — хорошей доверчивой женщине, много занятой на работе, вечно обеспокоенной актерскими заменами.

До женитьбы на Лиде у Сашки было полно сердечных побед, в том числе и в театре. Победенные не помнили зла, чаще всего оставались его друзьями и даже, если верить слухам, приятельницами Лидочки.

Это заслуженное прошлое и не давало забывать старожилам, что Сашке палец в рот не клади, и раз уж идут разговоры, то можно считать сплетню фактом. «На пустом месте ничего не бывает», — говорили они, хорошо зная, что больше всего и бывает на пустом месте.

...Итак, Юрий Сергеевич бился над неудающейся сценой.

Директор сидел сзади, окруженный несколькими актерами (Кондратьев в том числе!), и все время что-то недовольно комментировал. Разговор за спиной и чужое ироническое недоброежелательство бесили Юрия Сергеевича. Он и сам чувствовал неудачу. Глупо, конечно, было обещать выпустить такую трудную пьесу, как «Бесприданница», за полтора месяца, к Новому году.

Юрий Сергеевич рассчитывал на острый спектакль, имел свою неожиданную концепцию. Год мог кончиться прекрасно — серьезной победой.

Этого-то и не получалось!

Если бы он принялся за «Бесприданницу» в начале января, то проблемы не было бы, но теперь поджимали сроки, а у директора нарастало недовольство. Режиссерская авантюра (так всюду высказывался Крашенинников) вела к тому, что актеры теряли квартальную премию, могли остаться на Новый год без денег.

— Управление культуры, — говорил Крашенинников, как обычно, со значительными интонациями, — просило передать, что выводы в дальнейшем ожидаются самые категорические.

Юрий Сергеевич мысленно обругал и директора, и управление и снова принялся за репетиции, стараясь не думать о сказанном.

Как же он дал такую промашку? Как взбрело ему в голову — не сошел же он с ума! — приниматься в ноябре за «Бесприданницу»?!

А было вот как...

После банкета, устроенного милым автором, Юрий Сергеевич, возбужденный победой, долго бродил с Ниночкой по ночному городу.

Все было как в чеховской пьесе: тихая черная ночь и блеск зеленого стекла от разбитой бутылки на берегу пруда.

Юрий Сергеевич был счастлив. Он рассказывал Ниночке о своей жизни, о том, что хотя ему сорок, но он столько уже пережил, — похоронил жену, замечательного человека; они дружили с восьмого класса, а вместе прожили — всего ничего.

— Ах, Ниночка! — взволнованно говорил Юрий Сергеевич. — Я только начинаю оттаивать, оживать, и когда я гля-

дел на премьерe вашу игру, то, наконец, понял, что же со мной происходило в последнее время. . .

Она засмеялась не допускающим продолжения смехом и, когда он протянул руки, чтобы обнять ее, увернулась, выскользнула, отбежала в сторону, показывая, что не намерена менять своего отношения к нему.

— Да вы, Юрий Сергеевич, попросту счастливы удачей, успехом. Вы, наверное, сейчас весь мир боготворите. Вы меня придумали, и это ваше, придуманное, вам и нравится. Пигмалион — не легенда, а истина. Мы, Юрий Сергеевич, только и любим то, что создаем сами.

— Нет, нет, — возразил он. — Это не так, не так, поверьте. Я люблю вас, это серьезно, я это решил не сейчас, не сегодня. . .

Он шагнул к ней, но она метнулась с тем же нервным смехом, и он крикнул ей вслед:

— Не бегите, Ниночка! Клянусь, я не позволю себе ничего. Я хочу говорить, только говорить с вами. . .

Он и правда в тот вечер много рассказывал. Чего только не было с ним! Когда жена умерла от рака, — как это страшно! — даже дочь не могла его удержать, он не заехал к родителям жены, бросил все, укатил сюда, думая, что здесь тмударакань. Ни успех, ни развлечения, ни любовь не привлекали его. А ведь он не урод, не дурак. Актрисы — народ эмоциональный, а тут молодой главный, с печальным лицом, вдовец, — кому не захочется попытаться счастья?!

— Только знаете, Ниночка, — признавался он, — не мог я. . . Приблизусь, бывало, преодолею себя, обниму женщину, а мне страшно делается — жену вижу. Приятели меня называли закомплексованным, только я не был закомплексованным, я был — ушибленным.

Ниночка слушала его, склонив голову, опустив глаза, и в тот счастливый вечер Юрию Сергеевичу показалось, что она поверила ему. Он снова протянул руку, и Ниночка не отстранилась, только сказала:

— Не нужно. . . Не хочу. . . пока. . .

Не хочет, не хочет. . . пока! Это «пока» обрадовало, в нем почувствовал Юрий Сергеевич надежду. Да, Нина поверила: он по-настоящему ее любит.

Он стал спрашивать Ниночку о ее мечтах, что бы ей хотелось сыграть дальше? И когда узнал, что Ларису в «Бесприданнице», то дал слово: это будет следующая ее роль. Но главное и знаменательное было то, что он и сам давно вынашивал концепцию «Бесприданницы», нашел оригинальную мысль. . .

— О чем же будет спектакль? — спросила она.

— О незащищенности интеллигентного человека перед хамством, о любви.

Он заговорил внезапно не об Островском, а о Достоевском и Чехове, так как едва протупающее, робкое у Островского стало важнейшей темой у этих писателей.

Ниночка не поняла Юрия Сергеевича, переспросила с удивлением: о каком интеллигенте он говорит?

— О Карандышеве! — с горячностью ответил Юрий Сергеевич, делаясь несколько косноязычным, волнуясь, что не сумеет убедить Ниночку, заставить ее поверить в такую очевидную, ясную мысль. — Именно о Карандышеве, в котором — вы присмотритесь внимательно — есть что-то от князя Мышкина и даже от дяди Вани Чехова.

— Не многовато ли родственников? — засмеялась Ниночка.

— Нет-нет, не многовато! — волновался Юрий Сергеевич, размахивая руками, вдохновляясь замыслом. — Вспомните хотя бы подготовку к званому обеду, желание Карандышева проучить купцов своим благородством. А окружение? Эти циники, так называемые деловые люди?! Возникает два полюса пьесы. Как это выявляет трагедию! Помните? — спрашивал он, останавливая Ниночку, и без того уже внимательную и серьезную — Кнуров покупает Ларису, собирается ей предложить такую цену, что стыдно не будет. Это же Достоевский! Тоцкий в «Идиоте» тоже выторговывает Настасью Филипповну, не жалеет денег.

— Да, — согласилась Ниночка, поймав интересную мысль. — Карандышев совершенно беспомощен. Его можно играть мальчиком, недавним гимназистом. И это никогда не игруется, намек на подобное нет. А как смешон!

— Смешон обязательно! — перебивал ее, радуясь, Юрий Сергеевич. — Да, да, вы правы! Как можно сыграть сцену розыгрыша, когда Вожеватов, это слово по Далю означает обходительный, да друг его Кнуров, что значит боров, кабан, — наш Крашенинников мне за ним чудится. . .

Сделал паузу, подождал, когда Ниночка оценит, продолжал:

— . . . когда они разыгрывают в орел и решку, кому брать после Паратова Ларису. Да и все их разговоры — такая сатира, такой беспощадный сарказм! Почему, не понимаю, это еще никто не поставил? Все игруется впрямую: купцы чуть ли не мычат, смотрят друг на друга стеклянными глазами, — так плоско!

Он дал Ниночке подумать, сказал с прежней горячностью:

— В моем спектакле будет много горечи...

— Но если ваш Карандышев — интеллигент, — допытывалась она, — как же понять Ларису? Почему она идет на все ради Паратова?

Он засмеялся, довольный.

— Но я же говорил, что эта пьеса о любви. А для меня — о любви в первую очередь. Притом любви неслыханной, страстной, любви безумной до слепоты и... безнравственности... Нет, нет! — закричал он, отступая в сторону. — Поймите верно. Безнравственной в том смысле, что уже нет сил с собой справиться, жалеть человека маленького, а значит, можно через него, через его страдания перешагнуть... — Поглядел на Ниночку, с испугом переспросил: — Не понимаете? Тутманно?

Расстроился еще больше, сказал:

— Забывают, что Лариса — женщина, женщина, а не девочка-несмышлениш. И это чрезвычайно важно. С Паратовым она узнала большую любовь. А Ларису чаще играют как существо бестелесное. Вот эту страсть, точнее — страстность, которую Достоевский так открыто и бурно обнаруживал в Настасье Филипповне, Островский в эти же годы стыдливо скрывал, прятал, а режиссеры проходили мимо, играли невесть что. Но если видна станет ваша страсть, то и поступок Ларисы станет ясным — уйти перед свадьбой с Паратовым, не пожалеть Карандышева, — а он у меня будет достоин жалости! — так потерять голову, забыться. И тогда дальше не нужно объяснять, отчего после этого мига можно и головой в Волгу. Все, все испила!..

Он устал, выговорился.

Они шли по темным, поблескивающим тропинкам вдоль озера, бросали мелкие камушки в воду, не видели их в темноте, а только слышали негромкие всплески.

— Я бы это сыграла, — сказала Ниночка. — Я бы могла. Я все, что вы говорили, чувствую, Юрий Сергеевич. Понимаю. А ведь это главное. А поняв героиню, сама уже будешь знать, как опустить голову, как поглядеть на Карандышева, на Паратова, на Кнурова, — чувство само поведет...

Радостный, он повернул Нину к себе и, не осознавая, не думая, обнял и поцеловал в губы.

Он был счастлив, что она не сопротивляется. Господи, как бывает! Чужие только что, они как бы впервые увидели друг друга.

Потом они шли домой, и Юрию Сергеевичу казалось, что в их отношениях появилось нечто прочное,

Все было в тот вечер удивительным — таких дней в человеческой жизни мало, их-то и нужно помнить.

Они вошли в Ниночкину квартиру, тихо, не зажигая света, сняли в передней плащи и так же тихо прошли в комнату, точно опасались разбудить кого-то невидимого, но присутствующего.

Он не чувствовал ни волнения, ни взвинченности — они полностью доверились друг другу, ощутили себя близкими людьми.

И то, что все так просто и легко случилось, не возникло потребности в словах, обычно таких банальных, а значит лживых, было для Юрия Сергеевича особенно важно.

Он лежал рядом с Ниночкой, влюбленный в нее мальчишка, боясь уснуть, чтобы случайно не вспугнуть ее легкий, счастливый сон.

Он смотрел на черный, как ночной свод, потолок и думал, думал, думал.

Вот наконец-то и кончилось его одиночество. Пришло очень важное. Он женится на Ниночке. Они заберут Ксюшу к себе.

Утром он сварил Ниночке кофе, она подсказывала из комнаты, где что лежит. Поджарил гренки, позвал завтракать.

— Вкусно? — спросил он, поглядывая на ее счастливое детское лицо.

Она показала большой палец.

— Выходи за меня замуж! — предложил он.

Она приподнялась, поцеловала его в губы.

— Зачем? Разве тебе так плохо?

— Хорошо, — засмеялся он. — Но я уже не могу, не хочу жить без тебя.

— Но это не просто, — сказала Ниночка, делаясь серьезнее. — А потом, у тебя взрослая дочь.

Он возразил:

— Какая же взрослая?! Шесть лет. Поменяем обе квартиры на одну. А Ксюшу ты полюбишь, ее нельзя не полюбить.

— Но почему у меня в двадцать четыре года должна быть сразу шестилетняя дочь? Нет, Юра, никакого от тебя предложения не было, не нужно. Давай сохраним полную независимость...

Она подставила ему щеку как знак примирения. Он отвернулся. Но тут же испугался своей дерзости, протянул к Ниночке руки.

Оказалось поздно.

— Нет, нет, — отодвинулась она. — Не хочу. Не стоит нам привыкать друг к другу. Сегодняшнее забылось. Да и не было ничего, верно? Тебе померещилось, показалось..

Он сидел на репетиции и злился. Ноябрь кончился, начался декабрь, а они так и не добрались до четвертого акта.

И дело было не только в том, что актеры хорошо не знали ролей. Они продолжали путаться в старых представлениях об этой известной каждому, неоднократно виденной пьесе. То, что объяснял Юрий Сергеевич, не воспринималось.

Лучше других, как обычно, была Озерова. И когда она начинала роль, Юрий Сергеевич точно обмирал, слушал ее с возрастающей надеждой — такая Лариса могла потрясти город!

Зато из-за мужчин он нервничал постоянно, и в особенности из-за Паратова, которого играл молоденький и интеллигентный Крутиков. Этой интеллигентностью актер и разваливал весь спектакль. Черт-те что получалось, когда рядом с Карандышевым, тонким и интеллигентным, возникал такой же неуверенный Крутиков — Паратов.

Конечно, Крашенинников прав — Крутикова пора было снимать с роли, начать работать с Кондратьевым — этого хотели все и, естественно, Ниночка, — но что-то мешало Юрию Сергеевичу переломить себя.

Да, Сашка Кондратьев стал бы сразу точнее и лучше. Паратов ближе к его актерской натуре. Он — мужлан, бабник, кот, но именно это и мешало Юрию Сергеевичу выпустить Сашку на сцену.

Возвращаясь домой с неудавшейся репетиции, он легко представлял Сашку Кондратьева на сцене, слышал диалог его с Ларисой, слова любви и буквально стонал от приближающейся неизбежности. Это прозвучит как насмешка. И хотя слухи еще не факт, но в данном случае Юрий Сергеевич больше готов был верить слухам. Впрочем, что значит — слухи?! Разве Юрий Сергеевич не замечал, что Сашка нравится Ниночке? Как она смотрела на него! Нет, он не мог, был не в состоянии переломить себя.

— Ну что вы упрямитесь? — шептал Крашенинников Юрию Сергеевичу во время очередной репетиции. — Почему не выпускаете Кондратьева? Крутиков попросту боится Ларисы, а вы хотите, чтобы такой объяснялся как повелитель.

— Вы мешаєте! — гаркнул Юрий Сергеевич, не думая, что оскорбляет директора.

Он опять тупо слушал сцену, беспомощный диалог жалкого человека с гордой и сильной Ларисой и вдруг рассвирепел.

— Эй! — закричал Юрий Сергеевич в сторону ramпы. — Да вы — что, импотент какой? Почему сюсюкаете?! Перед вами женщина, черт подери, женщина, с которой вы жили, которая незабываема, понимаете вы это, или вам уже понять нечем?!

— Понимаю, — испуганно дернулся Крутиков.

— Вот и говорите с ней так: страстно, сильно, повелительно. Кривляться вам незачем, тем более что и вы для нее незабываемы, вы мужчина у-ди-ви-тельный!

Грубо вышло. Но иначе он не мог. Иначе не проймешь актера, не доберешься до его сердца, до его эмоций.

Он прикрыл глаза, готовясь к повторению. Ниночкин голос зазвенел, взвился — свои слова она произнесла прекрасно. Но Крутиков оробел, сбился и, почувствовав, что ничего не может, перешел на крик.

— Перерыв, — устало оборвал его, как отмахнулся, Юрий Сергеевич. Поднялся. И, не глядя в сторону дремлющего от безделья Сашки, приказал: — Приготовиться Кондратьеву.

Ниночка вздохнула, бросила на Сашку довольный взгляд, и уже это не прошло незамеченным, отозвалось острой болью в груди Юрия Сергеевича. Он торопливо пошел в актерский буфет — нужно было выпить чашку кофе за минуты короткого перерыва.

Да, Юрий Сергеевич знал теперь все. Эти взгляды могли принадлежать ему, он имел на это право. А имея право, не мог понять, почему так прекрасно начавшееся внезапно оборвалось, кончилось, исчезло.

«Но ведь было, было! — думал он, обжигаясь кофе, стараясь не прислушиваться к разговору и смеху за соседним столом. — Неужели для нее это так легко и просто?»

Он боялся репетиции, как пытки, которую сам придумал. И оттого, что боялся, стал спешить, подгонять время. Не допил кофе, не притронулся к бутерброду, неизвестно зачем помчался к директору.

Крашенинников встретил Юрия Сергеевича непризвательно. Не мог, видно, забыть его окрик.

Стуча костяшками пальцев о стол, Юрий Сергеевич стал зло выговаривать, что сидеть за спиной режиссера и мешать работать — это безнравственно. Пока ищется рисунок роли, пока идут репетиции, — понимаете, ре-пе-ти-ции!! — директору в зале нечего делать! И он бы просил не только директора, но

и министра, если бы такой вдруг пришел, оставить его в покое!

— Я, уважаемый, сам знаю, где и когда мне присутствовать в моем театре. Я, между прочим, директор. И я обязан знать, чем и как объяснять отделу культуры ваш предстоящий неизбежный провал.

Мысли у Юрия Сергеевича словно исчезли — пауза осталась незаполненной.

— А теперь, — Крашенинников воспользовался молчанием, — идите и работайте.

Он стал набирать номер телефона, будто не замечал больше Юрия Сергеевича, но, когда режиссер дошел до дверей, не удержался и крикнул вслед: . . .

— Вы один во всем виноваты! А почему вы не назначаете Кондратьева, понимает весь театр. Только Озерова, дорогой Юрий Сергеевич, человек свободный. — Он отвратительно засмеялся.

Волна ненависти охватила Юрия Сергеевича. Он шагнул назад — Крашенинников подобрался на стуле.

— Слушай, Гусь! — угрожающе процедил Юрий Сергеевич. — Я же могу все твои перья повывернуть — нечем станут доносы строчить в управление.

Это была еще одна ненужная грубость, и, сказав такое, он понял, что ничего, никогда уже ему не простится, — этой фразой он выгонял себя из театра.

Зажгли свет на сцене. Юрий Сергеевич безразличным, усталым голосом зачитал несколько последних слов Робинзона из одиннадцатого явления.

Паратов — теперь Сашка Кондратьев — стоял спиной к залу, глядел в окно.

Вошла Лариса — Озерова, остановилась у кулисы, и Юрию Сергеевичу почудилось, что она бледнеет, вот-вот потеряет сознание, увидев Сашку — Паратова.

Кондратьев обернулся и сказал с вызовом, будто ругал, а не радовался встрече с Ларисой:

— Очаровательница! Как я проклинал себя, когда вы пели!

— За что? — испуганно переспросила Лариса и внутренне заметалась, спрятала от любимого человека свой беспоконный взгляд.

— Ведь я не дерево, — упрекнул он.

И вдруг, совершенно неожиданно, она, как сомнамбула, как во сне, как под гипнозом, пошла к нему, в его объятия,

и он с такой вызывающей страстью обнял ее, стал так целовать руки, а потом и лицо, что Юрий Сергеевич опустил глаза и невольно качнулся, уперся в спинку кресла.

— Bravo! — закричал Крашенинников и захолопал: — Bravo! Bravo, черт всех побери!

А Паратов уже говорил, говорил с восторгом, со счастьем:

— ...Потерять такое сокровище, как вы, разве легко?

— Кто же виноват? — спрашивала Лариса, обессиленная своей любовью, заливаясь слезами. Мир точно поблек для нее, перестал существовать. Какой там Карандышев — вот за кого она отдаст свою жизнь!

— Конечно, я. — Зло и без раскаяния сказал Паратов. — И гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя.

Она не могла понять его слов, его признания, а только жадно на него смотрела. Что бы он ни говорил, было хорошо. Главное, что он рядом.

И когда Паратов сделал паузу, замолчал, она, испугавшись, что невероятное счастье вдруг кончится, нетерпеливо вскрикнула:

— Говорите!

И он послушался. Заговорил спокойнее, зная, что сможет с ней сделать все. Все!

— Видеть вас, слушать вас... — И неожиданно, словно обрубая: — Я завтра уезжаю.

— Завтра!

Какая боль прорвалась в этом слове!

Юрий Сергеевич слушал музыку фраз, и когда Лариса сказала шепотом, как признание, как согласие на невероятное: «Вы мой повелитель!» — Паратов опять шагнул к ней и остановился, чего-то ожидая для себя особенного. Она потянулась к нему, будто молила, просила взять себя, унести куда угодно, а он не двигался, медлил. Она так и стояла, чуть наклоняясь, тянулась к нему, ожидая последнего жеста...

Нервы Юрия Сергеевича не выдержали: в эту секунду он почувствовал, понял всем своим существом, что тут не искусство, не игра, а подлинная жизнь.

Сбежавшиеся осветители, портнихи, бутафоры уже аплодировали, но он, Юрий Сергеевич, знал больше их всех, так как был единственным, кто мог отделить Ларису от Ниночки, Паратова от Кондратьева.

— Свет! Свет! — закричал он.

Крашенинников, оказывается, протягивал ему руку, но Юрий Сергеевич этого не заметил, а когда спохватился — было поздно.

— Простите, Геннадий Константинович, — догнал директора Юрий Сергеевич. — Я так устал от неудач, и вот наконец что-то действительно начинает получаться...

Крашенинников молча шел в свой кабинет. Он ничего не ответил Юрию Сергеевичу — слишком много народа видело его протянутую и повисшую в воздухе руку, — а сам думал о том, что прощать грубости нельзя и, что бы ни происходило в последующем, он уже теперь начнет искать замену режиссеру. С хамами и психопатами все равно долго не работаешься.

Весь оставшийся вечер Юрий Сергеевич не знал, куда себя деть. Читать не мог, строчки не выстраивались в предложения, смысл книги ускользал. «Да, конечно же, странное совпадение, мгновенное попадание в роль...»

Он расхаживал по комнате, думал. Такого с ним никогда не было. Он любил жену, стоически выносил ее болезнь — теперь и вспомнить страшно, — сидел около нее ночами, а когда наступил конец, горько плакал, и вдалеке от дома, в другом городе не проходило у него чувство пустоты.

Он списался с театром, сговорился с предыдущим директором («Господи, за что нам такая удача! Поверить не можем, что к нам едет известный режиссер!») и поехал сюда, мечтая начать жизнь заново.

И вдруг!

Впрочем, любовь кончилась для него, фактически не начавшись. Да и было ли то, что давало надежду?!

Было — не в первый раз сказал он себе.

А может, не было?

Он во всем сомневался.

В эти дни он несколько раз встречал Ниночку после репетиций, расспрашивал о пьесе, и она отвечала ему спокойно, независимо, как думала, но стоило ему заговорить о себе и о ней, как она словно бы удивлялась:

— О чем вы, Юрий Сергеевич?

— О том же, Ниночка, — глупо улыбаясь говорил он.

Потом он стал невольно думать о дочери. «Может, и действительно оставить ее у бабки? Там ей хорошо, старики души в ней не чают, а через несколько лет Ниночка сменит гнев на милость, согласится взять ребенка».

Юрий Сергеевич хотел сказать Ниночке об этом, но произнести фразу не мог — не было сил.

А по театру ползли сплетни: у Озеровой роман с Кондратьевым. Кто-то их видел вместе — в городке это не мудрено, и Юрий Сергеевич всему верил. «Может, поговорить с Сашкиной женой, Лидой, — в отчаянии думал он, не понимая, каким образом можно помешать этой любви. — Подло, подло столько обманывать!..»

Особенно тяжелы стали для Юрия Сергеевича незаполненные вечера. Тревожные мысли обрушивались на него. Он пошел в кино, поглядел пустой, милый фильм «Женитьба по брачному объявлению», но и эта, непохожая на нашу, французская жизнь не успокоила его.

Выходя из кинотеатра, он столкнулся с Лидой и искренне обрадовался встрече.

— Вы одна? — то ли удивился, то ли забеспокоился он.

— Саша вечерами в театре, утром я занята. Того и гляди картину пропустишь. Ани Жирандо люблю чрезвычайно.

Ему показалось, что она недоговаривает, прячет глаза, и он сразу перешел в наступление.

— Нам бы такую актрису.

— Нам достаточно и Озеровой, — засмеялась Лида.

— Озерова талантлива, — согласился Юрий Сергеевич. — Они с Сашей так сыграли на репетиции, что я чуть не прослезился, тем более что за минуту до этого был в отчаянии от Крутикова. Спектакль буквально разваливался. А здесь... ток, что ли, их связывал, полное единство.

Они неторопливо шли по вечерней улице. Фонари стали редкими, и, вступив в короткую полосу света, Юрий Сергеевич и Лида снова исчезли в темноте.

— Саша всегда преображается с Ниной. Я люблю, когда они в паре.

А если сказать этой наивной, доверчивой Лиде, что у него есть подозрение, тревога, ощущение даже: преобразование не случайно?!

Он испугался собственной мысли, отругал себя: «Это низко!»

— На Сашу я очень надеюсь, — продолжил Юрий Сергеевич. — Цеплялся за Крутикова, мучился, видел — нечего от него ждать, а отвести от роли не мог. Знаете, Лида, снять актера с роли — иногда непоправимая травма.

— Режиссер должен мыслить крупно, — осудила Лида. — Он ответствен перед всем спектаклем, а сострадание — дело врачей.

— Не скажите, — вздохнул Юрий Сергеевич. — Сострадание каждому требуется. Как бы мы отлично все жили, Лидочка, если бы умели сострадать!

Она приняла его слова за шутку, засмеялась.

— Ну, вам-то сострадают...

— Кто? — забеспокоился Юрий Сергеевич.

— Многие, — сказала Лида. — Мой Саша в первую очередь. Говорит, вы из сил выбились, столько делаете. Жалел вас...

— Жалел? — повторил Юрий Сергеевич и остановился. — Ваш дом, по-моему, рядом, второй от угла?

Она кивнула.

— Ну ладно. Пойду, — сказал он и, пожав Лиде руку у локтя, заспешил в противоположную сторону.

...Спектакль кончился. От театра тянулись люди — вначале толпа, затем — отдельные не торопящиеся парочки.

Из служебного хода появился Кондратьев, но не пошел к дому, а заходил кругами, кого-то поджидая.

Снова открылась дверь — выпорхнула Ниночка.

— ...И что интересно, — словно бы продолжила она начатый разговор, — когда актриса партнера чувствует, как я теперь в «Бесприданнице», то начинаешь играть по-другому.

Юрий Сергеевич стоял в темноте. Саша и Ниночка прошли близко, даже не заметив его.

Кондратьев смеялся. И смех его, долетевший издалека, еще раз невольно кольнул Юрия Сергеевича.

В двенадцать фонари погасли. Юрий Сергеевич все колесил по городу, усталости не было. Он опять думал о Сашке и Ниночке, ругал себя: «Все это нервы, мое возбужденное воображение. Вот уж не представлял, что я так ревнив!..»

Яркий свет от какого-то окна заставил его повернуть голову и остановиться. Дом, видимо, недавно уснул. Но рядом с входной дверью, с едва заметной тусклой лампочкой, горел как прожектор — так, по крайней мере, ему показалось — огонь в Ниночкиной квартире.

Юрий Сергеевич так и застыл, удивленный. Открылась дверь из коридора, в комнату вошла Ниночка, медленно потянулась, подняла руки вверх и в стороны, замерла на долгую секунду в странной позе — этакая скульптура засыпающей Дивы, — и, вдруг быстро охватив наперекрест себя, скинула и отбросила черный тоненький свитер. Потом тем же округлым движением, чуть повернувшись, она расстегнула юбку и перешагнула через нее, как девочка через скакалку.

Нужно было уйти; но он не мог в это короткое мгновение оторвать от окна взгляда.

Ежась от холода, она скинула рубашку. Юрий Сергеевич точно почувствовал шелковистую струнность материи, — все это он уже знал, знал, знал, черт побери! И потерял...

Мучаясь, страдая, он шел домой, не понимая, что нужно делать, чтобы окончательно не потерять ее...

Репетировали каждую свободную минуту — сроки подпирали. Иногда Юрий Сергеевич не уходил из театра домой, не оставался сил, а валился в кабинете директора на продавленный кожаный диван. Накрывшись пальто, он засыпал до утра, — в девять снова начинались репетиции.

Здесь, в кабинете, и нашли его. Оказалось, что уже второй день лежит на его имя телеграмма, и почтальон буквально сбился с ног, не понимая, как передать ее адресату.

— Прочтите по телефону, — попросил он.

Телеграмма была от матери. Юбилей отца назначен на субботу, и все обязательно его ждут. «Где уж! — подумал он. — В конце концов приеду позднее, после премьеры». Подписей в телеграмме было три: мама, папа, Ксюша.

Он достал из пиджака фотокарточку дочери и долго глядел на нее, вспоминая погибшую жену, но мысли отчего-то бегали, возвращались к Нине, — ее он хотел видеть больше, чем Ксанку.

Половину ночи он думал, как поступить. Нет, ехать нельзя.

Но только заснул, как раздался длинный звонок, и Юрий Сергеевич схватил трубку, не сразу поняв, что говорит мать.

— Как ты сообразила, что я в театре? — сказал он. Но, поглядев на часы, удивился — было четверть десятого.

— Я домой звонила. Тебя не было. Телефонистка и говорит — давайте в театр...

Он стал жаловаться, что невероятно занят, — вот и спит в кабинете — через две недели придется сдавать еще не готовый спектакль.

— Нет, нет, — будто и не услышала мать. — Все равно приезжай. Хоть на субботу и воскресенье. Вы же по воскресеньям не работаете?

— Как не работаем! — закричал он. — Какие в театре воскресенье?! Ты видишь, я в кабинете сплю!

— Отец тебя ждет, Юра. И я, — говорила мать настойчиво. — Отец совсем старенький. Тебе нужно приехать. Если не приедешь, то ведь бог знает, свидетесь ли?.. А Соня обещала в эти дни с Ксюшей побыть. Слышишь, Соня...

Он не знал, что сказать матери. Объяснить все равно невозможно.

— Какая Соня?

— Соня. Сонюшка. Серафимы Борисовны дочь...

— О, господи! — будто извинился Юрий Сергеевич. — Как ее дела? Не вышла замуж?

— Тебя ждет.

— Привет передай.

— Да она рядом. Звонить помогала.

Он сразу услышал другой, восторженный голос:

— Юра! Приезжай непременно! Мы тебя очень ждем!

— Не знаю, Соня. Не могу обещать, дел невпроворот...

А вообще постараюсь...

— Приезжай обязательно!

— На денек если...

— На денек?! — ахнула она. — Да разве можно? Тебя все ждут!

— Ты пойми, — обиделся он. — Спектакль сдаю. Конец года. Ну, мама не понимает, но ты можешь понять?

— Нет, не могу! — крикнула Соня. — Не могу понять совершенно. Если бы ты знал, как мы тебя ждем! А Ксана! Я отгульные дни взяла, в цирк и в кукольный с ней пойду, А приедешь — вместе...

Она, видимо, говорила дальше, но телефон отключился, гудков не было.

Он повесил трубку, накинул на плечи пальто и, озябший, походил по комнате. «Съездить придется, — с досадой думал он. — Пусть пока без меня репетируют, попрошу Кондратьева...»

Незнакомый голос будто бы остановил его: «Глупо!» — «Наоборот, умно, — возразил Юрий Сергеевич. — Кончатся разговоры и пересуды: сам передал режиссирование актеру...»

Глава пятая

КОШЕЧКИНЫ

Поезд подходил к Сиверской. Дуся успела не только вздремнуть, но и многое передумать. Нужно уговорить стариков Кошечкиных отпустить Ксюшу на несколько дней. Не в юбилей дело, ребенку все равно, какой юбилей. Отец едет, больше года не виделся с дочерью.

Нелегкое дело ей предстояло. Нанервничаетесь, наклоняетесь, а в конце-то концов одна и укаатишь. Подсолгу после

такого отказа просить не хочется. Последние разы иначе действовала: придет на полный день, навезет гостинцев — неудобно станет Кошечкиным нос воротить, — а тогда и попросится погулять с девочкой, пойдет с ней в лес по грибы да по ягоды. Ребенок резвый, живой, звоночек, скачет по кустам, заливается, а Дуся спешит за ней и хоть умается, но не сдается. Бог с ней, с усталостью, будет время — отсидится дома, отдохнет рядом с Сергеем Сергеевичем.

Дусина мать, покойница, умница была. Не осуждай, скажет, тогда и сама судима не будешь. Ты, скажет, всегда старайся другого понять, почему у него не твоя правда. Может, его правда правдивее.

Дуся, пока гуляет с Ксюшей, думает о Кошечкиных, прикидывает: что и как? Почему они такие недоверчивые? Я как-никак бабка, отчего же мне ребенка не дать? Александр Степанович попроще Ники Викторovны, объяснил однажды: «Ксюша у нас Иринино место заняла. Не можем мы без нее. А потом, Дуся, ребенок не мячик, чтобы его из рук в руки кидать».

Александр Степанович бывший майор, он в воспитании знает, наверно, и нужно ему поверить.

Ника Викторovна почти то же самое говорит: «Худые мы или хорошие, но ребенок у нас ухоженный, сыт да здоров. Воздуху и солнца на даче полно, что еще, спрашивается, нужно?»

Был бы у Дуси другой характер, она бы спорила, а так — смирилась. Пусть. Да у Кошечкиных и действительно внучке лучше.

Предположим, настоял бы Юра, забрал бы дочь, так он и за собой не присмотрит — любому ясно, что такое холостяцкая жизнь.

А к ней? Сергей Сергеевич у нее как ребенок...

Другое дело, когда Кошечкины запреты на все кладут, Отец не чужой. И почему — мячик? От других требуют внимания, а сами как глухие ворота. Радость всем нужна. Всем,

...В Татьянине поезд постоял подольше, выпустил на перрон порядочную толпу. Недолго ехать осталось. Юра хоть и кричал в телефон, что занят, а непременно прибудет на три-четыре денька. Дуся его характер знает: откажет, разозлится, но сделает, как просят.

Да и еще одного человека нельзя забывать: Соню. Не проговориться бы! Кошечкины такого никогда не простят. По их разумению Юрке нужно всю жизнь бобылем оставаться,

Дуся будто дремала, а сама раздумывала про свое. Представила Соню, улыбнулась ласково — почти дочь. Усики смешные, и глаза удивленные, добрые, — такие всегда у нее были в детстве, такие и остались, хоть счастливой Соню никак не назвать. Вот кто особенно Ксюшку ждет, сердцем мается, от чужого огня тепла хочет взять.

Вспомнился разговор их вечерний: «Мы бы, тетя Дусечка, и в театр с ней, и в парк культуры. А Юра приедет, я бы их в цирк повела». — «Да, Сонюшка, хорошо бы».

А сама улыбнулась украдкой, легко представила всех троих — вроде семья собралась счастливая: отец, мать, дочка.

Вот ведь какая жизнь! Если и достоин кто счастья — это Соня. Добрее человека нет, а живет одинешенька, к родителям бегаёт согреться. Квартира пустует, кровать холодная. И главное, не урод, не страхолюдина. Да и что — урод? Сколько бывает некрасивых, а счастливых каких! И полнота к лицу: не каждый худых уважает.

Юрка, когда в школе был, смотреть не хотел в Сонину сторону. Все: Ира, Иришка, Ирочка!

А Дусе другое мечталось. Соваться не пробовала — не в ее характере соваться. Кто в этом деле помощник? Но вот после Ирининой смерти появилась надежда: мужчина в несчастье, один живет, а ведь ты ему самый старинный друг — куда лучше!

Соня бегаёт к Дусе по всякому поводу, а Серафима Борисовна только посмеивается: кто, спросит, у тебя больше мать? Я или Дуся?

При чем тут — кто больше? Из-за Юры бегаёт — узнать, расспросить, понадеяться. А если письмо есть, так не прочтет и домой попросит; может, подругам показывает, за свое выдает.

Дуся очень на этот приезд надеялась. Поговорить с ним решила, совет дать. Да разве найдешь себе лучше? Всем хороша. И Ксюше мать, и хозяйка, и любит тебя с самого детства — не прокидайся, останешься на мели. А если полнота не нравится, так ты не прав. В нашей деревне худых знаешь как звали? Сказать смешно...

Размечталась — чего не вспомнила. Приехали с Серафиминим садиком — что свои дети, что Сонюшка, что чужие, различия не допускала. Все к ней тянулись, мамой звали, она и была им мать.

В школе Соня и Галина — две сестры. Юра — сам по себе. В Ирину влюбился, а что рядом человек страдает — внимания не обратил.

Двадцать лет прошло, как школу закончили, другие давно бы забыли, а эта все старым живет. Клещами тащи — не вытащишь, в него вера, на него надежда...

...Поезд встал и стоит. Дуся продышала дырочку в замерзшем окне, охнула: кажись, Сиверская! Выскочила из вагона, а дверь и захлопнулась — чуть домой снова не укатила.

Солнце на небе морозное, яркое, смотреть больно. Вот ведь и в городе солнце, да не такое. Тут все иначе: снег, что ли, слишком белый — в глазах режь.

Люди окружили автобус, — этот в сторону Кошечкиных; от кольца еще минут десять. Сидеть не придется. Ладно, не барыня, и постоять могу.

Вошла последняя, и тут же парнишечка, совсем молодой, вскочил, вежливый.

— Садитесь, бабушка.

Она пока с ним спорила, какой-то пьяный и сел.

— Чего, — сказал, — место пустует, когда человек едва на ногах держится.

— Ладно, сиди, родимый, бог судья.

Люди закричали, стыдить начали, а он рот открыл, завалился набок и захрапел.

А в окне бегут, разбегаются, петляют заснеженные улочки, громыхают грузовики. Стройка, что ли, какая? Прохожие на улице редкие. Действительно, райский уголок, тихий, не то что городской грохотун, все трясется.

Дадут или нет Ксюху? Должны вроде бы на этот раз дать. Причины уважительные. Дедушкин юбилей, восемьдесят. Потом — Юра приедет, а это событие.

Нехорошо, если откажут, несправедливо.

Старики Кошечкины странно живут. Дом выстроили — пятистенок, крепость. Забор — высоченный, нормальный человек и не заглянет. Хозяин, видно, сам не хотел на людей смотреть да и себя, свою жизнь не собирался показывать. В горе забор строил.

Беда на все свой почерк кладет. Если человек в беде, тут все только о его беде и рассказывает; и живое, и неживое вокруг него о беде будет кричать: немоготу мне, худо, хуже нй у кого не бывает.

После Ирининой смерти замкнулись они совершенно — каждое слово на вес.

Любили Ирину необычайно. А умерла — от всех отделились: ни в гости, ни к себе гостей. Почему? Да потому, сказали, что нет на свете людей сочувствующих, доброжелательных. Каждому только приятно, что не у него беда,

В город, хоть там и квартира, ездить перестали. Закрыли дом на много замков. Нечего вроде там делать. Телевизор на дачу сволокли.

Дуся зимой у Кошечкиных редко бывала, зимой труднее ей выбраться, за Сергей Сергенчем нужен глаз. Летом легче.

Александр Степанович, как ни приедешь, в одной и той же одежде ее встречал. Пижама зеленая, к штанам, видно, Ника Викторевна петли пришила для военного ремня, — так и ходил подпоясанный.

К своим поездкам Дуся загодя готовилась, советовалась с Серафимой Борисовной или с Соней, чего брать. Каждый раз страх на нее находил: как встретят? Если вожжа под хвост, так и неблагоприятно могут.

Без подарка не ездила. На этот раз особенно хорошо собиралась: отец едет, да и Соню хотелось побаловать.

Автобус прошел на кольце половину площади, открылись двери. Дуся одна осталась, все раньше вышли. У подножки высокая гора снега, — как ступить? Поглядела на водителя — он будто не видит, где поставил машину. Просить проехать немного — себе дорожке, скажет — барыня. И ступила в сугроб.

Их, как заехала! Снег теперь и не вытряхнешь из сапога. Оглянулась, а шофер ухмыляется — есть и такие люди. Ладно. Сам старым будешь — по-другому поймешь...

Дом Кошечкиных издали заметен. Подошла к калитке — чистенько, подметено, одно слово — хозяева.

За забором тишина, никакая не пробивается жизнь.

Нажала кнопку звонка, потом, как учили, еще два коротких, — это сигнал для родственников.

Заскрипел снег под валенками, голос Ники Викторовны удивился:

— Кто там?

— Я, — сообщила Дуся. — Евдокья Леонтьевна. Свекровь ваша...

Сколько пришлось произнести лишнего! Будто не бабка приехала, а Серый Волк. Ладно, раз иначе нельзя.

Отпала задвижка с грохотом. Дуся надавила на дверь, увидела спину Ники Викторовны, — та не поздоровалась, зашпешила к крыльцу.

— Замерзнешь! — вслед крикнула Дуся, подчеркивая, что не обижается. — Давай бегом! Без пальто да на улицу — в такой мороз!

Дверь перед самым носом хлопнула — не держать ее, раз холодно,

Дуся потянула за ручку: пружину такую поставили, что не сразу войдешь.

В сенях черпак на гвозде над полными ведрами, порядок у Кошечкиных образцовый. Переступила в горницу, а оттуда еще дверь на кухню.

Ника Викторовна стояла у печки, грелась спиной да разглядывала Дуся. Лицо спокойное: ни огорчения, ни радости. Дуся развязала шерстяной платок, поклонилась.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, если не шутите.

— Чего шутить, Ника Викторовна, родные мы.

Голова у Ники Викторовны за эти два года стала совсем седой, а возраста лет десять прибавилось, тоже старушка уж: горе работу свою хорошо знает.

Да только в седине ли дело? В глазах — усталость. Смотрит без всякого интереса: приехала, мол, и приехала, ни радости, ни горя от этого быть не может.

Дуся пальто стянула, повесила на вешалку. Нашарила тапочки в темноте и, надев большущие, не по размеру, пошла к Нике Викторовне, как на лыжах, шаркая негнушима ногами.

— Ой! — вспомнила Дуся на середине пути. Оставила тапки и бросилась назад, за авоськой.

Лицо Ники Викторовны не изменилось, не потеплело, когда Дуся вынула и поставила на стол две банки растворимого кофе.

— Зачем ты? — безразлично спросила она.

— Пейте, — отмахнулась Дуся. — После дорожания хоть достать можно.

— И почему теперь?

— По шесть...

Вдохнула глубоко, оторвалась от печки, перенесла кофе в буфет, рукой указала на стул: садись, мол, рассказывай.

Дуся пригладила юбку, чинно устроилась.

— В субботу у Сергей Сергенча юбилей. Приглашаем к пяти вечера. Вы как-никак самые близкие.

— Спасибо, — сказала не сразу. — Только давно никуда не ходим...

— Сергей Сергенча уважьте.

— Сколько ему?

— Восемьдесят.

— Я думала — старше.

— Так-то все ничего, — сказала Дуся. — Только стал заговариваться. — Прислушалась — нет, никто не идет, дома, видно, никого нету, — прибавила: — В школу ходит. Утром

встанет и собирается, ищет портфель. А днем — нормально, даже не помнит, если спросу...

— Старость не радость.

— Может, в последний раз собираемся. — Огляделась, решила узнать: — Что-то не слышу Александра Степановича да Ксюшки?

— В лесу. Вот-вот явятся.

Дуся замолчала, не зная, что дальше сказать. Без Александра Степановича разговор не серьезен: хозяйна нужно ждать.

Ника Викторовна поставила чайник на газ, вынула чашку, розетку, подвинула банку варенья — крыжовник вроде.

— И Юрий приедет? — спросила наконец то, о чем раздумывала.

— Занят очень, но обещался быть. Как же на годовщине без сына?

— Им только работа, — сказала Ника Викторовна. — А может, другая причина.

Поглядела на Дусю, как бы вопрос задала.

— Другого нет, — поняла Дуся. — Уверена...

— И-их, Евдокия Леонтьевна, да кто может быть в наше-то время уверен в чем?! Это я, мать, дочери не изменю, а муж?

Дуся кивнула, вроде согласна.

— Нет, не забыл, — сказала она. — Юрик помнит Иришу. Он так работает, что даже в театре спит. Чего обвинять не зная...

— Артист! — мягче, но все же осудила Ника Викторовна. — В театре спит! Дома нет, что ли? Весь город-то — плюнуть, а ему до кровати не доползти...

— Все вы недовольны, — заметила Дуся.

— Да что недовольны! — крикнула Ника Викторовна. — Душа болит, моя дочь все же!

— Это верно, — затихла Дуся.

Они вроде бы примирились. Дуся отломилла ложечку сахаренного крыжовенного, подержала над розеткой, чтобы отпала ягода, не дождалась, откусила с краю. «Не идет Ксюша, — отметила грустно, — поглядеть бы скорей».

— А не думала я, что Юрий столько продержится, — красивый мужик. Бабье нынче незастенчивое...

Подлила кипятку Дусе, плеснула заварки, белесой уже, не теперь заваривала, села, прижав кулаком щеку.

— Вон Сонька, твоя любимица, схватила бы вмиг. Лиса толстая! Спит и видит... Она и при Ирише на него пялилась...

— Они с Соней с детства друзья.

— Держи ее сторону, помогай!

— Я так просто, — вздохнула Дуся и опять прислушалась к тишине. — Соню мне жаль...

— Иришу жалеть нужно! — выкрикнула Ника Викторовна и промокнула глаза. — Иришу! Чего Соньку жалеть!

Поднялась резко, видно, слезы не хотела показывать, уставилась в замерзшее окно.

— Пора быть, пятый час бродят.

— Как Ксюшка выдерживает?

— Как Александр Степанович выдерживает? Она — будто волчонок. А потом, лес — не город, от леса не устают...

Дуся кивнула, а сама с грустью подумала: «Не отдадут девочку. Хоть на три бы дня... Сами не пойдут и ребенка не пустят».

И вдруг поднялась от неожиданных звонков: длинного и коротких, таких же условных, как и для нее.

— Идут! — выкрикнула Дуся.

А Ника Викторовна, опять простоволосая, бежала по двору, к калитке.

В окно Дуся видела, как Ксюша — высоконогая, краснощекая, хохочущая — влетела в бабушкины объятия. Ника Викторовна подняла ее в воздух, забыла, что раздетая стоит на ветру, закружила на месте.

Александр Степанович был чуть в стороне, смотрел с улыбкой на внучку, потом повернулся к окну, где стояла Дуся, — видимо, сказали ему, что дома гостя.

Ксюша подобрала лыжи, потащила к сеним, но не донесла, бросила и побежала к двери.

Дуся пригладила волосы, встала на пороге, ожидая внучку. Дверь хлопнула, и Ксюша повисла у нее на шее.

— Ну, — кричала Ксюша, — показывай, что привезла!

В коридоре закричал Александр Степанович, стаскивая с себя тулуп. Припал к ковшу, жадно пил воду.

На кухню зашел без валенок, в выцветших галифе и толстых вязаных носках, остановился в проходе, щурясь от света и рассматривая Дусю.

— Здравствуй, — кивком приветствовал он.

— Здравствуй, Александр Степанович. Приехала в гости и просить на юбилей Сергей Сергеевич. Восемьдесят стукнет.

— Какие мы гости?

— Самые близкие.

Ксюша держалась за Дусину авоську, а сама нетерпеливо глядела на деда: он мешал получить подарок.

— Сейчас, сейчас, — говорила Дуся, вытаскивая большую немецкую куклу.

Ксюша охнула.

Передник и платье помялись. Дуся пригладила одежду, вынула гребень и расчесала кукле волосы.

— Спасибо! — крикнула Ксюша и понеслась в другую комнату.

— Огонь! — похвалил девочку Александр Степанович.

Ника Викторевна качнула головой, сказала с сомнением:

— Зачем на подарки тратишься? Рублей десять, наверно? — Достала из буфета большую кружку, налила заварку, потом крутой кипяток, поставила перед мужем.

Александр Степанович охватил кружку ладонями, приблизил лицо, подышал паром.

— Не женился... артист?

— Нет, — опередила Ника Викторевна. — Иришу забыть не может.

Александр Степанович вдруг шагнул к буфету, приказал жене:

— Наливочку-то поставь.

Достал банку огурцов.

— Нужно бы съездить, — сказал Нике Викторевне, как бы не обращая на Дусю внимания.

— А Ксюшу я бы хоть сегодня взяла, — предложила Дуся. — Отец приедет, захочет увидеться. И всего-то на три дня... А мне, — не выдержав молчания, объясняла она, — обещались билеты достать и в цирк и в кукольный...

— Сонька, конечно?

Дуся потупилась, не сумела соврать.

— Ну и что, если Соня. Билеты для всех одинаковые.

— Билеты одинаковые, верно, — сказал Александр Степанович, остро и неприязненно глядя на Дусю. — А тебе неймется Юрке жену подложить. Страдаешь, что он холостой. Только не спеши, Евдокья, он на твою Соньку никогда глядеть не хотел и теперь не захочет.

— Да что ты, что ты! — замахала руками Дуся. — И мыслей таких нет.

— Есть! — прикрикнул Александр Степанович.

Дуся поджала губы, отвернулась, обиделась.

— Ладно, — отмахнулся Александр Степанович. — Теперь нам безразлично. Сам решит. Нас не спросит.

Замолчали. Дуся отпила глоток, сморщилась, захрупала огурцом.

— Ой, — среди полной тишины о чем-то вспомнила, — Я

тут тебе, Александр Степанович, гостинчик привезла. По случаю...

Сунула руку в сумку, стала шарить по дну.

— Мячики у тебя, что ли? — Александр Степанович пошутил вроде.

— А вот погляди.

Дуся положила на стол шерстяной узелок, стала развязывать. Выкатилась крупная луковица, потом еще две.

— Тюльпаны? — с удивлением спросил он.

— Сорт, сказали, хороший: Большой театр.

— Большой? — Александр Степанович даже поднялся. — Да я его сто лет ишу! Где достала, Дуся?

— Где купила — там нет, — небрежно сказала Дуся, понимая, что попала в самую точку.

— Господи! — ахал Александр Степанович. Он сложил вместе ладони и теперь перекачивал луковицы, дул на них, покачивал головой. — Да это же надо! — покрикивал он. — Да я!.. Да теперь!

Ника Викторовна приблизилась, хотела взять луковицу, но Александр Степанович заурчал на нее, как кот, отвел руки.

— Дорого обошлось? — не удержалась Ника Викторовна.

— Не дороже денег, — Дуся говорила небрежно.

— Это верно, — поддержал Александр Степанович.

— Для меня главное, чтобы подарок пришелся, — сказала Дуся. — Терпеть не могу безразличные подарки.

— Да, да, — засмеялся Александр Степанович, делаясь неузнаваемо разговорчивым. — Люди часто такое принесут, что им не нужно, дома валяется, занимает место. На, друг, мучайся, пусть у тебя будет. Помнишь, Ника, как нам Иван Федорыч подтяжки принес по рупь двадцать? А зачем? Я ремень ношу, тебе тоже нечего подтягивать, пришлось к дверям приспособить.

— Она и растворимого кофе две банки...

— Угодила, мать, — радовался Александр Степанович. Подул осторожно, точно птенцы это.

На кухню влетела Ксюша. Дуся повернулась к внучке, глядела не отрываясь.

— А как, баба Дуся, твою куклу зовут?

— Маня...

— Отпустим ребенка, — сказал Александр Степанович. — Бабка все же, грех не дать. — Повернулся к Дусе, спросил: — Двух дней будет?

— Будет, — шепнула Дуся. — А вы сами приедете к третьему дню и увезете...

Он погрозил пальцем, засмеялся:

— Выходит, три дня выпрашиваешь. Ладно. Вези.

Дуся присела на табуретку растерянная, еще не понимая удачи своей, думала: «Вот Юра обрадуется, когда Ксюшу дома застанет... Счастье у нас!»

— Значит, так, — отсекал Александр Степанович. — До субботы. Включительно. На юбилей приедем. А часов в восемь уйдем, не обессудь. И чтобы с вашей стороны без слов, без продления командировочной. — Повернулся к девочке, провел ладонью по ее голове, сообщил: — К бабе Дусе поедешь, веди себя хорошо.

Ксюша спросила:

— А Маню можно?

— Запачкаешь, — сказала Ника Викторовна. — Пусть дома ждет.

Ксюша прижала куклу к себе.

— Бабушка права, — торопливо сказала Дуся. — Ты Маню оставь, у меня дома Катя есть, не хуже.

— Хуже, — сказала Ксюша.

— Черноволосая, в красном платье, давным-давно тебя ждет.

— Ладно, — по-взрослому сказала Ксюша, возвращая куклу Нике Викторовне. — Только чтобы не хуже.

— Забалуешь ты ее, — говорил Александр Степанович, раскладывая луковички в картонной коробочке. — Тебе удовольствие, а нам с ней жить...

Глава шестая

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Начальство к Соне относится хорошо, с полным доверием. Подошла к главному, сказала, что ей нужно сегодня пораньше уйти по семейным обстоятельствам. Он только спросил:

— Закончили?

— Все. Не волнуйтесь.

В три зашла на междугородную, заказала разговор с Галиной. Нужно еще раз подтверждение — могла передумать. Да и про тетю Дусю стоило ей сказать. Подруга подругой, но и Дусю обманывать не хочется. Дуся почти мать.

Галина отвечала коротко, только «да» или «нет»; на работе не поговоришь, чужие уши.

— Галя, я к Николаю еду, у тебя все по-прежнему?

— Да.

— Тетя Дуся догадывается, нервничает.

— Знаю.

— Значит, будешь в пятницу?

— Да.

— Встретить тебя, Галочка?

— Нет.

Вот и весь разговор.

Вышла на улицу, вздохнула тягостно — нужно ехать.

Из трамвайного окошка город как на картинке — зимний, ясный, безветренный. Чуть мягче стало, и люди ожили, задыгались: человек тоже оттаивает, не только земля. И солнце пронзительное — смотреть больно.

Нет, нельзя было тете Дусе врать, не имела права. Простит ли? Может, простит, но заноза останется.

И все же не Дусину правду выбрала, а Галинину. Всю жизнь для подруг: их жизнь оберегала, старалась помочь, как могла. Вот и сейчас выполнит все, что просила, — ничего нет важнее чужой просьбы.

Ах, если бы и ей кто помог! Галина и помогла бы, да разве сможешь, когда у Юры ничего к ней нет, ничего...

Город кобчается. Незнакомая окраина, унылые дома, одинаковые, этакое однообразие на километры.

Спросила у женщины, долго ли еще ехать? Оказывается, пора выходить.

Безусый мальчик-милиционер выслушал вежливо, объяснил, как идти.

— Это завод, а не конструкторское, — поправил он Сою. — До конца улицы, а там проходная. — И еще сказал: — Сегодня на этот завод уже не первая женщина идет. День зарплаты. Лучше, конечно, своих мужей встречать.

Соня поблагодарила его, пошла торопливо, не оглядываясь.

Рабочий день только что кончился, непрерывающийся людской ручей тек и тек через проходную. Соня устала вглядываться, тянуть шею: и тот не этот, и этот не тот. Когда же Николай выйдет? Не упустить бы.

И вдруг точно прорвалась плотина — все разом пошли.

Соня пристроилась к охраннику с левой руки: он пропускал разглядывал, она — лица. Нет. Опять нет.

И тут — полная неожиданность. Едва отбежать успела. Не он, Николай, приближался к Соне, а оба они, с Таисьей. Дружная пара — шаг в шаг, она его даже за локоть придерживает, чтобы спокойнее быть. Потом Соня посмеивалась, когда думала, что это и зовется, наверное, чувством локтя.

Вот отчего у одних, доверчивых, мужья сбегают, а у других — полный порядок.

Танся, Танся, практичный ты человек, не чета Галине! Два раза ошибки не сделаешь, на одном пне не споткнешься. Надо же, вместе решила работать! Из-за Николая магазин бросила. Кем же здесь-то устроилась? Без специальности — так это не больше чем на восемьдесят...

А может, не подходить к Николаю? Не тревожить зря? Может, ему спокойнее, когда такая защищенная жизнь? Куда ни повернись — всюду жена, так что задурить — и помышлять нечего.

Охранник почувствовал движение за спиной, оглянулся. Только что рядом стояла женщина — и как смыло...

Танся и Николай вынули пропуска, подняли руки, будто и этот жест у них отрететирован, прошли через вертушку, даже не взглянув в Сонину сторону. Танся опять подцепила Николая под руку, вывела из проходной.

Эх ты, Коля-Колечка! Прощен полностью, пошалил и будет. Хорошо, видно, живут, спокойно. Шапка ондатровая, воротник — бобер, сапоги высокие, теплые. Не каждого так оденут.

А лицо прежнее, юношеское лицо, мужского маловато. Видно, Галина и полюбила его за мягкость. Да и любовь ее была похожа на материнскую — он вроде ребенка. Да таким и останется.

Из-за колонны все видно. Николай с Тансией у выхода оглянулись. Он взмахнул ресницами, о чем-то явно подумал в этот момент, нахмурился. В синих глазах полыхнулись испуг и удивление. Но тут же и погасли. Волосы отпустил до плеч. Мода, говорят, а в действительности — характер.

Когда семью бросил — Дуся рассказывала, — Танся пришла к ней с детьми. Стоят и плачут. Как Дуся только выдержала тогда.

На что же Галина надеялась? Да и нельзя женщине забывать про свой недолгий век: мальчик только в силу вошел.

Другое дело — Юра. Старые товарищи, одноклассники. Чего же еще? Ан нет!

В окошко из проходной все видно. Танся протянула Николаю хозяйственную сумку, дала наказ. Он покивал послушно, даже повторил, видимо, задание. Она отсчитала ему копейки и пошла к трамвайным путям, он — налево, к булочной. Повезло, можно будет встретиться, поговорить.

«Ну, тетя Дуся, прости, не обижайся, — думала Соня, догоняя Николая. — Виновата я, нет у меня характера, не смогла поступить иначе...»

На переходе загорелся красный. Николай перешел на дру-

гую сторону. Соня потеряла его на минуту, но тут же увидела в толпе около булочной.

Она все стояла, нервничая, пропуская машины, какой-то бесконечный поток тек по магистрали. Зажегся зеленый. Соня влетела в булочную, заняла очередь за Николаем, все еще не зная, как начать разговор.

Он вилок сдвигал багоны, решал, какой брать.

— Мягкая? — спросила Соня и тоже взяла вилку.

— Да так, ничего... — Повернулся и сразу узнал: — Соня? Как в наших краях?

Она обрадовалась, вроде бы не ждала.

— Случайно...

— Вот здорово! — говорил он. — Ну, рассказывай. Как живешь? Замуж вышла?

— Да кто возьмет?..

Улыбалась неопределенно, не зная, говорить с ним здесь или нет. Нельзя при людях — вон как тетки наставили уши. Вдруг сослуживцы?

Он, видно, и сам думал, как бы уйти, глядел на дверь нерешительно.

— Не спешишь?

— Нет, — сказала Соня.

Они шли вместе целый квартал, точно незнакомые. Соня старалась не отстать от Николая, но он будто забыл о ней. И вдруг остановился.

— А я думаю, — сказал он, — ты не случайно здесь. Галина просила? Я ведь тебя видел там, в проходной, да только решил, что мне померещилось. Знаешь, мелькнуло лицо, а я не поверил себе, отмахнулся, как от невозможного.

Она глаза опустила, не стала врать.

— Та-ак, — сказал Николай, растягивая слово. — Галина приезжает?

Соня кивнула. Чего говорить лишнее, сам догадался.

Николай опять рванулся вперед, но сразу же остановился:

— И когда?

— Завтра...

Он заговорил торопливо:

— Хорошо, что пришла, очень я тебе благодарен. А я второй год не живу, а мучаюсь, помню Галину. Забыть ее не могу. Только когда играю с детьми, успокаиваюсь. А Тасисья магазин оставила, к нам на завод пошла, ты ее видела... В отделе главного диспетчера работает, графики чертит. Но главная ее работа, — засмеялся странно, — за мной следить,

Вместе теперь ходим. Под руку. Это ты случайно меня одного поймала, я под надзором.

Соня взглянула на него с состраданием. А у него щеки рдеют, глаза блещут, говорит возбужденно, а сам куда-то коверк головы смотрит, — такая тоска!

— Галину я должен увидеть обязательно. И она, значит, хочет, раз послала тебя. Помнит. Не может забыть. Нет, нам еще долго с этим грузом жить.

— Помнит, Коля. Сказала: с поезда ко мне приедет, никто в городе об этом не должен знать.

— Завтра? — нервно спросил он. — Во сколько у тебя быть?

— Поезд в девять вечера. А ты уж сам думай, когда удобнее...

— В восемь буду. Даже раньше, пожалуй. Лучше у тебя подожду. Дома скажу: пошел в автомат позвонить сослуживцу. Мне главное — уйти. Таисья-то бешеная. В первую очередь может к тете Дусе броситься. Она ни с чем не считается, ни с чем...

Он сказал спокойнее:

— Ты, наверное, еще будешь Галине звонить? Скажи, я рад. Жду ее. Скажи, очень мне нужно ее увидеть.

Он даже изменился внешне, приняв решение. Расправил плечи, взял Соню под руку — совершенно свободный стал человек. Даже шутить начал.

— Представляю, Соня, что с Таисьей начнется! Она опасность сразу почует, в морг не помчится. Если и побежит, то по старым следам, она их не забывает...

— Ты меня тетей Дусей пугнул, Колючка. Вот кто страдать не должен. Она-то совсем ни при чем. Она же сама тебя домой возвращала. А Галка по глупости что-то у матери спросила обо мне, та поняла, к нам прибежала, пришлось слово дать, что помогать не стану.

Они будто сказали все, что нужно. И трамвай подошел, не заставил ждать. Соня остановилась у двери, не прошла в вагон. Народ схлынул — работающие уже раъехали.

Николай помахал ей. И опять Соне почудилось, что с ним произошла перемена, вторая за этот короткий час. Вобрал голову в плечи. Стал одинокий, незащищенный, нахохлившийся. «Ах, Галка, Галка! — подумала Соня. — Права Дуся — не нужно вам заново ворошить... Лучше Таисьи ему не найти. Этот тогда хорошо живет, когда им хорошо командуют».

Двери все не захлопывались, а Николай и Соня глядели

и глядели друг на друга, думая о своем. Жалко его! На такой шаг решился — как в атаку идет, как на смерть.

Ей вдруг захотелось сказать ему что-то доброе, поддержать, смягчить всколыхнувшуюся боль, и она неожиданно крикнула:

— Коля! Не забудь в булочную!

— Куда?

— Булку возьми, тебе велели.

Он не мог понять, думал о другом.

— Зачем? С поезда, что ли?

— Тасе, Тасе! Домой!

Он закивал. Дверь захлопнулась. Трамвай застучал по путям, закачал прицепным вагоном. Николай уходил с остановки сутулясь, пряча одну руку за пазуху, а вторую в карман. «Хорошо ли я сделала? — снова подумала Соня. — Как бы большой беды не навлечь».

...Галина Сергеевна нервничала, то и дело уходила в тамбур: поезд сильно опаздывал.

Кто-то протянул ей пачку сигарет. Галина Сергеевна взяла. Поднесли спичку. Она закашлялась, примяла сигарету в пепельнице.

Соседка по купе глядела на Галину Сергеевну с любопытством, даже не глядела, а разглядывала.

Галина прилегла на жесткую дорожную полку — постель была уже убрана, — подержала книжку в руках, но читать уже не смогла.

— Раньше нам все равно не приехать, — сказала соседка.

Галина Сергеевна бросила на нее недовольный взгляд. Это была молоденькая девушка лет девятнадцати, коротышка с румяными щечками.

— Что, не согласны? — девушке явно хотелось поговорить.

— Не приехать, — торопливо согласилась Галина Сергеевна, чтобы прекратить разговор.

Девушка затянулась сигаретой, запрокинула голову, медленно выпустила вверх облако дыма, сказала с рассеянным и небрежным видом:

— Значит, остается принять опоздание за благо. Считайте этот факт подарком судьбы: так кому-то нужно.

— Кому? — не удержалась Галина Сергеевна.

— Вам. Мне. Всем в этом поезде.

— Вам, может, и нужно, — раздраженно сказала Галина Сергеевна. — А мне — ни к чему.

— Кто знает, кто знает, — говорила девушка с теми же интонациями, — время покажет.

Галина Сергеевна спрятала в чемодан книгу и, не оборачиваясь, сказала:

— Я в таких опозданиях привыкла видеть только железнодорожное разгильдяйство. Платили бы пассажирам по рублю за минуту, научились бы не опаздывать... — Она бросила на соседку насмешливый взгляд: — А так слишком просто получается со счастьем. В жизни другое: придет поезд или опоздает, счастье тут ни при чем. Худое и без поезда произошло бы.

— У меня на этот счет свое мнение, — сказала соседка. — Я фаталистка, — она затянулась снова, разогнала дым рукой.

На повороте поезд закачался сильнее, загрохотал. Навстречу вагону плыли электрические провода, перекинутые через коромысла высоковольтной линии. Мальчишки-лыжники выкатили из-за насыпи, остановились, замахали палками, провожая состав.

Перестук стал тише, вроде бы успокаивал готовые разгуляться нервы. Ждет ли? Ждет, ждет, должен ждать. Но вдруг — вот в чем права эта девица — произойдет непредвиденное? Разве не может такое случиться? Может...

Нет, не сама подумала, колеса сказали: может, может, может...

В Николая она верит, хоть мягко, верно. Но ведь уехал однажды, бросил жену, решил. И еще было другое, важное для нее. Месяц назад вынула из ящика открытку. Поздравительную, ноябрьскую. А там... ни слова. Вот это и взяло верх...

— Сколько не виделись? — спросила девушка, не умея молчать.

— С кем?

— С тем, к кому торопитесь?

Она засмеялась, выказав свою проницательность.

Галина Сергеевна посмотрела на девушку. Отвечать или нет? И сказала не очень охотно:

— Два года.

— Порядочно.

— Много, очень много, — неожиданно для себя заговорила Галина Сергеевна. Она вдруг подумала, что молодые оказываются опытнее таких вот, как она. А что, если выложить все чужому человеку? Рассказать — и пусть здесь же и утонет. Выговориться — тоже лекарство.

Она стала рассказывать свою историю, не глядя соседке в лицо, отворачиваясь, стараясь не встречаться с ней взглядом. Слишком большая между ними разница в возрасте,

чтобы признаться самой себе, что ждет она совета от этой девушки. Познакомились как? В детском садике. Да, детей провожал, потом стояли в коридоре, разговаривали, долго ничего не было.

Как решили? На Севере был филиал их конструкторского. Сначала она поехала, затем он, вроде бы в командировку, а сам договорился с начальником, его и перевели.

Чем кончилось? Не кончилось, а оборвалось. Еду, должны встретиться... А тогда? Приехала моя мать, угворила его вернуться к детям...

— Надо же! — удивилась девушка. — Во имя чужих детей своей дочери жизнь разрушила. Такого я еще не слышала...

— Я на мать не сержусь... — сказала Галина Сергеевна. — Только от ее действий счастливых не прибавилось, разве его жена, жуткая баба, выгадала.

Девушка вынула зеркальце, посмотрела себя. Заметила намечающийся прыщик, поплевала на кончик платка, потерла. Нет, капелька гари. Вздохнула, попудрилась.

— Может, и хорошо для него, что жуткая. Думаете, всем мягкие нужны? Природа разного требует. Он вначале порывается, а потом будет всем говорить, что со своей женой прекрасную жизнь прожил, первейший она ему друг...

За окном плыли пятиэтажные каменные коробки пригорода, промелькнул цементный завод, — пейзаж, за которым так напряженно следила Галина Сергеевна, уже жалея о разговоре, о ненужной своей откровенности.

Дверь распахнулась, и проводница тонким, пронзительным голосом выкрикнула:

— Подъезжаем, девоньки! Город-герой!

Галина Сергеевна вскочила, стала надевать пальто.

Девушка тоже поднялась, защелкала замками чемодана.

В проходе вагона они опять стояли рядом, но теперь молчали. «Сама виновата, — думала Галина Сергеевна. — Зачем начала, чего ждала? А теперь только стыдно...»

По перрону катили свои тележки носильщики, торопились отъезжающие с чемоданами и баулами, поезд еле полз, проходя последние метры.

Девушка застучала кулаком по стеклу, засмеялась, — на платформе стоял окоченевший худенький лейтенантик с такими же окоченевшими живыми цветами, добытыми в декабре, видно, невероятными стараниями.

— Мой на посту! — с гордостью сказала девушка и, совершенно забыв о недавнем рассказе Галины Сергеевны, поинтересовалась: — Вас тоже встречают?

Перехватила испуганный взгляд, махнула рукой.

— Ой, это я так, от радости... — И опять с сочувствием: — А может, лучше вам и не встречаться?

Лейтенантик прилип к стеклу, сверкал зубами, светился. И вдруг, сообразив что-то, бросился к выходу.

— До свидания! — крикнула соседка. — Надо спешить. А то мой в тамбур ползет, перетолкает всех. — Подняла руку, помахала Галине Сергеевне. — Видите, — засмеялась, как бы обобщая, — опаздывать-то лучше, когда любят...

День получился отменный! Везде успели: и в кукольный театр, и в кафе-мороженицу, и в цирк на дневное представление.

Смотреть на хохочущего ребенка — одна радость.

Люди улыбаются, а Соня счастлива — все ее принимают за мать. «Ксаночка, — думает Соня со вздохом, то и дело поглаживая девочку, — если бы папа увидел, если бы понял все... Как хорошо бы нам было...»

Домой пришли к вечеру. Дуся носилась из кухни в комнату, а Ксана бегала за ней, рассказывала про клоунов. Накрыли на стол. Соня неожиданно заупрямилась, стала говорить, что спешит, дела у нее появились, а какие дела могут быть вечером?

— Свидание ответственное! — говорила Соня со смехом. — Не могу, тетя Дусечка, в другой раз побольше съем.

— Да какое же у тебя свидание? — волновалась Дуся. — Неужто нашла кого?

— Кабы так! — качала головой Соня. — Деловое свидание. Де-ло-вое!

Она поцеловала Ксану, пообещала прийти утром.

— У нас и на завтра программа! С утра начнем путешествовать — я отпуск за свой счет взяла.

— Завтра Галина приедет, не знаю — идти ли встречать?

— Зачем, тетя Дусечка? Сама доедет, — как-то торопливо сказала Соня.

Дверь за ней громко захлопнулась. Дуся вернулась на кухню, поглядела в окно. Соня куда-то бежала, видно, опаздывала. «Кто-то и правда ждет! Может, серьезно? — Она с недоверием покачала головой. — Дай-то ей бог...»

...Ужин Дуся приготовила редкостный. Для внучки, для госты своей дорогой, все брала с праздничного стола. Соленой рыбки, белужий бок, икорки, — набегалась, но все до-

стала. Положила на тарелки, поставила на поднос — понесла в столовую. Открыла двери и остановилась: девочка спала, положив на стол голову.

— Милая ты моя... — шепотом сказала Дуся. — Эко умялась!

Она взяла Ксану за руку, а та, не проснувшись, пошла в спальню, что-то бормоча непонятное.

— Ладно, — сказала Дуся. — Сон дороже еды. Проснешься завтра — полакомнись.

Потом они сели с Сергей Сергеевичем к телевизору, смотрели кино. Дуся думала о юбилее. Завтра соберутся все. Сколько шума! Давно в их дом столько людей не съезжалось. Они с Сергей Сергеевичем живут в тишине.

А смех да детский щебет — забыли, когда и слышали.

Она не сразу поняла, что звонят в дверь. Оказывается, заснула на стуле, давно не смотрит кино. Сергей Сергеевич рядом не было.

Звонок повторился, продолжительнее теперь. Дуся заглянула в спальню. Сергей Сергеевич спит, Ксанка — тоже. «Да кто это? Чего в такое-то время?» Экран горит синим светом, давно нет изображения.

И снова звонок! «Господи Иисусе, да кому же в такую-то ночь?!» Прикрыла двери в комнаты, плотнее прижала. Не дай бог разбудить ребенка. Спросила удивленным шепотом:

— Кто там?

— Свои.

Какие «свои» в первом часу ночи?! Да среди «своих» и голоса нет такого.

Приоткрыла на длину цепочки — стоит женщина, закутанная в платок, одни глаза видны. Что-то, правда, померещилось, да кто такая — сказать трудно. Не со сна припоминать. Ладно. Заходите, коли не шутите.

Показала рукой в сторону кухни, приложив палец к губам, — потише, все давно спят.

Женщина вошла, на ходу расстегиваясь. Пальто швырнула на табурет.

— Узнаете, Евдокия Леонтьевна?

Дуся даже вскрикнула. Таисья перед ней. Зачем в такое время пожаловала?

Стоят друг против друга, разглядывают, раздумывают о своем. «Господи! — пронеслось в голове. — Ну чего он нашел в ней хорошего? Куда против Галины, хоть та и старше на десять лет. Глаза узкие, холодные, блеск серый. Двинула челюстью — будто нитку перекусила».

— Таисья Никитична? — спросила Дуся робко. — Уж не с детьми ли что?

Таисья на глупости отвечать не стала.

— Давненько, маманя, мы с вами не виделись.

А глаза горят, норовят спалить Дусю. Нет, не прежняя эта Таська, совсем другая, неузнаваемая. От прежней, рас-терянной, жалкой, — следа не осталось. Нет, эта ночью не умолять пришла — требовать. Только что требовать? Галина все отдала, без остатка.

— Правильно говорите, — подтвердила Дуся, — не виделись мы давно. Что случилось, Таисья Никитична?

Прислушалась, не стонет ли во сне Ксана, не зовет ли Сергей Сергееч. Нет, все спокойно...

— Будто не знаете?

— Откуда мне знать, — сказала Дуся с достоинством, — что вам нужно?

— А кому и знать, Евдокия Леонтьевна! Я Николая ждала до двенадцати, дальше бессмысленно ждать, пора и на розыск. Не в милицию же, если муж сбежал. Милиция на смех поднимет. Но ведь и в магазин, сами подумайте, он до часу ночи ходить не мог. Не у вас ли прячется?

Она вдруг повернулась к столу и так кулаком треснула, что перевернула соль.

— А ну говори все, старая сводня! Где дочь? Куда пошел Николай? Адрес! Адрес на стол!

— Какой адрес? — переспросила Дуся, стараясь оставаться вежливой, а у самой сердце сжалось, грудь будто в тисках. — Дочь на Севере. — А сама подумала с ужасом: «Неужели Галина здесь? У Сони? Что же ты делаешь, девочка, зачем тебе это, глупая? Ведь ничего не выстроишь путного».

Таисья подняла пальто, надела одним взмахом, будто военная, застегнулась наглухо, замотала платок: головка махонькая, торчит будто гриб из глубокого меха.

— Ладно! — сказала с угрозой. — Кобель чертов! То-то он ночью кряхтел да ластился — решение, гад, принимал. А я таяла, понять не могла. Ну, я ему порешаю!

Пошла в коридор, но вдруг повернула, дернула дверь и прямо в пальто и сапогах — в спальню.

Ксана спала, а старик сидел на кровати, глядел на нее.

— Не узнаете, дедушка? — спросила Таисья. — Помните, ваша дочка, Галина Сергеевна, увела мужа моего, Николая?

— Помню, помню, — радостно закивал Сергей Сергееч.

Дуся не знала, какой знак подать.

— А где Николай?

— Мы не слышали, — подумав, ответил Сергей Сергенч. — Вот Галина завтра приедет, может, и скажет.

— Я до завтра ждать не намерена.

— А если вы завтра не узнаете, — предложил Сергей Сергенч, — то послезавтра мой юбилей, народу будет немного, но дети обещались быть. Приходите. Вы нам не чужая.

Танся повернулась, будто солдат, пошла к двери.

— Ладно, — сказала, раздумывая. — Будем считать, что вы не знаете. Ну, я сюда не столько за ним пришла, сколько с предупреждением. Если виноваты — худо будет. В этот раз никого не прошу. Другая я стала, Евдокия Леонтьевна. Чужого не нужно, но и своего не отдам, помните.

Открыла задвижку, дверью хлопнула, осыпала Дусю штукатуркой.

А Дуся стоит в коридоре растерянная, руки-ноги ватные, сил нет. Действительно напугала.

Вдохнула тяжело, поплелась в комнату. Какая усталость пришла — мешки грузить легче! Хороший был день, радостный, а как кончился?!

И вдруг поняла: здесь Галина, у Сони, с Николаем она! Ах ты, доченька, маетная душа, зачем же ты такое наделала, для чего?! Не по твоим зубам брать чужое!..

Не легла на кровать, а упала. Потолок черный, как-то птицы крыльями хлопают, ухаёт филин — это в ушах давление крови.

Опять Галину представила. Где она? Да и как можно минутой жить, о завтрашнем дне не раздумывая, зачем это?!

Так и лежала Дуся, глядела перед собой.

Шло время, часы тикали, а в комнате была тишина. Неловко спала Ксана, похрапывал Сергей Сергенч. Ничего, видно, не понял старик. А она все думала, страдала душой. Сказать завтра, что все знает? Нет, не станет ничего говорить. Зачем? Раз сама решила, пусть дальше сама и думает.

Соня поглядела на часы — пора идти. Нельзя ей при встрече присутствовать, нехорошо. Тут свидетели не нужны.

Николай говорил не умолкая, все жаловался на жизнь.

— Прости, Коля, — сказала она, вставая. — Сейчас должен прибыть поезд. Мне нужно домой, а ты Галину жди.

Он кивнул, вроде бы согласился.

— Покоя никогда не будет с моим характером, — возбужденно сказал он. — Вроде — все. Вернулся домой, Нет для

меня пути к возврату. А тебя встретил на улице, о Галине узнал — и уже ни о ком другом не думаю. И думать не могу.

— А как она встречи ждет! — сказала Соня. — Я только голос услышала, поняла — не могу ей отказать.

— Ты добрая.

— Добрая. Только иногда недобрые-то нужнее.

Он выкрикнул нервно:

— Вот ты говоришь: ей встреча нужна. А мне? Ты представить не можешь, как я живу, Соня! Я о той, прежней жизни постоянно думаю. Было ли? Может, привиделось? Если бы тетя Дуся не приехала к нам, я бы никогда сам не вернулся.

Он вздохнул тяжело, снова поглядел на часы:

— На сколько поезд опаздывает?

— Сказали, на час.

— Надо бы позвонить, проверить. — Прошелся по комнате и вдруг рассмеялся: — Таисью представил. Она меня из магазина ждет. На двадцать минут отпустила, а меня нет и нет. А ведь она и авоську дала, и кулек полиэтиленовый, чтобы рассол к огурцам прихватил. Огурчиков ей захотелось.

Махнул рукой.

— Часок поспитался по городу — сюда рано было, в «Хронику» забежал. Сижу, смотрю бой быков в Испании, а сам в полном от себя восторге. Свободен! Совершенно свободен!

— Считаешь, она ищет уже?..

— Не сомневаюсь. Только не пойму, с какого места начнет искать. Не с милиции же... У нее, Соня, на пропажу личной собственности особый нюх. А меня-то она всегда именно личной собственностью считала. Законной собственностью, за семью печатями, с государственными гербами.

Он прошелся по комнате.

— Я перед сегодняшним побегом даже во сне бредил, плохой конспиратор. Таисья разбудила среди ночи: «Повернись, говорит, на другой бок, что-то несусветное выкрикиваешь, пугаешь, уснуть не даешь». — «Сон, говорю, прекрасный!» А она с сомнением: «От прекрасного не кричат».

Соня поискала глазами будильник, прикинула время.

— Давай я в автомат сбегая, в справочную позвоню.

Он подошел к окну, прижался к стеклу лбом, долго разглядывал улицу.

— Сходи.

— Назад не вернусь, — сказала Соня. — На пальцах покажу. А не поймешь — открой форточку, я крикну...

— Жаль, что уходишь, — сказал Николай тихо. — Одному тоскливо. Время останавливается. А если она долго еще не придет?..

Соня рассмеялась:

— А я всю жизнь одна — и прекрасно... — Показала на телевизор. — Вон, включи или читай. Смотри, сколько книг. А я из того автомата звонить буду. Видишь, девушка разговаривает. — Выгребла из ящика двухкопеечные, видимо, всегда там держала. — Утром уходить будете с Галей, ключи соседке отдайте. Старушка в третьем номере, я предупредила, что не сама занесу.

Дошла до дверей, но остановилась, вспомнила:

— Да, кура отварная лежит в холодильнике. Бульон отдельно. — Надела пальто и снова вернулась в комнату. — Белье в этой тумбе...

Он кивнул благодарно, пошел за Соней, чтобы закрыть дверь, и снова вернулся к окну. Погасил свет, при свете не видно улицы.

Соня пробежала к будке. Наверное, не прорваться в справочную. Всюду людей не хватает.

Конечно, если себя потерять, делать только то, что Таисья прикажет, то и так можно. Вроде армии — получи увольнительную, а тогда и иди. За опоздание — трибунал.

«Почему» — возмутился он. — Кто дал ей право командовать? Мою волю ломать? Нет, милая, ошибаешься, человек свободен по сути своей. Перегнешь палку — покаешься. Каленое железо трещин никогда не дает, пополам сразу...»

Свет уличного фонаря посеребрил циферблат, обозначил на часах стрелки. Надо же: пошел двенадцатый! Давно бы Галине пора.

Соня выскочила наконец из будки, аж пар клубится. Николай открыл форточку, высунул голову.

— Когда приходит?

— Вот-вот, минутами!

Закрыв задвижку, отнес стул на место, включил свет. Господи, какой в квартире простор! Как пусто! Ах, Галка, Галка! Не было бы ребят маленьких, никакие бы Дусины слезы меня домой не вернули, с тобой только и было мне хорошо...

Он опять напряженно вглядывался в улицу. Такси остановилось на другой стороне. Она?! Нет, старик вылез, сгорбился, стал похож на крючок.

И тут же из-за угла вышла женщина, бегом пересекла дорогу, — опять не Галка.

А вообще-то легче жить таким людям, как Таисья. Без колебаний. Если оба в доме слабенькие, нерешительные — жизнь не выстроить. Кому-то положено и сильным быть.

«Что? Сомневаешься? А ведь завертится сейчас круговерть — не распутаться. Не умеешь ты, Николай, вывсды делать, одни ошибки всю жизнь...»

Он испугался возникшей мысли. Взглянул на часы. Было почти двенадцать.

Надо Таисью знать! С ума, наверное, сошла, крушит все в доме.

А ведь рано или поздно вернуться придется... Не каждый человек может рвать окончательно. Он не может, такой уж характер...

Где же логика? Для чего ой здесь? Только худо всем будет — и Галине, и Таисье. А еще хуже — Евдокии Леонтьевне, на ней все сойдется...

Он вдруг заметил, что стоит в коридоре, около своего пальто, даже руку уже протянул. Задумался: хорошо ли, правильно ли делает?

Накинул пальто, нахлобучил шапку и пошел на кухню писать записку. Надо спешить. Скорее, лишь бы теперь-то не встретиться.

«Галина!» — начал он и порвал сразу же. Грубо выходит, Надо бы — «Галочка».

Не написал и этого. Обращение уже обязывает.

Пошел к дверям, но сразу вернулся: о ключах надо написать.

Нацарапал нервно: «Ключи в третьем номере». И расписался.

Захлопнул двери, приколот записку, позвонил к соседке и, ничего не объясняя старушке, сунул ключ.

— Когда придут? — крикнула она вслед Николаю.

— Скоро, скоро, через несколько минут.

— Я не ложусь, у меня бессонница... — ласково успокоила она.

Он выбежал на дорогу и сразу же свернул в ближайшую подворотню. В проулке остановилось такси.

Выглянул. В кабине зажгли свет. Галина расплачивалась с водителем, отмахнулась от сдачи — торопливый такой получил жест. Побежала к парадной.

У Николая сердце ухало. Захотелось догнать Галину, просить прощения.

Что-то словно бы мешало ему. Голова работала с возмутительной холодностью. Он спросил себя: нужна ли эта встреча? Нет, ответил он твердо.

Но все же не ушел с улицы, стоял не под окнами, а чуть правее. Много прошло времени, а свет в квартире не загорался. Может, она не решается попросить ключи?.. А может, выбежит на улицу и увидит его...

И тут свет вспыхнул. Галина ходила по квартире в пальто и в шапке, не раздеваясь. Даже дорожный свой чемоданчик не ставила, держала в руке. Остановилась у окна и словно застыла. Он видел неподвижный и знакомый такой силуэт.

Надо было идти. Надо. А он все стоял под окнами и ждал, когда Галина пошевелится, вспомнит, что все еще не раздевается, снимет пальто.

Нет, не дождался. Вдохнул и пошел, поплелся к троллейбусу.

Таисья пришла домой около часа. Пальто Николая висело в коридоре, хотя она — если честно — не надеялась застать его дома. Вернулся, кобель!

Первое, что ей захотелось, — это кричать на него, упрекать в неблагодарности. Разве не из-за него, пакостника, стали они хуже жить?! Не он ли заставил ее пойти на завод, бросить хорошую работу?!

Она вошла в спальню, включила ночник. Николай похрапывал.

— Утомился, — со злостью сказала она. — Думает, что и на этот раз ему все сойдет, что он может издеваться, уходить из дома, когда захочется. Нет, такого тебе больше не отколется!

Таисья сняла со стула сложенные Николаем брюки, пошла на кухню.

Подумала, как резать. Достала портновские ножницы и раскромсала штаны в двух местах. Села к столу и стала сшивать разрезы белыми нитками. «Вот тебе, гад! Чтобы не бегал, не шастал без спросу!»

Она думала о своем несчастье, о том, какой ей выпал тяжелый удел — неверный мужик, за которым — столько лет прошло! — а все глаз да глаз нужен...

Глава седьмая

ГОСТИ

Гостей ждали к пяти: позднее — тяжело для Сергей Сергеевича, слабый стал.

Пригласили Клаву, конечно. Клава — старинный друг. Не позови первой — обид не счесть. Серафиму Борисовну и Никиту Даниловича с Соней — тоже самые близкие, Александ-

ра Степановича с Никой Викторовой — это родственники. Ну и свои все: сам-пять с Ксаной. Вроде не густо, но прикинешь — получается одиннадцать душ.

Дуся за последнюю неделю так набегалась по гастрономам да по кондитерским, что еда в холодильник перестала вмещаться. Подумала: можно и остановиться. Куда, спрашивается, еще, если настоящих едоков меньше половины: вилкой поторкают и лапки вверх. Одних диетчиков, кроме Сергей Сергеевича, — три лица, да Сима старается не есть лишнего, худеть решила.

Каждое блюдо Дуся по порциям рассчитала — всего в избытке. Покойница мать говорила: как на Маланьину свадьбу.

И все же не утерпела напоследок, задумала пирог с маком — это для Юрочки. С детства он пирог с маком особенно уважал.

С Галинкой почему не попробовать. Руки у нее золотые, так все и горит.

Мак пропустили через мясорубку два раза, замесили тесто. Пока Галина крутилась на кухне — все молчком-молчком да со вздохами, — Дуся украдкой на нее поглядывала, хотела понять. Неужели и до нее добралась Таисья? Ахти, горе горькое, неудача моя неудачливая! Хоть и самый близкий человек — дочь, а душа закрытая, как можешь, так и догадывайся. Чем же помочь-то тебе, Галина Сергеевна?

— Давай еще один замешаем, с саго?

— Куда, мама?! Все же выкинем.

— Да бог с ним! — А сама об одном думает. — Ты с Николаем... виделась?

Нет, не ответила. Отвернулась. И зачем спросила? Дочь не знаешь? Решит — сама скажет. И вдруг:

— Он записку оставил вместо себя. Время у него кончилось. Увольнительная. Сам когда-то над своей свободой шутил.

Смешалась Дуся, забормотала виноватая:

— Бог с ним, Галочка. Не старость еще, вон ты какая статная, красивая. Чего за такого держаться? Еще повезет...

— Повезло, мама, — схватила веник и давай мести.

Сердце сразу аукнулось, комок боли. То за дочь, то за сына, то Сергей Сергеевич что-то похуже стал, — болит одинаково. Нужно было бы и про себя с Валентиной Георгиевной, докторшей, потолковать, да неловко. Век живет Дуся, а по докторам не хаживала, о себе не говорила, — старое сердце поболит-поболит да и перестанет, такое случалось не раз.

А Галина неожиданно шарк веник в угол. Лучше бы не спрашивать. Точно взорвалась — котел кипящий, лавина каменная. И не удержишь, не успокоишь, пока само не пройдет, не промоет душу слезами.

— Тихо! Перестань. Терпи, дочь. Каждому по сколько-то терпения отпущено. И мне пришлось. И тебе осталось. А была бы воля моя, я бы свое и твое выносила.

Болит сердце у Дуси за Галину, сильно болит.

— Тебе, мама, столько не выпало.

Поняла и такое. Ее страдания — страдания, у других — пустяк. Ладно. Лишь бы горе утихло...

Сергей Сергеич приоткрыл дверь, разглядывает с удивлением.

— Иди, отец. Наше тут, женское. Укололась Галина, иголку в мусоре замела.

С Сергей Сергеичем просто справиться. Хорошо, что еще Юры нет, ему-то знать ни к чему.

Юру с утра на аэродроме встречали Соня и Ксанка. Вернулись домой шумные, счастливые, подарки выложили, — молодец, всех вспомнил! — помчались по музеям. Соня, как девочка, раскрасневшаяся, молоденькая, давно такой не видели ее, подливала Юре кофею, подкладывала пирогов.

Хохоту было! А Дуся все же и у Юры что-то почувствовала, нет-нет да и застынет у него грустный глаз. И ему крикнула бы: «Что с тобой, Юрик?!» Нет, не узнаешь. А начнешь выпытывать, только рукой махнет: «Хорошо у меня все, чего ты, мама?» Вот и приходится по лицу читать, по случайному жесту...

Ушли — не было одиннадцати. Приказала как всем: дома к пяти быть.

Стол накрыли ко времени. Часть закусок оставили в холодильнике, места для многого уже не нашлось.

Сергей Сергеич путался под ногами, советы давал. Дуся отвела его в спальню, достала рубашку крахмальную с запонками, с пристежным стоячим воротником. Граф вылитый! И галстук черный.

Костюм, конечно, Сергей Сергеич давно не носил, лет десять. С вечера отпарила, аж дым от утюга валил, хотела, чтобы с иголочки. Подошел бы только, боялась и примерять.

Подождала, когда Сергей Сергеич наденет, обошла вокруг, осталась довольна.

— Хорош! — сказала счастливая. — Барин, и все... — И рассмеялась.

Потом достала коробочку, где паспорта лежат, внизу

медали. Подержала одну, главную; «За боевые заслуги», да передумала: не военный же праздник сегодня, а рождение. Пусть мирным сидит.

Покричала Галину, дала на отца поглядеть, послушала ее одобрение.

— Посиди, папа, в комнате, погляди телевизор. Еще немного, и соберутся... — сказала Галина и подвинула отцу кресло.

Он уселся без возражений, привычно уставился на экран. Пока надевал парадное, притомился.

Не успели дверь прикрыть в комнату, как позвонили. Понеслись открывать, а на пороге гурьба целая: Соня, Юра и Ксанка, — рассказов не счесть!

Соня живет всех, живет Ксанки, — кто из них счастливее, не поймешь.

Дуся стояла рядом, поглядывала на седеющего сына, думала: «Женился бы на Сонюшке. Какая доброта пропадает...»

А тут Ксана ни с того ни с сего:

— Па-а! Давай на Соне поженимся!

Соня так хохотала, что заплакала.

Потом рассказывала Галине, что они успели повидать в городе, где были.

— Утром в ТЮЗе, потом к знакомому художнику в мастерскую. Правда, — поворачивалась она к Юре, — художник к моим замечаниям прислушивается?

— Правда.

Галина пожала плечами — что Соня может понимать в живописи? Бухгалтерия ее дело. Поглядела на часы.

— Что-то худо гости собираются... К шести дай бог всех за стол посадить.

Соня тоже взглянула на часы, потом на Юру и вдруг охнула.

— Ребята! — закричала она восторженно. — У меня есть гениальная мысль! Ну как я сразу не подумала, не захватила с собой...

— О чем ты? — спросила Галина.

Соня сделала паузу, подождала, пока Юра повернется к ней.

— Нужно фотоаппарат притащить. Я ведь и пленку купила недавно. Когда еще так вот все съедутся, за один стол сядут. Сбегаем, Юра, ко мне, одной скучно...

— Ты уж сама сходи, Соня, — попросила Галина и тут же пожалела о сказанном, такой укор полыхнул в Сонином взгляде.

— Да я и одна могу! — крикнула Соня. — Мне попутчики только для развлечения. Одной быстрее, одна нога здесь, другая там...

Она накинула пальто, повязалась длинным модным шарфом, а шапку и надевать не стала, так с шапкой в руке и вылетела на лестницу.

— Без меня не садитесь! — крикнула Соня. — Я в один миг!

Галина заглянула в спальню — отец неподвижно сидел у телевизора. Солдаты бежали по полю, рвались мины, плашмя упал человек, опять шла на экране война. Она подумала: может, перевернуть на другую программу? Зачем старику все эти воспоминания? Кто знает, что он думает, когда на такое смотрит? Да не решилась. Лицо у Сергей Сергеевича было спокойным, никакой в нем тревоги.

В дверях звякнуло. Дуся прислушалась, сказала дочери: — Это Клавдия, она точкой звонит.

Подождала немного: в комнату действительно донесся громкий энергичный голос Клавы:

— Бери, бери, подхватывай! Да покажись, девка, сколько я тебя не видела. А ничего! Все на месте. Куда мужики-то глядят, какой товар стынет.

Дверь отлетела, будто ее пихнули ногой. В комнате возникла Клава, за ней Галина с большим противнем.

— Привет дому! — объявила Клава, сграбастав Дусю и решительно ее целуя. Отыскала глазами Юру, шагнула к нему. — Ого, красавец какой! Тетка Клава тебе не чужая, если помнишь ее.

— Помню, — засмеялся Юра. — Как же тебя, тетя Клава, забыть?

— А я уж боялась, что ты только с артистками целуешься. Я ведь тоже в хоре пела, у Дуси спроси.

«Нет, не так что-то у Юры, не так», — подумала Дуся. Она видела, как его взгляд проколол Клаву, будто та к больному месту притронулась. Но Юра тут же пересилил возникшую боль, рассмеялся:

— Какие артистки, тетя Клава! По сравнению с тобой у нас одни уродины.

— Ну, успокойся. — Она нашла Дусю глазами, показала на противень: — Рыбник спекла. Давай деньрожденника, ему вручать буду.

— Где рыбу достала? — удивилась Дуся.

— Иностранная. Мерроу. Еле выучила.

— С новой боязно, — сказала Дуся с сомнением. — Кто ее знает: можно есть или для плана спускают,

— Отсталая ты, Дуся, — возмутилась Клавдия. — Жизнь меняется, не то что рыба. Может, ее спутником ловят, разве это поймешь с нашей грамотностью?

Оглядела стол, прихватила вилкой грибок, слизнула.

— Деньрожденника прячете? Хотите прямо к столу поднести?

— Посадили в той комнате, телевизор смотрит.

— Ага, — кивнула Клава. — Над собой растет, кругозор расширяет, это хорошо и полезно.

Дуся стояла с рыбником, решала, куда поставить, понесла на кухню — целиком не войдет, а кусками, да на маленьких тарелках, еще можно пристроить.

Клава разрежала сама, попробовала, — хорошо пропекся! — стала переключивать.

Сколько лет Дуся дружит с Клавой, а все удивляется: ни возраста у нее, ни покоя, характер ключом бьет. В тридцать восьмом обе вступили в группом домработниц, так Клавдию сразу заметили, по общественной линии пустили, открыли, как говорится, ей светлый путь.

А Дуся? Все, что успела, — в этой комнате, в этой квартире: дети. Конечно, не сама родила, да сама выкормила. И муж человек хороший, уважительный. Правду сказать, одной уважительности и хватило ей на всю жизнь, теплоты не досталось...

Отвернулась, чтобы Клава не подсмотрела слезу. Начнет расспрашивать — день-то сегодня праздничный.

...В войну Клава здорово в гору пошла. Дуся в Азии письма от нее получала — то портрет из газеты, то статью. Клава — первая стахановка. Клава — орденосеица.

Почитает, бывало, Дуся, погордится, подумает, что и она могла бы на фабрике, да вот дети. И у нее, у Дуси, руки золотые — в деревне каждый об этом знал. Да от судьбы не спрячешься.

Про Клаву писали, что к большим высотам выходит. И уже не у станка была, а на профсоюзной работе. Письма короткие приходили — на длинные и времени нет. А все равно молодец: раз пишет — значит, хуже не стала.

После войны снова к станку пошла, тут ей лучше. В конце-то концов, не сама себя переводила в начальницы, так время велело.

А у Дуси собралась вся семья. Клава над ней посмеивалась, барыней называла. Еще бы! Свой дом, свои дети, свой муж. «А мой, — говорила, — видно, не родился. Молодая еще. Не погуляла».

Придет посидеть — гостинцев натащит. И Гале, и Юрику — вот вам, ребята, знайте наших, за теткой Клавдией не пропадет!

Так и теперь — то к Галине, то к Юрию поворачивается, других будто бы нет.

— Ну, артист, чего тетку ни разу в театр не взял?

— Приезжай, тетя Клава.

— И приеду. Я девушка легкая, помани — сразу явлюсь. Темпераменту да энергии поболее молодых будет, вон с Сонькой только клопов и давить.

— Ой, бесстыжая! — Дуся замахала руками на Клаву, но та засмеялась своей шутке, сказала с вызовом:

— Думаешь, я хуже Соньки в театрах пойму? Ого! Да я так за халтуру-то всех раздраконю — за голову схватиться, умолять станете: «Пощади, тетя Клава!»

Огляделась вокруг, поискала кого-то глазами, удивилась.

— Серафима, а где Соня твоя?

— Побежала за фотоаппаратом, решила фотографировать, когда еще все вот так встретимся.

— Ишь ты! — похвалила Клава. — Это дело приветствую. Одни одуванчики собрались. Подует ветерок — и следа не останется.

В дверях опять прозвенело. Галина бросилась открывать, стало слышно, как кто-то обивает ноги, затем раздался голоса.

— Заходите, заходите, — говорила Галина, — мы вас, Александр Степанович и Ника Викторовна, давно ждем.

Ксана бросилась к деду. Он поднял ее, поцеловал, поставил на пол.

— Погоди, погоди, — прогудел мягко, доволен был, что так встретила. — Я с улицы. В снегу весь. Не забыла — и то хорошо.

Юра пробился к Кошечкиным, расцеловался с обоими, помог раздеться.

— Смотри, как ухаживает! — подкинула Клавдия.

— А мы не чужие, — напомнил Александр Степанович. Повернулся к зеркалу, поправил орденские колодки, усы раскидал, отодвинулся, дал место жене. — Именинник где? — спросил он, целуясь с Дусей.

— Телевизор глядит.

Александр Степанович пошел решительно в другую комнату, за ним Ника Викторовна и Дуся.

Сергей Сергенч подался к экрану корпусом, внимательно что-то смотрел.

— Привет ветеранам! — сказал Александр Степанович и потрепал Сергей Сергенча по плечу. — Как самочувствие?

Сергей Сергенч встал на минуту, расцеловался с родственниками и тут же сел на прежнее место, снова уставился на экран.

Кошечкины вышли. Дуся постояла за спиной Сергей Сергенча, раздумывая, не пора ли ему к гостям, но тот забормотал что-то, попросил не мешать. Ладно. Она вышла тихо-нечко, как и вошла.

...По хлябкой дороге шли войска.

Сергей Сергенч подтянул стул поближе, стал вглядываться в колонну.

Грохотали пушки. Огонь вспыхивал справа и слева. Земля поднималась дыбом. Нельзя было понять, откуда бьют немцы.

Грохот вдруг стих.

...Он шел, Винтовка, противогаз, скатка, — где это было? где? Нет, не помнит. Он шел. И шла рота. Полк. Корпус. Винтовка становилась все тяжелее. Давила на плечи. Тянула к земле. Шею натирала скатка...

Конца не было тем, кто в строю, колонна тянулась. Их перебрасывали на другой участок фронта. «Перебрасывали» — так назывались эти семьдесят километров. Сто семьдесят — так казалось.

Там они были нужнее. Этотдвигающийся, измученный корпус должен был решить судьбу фронта. Подкрепление, свежие силы, говорили в штабе.

Они шли. Сначала была усталость. Тупая, бездумная, когда ты не в состоянии понять, что заставляет тебя идти дальше. Не упасть. Не свалиться. А если валишься — тут же подняться и идти снова.

Потом появилась легкость. Идешь и не чувствуешь тела. Ты вроде птицы. И только где-то блуждает мысль: на привале нельзя ложиться — не встанешь.

Он открывал глаза, натываясь на шагающих впереди, и начинал понимать, что спит на марше. Все спят. Идут ноги. Плечи держат винтовку и скатку, а мозг спит. И только часть мозга, таинственный уголочек, прислушивается к приказам.

На переправе им дали десять минут. Это — лечь и подняться. Тому, кто остался стоять, не ложился, — было легче. Тот, кто лег...

Разбудить спящего было невозможно. Спящих переносили в воду: голова на суше, ногами — в реку. Люди не просыпались,

Их не разбудил даже обстрел переправы, жуткий грохот слышался сквозь сон, все это вспомнил он лишь в госпитале.

Сергей Сергенч оглянулся. Его трясла за руку Дуся. Он узнал ее и улыбнулся.

— Господи, — сказала Дуся. — Какой потный! Тебе что-то привиделось, Сергей Сергенч?

Все было как прежде. Он испугался, потому что снова забыл ее имя.

— Ты... — он почти крикнул.

— Дуся, Дуся я! — Она тут же припала к нему, положив голову в ямку, туда, где плечо и ключица. — Да успокойся, Сергей Сергенч, это я виновата, вот ведь дала посмотреть, растревожился, вспомнил.

Она вывела его в комнату, где гости ждали Сою. Горела люстра, все лампочки были зажжены, давно в комнате не было такого большого света.

Сергей Сергенч дрожал.

— Чего он? — шепотом спросила Клава и оглянулась — никто, кроме нее, ничего не заметил.

— Войну вспомнил, — сказала Дуся.

Она посадила Сергей Сергенча в кресло, повернула к людям — пусть послушает разного разговора.

— Придет Сося, — объяснила Дуся, — и сразу сядем.

Александр Степанович кивнул согласно, оторвал взгляд от зятя, потер ладонь.

— Чайку бы не худо с мороза. Ну, — продолжал он, как бы не прерываясь, — рассказывай, как житуха?..

— Дел полно, Александр Степанович, сдаю спектакль, едва приехал.

— И мы крутимся, Юра, — упрекнула Ника Викторвна. — То дрова, то ремонт, то клубни перебираем. У нас садоводство.

— Перепутала божий дар с яичницей, — встряла Клавдия.

Александр Степанович крикнул, оставил обидное замечание без ответа, повернулся к зятю:

— А ты, брат, решил деньгами отделяваться? Носу не кажешь. Это твоя дочь!

— Летом буду.

— Посмотрим.

Дуся стояла рядом с Сергей Сергенчем, обняв его за плечи.

Подошла Серафима Борисовна, поглядела на Дусю, подвинула стул.

— Сердце щемит, как к непогоде... — тихо сказала Дуся.

— Ты просто устала, шутка ли, такой стол в наше время...

— Стол — одна радость, — улыбнулась Дуся. — За Сергей Сергенча испугалась...

Весело зазвонило в дверях, и все сразу оживились, — это, конечно, Соня. Она распахнула дверь и сразу же, в пальто и в мохнатой шапке, влетела в комнату, расставляя на ходу треногу.

— Ой, — кричала счастливая Соня. — Сейчас сделаем снимок!

— Давай, Соня, все страшно проголодались.

Кошечкин достал папиросы, выбил щелчком одну, помял в пальцах — она лопнула. Он тяжело поднялся, ссыпав в пепельницу табак из пригоршни, вернулся к зятю.

— Мать очень мне угодила, — кивнул он в сторону Дуси. — Привезла луковицы редчайших тюльпанов. Спекулянты за такие по три шкуры дерут. Да еще не достанешь.

— С нее, наверное, не меньше содрали, — буркнула Клавдия.

Александр Степанович как не заметил.

— Я-то больше Художник люблю. Сорт хороший. Но Большой театр — это шедевр. У меня сосед-генерал с ружьем бережет.

— Трудно за цветами ухаживать? — спросила Серафима Борисовна.

— Ерунда! — со знанием возразил Александр Степанович. — Главное, любить. Сейчас Ксюша многое знает, хотя и ребенок.

Он поискал глазами внучку.

— Ксю! Какая должна быть глубина почвы, в которую сажают тюльпаны?

— В три луковицы, — без запинки ответила Ксюша.

Все, кроме Сергей Сергенча, рассмеялись.

— А удобрение?

— Навоз.

— Ты что? — огорчился Александр Степанович.

— Почему не думаешь, — крикнула Ника Викторовна тонко. — Что вы с дедушкой собираете?

— Дрова.

— Какие дрова? Листья!

— Ага, листья.

— Так какое удобрение?

— Перегниль.

— Перегной, — поправил Александр Степанович.

Соня уже разделась, прищурившись разглядывала гостей, как бы обдумывая кадр. Подошла к Сергей Сергеечу, слегка повернула кресло, именинник должен смотреть в объектив, с правой стороны приставила к нему Дусю, велела держать руку на его плече, остальных тоже приблизила к юбиляру.

— Оставьте мне место около Юры, — попросила Соня.

Гости толпились, Александр Степанович будто и не услышал Сониной просьбы, устроил Нику Викторовну за Юриным стулом, сам сел рядом, а Ксюшу взял на колени.

— Ну, пожалуйста, Александр Степанович, встаньте, — просила Соня. — У меня будет две секунды, я должна сесть, иначе могу оказаться не в кадре.

Кошечкин не ответил.

— Ну что тебе, жалко? — сказала ему Клава. — Освободи место, она же снимает.

Александр Степанович встал недовольный, поставил перед собой внучку.

Соня наводила аппарат. Сергей Сергееч сидел неподвижно, его вроде бы ничего не касалось. Рядом стояла, держась за него, Дуся, ее правая рука лежала на сердце. Дуся широко улыбалась, но в глазах было много усталости и грусти. Дальше стояли худой Никита Данилыч, маленькая Серафима Борисовна и Галина.

Юра сидел, правее него пустовало кресло.

— Мама! — неожиданно обратилась Галина к Дусе. — Ты когда-нибудь в жизни снималась?

Дуся ответила сразу:

— На паспорт.

— Нет, нет, — настаивала Галина. — А так... без дела?

— Не помню, было ли со мной что... без дела... — сказала Дуся.

Она переступила ногами и опять застыла, снова прижав руку к сердцу, что-то оно сегодня не переставая болело.

— Прошу всех улыбаться! — крикнула Соня. — Жизнь хороша и прекрасна!

— Хороша жизнь! — тут же хохоча поддержала Клава.

— Пусть она хороша будет детям, — сказала вдруг Дуся. — А моя жизнь — как борозда кривая...

Аппарат давал выдержку, все затихли. Соня бросилась к пустому креслу, но Александр Степанович неожиданно повернулся и как бы случайно перекрыл ей путь к Юре.

— Пустите! — торопливо просила Соня, пробиваясь.

Александр Степанович будто не понимал.

Аппарат щелкнул. Кресло так и осталось пустым, а Кошечкин то ли беседовал с расстроенной Соней, то ли шел на нее грудью. Сергей Сергеич даже не шелохнулся.

— Давайте еще разочек! — попросила Соня, но ряд распался, гости рассаживались вокруг стола.

— Хватит, хватит, — сказал Александр Степанович. — Больше не будем. Что выйдет, то выйдет.

Глава восьмая

НИНОЧКА

Гости разошлись, Сергей Сергеич и Ксюша давным-давно спали, — Дуся уговарила стариков оставить усталую девочку.

Женщины перенесли вымытую посуду в буфет, пришла пора собираться и Соне.

Она медлила, шапка и пальто были на ней, а что-то словно забыла — топталась в передней.

— Где же вы всех уложите? — сочувственно спросила она. — Давайте Галину, я ее у себя оставлю.

— Я к тебе не хочу, — сказала Галина. — Несчастливый твой дом, вон забирай Юру.

— А что? — крикнула Соня с вызовом. — Пожалуйста! У меня отлично! Выспится. А я — к старикам, они рады будут.

— Шел бы, Юрик, — посоветовала Дуся. — Вторые сутки, и опять на приступке.

Юра глядел нерешительно.

— Если не затруднит, я бы...

— Да почему затруднит? — Соня вспыхнула. — Ну?! — покрикивала она. — Собирайся, первый час ночи! Белье дома у меня приготовлено, только из прачечной. И еды полно. Возьми бритву. Бритвы у меня нет, покупать никому.

Она опять засмеялась, но Дуся махнула рукой, заставила приутихнуть.

— Перебудишь всех! — сказала шепотом. — Мой только уснул. И Ксюшка. Давай, Юрик, пора на бок всем, устали — сил нет,

Улицу покрыл снег — блестел и искрился, как нафталин. Под ногами поскрипывало.

Фонари уже не горели, плотная ночь повисла над городом, прохожие словно возникали из тьмы. На тротуаре лежало несколько светлых квадратов окон; они ломались у поребрика и стекали желтым на дорогу. И опять темнота.

— Ты не торопись подниматься, — говорила Соня, — я после одиннадцати приду.

— Неудобно, что ты провожаешь, — извинился Юра. — Это же я тебя провожать должен.

— Я тебя не съем. — Соня посмеивалась и как-то тяжело припадала к Юриному плечу. — Не съем, не бойся. А потом, — в какой раз объясняла она, — мне постелить нужно и показать. Ты — гость, я — хозяйка, не лишай меня удовольствия.

Она опять прыснула, хотя нечего было смеяться; что-то глупенькое послышалось ему в этом громком, громче обычного, смехе. Он недовольно поморщился: знал — не пошел бы! — и вдруг остро представил, нет, ощутил... Ниночку. Легкая и гибкая, как ящерица, стояла она с поднятыми руками, стягивала облегающий свитер. Он испытал тоску, боль, черт знает что испытал он в эту секунду, физически ощущая, как проскальзывает она в его сжатых руках, уходит, исчезает совсем.

Соня продолжала что-то говорить, но Юра не отвечал. Они шли молча и быстро — совсем чужие.

Соня переставила стулья, зачем-то смахнула со стола пыль, словно извиняясь перед Юрой, что вот привела его в неподготовленный дом, — такой беспорядок! — сняла со стены Ксанкин портрет, подышала на него и протерла ладонью.

Юра увидел дочь, благодарно улыбнулся.

Она тут же бросилась на кухню, позвала его.

— Юр? Юр?

Он взмолился, чтобы она уходила — поздно все-таки. Соня хлопала холодильником, показывала, где взять мясо и яйца — утром захочется есть.

— Я устал, Сонечка. Самолет, бессонная ночь... Иди, я лягу.

Она со смехом погрозила ему:

— Думаешь, от меня легко отделаться?! Если бы ты знал, как я хотела тебя видеть! Разве справедливо, что ты сразу

выставляешь меня из моей собственной квартиры, даже не хочешь поговорить!

— Что ты, Соня! О чем? Поздно, ночь уже.

— О театре, — предложила она. — Ты даже не представляешь, как я люблю театр.

— Да я о нем и слышать-то не могу!

— Вот видишь, — сказала Соня и рукой обвела комнату. — Здесь прописана, это моя квартира, а живу, Юрик, больше с мамой и папой, как юная пионерка. Оттого что никого у меня нет. Кроме разве Ксанки, — она кивнула на стенку, — единственная живая душа.

Усталилась на Юру. Он виновато заулыбался:

— Чего же, Соня? Ты умная, добрая, симпатичная..

Она рассмеялась:

— Как сказала бы тетя Дуся: эва, наговорил! Сам знаешь — неправда. А насчет одиночества моего — так это вроде стихийного бедствия. Вот мы с тобой старинные друзья, а чем, ответь, ты мне можешь помочь? То-то! Ничем! Ни-чем, — повторила, — хотя я столько лет — и это ты тоже знаешь — одного человека и люблю.

Он сделал вид, что не понял, покачал головой.

— Да-а, — сказал мучительно. Посидел молча, закрыв глаза и раскачиваясь, думал о чем-то своем.

— Как-то так в жизни выходит, Соня, что у каждого своя жар-птица и каждый вроде бы ту хочет, что ему не дается. И главное — видишь: рядом лучше, порядочнее; та, что рядом, опора тебе на прочную и большую жизнь, а тянет к другой, туда, где всем будет хуже, отвратительно, может быть, вот в чем дело. Теперь и ответь — отчего человеку хочется, чтобы с муками, с вывертом, через страдания?

Она спросила, пряча глаза, хрипловатым голосом:

— Любишь кого-то у себя... в этом... Крыжополе?

— О-очень, — выдохнул он. — Безумно люблю, Соня. Мучаюсь. Ревную ко всем и к каждому...

Она вздохнула.

— Молодец, что сказал. Спасибо. — Засмеялась звонко. — Не нужно человеку правду искать. Ложь приятнее. Или неведение.

— Прости, — помолчав, сказал он. — Понимаю, кому и что говорю, но вижу — так лучше. Ты мне сестра, даже больше, чем сестра..

— А я не хочу быть родственницей! — крикнула она и рукавом проехала по глазам, упала головой на согнутый локоть.

Он терпеливо ждал, когда она перестанет плакать, погладил по голове.

— Иди, Сонюшка, пора тебе, иди, сестричка.

Она попыталась улыбнуться:

— Ну и гад ты, Юрка, как обобрал меня! Я до этой встречи богаче была, хоть надежду имела, а теперь — что? Что у меня, кроме стариков родителей общим возрастом сто сорок лет? Ни-че-го! А мне сорок! Бабий век. Я ведь не запасливая, Юра, даже насчет потомства не позаботилась. Еще год-другой — и амба, все. Это как ежик: листьев на зиму не заготовил, и спать негде и не на чем...

Она поднялась и неизвестно для чего стала двигать ящиками в комод, выбросила какие-то пуговки, лоскуточки.

— Куда я дела, зачихала к дьяволу...

— Что?

— Да так... — Отвела занавеску в окне, постояла спиной к Юре. — Пора идти, а как не хочется... — И вдруг обернулась, даже головой тряхнула так, что волосы метнулись густой волной по плечам. — А что, если я на кухне раскладушку поставлю, не смугишься рядом спать?

Он поднялся от неожиданного вопроса.

— Что же ты спать будешь на кухне? — сказал он недовольно. — Если бы ты раньше сказала, я бы у мамы остался. Раскладушка и там есть...

Она засмеялась:

— Ладно. Гонишь. Уматываюсь.

Он пошел за ней в коридор, подал пальто.

Она просительно смотрела на него:

— Пойду, что ли?

— Иди. Серафима Борисовна ждет.

Пальто он держал распахнутым, словно бы торопил Соню.

— Ждет, — согласилась Соня. — А может, и мечтает, что бы я не пришла.

Он натянул ей пальто на плечи, воротник стал дыбом.

Соня обернулась.

— Пойду, что ли? — сказала жалобно. — Из тепла неприятно.

Она подала Юре руку, хмыкнула, точно боялась заплакать, пошла к дверям.

— Эх, ты! — сказала она. — Грабитель! Последнее у человека отнял...

Хлопнула дверь, потом удар повторился внизу, в парадной. Юра выключил свет, подошел к окну, устало стянул рубашку.

Соня стояла на улице, смотрела на свои окна. Наконец нерешительно и медленно, будто что-то ее удерживало, перешла дорогу, несколько раз оглянувшись и заспешила к оставке.

Юрий кинулся на кровать и утонул в легких, свежеспавших простынях. Становилось теплее и легче, усталость уходила, душа оттаивала, расслаблялась, отлетала в сон.

..Кондратьев обнял Озерову, прижал к груди, она как-то обмякла, обтекла его, стала как воск.

«Не смей! Не смей!» — хотел закричать Юрий Сергеевич, но неожиданно понял, что это идет спектакль, в котором играют Сашка и Ниночка.

Он торопливо искал себя. Где же? Где же он сам? В партере? В ложе?

Его не было.

И тут он увидел себя в глубине сцены — знакомый чиновничий картуз, нелепый сюртук, что-то странное, серо-зеленое и жалкое с пуговицами до верха, — вдруг узнал: именно он, Юрий Сергеевич, теперь всегда, постоянно будет играть роль Карандышева.

— Ну да, ты, ты, — успокаивал он себя. — Только не бойся, не отказывайся. Ты сыграешь превосходно!

Он проснулся потный, измученный, усталый больше, чем перед сном. Спать нельзя! Надо забыть этот кошмар, думать о чем-нибудь другом.

Он попытался вспомнить подробности того вечера, когда они с Ниночкой гуляли вдоль пруда, бросали камни в воду и говорили об искусстве. Ночь была удивительная, полная счастья, ночь, какой у него, пожалуй, не было в жизни.

«Бог мой! — мысленно восклицал он. — Как я любил бы ее! Сколько бы мог дать! Я бы искал для нее пьесы, ставил бы ради нее спектакли, сделал бы ее знаменитой. Как же она могла пренебречь мной, отвергнуть после того, что случилось, — ведь была же минута искренности! Неужели причиной всему дочь? Чему, чему мог помешать ребенок?! Никому и ничему! Блажь, каприз, бессмыслица!»

Он откидывал одеяло, метался. Мысль о Сашке Кондратьеве не исчезала, была рядом, — Юрий Сергеевич боялся вернуться к ней.

«Наваждение какое-то, чушь, глупость! У них нет и не было близости, не было любви, — это напраслина, плод воспаленного мозга, я подозреваю и глуп...»

«А репетиции?! Я же видел!»

Он попытался над собой посмеяться. Вот, скажем, можно сосчитать дни гастролей. Сегодня, завтра, послезавтра у них нет совместных выездов в область. Он четко представил график на стене Крашенинникова — такая стратегическая карта за спиной главнокомандующего, — и что-то будто бы отпустило его душу, полегчало на сердце. Да, да, в эти дни выездной спектакль «Был зимний вечер», постановка гастрوليрующего режиссера, в котором не заняты ни тот, ни другая.

«Но занята Лидочка! — с ужасом сообразил он и даже сел на кровати. — Ну конечно же Лидочка Кондратьева едет как выпускающая! Значит, она на гастролях...»

Он вытер простыней мокрое, липкое от пота лицо. Вскочил с постели и босиком побежал к окну, к форточке, чтобы охладить себя, остынуть, пускай — замерзнуть немного, а тогда лечь снова и вздремнуть до утра часок-другой.

Он подтащил в темноте стул, взобрался на подоконник и сразу же спрыгнул.

Против парадной на другой стороне улицы стояла какая-то женщина. «Уж не Соня ли?» Она неподвижно глядела на окно, точно была уверена, что он подойдет и, открыв форточку, что-то ей крикнет, позовет к себе.

Увидела ли она его? Кажется, трудно увидеть в темноте силуэт. Что-то шевельнулось, двинулось у занавески, белая тень успела проскользнуть перед стеклом и исчезла. Скорее, она подумала — это мираж, галлюцинация, нечто...

Лежа в постели, он попытался различить время на ручных часах, поворачивал их к окну, щурился — оказывается, прошло немного с Сониного ухода. Нет, это не она. Зачем? Что это может ей дать?

Мысли о Ниночке и о Сашке не оставляли Юрия Сергеевича. Он все больше и больше верил в их сговор.

— А ты лежи здесь, — говорил он вслух, будто в комнате прятался сочувствующий собеседник. — Ложь, ложь всюду, я обязан помешать их фарисейству!

Он зажег свет в комнате, потом — в коридоре. Ксана улыбалась со стены дорогой, незабываемой, а потому грустной, недетской улыбкой Ирины.

Он на секунду задержал взгляд на портрете, подумал с неожиданным удивлением: «Почему здесь карточка? Откуда она?» — и тут же перевел взгляд на грязную и без-

вкусную мазню — растекшийся по холсту соус. «Соня, Соня! — сочувственно сказал Юрий Сергеевич. — Добрая, но дремучая ты душа!..»

Включил душ и, обливаясь теплой водой, почувствовал себя спокойным и сильным — вроде бы выспался.

Самолет уходил в пять сорок, билеты зимой всегда были в продаже, времени оставалось достаточно.

Уже в пальто он подумал, что нужно оставить записку, — мать, да и все близкие испугаются, не обнаружив его.

Присел к кухонному столу и на клочке бумаги торопливо написал, что его вызвали в театр.

Впрочем, как могли его вызвать?! Откуда в театре знали, что он ночует у Сонни! Идиотизм, нелепость!

Он разорвал листок, сел писать заново.

Он написал Соне, что решил уехать, так как не может, не имеет сил оставаться здесь один, — там, в его городе, есть женщина, без которой он не в состоянии прожить и одного дня. Да, так оказалось!

«Ты попробуй понять меня, Соня, — писал Юрий Сергеевич, зная, как он жесток с любящим его существом, — и попробуй простить. Да, ты не просто друг мне, ты — сестра. Ах, если бы ты знала, как я хотел бы любить тебя, ответить тебе той же теплотой, тем же сердцем, но есть нечто выше нас самих, что и делает нас несчастными или счастливыми. Не будь этого, мы бы сами, разумом, выбирали то, что лучше нам подходит».

Он подумал секунду, перечитал написанное, хотел разорвать, но тут же решил: пусть будет. Он не должен, не имеет права оставлять ей хоть немного надежды, слишком дорогой и близкий она человек.

«Желаю тебе счастья», — написал он, чувствуя, как трудно отчего-то становится дышать. Посидел с минуту, подписал — «твой», зачеркнул жирно, так, чтобы не прочесть, и просто чиркнул: «Юра».

— Так лучше, — сказал он вслух. — Обманывать ее я не имею права.

Он открыл дверь и сразу же вернулся, чтобы снова взглянуть на Ксанкино лицо — удивительное повторение лица Ирины.

В почтовом ящике лежала вчерашняя газета, и Юрий Сергеевич положил ключ между листами, — Соня найдет,

Стоянка такси была рядом. Водитель дремал, ожидая пассажиров.

— В аэропорт, — попросил Юрий Сергеевич и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза.

Машина мчалась по городу. Шумно, хрипло и непонятно голосило радио, станция «Маяк» отработывала свою программу.

Юрий Сергеевич думал об одном: «Приеду около восьми. Войду в комнату... если они вместе...»

Нет, он не мог сейчас представить, что произойдет тогда. В нем все кипело. Казалось, он не выдержит этой медленной скорости, медленного полета, медленного автобуса от их областного аэродрома до квартиры Ниночки. И наконец, той долгой секунды, пока она, поколебавшись, откроет ему дверь...

Дуся выпила валерьянки, — может, легче станет? — и пошла ложиться.

В столовой было постелено на диванчике, и Дуся прилегла на него. За дверями спали: Сергей Сергеевич привычно похрапывал — ей нравился этот ровный и спокойный храпок. Ксаны и вовсе не было слышно — над нею будто ангел летал. Дуся мысленно благословила внучку.

У дверей спала на раскладушке Галина, а может, и не спала, притворялась. То вздохнет, то перевернется, то охнет, — мысли бродят, не успокоишься.

«...Была бы ты маленькой, — думала Дуся. — Посадила бы на колени, пощекотала бы за ухом, пошептала бы сказку...»

А Галина застонала во сне, как не спросить:

— Ты о чем, Галя?

— Ни о чем, мама.

В темноте да в тишине сильнее боль. Клешня сжала грудь, придавила сердце. Охнула бы — так ведь людей расстрожишь, все устали.

Дуся села на диванчике, прислушалась. Как бы до кухни дойти? Да и где там лекарства? В шкафу? А если в тумбочке возле Сергея Сергеевича? Туда не войти, начнутся переполох и вопросы.

Она свернулась калачиком — коленки к животу, подбородком в грудь, — так сурки спят. И сразу сделалось легче. Болит, но терпеть можно.

Хуже, что сердце дрыгается, точь-в-точь хвост овечий, даже в горле слышать: стуком стучит, не утонишься. Надо же! Небывалое происходит...

Опять Дуся приподнялась на локте, взбила подушку, выше легла. Дышать трудно. Нет. Не помогает, Села, Ноги на холодный пол, это приятнее, так и осталась.

— Дусь!

Сергей Сергенч проснулся.

— А?

— Попить принеси.

Слава богу! Пошла по стеночке, — сначала себе капель налила, потом ему стакан кипяченой — и назад, осторожно.

Сколько шла — сказать трудно, но пришла с опозданием, спал уже.

Вернулась на диван вся мокрая. Надо бы Гале сказать, что неможется, так разбудишь — потом совсем не уснет, недавно стонала да ворочалась.

А сердце не успокаивается, болит, передать нельзя. Даже в зубах боль. И в горле. И в челюсти. И в левой руке. Смешно. Зубов нет, а болят окаянные. Рассказать — не поверят.

Темная комната поплыла вокруг головы — то вверх, то вниз — в пропасть.

Все повидала в жизни, все почувствовала, сколько страданий было — не счесть, а вот такая боль в первый раз, за что же это наказание?!

Ах, Дуся-Дусятка, маетная душа ты! Переживаешь за всех, кладешь на сердце, думаешь, бездонное оно, долготерпешное, нет, — есть дно, заболело — не выдержало...

Ноги застыли на холодном полу, лучше лечь навзничь и больше не двигаться.

Легла. Закрыла глаза. Провалилась. Была ли жива — не скажешь. Глядит в темноту, голова вроде думает, а тела нету. Витает в облаках, гибкое, длинное, не свое.

Позвать на помощь, крикнуть дочь? Ксану разбудишь. Помолчи уж лучше, потерпи — время идет. Ребенок ни в чем не виноват, на нем никакого греха нет.

Да и Сергей Сергенч хорошо умаялся — что его тревожить?

Рассветет, тогда и Галину можно звать. Тогда пожалуй-ста, а пока — сон дороже денег, все знают.

«Надо же! — удивлялась Дуся, прищуриваясь, разглядывая тело свое под потолком. — Что я там делаю? Обхохочется Клавка: скажет, космонавт какой! А если... я умираю? Голова на подушке, а душа — в воздухе...»

Зажмурилась, чтобы не разглядывать, сказала спокойно: «Умираю, конечно. Повезло тебе, Дуся. Ребята дома. Собрала, как чувствовала».

Перемогла сильную резь.

«Главное, что Юра приехал. А кому, как не ему, хлопотать с землей да со справками? Галина только плакать горазда...»

Забывшись, а когда вернулось сознание, обрадовалась, что еще жива. Рассвет скоро, а тогда, может, и проснется кто...

Только не идет время. Как было темно, так и не развиднелось — мгла да страх!

Подняться бы, шаг шагнуть, не давать с собой справиться. Оторвала от подушки голову и охнула. Как от кинжала боль!

Галина Сергеевна открыла глаза, долго прислушивалась. Часы тикают, идут ровно, успокаивают, а посмотреть время нельзя.

— Мама, не спишь?

Спит, конечно. Галина закинула руки за голову, потянулась. Судя по окну, сейчас не больше четырех. Время зимнее, рассвет поздний...

От аэродрома Юрий Сергеевич ехал в такси. Шофер, молоденький, скуластый, черноглазый, похожий на казаха, угрюмо, как все заканчивающие ночную работу, смотрел вперед, был серьезен и, слава богу, неразговорчив.

Город просыпался. Ехали на работу в автобусах и трамваях, спешили к остановкам те, кому нужно было начинать позднее, «голосовали» опаздывающие, полусонные, с бутербродами в руках.

Водитель косился на пассажира — Юрий Сергеевич не рожимал губ.

Остановился перед Ниночкиным домом, щедро расплатился с водителем, широким шагом опаздывающего человека вошел в парадную, перешагнул разом четыре ступеньки и с ходу нажал на кнопку звонка.

«Меня не ждут!» — злорадствуя, думал он.

Впрочем, он не задумывался над тем, что будет дальше. Он хотел войти, встретиться взглядом с ней, с Кондратьевым, а там все решится само собой...

Он снова позвонил, на этот раз длиннее, настойчивее. Зашлепали тапочки, — ее тапочки, ее походка,

— Кто там? — удивилась она. В голосе было явное недовольство.

— Открой.

— Ты?

Щелкнула задвижка. Он увидел сонное ее лицо.

— Ты? — повторила она. — Разве не улетел?

Юрий Сергеевич шагнул в комнату. Никого! Тогда он повернул на кухню, захлопывая двери решительными движениями. Ни-ко-го!

Ниночка сидела на кровати, с иронией следила за ним. Юрий Сергеевич наконец понял, что она одна, повернулся, испуганный. Боже, что он наделал! Зачем так отвратительно!..

— Прости! — крикнул он. — Я прилетел из дома! Я не мог без тебя! Если бы ты знала, как я страдаю... Прости!

Она только приоткрыла рот — блеснули ровные зубы, — но он понял, что она сказала.

— Мы должны поговорить, — бормотал он. — Не торопись, Нина, не торопись!..

— Уходи, — повторила она.

Он выскочил на улицу и почти бегом бросился не к театру, не к дому, а совсем в противоположную сторону, через пустой сквер, по каким-то улицам, дальше и дальше по дороге, проспекту, опять по дороге, дворами в лесок или сад, — скорее, сад с непротоптанными дорожками, — неведомо куда.

Сначала он торопился, потом шел ровнее, потом медленным шагом. Если бы он умел плакать, он бы заплакал. Он любил ее, как никого в жизни, как не любил Иру, свою жену, по крайней мере с Ирой он муки не знал, не ведал, а здесь — одни страдания.

Он чувствовал, что потерял ее.

Ах, как было хорошо в детстве, маленькому, когда ты мог плакать сколько угодно и тебя тут же утешали и мать, и сестра. Тебя не презирали за слезы — тебя понимали. Ниного лицо все время вставало перед глазами — приоткрытый рот с полоской зубов, во взгляде непрощающая ирония. Конеч, конеч всему, конеч, всему конец!..

Он вошел в свою пустую квартиру, уселся на кухне в пальто и тут же вскочил: в дверях звякнул колокольчик.

Не спрашивая, он с силой распахнул дверь. Она! Нина! Слава богу!

Сосед протягивал ему телеграмму:

— Вас не было. Я расписался.

Он схватил телеграмму, буквально вытеснил на лестницу чужого человека, жаждущего поговорить, защелкнул дверь. «Откуда? — мельком подумал он. — Из управления? Из министерства? .. Неважно».

Он кинул телеграмму на стол, наконец разделся и взял бумажную четвертушку. Надорвал клейку и с удивлением, ничего еще не понимая, дважды перечитал: «Срочно возвращайся случилась беда мамой твоя Соня»,

СОДЕРЖАНИЕ

На линии доктор Кулябкин	3
Абсолютный слух	61
Лестница	231
Боль других	323
Несколько историй из врачебной практики	446
Евдокия Леонтьевна	514

Ласкин С.

Л 26 На линии доктор Кулябкин: Повести.— Л.: Сов. писатель, 1986. — 608 с.

Повести ленинградского писателя Семена Ласкина написаны о наших современниках. «На линии доктор Кулябкин» — повесть о враче «скорой помощи». Действие ее протекает за одно суточное дежурство, при этом раскрывается жизнь врача, человека скромного, бескомпромиссного, обладающего талантом доброты. О врачах же — повесть в рассказах «Несколько историй из врачебной практики», «Абсолютный слух» — повесть о школе, «Лестница» и «Боль других» — повести о молодежи, о поисках собственного пути в жизни. «Евдокия Леонтьевна» — повесть о простой русской женщине, полной любви к людям.

Л $\frac{4702010200-037}{083(02)-86}$ 81—86

ББК 84.Р7

Семен Борисович Ласкин
НА ЛИНИИ ДОКТОР КУЛЯБКИН

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1986, 608 стр.
План выпуска 1986 г. № 81

Редактор *К. М. Успенская*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *С. Л. Шереметьева*
Корректор *Е. Я. Лапкин*

ИБ 5062

Сдано в набор 11.07.85. Подписано к печати 26.05.86. М 42516. Формат 84×108^{1/2}.
Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 31,92.
Уч.-изд. л. 37,34. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1257. Цена 2 р. 70 к. Ордена
Дружбы народов издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение.
191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.